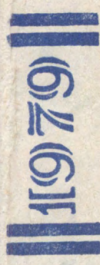


ISSN 0130-7673

# Н О В Ы Й М И Р



Н О В Ы Й  
М И Р



1979



# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 11

Ноябрь, 1979 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВИКТОР БОКОВ — У памятника Ленину, стихи	3
ИОСИФ ГЕРАСИМОВ — Предел возможного, роман	5
АЛЕКСАНДР МОСКВИТИН — Воспоминание о песне, стихи	82
ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС — Из цикла «Индийский орнамент». Перевел с литовского А. Миль	84
ФЕЛИКС ЧУЕВ — Из новой книги, стихи	86
НИКОЛАЙ ШУМАКОВ — В Кашине, стихи	89
ВАЛЕРИЙ ПРОХВАТИЛОВ — Старинный сюжет, стихи	91
ГЕРМАН КАНТ — Остановка в пути, роман. Продолжение. Перевели с немецкого И. Каринцева и С. Шлапоберская	93

### ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

В. И. ЧУЙКОВ — Миссия в Китае. Записки военного советника. Предисло- вие Ю. В. Чудодеева	183
---	-----

### ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

ВАЛЕРИЙ ДЖАЛАГОНИЯ — Зеленоград: штрихи к портрету города	221
---	-----

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЕКСАНДР ПАНКОВ — Решения, которые мы принимаем <i>К 150-летию со дня рождения Микаэла Налбандяна</i>	233
ВАРДГЕС ПЕТРОСЯН — Биография страданий и надежда	244
К. М. ДОЛГОВ — Надежность критерия. Эстетика Гальвано делла Вольпе	249

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

<i>Литература и искусство</i>	266
Марк Соболь. Старый воин. — В. Камянов. Вблизи и за горизонтом. — Ю. Гусев. Талант, разбуженный революцией.	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»

Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.

### *Политика и наука*

277

Н. Мор. От войны к миру

КОРОТКО О КНИГАХ: Ксения Бродер.— А. Борцаговский. Не чужие. Рассказы. ♦ Татьяна Комиссарова.— Болот Боотур. Пробуждение. Роман. ♦ Светлана Соложенкина.— Александр Кушнер. Голос. Стихотворения. ♦ Лидия Григорьева.— Сергей Мнацаканян. Снежная книга. Стихи. ♦ Эр. Ханпира.— М. О. Чудакова. Поэтика Михаила Зощенко. ♦ Юрий Домбровский.— Григорий Анисимов. Живые краски Апшерона. ♦ Марис Лиепа.— К. М. Сергеев. Сборник. ♦ Б. Исаев.— Юрий Юров. Кто раз увидел. ♦ Вадим Моныхов.— А. Г. Ковалев. Коллектив и социально-психологические проблемы руководства	281
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	288

---

---

---

ВИКТОР БОКОВ

★

## У ПАМЯТНИКА ЛЕНИНУ

У памятника Ленину в Софии,  
Подбодренные взрослыми людьми,  
Смеются дети, как цветы живые,  
Кладут к ногам живой венок любви.

Летит из уст простое слово: Ленин!  
Оно — как эхо звонкое в горах.  
Уходят и приходят поколения,  
А Ленин все живет в людских сердцах.

Не остудил лица холодный мрамор.  
И ленинской улыбки не украл.  
Она живет в характере упрямом  
И в складках лба, который столько знал.

И трогательно тянутся ручонки  
К великому и мудрому вождю.  
А он стоит и думает о чем-то,  
Он, что терпел и тюрьмы и нужду.

Тот самый он, который в дальней ссылке,  
Нередко забывая о себе,  
Умом великим, сердцем своим пылким  
Рассеивал унынье, звал к борьбе.

Идут, идут к нему все утро дети,  
Цветы, цветы к подножию кладут.  
И лично Ильичу и всей планете  
На верность клятву вечную дают.

И видит это древняя София,  
Что побраталась с древнею Москвой,  
И видит это новая Россия,  
И Ленин перед всеми — как живой.

### ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР

Он очень волновался накануне  
В глухом и неизвестном Байконуре.  
Час новых испытаний настал —  
Теперь он человеком рисковал.



«Ну что же, я конструктор, академик,  
 Не умалить значенья этих слов,  
 Но тот, кто на себя скафандр наденет,  
 Рискует больше!» — думал Королев.

Ударив в землю огненным копытом,  
 Ракета отделилась от земли  
 И очутилась в космосе открытом,  
 В неведомой космической дали.

По всей планете пронеслось: «Запущен!»  
 И в ожиданье замер род людской.  
 Что нам теперь готовил день грядущий,  
 Не знал ни академик, ни герой.

Надежда ободряла: не скорбите!  
 Жив человек, который на орбите,  
 Он не распался в прах, в седую пыль,  
 И это не утопия, а быль.

Свершилось! На земле уже Гагарин,  
 Мы космонавта Юрою зовем,  
 Конструктору счастливый день подарен,  
 Гагаринской улыбкой озарен.

Теперь мы говорим: дорога в космос!  
 Да, есть она, но кто ее торил?  
 В уме прикинул смело Циолковский,  
 А Королев на деле сотворил!

\*.\*

Какая тишина в родном просторе,  
 В покинутости убранных полей!  
 Не сосчитать мне рек, текущих в море,  
 И светлых дум о родине моей.

Все больше, все нежнее, все отважней,  
 Все пристальней в глаза ее гляжу.  
 — Люблю! — сказал я родине однажды  
 И большего, чем это, не скажу.

Не потому ли почва в поле дышит,  
 Доверчиво разлегшись возле ног?  
 Она, как мать родная, сына слышит  
 И спрашивает: — С кем ты здесь, сынок?

— Я с песней, с прибаутками, с приветом,  
 С готовностью пахать и боронить,  
 С единственной просьбою к поэтам —  
 Любви к родной земле не уронить!



---

ИОСИФ ГЕРАСИМОВ

★

## ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО

Роман

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

**С**амолет набрал высоту, гул моторов стал спокойнее и глуше, и в салоне сразу разрядилось напряжение, люди зашевелились, расстегивая предохранительные ремни, движения их сделались свободней, одни потянулись к сигаретам, другие вглядывались в соседей, будто только сейчас обнаружили их рядом, интересовались газетами, книгами, и я тоже почувствовал, что освободился от скованности, хотя прежде и не замечал ее, во всяком случае, легче стало дышать, исчезла тупая тяжесть под сердцем.

— Дай сигарету, отец,— сказала Ася.

Она не курила, но изредка баловалась, я давно это замечал; скорее всего кто-то из мужчин, из тех, с кем она считалась, сказал, что курение ей идет, но сейчас в просьбе ее прозвучало нетерпение, выдававшее не прихоть, а потребность. Получив сигарету, Ася торопливо размяла ее, сжала губами, нетерпеливо потянулась к огню моей зажигалки и, выпустив струйку дыма, вскинула вверх ресницы, ткнулась лицом в мое плечо, совсем как это бывало с ней в детстве, пробормотала:

— Ох, папка!

Я и не помнил, когда видел ее плачущей, она умела — во всяком случае, мне так казалось — обходиться без слез, а теперь плакала у меня на плече. Я погладил ее по волосам, они были у нее мягкие, пышные, медового с рыжиной цвета — красивые волосы, такие же, как у матери... Но что я мог ей сказать, чем утешить?..

Она подняла на меня заплаканные глаза и, шмыгнув носом, сказала:

— Может, сходить к нему?

Я хотел ей ответить, что не стоит тревожить человека, который решил побыть один. Едва мы вошли в самолет, он направился в первый салон, строго сказав: «Идите на свои места». Стюардесса знала его и почтительно затворила за ним дверь. Но ответить Асе я не успел. По проходу легкой скользящей походкой шел штурман, он весь блестел, как елочная игрушка; в светлом кителе с медными пуговицами и галунными нашивками, русоволосый, с южным загаром, он радушно улыбался всем пассажирам сразу, но голубые пронзительные глаза его были нацелены на Асю, на нее одну, кто-то тянул к нему руку, кто-то пытался о чем-то спросить, но он миновал ряды кресел, не замечая обращенных к нему лиц. Ася сразу это поняла и истинно-

тивно стала готовиться к встрече, хотя я знал, что такие красавцы не в ее вкусе.

Он подошел, склонился к ней:

— Вам записка из первого салона.

Ася, развернув записку, прочла вслух:

— «Пришли, пожалуйста, ручку. У меня кончились чернила».—

Она тут же достала из сумочки самописку и спросила: — Что он там делает?

— Как всегда — обложился бумагами. Наверное, у него много работы.

— Вы что же, прежде летали с ним?

— Много раз. А вам что-нибудь нужно?

— Нет, нет, все нормально.

— Может быть, воды? Вот здесь над вами кнопка... По-моему, мы знакомы. Не правда ли?..

Всегда чувствуешь себя идиотом, когда вот так, на глазах начинают ухаживать за твоей дочерью, и злишься в первую очередь на нее: могла бы и отшить нахала, ведь только что плакала на моем плече, но... а зачем ей отшивать? Он вежлив и услужлив, а она девушка заметная.

Я отворачиваюсь к иллюминатору. Мы летим над облаками, в ослепительно синем пространстве; много раз я наблюдал безбрежную синеву и снегоподобную взрыхленную равнину облаков под крылом самолета и никогда не ощущал красоты и тепла в этом пространстве, хотя оно было пронизано солнцем. Воображение оставляло меня одного в холодно-синем просторе, отторгнутого от земли и людей. Я всегда с жадностью вглядывался в облака, надеясь обнаружить в них разрывы и сквозь слабый белесый туманец увидеть мягкие цвета земли; тогда меня покидало мутное чувство одиночества.

— У меня будет свободных три дня, — мечтательно говорил штурман. — Если я попытаюсь вас разыскать?..

— Я ничего не знаю о своем ближайшем будущем, — отвечала Ася.

Я не мог сообразить: издевается она над штурманом или просто без всякой мысли водит за нос?.. Нет, лучше не слушать, лучше и вправду отыскать разрыв в облаках... Сколько все-таки защитных реакций у людей... Мы только что потеряли дорогого человека, а моя дочь ведет пустую болтовню со штурманом, и я пытаюсь переключить сознание на холодное пространство за иллюминатором...

Впрочем, в последние годы я стал привыкать к смертям, я ведь тоже не первой молодости — мне пятьдесят пять, и многих сверстников моих, с кем учился или работал, уже нет, но эта смерть ударила с особой силой по мне, по дочери, по человеку, который летит в первом салоне. Ася волнуется о нем — это понятно. Но почему беспокоюсь о нем я? Он не друг мне, не близкий. Кто же он, прошедший почти через всю мою жизнь? Пожалуй, я и не смогу определить; наверное, для того, чтобы разобраться в этом, надо слишком многое вспомнить.

Когда я его впервые увидел?.. Конечно... в год рождения моей дочери, да, именно из-за того, что родилась Ася... не будь этого, мы, может быть, никогда и не повстречались бы... впрочем, кто знает... кто может разгадать, случайны или закономерны наши встречи с людьми, которые потом изменяют всю нашу жизнь?..

Я поворачиваюсь к дочери, она сидит, откинувшись на спинку кресла, и крутит в пальцах погасшую сигарету, взгляд ее отрешен, и смуглое лицо с мягкими — расплывчатыми, как определил один из ее друзей, — чертами кажется загадочным. Честно говоря, я долго не мог понять, чем она так привлекает взгляды мужчин, ведь ничего осо-

бенного в ней нет, кроме, конечно, этих золотисто-медовых волос, все же остальное — припухлый рот, слегка вздернутый нос, распахнутые глаза — все это вполне ординарно, да и смотрит она на мир слишком строго, иногда даже и делово, во всяком случае она не кокетка, видимо, вот этой «расплывчатостью», в которой всегда таится загадка, она и берет.

Становится душно: наверное, в салон подали добавочно нагретого воздуха, а может быть, я слишком тепло одет. Поднимаюсь, чтобы снять кожаный пиджак... Я не люблю строгих костюмов и галстуков и стараюсь носить то, что посвободней. Асе это не нравится, она считает, что эти водолазки только подчеркивают мою, как она говорит, «деформированную» фигуру, но это-то меня меньше всего заботит...

— А она загуляла с начальником милиции товарищем Голощаповым, весь район о том шушукается, ну, до меня долетело, когда с войны вернулся... — рассказывает соседке сидящий впереди мужчина.

Я сразу же узнаю его — невольно обратил внимание во время посадки. Он невысокий плотный человек лет шестидесяти, все в нем отличалось обстоятельностью, недорогой костюм, хорошо подогнанный, да и черты лица как бы подбиты одна к другой — крепкий нос, тугие губы, прямой лоб и над ним ежик седых волос, и говорил он обстоятельно, словно примеривал и клал слово к слову. Рядом с ним стояла худая, с горестными морщинами у рта женщина; новое платье висело на ней; из разговора я понял — познакомились они недавно, на аэровокзале, эта женщина чем-то нравилась обстоятельному человеку, потому он с такой охотой рассказывал о себе:

— Надоело по общежитиям мыкаться, вот я дом и поставил. В те годы участок получить ничего не стоило, наоборот даже, индивидуальных застройщиков поощряли. А силенка во мне была, да и то сказать, все-таки сапером отслужил. Теперь дому этому цены нет.

— Неужто один живете?

— Сын, сноха, внучат двое. Сын в гараже, сноха в магазине бакалеей заведует...

На разговор этот я тогда не обратил внимания: мало ли что услышишь в очереди или вот в таком месте, где собирается большая группа людей. Но сейчас невольно насторожился.

— Любил ее, наверное, крепко, а может, настрадался на войне, намечтался, и казалось — нет дорожке... Вот и получилась у нас такая страшная история — она без Голощапова не может, а я... Однако на этом деле начальник милиции погорел, потому что на него стукнули: так, мол, и так — крутит с женой фронтовика и поэтому его поведение аморальное. Думали, его вообще с должности уберут, а его взяли на Брянщину кинули. И что же, она его адрес узнала и опять к нему. Вещички продаст, на поезд — и нет ее дней пять... Это сейчас можно все спокойно вспоминать, потому как годы минули, а тогда, ну, хуже любой болезни. Веришь, даже мысль была — прирежу. Но не мог. Сам и уехал в Воронеж, сына у нее отнял. Заставил все же, приехала. Пожила-пожила — и на Брянщину...

— Что же, с тех пор так и не женились?

— Так и не женился. Бабы были, не скрою, как без них, а не женился... И знаешь, не помри она тогда, я бы все равно ее к себе пустил. Вот такая была жизнь...

Пиджак я давно положил на полку, стоять над креслом было неудобно, хотя хотелось еще послушать, а со своего места я не мог разобрать слов. Было что-то задевающее меня в этом неспешном рассказе...

Я снова отвернулся к иллюминатору и снова увидел полярную



синеву пространства, обнаженную яростным солнцем, и бесконечные снежные ухабы облаков...

У каждого из нас где-то за спиной есть стартовая площадка, и не так просто бывает даже мысленное возвращение на нее. Я уже испытывал в жизни нечто подобное и убеждался, что вновь открытое прошлое может неожиданно-негаданно восстать против настоящего и даже разрушить его — вот какая это сила, и потому невольно оставливаешься, прежде чем решиться всерьез оглянуться назад.

Я встретил человека, летящего в первом салоне, в августе сорок девятого, но не просто вот так, сразу вернуться в тот день, потому что до него была у меня иная жизнь...

Я откинулся на спинку кресла, бубнящий голос соседа умолк, дочь моя прикрыла глаза и, кажется, дремлет. Никто не мешает вспоминать...

### Глава первая

Как же был я тогда счастлив! Это теперь я могу философствовать, искать объемную причину своей радости, а тогда я носился как угорелый по старому, закопченному цеху, рискуя сломать шею или угореть под какой-нибудь транспорт: синенький клочок бумаги с наклеенной на него телеграфной лентой: «Родилась дочь целую Лена» — не только извещал меня, что явилось на свет новое, родное мне существо, хотя уж одного этого было достаточно для счастья. Телеграмма от Лены была как ласточка, залетевшая в окно, это была надежда, что отбит еще один рубеж судьбы и, может быть, наконец-то жизнь обретает цель и прочность. Вспомните, что тогда было за время: шел четвертый год после окончания войны, хотя все еще казалось, что бои закончились только вчера. Недели и месяцы летели на стремительной скорости, не то что на фронте, где день зачастую не имел ни начала, ни конца, а час жизни мог равняться году. Теперь же времени не хватало, надо было наверстывать годы, отнятые войной, — так думали многие из моих товарищей, хотя... что именно надо наверстывать?..

Я ворвался с телеграммой в контору начальника цеха, узкую комнату, где стены были окрашены в темно-зеленый цвет, такими же они были в коридорах заводууправления и в аудиториях нашего института — война утвердила этот цвет почти повсеместно, и люди, привыкнув к нему в казенных зданиях, не замечали его угрюмости. Начальник сидел за столом и хрипло ругался по телефону; сколько раз я к нему ни заходил, он всегда хрипло ругался, делал он это устало, будто раз и навсегда для себя определил — надо и старательно выполнял это требование. Высокий, он сутулился, зябко передергивал широкими плечами, удлинненное лицо его было серым, и волосы серые, и пиджак на нем тоже был серый, в масляных пятнах, с загнутыми вперед, как свернувшиеся листья, лацканами, из нагрудного кармана торчали карандаши, а вообще-то человек он был хороший, мы с ним быстро подружились; звали его Семен Андреевич Куликов.

Я проходил в цехе преддипломную практику, и мне удалось усовершенствовать технологическую схему, месячный план цех закончил с превышением, начальник это оценил и старался держать меня при себе.

Я с ходу положил перед ним телеграмму. Семен Андреевич прочел, покрутил листок в пальцах, длинно выругался в трубку и тут же бросил ее на рычаг. Он уставился на меня, но глаза его смотрели бессмысленно — то ли он не мог отойти от неприятного разговора, то ли пытался сообразить, зачем ему эта телеграмма. Я объяснил:

— Мне надо уезжать.

До конца моей практики оставалось недели две, но дело не в сроке, я давно перевыполнил программу, и Куликов с чистым сердцем мог отпустить меня с завода. На это я и рассчитывал и уже прикинул: если не сегодня, то завтра сяду в поезд, а потом на попутной машине километров сорок до Ярска.

Семен Андреевич вскипал стремительно, так бывало с ним часто: он сидел неподвижно и в нем словно бы сжималась пружина, а когда это сжатие достигало предела, пружина мгновенно распрямлялась. И сейчас: он молчал, молчал и вдруг выкинул руку вперед, чуть не ткнув в меня здоровенным кукишем:

— А вот это видел?!

Я рассмеялся. Я был счастливым человеком и должен был все прощать.

— Нет,— сказал я,— не видел.— И тут же укоризненно покачал головой.— Ай-я-яй, Семен Андреевич, и это вместо поздравления. Неплохо с вашей стороны, неприятно...

Семен Андреевич вырос в старой интеллигентной семье, отец его был известным инженером в нашем городе, одно время даже преподавал в институте; наверное, прежде Семен Андреевич и сам отличался благовоспитанностью, но он стал начальником цеха во время войны, и годы тяжкого труда превратили его в усталого матерщинника. В ответ на мои слова он совсем по-мальчишески покраснел, смущенно погладил широкой ладонью подбородок, пробормотал:

— Да, в самом деле...

Он опять помедлил — эта пауза, видимо, нужна ему была, чтобы перейти в иное состояние духа,— поднялся, протянул мне руку для пожатия.

— Поздравляю, дорогой, поздравляю. Большое дело... Событие. Но зачем так сразу ехать?

— Чтобы увидеть дочь. Надо дать ей имя. Резон?

Семен Андреевич вышел из-за стола, прошелся взад-вперед, заложив руки за спину, высокий, сутулый, потом остановился и стал изучать стены кабинета, увешанные схемами, диаграммами, плакатами по технике безопасности и призывами подписываться на заем.

— Ладно,— сказал он, и чувствовалось — это далось ему нелегко,— оформим тебе документы.

Я уж хотел было вскочить, пожать ему руку, поблагодарить, но Семен Андреевич посмотрел на меня печально, спросил:

— Диплом получишь — вернешься ко мне?

Вопрос был нелегкий, я еще не знал, что ждет меня на распределении.

— Квартиру выбью,— твердо пообещал Семен Андреевич.— Ты подумай.

— Подумаю.

Документы мне оформили на другой день, выдали и деньги, а вечером Семен Андреевич провожал меня в путь — я сам пригласил его посидеть в вокзальном ресторане перед дорогой.

Это был высокий зал, отделанный под мрамор, на стенах висели зеркала, тусклые, с потеками, словно стальные листы, на которых местами сохранилась окалина, на деревянной эстраде играл небольшой оркестрик, иногда выходила пожилая певица и, прежде чем начать петь, стучала пальцем по микрофону — они тогда только входили в моду, — убедившись, что микрофон действует, склонялась к нему и пела ласково, словно старалась убаюкать слушателей, в этом ритме ей удалось спеть даже такую бойкую песенку, как «Нашел я чудный кабачок». Мне все здесь нравилось: и неторопливая певица, и стол

с закусками, и огромная люстра, отбрасывающая множество цветных радуг на потолок,— я попал в ресторан второй раз в жизни.

Семен Андреевич был печален, поначалу и он стеснялся, пытался привести в порядок пиджак, несколько раз причесывался, изредка поглядывал на себя в зеркало. Он выпил быстро и решительно: прищурился на рюмку, потом открыл рот, словно хотел выдохнуть, и стремительно выпил, не поморщившись. Мне стало жаль его, захотелось сделать ему приятное, и я сказал:

— А мне хорошо было с вами, Семен Андреевич. Вы молодец, дали возможность поработать самостоятельно. Это не каждый умеет. Вон наши ребята рассказывали, на таких крепышей наткнулись — не пикнешь, только и творишь: кому чего подай да принеси.

— Ну и я загоняю — не пикнешь. Тоже умею,— сказал он, но я чувствовал: похвалой моей доволен.— За войну-то у меня рука отяжелела. Это я прежде в цех приходил — «будьте добры» да «пожалуйста»... Впрочем, в те времена это было нормой — с рабочими на ноте безграничной вежливости. А потом все поломалось... Другая, брат, дисциплина пошла. Чем круче, тем лучше. Надо план в девять месяцев — будет в девять месяцев, надо в полгода — будет в полгода. Война. Вздохать да оглядываться некогда. Вот и сейчас... вот так,— сжал он кулак.— Чему-чему, а этому я обучен.

— Возможно, только на себе я не почувствовал.

— А я тебя испугался,— сказал Семен Андреевич; я подумал — он шутит, но лицо его было непроницаемо, глаза холодные и грустные.— Испугался, что знаешь больше, чем я... А потом — ты воевал, а я тут, в тылу, ковал победу. От вашего брата-фронтовика всего жди, как вы вернулись, так нас сразу за людей второго сорта стали считать. Вы герои, победители, а мы так...

Я не знал, по какой причине Семен Андреевич не был на войне; лет ему, пожалуй, в то время было не более тридцати, правда теперь он казался человеком пожилым...

Закончив свой монолог, он торопливо взял бутылку, налил себе не в рюмку, а в фужер, снова, широко раскрыв рот, выплеснул в него водку и тут же грудью налег на край стола, спросил:

— Ты знаешь, что с собой делать? — Что-то больное, издерганное было в его словах, и в глазах появился нездоровый желтый блеск, серые щеки покрылись розовыми пятнами; он погрозил пальцем.— План будем давать! Вся жизнь... Гони план — и баста! А я, между прочим, три авторских свидетельства имею. Мне бы в науку, а бы там... Э-э, да что говорить.

— Ну, многое еще можно сделать,— сказал я.— Не поздно ведь.

— Поздно,— твердо сказал Семен Андреевич и постучал себя скрюченным пальцем в грудь.— Выжгло здесь все, как металла кипящего налили. Ты о Ремезе слышал?

О Ремезе слышали все, кто учился в политехническом, о нем ходило множество рассказов и как о директоре завода и как об инженере; правда, в последнее время реже стали называть эту фамилию, гремевшую в нашем городе в годы войны.

— Он меня перепахал,— сказал Семен Андреевич и сжал кулак.— Как танком по мне прошел. А ведь мы учились с ним. Он немного старше. Студентом был — любил к нам прибегать. Книги из отцовской библиотеки почти все перетаскал. В общем, своим у отца человеком был. А потом... Ух!

Куликова передернуло, взгляд его потерял осмысленность, я испугался — это было то самое мгновение, когда в нем начинала скручиваться пружина. Я мягко похлопал его по сжатому кулаку и сказал:

— Да бог с ним, с Ремезом. Нет ведь его. Давайте еще немножко

выпьем, а там и на перрон идти пора... Я вам меду привезу, у тещи моей пасека. И мед у них первый класс. Вот увидите, привезу...

Мне казалось, он ничего не слышит — так неподвижны были его глаза, но он слышал и заговорил все с тем же застывшим выражением лица:

— Ремез есть. Он всегда есть... Костры жгли. Понимаешь — тепла не было, костры. Пацаны у станков, бабы. Суп в термосах холодный. Я десять суток ни ногой из цеха... стакан спирту, ты понял — стакан спирту. И за это на песчаный карьер... Это кого, а? Меня, начальника... На песчаный...— Где-то глубоко в нем бродила старая обида.— Уголек ведром носил. А? На коленях молил: пусти на фронт. Вот так... Прямо по душе резал, по душе, гад...

Я упустил момент, когда Семен Андреевич полностью потерял над собой власть и, схватив бутылку, стукнул ею со всей силой по столу, так что в стороны разлетелись осколки. Певица, ласково наговаривавшая в микрофон слова песенки, воскликнула: «О господи! Начинается!» — но тут же, смущенно кашлянув, продолжала петь. Ее залушила истеричный голос официантки:

— Ми-и-илиция!

И с этой минуты все завертелось: я уговаривал официантку, платил ей деньги, кто-то угрожал мне, кто-то ударил по плечу, и очень скоро мы оказались в хмурой комнате вокзальной милиции, где у нас проверяли документы, а я упрасивал, извинялся, умолял, показывал билет на поезд и телеграмму о рождении дочери. Что-то, видимо, умило стивило милиционера, может быть, и не мои уговоры, а начисто протрезвевший Семен Андреевич, все время стеснительно и виновато жавшийся к стене. И когда нас наконец отпустили, я побежал за багажом в камеру хранения, так как поезд уже стоял на перроне.

Семен Андреевич обнял меня на прощание:

— Ты уж, ладно... извини. Сам не знаю что...

Так мы с ним попрощались.

Потом я лежал на третьей, багажной полке, другой мне не досталось, так как я ворвался в вагон почти последним. До меня долетали храп, стоны, бормотание уснувших людей, было душно, я долго не мог отойти, и резала слух острая, как лезвие ножа, фамилия Ремез...

Когда люди в вагоне проснулись, покончили с утренними хлопотами, написали чаю и заговорили о своих заботах, я стал у окна, за которым тянулись залитые солнцем августовские поля и перелески...

Мы встретились с Леной в больнице, в мрачном зале со сводчатым потолком, зал этот был похож на вокзальный, только скамьи со спинками были окрашены в белый цвет, а стены все те же — темно-зеленые, до недавних пор здесь размещался военный госпиталь, и на стенах еще висели старые «Боевые листки» и армейские плакаты.

Дождаясь халата, я оказался на скамье рядом с девушкой; я пришел навестить мать, а девушка, как выяснилось позднее, подружку из общежития. Тогда я еще не знал, что мать обречена, месяцы жизни ее сочтены, она и сама этого не знала, полагая, что распухшие железы на шее и под мышками — результат какой-то злой простуды и стоит отлежаться в больнице, как все пройдет. Она переносила болезнь терпеливо, ничего не просила у меня, считая, что той кормежки, что дают ей в больнице, вполне хватает для выздоровления, но соседки мне нашептали — ей нужны соки и недожаренная телячья печенка. Я выбрал свою стипендию за три месяца вперед — проректор расщедрился, подписал мне заявление как фронтовику, — загнал на толкучке отрез на костюм, который выдали по дополнительным талонам...

Мы вместе получили халаты и вместе стали подниматься по широкой мраморной лестнице, нам нужно было в одну палату. И вот



здесь, на лестнице, я разглядел ее большие глаза и эти совершенно необычные, густые, выбившиеся из-под вязаной шапочки медовые волосы. Меня удивило, почему студенты-медики, беспечно сбегавшие вниз, не обращали на нее внимания, и тогда я догадался: это ведь только я вижу и это — для меня.

— Как тебя зовут? — спросил я.

Она не удивилась, наверное, считала — наше долгое сидение рядом на скамье давало мне право на такой вопрос.

— Леной, — ответила она. — А вас зовут Костей. Мы здесь вместе были три дня назад, и я слышала, как вас называла ваша мама.

Я не помнил ее, и сделалось досадно: как же это я мог не помнить?

— Ты где живешь?

— В общежитии, — сказала она, — во втором университетском.

— Я провожу тебя после больницы?

— Я буду рада.

Мы подошли к широким дверям палаты, я отворил их, пропуская вперед Лену, и сразу же увидел мать, сидящую на койке неподалеку от окна; она смотрела, как я входил вместе с девушкой, и судя по тому, как ослабли ее плечи, по тихой улыбке, раздвинувшей ее синие губы, она давно ждала меня. Я обнял ее, поцеловал, сказал, что у нее прекрасный вид, хотя кожа на ее лице еще больше пожелтела; и пока ставил на тумбочку банку с вишневым соком и миску с печенкой, без умолку рассказывал, какие чудеса со мной случились за те три дня, что мы не виделись: я превзошел всех на семинаре, наконец-то мне удалось блеснуть эрудицией; получил дополнительные талоны на бесплатное питание; все девочки курса от меня без ума — я придумал множество подробностей, пока сидел внизу на скамье, так было всегда, потому что я знал: главное — вылить как можно больше новостей, мать сама была выдумщицей и очень ценила, когда ей рассказывали. Она не верила ни одному моему слову, но слушать ей было приятно.

Рассказывая, я почти не сводил глаз с Лены, она села на табуретку рядом с койкой своей подруги, толстошкой черноволосой девушки, поставила на тумбочку граненый стаканчик с медом — царский подарок по тем временам, — и они оживленно зашептались.

Мать все замечала.

— Ты ее давно знаешь? — Она спросила серьезно, и отвечать надо было серьезно.

— Я ее еще не знаю.

— Узнаешь, — твердо сказала мать и тут же добавила: — Она мне нравится.

С тех пор я верю в чувство провидения у смертельно больных людей...

Мы вышли с Леной из больницы в час синих сумерек, улица скрипела от быстрых шагов прохожих, высокие сугробы на газонах светились морозными звездами. Лена подняла меховой воротник пальто, я сразу почувствовал, как холод охватил мои обмороженные на войне ноги — сапоги еще были армейские, яловые, с заплатами на головках, вообще-то ходить в них было тепло, но в этот вечер ударил сильный мороз.

— Давайте на трамвай сядем, тут всего-то три остановки.

Мы стояли на задней площадке вагона, где стекла обросли морозным налетом; на пушистых бровях Лены и над верхней чуть вздернутой губой заблестел иней; она дула в шерстяную варежку, пытаясь согреть пальцы. А глаза были веселые.

— Вот и прогулка, — рассмеялась она. — Может быть, зайдем

к нам в общежитие чаю попьем? А то в таких сапогах и до дому не доберетесь.

— Ничего, я привык. Но на чай забегу.

Пока мы поднимались на второй этаж по лестнице, Лена объясняла: главное — обойти коменданта, свирепую женщину по прозвищу Старуха Извергиль, которая сама любит дежурить на входе и не терпит посторонних; правда, общежитие у них смешанное, в одном коридоре комнаты и для мальчиков и для девочек, это облегчает задачу. Нам повезло, хотя на Старуху Извергиль мы наткнулись сразу же. Высокая сутулая женщина с хищным горбатым носом стояла в теплогрейке, подбоченясь, седой клок волос выбивался у нее из-под темной «пиратской» повязки, но смотрела она не на нас: по широкому коридору двигалась процессия в белых простынях, с зажженными свечами, распевавшая нечто траурное, передний нес на палке фанерный щит, на котором была изображена крыса, перечеркнутая красным, а рядом с ним несколько ребят держали мышеловки и большую кастрюлю с нарисованными на ней черепом и костями, обозначавшими яд.

— Что это?

— Противомышиный поход. Мальчишки устроили, — рассмеялась Лена, кивнула на застывшую в изумлении Старуху Извергиль, взяла меня за руку и быстро повела по коридору.

Комната, в которую мы вошли, была просторной, с высокими потолками в старой, потрескавшейся лепнине, здесь стояло кроватей двенадцать и столько же тумбочек, два облупившихся шкафа и большая, покрытый клеенкой стол посредине. Лена сказала громко:

— Девочки, а у нас гость.

На меня посмотрели кто с любопытством, кто с насмешкой, но без всякого удивления — наверное, сюда часто наведывались гости.

Мы сидели за длинным столом вдвоем, пили крутой чай с душистым медом, и Лена рассказывала, как жилось ей здесь: сейчас ничего, сейчас хоть нет инея на стенах в морозы, только вот мыши одолевают, но и за них взялись, а еще год назад она просыпалась по утрам и плакала, отдирая от железных прутьев кровати примерзшие волосы; она смеялась, вспоминая, как готовились к семинару в бане. Я слушал ее, и плыли передо мной большие чистые глаза, и когда я оглянулся, то увидел, что в комнате нас только двое; я взял Лену за руку, впервые ощутив в своей ладони эти удивительно гладкие пальцы, и сказал:

— Ты мне нравишься... очень.

— И ты мне, — сказала она.

С того дня, морозного, неудобного, как и вся тогдашняя жизнь в продуктом сквозными ветрами городе с черным снегом от заводской копоти, с того самого дня я постоянно ждал встреч с Леной, и наши прогулки в оттепель, свидания в небольшой комнате, где так долго мы жили с матерью, — все это соединялось в нечто радостное и светлое. Однажды я сказал ей:

— Переезжай ко мне, будем жить вдвоем. Когда вернется мама, она обрадуется.

Лена переехала. И дни слились в моей памяти в один долгий-долгий день. Мы жили, не замечая порой, что у нас не было то хлеба, то теплой одежды, то денег.

— Хорошо бы жить так, — говорила Лена, — никакого дома, никакой квартиры. Приехали, поработали в этом городе, а потом на другой край страны. Надо жить как путешествовать. Всегда начинать сначала.

А в другой раз она говорила

— Лучше всего, чтобы было много детей. Каждый со своим характером и каждый чтоб умел то, чего не умеем мы. Вот тогда это будет настоящая семья.

Или еще:

— Ты должен стать великим инженером. Чтобы все говорили: «Вон идет Костя Голиков, создатель небывалых машин». А я буду знаменитым журналистом, и все статьи о тебе напишу я.

Иногда мне удавалось заработать, в основном чертежами, тогда мы покупали хорошую еду, подкармливали в больнице мать, а дома устраивали пир; мы никого не звали в гости.

Мама умерла в начале марта. Мы хоронили ее вдвоем. Весь день не утихала влажная метель; двое пьяных кладбищенских дядек и мы с Леной зарыли яму, забросали ее комьями мерзлой глины, на холм быстро нанесло липкого снега. Небо над старенькой часовней было низкое и серое, и мне, повидавшему за свою недолгую жизнь так много смертей и в блокаде Ленинграда и на длинном пути до прусских городков, казалось, что кончилась жизнь. Лена подхватила меня под руку и повела к воротам кладбища.

Потом мы лежали, стараясь согреться, влажная вьюга еще гуляла по улицам, порывы ветра бились со звоном об оконное стекло, швыряя на него снег; гудел завод моторами, поставленными на испытательный стенд, он и прежде так гудел, и это было похоже на то, словно двигались по мостовой бесконечной колонной танки, мы давно притерпелись к этому гулу и не замечали его, но теперь он давил на уши; и от воя ветра и гудения моторов все казалось вокруг непрочным. Лена прижалась ко мне, обняла и заплакала.

— Я хочу ребенка,— сказала она сквозь слезы.— Я очень хочу ребенка... Мы можем умереть. Тогда останется ребенок.

Вот как это было...

Сошел я с поезда в час ночи, моросил дождь, и на платформе пахло гнилым деревом и свежеиспеченным хлебом; сразу за вокзалом начиналась непроглядная тьма — ни огонька, ни искорки; мне надо было дожидаться утра, чтобы отыскать попутную машину до городка. Я прошел в зал ожидания, здесь тускло светила лампа и на нескольких скамьях спали люди, подложив под голову кто мешок, кто чемодан. Я нашел свободное место, устроился и быстро уснул под плеск дождя, но проспал недолго: сильный луч фонаря ударил по глазам.

— Документы пр-р-рошу! — прозвучал рядом раскатистый голос.

К тому времени я уж прошел через множество проверок и знал, как вести себя.

— А ну убери свет! — в свою очередь приказал я.

Фонарь погас. Передо мной стоял человек в малиновой железно-дорожной фуражке.

— Документы тебе? — спросил я.— Ну-ну... А по какому праву? Ты что, милиция?

Мужик этого явно не ожидал; видимо, до сих пор ему приходилось иметь дело с людьми покладистыми.

— Велено проверять,— теперь уже не очень твердо сказал он.

— Ну ладно. Иди-ка ты по своим делам, а мне недосуг с тобой.

Я снова стал укладываться на лавку, убежденный, что теперь он отвяжется, но едва я опустил голову на чемодан, как снова снопик света ударил по глазам; я вскочил, намереваясь выбить из рук мужика фонарь, но промахнулся и едва удержался на ногах. Он захохотал.

— Ну чего тебе?! — прокричал я.

— А я тебя признал,— снова захохотал он; смех у него был дразнящий, рассыпчатый.— Ты в мае билет у меня выпрашивал. Аль забь? Хочешь, скажу, кто ты? — И тут же гордо выпалил: — Ленки Сапожниковой мужик!

Теперь уж я взгляделся в него, но вспомнить не мог, хотя и вправду в мае я приходил к кому-то сюда за билетом, теца мне говорила — бывший их сосед на станции в начальниках ходит.

— А ты не сосед ли их будешь? — спросил я.

— Со-о-осед! — радостно, певуче произнес он.— Я тоже, чай, Сапожников. Так что мы вроде с тобой свои. Айда-ка в конторку ко мне, чего тут разлегся?

Не успев закончить фразу, он подхватил мой чемодан и устремился к двери в конце зала. Я поспешил за ним.

Едва мы переступили порог дежурной комнаты, где на стене висели какие-то приборы и массивный телефон, как Сапожников быстро спросил:

— Десятку найдешь?

— Найду.

— Давай-ка,— озабоченно сказал он и быстро спрятал деньги в карман.— Тут побудешь. Поездов все равно до утра нет, я раз-два — в пекарню сбегая, кой-чего принесу.— И от порога крикнул: — Я сей минут!

В самом деле, пока я оглядывался, курил, он вернулся, весело поставил на стол бутылку с мутным самогоном, положил краюшку еще теплого хлеба, достал из стола граненые стаканы, сало, соленые огурцы.

— Врежем за встречу, а?

Пить мне не хотелось, но деваться было некуда, да и видел я: от этого Сапожникова не отвяжешься. Мы выжили, самогон был злой, не только у меня, непривычного, а и у Сапожникова выбил слезы из глаз, и тот громко отфыркивался, чавкая при этом огурцом.

— Хо-о-о-р-роша,— бодаясь, выдавил он из себя.— Хлебная.— И тут же опять радостно захохотал.— А здорово я тебя признал! У меня память ух какая цепкая! Особо на своих. Ты ведь у нас живал, знаешь: кто до речки живет — городские, кто за речкой — сельские. Одни рубли получают, другим палки по трудодням метят. Такой контингент Ярск имеет... А ты что, ребятенка небось поглядеть?

— Ты и это знаешь? — удивился я.

— А как же! — гордо ответил он.— Петька Сапожников, он тут вроде бы буфер промежду большим миром и своей околицей. Ярск-то наш из торгового села городком стал. До войны в нем, кроме районного начальства, хлебопашцы да скотоводы жили, ну, бойня была, ну, мыловарня, а в войну вот завод запасных частей соорудили, для танков, стало быть, потом на трактора переключились, смешанное население стало, и не поймешь: то ли сельский город, то ли городское село... А девка хорошая у тебя родилась. Я видел. Палец ей сунешь, цепко хватает. Жить будет. Я знаю, какие жить будут, какие помрут... Ну, давай мы за твоего ребятенка. Пусть будет здорова... У-ух ты! Хо-о-о-р-роша. Да ты пей, не сомневайся, я тебя утром Долгоголову на грузовик посажу, он мигом домчит. Каждое утро тут бывает грузовик. Только ему на тот груз плевать, он, если надо, лишний рейс делает, были бы пассажиры. Вон такую ряху отъел. Нет сейчас в наших местах людей богаче шоферюг! Тыщами гребут. Людей налево возят, да опять же, народ строиться начал, обязательно кому чего подвезти надо, кому лесину, кому кирпич. Ну ты скажи, как все на свете перепуталось: Долгоголов пять классов кончил, а богатеи богатеи. Рядом, однако, генерал живет, так у него голым-голо...



— Какой еще генерал? — удивился я.

— Самый натуральный. Правда, говорят, он по штатским делам, но все одно в чинах... Да вообще-то о нем всякое говорят. Как же ты его тут в мае-то не видел?.. Он как в день победы ордена надел, веришь — от горла так до пояса, я столько орденов сроду не видал на одном человеке. В чайную вошел, бутылку себе заказал, чтоб праздник отметить, так всех из этой чайной как ветром сдуло, а он сидит один, из стакана тянет да песни поет. Директор завода и то его боится, хотя он всего в мастерах работает. Да, небось испугаешься... Ты чего не пешь-то?

— Хватит. Не могу больше. Устал я, поспать бы часок.

— Ну тогда ложись. Вон там шинелька моя черная, расстели и ложись. Я тоже покомарю.

Я устроился на скамье, Сапожников погасил свет; я заснул быстро под щелчки приборов, и мне сразу же приснился генерал в полной форме, он командовал несметным количеством грузовиков; проснулся я быстро, все тело зудело, вскочил, зажег свет — по стене поползали клопы.

— Ты что? — встрепнулся Сапожников, но тут же понял, в чем дело. — Развелось тут этих автоматчиков. Я их керосином и соляркой — не берет. Да ты ничего, ложись, притерпишься. — Он отвернулся к стене и захрапел.

Я вышел на крытую платформу, дождь перестал, хотя еще капало с крыши; за длинным товарным составом пробилась мутная желтая полоса скорого рассвета, ночь поредела, засинелось. Я сел на скамью, вдыхая теплый парной воздух. Неподалеку от меня сидели две женщины и по-раннему завтракали крутыми яйцами и свежими огурцами, густо посыпая их солью. Я лег на скамью и не заметил, как уснул. Когда проснулся, женщин уж рядом не было, а передо мной стоял Сапожников и радостно хохотал.

— Да вставай ты, вставай, — весело говорил он. — Вон Долголобов дожидается, полон кузов баб насадил.

На площади у самых ступеней стоял грузовик, плотно набитый женщинами. Возле кабины ждал краснолицый мужик с небольшим брюшком. Поставив начищенный сапог на подножку, он смачно грыз яблоко и насмешливо смотрел на меня.

— Этот, что ли? — спросил он у Сапожникова.

— Он самый, — ответил Сапожников.

— Ну садись, — сказал мне Долголобов и крикнул в кузов: — А ну сдвиньтесь, бабоньки, дайте место студенту!

Его тотчас послушались, я залез в кузов, и мы тронулись, я едва успел махнуть Сапожникову.

— Свидимся скоро! — крикнул он мне вслед.

Потянулась длинная степная дорога, сверкающая лужами, было солнечно и уж порядком припекало, по обеим сторонам дороги шли поля то с колючей стерней, то с хлипкими хлебами, промелькнул старенький комбайн, возле него возились чумазые мужики.

Я вглядывался в поля и вспоминал, как был здесь в мае, погода стояла жаркая, сухая, дорога была как каменная, и над полями слабый ветер крутил колючую пыль; мы ехали на каких-то зыщиках, Лену мутило, и я уговаривал ее потерпеть, а бабы рядом вздыхали, жаловались, что по весне еще не было дождей, сушь, вот отсеялись, а ничего не всходит — быть недороду. А на следующий день я сидел на крыльце избы и увидел, как по твердой дороге шли женщины, впереди несли икону, а сразу же за ними в черном монашеском одеянии двигалась старуха, то был крестный ход, женщины молили о дожде, попа в округе не было, и отыскиали они в городке старую монашенку,

которая помнила эту службу. Мать Лены, увидев из окна ход, выско- чила из дому. Ход двигался не в сторону Ярска, а от него. Лена вышла на крыльцо, я спросил: «Куда они?» «А вон к ручью. Во-о-он, видишь, где ива растет. На том месте когда-то часовня стояла». Когда Ленина мать вернулась домой, я спросил: «Вы что, Наталья Михайловна, ве- руете?» Она застеснялась, сказала, махнув рукой: «Да кто его знает! Когда верую, когда нет. Дождь-то не льется. А вдруг поможет...» Дожди потом прошли, но хлеба выросли хилые...

Машина затормозила на площади.

Долголобов стоял у кабины и, никого не таясь, собирал деньги у баб, они подходили, подавая ему подготовленные десятки, он их пересчитывал, расправлял на коленях, если были смяты, складывал аккуратной стопкой; когда подошла моя очередь, Долголобов ухмыль- нулся, сказал:

— Со студентов не берем. За тебя Петька Сапожников со мной сочтется.

— Зачем же Петька? — рассердился я. — Возьми!

— Да брось ты! — хохотнул Долголобов. — Не ерепенься! У нас тут свои счеты... Ты вот лучше заглядывай ко мне, вон по правой улочке четвертый дом. Новый, железой крытый. Я страсть как люблю с учеными потрепаться. Так что ты не побрезгуй. Обещаешь?

— Зайду.

— Ну и на том спасибо.

Мне тащиться нужно было еще километра полтора, и я, вскинув на плечо чемодан, зашагал.

Видимо, меня опередили: когда я подходил к избе, увидел возле калитки тещу в новой кофте и новом платке; щурясь, она весело смо- трела на меня, а потом помогла снять с плеча чемодан, тут же чмокнула в щеку, приговаривая:

— Вот радость-то... вот радость...

Лена полулежала на большой деревянной кровати.

— Лена! Ленка! — крикнул я с порога и захлебнулся.

Лена подняла на меня глаза, она была бледна, и улыбка у нее была слабая. Она успела, прежде чем я шагнул к ней, предупреждающе приложить палец к губам и глазами указать на ребенка, и это сразу укоротило меня. Я подошел на цыпочках и замер, увидев крохотное, краснолицее, с закрытыми глазами существо, жадно чмокающее губками.

Лена опять взглянула на меня и опять улыбнулась, словно спрашивала: ну как? — а я не знал, что отвечать, я только протянул руку и погладил Лену по голове.

Вошла Наталья Михайловна с моим чемоданом и от порога ска- зала:

— Как девчонку-то крестить будем? А то живет на свете, а име- ни все нет. Непорядок. — Тон у нее был деловой и сварливый.

— Асей, — сказал я, — как маму.

Лена кивнула в знак согласия.

— Ну что же, Ася — это ничего, это хорошо, — согласилась На- талья Михайловна...

Так я приехал в Ярск, где началась моя недолгая счастливая жизнь и где вообще началось многое из того, что затем стало моей судьбой.

## Глава вторая

Сколько же этих городишек по России; чуть в сторону от боль- ших дорог — и обязательно наткнешься на поселение вроде Ярска, куда в давние времена съезжались на базары да ярмарки крестьяне

из окрестных сел, где ставились постоянные дворы, трактиры, мастерские, а то и мелкие заводчики; жили замкнуто, своих знали дотошно, чужих не любили, а то и боялись; а потом в городках все перемешалось, перепуталось и не разобрать было — кто свой, а кто чужой. Приставали к тихим берегам горемыки, намотавшиеся по свету в поисках удачи, заносило сюда вдов, сирот или тех, кому осточертела кутерьма больших городов, а в войну, если городок был в дальних тылах, оседали эвакуированные, среди них были учителя, врачи, музыканты, а порой люди такого мастерства, о котором прежде местные жители и не слыхали. Сейчас часть таких городков отстроилась, преобразилась, некоторые даже названия сменили, ну а есть и такие, что до сих пор как бы пребывают на обочине времени, хотя и в них бушуют свои страсти. Ярску повезло, в нем начали строить большой металлургический завод; старожилу, не бывавшему в нем с тех лет после Отечественной, его просто не узнать, ни одной старой улицы не найти. Однако ж в памяти моей жив прежний Ярск и чудесные дни конца лета сорок девятого года.

Наталья Михайловна была серьезной хозяйкой, и хотя после гибели мужа все ей приходилось тащить на себе, прежнюю славу, что двор их крепкий, нужды не знающий, она поддерживала рьяно и умело. Была у нее корова, несколько ульев, куры, огород, самой все это держать в порядке было трудно, и она нет-нет прибегала к помощи ярских мужичков, особенно заводских, и платила им то медом, то овощами, и пока они у нее трудились на хозяйстве, уходила в бригаду, в поле.

В день моего приезда вроде бы никого она не звала к себе, но к печи встала, напекла шанежек, пирожков, наверное, знала, что и без приглашения набегут в избу соседи. Так и случилось. Первой пришла Даша, высокая сильная баба с крупными чертами лица, увидев меня, еще от порога радостно вскрикнула:

— Ага! Мужик наш приехал! — И прижалась ко мне, трижды сочно поцеловала. Пахло от нее молоком и хлебом.

— Но-но-но! — пригрозила Наталья Михайловна. — Своего заведи, а уж потом кидайся.

— Своего теперь как заведешь? Года не те. Нынче мужик очень переборчив. Я вот Сталину письмо писать собираюсь, пускай он указ такой утвердит, чтобы нынче каждый мужчина себе не менее трех баб брал. А иначе от кого рожать?

— Была ты охальницей, ей и осталась, — погрозила Наталья Михайловна Даше, но глаза ее при этом смеялись.

Сразу же вслед за Дашей пришел, опираясь на костыль, в заносенной гимнастерке, одноногий Василий Сапожников, племянник Натальи Михайловны, он стеснительно пожал мне руку, стеснительно сел к столу; я знал, что у него трое детей, жену он прогнал, как вернулся из армейского госпиталя, прогнал за то, что путалась она с заводскими мужиками, об этом знала вся деревня, правда у мужиков у тех молоко на губах не обсохло, да ведь других, кроме стариков, в Ярске в те годы не видели. Выдворял жену Василий шумно и жестоко — гнал до моста ремнем, потом она пыталась пробраться в избу тайком, чтоб увести кого-нибудь из трех мальчишек, но он заметил, пальнул из охотничьего ружья, задел ей плечо; бабы ее обмыли, привели в порядок, пошли к Василию просить: пусти жену обратно, кто, мол, в эту проклятую войну не грешил; он сказал: «Я не грешил» — и, обычно добрый и покладистый, стоял упрямо на своем, не сдвинешь. Так с тех пор и живет с тремя пацанами, сам обмывает их, обстирывает, кормит, следит, чтоб хорошо учились, а бывшая жена уехала в большой город и как сгинула.

Пришел учитель Иван Митрофанович, узкоплечий, низенький, со сморщенным болезненным лицом, с большими мешками под глазами и седой бородкой клинышком; на нем был старенький пиджак, но хорошо отутюженный, заштопанный на рукавах; он долго жал мне руку, приветливо заглядывал в глаза, говорил:

— Рад, очень рад видеть вас в нашей отдаленной от цивилизации местности...

Он был единственным учителем в здешней начальной школе, ребята постарше ходили за реку в Ярск, где была десятилетка, а по четвертый класс учились у Ивана Митрофановича, он умел все — играть на гармонии, писать маслом картины, сочинять стихи и музыку к ним, и детишки к празднику разучивали его песни. Иногда он влюблялся в бывших своих учениц, когда они достигали зрелого возраста, писал им длинные любовные письма, в которые вкрапывал стихи, чаще всего над этими письмами смеялись, их читали по всем избам, но смеялись, как правило, не зло, а самого Ивана Митрофановича от этих насмешек оберегали. Однако случилось так, что в войну двадцатипятилетней девушка Сима, получив такое письмо, приняла его всерьез, пришла к Ивану Митрофановичу и сказала: «Я согласна». Он сначала испугался, стал объяснять, что любовь у него платоническая, а сам он всю жизнь холостякует и так, наверное, и будет холостяковать — к тому времени ему уж было под пятьдесят, — но Сима и слышать ничего не хотела, и Иван Митрофанович сдался, они расписались, прожили год, и все видели — эти двое счастливы. С Симой случилась страшная беда во время сенокоса: спускаясь со стога, она напоролась на вилы; спасти ее не смогли, и сам Иван Митрофанович едва выжил от такого горя...

Наталья Михайловна поставила на стол бутылку кислушки — так называли здесь брагу, сваренную на меду, кислушка была у нее особенная, славилась в округе, еще покойный муж ее, а он был знатным пасечником, придумал варить ее на хлебине — пыльце, которую откладывают в сотики пчелы, — установив, что эта самая хлебина имеет все свойства хмеля; кислушка от нее делалась крепче, сильнее, этот рецепт Наталья Михайловна берегла как семейную тайну. Лена тоже села к столу, хотя была еще слаба, но ей хотелось посидеть со всеми; ее называли ласково Ленушкой, и я видел — гордились ею: вот, мол, наша девушка уехала в большой город и кончает там университет. Я знал по первому приезду, что меня как мужа Лены не очень одобряли, видимо, считали, что такая девушка раз уж вырвалась в большую жизнь, то должна была и мужа привезти заметного, при каких-нибудь чинах, а не просто студента из политехнического института. Узнал я об этом мнении случайно. Шли мы с Леной по дороге, и повстречалась нам согбенная старушка, посмотрела на меня живыми, молодыми глазами, улыбнулась и сказала Лене: «Лишь бы месяц светил, а на звезды наплевать». Я ничего не понял, а Лена расшифровала мне эти слова.

Наталья Михайловна подхватила бутылку под мышку, наклонила ее, разливая по стаканам мутно-желтую жидкость, пахнущую польной горечью и медом, потом приподняла стакан, сказала:

— Ну, давайте за гостенька выпьем.

— Да какой же он гостенек! — громынула Даша. — Чать хозяин.

— Ну, до хозяина еще тянуть надо. — тут же отозвалась Наталья Михайловна. — Но ничего, даст бог, вытянет... За тебя, Костенька, будь здоров. И за дитятку нашу Асеньку... — Она выпила, сморщилась, замахала рукой, будто обожглась.

И все за столом выпили, только Иван Митрофанович чуть отхлеб-



нул из стакана. И как только выпили, заели шанежками и пирожками, оживились; Даша повернулась ко мне, сказала:

— Ты бы, Костенька, рассказал, как в городе большом живут. Там все же поближе к главному начальству, может, какие приметы на хорошую жизнь имеются?

— А тебе что, сейчас жизнь плохая? — спросила Наталья Михайловна. — Сейчас жизнь, по-моему, самая хорошая. Это тебе не война, за ту пору отстрадались, сейчас и вспоминать неохота, какая крутая жизнь была. Велик ли Ярск? А глянь-ка, в эти годы погост как разросся, на нем и эвакуированные с дальних земель полегли, заводские и наши... Голодом сколько людей повымерло. Про похоронки одни вспомнишь... Веришь, Костенька, в почтальоны никто не хотел идти, самая вредная должность была. А сейчас чего тебе, Даша, плохо?

— Чего плохо, чего плохо? Опять небось на трудодень ноль целых хрен десятых...

— Ах ты! — воскликнула Наталья Михайловна. — А ты без него, без того трудодня, не проживешь?

— Прожить проживу, а все же хотелось бы, как у людей...

— Ты сей миг цени, — вдруг грозно сказал Иван Митрофанович и почесал свою остренькую бородку; сразу примолкли — так уж привыкли, когда начинал говорить учитель, почтительно слушали. А он оглядел всех внимательно, словно хотел убедиться: вправду ли утихомирились? Кашлянув, важно сказал: — Ты, Дашуня, не ропщи, толку от того нет. Тут понимать надо — человек, он сам по себе великий и потому не может быть собой удовлетворен. Это еще древние умы отмечали... Ему всегда в себе тесно, и он пытается через себя переступить, чтоб заглянуть, а что там за чертой, лежит, может, там побогаче. Тут и есть главный смысл нашего существования — делать жизнь. Не роптать, Дашуня, а делать...

— А я не делаю, да? — спросила вызывающе Даша. — Да я за трех мужиков ворочаю.

— Не в том смысл, — поморщился Иван Митрофанович. — Я в общественно полезном смысле с тобой рассуждаю.

Даша опять хотела что-то сказать, но Наталья Михайловна так грозно покосилась, что Даша тут же прикусила язык. Василий не мигая смотрел на учителя, сжимая в широкой ладони стакан с кислушкой. А Иван Митрофанович теперь уж приподнялся, приосанился, бородка его поднялась кверху.

— Что такое богатый человек? Он богатый, когда даже в страдании умеет увидеть доброе и сотворить его... Как я, бывалочи, по Симе маялся, как страшно было, один брожу, ветры воют, в трубе гудит, а я мольберт возьму, красочки и сажусь писать... Вон в клубе плотно висит — «Симины яблоки», в ту пору мною писано, я сам через себя переступил, чтоб для людей было... Чтоб та радость, что Симой была мне дарована, другим передалась. И роптать не надо. Было у меня такое счастье, его, может, на всю жизнь хватит...

Он не казался сейчас низеньким, хилым, а словно и на самом деле подрос, и морщины на щеках его расправились. Прожил он с Симой всего год, но ему чудилось — то была долгая, долгая жизнь, наполненная только радостью. Он не успел закончить свои размышления, как Василий, крепко сжимавший стакан, рывкнул:

Гремя огнем, сверкая блеском стали,  
Пойдут машины в яростный поход...

Пропеть до конца куплет ему не дала Даша, зажала ладонью рот, возмущенно воскликнула:

— Это же надо такое орать!.. Ну, Наталья, давай-ка лучше нашу.

— А, давай,— вдруг весело встрепенулась Наталья Михайловна и покосилась на Ивана Митрофановича — не обижен ли он. Но тот не обиделся, пригубил стакан с кислушкой и выжидающе взглянул на Дашу. Она подперла ладонью подбородок, прищурилась и неожиданно легко вывела:

Соловей кукушку уговаривал:  
Полетим, кукушка, в дальние края...

И тут все дружно, словно дождались команды, подхватили:

Совьем мы, кукушка, себе два гнезда,  
Выведем, кукушка, себе два птенца...

Иван Митрофанович пел, прикрыв глаза, помаживая маленькой усохшей ладошкой в такт. Наталья Михайловна скрестила руки на груди и медленно раскачивалась, а у Василия оказался хороший бархатный голос — он, видать, был из тех певцов, что сами запеть не могут, а за другими тянутся. Лена, так же как и мать, пела, покачиваясь, самозабвенно отдаваясь песне, и я, не знавший слов, старался подтянуть, но так, чтобы не испортить общее пение.

Тебе куковьенка, а мне соловья,  
Тебе для забавы, а мне для пенья...

Я обнял Лену, она опустила голову мне на плечо, коснувшись тяжелыми волосами щеки; я и не заметил, как зажгла Наталья Михайловна керосиновую лампу, стекло на ней было склеено пожелтевшей и местами обгоревшей бумагой, длинные тени уходили в углы, мошкара вилась над огнем; было мне так покойно, так хорошо — сидеть бы вечно и слушать легко плывущую песню... Еще не успел смолкнуть последний ее звук, как звякнуло раскрытое окно, кто-то постучал о раму, необычно глубокий раскатистый голос, такой, что сразу заполнил всю избу, прозвучал с улицы:

— Добрый вечер, хозяева. Здесь пируют?

И все примолкли, затаились. Я почувствовал, что голос этот принадлежит не простому человеку, местные, яркие, не умеют так широко, весомо выговаривать слова. Еще какое-то время висела напряженная тишина над столом, пока в нее не ворвался торопливый голос Натальи Михайловны:

— Да заходите, заходите, Игнат Матвеевич, рады будем... Заходите же!

За окном прохрустели по каменной дорожке шаги, стукнула дверь. В избу, в полоску света вошел невысокий, худощавый человек; цепкие угольные глаза окинули взглядом сидящих за столом, несколько дольше, чем на других, задержались на мне, и почудилось, будто ожгло щеки этим взглядом.

— Добрый вечер,— сказал Игнат Матвеевич и улыбнулся; странная была эта улыбка, узкое лицо его с резкими, будто рубленными чертами высветилось на мгновение изнутри, блеснули ровные крепкие зубы.

— Проходите к столу, вон возле Костеньки местечко есть,— пригласила Наталья Михайловна.

На госте была полувоенная гимнастерка с накладными карманами, схваченная на поясе широким офицерским ремнем, мягкие, чуть скрипящие сапожки, он провел обеими ладонями под ремнем, расправил складки, пошел ко мне, прежде чем сесть, протянул руку, подождал, пока я назовусь. Ладонь у него была твердая и сухая.

— Голиков,— сказал я,— Константин.

— Очень приятно, наслышан.— Он пожал мне руку и добавил:— Ремез... Игнат Матвеевич.

Он сел, а я все продолжал стоять, глядя на его рыжие, стриженные ежиком волосы. Я не знаю, можно ли назвать это ошеломлением, но я как-то сразу поверил, что это и есть тот самый Ремез, «свирепый директор», тот Ремез, чье имя гремело во время войны в нашем городе, это о нем что-то пытался мне рассказать, провожая, начальник цеха Семен Андреевич Куликов, в памяти всплыло невнятное бормотание Петьки Сапожникова о генерале, проживающем в этих местах...

— Что вы стоите, Константин? Садитесь,— сказал он, и мне почудилась в его словах насмешка.

Вот тогда я его и спросил:

— А вы не тот самый?..

Закончить мне не дал Иван Митрофанович, он замахал сухонькой ручкой и, захлебываясь, выкрикнул:

— Тот самый!.. Тот самый, Костенька! У меня на постое... Квартирует...

— Да как же вы здесь-то? — не удержался я.

— Ну, это долгая беседа... Как-нибудь потом,— весело ответил Ремез и, приподняв стакан с кислушкой, который успела ему поставить Наталья Михайловна, сказал: — За новорожденную, так я понимаю? — Посмотрел при этом на Лену.

Лена сразу же ему улыбнулась, сказала:

— Асю.

— Прекрасное имя! — тут же воскликнул Игнат Матвеевич и стал пить.

Все сразу же потянулись к своим стаканам, словно поспешили ему угодить, даже Василий заулыбался, глядя на Игната Матвеевича преданными глазками, а Даша подтянулась, быстрыми движениями поправила на себе кофточку и прическу. Я сразу ощутил: Ремез здесь человек свой, его знают, с ним считаются, есть у него над всеми сидящими за столом власть. Когда выпили, подождали, пока он доест шанажку; он доел, вытер пальцы о полотенце и только после этого сказал:

— Песню я вам прервал... Хорошая песня.

— А мы новую начнем,— тут же предложила Даша.

— Новую так новую,— согласился Игнат Матвеевич.— А может, эту? — И сразу же запел густым, ровным голосом:

Есть на Волге утес...

Песню эту знали и подхватили дружно.

Вот так я встретился с человеком, который вторгся в мою судьбу. Спустя много лет после всего происшедшего я не могу это считать случайностью, у меня было много причин, чтоб уклониться от влияния Ремеза, но я не сделал этого, не бунтовал, не пошел на него войной, а смиренно поддался навязанным обстоятельствам, стало быть, я сам заслужил то, что произошло, признав события закономерными, и нашу первую встречу с Ремезом я не считаю случайностью, как нельзя считать делом случая рождение ребенка или внезапно постигшую тебя любовь — это вехи жизни, которых ты достиг, и ответственность за них лежит на твоих плечах.

В тот летний вечер ничего особенного не произошло, мы посидели за столом, попели песни, и гости наши разошлись, Наталья Михайловна погасила лампу, ушла в свой закуток, а я лег с краю на широкую кровать рядом с Леной и крохотной дочерью и забылся счастли-

вым сном, не помня о Ремезе и не размышляя более о том, как он мог очутиться в Ярске.

Я встретился с ним на другой вечер, но до этого что бы ни делал: помогал по хозяйству Наталье Михайловне, работы у нее для мужских рук накопилось много, забавлялся с маленькой Асей или просто отдыхал,— мысленно перебирал в памяти все, что слышал о Ремезе. Я знал, что он небывало круто повернул дела завода, превратив его из сугубо мирного предприятия в мощное производство военной техники, и с той поры о Ремезе сложилась слава как о человеке могучей воли, умеющем не спать месяцами, способном держать в уме наисложнейшие расчеты и тысячи фамилий рабочих, как о человеке, при котором самые отчаянные не решались заявить «нет» или «не сумею».

Я понимал, что молва о «свирепом директоре» преувеличена, но ведь не сами по себе родились эти ныне кажущиеся неправдоподобными рассказы?

...Заваливались дела на песчаном карьере — это был подсобный участок для завода, но без песка замедлялось строительство новых цехов; Ремез примчался на карьер, экскаваторщики подняли бузу, кто-то крикнул: «Сам тут поработай, а мы поглядим!» Ремез залез в кабину экскаватора, кинул на песок спичку и поднял ее полуторакубовым ковшом — никто из экскаваторщиков и не видел прежде такой ювелирной работы.

...Командующий одной из армий пожаловался в Государственный Комитет Обороны, что завод поставляет некачественные танки. Ремез с очередной танковой колонной прибыл на фронт и сам повел эту колонну в бой, танк его ворвался на немецкие позиции, подавил орудие, атака удалась, но Ремез получил ранение в плечо, велел доставить его к командующему армией, доложил как танкист, а потом сказал: «Не переваливайте, генерал, свои грехи на рабочих, они вам делают отличные танки, научились бы вы ими отлично командовать».

...Прибыло два вагона валенок для рабочих, фронт поделился с тылом. Ремез отдал приказ: все до одной пары тем, кто работает на улице в лютый мороз. А на следующий день созвал оперативку и увидел — кое-кто из начальников в валенках, поднялся, крикнул: «Становись!» — построил в шеренгу, приказал разуться, а потом: «По цехам марш!» — и двинулись босиком по хрустящему снегу, а что сделаешь — война...

Подобных рассказов о Ремезе ходило множество, в них можно было не верить, над ними можно было смеяться, но их передавали из уст в уста, как легенды, были даже особые специалисты представлять каждый из сюжетов в лицах.

Однако же с именем Ремеза связаны были не только различные побасенки, мы, студенты политехнического, знали, что Ремез — серьезный инженер, его технические решения отличались непохожестью на все, что существовало до него, и потому эти решения не всеми признавались и не всегда внедрялись широко в практику. Ну вот, например, всем известна была сварка, предложенная академиком Евгением Оскаровичем Патонем, когда он со своим институтом был эвакуирован на Урал; был разработан метод сварки под флюсом танковых корпусов и сконструирован знаменитый АСС — аппарат скоростной сварки. Это считалось чудом техники, необычайным открытием — так оно на самом деле и было, но мало кто знал, что Ремезом был предложен свой метод, он назвал его тогда «сваркой в среде защитного газа», применяли его только на нашем заводе, а настоящее распространение он получил лет через двенадцать после войны, это интересно еще и тем, что сварка вовсе не была специальностью Ремеза. Мы знали и о других смелых инженерных решениях Ремеза. Прав-

да, когда я учился на последнем курсе, имя Ремеза все реже стало упоминаться нашими преподавателями, пока не исчезло совсем; сначала это вызвало повышенный к нему интерес, забродили слухи один хлестче другого: Ремез застрелился у себя в кабинете... Ремез арестован... самолет с Ремезом взорвался в воздухе... Ремез снят с работы и отправлен в глубинку... Что-то еще говорили о его жене, о каких-то дачах, машинах, но я был далек от всех этих разговоров, не очень вслушивался и не очень вдумывался.

Тогда казалось, что в жизни таких людей, как Ремез, не было мелочей, а все свершалось по-крупному, там властвовал закон больших чисел. Впервые возникло во мне это ощущение на войне, когда к нам на наблюдательный пункт на высотке, где смердило от разлагавшихся трупов в нижней заболоченной траншее, пришел командующий фронтом с генералом, они пробыли всего несколько минут, отеснив нас в дальние проходы, смотрели в стереотрубу, совещались, а когда ушли, в бруствере остались запахи ароматного табака и другой, чистой жизни... Это потом я понял, как ошибался, понял, что расстояние от генерала до солдата может быть намного короче, чем от полковника до генерала. Но в ту пору во мне еще жило это чувство дистанции, и потому, когда Ремез сидел за столом в избе Натальи Михайловны, пел песни,пил кислушку и вел себя со всеми запросто, я не доверял ему, и, когда он ушел, мне показалось — от него остался в избе некий след загадочной жизни, как остался он от генералов на нашем наблюдательном пункте.

— Как он здесь оказался? — спросил я у Натальи Михайловны.

Мы вместе в это время перекачивали кадушку на солнышко, готовили ее под капусту.

— Это Игнат-то Матвеевич? — спросила она. — Да как оказался? Обыкновенно... Чем-то начальству не потрафил, его, стало быть, в мастера к нам на завод и направили.

— Да не может быть!

Я не мог представить, чтобы директора завода, так гремящего в войну, отправили на захолустный заводик запасных частей простым мастером. Но Наталья Михайловна на это смотрела иначе.

— Это почему же не может быть? — спокойно спросила она. — Очень даже может быть. Жизнь, она, Костенька, переменчива: нынче на коне, завтра на земле. Устойчивости в ней нет. Умный это понимает, ему и полегче бывает, когда вниз скатится. А тот, кто не понимает, так шмякнется — и не встать. Обыкновенное дело.

— А Игнат Матвеевич понимает?

— Наш-то? А как же! Он свой мужик. Он другими людьми не брезгует, ему и жить хорошо.

Она мыла кадушку изнутри, терла желтую твердую клепку вехоткой, рукава ее кофты были засучены за локоть, обнажая красные жилистые руки.

— И все же странно это, — проговорил я.

— Ты, Костенька, видать, еще по-солдатски на чины поглядываешь. А мы тут к разным людям привыкли. У нас в войну всякий народ пребывал. Тут с людей шелуха быстро спадала, и видно было, кто какой... Мы так привыкли: если человек настоящий, он и простой, а если он раздутый во все стороны и словечка в простоте не скажет, ему и жизнь тут невоготу...

Она оторвалась от кадушки, выпрямилась, отерла ладонью вспотевший лоб, откинула выбившуюся из-под косынки влажную прядку волос и посмотрела на меня такими же большими, как у Лены, глазами:

— Сходи к нему, Костенька, вечером. Может, тебе любопытно будет.

— Неловко как-то.

— Чего там неловко. Он, поди, рад будет. Любит, чтоб народ вокруг него гоношился... Вот как со смены придет, так и иди к нему. У нас ведь ваших церемоний нет...

Под вечер я понял: если не пойду сегодня же к Ремезу, то потом не прощу себе; вспыхнувший во мне интерес был так силен, что я победил робость и направился к избе учителя Ивана Митрофановича, что стояла поближе к мосту, почти у самой речки. По дороге я придумывал различные поводы своего прихода, но ничего мне не понадобилось, потому что, едва я подошел к калитке, как меня сразу же окликнул Иван Митрофанович. Он стоял на невысоком крыльце, сунув ладони за пояс штанов и вскинув кверху остренькую бородку, весело щурился, словно давно меня тут поджидал.

— Эй, Костенька, студент дорогой, милости просим к нашему огоньку! Заходи, заходи, рады будем!

Я поднялся, и он, семеня рядом, повел меня в избу; мы прошли полутемные сени, где пахло тяжело и затхло, и оказались в просторной комнате. Избу Ивана Митрофановича от времени скосбочило, а может быть, когда ставили сруб, плохо рассчитали, и теперь полы были наклонены от печи к окнам. Ремез сидел за широким дощатым столом, заваленным книгами и бумагами, но, как только увидел меня, поднялся навстречу, был он в гимнастерке без ремня, с расстегнутым воротом, смотрел весело и приветливо.

— А-а,— протянул он.— Прошу, прошу...

Но не успел я подойти к нему, как инициативу перехватил Иван Митрофанович; взяв меня под руку, он торопливо заговорил:

— Вы же, Костенька, у меня первый раз... Так взгляните, будьте добры, на стены. Так сказать, плоды трудов... В войну тут был один эвакуированный художник, хорошую оценку дал. Когда прощались, я ему картинку подарил — «Утром к дождю». Весьма доволен был... Ну, взгляните, взгляните, потом поговорим...

Мне пришлось отвернуться от Ремеза и оглядеть картины. Ими была увешана вся стена над кроватью, да еще висело несколько в простенках меж окон. Я плохо разбирался в живописи; правда, перед самой войной, когда был еще мальчишкой, пережил увлечение импрессионистами, но это была просто жажда познания. Картины на стене были очень яркими и мне не понравились, но я понимал, что обидеть Ивана Митрофановича нельзя; может быть, это понимал и бывший в эвакуации художник, хваливший его. Я похвалил, и он весь зарделся, помолодел, приосанился, бородка его, вздернутая вверх, проплыла по комнате.

— В Ярске музей открывается. Завещаю свои работы ему,— гордо произнес Иван Митрофанович.

А Ремез все стоял у стола, словно ждал, когда мы закончим осмотр картин, стараясь нам не мешать. Только потом я сообразил, что все это время он вглядывался в меня.

— Чайку поставить? — захлопотал Иван Митрофанович.— Я мигом. У меня примус имеется.

И, не дожидаясь нашего согласия, метнулся за перегородку — в «чулан» — и там загромыхал посудой; слышно было, как он накачивает примус, как разжигает его.

Ремез указал мне на лавку, сам сел на табуретку, широко расставив ноги, и откуда-то из-под бумаг достал трубку, прямую, хорошо отполированную, в нее уже был набит табак — наверное, он ее не докурив, сейчас раскурил заново, и в избе сразу же потянуло медовым

занахом. Почмокав красными губами — наслаждаясь вкусом табака, — Игнат Матвеевич спросил:

— Говорят, вы на нашем заводе практику проходили?

Он сказал «на нашем» так, что я услышал «на моем».

— Да, конечно, — ответил я. — У Семена Андреевича Куликова...

— Вот как! — оживленно воскликнул Игнат Матвеевич. — Ну и кем же он там?

— Начальник цеха...

— Всего-то! Ай-яй-яй. Пора бы и карьере делать.

Я не мог понять его интонации: то ли говорил он это серьезно, то ли вкладывал в слова насмешку; интонация ускользала от меня, как, впрочем, и все его состояние.

— Ну и что новенького на заводе?

Мне хотелось разрушить эту дистанцию между нами, установить хоть какой-то контакт. Я начал рассказывать, сначала неуверенно, потом все более распаясь, о том, как работает завод, какие новые цехи и линии появились за последние годы, а затем и просто заводские новости — кто куда назначен, кто куда передвинут, — то есть все, что успел я узнать за время преддипломной практики. За перегородкой гудел примус, закипал чайник, а я все говорил, и Ремез слушал меня не перебивая, оглаживая люльку трубки пальцами.

Иван Митрофанович принес чайник и бесцеремонно сдвинул на столе бумаги и книги, чтоб освободить под него место. Ремез и глазом не поведи, будто это его не касалось, наверно знал, что всегда легко разберется в своих записях. Иван Митрофанович достал мед, повидло, чашки, ловко разлил чай — в нем чувствовалась хватка человека, привыкшего к холостяцкому житью. На дощатой перегородке, отделявшей «чулан» от комнаты, висела шинель Ремеза без погон, добротная генеральская шинель, выходной костюм из темно-синего бостона на самодельных плечиках из ивовых прутьев, из-под кровати торчал чемодан, и на этажерке стояло несколько технических справочников — этим и ограничивалось имущество Ремеза. Но вместе с тем нечто неуловимое показывало — Ремез здесь не временный жилец, обосновался прочно. Вот это я ощутил отчетливо.

Он с удовольствием шумно отхлебнул горячего, густо заваренного чая, отложил в сторону, прямо в бумаги, погасшую трубку, зачерпнул ложечкой меду и стал его размешивать в стакане сосредоточенно и долго. Иван Митрофанович отпивал из стакана медленными глотками и молча поглядывал на него — видимо, он уже знал: в это время Ремез обдумывает что-то для него важное.

— Да-а-с, — наконец протянул Ремез. — Печально, однако, все, что вы тут рассказали...

А мне-то казалось, что я нарисовал довольно широкую картину перемен. И будто поняв мое недоумение, Ремез тотчас объяснил свои слова:

— Старый путь, старый путь. Мы проторили, по нему и бежит вагонеточка. А пора бы найти свое... А то какой же смысл? Старого директора убрали, пришли новые люди, а дорожка все та же и методы все те же, ни черта своего...

— Да что же может быть своего-то? — растерянно спросил я.

— А вот этого уж я не знаю, — ответил Ремез. — У меня было свое, и у тех, кто пришел вместо меня, должно быть свое. А какое — им решать. На то власть и ум даны... Ну, цехи расширили, линии новые пустили — это может каждый... Но что принесли нового, того, чего прежде не было? Что изобрели? Выходит — ни черта. Только продолжили прежнее. Скверно!

Последнее слово он произнес отрывисто, так, будто прихлопнул

ладонью по столу, и сразу словно придвинулся ко мне, я почувствовал его крутую волю и четче определились черты его лица — худые щеки без впадин, выдвинутый вперед, словно обрубленный подбородок, — черные, высвеченные изнутри глаза и колючий ежик рыжих волос. Такие же рыжие курчавые волоски были на широкой руке, покрытой мелкими ржавыми пятнышками. Эта рука казалась по-кошачьи мягкой, ласковой и даже беспомощной.

— План-то завод выполняет, — сказал я, но стоило мне наткнуться на его обжигающий взгляд, как я сам почувствовал — ляпнул глупость.

— Рад за него, — сказал он и усмехнулся.

Ремез допил чай, снова потянулся к трубке, раскурил ее и, выпустив струю дыма, посмотрел на меня и неожиданно улыбнулся точно так же, как в избе Натальи Михайловны, — лицо его осветилось изнутри и блеснули ровные крепкие зубы.

— Ну ладно, может, и разберутся, — будто отрешаясь от разговора о заводе, сказал он.

Слова его послужили как бы сигналом для Ивана Митрофановича; он встрепенулся, приподнял узкие плечи, болезненное лицо его покраснело от чая с медом, но мешки под глазами еще больше набрякли.

— Эта мысль, что каждый свое должен принести, чрезвычайно важная, как я понимаю, чрезвычайно... Тут, Костенька, давеча мы с Игнатом Матвеевичем рассуждали на эту тему очень серьезно. И такой вывод для себя отыскали — человек, ежели он хочет чувствовать себя свободным, должен понимать: то, что ныне существует вокруг него, — далеко не все. Без такого понятия он будет погружен в завершенную реальность, которую не должно ничем обогащать или преобразовывать. И она, эта реальность, для человека вроде бы клетка. А чтобы быть свободным, надо эту клетку разрушать, привносить в нашу реальность свое, дополнять ее. Вот какая это важная мысль, Костенька. Так я размышляю, Игнат Матвеевич?

— Близо, близо, — кивнул Ремез, покусывая мундштук трубки и все еще улыбаясь.

Иван Митрофанович обрадовался — ему показалось, что Ремез похвалил его, и он еще больше зарделся, еще выше вскинул бородку, а я внутренне вздрогнул, потому что уловил в словах Ремеза глубоко скрытую иронию. Я сразу же вспомнил вокзальный ресторан, потное лицо Куликова с желтыми, нездоровыми белками глаз и его сбивчивый, похожий на бред шепот о Ремезе. И я неожиданно сказал:

— Куликов меня провожал, говорил о вас.

Ремез ничего не спросил, он только посмотрел на меня, и во взгляде его я почувствовал вопрос: ну и что же? На него можно было отвечать, а можно было отмолчаться. Но я все же сказал:

— Ругал вас. Сильно.

Ремез мягко улыбался, все еще покусывая мундштук трубки. Иван Митрофанович, ничего не понимая, уставился на меня.

— Странно все получилось, — сказал я. — Перед отъездом меня провожает Куликов, ругает вас, так ругает, что мы чуть в милицию не угодили. Приезжаю сюда, а вы — тут. Почему вы тут?

Он не отвечал, трубка ему была не нужна, она давно погасла, но он держал ее у губ, смотрел на меня, поблескивая ровным рядом зубов, и был по-прежнему где-то далеко-далеко, дистанция меж нами нисколько не уменьшилась, и я не понимал, какой он, этот человек, я только чувствовал — ирония его теперь распространяется и на меня, а может быть, и на все окружающее:

— А ты что же, Костенька, и вправду не знаешь, почему здесь



Игнат Матвеевич? — нарушил молчание Иван Митрофанович. — Это же всем в нашем Ярске известно. Человек за справедливость мучается, — гордо закончил он.

Бедный Иван Митрофанович! Очарованный своим постояльцем, он готов был тотчас кинуться на его защиту!

Но я не сдавался, я лез напролом.

— Какую же это справедливость? — сурово спросил я.

— Местная легенда, — тотчас отозвался Ремез, голос у него был ровный, даже немного вялый. — Еще одна версия о распятом. Не сняли бы да не направили сюда — не говорили бы о справедливости.

— Но позвольте, Игнат Матвеевич... — вмешался было Иван Митрофанович.

— А чего позволять? — перебил его Ремез. — Я вам сколько раз говорил: формулировка приказа была четкой — за превышение власти. Возможно, это и соответствовало истине.

— Вот! — вскричал тотчас Иван Митрофанович. — Вы же сами сомневаетесь! «Возможно»... А народ у нас верит!

— Народ может верить, — опять перебил его Ремез. — Вера часто рождается из легенд. Увидели бывшего генерала в мастерах — и пожаловались. Как тут не пожалеть.

Он легко — спортивно — встал, прошелся по избе; покатые половицы закрипели под его шагами.

— Так что же еще вам говорил Куликов? — спросил он.

Я не ответил.

— О том, что я убил его отца, он промолчал?

— Это в каком смысле убили? — испуганно проговорил Иван Митрофанович.

— А в прямом, — ответил Ремез. — Странно, не говорил, написать он об этом написал. И ведь разбирали, долго разбирали... Впрочем, все это в прошлом. Мелочи. Пока ясно одно: мне нужна была остановка... Чертовски нужна была остановка, а то бы я сгорел дотла. Я ее получил... Пусть в такой форме, это уж детали, но получил. И слава богу... Видно, и впрямь все, что с нами случается, к лучшему.

Он подошел к окну, оперся руками о подоконник и так стоял долго к нам спиной, пока совсем не посинело в избе. Что-то было тревожное в этом его молчании, и я сидел, боясь разрушить его. Ремез оторвался от окна, вздохнул и неожиданно усталым голосом сказал:

— Засветите лампу, Иван Митрофанович. Мне бы еще поработать надо.

И я понял: пора уходить...

Сколько лет прошло с того дня, целая жизнь, а я помню все до мельчайших подробностей, хотя вроде бы ничего и не случилось в ту встречу — я так и ушел из избы сельского учителя, не сумев составить какое-либо представление о Ремезе; но именно в тот день и возникло у меня желание понять этого человека...

Если напрячь по сильнее память, то можно сквозь годы увидеть себя со стороны, увидеть себя на лавке в избе у Ивана Митрофановича — в клетчатой американской рубаше, полученной на промтоварные талоны, наверное, эта рубаша — остаток американских подарков, которые присылались в наши тылы к концу войны, она велика мне, сползает с худых плеч, но мне в ней свободно и хорошо, и кажется, что я похож на ковбоя, может, поэтому чувствую себя лихим парнем и могу дерзить Ремезу, открыто задавать любые вопросы... Нет, пожалуй, я себя чувствую так вольно потому, что все еще ощущаю за плечами войну, страшную, тяжелую, кровавую войну, из которой вышел я уцелев. В то время мне еще было плевать на одежду, я мог ходить в чем угодно и, наверное, в той рубаше и мятых, засаленных штанах,

стареньких ботинках скорее выглядел жалко и смешно, чем воинственно. Но думать про ковбоя я мог... вполне мог. Мир тогда существовал для меня как широко распахнутая, бескрайняя степь. Юность, убитая на войне, воскресала и требовала своей доли, хотя время ее отошло. Так мы и ходили по земле — мальчишки и старцы в одном лице, обремененные опытом, который не всегда годился в повседневном быту, а часто и мешал.

### Глава третья

Хорошо было, как же хорошо было вставать чуть свет, бежать по росной траве к мутной Яроньке, ловить рыбу, сидя на черных корягах, нянчиться с маленькой Асей, не переставая удивляться, как каждый день открывается новое в этом крохотном существе, ласкать притихшую, задумчивую Лену и помогать по хозяйству Наталье Михайловне. Это было главным в ту пору — чувство свободы, сытости и отдыха. Не хотелось думать — что там, впереди, когда вернемся в свой город, в свою небольшую комнату? Но полного покоя все же не было. Нет-нет да и врывалась в эту прекрасную жизнь чужая беда, которую так старательно я пытался отвести от нашего счастья.

Я проснулся раньше чем хотел, увидел в окно едва проклюнувшуюся зорьку за деревьями и все же победил в себе желание снова заснуть — надо было бежать на речку, с вечера ведь все приготовил для рыбалки; преодолевая сон, поднялся и тут же услышал возню в сенях, приглушенные голоса... Голова сразу же прояснилась. «Кто это? Чужие? Свои?..» Вот, оказывается, что меня разбудило. Я пошел босиком от кровати к двери, стараясь ступать неслышно на носки, подле печи под лавкой увидел колун, осторожно, чтоб не громыхнуть, взял его за гладкое топорщице. Остановился у порога... В сенях часто дышали, что-то ворочали и бормотали при этом, но слов разобрать было нельзя; то ли пытались утянуть, то ли ломали что-то... Я стремительно выбил ногой тяжелую дверь, она отлетела на хорошо смазанных петлях, и я почувствовал, как ударила по человеку, и там охнули от неожиданности. Я вскинул над головой колун и шепотом бросил в сумрак сеней:

— Стоять!

Тут же услышал знакомый голос Натальи Михайловны:

— Господи! Да что это ты, Костенька?..

Я сразу же опустил колун, поставил его у косяка и шагнул в сени, затворив за собой дверь, чтоб не проснулись Ленушка с Асей.

— У, мать твою! — раздалось из сумеречного угла. — Вот вдарил так вдарил, спина трещит. Ты что же, оглашенный, по-человечьи дверь открыть не можешь? Или так тебя приперло, что бегом надо, а?

На меня с распущенными волосами из-под сбившейся набок старенькой косынки шла соседка Даша. Она, видимо, испугалась моего неожиданного вторжения и от испуга сделалась грозной:

— Я вот тебе сейчас как вдарю — месяц чесаться будешь.

— Да укоротись ты! — прикрикнула на нее Наталья Михайловна. — Видишь, человек не разобрал. Может, думал, чужие по сеням шарят.

— Окромя своих, тут чужих нету, — проворчала Даша.

Дверь на волю была распахнута, и при слабом свете нарождавшегося утра я увидел в сенях на полу три тугих мешка. Их, видно, и ворочали женщины. «Что же они ночью-то? — подумал я. — Дня, что ли, не хватает?» И тут же сообразил: что-то тут не так, что-то делается тайное, скрытое от посторонних глаз. Через мгновение все и разъяс-

нилось. За порогом проскрипели тяжелые шаги, и в раскрытую дверь всунулось красное круглое лицо шофера Долголобова.

— Покруче, покруче, бабоньки,— шепотом проговорил он.— Еще Дашке надо завезть, да еще кое-кому, а вы тут возитесь... — Он заметил меня, сразу заулыбался, подмигнул.— Ага, студента вытащили. Это ничего, это хорошо... Пусть пособит. Хлеб и студенты любят.

Стоило ему это сказать, как я сразу же сообразил, что происходит: вывозят зерно с тока. Наверное, я бы и не догадался об этом, но еще на станции, когда пили самогонку с Петькой Сапожниковым и закусывали ее свежеевпеченным хлебом, Петька пожаловался: «Опять ныне на трудодень граммы давать будут, а может, и их подберут,— и тут же озабоченно вздохнул.— Надо бы в деревеньку податься, хлебцем запастись». «Это как же?» — спросил я. «А так же, как и все: ночью на ток да мешок в закуток». «Поймать могут». «Могут, да еще не ловили. Пока зерно не мерено, не вешано — его и брать... А так что же — без хлеба и останешься...»

Вот, оказывается, как это делается. А я еще слова Петьки воспринял как бахвальство...

— Дашка,— сказал Долголобов,— я у порога тебе скину и дальше поеду. Вас трое, за минуту подберете. А то неровен час — из Ярска кто нагрянет.

И он сразу же исчез. Я услышал, как от избы отъехала машина.

— Ну, что стоишь! — прикрикнула на меня Даша.— Подсоби мешки-то убрать, раз уж явился!

Но я не двинулся... Отвращение к любому воровству, внушенное с детства, взбудоражило меня, я был убежден: лучше умереть с голоду, чем взять чужое... Этому научила меня не только мать, но и война: не было страшнее преступления, чем утащить у своего брата-солдата пайку. Тот, кто осмеливался на это, надолго, а иногда и навсегда зачеркивал себя в глазах товарищей...

Отвращение мое смешалось со страхом: мгновенно почудилось — хлеб в мешках неизбежно найдут, и тогда быть Наталье Михайловне судимой; и я сразу представил, как поведут под конвоем эту немолодую, с добрыми глазами женщину. Злость усиливалась во мне.

— Да вы что! Да вас судить будут!.. Поймают же, поймают... И Долголобова и машину его наверняка видели. С ума вы, что ли, посходили?

Женщины застыли в недоумении.

— Ты что, Костенька? — тихо спросила Наталья Михайловна.

А Даша, опомнившись, шагнула ко мне, сказала тяжелым шепотом:

— Это за что же нас судить-то?

— Как за что?.. За воровство, конечно.

— Видала? — кивнула в мою сторону Даша.— Это, значит, мы чужое берем. Не мы, значит, хлеб этот сеяли, пололи, не мы жали... Сторонний дядя его растил, а мы на его кровное и позарились... Так, что ли?.. Да что ты в этом деле, сморчок, понимаешь? Пирожки да шанежки за щеку класть — вот что ты понимаешь. Ты погляди-ка, Наталья, весь колхоз себе по-божески зерно берет, и начальство это видеть не хочет, потому как начальство и само понимает — не может крестьянин без хлеба жить. А этот вон как заговорил... Ну иди, иди! — толкнула она меня в плечо.— Иди в район, стукни. На сигнал-то не смолчат. На сигнал быстренько прокурора пришлют. Вот тогда нам и под суд. Ну что стоишь? Иди! — Она снова сильно толкнула меня в плечо.

— Оставь ты его, Дашка! — прикрикнула на нее Наталья Михайловна.— Не знает ведь он наших порядков.

— А не знает, пусть не суется.— Она подбоченилась и опять заговорила быстрым злым шепотом: — Ты что думаешь: у нас душенька не болит, что свое же тайно с токов берем? Еще как болит! А иначе на какие шиши зимовать?..

— Нехорошо ты, Даша,— упрекнула ее Наталья Михайловна.

— А что хорошо-то?! — в сердцах сказала она и тут же круто повернулась, пошла к порогу.— Прощевай, Наталья, он тебе тут подсобит. А я пойду... Свое убрать надо.

Она презрительно глянула на меня и вышла за порог. На дворе совсем посерело, хотя солнце еще и не взошло. Даша сбежала со ступенек, и через минуту я услышал ее отчаянный озорной голос, она пела, как пьяная, разрушая тишину предрассветного часа:

Гуляй, гуляй, моя Дашуха,  
Да не влюбляйся ни в кого,  
В твои года любить опасно,  
Да ты завянешь, как трава...

Наталья Михайловна подошла ко мне и сказала просто, словно ничего и не произошло:

— Подсоби-ка мне, Костенька...

Только сейчас я увидел, что темные доски переборки в сенях были раздвинуты и за ними стоял широкий ларь с поднятой крышкой. В этот ларь мы и ссыпали зерно из мешков. Наталья Михайловна закрепила доски, навесила на гвозди пустые мешки. У меня было мутно и скверно на душе, я вышел на крыльцо, закурил... Уже хлопали по деревне калитки, мычали коровы — на дороге пастух собирал стадо; Наталья Михайловна отворила хлев, прогнала свою буренку и, удрившись с этим делом, села рядом со мной.

— Охо-хо,— вздохнула она и спросила: — Маешься?

Я не ответил.

— Ну помайся, помайся,— сказала она.— А то ведь зря ты Дашку-то обидел...

Про себя она не говорила, сама она, видать, обиды не чувствовала, будто мои неосторожные слова к ней никакого касательства не имели.

— Может быть,— сказал я.

— Не «может быть», а обидел,— теперь уж твердо настояла Наталья Михайловна.— Она, Костенька, за семерых в колхозе вороочает и никакой помощи со стороны не имеет. Мужик на войне сгинул, а дома две сопливые девки. Да и то сказать, молодой бабе как тяжело без мужика... Ну, была война — это ясно. Но нынче-то который год ее нет... А знаешь, Костенька,— вдруг оживидась Наталья Михайловна,— сходил бы ты в город, в магазин. Нам и мыла надо и соли, да взял бы там бутылку. Дашуня, она больше казенную любит, чем кислушку. Вот и угодил бы ей. А-то нам по-соседски с ней в ссоре жить нельзя. Пойдешь?

— Конечно,— согласился я.

В Ярск пришел я рано, но магазины возле базарной площади уже работали, я быстро купил все, что велела Наталья Михайловна, и собрался было в обратный путь, как взгляд мой скользнул по длинной вывеске над зелеными воротами: «Завод запасных деталей»... Я взглянул на проходную — там возле будки сидела на табуретке, пригревшись на утреннем солнышке, тетка в черной спецовке. «Такая не пустит»,— подумал я. И возникшая было мимолетно мысль теперь уж окрепла, и я знал — не даст мне покоя: «Надо проникнуть... обязательно проникнуть...» Не сам завод меня привлекал — я вспомнил о Ремезе, все еще не верилось, что такой человек, как он, может на

захолустном предприятии трудиться обыкновенным мастером. Мне хотелось посмотреть на Игната Матвеевича в цехе своими глазами... Я тут же прикинул: проходная проходной, но нет такого завода, который был бы окружен сплошной стеной без тайного лаза, где-нибудь да должен быть проход. И я уверенно зашагал вдоль каменной, плохо побеленной стены, вскоре ее сменил деревянный забор с рядами колючей проволоки наверху, дорогу мне преградил небольшой овраг, я спустился в него и увидел плотно утрамбованную тропку, ведущую к довольно просторному лазу под забором.

В этом дальнем конце заводского двора ржавели согнутые рельсы, шестерни, коленчатые валы; я миновал это запустелое место, поросшее сухим колючим бурьяном, и выпел к закопченной кирпичной стене цеха; двое рабочих-электриков возились с черными проводами. Я окликнул их и спросил:

— Как мастера Ремеза найти?

— А вот шагай в этот цех. Там найдешь,— сказал один из рабочих, даже не взглянув на меня.

Цех был старенький, скорее всего здесь прежде была мастерская, потом ее переделали, разрушив внутренние стены, чтобы расширить пролет,— местами торчал в проемах меж закопченных окон нестесанный, рваный кирпич. Станки стояли тесно, и я пошел проходом, оглябая тележки с готовыми зубчатыми деталями... Ремеза я увидел внезапно, чуть было не наткнулся на него, да вовремя отскочил. Он мало чем отличался от тех, кто работал у станков: на нем была сатиновая черная спецовка, изрядно засаленная, кепка, испятнанная мазутом, и на щеках мазутные пятна. Он возился вместе с пожилым рабочим, возле остановившегося станка. Ремез был сосредоточен, ковырял в станине отверткой и пыхтел при этом папироской — не трубкой, как у себя дома, а тонкой дешевой папироской, скорее всего «Ракетой». Он орудовал отверткой умело, и рабочий с надеждой поглядывал на него, видимо веря, что еще минуту-две — и станок заработает.

Я попятился к выходу... «Вот и все», подумал я и испытал разочарование. Не знаю почему, но когда я пробирался на завод, даже не сознаваясь себе, надеялся, что увижу Игната Матвеевича не мастером, а обязательно каким-нибудь начальником повыше.

Я дошел до выхода, чтобы перевести дух, огляделся; у ворот стояла черная от вьезшегося масла скамья. Тут же торчала вделанная в пол бочка с водой — то было место для курения, но никто, видимо, сюда курить не приходил, курили прямо у станков, как Ремез. Я сел на скамью, достал папиросы. Я курил, задумавшись, когда услышал над собой басовитый голос:

— Да никак Голиков! Каким же это чудом?

Я вскинул голову и увидел перед собой однокашника Степана Бортова — низкорослого крепкого мужика, почти без шеи, он стоял, опираясь на палку, и, улыбаясь, смотрел на меня.

— Вот это да! — воскликнул я. — Да ты-то что тут?

— Га! — удивился Бортов и как само собой разумеющееся объяснил: — А где же мне быть, если я на этом заводе директором?

Мы никогда особенно не дружили, вместе кончали школу, причем Степан появился у нас в восьмом классе. Правда, его сразу же заметили, несмотря на малый рост, он удивлял нас тем, что, заложив за пальцы гвозди, легко гнул их. В драках его боялись, под его ударом мало кто мог устоять. Мы были ровесниками, но когда я пришел в институт после войны, Бортов его заканчивал, потому что он отвоевался в сорок первом: был ранен в ногу и его демобилизовали после госпиталя. Воевал он в Севастополе в морских частях и студентом не

снял с себя тельняшку, выставлял ее напоказ, и сейчас тельняшка виднелась в распахе его белой рубашки.

— Постой! — воскликнул он и хлопнул меня по плечу. — А ты не к нам ли работать приехал?

— Да нет, — сказал я. — Мне еще диплом защищать.

— Ну вот защитишь и давай к нам! — радостно сказал он. — Я тебя на какую хочешь должность возьму.

— Спасибо, — улыбнулся я и тут же спросил: — Ты-то как в Ярске оказался?

— Легче легкого, — ответил он. — Я ведь ярский и есть. Это я у брательника в городе жил, чтобы, значит, хорошую школу кончить. А родители мои ярские. Вот я сюда и подался... А что? Тут все свои. Жить можно... — И тут же он хлопнул себя по лбу. — Ах я дурак! Все ясно. Ты же на Ленке Сапожниковой женился! Вот оно каким ветром занесло... Что же тебе Ленка про меня не сказала? Могла бы и сказать. Ну ладно. А что мы тут стоим? Пошли ко мне, — требовательно позвал он.

Мы быстро пересекли заводской двор, поднялись на второй этаж небольшого старенького дома, где размещалось заводууправление. Здесь все было, как на других заводах: приемная, секретарша за машинкой — пышная угрюмая девица, — две двери друг против друга, на одной надпись «Директор», на другой — «Главный инженер». И кабинет у Бортова был солидный — у стены стоял кожаный, с высокой спинкой диван, кожаные кресла подле большого, под орех, полированного стола и бордовый сейф.

— Ко мне никого! — крикнул он секретарше, пересекая приемную, и пропустил меня первым в дверь. — Вот так живем. — И довольно оглядел кабинет. Прихрамывая, опираясь на палку, он торопливо прошел к столу. — Сейчас мы с тобой за встречу по маленькой. — И достал из сейфа бутылку, разлил водку в стаканы, стоящие на подносе возле графина.

Мы выпили. Бортов вынул из ящика стола пачку больших белых таблеток, кинул одну мне.

— Мятные. Знаешь, чтоб запаху не было, а то еще куда вызовут.

— Меня не вызовут.

— А, ну да, — согласился он.

Он сел за стол, указав мне широкой крепкой лапицей на противоположную сторону в кресло, и я опустился в него, и сразу Бортов показался мне высоким, с выдвинутым вперед подбородком, и голос его вроде бы изменился, доносился до меня сверху, четкий и настойчивый.

— А все-таки ты, Голиков, подумай. Тут, в Ярске, жить хорошо. Головное предприятие. Все у нас в руках. Мы ведь расширяться будем. И насчет материального тут полегче. Семья же у тебя. И сыт будешь, и одет будешь, и денюжат подкопишь. Ленка кончит — в районную газету пойдет. Опять же свой человек в печати... Мы с тобой войны хлебнули, намаялись, нам сейчас очень хорошо жить надо. Так что думай, Голиков. Главный-то у меня — старый хрыч. Пооботрешься годик, себя покажешь — глядишь, я тебя на главного и выдвину. Вот и будем вместе ворочать... Запчасти сейчас к тракторам по всей стране дефицит. Да еще долго дефицитом будет. Тут к нам толкачи со всего Союза съезжаются. Так что говорю тебе — резон. Ты ведь не из тех, кто за большой город цепляется. Рестораны там всякие, театры. Тут тоже можно жизнь хорошую сделать... Ну, подумаешь?

— Подумаю, — сказал я, понимая, что если отвечу иначе, то могу его обидеть.

— Ну вот и хорошо, ну вот и чудесно, — обрадовался он. — Давай

еще по капле... Слушай, у меня вот тут яблоко есть. Все же закусь.— Он и вправду достал из стола большое яблоко, легко разломил его и протянул мне половину.

Мы еще выпили, и снова Бортов кинул в рот мятную таблетку, принялся интенсивно ее рассасывать, выпятив губы. Я сообразил: как раз пора спросить о Ремезе.

— Что же ты, Степан, с главным маешься, а у тебя тут такой могучий спец под боком, сам Ремез, а ты его не привлекаешь?

Бортов перестал сосать таблетку, заложил ее языком за щеку, внимательно посмотрел на телефон, сразу же перешел на шепот.

— Куда я его привлеку? Ты что?.. Понимаешь, что говоришь?

— А что особенного? — наивно спросил я.— Хорошего специалиста всегда не грех привлечь.

Бортов внезапно побагровел и провел по горлу широкой ладонью.

— Вот где у меня твой Ремез... Это же надо, такое мне подложили. Как вспомню, так у меня на сердце мутно!

— Что так?

— Ну а ты сам подумай. Такой, можно сказать, ас... Такой командир из командиров — и у тебя мастером. Поживешь тут спокойно? Я тебе честно скажу — уволить хотел. И повод формальный был. Сдал он, понимаешь, в ночной смене детали без отзка. Правда, брака не было, а все же... Конец квартала, он и сдал, чтоб план был. Я уж приказ написал, да райком не разрешил. Говорят, направили его к нам, пусть работает. Мало ли что еще может быть. Га! Подержат, подержат, а потом, глядишь, и в министры. И такое бывало... Тяжелый случай.— И он опять покосился на телефон.

— Ты что же, его боишься, Степан? — спросил я.

— Боюсь,— искренне признался он.— Нет, он так не баламутит. Вкальвает и вкальвает. И участок у него ничего, с перевыполнением... Только по праздникам страшновато, когда он свой ордена надевает. Сказать бы ему — не надевай, а то народ сбегается смотреть, да веловко.

— Ну а если нормально работает, так чего же бояться?

— А хрен его знает... Время-то сейчас какое, Голиков!

— Какое? Послевоенное.

— Вот то-то, что не простое. Ты погляди по газетам, что делается. То космополиты объявились. Теперь генетики разные.

— Ну а Ремез при чем?

— Пока ни при чем, а все может быть. Сегодня ничего, а завтра...

Он — у меня. Значит, мне и отвечать.

Открылась дверь, угрюмая секретарша, сунув голову в кабинет, сказала:

— Степан Тимофеевич, снимите трубку, райком...

— Ну вот,— вздохнул Бортов и покачал головой осуждающе,— нужен тебе был этот разговор.— И поспешно снял трубку, припал к ней всей щекой.— Слушаю, слушаю... Добрый день...

Ему что-то говорили, и он понимающе кивал, то и дело подтверждая:

— Так... Конечно... Так...

А закончив разговор, не взглянув на меня, подвинул к себе раскрытый блокнот и, прижав подбородок к груди, стал старательно что-то записывать, а я, наблюдая за ним, удивлялся: как же все действительно перепуталось в это послевоенное время. В год, когда вернулись мы по домам и пришли в институтские стены, верилось: наступила хорошая, устойчивая жизнь. И поэтому все восставало во мне против новых тревог.

Бортов поднялся, взял палку, сказал озабоченно:

— Мне в райком, Голиков. Извини. Но ты заходи, или я к вам подъеду. Ведь еще побудете?

— С недельку.

— Ну и хорошо,— согласился он.

Мы вместе вышли из заводууправления, Бортов сел в старенький «виллис», навверное переданный заводу какой-нибудь расформированной воинской частью — тогда многие предприятия обогатились машинами за счет военных. Бортов укатил, а я двинулся знакомой дорогой за реку, неся сумку, в которой лежали соль, мыло и бутылка водки для примирения с Дашей.

Но бутылка сгодилась на другой день и не для Даши. Соседка что-то к нам не забежала в тот вечер, а неожиданно-негаданно пришел Ремез. Он вошел в избу веселый, принес Лене три больших яблока сорта апорт, в наших местах таких не выращивали, значит, он купил их на базаре, и Лена так этим яблокам обрадовалась, что не удержалась, поцеловала его в щеку, а он засмеялся и, плутовато взглянув на меня, сказал:

— А я ведь к вам, молодой человек. Не порыбачить ли нам завтра вместе? У меня выходной. Глядишь, на ущицу наскребем. А?

— Конечно же, конечно,— ответила за меня Лена и повернулась ко мне, объяснила: — у Игната Матвеевича снасти хорошие.

— Да ведь тут и бредышком можно,— сказал я.

— Отчего же нельзя? Можно и бредышком,— согласился Ремез.

И мы словорились, что я разбужу его пораньше, вместе и отправимся вниз по Яроньке, там есть омут и место рыбное.

Так все и случилось. Я встал чуть свет, взял с вечера приготовленных червей и другую наживку, дошел до избы учителя, постучал в окно. Мне показалось, что Ремез уже не спал, потому что откликнулся сразу и быстро вышел.

Мы дошли с ним до омута. Снасти у Ремеза и впрямь оказались отличные — спиннинг и удочки, каких я прежде не видал. Каждый из нас выбрал себе место.

С рассвета хмурилось, казалось, вот-вот соберется дождь, облака над рекой тянулись набухшие, лиловые от встававшего за ними солнца, но дождь так и не пошел. Клев был хорош: я увлекся и не заметил, как стало припекать. И когда мы собрали вместе улов, то оказалось — рыбы у нас поболее полведра. Его мы и принесли ко двору Натальи Михайловны. Там было место на задах, где можно было разжечь костер, а то ведь какая уха, если она не на костре сварена.

Пришла к нам Лена, принесла казанок, и мы втроем принялись чистить рыбу. У Ремеза ловкий был нож, видно, кто-то сделал его по заказу, он чистил рыбу легко, умеючи. Вскоре и костерок запылал, и забулькала в казане ущица, такой пошел от нее запах, что и Наталья Михайловна прибежала, принесла с собой Асю, и здесь вот, у костра, мы и распочали мою вчерашнюю бутылку, запили водку горячей юшкой. Ремез весь лучился от удовольствия, он нравился мне сейчас, улыбался всем, пошучивал, чувствовалось — ему хорошо, свободно. И он спросил внезапно:

— А что, Костя, вчера на заводе делали?

А я-то думал, он меня не заметил.

— Однокашника встретил,— ответил я и, навверное, смутился при этом, потому что Лена удивленно взглянула на меня, и я поторопился объяснить: — Степу Бортова... Я еще в школе с ним учился. Знаешь его?

— А как же не знать,— вмешалась Наталья Михайловна.— Он ведь сюда когда на каникулы приезжал — за Леночкой ухаживал. Ве-



ришь, Костенька, часами под окнами выстаивал. Мы его про себя лыцарем звали... Что, Лена, иль неправду говорю?

— Правду, правду,— рассмеялась Лена.— Только я тогда совсем девочкой была. Он потом и забыл обо мне.

— Нет,— сказал я.— Помнит, обещал заехать.

— А ты не ревнуй,— строго сказала Лена.— Мало ли что было.— И тут же повернулась к Игнату Матвеевичу.— Он же директором у вас. Как он, ничего, справляется?

Ремез рассмеялся, вынул трубку, стал набивать табаком, уминая его крепкими пальцами, и ответил:

— Конечно, конечно.— И опять непонятно было, какой смысл вкладывал в эти слова.

— А вы сами-то хорошим ли директором были? — неожиданно спросила Наталья Михайловна.

— Хорошим,— тотчас ответил он.

— А мне вот удивительно, как это люди директорами становятся,— не унималась Наталья Михайловна.— Рассказали бы, Игнат Матвеевич.

— Ну что ж,— ответил он, посмотрел на меня, потом на Лену и кивнул,— расскажу... Все равно уж день такой...

И стал рассказывать...

Ему было тогда тридцать два — по тем временам возраст зрелого, солидного инженера, он и был таким, карьера его сложилась довольно легко: после института начал мастером, потом сменным, потом начальником цеха — ему удалось многое модернизировать, модернизацию заметили, о ней заговорили, а перед самым началом войны на заводе не стало главного инженера, и тогда выдвинули его. А в октябре, когда в город начали приходить эшелоны с эвакуированными и платформы с оборудованием, случилась та страшная беда, о которой потом вспоминали много лет в городе: у себя в кабинете застрелился директор завода Долгов. Ремез был первым, кто увидел Долгова лежащим на ковре в луже темной крови, с выкинутой вперед и полусогнутой в локте рукой, держащей пистолет. У секретарши началась истерика, а Ремез стал звонить в обком.

Почему застрелился Долгов, оставалось для него до поры до времени загадкой. Он плохо знал этого солидного человека, грузного, носящего моржовые усы, в которые вплелась седина. Долгов был неразговорчив, любил отдавать приказы круто и коротко, Ремеза к себе близко не подпускал, может быть считал, что тот слишком быстро выдвинулся. Во всяком случае, Долгов вызывал Ремеза только по делу, и тот, покидая кабинет, всегда чувствовал — директор им недоволен. Он еще сам к тому времени не привык к своей должности, все еще чувствовал себя рядовым инженером. Он любил покой и уют, любил книги, игру ума в технике и саму технику с ее бесконечными возможностями. Когда он проводил модернизацию в цехе, то решал перестройку как одну из хитроумнейших задач.

Сам он вышел из рабочей семьи, но его всегда тянуло к таким людям, как профессор Андрей Кириллович Куликов, он любил тишину его квартиры, стеллажи с книгами под самый потолок и самого Андрея Кирилловича любил, моложавого, хорошо одетого, любил пить с ним чай и слушать профессорские размышления не только о технике, но и, к примеру, о писателе Иване Бунине.

Он женился на аспирантке Андрея Кирилловича — все ходил, ходил к ним в дом, часто встречал ее там, а потом оказалось, что Людмила на него уже давно поглядывала, ей было двадцать шесть. К тому времени, то есть к октябрю сорок первого, у них была своя

квартира в доме заводских специалистов, они прожили года три вместе, и Людмила сумела все хорошо обставить.

Словом, он считал, что выдвигание его случайно, в какой-то степени тягстился новой должностью и не только чувствовал большое расстояние меж собой и Долговым, но и побаивался директора. Через час после того, как Ремез увидел труп Долгова на ковре, приехали на завод три работника НКВД, закрылись вместе с Ремезом в кабинете, стали его расспрашивать, но он ничего не знал. Он видел, что ему не верят, но ничем помочь не мог, ему пообещали, что вызовут на другой день, он всю ночь думал об этом, но вызова не последовало. А по заводу поползли слухи, что Долгов был неизлечимо болен, что его собирались убрать, а иные говорили — все дело в том, что он залутался в отношениях с черноволосой секретаршей, которая сразу же куда-то исчезла. Многие жалели Долгова, считали, что он хоть и грубоват, но добр и всегда радел за рабочего человека, ходил по утрам в магазины, столовые, проверял, чем торгуют, чем кормят, заботился, чтобы строили для завода больше жилья.

Ремез ждал, что вот-вот пришлют нового директора, но его все не присылали, а дел было много, и он ушел в них, пока однажды его не вызвали срочным порядком около десяти вечера в обком. Был уж ноябрь, в тот год ранняя выдалась зима, задули с гор морозные ветры, городской пруд застыл, сверкал черным льдом, и по дороге мело колючим сухим снегом. Все окна обкома были освещены — здесь работали и ночью, — он вошел в просторный, хорошо натопленный вестибюль, где его знали постовые и тем не менее внимательно проверили документы, предложили подняться на третий этаж к первому. Он взбежал по лестнице, миновал приемную и вошел в кабинет секретаря; ему бросилось в глаза, что все находящиеся здесь — а в кабинете было человек пять, в том числе и первый секретарь, широкоплечий массивный человек в стального цвета полувоенной гимнастерке и белых бурках, — стоят и молча смотрят на лежащую на зеленом сукне стола телефонную трубку.

— Здравствуйте, товарищи, — громко сказал Ремез.

Но ему не ответили, первый секретарь кивнул на трубку и шепотом сказал:

— Возьмите...

Он шагнул к столу, сразу почувствовав скованность, но не столько оттого, что ему предстояло взять эту лежащую на сукне трубку, а от атмосферы общей напряженности, царившей в кабинете, он видел застывшие, набрякшие от ожидания лица. Он взял трубку, крепко сжал ее, приложил к уху:

— Слушаю.

И тотчас ясный голос спросил деловито:

— Товарищ Ремез?

— Да, я.

— Одну минуточку...

И наступила тишина, в трубке раздавалось слабое пощелкивание и вместе с тем неясный шорох, такой, когда ветер шевелит на столе листы бумаги; молчание затягивалось, Ремезу показалось, что у него онемела рука, наконец он услышал тот же вопрос:

— Товарищ Ремез?

Но теперь его произнес усталый голос с акцентом, произнес неторопливо, словно раздумывая, а стоит ли вообще говорить.

— Я слушаю...

На том конце провода помедлили и так же устало и неторопливо произнесли:

— Сколько вам нужно времени для того, чтобы завод начал выпускать танки?

Если бы он не слушал так внимательно, то вряд ли разобрал бы все слова, часть из них проглатывалась говорящим, а может быть, такая была слышимость по телефону... Ремез не был готов к этому вопросу; правда, еще в июне на завод приезжала группа инженеров из Москвы, чтобы прикинуть, как можно перестроить предприятие под производство танков. Они посоветовались и уехали.

Ответа ждали, и у него не нашлось иного:

— Не знаю.

Как только это произнес, увидел — тревожно метнулись глаза у первого секретаря, он подался было массивным корпусом вперед, словно хотел вмешаться в разговор, но сразу же качнулся назад и замер. И опять наступило долгое молчание на том конце провода, тихое пощелкивание и шелест, как слабые порывы ветра.

— Комитет Обороны располагает данными,— донеслось до Ремеза,— что к вам поступили часть оборудования и личный состав ленинградского и харьковского заводов. Мы ждем от вас как от директора энергичных действий... — На какое-то мгновение голос прервался и теперь уж звучал так, словно поборол усталость, отделяя каждое слово друг от друга, и акцент стал явственней, тверже.— Через два месяца завод должен дать танки. Все понятно, товарищ Ремез?

Он хотел сказать, что он вовсе не директор да и вообще не может представить, как за два месяца можно перестроить завод, чтобы он начал массовое производство боевых машин, это значительно труднее, чем построить новое предприятие... Но ничего такого он не сказал, потому что тут же сообразил: стоит чуть-чуть заколебаться — и он пропал; идет война, немцы двигаются на Москву, и сейчас может быть только один ответ, который и нашелся тотчас:

— Понятно.

— Желаю успеха,— прозвучало в трубке, и тут же в ней что-то щелкнуло, но никаких гудков не раздалось, а по-прежнему шелестело где-то вдали.

Ремез еще подержал трубку — не скажут ли ему чего-нибудь еще,— а потом понял: разговор окончен. Он положил трубку.

И сразу же в кабинете люди пришли в движение, кто-то закурил, кто-то задвигал стулом, и первый секретарь сказал:

— Садитесь, товарищ Ремез.

Но он все еще продолжал стоять.

— Садитесь, садитесь,— уже мягко, как близкому человеку, сказал секретарь.— Нам надо выслушать вас, Игнат Матвеевич.

И тогда он сообразил, что с этого самого мгновения не может терять ни минуты, он должен действовать, и действовать стремительно, время начало свой отсчет, и каждое мгновение приближало к конечному сроку... два месяца... шестьдесят дней...

— Завтра,— сказал он,— к полудню я сумею доложить,— ответил он.— А сейчас...

Секретарь не стал возражать, видимо он все понял с полуслова.

— Хорошо,— сказал он.

И Ремез вышел из кабинета.

Так началась эта долгая, долгая, как целая жизнь, ночь, когда нужно было принять одно из двух решений: или выйти за пределы возможного, начать все заново, не имея за спиной прошлого, а только будущее, которое надо было еще создавать, или же покончить счеты с жизнью, как сделал это у себя в кабинете Долгов,— таков был выбор, иного не дано. Понял, однако ж, Ремез это не сразу, не вдруг, потому что стремление к действию на первых порах оказалось сильнее

размышлений. Он вышел из обкома в сухую раннюю вьюгу ночи, сел в машину, приказал шоферу мчаться на завод, и машина вырвалась на пустынную улицу, черной тенью пролетела мимо затаившихся в тревоге домов, предупреждающе сигналила на перекрестках.

В приемной сидел дежурный — тогда установили дежурство инженеров в директорском кабинете, — и случилось так, что в ту ночь им был Семен Куликов, сын профессора. Он сидел за столом при свете настольной лампы, обложенный журналами и бумагами, что-то писал и не заметил, видимо, как вошел Ремез...

— Встаньте, — приказал он дежурному. — Засеките время. Через час и ни минутой позже командный состав завода должен быть у меня в кабинете.

Распорядился и вышел...

Он не мог объяснить, почему сразу же, выйдя из заводууправления, велел шоферу ехать на сортировочную станцию — туда, заполняя свободные пути и тупики, приходят эшелоны с запада; может быть, его погнало желание увидеть самому то, что упомянуто было в разговоре по телефону: «...к вам поступили часть оборудования и личный состав...»

Шофер затормозил возле переходного моста, дальше начинался забор, и ехать было нельзя, Ремез вышел из машины, поднялся по лестнице, остановился возле оградительной сетки, забитой хлопьями копоти, и увидел при свете прожекторов железнодорожные составы, они терялись где-то во тьме, и казалось — им нет конца: теплушки, теплушки, из железных труб которых валил дым, костры меж путями, платформы со станками; и чем больше он вглядывался, тем явственней различал, что местами крыши теплушек были продырявлены пулями, иные платформы были без бортов, с искореженными механизмами... Над станцией, над эшелонами и дальше в глухой тьме выл ветер, сыпал в лицо колючий мелкий снег.

Он спустился с мостков и приказал везти его к дому Андрея Кирилловича Куликова. Поднялся по знакомой лестнице на третий этаж, нажал кнопку звонка. Долго не открывали, тогда он стал нажимать еще и еще, пока не услышал встревоженный голос Андрея Кирилловича:

— Кто там?

— Я вас прошу, — сказал Ремез, — пожалуйста, побыстрей...

Дверь отворилась. Андрей Кириллович стоял в длинном, из бордового атласа халате, наспех перепопсанном кушаком, в тапочках на босу ногу и встревоженно смотрел на Ремеза:

— Что стряслось?

Ремез решительно сбросил с себя пальто.

— У нас мало времени, Андрей Кириллович, — сказал он. — Пройдемте в ваш кабинет... — И первым двинулся по коридору.

Однако же Куликов, шлепая тапочками, обогнал его, вошел в свой кабинет первым, зажег настольную лампу под зеленым матерчатым абажуром и указал Ремезу на кресло, сам сел напротив, приговаривая слушать. Ремез сказал:

— Меня только что назначили директором танкового завода.

Этой фразы оказалось достаточно, чтоб Куликов подтянулся, весь подался вперед. Ремез коротко изложил суть дела. Александр Кириллович слушал и, когда Ремез закончил, торопливо взял со стола шкатулку из карельской березы, вынул оттуда папиросу, закурил и после этого вопросительно посмотрел на Игната Матвеевича, словно желал узнать: а я здесь при чем? чем могу помочь?.. Куликов последние годы только преподавал в институте, на его лекции сбегались студенты других факультетов — так широко и неожиданно он брал

тему, — а до преподавания он много лет был конструктором, занимался тракторами и автомобилями, его нельзя было назвать в списках тех, кто был широко известен в стране, но работы его знали, на них ссылались в учебниках.

— Вы должны вернуться на завод, — сказал Ремез.

— Как вы это мыслите... — спросил Куликов и, помедлив, словно запнувшись, впервые за их знакомство, назвал Ремеза по имени и отчеству, — Игнат Матвеевич?

— Главным конструктором, — сказал Ремез, — так я это мыслю.

Куликов молчал, он курил задумчиво, вращая в длинных пальцах папиросу, потом посмотрел прямо на Ремеза, сужо сказал:

— Я могу отказаться?

— Нет, — ответил Ремез.

— Понятно, — кивнул Куликов. — Тогда позвольте спросить: вы представляете себе, каким должен быть завод, чтобы выпускать танки?

— Пока в общих чертах.

— Дизели будут присылать?

— Дизельный завод — на железнодорожных платформах. Он пришел с Украины. Два стана тоже на платформах. Всего пять новых цехов. Мы их поставим на пустыре севернее горы. Если помните это место... Болото останется в стороне.

Куликов взял вторую папиросу, встал, заходил по кабинету; Ремез смотрел на его голые ноги, как они двигались, шаркая тапочками по ковру... Наконец Куликов остановился, прижался спиной к книжному стеллажу, и сразу все в нем обмякло, он потерял выправку, ссутулился, лицо сделалось беспомощным, и он произнес потерянно:

— Нет, нет... я не смогу.

Андрею Кирилловичу в то время было около пятидесяти, но Ремезу он показался стариком — сутулый, сжавшийся, стоял в нелепом, обвисшем халате, с синими ногами, покрытыми гусиной кожей. Ремез всегда считал профессора своим учителем, первым советчиком, а сейчас вдруг поверил, что Андрей Кириллович на самом деле пуст. Одно дело подниматься на кафедру одетым в хороший костюм, с неизменным галстуком-бабочкой, какой в те времена никто уже не носил, сжимать в ладони часы и читать лекцию так, чтобы вызывать аплодисменты студентов; другое дело строить танки... Отчаяние охватило Ремеза: он лишался единственной опоры, к которой привык за годы работы... Он вспомнил директорский кабинет, бурое пятно на ковре, которое так и не сумели замывать после гибели Долгова; всякий раз, ступая на этот ковер, он старался обходить пятно, не замечать его... Наверное, по чистой случайности Андрей Кириллович стоял, прижавшись головой к полке, на которой поблескивали корешки его книг, тех самых книг, по которым Ремез учился и которые любил, и тут же он понял: Андрей Кириллович тоже в отчаянии, отчаяние опустошило его. Нельзя ему верить и себе, себе нельзя верить, потому что нет никаких иных путей, только один — который сегодня кажется несбыточным.

— Одевайтесь, Андрей Кириллович, — резко сказал Ремез, — через пятнадцать минут мы должны быть на заводе. Там соберутся все командиры.

И Андрей Кириллович отошел от стеллажей, он словно бы оторвался от них, к нему сразу вернулась его стройность, он решительно шагнул к двери, на ходу развязывая витой кушак халата, сказал:

— Не беспокойтесь... Я быстро.

Они приехали на завод вместе, поднялись в кабинет за три минуты до назначенного времени, люди сидели плотно и молча, терпели-

во ожидая, что скажет Ремез. Мозг его был воспален, он мгновенно рассчитывал, прикидывал, вбирал в себя множество цифр, отвеивая шелуху и выделяя то главное, что предстоит сделать...

Все работы надо вести параллельно, никакой очередности, все одновременно: конструкторы начинают работы над чертежами, на пустыре заливать бетонные площадки, на них устанавливать оборудование эвакуированных заводов и только после этого возводить корпусов на морозе. Не хватает энергии — придется жить в темноте, остановить трамваи. Эвакуированных размещать в поселке и в городе, подселять в квартиры. Комплектовать бригады, участки, цехи.

Он видел движение этой огромной массы людей, занятой разнообразным и тяжким трудом, где все будет важным от болта до дизеля, и сам был частью этой массы, сливаясь с ней. В ту ночь никто из командиров не спал. Ремез вызывал тех, кто приехал с запада, бывших директоров заводов направлял начальниками цехов, конструкторов — под начало Андрея Кирилловича, строителей — в отдельный отряд... К полудню он собрался в обком, общий план перестройки завода был готов, пора было доложить о нем: но в обком ему ехать не пришлось, первый сам прибыл на завод и в директорском кабинете выслушал доклад Ремеза.

Вот какая была та ночь в ноябре...

Мы сидели полукругом возле догорающего костра и слушали его рассказ; он говорил медленно, будто сам пытался взглянуть в прошлое, которое вдруг открылось перед ним, взглянуть и понять его.

— Не знаю, поймете ли? Это ведь надо еще суметь передать... Они все ушли, и я остался один, впервые за эти сутки один в своем кабинете... Я не то чтобы увидел то огромное пространство страны, что заняли в такой короткий срок немцы,— я его почувствовал... не знаю, как объяснить — физически, душевно почувствовал, словно это была часть моего тела, что ли... И каждого солдата из миллионной армии ощутил в себе — не защищенного броней, не укрытого от надвигающегося на него огня и скрежета танков. И не будет этому солдату помощи, если вот здесь, сейчас же мы не соберем все в кулак, в один крутой узел, чтобы двинулись от нас машины ему на помощь... Я боюсь патетики, но именно такое было чувство — что все узлы сошлись в моей ладони и надо вытянуть неимоверную тяжесть. Пусть порвутся мышцы, нервы, хрустнут кости, но надо, надо... любой ценой! Более некому... И тут все средства хороши, все до единого, только бы вытянуть... Чтобы было понятней, я вот что расскажу. Знаете за городом Каменные Палатки? Ну да, конечно, те самые скалы в лесу, подле озера. Там есть два столба — Малый и Большой, и вот на большом очень узкая, не более чем с ладонь, тропка, только самые отчаянные из мальчишек по ней могли пробраться. Важно было достичь пещерки — тогда ты герой. Я раза два по этой тропке ходил, ничего, получалось. И вот, представляете, пошел на эти Палатки после дождя с девочкой, решил показать смелость. Подошвы у меня намокли, скользят. У этой самой пещерки я и сорвался, повис на пальцах, ободрал их в кровь, а все же уцепился за край тропки. Внизу камни... Девочка там моя мечется. Никто меня не может спасти — только я сам. Силы в руках кончились. А все же я стал карабкаться. И несколько раз, я хорошо помню, становилось на все наплевать и в голове мелькало — сейчас разожму пальцы, но тут же опять меня подстегивало. Я по сантиметру для себя отвоевывал. Постепенно приспособился — сначала одну руку вытяну, потом другую. Начал и ногами себе помогать. Все в кровь ободрал — ладони, колени, живот,— а все же выкарабкался. Потом, когда лежал в пещерке, понял: сделал невоз-

можное. Месяц после этого проболел... В тот день в директорском кабинете снова почувствовал, будто повис на кончиках пальцев, но надо подниматься, всю силу в себе собрать, а подняться. Вот сейчас вам рассказываю и понимаю, что пример этот упрощает...

Ремез достал из костра уголек, перекинул его с ладони на ладонь, подул и, когда кончик обдало едва приметной синевой слабенького пламени, сунул уголек в трубку, смачно почмокал губами, раскурил ее и прикрыл от удовольствия глаза. Но тут же снова собрал морщины на лбу.

— А знаете, почему Долгов застрелился?.. Все эти разговоры про секретаршу, болезнь и прочее, прочее — чушь. Долгов по тем временам был директором опытным, не из выдвигенцев, а с хорошей инженерной школой. Правда, заносчив был, считал, что директор должен держаться от других на загадочном расстоянии. Эдакая недоступность небожителя. Она, мол, и поднимает авторитет. А человеком он оказался слабым... Я уже рассказывал о комиссии из Москвы, она приехала, чтобы определить: можно ли перестроить завод на производство танков. Там создалась своя конфликтная ситуация. Одни вообще отрицали такую возможность, а те, кто ее видел — их было меньшинство, — считали: на это понадобится не менее года. Ну а зимой... В общем, Долгову сообщили — перестройка неминуема, и назвали сроки: два-три месяца. В январе сорок второго ко мне пришла жена Долгова. Такая худенькая, болезненная, под глазами синяки вполщеки. Она пришла по крайней нужде: дочь у нее заболела открытой формой туберкулеза и надо было ее куда-то срочно устроить на лечение. Она обращалась в разные медицинские организации. Жила семья Долгова скудно, карточки получали иждивенческие. Профессии-то у жены Долгова не было. В общем, мы ей помогли. Но не в этом дело. Она-то мне и рассказала, что, получив сообщение о перестройке завода, Долгов страшно запаниковал. Он как инженер знал наверняка, что не осилит эту перестройку. Он не спал ночами, с кем-то созванивался, с кем-то советовался и все более приходил в отчаяние. В тот день, когда произошло с ним несчастье, он перед уходом на работу сказал жене: «Мне бы сейчас рядовым да в самое бы пекло... Умолять буду, чтоб на фронт». Вот с этим он ушел и не вернулся. Он застрелился в одиннадцатый утра. Наверное, до этого у него были какие-то разговоры... Почудилось ему — полная беспросветность, куда бы ни шагнул — всюду пропасть и деваться некуда, только в нее вниз головой. Может быть, и я бы к этому пришел, если бы был поопытнее. А я тогда знал одно — н а д о! И не мне надо и не тем, кто мне приказывал... А всем, кто живет, дышит, существует. Вот и пошел...

Наталя Михайловна сидела на бревнышке, подперев ладонью подбородок, и временами тяжело вздыхала, у Лены блестили глаза, ей нужно было покормить Асю, но она не ушла, только повернулась к Ремезу спиной, кормила грудью девочку и жадно слушала. Мне нетрудно было представить город и завод зимой сорок первого, потому что, когда я вернулся из армии, еще многое оставалось таким, каким было в ту тяжкую пору: заваленные снегом улицы, нетопленные дома. И когда я пытался рассказать, как было в блокаду в Ленинграде, меня слушали уважительно, но так, словно все, что я говорю, им самим знакомо, и я вскоре убедился — так оно и есть, потому что здесь, в тылу, они тоже хватили сполна. И я видел, как по темному городу — свет вырублен, дан только на завод — в пять утра, в морозной злой синеве (у нас и морозы-то особые, с потягом, тяжелые, их недаром зовут каменные) идет, оглашая тишину хрустом шагов, смена, идет трамвайными путями, на которые набросаны броневые листы, идет через болото к подножью горы, где дымит множество костров,

и там растекается по площадкам. Гудят поставленные на бетон под открытым небом станки. Бежит из-под реза металлическая стружка, костры горят не только для того, чтобы обогреть людей, но и чтобы согреть эмульсию, а дальше бьют кузнечные молоты, отсыпает искры сварка, и жидкий свет освещает землистые лица — ребят и женщин здесь большинство, закутанные в платки и старые одеяла, в затертых шапках-ушанках... Иногда не возвращаются домой, путь долг и тяжел, а смена — двенадцать часов, добираются до мартеновского цеха, там тепло, ложатся на нагретые металлические плиты, которыми устлан пол, или отыскивают место на кучках шлака, отдающего жар. А потом снова к станку, снова на смену. Не все выдерживали, иногда падали на цементный пол, засыпали; замерзнуть им не давали, оттащивали к костру, к станку становился мастер или сменный, а то и начальник цеха; порой падали и уж больше не вставали, их увозили в городскую больницу, а оттуда нередко на погост...

Да, я мог это представить, я видел Ремеза как бы со стороны и в то же время пытался почувствовать себя на его месте. Какую волю надо было иметь! Я видел как он шел по заводу, его замечали издали по быстрой, чуть подпрыгивающей походке, при которой туловище казалось наклоненным вперед, словно он хотел обогнать самого себя, по большой шапке-ушанке и теплой кожаной куртке — такую носят полярные летчики; он был черен, на запавшем лице горели глаза. Планерки проводил быстро, сжато, допуская разговор только по делу, никому ничего не прощал, и чаще всего наказания принимали смиренно, может, потому, что видели — он и себя не щадил и давил в себе жалость, а ведь был чуток к каждой беде и жалостлив с детства... Сотни глаз детей, стариков, женщин смотрели на него с верой и надеждой, а он не мог им облегчить жизнь, он знал, что все они, так же как и он, живут за пределами возможного...

Миновали самые страшные две недели. Две недели — как годы. За этот срок возвели пять цехов, а еще прошло две недели — и из сборочного вышел, гремя траками, медленно вращая башней, первый танк. Все, кто был свободен, прибежали сюда, встали в два ряда, образовав коридор, глядя, как тяжело, неуклюже движется бронированная машина — плод их нечеловеческого труда, плакали, потому что в этом скрежещущем металлом, рычащем мотором механизме видели проблеск своей свободы. Ремез тоже плакал, молча, без слез, подавшись вперед всем телом, не в силах произнести ни слова...

### Глава четвертая

А через день, когда я снова ходил в Ярск по хозяйственным делам, умер Иван Митрофанович. Мне сообщила об этом Наталья Михайловна, едва переступил я порог избы и увидел уткнувшуюся в подушку Лену.

Я гладил Лену по волосам, стараясь ее успокоить, и не мог понять, как же это могло случиться: еще вчера я пил с учителем чай и он, гордый собой, ходил по покатым половицам, выставив вперед остренькую бородку, крепкий, подвижный.

— Как это случилось? — спрашивал я у Лены, а она все не могла успокоиться, ее трясло, лоб был горячий и потный.

— Перестань, — попросил я, — ты же захвораешь...

Она оторвала красное лицо от подушки и посмотрела на меня таким стальным взглядом, что я внутренне ахнул — никогда еще она не смотрела на меня так зло.

Эта вспышка злости помогла ей побороть слезы, она села на кровати, отерла рукавом белой кофты лицо и попросила:



— Пить.

Я схватил со стола кружку с молоком, она выпила его быстро, несколькими сильными глотками и оглядела избу.

— Мама где?

Я ответил ей, что Наталья Михайловна только что ушла с Дашей обмывать да обряжать покойника.

— А я? — встрепенулась Лена.

— Тебе нельзя, — остановил я.

Она сердито взглянула на меня, может быть хотела что-то возразить, но в это время заплакала Ася. Лена подхватила ее, прижала к себе и, повернувшись ко мне спиной, словно я был посторонний, стала кормить дочку. Я терпеливо ждал, сел в угол избы на лавку. Лена накормила девочку, уложила ее, прошла по избе, зябко потирая руки, словно они у нее мерзли, хотя в избе было душно; лицо ее было насуплено, тяжелая складка собралась на высоком лбу.

— Ты можешь рассказать, как он умер? — спросил я.

Она неожиданно остановилась против меня, глаза ее были злы, пальцы рук цепко сплелись в замок так, что побелели косточки.

— Зачем тебе?! Зачем?! — выкрикнула она, и голос ее сорвался.

Я подбежал к ней, схватил за руки, сказал:

— Ну для чего ты так... на меня?

— Страшно, Костя... Ой, страшно. — И она припала к моему плечу.

— Что же тут произошло-то? — решил я спросить.

Она стала рассказывать, стоя посреди избы, прижимаясь ко мне и не глядя на меня:

— Напугали его. И сердце не выдержало... Приезжал какой-то на машине. Говорят, он недавно в Ярске объявился... Иван Митрофанович после этого прибежал к маме сам не свой. Рассказал: приезжий велел за Игнатом Матвеевичем наблюдать... А он же Игната Матвеевича любил! Погнал этого приезжего. Вернулся домой, и у него припадок сделался. Пока мама к врачу бегала — сердце разорвалось... Он же у нас добрее доброго был. Все у него грамоте учились...

Лену снова начало трясти, я уложил ее, укрыл одеялом, а сам долго сидел рядом.

К вечеру я пошел к избе Ивана Митрофановича, возле нее толпились люди не только деревенские, но и прибывшие из Ярска — слух о его кончине долетел и туда; возле калитки стоял знакомый «виллис» Бортова, и когда я пошел к крыльцу, то увидел на скамье под яблоней и самого Бортова. Рядом сидел Ремез в гимнастерке, он задумчиво попыхивал трубкой. Я кивнул и вошел в избу.

Иван Митрофанович лежал на столе в белой рубаше с неумело повязанным галстуком; был он гладко причесан. Увидев его таким, я застыл. Мне ли было бояться покойников!.. Я смотрел на посеревшее лицо Ивана Митрофановича, на его вздутые, подсиненные веки, на скрещенные на груди усталые руки. Тело укрыто было чистой простыней, и сквозь нее видно было, как топорщатся тесно прижатые друг к другу ступни ног. Нечто гордое, торжественное чудилось во всем его облике. Лицо его становилось все темнее и темнее, и за окном, так же как и в тот вечер, когда я впервые пришел сюда, густел вдали закат, а от земли, реки, дальних полей, от трав и корней деревьев поднималась зыбкая темнота; воздух в избе становился гуще, ощущим стал запах тления.

Я подошел к Ивану Митрофановичу, притронулся к его рукам, мне показались они теплыми. Остро захотелось курить. Я дошел до скамьи, где сидели Бортов и Ремез. Неподалеку, в огороде, возле са-

рая стучал молотком Василий Сапожников, сколачивал из свежеструганых досок гроб.

Я закурил, Бортов сказал с тоской:

— Ехал бы ты отсюда, Игнат Матвеевич.

И только когда он это произнес, я взглянул на обоих. Меня удивило лицо Ремеза: было оно неподвижно, как маска, и казалось багровым от прихлынувшей к нему крови, но это так окрасили его закатные лучи. Ремез ответил не сразу, очень спокойно:

— Прости меня, глупость говоришь, Степан Трофимыч.

— А это глупость? — в сердцах воскликнул Бортов и кивнул в сторону избы.— Вон за тобой как беда ходит!

— Ну и опять глупость,— ответил Ремез.

Бортов хлопнул широкой ладонью по скамье так, что мне показалось — она треснула под нами.

— Ты зря нервы портишь,— сказал Ремез.— Побереги, еще пригодятся. Кто знает, какая у кого дорога впереди.

— Да что ты понимаешь? — в тихой ярости произнес Бортов.— Ты у него жил, а не понимаешь... Он у нас вроде местного святого был! Его пальцем нельзя трогать было...

Бортов наклонил голову на короткой шее и так, набычившись, застыл, чтобы подавить в себе вспыхнувший гнев. А Ремез помолчал и сказал, будто и не заметил его вспышки:

— Ты лучше бы мне комнату в городе нашел. В общежитии или еще где... Сам понимаешь, здесь теперь оставаться...

— Понимаю,— скрипнул зубами Бортов.— Поищем... Да не вдруг. Город растет, а жилье...

Я понял, что Бортов и искать ничего не будет, у него другая сейчас мысль: пусть Ремез помыкается-помыкается, может, и верно, сам по доброй воле уедет из Ярска.

А Ремез оглянулся на избу Ивана Митрофановича, я увидел в глазах его тоску и тут же сказал:

— А может быть, пока к нам, Игнат Матвеевич? Мы ведь с Леной скоро уедем. Поживете у Натальи Михайловны, а там, глядишь, и отыщется что...

Бортов кинул на меня злой взгляд, хотел что-то сказать, скорее всего выругаться, но сдержался.

— Спасибо, Костя,— сказал Ремез.— Спасибо.

Он благодарил, но радости в его словах не было...

Хоронили Ивана Митрофановича через день, народу на погосте собралось много, могилу учителю отрыли рядом с его женой Симой. Когда опустили гроб, бабы начали плакать, и тоскливее всех оплакивала Ивана Митрофановича Даша.

В избе у Ивана Митрофановича нашли несколько тетрадей, в которые он записывал свои мысли о жизни. Тетради эти из сельсовета передали на хранение Наталье Михайловне — родных у Ивана Митрофановича не было,— а Наталья Михайловна отдала их мне. Сначала я не нашел в тетрадях ничего для себя интересного — большинство записей было похоже на витиеватые высказывания Ивана Митрофановича в застольных беседах,— но спустя годы мне показались любопытными некоторые его рассуждения, они помечены были датами той поры, когда жил у Ивана Митрофановича Ремез, и могли отражать суть их вечерних бесед. Очень много учитель писал о том, что человек должен совершать невозможное, это, мол, главное его предназначение. Сначала эта мысль мне показалась отвлеченной, не относящейся к Ивану Митрофановичу, кто-кто как не он прожил свои годы на отшибе, обучая детишек грамоте до четвертого класса. Но когда отстроился Ярск и в нем создали городской музей, там выста-

вили несколько картин Ивана Митрофановича. И тут-то выяснилось, как они хороши и необычны. Когда я сам увидел эти картины в музее, оторопел и долго не мог понять, как же я сразу не понял этого. Особенно хороша была картина «Симины яблоки», ее вывозили в областной музей и на какую-то выставку в Москву, и всегда она собирала множество зрителей, которые смотрели на два диковинных красных яблока, как бы повисших в пространстве, чудилось — это вовсе не яблоки, а два парящих над миром сердца...

В той же тетради я обнаружил запись, взятую в кавычки, а в скобках стояло «ИР», что, конечно же, обозначало «Игнат Ремез». Вот какая это была запись: «Если я соглашаюсь быть меньшим, чтобы получать в этой жизни больше, то я зачеркиваю для себя надежды». Я запомнил эту запись, потому что любил в то время всякого рода афоризмы...

В тот же день, когда я пригласил к нам на жительство Ремеза, он и перебрался в избу Натальи Михайловны, она была рада, уступила ему место в «чулане», и он перенес туда свое нехитрое имущество. Так мы стали жить под одной крышей.

Ремез вставал вместе с Натальей Михайловной, когда бригадир стучал нам в окошко палкой, вызывая ее на работу, они вместе выпивали молока, вместе съедали по краюшке хлеба и по яйцу и уходили — она в поле, а он брал свою палку, которую носил на всякий случай от собак, и шагал километра два до завода.

Он возвращался днем, долго старательно мылся на воле под умывальником, подбивая ладонью его медный штырь, а потом надевал гимнастерку, пил чай и закуривал трубку, оберегая Асю от дыма, он курил или у себя, открыв окно, или же выходил на крыльцо.

Я с нетерпением ждал этой поры. Я бездельничал в те дни, потому так жадно воспринимал все, что говорил Ремез. Теперь я понимал покойного Ивана Митрофановича, понимал его интерес к этому человеку: Ремез побывал на тех вершинах, откуда шире и яснее обзор нашей жизни, и мог сравнивать минувшее с настоящим. А в тот год он находился на распутье. Он думал о будущем, а меня еще волновало прошлое. Я спросил у него о Семене Куликове, и он рассказал, что произошло.

Снабженцы добыли спирт; наверное, это было нелегко, потому что весь спирт отправляли на фронт. А тут закрутили декабрьские морозы под тридцать да с ветром, и он приказал: раздать спирт тем, кто работал на воле, только им.

Где-то в середине дня приехал в танкосборочный — здесь был главный участок, сюда стягивалось все, что производил завод, и потому дня не было, чтобы Ремез не побывал в сборочном, — привычно вошел в комнату сменного; Семен Куликов поднялся из-за письменного столика, широкий, в телогрейке, склонился, чтобы отдать рапорт, и дыхнул на Ремеза винным перегаром.

— Спирт? — спросил Ремез.

— После того как раздали рабочим, — попытался объяснить Куликов.

Вместе с Ремезом вошли в конторку начальник цеха, начальники служб; инженеры стояли, прижавшись к стенам. Решать надо было быстро и круто, потому что если дозволено одному нарушить его приказ, то могут и другие.

— С завтрашнего дня подсобным рабочим на песчаный карьер. — Сказал и вышел из конторки и тут же постарался забыть о случившемся.

На карьере работали старые экскаваторы фирмы «Демак», они грызли промерзший слежалый песок, их топили углем, и подсобнику

надо было забираться на крышу, тащить туда на веревке тяжелое ведро, чтобы заправить топку. Когда поднимался ветер, устоять наверху было трудно; снег, замешанный с песком, бил по лицу. Семен отморозил щеки и пальцы рук, едва добирался до дому. Однажды, когда секретарша подала Ремезу бумаги на подпись, он обнаружил среди них заявление Семена Куликова с просьбой немедленно отпустить его на фронт, он отложил это заявление в сторону, так и не сделал на нем никакой резолюции.

Андрей Кириллович, с которым Ремез в те дни был почти неразлучен, молчал, не пытался защитить сына, может быть понимал всю бесполезность защиты, и все же, когда прошло недели две, сказал Ремезу:

— Семен дома, у него три дня была горячка, температура тридцать девять. Думали, отнимут руку — так обморозился. Если бы вы заехали... Вряд ли ему можно снова на карьер.

Куликов-старший говорил тяжело, хотя внешне пытался быть спокойным, но Ремез понимал, как нелегко ему это дается, тут же собрался, сказал:

— Давайте вместе, сейчас же...

Они приехали в старую профессорскую квартиру, вошли в комнату Семена, тот лежал в белой рубашке, на чистых простынях, щеки его загноились, были чем-то смазаны, рука в бинтах, глаза потухшие; он долго вглядывался в Ремеза, видно, не сразу понял, кто стоит у его кровати, но когда понял, что-то нехорошее метнулось в зрачках, и он с трудом потрескавшимися губами произнес:

— Я вас ненавижу.

— Хорошо, — кивнул Ремез. — Когда подниметесь, вернетесь в свой цех...

Они вместе уехали с Андреем Кирилловичем, сидели в машине, прижавшись друг к другу плечами, и молчали, говорить было не о чем. Ремез чувствовал — профессор если и не оправдывал его, то в какой-то степени понимал: они были оба не властны над собой и хотя командовали множеством людей, сами подчинялись обстоятельствам и времени. Им овладела тоска, но не потому, что ему впервые открыто сказали о ненависти, ему стало тошно и беспокойно оттого, что он не может принимать иных решений: шла война и сейчас она определяла судьбу всех тех, кто работал на этом заводе, и на других заводах, и в других городах, поселках, деревнях, и тех, кто мерз в окопах и шел в атаку.

Ремез был несвободен в выборе, и то, что случилось с Семеном, — лишь крохотный результат его несвободы... Кто-то ведь должен идти в карьер, подставлять тело под морозные ветры, несущие снег с песком, и тянуть на веревке тяжелое ведро с углем... Люди выдерживали этот нечеловеческий труд, понимая его необходимость, понимая, что иначе — нельзя.

Сейчас он вспоминал об этой тоске с откровенностью, и мне казалось — ничего не утаивал. Я просил от него еще рассказов и еще... Он усмехался и говорил:

— Если все время оглядываться на прошлое, то в будущее поневоле войдешь пятясь... Надо думать над тем, что еще потребует от нас время.

Конечно же, в своих глазах я был инженером, особенно после преддипломной практики, где мне удалось кое-что придумать, и я этим гордился в душе, но главным для меня было знание техники, умение проникнуть в технологический процесс и, если надо, усовершенствовать его. Так нас учили в институте, и мы считали, что правильно учили. Я не слышал, чтобы в студенческой среде затевались

споры или разговоры о том, как управлять цехом или заводом, считалось — тут и не надо никакого искусства, все сводилось к формуле, которую мало кто понимал: управлять — значит предвидеть; и стоило так ответить, как спрашивающий успокаивался. Конечно же, я знал — мне тоже быть начальником, каждый инженер становится начальником. Но я не очень задумывался, как мне придется управлять участком или цехом, считал: достаточно отдать команду.

Ремез рассмеялся и сказал:

— Путаница, Костенька, в голове. Да не у одного тебя. Ой сколько людей путают два понятия — командовать и управлять! Главное в управлении — четко видеть цель. А получается так: в повседневной суете теряется ориентировка. Командир решает множество мелких нужных вопросов, будем считать — добросовестно решает, и вроде бы нет волокиты и бюрократизма, а лодочка плывет по воле волн, и никто ею по-настоящему не управляет. Важно твердо знать, что делать и как делать, а главное — для чего.

— В войну было ясно.

— Да, в войну было ясно, — соглашался он и тут же объяснял. — Война — самая жесткая из всех структур. Весь ее опыт не годится для мирной жизни даже в тех ее точках, которые могут вызывать восхищение. Ну, например, война ликвидировала бюрократизм. Решения принимались мгновенно, без каких-либо согласований, проволок. Но решения эти, как и вся работа промышленности, были подчинены несвойственной ей задаче. Цель была одна — победить. И промышленность работала на оборону, то есть создавала орудия уничтожения. А подлинный смысл работы промышленности в ином: в максимальном улучшении жизни человека. Разные цели, как известно, диктуют разные средства. В войну — победа любой ценой. Так ставился вопрос. А в мирное время хороши лишь те средства, которые возвышают человека...

— Как это понять? — Я начинал волноваться от этого разговора.

— А очень просто понять, — усмехнулся Ремез. — Один и тот же вид труда может быть великим, а может быть и низким. Вот хотя бы топор в руках человека. Плотник, орудия топором, строит дом, палач отрубает голову... Как видишь, одни и те же орудия труда могут возвышать человека, а могут и унижать... Но не в этом дело. Речь идет о более сложных вещах. Производительность труда в войну была небывалой. И вот ведь что любопытно — люди вроде бы сами организовывали труд, сами ускоряли сроки и темпы, и ответственность каждого была так велика, что не нужно было никаких мер внешнего принуждения и контроля. Что, кажется, может быть лучше для производства? А как в мирные дни добиться такой же высокой производительности?

— Как?

— Не знаю. Еще не знаю, — смеялся он. — Надо думать, надо искать.

Когда он разговаривал со мной так, я начинал понимать, чем он живет в Ярске, существование его словно было разделено на две части: он вставал чуть свет, шел на завод, работал там в стареньком, запыленном цехе, а потом приходил домой и думал, мучительно думал над тем, что было в его жизни и что должно еще произойти, и главной его заботой становилось — взглянуть в даль, чтобы рассмотреть в ней будущее... Прошло потом много лет, и, вспоминая эти наши разговоры, я не раз удивлялся, как мог он понять уже тогда, что назревала научно-техническая революция, бурный рост техники, и уже тогда, рассуждая об этом росте, он говорил мне, как важно подчинять эту технику нуждам человеческим, не давать ей независимой само-

стоятельной ценности, иначе произойдет подмена главного второстепенным: человек окажется в подчинении у машины. Я жадно впитывал его мысли.

И все же о чем бы мы с ним ни говорили, я невольно думал: как же случилось, что он вынужден был уйти с директорского поста и оказался на этом заводике?.. Постепенно из каких-то фраз, из его рассказов я составил для себя некую схему... Впрочем, не все я узнал в Ярске, кое-что рассказали мне на заводе, когда я стал там работать.

Пожалуй, история эта будет неясна, если не вспомнить о профессоре Андрее Кирилловиче Куликове. Я видел много разных его фотографий, они есть и в монографии о нем, портрет Куликова висит в заводском клубе с послевоенных времен, его знают все, кто работает на заводе. Высокий, с насмешливым и умным лицом, с глазами чуть навывкате, с аккуратной ямочкой на подбородке, особенно хорош он был в военной форме, которая шла ему, и, судя по фотографиям, когда он надел эту форму, тогда и отрастил усы, очень строгий, я бы сказал — классической формы, без какой-либо лихости или нарочитости. Недаром о нем говорили, что он нравился женщинам. Да еще хорошие манеры, умение говорить свободно... Он пользовался успехом, и нет ничего удивительного, что после смерти жены его аспирантки и студентки не скрывали своих чувств, к его бесконечным связям привыкли, хотя в ту пору за малейшее нарушение моральных устоев карали строго, ему все сходило с рук, считалось — для него это естественно, да и жалоб от тех, с кем он порывал отношения, никогда не было...

В доме Андрея Кирилловича Ремез и повстречал Людмилу. Она была аспиранткой профессора, и Ремез сразу же отметил, что Людмила находится на особом положении, Андрей Кириллович с ней строг и в то же время внимателен. Да она и сама была строга, со смуглым лицом, густой чернотой волос и яркими губами. Она ходила прямо, а когда задумывалась, меж пушистых широких бровей ее залегала глубокая складка. Ремез вначале побаивался ее, хотя всегда она встречала его приветливо. Он понял, что между профессором и аспиранткой ничего нет... Людмила потом ему сама рассказывала, что еще от подружек по общежитию знала, что к Андрею Кирилловичу домой ходить не следует, он не бывает груб или нетерпелив, но умеет создать такую обстановку, когда сама теряешь голову; она это слышала, но не верила, говорила: Андрей Кириллович — старик; он и вправду ей казался пожилым человеком, но она думала о нем хорошо, он ей нравился, как и всем, кто слушал его лекции или приходил к нему на консультации, но то была обычная влюбленность ученицы в своего учителя.

Когда Куликов пригласил ее к себе в дом, она пошла с охотой.

Людмила тогда начала работать над диссертацией, Андрей Кириллович ей помогал. Она пришла к нему в кабинет, они сели к письменному столу плечо к плечу и так проработали часа два. Андрей Кириллович поругивал ее за ошибки, советовал, как их исправлять. Потом, когда они закончили работу, пригласил выпить чаю, показал, как надо его заваривать, и велел приходить еще. Она ушла с обидой, потому что приготовилась дать отпор Куликову и продумала как это сделать... «Наверное, это будет потом. Он приучает меня», — решила она.

Но и следующая встреча их была такой же, и другая, и третья... Он был с ней приветлив, когда она появлялась, радовался, но отношения у них установились ровные, строгие, она постепенно привыкла к его

дому, оставалась, чтобы приготовить обед, когда оказывалась в отлучке сварливая домработница Стеша. Но обида ее не исчезла, она затаилась, словно дожидаясь своего часа, и Людмила сама ее пестовала, хотя внешне показывала, что довольна сложившейся ситуацией и даже гордится ею. Впервые вылилась у нее эта обида на сына профессора Семена; тот пошел проводить ее по темной лестнице и неожиданно грубо и настойчиво привлек к себе, хрипло задышал в лицо, она оттолкнула его, он упал, потерял очки... На следующий день ей нужно было к Андрею Кирилловичу, и она пошла, хотя за ночь передумала многое и несколько раз решала, что в жизни не переступит порога этого дома, потому что была убеждена — профессор относился к ней так оттого, что берег для сына. Открыл ей Семен и сразу же посторонился, лицо его было опухшее, с синяком, и ей сначала стало жаль его, но тут же со злорадством подумала — он сам того заслужил. Андрей Кириллович встретил ее как всегда, они сели за работу, и она так и не поняла — знает Андрей Кириллович о том, что вышло у них с Семеном на лестнице, или тот сумел как-то по-другому объяснить отцу свой вид...

Она встречала Ремеза в доме у Куликовых несколько раз, он уже был инженером на заводе, а все приходил сюда к Андрею Кирилловичу — то ему нужны были книги, то он хотел посоветоваться со своим учителем о заводских делах. Ей нравился этот человек спокойной уверенностью и тем, что не заискивал перед Андреем Кирилловичем, слушал его, но не со всем соглашался, иногда спорил, причем подбирал так аргументы, что всегда оказывался прав, а Куликов не обижался и говорил:

— Вы видите дальше меня ходов на десять... Это замечательно!

Вообще-то Андрей Кириллович был немного сноб, любил, чтобы его окружали хорошие вещи, любил хорошо одеваться и прежде, еще до той поры, как стала ходить в его дом Людмила, собирал компании: приходили актеры, писатели, военные; он любил слушать и сам хорошо, подражая Качалову, читал стихи, но потом устал. Теперь в доме его бывали только ученики, он как-то сам сказал Людмиле:

— Чем меньше знакомств, тем лучше.

Иногда на него нападала хандра. В такие дни лицо его становилось обрюзгшим, глаза тускнели, и лучше всего было не приходиться к нему, потому что он слушал рассеянно и работать не мог.

Однажды он взглянул, как Людмила и Ремез сидели рядом на диване, сказал с грустью:

— А вы хорошая пара. Весьма подходите друг другу.

Сказал словно бы мельком, а потом, спустя полчаса, снова вернулся к этой мысли:

— Если устраивать вам свадьбу, то сразу, не тянуть.

Ей тогда подумалось: «А что? Ремез вполне подходящий муж...»

Все это, конечно, образовывалось не сразу, они где-то встречались, гуляли, ходили в оперетту, у них в городе была хорошая оперетта. Ремез ходил на спектакли охотно, с удовольствием бегал с ней на концерты, добывал билеты на гастроль Утесова, купил новенький патефон и пластинки...

И был вечер, когда они шли из театра мимо городского пруда, мимо влажных от дождя решеток; ветер гнал черные волны, гудел в осокорях, срывая влажные листья, ими усыпан был асфальт, слышно было, как потрескивают ветки, а в небе сшибаются тугие темные тучи, то и дело открывая желто-сизые просветы. На крышах стучало железо, гудело в водосточных трубах, трамвайные провода раскачивало, они, соединяясь с хрустом, осыпали на антрацитовый булыжник

малиновые и желтые искры. Дышать было трудно, ветер бил по лицу, врывался в легкие.

— Буря,— сказал Ремез и рассмеялся.

Сильным порывом ветра с Людмилы сорвало платок, но не унесло, она сумела придержать его за узел, волосы все же растрепало; она от страха прижалась к мокрому рукаву его пальто.

Они пошли близко к домам, все убыстряя и убыстряя шаг, пока Ремез не втолкнул ее в подъезд, сказал:

— Здесь...

У него была комната в коммунальной квартире, небольшая, но сухая и светлая; едва они вошли, как он, сбросив мокрое пальто, стал помогать ей развязывать платок, а потом взял обеими ладонями лицо и стал целовать в мокрые щеки.

— Выйдешь за меня замуж? — спросил он.

— Выйду,— сказала она.

Они расписались на следующий день — тогда это делалось быстро — и стали жить в его комнате, а через год ему дали квартиру в новом доме. Она кончила аспирантуру, тоже пошла на завод в конструкторское бюро. Они хорошо жили до самой войны.

Он любил в ней строгость, суховатую сдержанность на людях и бурное ее раскрепощение, неустанно его удивлявшее, когда они оставались вдвоем, любил, и все в ней было ему родным — и ее яростно черные волосы, и сильные губы с темным пушком над верхней, и умный взгляд. В командировках он начинал тосковать по Людмиле в тот же день, как оказывался в другом городе... Но в войну после того памятного вызова в обком она словно бы выггеснилась из его жизни. Он спал два-три часа у себя в рабочем кабинете, а остальное время работал, то проводил оперативки, планерки, то мотался по всем заводским площадкам, потому что нужен был везде и всегда, и завод был для него лишь продолжением его рук, мозга, нервов, и ничего иного у него не было. Иногда Людмила появлялась у него, приносила ему белье, он счастлив был ее видеть, но встречи эти были мгновенны, и однажды он заметил в глазах ее страх.

— Ты что, боишься меня? — спросил он.

— Тебя все боятся,— сказала она.— А я работаю на этом заводе.

— Ты шутишь!

— Нет.

И он понял: она и вправду не шутила, потому что и в другой раз и в третий страх по-прежнему держался в ее глазах. Он начинал задумываться, как растопить его, но времени на подобные мысли не хватало... Это он позднее узнал, как его порой панически боялись на заводе и что означало для любого работника: «Ремез приказал... Ремез сказал». Но иногда о нем складывали нелепые слухи вроде того, что он чуть ли не застрелил человека у себя в кабинете. Он и пистолета не носил, хотя ему полагалось, да и не смог бы выстрелить в человека даже в крайнем возбуждении. Он мог вскипеть, но голова при этом всегда оставалась ясной. Он брал другим, если сказать точнее — брал самим собой, своей нечеловеческой одержимостью. Недаром же говорили: Ремез везде. И это на самом деле так было. Он каждый день должен был чувствовать, где и что происходит. Он жил на заводе, спал в своем кабинете, ел чуть ли не на ходу... Рассказывали басни, что Ремез устраивает пиры у себя дома, ест рябчики и ананасы. Ему присылали специальный паек, вернее, его присылали Людмиле, иногда снабженцы старались и, чтобы ему угодить, добывали нечто редкостное, но он и не знал об этом, как не знал, что у него дома



Людмила подкармливала институтских подружек, конструкторов своей группы, чертежниц... Голодно было в городе. Слухам о его пирах, распускаемым, очевидно, теми, кто его совсем не знал, не верили.

Осенью сорок второго Ремеза и Куликова вызвали в Москву в Государственный Комитет Обороны. Пригласили и других директоров и конструкторов заводов, выпускавших танки. Показали документальный немецкий фильм: по полям, через дороги и рвы двигалась могучая броневая машина с длинноствольной пушкой, ее обстреливали противотанковая артиллерия, но снаряды рикошетили, не пробивали броню; могучими гусеницами танк давил орудия, легко перебирался через препятствия. А после фильма они увидели этот танк в натуре. Его называли «тигром» и привезли из-под Ленинграда, немцы испытывали танк во фронтовых условиях, эта машина застряла в болотах под Синявинскими высотами. «Тигру» надо было противопоставить танк нашей конструкции, и немедленно.

Они прилетели из Москвы ночью и сразу же собрали конструкторов, Ремез говорил о «тигре», называл его данные — по тем временам они были устрашающими.

— У нас три месяца на новую машину, — сказал он.

Это был сумасшедший срок, и он понимал это, но ничего иного не мог предложить конструкторам.

Они работали тогда сутками. Андрей Кириллович Куликов к той поре действительно стал одним из крупнейших конструкторов, у него словно бы открылось второе дыхание, он работал быстро, напористо. Ему помогал, видимо, и опыт педагога: он умел так распределять задания среди конструкторов, что каждый, кто был у него в подчинении, оказывался способным найти неожиданное и оригинальное решение.

Через два с половиной месяца чертежи нового танка были готовы, а еще через два месяца по ним было собрано два опытных образца.

Рано утром в февральскую метель их вывели с завода на полигон и там испытали, и все, кто был на этих испытаниях, дали танкам прекрасную оценку. Это был праздник, и его немедленно устроили в КБ, бог весть откуда притащили ящик шампанского, конструкторы пили его меж кульманов и целовались. Ремез тоже пришел, выпил со всеми, поздравил, сказал, что тотчас отправляет в Москву наградные листы, и ушел — было много дел на заводе. Он и не знал, что вечеринка конструкторов только-только начиналась. Людмиле пришла мысль пригласить всех к себе, у нее были дома кое-какие запасы. Поехали прямо с завода, по пути заскочили в ОРС, там сумели добыть водки, а потом все дружно готовили закуску. И завертелась, понеслась вечеринка. Патефон докрутили до такого состояния, что у него лопнула дружина. От соседей принесли гитару, под нее орала до хрипоты песни, снова пили и плясали. Часам к четырем кто-то догадался и вызвал с завода дежурную машину, на ней стали развозить гостей по домам. Отправлял и разбивал всех на партии Андрей Кириллович, ему нравилась роль регулировщика, и вообще он был великокопепен, поглаживал усы, целовал женщинам ручки на прощание, весело блестел глазами, шутил; все дружно хохотали. Машина возвращалась быстро — жили-то неподалеку друг от друга, — и когда Андрей Кириллович отправил последнюю партию, то выяснилось: они остались с Людмилой вдвоем. Она рассмеялась:

— А вы хитрец!

— Ну конечно же! — ответил он и протянул к ней руки.

Она сразу же пошла к нему, она ни о чем не думала, была шальная от радости, прижалась к нему, а он сразу сделался нетерпелив. Позднее они услышали сквозь забытие, как звонили в дверь, — то был шофер... Но это мелькнуло в сознании и исчезло, потому что ничего не существовало вокруг, только этот человек, его руки, его дыхание, его тело, человек, которого она давно тайно, томительно любила и ждала. И он пришел...

И все же наступила минута, когда Людмила подумала: «Что же теперь будет?..»

Они лежали на широкой кровати в спальне, окна не были задернуты занавесками, и было видно за стеклами, как светлеет хмурое небо, рассвет еще не наступал, лишь разрядилась темнота, и грязно-синие сумерки забрезжили над домами; это был час, когда начиналось движение людей на смену, но шагов их не было слышно, все звуки заглушало рычание танков и эхо от них, что отдавалось в тупиках и переулках. Танки стояли вдоль бетонной стены закрепленные на цепи, били гусеницами по бронированным листам, положенным на землю. Так их обкатывали и регулировали на холостом ходу. Вокруг завода были болота, и места для обкатки не нашли. Ремез придумал такой способ, приказал приковывать танки к стене, и они сутками выли, словно рвались в открытое поле, на свободу...

Проснулась она от яркого света. Он бил по глазам, но не из окна, где по-прежнему было хмуро. Над кроватью горела люстра. Она рывком села и увидела стоящего в провале дверей Ремеза.

Только сейчас она сообразила, что произошло, и ее начала бить дрожь, руки не слушались. Она с трудом оделась, мозг ее словно отключился — не могла решить, как вести себя, что же делать.

— Идите сюда, — раздалось из комнаты. — Живо!

Она почувствовала руку Андрея Кирилловича, он взял ее за локоть, и если бы не эта его помощь, она вряд ли переступила бы через порог. Ремез стоял посреди столовой, посреди разора, оставленного вечеринкой.

— Я полагаю, Игнат Матвеевич... — начал было Андрей Кириллович.

Но Ремез не смотрел на него, лицо его было красно, взгляд направлен только на нее, на Людмилу.

— Соберешь все, что тебе нужно, и поедешь к нему, — сказал Ремез и только после этого обратился к обоим: — В течение недели оформите официально свои отношения. Все! Через полчаса машина будет у подъезда!

Он порывисто пошел к выходу. Лязгнула дверь в прихожей, Людмила поняла: самое страшное миновало — то самое мгновение, когда она должна была предстать перед его судом; и она предстала, суд свершился. Напряжение, крепко державшее ее, ослабло, она села на стул и заплакала. Андрей Кириллович поспешно закурил, наверное, ему было стыдно, и он ходил по комнате, оглаживая подбородок, и бормотал все:

— Нелепо... ох, господи, как все нелепо...

Походил-походил, подошел к столу, выпил водки из грязной рюмки, на которой отчетливо был виден след губной помады; ей хотелось сказать ему об этом, но она не смогла. Выпив, он приободрился:

— Ну что же... Надо собираться.

И ее удивил этот будничным тон, она покорилась ему, взяла чемоданы, пошла к шкафу и стала доставать свои вещи. Андрей Кириллович терпеливо ждал и курил...

Примерно так представлял я, как все произошло. Много раз я слышал об этом, и каждый раз меня удивляло, что ни Людмиле, ни Андрею Кирилловичу и в голову не пришло послушаться Ремеза, они восприняли его слова как приказ и подчинились. Конечно, каждый из них мог распорядиться по-своему: Людмила, скажем, могла уйти в общежитие или попроситься к кому-нибудь на квартиру, да и Андрей Кириллович вовсе не был обязан жениться на ней, — но они покорно собрали вещи, переехали к Куликову и, как велел Ремез, оформили свой брак...

И никто не знал, с какой силой ударила эта история по самому Ремезу. Ему трудно было объяснить, что же погнало его домой в то февральское утро, словно почудился ему некий зов, а он и не понял, что то был зов беды... Проклятая трезвость, не оставлявшая его даже в минуты отчаяния, с привычной четкостью обозначила единственно возможное в таком случае решение, и он не медля вынес его. Он вышел в то утро из дому и сразу же поехал на завод, но прошел не в свой кабинет, а в сборочный цех: он инстинктом чуял — там его спасение... В то время завод получил задание: за десять дней дать колонну танков в триста машин; тяжелое задание. Оставалось два дня, и стало ясно — танков тридцать завод недодаст. В сборочном люди были изнурены, они работали по двенадцать часов, их кормили тут же в цехе, и тут же они спали... Вот сюда он и пришел в то февральское утро. Оглядел широкий пролет, где шла сборка. Гудели, разбрасывая яркие искры, сварочные автоматы, подъемные краны тянули вверх броневые башни с орудием... Взгляд его остановился на том месте, где шла сборка подмоторного фундамента. Он пошел туда, тронул за плечо задохнувшегося от тяжелого кашля слесаря, жестом показал, чтобы тот освободил место. Он начал работать гаечным ключом, так и не переодевшись. Прибежал сначала сменный, потом начальник цеха, они испуганно суетились вокруг Ремеза, тот же, не замечая их, работал, как и другие, молча. Инженеры приняли эти действия Ремеза как сигнал и тоже стали подменять рабочих, вскоре весть об этом достигла заводоуправления, и там кто-то распорядился скомплектовать из управленцев бригаду сборщиков... Ремез работал двое суток как бешеный, словно сделан был из железа, никто не видел, прерывался ли он, чтобы поест или покурить. У него в кабинете надрывался телефон, приходили срочные документы... Сейчас это стало историей и записано в летописи, что завод в невероятных условиях выдал колонну в триста танков и отправил ее на фронт, и много лет на заводе вспоминали, как работал в те дни Ремез, он был черен лицом, рукавиц не надевал, и руки были сбиты, в кровоподтеках, кожаная куртка порвалась, брюки и рубаха в масляных пятнах. Он был ловок и хватист, и люди старались от него не отставать. Я много раз слышал об этом. Но прежде не знал, почему Ремез с такой яростью ушел в физическую работу, ведь и поныне многие считали — им руководило одно: желание выполнить приказ.

Колонна танков ушла на фронт, он вернулся к себе в кабинет — надо было продолжать работу над новой машиной. Он вызвал Куликова и говорил с ним так, словно ничего не произошло, и Андрей Кириллович принял такой тон. Куликов думал, что все в Ремезе сторежело в те двое суток, когда он был в сборочном, на самом деле боль в душе стала острее, только забилась в глубину.

Через месяц пришел приказ — проверить новый танк во фронтовых условиях, и завод должен был выслать наблюдателей. Обычно в таких случаях на фронт выезжал сам Ремез. Но его срочно вызвали в Москву в Комитет Обороны со всеми данными о новом танке. На передовую вместо Ремеза мог выехать только один чело-

век — Андрей Кириллович Куликов. Ремез вызвал его, но ему сообщили: Куликов дома, болен, то ли схватил простуду, то ли у него сердечный приступ.

— Если стоит на ногах, пусть явится,— приказал Ремез.

Андрей Кириллович приехал через четверть часа, вошел в кабинет тяжелой походкой, шаркая валенками, его пожелтевшие щеки обрюзгли, и под глазами набухли мешки, усы торчали в разные стороны — видимо, он давно их не подстригал. Взглянув на него, Ремез внезапно подумал: «А ведь он уж старик... К старику ушла...» Но он подавил эту мысль.

— Нужно ехать на фронт посмотреть, как там наш танк себя по-кажет,— сказал он Куликову.— Если сами не можете, подберите немедленно группу. Хотя лучше бы самому. От этого зависит, будем ли запускать его в серию...

Андрей Кириллович однажды побывал на передовой под Калинином, проверяли модернизированный танк, выпущенный заводом, приехал он оттуда разбитый, подавленный. Нет, он не был труслив, но когда начинался обстрел из орудий, его охватывала дрожь, с которой он не в силах был справиться... Потом уж, задним числом, Ремез узнал, что когда Андрей Кириллович вышел из кабинета и пришел в конструкторское бюро, то сказал:

— Я не мог отказаться, потому что и в самом деле почувствовал бы себя трусом...

Его убило на второй день после его приезда на фронт, убило нелепо, когда он шел лесной дорогой в сопровождении генеральского адъютанта к землянке командира дивизии. Немцы лениво постреливали по лесу из дальнобойных, и шальной снаряд, обламывая сучья деревьев, влетел на дорогу и разорвался. Андрей Кириллович не успел даже упасть, как его изрешетило осколками, и больше никто не пострадал от этого взрыва, хотя в лесу было полным-полно людей, даже адъютант не получил царапины, может быть потому, что вовремя успел прыгнуть в воронку.

Останки Куликова доставили на военном самолете в наш город, похоронили не на кладбище, а в сквере неподалеку от проходных... Сколько погибло тогда людей, каждый день приходили пачками похоронки на завод, умирали и от непосильного труда, холода, недоедания, но гибель Андрея Кирилловича тронула всех, будто люди увидели в ней отражение всех смертей, что были вокруг, и потому на похороны собралось так много народу и так горестно плакали провожавшие его в последний путь. Куликову посмертно присвоили звание Героя, на могиле установили бюст, и сюда, в этот тихий скверик, часто приходили люди поклониться ему... Тяжкое это было время для Ремеза, он остался совсем один, привык за долгие годы к советам Андрея Кирилловича, но не знал тогда еще Ремез, каким обвинением станет для него смерть главного конструктора...

Это было осенью сорок четвертого: позвонили и потребовали, чтобы Ремез завтра же прибыл в наркомат; так случалось множество раз, и, какая бы ни была погода, самолет взлетал с аэродрома, чтобы добраться к столице. Он собирался в дорогу, взяв с собой необходимые данные по заводу. Разговор в наркомате вышел напряженный; уж за полночь по дождливым улицам его доставила машина к гостинице «Москва», где снят был для него номер. Он вымотался за день, утром чуть свет нужно было снова лететь — домой, сразу же залез в пахнущую дезинфекцией постель и попытался уснуть, но не смог. Вся накопленная за годы войны усталость, казалось, опрокинулась на него. Он долго стоял у окна босиком, за окном в зыбкой масля-

нистой темноте лил дождь, стекая струями по стеклу, уснуть ему в эту ночь так и не удалось...

Он вернулся на завод, и снова его захватила работа, однако по различным мелким признакам чувствовал — что-то разладилось, труднее давались привычные отношения с начальниками цехов и служб, стал срывать в беседах с начальством, и разговоры с ним обретали более резкий характер. И хотя завод работал намного лучше, чем в первые годы войны, да и по главным показателям превосходил другие заводы, ощущалось — им недовольны. Так длилось долго, очень долго — до самого окончания войны... И еще два года он трудился в неимоверном напряжении: надо было перестраивать цехи, переводить их с военной на мирную продукцию.

Все обрушилось на него неожиданно и стремительно: прилетела комиссия из Москвы, поначалу работала тихо и спокойно. Ремез не ожидал от этой комиссии каких-либо резких выводов, но они вдруг последовали: его честили за крутой нрав, за неуважение к коллективу, тут выплыла история с Куликовым — дескать, он послал его на верную смерть. До Ремеза долетели слова, сказанные в Москве: «Устал, видать, мужик. Выдохся».

Решение пришло мгновенно. Он начинал на заводе с мастера, вот и ехать ему на новое место на эту же должность.

Он не выбирал Ярск, выбрали за него. Странно, но когда все это кончилось, он пришел к себе домой, и впервые за последние годы ему не надо было куда спешить, не оказалось никаких обязанностей ни перед кем, он был один, и он свободен, он почувствовал ко всему окружающему равнодушие, лег на кровать и так пролежал сутки, но не спал. Казалось, тело его обрело невесомость и вращалось в четырех стенах, как в аквариуме... Его поднял на ноги звонок в дверь. Он нехотя пошел открывать и увидел за порогом Людмилу. Был летний душный вечер, и она стояла в легком платье, обнажавшем высокую смуглую шею, вокруг которой волнисто ложились на плечи непроницаемо черные волосы, над пушистыми ее бровями выступали капли пота, чувствовалось, как все в ней было напряжено, но сказала она твердо, с характерной для нее суховатой интонацией, когда вела речь по делу:

— Здравствуй. Я хочу с тобой поговорить.

Он отступил от порога, пропустил ее вперед, и она смело, независимой походкой прошла в комнату, бегло оглядев ее, села к столу. Он сел напротив, стал ждать. Она заговорила не сразу, вынув из сумочки платок, отерла им лицо, а потом еще помолчала. Наконец сказала:

— Игнат, от меня требовали, чтобы я говорила о тебе плохо... Хотели, чтоб я подтвердила, будто ты и вправду из чувства мести послал Куликова на смерть... Я им сказала — это чушь. Но они обошлись без меня... Ты уезжаешь, и я хотела бы, чтобы ты знал — я не участвовала в этом.

— Какое это имеет значение? — пожал он плечами.

— Для меня имеет, — твердо сказала она.

И только сейчас он увидел, как она красива: глубоки ее темно-коричневые глаза, порозовела от волнения смуглая кожа на щеках. Он улыбнулся ей, радуясь этой красоте и любясь ею. И она, увидев его взгляд и его улыбку, прижала соединенные ладони к груди и почти шепотом спросила:

— Ты веришь мне?

— Конечно, — проговорил он, все еще улыбаясь.

И так глядя на нее, он внезапно понял: все случившееся с ним не такая уж беда, он еще хорошо отделался, и то, что **открывается** впереди, вполне может обернуться благом — он не стар, здоров, он

способен работать, и ему не надо заботиться ни о ком, даже об этой сидящей напротив смуглой красивой женщине.

Она внезапно подалась к нему и все тем же шепотом горячо произнесла:

— Хочешь, поеду с тобой?

Его рассмешил этот порыв жертвенности. Нет, он не хотел, чтобы она ехала, он должен был всерьез ощутить свою свободу.

— Ты почему смеешься? — удивилась она. — Не хочешь, чтоб я ехала с тобой?

— Нет.

— Почему?

— Потому что ты должна быть свободной.

— А ты?

— Мне надо прийти в себя... Все равно я сейчас как головешка, обгоревшая головешка. Ты не волнуйся, я встану на ноги.

Она помолчала, видимо пытаясь проникнуть в смысл его слов.

— Я рада за тебя, Игнат... Ты позволишь мне писать?

— Лучше не надо... Ты не сердись, но когда-нибудь ты поймешь — так лучше. — И он встал, показывая этим, что ей пора уходить.

Она поняла, подошла к нему, поцеловала его в щеку и быстро, не оборачиваясь, пошла к дверям...

Он уехал в Яркск в ту же ночь...

## Глава пятая

Я видел его каждый день, как он мылся, обнаженный по пояс, растирая крепкое, покрытое темными конопушками тело, как ел, упруго работая челюстями, круглые розовые желваки ходили под гладко выбритой кожей, как курил трубку, как был задумчив, оглаживая жесткую рыжину волос. Слушая его скупые рассказы, затем пытался представить, как это происходило на самом деле, иногда догадываясь или домысливая, я все же понимал, что все эти воспоминания не могут дать хотя бы приблизительной полноты того, что делалось на заводе в годы войны.

Наблюдая его в нашем доме, я все более и более радовался, что этот человек повстречался мне на пути, потому что теперь яснее видел, что ждало меня после защиты диплома; он словно бы открывал мне тайну нашего труда, где главное — суметь презреть любые устройства, любые, даже самые тяжкие потери во имя задач, которые определила тебе жизнь. Я не знал, сумею ли научиться этому, но, глядя на Ремеза, верил — сумею, ведь я прошел войну. Дня за три до нашего отъезда из Ярска он невольно преподавал мне еще один урок самообладания и мужества...

На заводе запасных частей в полдень вспыхнул пожар — занялся огнем деревянный длинный склад, где хранилась часть готовой продукции, а в дальнем его конце упрятаны были бочки с горючим и краской. Огонь пошел на склад не сразу, сперва загорелись лежащие неподалеку штабеля досок. Я видел из нашего огорода, как взметнулись в небо черные дымы, но не понял, что это горит на заводе... А там запылало яростно и быстро, и сразу же ударил сигнал пожарной тревоги — отчаянно забили в рельс, и на этот тревожный звон выскочили рабочие из цехов, выбежал из своей конторы и Бортов, заметался, взмахивая палкой. Он более других понимал: если огонь достигнет дальнего края склада, то неминуемо взорвутся бочки с бензином, пламя может переметнуться в цехи — и заводу не устоять под таким:

огнем. Он кричал об этом людям, сбившимся в кучу подле кирпичной стены. Заводские охранники размотали брезентовый шланг, открыли вентиль водопровода, брызнула из брандспойта вода, пламя метнулось в сторону, но не погасло. Бортов суетился среди людей, его не понимали, смысл его выкриков не доходил до сознания, и в отчаянии он кинулся было к огню, лицо его опалило, и он остановился, не зная, что предпринять. А решалось все в секунды, каждый утерянный миг приближал катастрофу... И вот здесь-то те, кто был во дворе, услышали рокот трактора — тракторы стояли под навесом подле цеха. Трактор все набирал и набирал скорость и пошел на стену склада, еще не охваченную огнем, он ударил о нее раз, и слышно было, как бревна затрещали под его ударом, трактор отошел назад и снова ударил, и стена не выдержала, часть ее завалилась. Из кабины выскочил Ремез и стал кричать, чтобы те, кто умел, двинули и другие тракторы на склад, и сразу же три человека побежали к машинам... С этой минуты Ремез словно бы взял все на себя, он отдавал команды, его слушали, выполняли то, что приказывал, а когда не понимали, он двигался на огонь трактором, и другие машины шли за ним. Склад разнесли, огонь так и не дошел до горючего... Те, кто гасил, обмылись тут же во дворе под водопроводом, обжегшиеся или получившие царапины сходили в медпункт, потом покурили и снова разошлись по своим цехам, а к концу смены уже забыли о происшествии, как забывали о других заводских авариях.

Игнат Матвеевич вернулся с работы в обычное для него время, брови его и волосы были подпалены, но не сильно, и на щеке и руках были ожоги. Наталья Михайловна, увидев его таким, достала из кладовки банку с самодельной мазью из барсучьего сала с медом, бессмертником и еще какими-то травами, она лечила этой мазью синяки, царапины, ожоги, и помогало. Она велела Ремезу помыться, переодеться, а потом уже смазала обожженные места, он подставлял щеки и руки, смеясь. Но Наталья Михайловна смеха этого не принимала и сердилась:

— Это снадобье получше ваших аптечных будет, оно в поколениях проверенное...

Ремез в белой нижней рубаше с закатанными рукавами сидел с нами за столом, пил чай, когда возле окна остановилась машина, и Наталья Михайловна громко известила:

— Сам директор пожаловал.

И верно, через минуту, наклонив голову на короткой шее, вошел в избу Бортов, поклонился:

— Хорошего аппетита. Извиняюсь, что нарушил...

— Ничего ты не нарушил, — сказала Наталья Михайловна. — Ставь вон свою палку в угол да садись к столу... Вон шанежки есть, хоть и вчерашние, однако ж сам знаешь — вкусные. Могу и кислушки подать, раз уж такой гостенек явился. А то как начальством стал, так старыми знакомыми брезгуешь.

Бортов смущенно крякнул, но, покорно поставив палку в угол, сел к столу, потирая широкие свои ладони, и пробормотал:

— Что же вы, тетя Наталья, так сурово?

— Это ж разве сурово? — удивилась она. — Я ведь не взашей. Хоть по старым временам и полагалось бы, чтоб нос-то не задира. Так выпьешь кислушки?

— Разве же от вашей кислушки, тетя Наталья, откажешься?

— Ну вот и хорошо, — согласилась она, мигом сбегала в сени, принесла бутылку.

Бортов покрутил в тяжелых пальцах стакан, исподлобья посмотрел на Ремеза, сказал:

— Спасибо тебе, Игнат Матвеевич, за сегодняшнее. Я в приказе благодарность вынес, ну и там премию... небольшая, а все же...

Ремез не отвечал, молча смотрел на него, но я видел, как озорные искорки мечутся в его угольных глазах, и под этим его взглядом Степан Бортов чувствовал себя неловко, все крутил и крутил стакан, пока Наталья Михайловна не сказала:

— Что же за такой повод да не выпить? Выпей, Степушка...

Он вздохнул, а потом решительно выпил, но ничего есть не стал, и установилась неловкая тишина, вроде бы ничего не случилось, да ничего особенного и не было сказано, но я да, видимо, Наталья Михайловна и Лена почувствовали — между этими двумя людьми, Ремезом и Бортовым, что-то происходит непростое.

А озорное все прыгало и суетилось в глазах у Ремеза, но он молчал, молчал и когда уж Степан достал папиросы, но так и не закурил, спохватившись, взглянул на Асю, лежащую на кровати. Ремез внезапно спросил:

— Думаю, Степан Трофимович, вы не только за этим сюда ехали. Приказ приказом, а все же...

И Степан хмуро ответил:

— Да, конечно же...

— Ну так смелей, — приободрил его Ремез.

И тогда Бортов вскинул голову и уже открыто посмотрел на Ремеза.

— Ну вот что, Игнат Матвеевич, — решительно сказал он. — Я все о том же — не может быть на заводе двух директоров. Нельзя каждый день слышать чуть что: пойдите к Ремезу, посоветуйтесь с Ремезом... Так, понимаешь, ваш авторитет раздули. А сейчас этот пожар... Вон в городе у пивного ларька только вашу фамилию и слышно. А в меня пальцем тычут...

— Но ведь, Степан Трофимович, вам никто не мешал. Могли бы и вы на трактор...

— Га! Не мог, — поморщился Бортов. — Не сообразил... У вас ведь какой опыт!

— Так что же, по-вашему: пусть бы сгорело, лишь бы Ремез себе авторитет не набивал?

Бортов ошеломленно посмотрел на Ремеза, похлопал веками, но тут же усмехнулся:

— Ну уж это вы зря. Это через край, Игнат Матвеевич... Зачем вы мне такое вешаете?

— Тогда в чем дело? Тогда все в порядке, — усмехнулся Ремез.

— Нет, не все, — упрямо набычился Бортов. — Да если бы по мне, я вас завтра же главным сделал и верю — было бы толку больше, чем от нынешнего. Да не велят. Сам я на себя взять такое не могу. А то, что вы в мастерах, хуже быть не может. На вас как сейчас смотрят? Будто правду или дельное слово лишь вы и можете сказать. Стали бы начальством, на вас иначе бы посмотрели...

— Ну и как же? — спокойно спросил Ремез.

— А так же, как и прежде, — вдруг зло ответил Бортов и сжал свою широченную ладонь в кулак. — Мы про ваши дела наслышаны. Я на вашем заводе практику проходил. А как бурлило, когда вас снимали! Сюда, до Ярска, и то волна дошла... Это здесь вы в святых ходите, а по тем временам вас хуже самой войны боялись. Да и было чего. По человеческим жизням как танк шли. Плевать было на тех, кто у



станков помирал да кто горбушку хлеба на десятерых делил. У самого-то всего навалом. Вы и лиц-то небось человечьих не различали, одни машины. Война, мол, все спешет. Га!.. А сейчас войны нет. За нее не укроешься. Это каждый понимает. Нынче авторитет умом да добром у рабочего человека завоевать надо. Откомандовались! Вот ваше время и кончилось, вам дали по шее... Сунь сейчас на руководящую — вы же опять всех в бараний рог свернете. А так-то хорошо в ангелах ходить... Ей-богу, ехали бы вы отсюда, Игнат Матвеевич! Я бы вам в ножки поклонился...— Тугое крепкое лицо Степана пошло красными пятнами, закончив свою речь, он жадно потянулся к стакану с кислушкой и выпил залпом.

Какое-то время стояла тишина. Внезапно взорвалась Лена; она вдруг вскочила с лавки, вся вытянулась, тяжелые волосы ее упали на плечи, а взгляд сделался стальным, таким же, как в тот день, когда умер Иван Митрофанович. Сжимая кулачки, она выкрикнула:

— Ты трус, Бортов, трус и баба! — Ее трясло, и она быстро-быстро заговорила: — В штаны небось наложил во время пожара? Тебя человек выручил, а ты все сплетни собрал и притащил, чтоб его в назме вывозить, а самому чистеньким остаться! Жалкий ты человек, Бортов!

Я и не предполагал, что она умеет так кричать, но для Натальи Михайловны, наверное, то было не в новость, потому что она спокойно сказала:

— Укоротись, Лена!

Но Лена не послушала, шагнула к Бортову и крикнула, прямо глядя ему в глаза:

— Уходи, Степан! Противно на тебя смотреть. Уходи, слышишь?

Бортов смущенно почесал подбородок и, крикнув от неловкости, стал подниматься. Но вот здесь-то и произошло неожиданное.

— Обождите, Лена,— ласково сказал Ремез и поднялся, улыбнувшись.— Зачем же столько страсти?

Он взял трубку, набил ее табаком, умяв твердым негнувшимся пальцем, прошел к окну, растворил его и, сев на лавку, раскурил трубку, выпустив дым на волю. Он оглядел всех веселым взглядом и сказал:

— Хорошо, Бортов. Я уеду... Только попрошу вас, повремените, мне надо кое с кем списаться. Дней десять, не более. Устроит?

Но Бортов ничего не ответил, пошел, прихрамывая, в угол, взял палку, решительно повернулся и, ни на кого не глядя, сказал:

— Будьте здоровы.— Наклонив голову, вышел...

Едва замолк шум отъезжающей машины, как Лена оборотилась к Ремезу и с тихим упреком сказала:

— Что же, Игнат Матвеевич, взяли да сдались?

Он посмотрел на нее и, шутливо сложив ладони, сжимая зубами трубку, сказал:

— Виноват, каюсь.— И тут же не удержался, рассмеялся.— А хороши вы были, Леночка, во гневе! Ей-богу, удивительно хороши! Будто на смерть готовы...

Лена неожиданно смутилась, щеки ее вспыхнули, она прикрылась ладошкой, как обычно делают это деревенские девушки, подчеркивая замешательство, и сказала со смешком:

— Да ну вас!

Ремез повернулся ко мне и уже серьезно сказал:

— Берегите ее, Костя. Видели, какая жена вам досталась? — И выпустив струю дыма в окно, проговорил: — Нет, Леночка, я не сдался. Я просто прикинул: и верно, мне отсюда лучше уехать.

— Ну и куда же вы теперь? — поинтересовалась Наталья Михайловна.

— А это посмотрим, — ответил он. — Кое-где у меня еще друзья остались. Россия большая, а рабочие руки везде нужны... Ничего, отыщем место.

И я сразу же поверил: конечно же, он отыщет.

Через два дня мы уезжали из Ярска, простились с Ремезом рано утром, когда он собрался на смену; вскоре за нами заехал на грузовой машине Долголобов, он уже набрал полон кузов баб. Меня он тут же попрекнул:

— Что же ты, студент, так и не зашел ко мне? Или беседовать тебе с простым человеком недосуг?

— Отчего... Просто закрутился, — ответил я.

— Смотри, так всю жизнь и прокрутишься.

Наталья Михайловна провожала нас к поезду и вместе с Петькой Сапожниковым помогла сесть в проходящий. Так мы вернулись в большой город, так и началась наша горемычная трудная жизнь. Лена терять года не захотела и, нянча Асю, готовилась к экзаменам; я часто подменял ее, писал свой диплом и тоже готовился к экзаменам, а еще рыскал по разным организациям, чтобы подработать чертежами или диаграммами, заработок этот был невелик, но мы тогда обходились малым.

К следующему июню мы закончили учебу, я пошел работать на завод в цех к Семену Андреевичу Куликову, у которого проходил преддипломную практику, он хоть и пообещал мне тогда выбить квартиру, но так и не выбил, и мы продолжали втроем жить в нашей небольшой комнате. Лена получила направление в молодежную городскую газету, и постепенно то, что было в Ярске, начало выветриваться из нашей памяти... Правда, еще осенью, когда вернулись к себе, получили от Натальи Михайловны письмо, и среди прочих ярских новостей она сообщала, что Ремез уехал дней через десять после нас. Куда он направился, она не знала, так как он сказал, что сначала заедет в Москву, а там уж определится..

Каждый день я шел на смену через при заводскую площадь, мимо небольшого скверика, где похоронен Андрей Кириллович Куликов, и мимо танка, стоящего на бетонном пьедестале, летом на его орудие и башню густо садились воробьи, а зимой лежали шапки снега, я знал, как и все на заводе, что это был последний танк, собранный в сорок пятом и выведенный сюда, на площадь, Ремезом...

Меня сразу же, как попал в цех, закрутила, завертела работа, и произошло то, о чем предупреждал меня в Ярске Игнат Матвеевич, — поплыла лодочка по воле волн.

Работать с Семеном Андреевичем Куликовым было хорошо, он был мягок и внимателен, хотя мало изменился за то время, что мы не виделись, по-прежнему устало сидел в своей конторке высокий, сутулый, подергивая языком плечами, и вяло ругался по телефону. Только одеваться стал иначе, вместо прежнего серого пиджака носил модную куртку на застежках-«молниях»; впрочем, едва появилась у него эта куртка, как исчезли с лица следы неопрятности, он был гладко выбрит, всегда в свежей рубашке и при галстукке. Я не говорил ему, что встретил в Ярске Ремеза, и не подавал виду, что знаю об их отношениях. Так шли наши дни в бесконечных заботах и работе.

Но что бы мы ни делали, как ни погружались с головой в дела, а нет-нет да и возникала то в цехе, то на директорском совещании или просто в «американке» у пивной стойки тень Ремеза: вспоминали о

каком-то его инженерном решении, о приказе или случае, внезапно повернувшем намеченные планы. Он сам жил где-то вдалеке, никто из знакомых не знал, где он обитает и чем занят, но какой-то частью разума и души еще властвовал даже над теми, кто и хотел бы его забыть, да не мог, потому что слишком многое было заложено им на заводе, став той основой, которая продолжала действовать подобно скрытой силе земного тяготения...

Теперь, по прошествии многих лет, я стал понимать, потому что много раз убеждался в этом, что уход любого человека — это не просто потеря для окружающих, это еще и долгое присутствие ушедшего, продолжающее влиять на ход событий. В нас всегда присутствуют другие люди, их любовь или ненависть, их презрение или уважение, и чувства не исчезают с уходом этих людей.

Ремез незримо продолжал жить на заводе, и чем дальше уходила от нас война, тем быстрее забывалось то тяжкое, что было связано с его именем, забывались обиды, нанесенные им, крутые решения, заставлявшие измученных людей напрягать последние силы, и чаще говорили о том, как умел он, рискуя многим, помочь другим, как, бывало, лез в пекло, чтобы облегчить задачу рабочим.

В «американке» — деревянном павильоне, окрашенном в ядовито-зеленый цвет и потом получившем кличку «Попугай», — где стояли тесно высокие стойки с серо-желтыми крышками из прессованной мраморной крошки и куда забегал я иногда после смены, почти не было дня, чтобы за неторопливым разговором не вспоминали «свирепого директора». Наш город славился своим пивом, было оно светлым, душистым и крепким, с белоснежной густой пеной; говорили, что главным пивоваром у нас работает чех, старик, оставшийся еще со времен гражданской войны, и он-де обладает особым секретом варки пива, который по наследству передал своим сыновьям, родившимся уж на нашей земле. «Попугай» был вроде клуба, куда забегали ненадолго, чтоб утолить жажду, поболтать о всякой всячине, водку сюда не приносили, и, насколько я помню, пьяных там не бывало, к пиву продавали соленые сушки, а иногда и воблу.

Вот там-то я и услышал от низенького, квадратного, как ящик, в черном железнодорожном кителе диспетчера транспортного цеха, некогда железнодорожного начальника, историю о том, как Ремез остановил эшелон с хлебом и другими продуктами. Этот низенький человек, кажется, фамилия его была Буренков, говорил тяжелым, трубным голосом, не скрывая своего восхищения происшедшим на его глазах в феврале сорок второго, хотя сам в той истории играл незначительную роль...

По каким причинам, сейчас уж и разобрать невозможно, в город перестали поступать продукты, их перестали выдавать по карточкам, в цеховых столовых, кроме жиденького супа, ничего не было. Ремез вызвал снабженцев, и те сообщили, что эшелоны с продуктами, предназначенные для рабочих, по приказу военного коменданта отправлены на запад — то ли комендант получил на этот счет указание, то ли у него были на то особые причины, узнать они не смогли. Ремез приказал собрать грузовые машины, выделить бригады грузчиков и вместе с ними направился на станцию. Он вошел к Буренкову и спросил, прибывает ли на станцию какой-нибудь эшелон с продуктами. Буренков отвечать отказался, заявив, что это военная тайна, да и командует здесь не он, а военный комендант. Но Ремезу и без Буренкова сообщили, что на одном из путей стоит эшелон с мукой и консервами, который вот-вот должен отойти, и тогда он распорядился направить туда бригады грузчиков и машины. Влетел военный комендант,

нервный, измотанный бессонными ночами, он потребовал от Ремеза немедленной отмены приказа. «На фронт продукты! — кричал он. — Саботаж! Вредительство!» Ремез ответил: «Здесь тоже фронт». И пошел к выходу. У военного коменданта сдали нервы, он выхватил пистолет и, срывая до хрипоты голос, заорал: «Стоять, гады! Ты арестован!» Ремез шагнул к нему, и комендант выстрелил. Рука у него дрожала, и он промахнулся. Ремез, даже не взглянув на него, быстро подошел к телефону, потребовал: «Говорит Ремез. Немедленно свяжите меня с Москвой, с Комитетом Обороны». Видимо, это отрезвило коменданта, и он мешком свалился на стул. Буренков не понял, с кем говорил Ремез, потому что после выстрела коменданта забился в угол от страха, но что говорил директор завода, запомнил навсегда: «Докладываю, что вынужден заниматься недостойной руководителя партизанщиной. По чьему-то головоутишению рабочих завода оставили без продовольствия. Сейчас разгружаю эшелон с продуктами, предназначенными фронту, потому что не вижу иного выхода. Если мы не накормим людей, придется остановить производство танков... Да, я знаю, что продукты были направлены заводу, но они миновали город... Нет, я не знаю, кто виноват. Для этого необходимо расследование, а сейчас на него нет времени... Нет, коменданта арестовывать не следует. Во всяком случае, для этого нет пока оснований... Прошу вас числить этот эшелон за нашим заводом, а на фронт направить другой... Хорошо, спасибо». Он положил трубку, посмотрел на белого до синевы коменданта, сказал: «Вы не умеете пользоваться оружием. Вам бы лучше его не носить» — и вышел... «Я его потом час водой отпаивал, — рассказывал Буренков о коменданте. — Да и сам на несколько дней сон потерял — вот-вот, думал, за шкирку возьмут. Война не шутки...»

Когда он все это рассказывал, в «Попугае» было тихо, все замерли возле своих кружек с пивом, потом кто-то горестно вздохнул:

— Да-а, без хлебушка-то попробуй поработай...

Были и другие рассказы, оставшиеся в моей памяти, когда, по мнению рассказчиков, Ремез занимался «совсем не директорским делом», об этом вспоминали с удовольствием и одобрением. Один из бригадиров рассказывал, что поначалу, когда начали выпускать танки, стартеры для них делали в другом городе, на нашем заводе производство их еще не наладили. Случилось так, что подготовлена была целая колонна танков, а стартеры не доставили — бушевали свирепые метели и два самолета с необходимым грузом, пытавшиеся пробиться к нам, потерпели аварию. Танки ждал фронт, их нельзя было задерживать и на день. Тогда Ремез приказал грузить танки на платформы, дали команду, чтобы стартеры были подготовлены к приходу эшелона, с которым двинулись на запад Ремез и бригада монтажников. Стартеры ставили на танки во время движения эшелона, ставили днем и ночью, невзирая на вьюгу, и Ремез сам руководил работами.

Все это было, и все это осталось в памяти.

Однажды Семен Андреевич Куликов сказал мне:

— Ну вот, дорогой коллега, я покидаю вас... Да и завод вообще.

Он был необычно возбужден, даже весел, и на серых его щеках играл румянец.

— И куда же? — спросил я, зная, как трудно уволиться нынче с завода.

— В науку, в науку, дорогой мой товарищ! — торжественно возвестил он. — Нашлось для меня местечко в одном исследовательском институте. — Но тут же рассмеялся: — А вообще-то это все происки жены. Знаете что, Костя, давайте я ей сейчас позвоню, а вы вечером приходите, еще лучше — с супругой, и мы отметим такое дело...

Это было для меня новостью, потому что я считал, что он холост, живет один...

— Когда же это вы женились? — не удержавшись, спросил я.

— Да вот уж года полтора,— ответил он и тут же удивился: — А вы что же, не слышали? Странно...

— Чего ж тут странного?

— Странно,— повторил он.— Брак мой тут на все лады посмаковали... Жена моя вроде бы из нашей семьи. И фамилию ей не надо было менять. Так и осталась как была — Людмила Куликова...

Вот так я узнал, что произошло с бывшей женой Ремеза. Я сразу вспомнил все, что услышал в Ярске, и с особым, обостренным любопытством собирался вечером в гости.

Лена со мной не пошла, но не потому, что не с кем было оставить Асю, к тому времени дочь наша подросла и мы отдали ее в заводской детский сад, оттуда забирали только на выходные дни. У Лены было дежурство в редакции, а это всегда допоздна.

Дом, в котором жил Куликов, я знал. Построенный в начале тридцатых годов серой подковообразной башней, он был достопримечательностью города, до войны в нем жили актеры, писатели, ученые, ответственные работники, он выделялся своей необычностью, тяжелым серым цветом с бордовыми балконными нишами. Я вошел в подъезд и стал подниматься по массивной лестнице, видно было — люди живут здесь прочно и крепко. С этим ощущением я и нажал кнопку звонка. Мне отворил Куликов, был он в белой рубаше, радостно вскинул руки:

— Прошу, прошу, а что же супругу-то забыл?.. Жаль, жаль...

Я шагнул вперед и оказался в прихожей с вешалкой старинной работы и высоким зеркалом, затертым креслом, на сиденье которого лежали журналы, пахло шубами на хорошем меху и сдобой, и, втянув этот запах в себя, я улыбнулся, подумав, что ощущение сытого тепла, возникшее на лестнице, не обмануло меня.

— Ну шагай смелее,— сказал Куликов.— Давай, пока Людмила готовится, сюда в кабинет...

Все же я вошел в эту комнату робко и робко опустился в кожаное кресло, оглядываясь по сторонам. Возле стены кожаный желтый диван с высокой спинкой, длинные, под самый потолок стеллажи с книгами, письменный стол с зеленым сукном, а над ним в простенке портрет Андрея Кирилловича в военной форме, такой же висел в нашем заводском клубе.

— Хочешь, выпьем чего-нибудь, пока то да се? — спросил Куликов и, не дождавшись моего ответа, вышел.

Вскоре он вернулся с бутылкой водки и двумя рюмками.

— Давай для разговора по маленькой.

Он налил быстро водку, мы чокнулись и выпили. Но я по-прежнему был подавлен этим кабинетом, потому что знал многое из того, что происходило здесь.

— Ты что какой-то не свой? — спросил Куликов.

— Не обращайтесь внимания,— сказал я.— Просто еще не обвыкся.

— Бывает, бывает,— хохотнул Куликов и тут же встал, подошел к стеллажу.— Вот посмотри-ка сюда... Это все батины труды. Ничего, а? Ну, вот эти папки, видишь, толстенные — кладезь мудрости. Их Людмила совсем недавно в порядок привела. Замечательные там, говорит, вещи есть. В общем, отец нам кое-что оставил. И этим, дорогой мой, мне и предстоит заняться в институте... Года, конечно, уж не те, ну да ничего. Все же это поинтересней да поперспективней будет, чем всю жизнь план давать... Как думаешь?

Но я ничего не мог ему сказать, я был цеховым инженером и другой работы для себя не видел.

В это время звякнула застекленная дверь, в комнату вошла стройная женщина в бархатном платье, с обнаженными руками, она держала их, опустив вдоль туловища, высокая смуглая шея ее была открыта, в черные волосы вплелась седина, но она шла ей, не старила, а еще более оттеняла свежее гладкое лицо.

— Вы и есть Голиков? — улыбнулась она мне. — Рада вас видеть. Семен мне все уши прожужжал, какой вы талантливый инженер. Это правда?

Я смутился, сказал нерешительно:

— Не знаю...

— Ну, значит, правда, — рассмеялась она. — У меня все готово. Идемте к столу.

Мы прошли через прихожую в другую комнату, где по центру помещался длинный стол, а рядом с ним старинной работы черный буфет, мы сели к накрытому столу. Людмила положила мне еду в тарелку, я не разглядел что именно, мы выпили, я наблюдал ее и Куликова, и мне думалось: какие они разные да и сидят за столом как чужие. «Что же их связало? Как это случилось?..» Они ведь несколько лет прожили здесь, в одной квартире, жили, жили, да и наступил день, когда нельзя уж было вынести ни ей, ни ему одиночества, они и пришли друг к другу, чтобы вместе забыть о прошлом. Может быть, и так, может быть...

— Вы всегда такой бука? — улыбнулась мне Людмила.

— Нет, зачем же, — ответил я и ни с того ни с сего ляпнул: — А я ведь с Ремезом встречался. С Игнатом Матвеевичем.

Людмила, орудуя вилкой и ножом, ела, ничего не дрогнуло в ее лице.

— Вот как, — сказала она, — и когда же?

— Вроде бы года три прошло, — ответил я.

— Что же ты не говорил никогда! — воскликнул Куликов.

— Да не пришлось как-то, — сказал я.

— А сейчас пришлось? — спросила Людмила, и я увидел на губах ее усмешку, но она тотчас же согнала ее и попросила: — Ну, если пришлось, то расскажите.

— Хорошо. Только давайте еще немного выпьем...

Мы выпили, и я стал рассказывать, как все было в Ярске, и про Ивана Митрофановича рассказал, и про Бортова, и про пожар... Они слушали не прерывая, Куликов с обычным своим усталым выражением лица, а Людмила закурила папиросу, в глубине ее коричневых глаз появилась тоска, потому-то я не стал говорить о том, что рассказывал мне об их жизни Ремез. Когда я закончил, она сказала неожиданно твердо:

— Очень интересно. — И тут же вздохнула. — Станный же, однако, он человек, Игнат Матвеевич... Станный.

— Чем же он странный? — спросил я.

Людмила потянулась к блюду с пирогом.

— Давайте, Костя, я вам положу. Это рыбный... Попробуйте, ручаюсь, что понравится...

— А рыбка, как известно, плавать любит, — сразу же обрадовался Семен Андреевич и бойко схватил бутылку со стола.

И чтоб уж окончательно не дать мне вернуться к разговору о Ремезе, Людмила стала весело рассказывать:

— У нас прелюбопытнейший случай в институте произошел... Вот послушайте, я вам расскажу...

Это была одна из многочисленнейших историй, которые бродили тогда по России,— о том, как вернулся в семью убитый на войне человек, вернулся, когда его никто не ждал: жена вышла за другого за муж, дети забыли отца... Шестой год как кончилась война, а все еще ходила она призраком по улицам городов и деревень... Мы еще выпили и еще, и пошла обычная застольная болтовня, а потом включили радио — отличный трофейный «телефункель» — и танцевали. Уж где-то в полночь я вышел от них, Семен вывел меня на лестницу, сказал на прощание:

— Ты, Костя, заходи. Людмиле ты понравился. Это хорошо...

Я вернулся домой, когда Лена только-только пришла с дежурства, сразу же начал рассказывать о встрече с Людмилой, а когда закончил, увидел насупившееся строгое лицо жены. Лена тряхнула тяжелыми волосами и сказала непримиримо:

— Дрянь она, эта Людмила.

— Это почему так? — опешил я.

И она ответила как припечатала:

— Предательница.

Я знал, спорить с Леной бесполезно, она стала упряма, и появилось в ней то, чего прежде не замечал: она стала резка в суждениях и не прощала никаких слабостей, судила о людях так строго, что строже и не бывает, и тогда в ее глазах вспыхивал стальной фанатичный блеск, который меня пугал...

Мы легли с ней рядом, она отвернулась к стене, сказав, что очень устала, а я долго не спал и думал, думал о том, что прежде совсем не знал своей жены, все в ней принимал, и она казалась мне самым нежным и самым радостным созданием на земле, и тогда мы были очень близки, а сейчас что-то случилось, и мы постепенно отдаляемся друг от друга.

Впервые она презрительно заговорила со мной, когда узнала, что я буду работать под началом Куликова; я ей стал объяснять, что Семен Андреевич вовсе не плохой человек, я его знаю и он меня, да мне и не приходилось выбирать — получил назначение в отделе кадров, а с этим не спорят. Но она стояла на своем и все повторяла:

— Ты же знаешь: это он написал несправедливый донос на Ремеза.

Я рассердился тогда:

— Нет, не знаю. Я доноса этого не видел...

— Ах так? — воскликнула она и даже побелела от гнева.— Значит, ты Игнату Матвеевичу не поверил?

— Почему же,— смешался я от ее напора,— поверил... Но ведь и он мог ошибиться.

И тут она в глухой своей непримиримости крикнула:

— Если ты защищаешь Куликова, то ты и сам можешь быть таким!

Это уж было чересчур, мы поссорились, не разговаривали три дня. Я знал — она первая не пойдет на перемирие, прощения придется просить мне, не жить же вот так все время.

Я лежал рядом с Леной в постели и думал об этом, и еще я думал о Людмиле и Куликове — как неожиданно поворачиваются судьбы и как переменчивы бывают люди. Да и что мы знаем о них?.. Я представлял себе Людмилу совсем другой — той, которую обрисовал мне Ремез. Но тогда она была молода и полна надежд... Наверное, не надо бояться неожиданностей, надо встречать их каждый раз как некую необходимость, которую следует разгадать... Вот это я узнал от Ремеза. А Лена, наверное, узнала другое: ведь прежде, до встречи с Игна-

том Матвеевичем, я не замечал в ней резкости и непримиримости. Все-таки мы были тогда еще молоды и жадно впитывали то, что казалось нам необычным...

Прошло еще несколько дней, и мы получили письмо от Натальи Михайловны, она писала о своих и деревенских новостях, а в конце письма мы прочли: «А еще я вам сообщаю: в Ярске приехал человек из дальних мест — то ли сибирских, то ли еще дальше, с Востока, я не упомянула. Привез он дурную весть, будто Игнат Матвеевич, наш короткий постоялец, приказал долго жить. Попал он в какое-то нехорошее дело, где был взрыв. А что взорвалось — я не поняла. Это заводские знают. И там были жертвы. И он, сердечный. Вот какая дурная новость...»

Ослепительно синее пространство плыло за иллюминатором самолета. Ася спала у меня на плече... Вдруг самолет качнуло, и мы вошли в снегоподобную взрыхленную равнину облаков и вскоре пробили ее, и тогда внизу в белесом туманце можно было различить краски земли. Ася подняла голову и спросила:

— Мы прилетели?

— Нет еще. Промежуточная посадка...

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

— Он сказал, что выходить не будет, — ответила на мой молчаливый вопрос Ася, вернувшись из первого салона.

Вслед за другими пассажирами мы прошли к вокзалу по влажной бетонке, мимо строгих елей, с игольчатых веток которых срывались мелкие дождевые капли, мимо клумбы с торжественными яркочерными каннами. Ася быстро оглядела просторный зал с большими окнами и тут же деловито распорядилась:

— Пойдешь вон туда, к буфету. Мне рюмку коньяка и чашку крепкого кофе... А я к междугородной. Думаю, Москву дадут быстро...

— Он тебя попросил позвонить?

— Да... Людмиле Сергеевне. Она сейчас в Москве.

— Какой Людмиле Сергеевне?

— Куликовой... Разве ты ее не знаешь? У нее кафедра в Институте стали.

Я и в самом деле не знал, что Куликова живет в Москве. Скорее всего она переехала туда недавно. Мне хотелось расспросить об этом Асю, но она решительно зашагала в сторону, где висела синяя табличка «Почта. Телеграф. Телефон». Серый с голубизной костюм из тонкой шерсти ладно облегал ее хрупкую строгую фигуру, медово-золотистые волосы тяжелой волной падали на плечи... Нет, все-таки она не очень похожа на Лену, у той в Асины годы походка была потяжелей, верже, да и выглядела Лена покрепче; хотя город стремительно бтесал ее, все-таки сказывалось в ней крестьянское то в походке — ак обычно шагают босиком по мягкой траве, то в жесте — вдруг за голом подставит ладошку под ложку, чтобы капля супа не упала на катерть... В Асе ничего этого не осталось, она шла так, словно заране ее знала — на нее смотрят, а она снисходительно разрешает это... быстро пошел к буфету.

Все, что лежало на витрине, было до крайности неаппетитно: черное мясо, бутерброды с сохшимися, загнутыми ломтиками сыра и жавая рыбешка, но кофе был, и причем хороший, и коньяк был. Нашел свободный столик возле окна. Ждать пришлось недолго. Ася



сначала повесила сумку на стул, потом села и, прищурившись, оглядела чашки и рюмки. Я ждал, что сейчас она накинется на меня, категорически заявит: «Ты сошел с ума! Куда тебе с твоим колитом, решил себя угробить!» — и отберет коньяк и кофе, но она ничего этого не сделала, отпила из рюмки маленький глоток и сообщила:

— Нас встретят в аэропорту. Галя приедет тоже.

— Хорошо,— сказал я.

— Еще одна новость: вышла мамина книга.— И расплакалась.

— Не надо,— попросил я.

Ася помолчала, выпила глоток коньяка, отхлебнула кофе и сказала:

— Я хочу сигарету.

— Но здесь не курят.

— Ничего, как-нибудь обойдется.

Выпустив струйку дыма, она сказала неожиданно резко:

— Ты странный человек, отец. Можешь сказать мне честно: ты когда-нибудь любил ее?

— Кого ты имеешь в виду? — растерянно проговорил я, хотя от лично сознавал, о ком она говорит.

— Маму,— ответила Ася.

Я обозлился: какого черта она лезет в это, кто ей дал право вмешиваться, даже если она стала взрослой женщиной, для меня она по-прежнему дочь и незачем ей давать потачку.

— Тебя это не касается! — строго сказал я.

— Касается,— упрямо и резко ответила она.

Вот это уж у нее было явно от Лены.

— Тогда сама и разбирайся, а не задавай дурацких вопросов.

Она насупилась, погасила сигарету, допила коньяк и кофе, тут как раз объявили посадку на наш самолет. Мы шли от вокзала к трапу под усилившимся дождем. Я думал: никогда дети не будут знать подлинных отношений между родителями, да и вообще никому никогда не дано проникнуть в то, что переживают двое... «Ты когда-нибудь любил ее?» Ничего не может быть жестче и одномерней этого вопроса. Двое, связавшие свою жизнь, создают странный мир, где все возможно — от любви до ненависти, где равно существует множество оттенков этих чувств, сталкиваясь и одерживая друг над другом победы, и порой трудно определить, чей верх нынче. И может быть, в том странном мире существует лишь одно спасительное условие — признание полной свободы другого, даже если признание это достается дорогой ценой... Но к этой мысли, я убедился, долгий и тяжелый путь. Да и как объяснишь ее дочери?

Самолет взлетел. Грязно-серая масса облаков, оставляя следы дождя, как царапины на стекле, скользила за иллюминатором до тех пор, пока снова не брызнуло солнце... «Ничего,— подумал я.— Это пройдет».

## Глава шестая

Нет, Игнат Матвеевич не погиб, как сообщала нам в письме Наталья Михайловна, он был жив, здравствовал и даже процветал, но узнали мы с Леной об этом спустя восемь лет. Мы жили в той же небольшой комнате, что оставила нам мама, жили тесно и трудно, потому что нас стало теперь четверо: переехала Наталья Михайловна, она заметно постарела за эти годы, стала прибалывать, и ее нужно было показывать врачам, к тому же Ярск вдруг стремительно начал расти, перешагнул через реку, снес деревенский порядок, и на том

месте, где стояла изба Сапожниковых, воздвигли многоэтажный дом, ну и Ася подросла, стала бегать в школу, и нужно было кормить ее, следить, чтоб делала уроки. Лена иногда не выдерживала, наступала на меня:

— Ты мямля, не можешь решительно ворваться в завком или пойти напрямик в дирекцию и потребовать квартиру, вон ведь сколько людей за это время получили жилье, а нас все обходят.

Я с ней соглашался, шел по начальству, но, наверное, просить не умел — мне не отказывали, обещали и даже вносили в списки, я успокаивал Лену, говорил: «Вот-вот сдадут новый дом», но дом сдавали, и я оказывался отодвинутым неведомой силой и, сердясь, упрекал Лену:

— А что же в своей редакции получить не можешь? Работаешь день и ночь...

У нас наступала длительная полоса разлада, потом мы уходили каждый в свои дела и примирялись с привычной обстановкой. Лишь Наталью Михайловну не огорчала теснота, она пугалась одного — наших ссор, но никогда даже не пыталась примирять нас, видимо твердо зная — мир неминуем. Так мы и жили. К тому времени твердо определились мои дела на заводе: я вплотную занялся прокатными станами, особенно интересна была мне холодная прокатка, я стал переписываться с другими заводами, обобщать на бумаге свои наблюдения и опыт, для этих дел и должность нашлась подходящая — я стал заместителем начальника цеха по оборудованию.

Весной пятьдесят девятого года Лена получила командировку на семинар газетных работников в Москву, пробыла там дней десять и вернулась необычно возбужденная. Я встречал ее на вокзале. Лена беспокойно выглядывала из-за спины проводницы; заметив меня, она радостно замахала руками, и мне даже показалось — подпрыгивала от нетерпения. Я давно ее такой не видел, и едва вагон остановился и сошла на перрон проводница, я кинулся к Лене, прижал ее к себе, будто мы не виделись долго-долго, и она весело потерлась теплой щекой о мои губы.

— А какие новости, Костик, какие новости! С ума сойти! — загадочно и горячо прошептала она мне в ухо.

Я подхватил чемодан, взял Лену под руку, я был рад видеть ее раскрепощенной и счастливой.

— Ну что же ты не спрашиваешь? — нетерпеливо сказала она.

— Жду, когда сама объяснишь, — улыбнулся я.

— Ну какой нелюбопытный, — насмешливо-капризно надула она губы. — Может быть, вся наша жизнь теперь переменится.

Мы вышли на привокзальную площадь, стали в очередь на такси; машины в это время подходили часто, и очередь двигалась быстро.

— Ну говори же, — попросил я.

— А вот теперь я тебя накажу. Пока не сядем в такси — ни слова.

И она замолчала, но по блеску ее глаз я догадался, что дается это ей нелегко. Мы ждали машину минут семь. Лена истомилась, то и дело поглядывая в левый край площади, откуда обычно выезжали свободные такси, и когда наконец дошла до нас очередь, велела шоферу не открывать багажника, чтобы не тратить на это время, а помогла мне пристроить чемодан на сиденье и, едва мы тронулись, повернулась с сияющими глазами.

— Ни за что не угадаешь, кого я встретила!

— Конечно же, нет, — тотчас согласился я.

И она сразу выпалила:

— Ремеза!

Не знаю почему, но я не удивился. Может, Игнат Матвеевич жил в моей памяти таким, каким повстречал я его в Ярске, и где-то в глу-

бине сознания тлела постоянная мысль: он жив и придет срок — узнаем об этом. И вот срок пришел. Чтобы не огорчать Лену — она ведь, наверное, всю дорогу от Москвы представляла, как ошарашит меня этой новостью, — я сделал удивленное лицо и воскликнул:

— Не может быть!

— А вот может быть! — гордо ответила она и тут же принялась рассказывать...

...Ее поселили в гостинице «Москва». В этот вечер они собрались в театр почти всем семинаром, и она спустилась в нижний холл, где у них назначен был сбор, села в кресло, задумалась о чем-то, внезапно услышала над собой:

— Здравствуйте, Елена Александровна.

Она подняла голову и не поверила себе: перед ней стоял Ремез в сером мягком костюме, в синей рубашке с синим галстуком, этот костюм очень шел ему, оттеняя жесткую рыжину волос, прорезанных седыми стрелками. Она долго на него смотрела и, когда ясно поняла, что это он, да еще словно бы приободрившийся, даже помолодевший, с веселыми, угольного блеска глазами, вдруг закричала, несколько человек обернулись, но Ремез отстранил всех, улыбаясь. Она поднялась ему навстречу, он подхватил ее под руку, мягко, с участием сказал:

— Извините, ради бога, что перепугал вас...

— Так вы... живы? — спросила она.

— А вы что считаете: я должен был умереть?

Тогда она, торопясь, стала ему рассказывать о тех слухах, что достигли Ярска и нашего города.

— Возможно, возможно, — кивнул он. — Но это, говорят, хорошая примета — долго жить буду. Во всяком случае, если в Ярске и были такие слухи, то их забыли.

Он тут же предложил ей поужинать вместе, если у нее свободный вечер; конечно же, ни о каком театре она теперь и думать не могла; они поднялись в лифте на последний этаж в ресторан и отыскали свободный столик. Игнат Матвеевич ей рассказал, что после долгих своих скитаний приехал год назад в Москву, постепенно им стали интересоваться, были, конечно, люди, которые помнили его хорошо по войне, более всего его тянули в министерство, но он никогда не любил аппаратных должностей и отказывался, и вот не так давно его назначили директором Ново-Ярского металлургического завода. Там все, по сути дела, создается заново, и он с удовольствием согласился, тем более что места ему были знакомы...

— И возвращаются ветры на круги своя, — пошутил он.

Рассказав это, он стал интересоваться, как мы живем, как все сложилось у Лены и у меня, и она все ему поведала: и как мы ютимся и что я занимаюсь прокатными станами... Выслушав ее, он обрадовался и сказал: мол, заводу очень нужны такие специалисты, как я, у них готовится к сдаче цех холодного проката, замечательный, уникальный, и он уверен, что Голикову, то есть мне, будет в нем интересно. Короче говоря, он предлагал нам всем перебраться в Ярс, о жилье тревожиться не надо, специалистов они хорошо обеспечивают, а если и возникнут сложности, он постарается выделить нам квартиру из директорского фонда... Лена, конечно, не смогла ему ответить сразу ни «да», ни «нет», ей нужно было посоветоваться со мной, да и вообще она колебалась. Но через два дня произошло еще одно событие, заставившее Лену взглянуть на предложение Игната Матвеевича с большим вниманием: на семинаре к ней подошел редактор ведомственной газеты и сказал, что они рады были бы видеть ее в числе соб-

коров газеты и лучше бы всего в таком новом промышленном районе, как Ярск... Вот такие новости...

Все это она выложила мне на едином дыхании, пока мы ехали в такси от вокзала до дома.

— Ты что же хочешь, чтобы я сразу и решил, ехать нам или нет? — спросил я.

— Не надо сразу, — сказала Лена. — Надо подождать, пока на тебя придет запрос.

— Ну, не такая я большая шишка...

— Перед отъездом мне позвонил Игнат Матвеевич и сказал, что запрос уже послан...

И я догадался: Лена все решила без меня и потому так счастлива, она переполнена этим решением и, наверное, множество планов роится в ее голове. Как бы я ни упорствовал, какие бы доводы против переезда в Ярск ни выдвигал, она не примет их и будет настаивать на своем, потому что видит в этом перемену и благотворное обновление нашей жизни.

За окном по-ночному гудел город, он был мне родным, здесь я вырос, отсюда ушел на войну и там грезил его улицами и домами, его скверами. Во дворе, на улице было множество знакомых с детства лиц, я немало знал о них, так же как они немало знали обо мне. Бросить этот город, может быть, навсегда, переехать в такое захолустье, как Ярск, было нелегко... Я не мог решиться, нет, не мог...

Утром я вышел на улицу чуть свет. Сел на скамью возле подъезда, закурил, старая липа протянула над моей головой кряжистую ветвь с ярко-зелеными молодыми листьями, они были влажны, и мне захотелось погладить их... Это была моя липа, я лазил на нее мальчишкой, один раз свалился и долго ходил с распухшей шеей, я смотрел по вечерам, как падает на нее свет из окна, и от этого казалось, что ветви трепещут. А сколько раз я проходил, не замечая липы, да и сегодня, если бы не сообщение Лены, выбежал бы на смену, не взглянув на дерево, как часто не замечал многого, что меня окружает. Я с ясностью подумал: «А ведь нужно, нужно обновление!» И сразу же выяснилось — эта мысль давно сидит во мне, давным-давно. Сколько раз я завидовал тем, кто срывался с места, и как мне порой хотелось последовать за ними... Да и время какое было вокруг! Оно словно сдвинуло людей с обжитых гнезд и понесло по дорогам в поисках радости. «Все куда-то едут, — подумал я. — Чего же нам бояться? Ведь не куда-нибудь, а в знакомый Ярск». И отбросив недокуренную папиросу, я зашагал к автобусной остановке, чтобы ехать на завод. Решение созрело, и обратного пути не будет.

Через несколько дней я получил запрос, ответил на него телеграммой и, уволившись с завода, выехал в Ярск. Было оговорено: я поселюсь пока в гостинице или найду временное жилье, а как дадут квартиру, так сразу же переедет семья.

К нашим сборам несколько неожиданно отнеслась Наталья Михайловна. Ведь казалось — радоваться бы ей, что вернется на родину, о она, провожая меня, чтобы не слышала Лена, сказала:

— Ты, Костенька, не спеши. Если не придется по душе, ты лучше возвращайся. Зачем же мыкаться-то зря. Квартиру вы и тут получите... Ну так ты гляди...

И я увидел: она всерьез встревожена.

Все, все переменилось в Ярске. Теперь уж не надо было ехать от станции до города километров сорок — проложили новую железнодорожную ветку и построили кубообразный серый вокзал, за ним сразу же распахивались широкие улицы, старый центр отеснился в сторо-

ну, а поближе к реке раскинулась новая площадь с гостиничным зданием и горсоветом из стекла и бетона. От этой площади отходили автобусы на завод, ехать надо было минут десять сначала улицами, потом мимо березовой рощи, которая прежде была далеко за окраиной, а теперь от центра до нее рукой подать... В общем, это был не захолустный городок, как объяснял мне когда-то Петька Сапожников, то ли сельский город, то ли городское село, а молодая современная новостройка, и мелькали за окном автобуса вывески в духе времени: «Кафе «Аэли-та», «Столовая «Юность», «Парикмахерская «Лада», — толпились люди возле магазинов, у входа в кинотеатр и на улицах народу было много, не то что в прежнем Ярске. Едва миновали мы рощу, как открылся холм, на котором строились новые дома, они тянулись до самой при- заводской площади. Еще не видно было цехов, только здание заводо- управления, проходные и длинная, из бетонных плит стена, но за ней ощущалось нечто могучее.

Я не стал, как велела мне Лена, подниматься в кабинет директора завода, чтобы тотчас предстать перед Ремезом, а, прихватив с собой необходимые документы, направился в отдел кадров — все-таки завод- ские порядки я знал лучше Лены. Приняли меня быстро, тут же вы- яснилось, что ждут, телеграмму получили и заказали номер в гостини- це, завод будет оплачивать его, пока не прояснятся квартирные дела, а завтра с утра я должен явиться в цех холодного проката и сразу же приступить к работе. Все это мне понравилось, и гордый, что так четко меня встретили, я опять сел в автобус, прибыл в гостиницу, получил небольшой, но, как мне показалось, очень уютный и удобный номер со всем необходимым для долгого житья. Я сразу же принял душ, за- лез в чистую накрахмаленную постель и заснул в радостном облегче- нии.

Спал я, видимо, крепко и беззаботно, а когда проснулся, увидел за окном угасающий закат над темной грядой равнинного леса, тени, скользящие вдаль за домами по степной дороге. И тут же вспомнил: вот так же виделся лес и закат из избы учителя Ивана Митрофановича...

Воспоминание это не опечалило меня, наоборот, придало бодро- сти, я почувствовал себя не приезжим, а человеком, у которого в этих местах есть свои корни, своим. С этой уверенностью в душе быстро оделся, привел себя в порядок и спустился вниз в ресторан.

То было обычное гостиничное заведение, каких много настроили за последние годы: с полутемным баром, невысоким потолком, с ко- торого свешивались цветные плафоны, небольшой эстрадой с оркест- ром в три человека и стенами, окрашенными в разные цвета. Зал бы- лопустой, и я без труда выбрал себе столик.

Я чувствовал себя свободным, словно вырвался из тисков однооб- разных будней, мелочных забот и хлопот. Давно уж я не ощущал та кой легкости и, пока официантка занималась своим делом, стал рас- сматривать сидящих в зале. В противоположном углу сидела компа- ния. Куртки и пиджаки повешены на спинки стульев, трое мужчин дымя сигаретами, играют в карты, двое — один с окладистой черно- бородкой, в очках, а другой худой, с вытянутым землистым лицом блестящими глазами — спорят, то и дело тыча карандашами в листо- бумаги, несколько в стороне от всех задумалась женщина. На стол- бутылки сухого вина и легкая закуска. Люди эти, по-видимому, был- здесь своими, потому что рядом с картежниками стояли две официан- ки и с любопытством следили за игрой. Я еще раз оглядел всю комп- нию — там были молодые ребята и мои сверстники, от них веяло з- манчивым духом вольности. Мне понравилось, как они сидят, к

играют в карты, как говорят. Официантка принесла ужин и коньяк, и я принялся за еду. С удовольствием выпил, с удовольствием поел и закурил. За длинным столом ничего не изменилось — по-прежнему играли в карты, по-прежнему спорили двое и задумалась на углу женщина. Только сейчас я по-настоящему взгляделся в нее; коротко подстриженные каштановые волосы падали на обнаженную руку, подпиравшую склоненный лоб, на котором меж бровей залегла глубокая складка, лицо было чуть скуластое, с темными глазами; закинула ногу на ногу. Я не мог отвести глаз, стал думать о ней с жалостью: вот, мол, сидит отрешенная от всех, может быть, у нее какая-нибудь печаль или забота, а товарищи и не замечают этого или не хотят замечать. В это время маленький оркестрик после бурного твиста, который я так и не научился танцевать, заиграл медленный блюз, и вот тут-то со мной произошло необычное — может быть, выпитый коньяк придал смелости, а может быть, чувство свободы сделало таким уверенным в себе: я решительно встал и направился к женщине. Где-то уж на полпути сообразил, что буду выглядеть эдаким провинциальным фатом, эта мысль обожгла коротким стыдом, но не остановила. Я подошел и спросил:

— Хотите потанцевать?

Она подняла темные глаза в недоумении, но тут же, видимо, сообразила, в чем дело, какое-то мгновение взглядывалась в меня и улыбнулась. Лицо ее сразу преобразилось, оно не казалось уже ни замкнутым, ни строгим, и только сейчас я увидел редкие веснушки на щеках.

— Конечно, конечно,— охотно сказала она и встала.

Мы пошли к эстраде, она доверчиво протянула мне руки. Она смотрела открыто и улыбалась.

— А на меня никто не рассердится в вашей компании? — спросил я.

Она кинула на своих быстрый взгляд и засмеялась:

— Да они и не заметили... А как вы догадались, что мне очень хочется танцевать?

— Иногда мне удается прочесть мысли на расстоянии.

Она снова засмеялась, но на этот раз иначе — не простовато, за смехом ее чувствовалось легкое подтрунивание.

— А вы кто? — спросил я, кивнув в сторону ее друзей.

— Москвичи,— ответила она.

— А конкретней?

— Инженеры.

— Прекрасно! — воскликнул я.— Значит, мы коллеги. Я только сегодня прибыл в Ярск...

— Я догадалась,— сказала она.— А мы здесь торчим два месяца. И, кажется, всерьез надоели друг другу.

— Ненадолго же вас хватило! — невольно воскликнул я.

— Нас бы хватило надолго, но работа не клеится. Все нервничает... Вы не смотрите, что они такие сейчас мирные. Они все взрывоопасные. Огонь не подносить!

В это время оркестрик кончил играть, она досадливо поморщилась и вздохнула:

— Жаль... Только вошла во вкус.

Музыканты положили инструменты на стулья и пошли за яркую ширму покурить.

Мне не хотелось ее отпускать.

— А если я вас уведу к своему столику и мы там поболтаем? Все авно ведь вы как неприкаянная.

— Хорошо,— просто согласилась она.

Мы сели, выпили коньяку, закурили, и я спросил:

— Как мне вас называть?

— Галей, — удивленно ответила она. — Разве я вам не сказала?..

Тогда я тоже назвал себя и спросил:

— Так чем же вы здесь так озабочены, Галя? Если, конечно, не секрет.

— Этот секрет весь завод знает, — ответила она, разогнав ладошкой дым. — Но я не хочу об этом сейчас... И так целый день мозги кипят и по ночам только цифры снятся... Лучше расскажите что-нибудь...

Я вспомнил угасающий закат над темной грядой равнинного леса, который увидел из окна своего номера, и то, что было у меня связано с ним, и стал рассказывать об учителе Иване Митрофановиче, и о Симе, и о том, как умер учитель, когда я был здесь много лет назад. Она слушала, приоткрыв пухлые губы, темные глаза ее смотрели не мигая, и, когда я закончил, сказала:

— Это очень интересно... Откуда вы это знаете?

— Я жил здесь, в деревне.

— Вот как!.. А меня поразила в музее эта картина «Симины яблоки»...

Я не стал ее спрашивать о картине, только понял, что мне обязательно надо сходить в музей.

Оркестрик уже вернулся на эстраду и играл второй или третий танец, а она все вертела в пальцах погасшую сигарету. Вывел Галю из задумчивости подошедший к нашему столику высокий худой инженер с землистым лицом, он весь вечер спорил с бородатым. Он бесцеремонно сунул Гале листок, исписанный формулами, и спросил:

— Ты максимальную степень обжатия первой клетки на пятывалковом помнишь?

Галя посмотрела на него, отодвинула от себя листок, сказала:

— Иди ты к черту, Сережка. Утром, только утром.

Я сразу понял, о чем речь, и спросил:

— Узтемовский стан?

— Он, — деловито кивнул высокий.

Я назвал цифру, тот быстро записал их на листок и, не поблагодарив, заспешил обратно к своему столу. Галя взглянула на меня и прыснула:

— Прокатчик?

— Он, — радостно кивнул я.

— Ну тогда быстро танцевать!

Ее веселье мгновенно заразило и меня, я даже решился на твист и сам удивился, как легко он дался мне, мы танцевали все подряд, она с удовольствием, легким движением головы поправляя рассыпающиеся каштановые волосы.

Когда над эстрадой погас свет, она попрощалась и, не дожидаясь своих, ушла из ресторана, сказав, что завтра ей подниматься чуть свет...

Я снова увидел ее утром, когда, наскоро перекусив в номере, спустился в холл. Они пробежали мимо вчерашней компанией, одетые в одинаковые сатиновые спецовки, впереди спешил широкоплечий человек с седой пышной шевелюрой, и я наблюдал сквозь стекло, как они подбежали к небольшому автобусу. Галя садилась последней, у нее было озабоченное лицо.

Я добрался до завода в набитом битком автобусе, прошел в проходную, пропуск мне был выписан, и вахтер указал, как идти к цеху холодного проката.

Широкие асфальтовые трассы разрезали заводской двор, было чисто и просторно, блестели обшитые тонким листом трубы коммуникаций, поднятые на опоры, уличные фонари с изогнутыми по-страусиному шеями были окрашены в желтый и красный цвета, вдоль трасс тянулись узкие полоски зеленых газонов, этот двор не был похож ни на один из знакомых мне дворов металлургических заводов. Чтобы пройти в цех, надо было спуститься в туннель, облицованный цветным кафелем, но я еще издали залюбовался светлым длинным зданием, протянувшимся километра на полтора и сверкавшим огромными витражами.

В туннеле было светло и пустынно, шаги мои отдавались гулко. Наверх вело несколько выходов, на одном из них я прочел указатель «Начальник цеха», поднялся по лестнице, оказался в управленческой пристройке и сразу же увидел обитую черным дерматином дверь с табличкой «Приемная». «Как у хорошего директора завода», — мелькнуло у меня. Открыв дверь, я понял, что не ошибся: приемная и в самом деле была просторна, вдоль деревянных панелей тянулся ряд стульев, от пишущей машинки оторвалась секретарша со знакомым мне угрюмым лицом, вопросительно взглянула, спросила:

— Вы кто?

Я назвалса, и она тотчас кивнула на кабинет. Я вошел в эту просторную светлую комнату — за столом сидел Степан Бортов. Он тут же вскинул голову и, опираясь широкими ладонями о стол, приветливо заулыбался:

— Проходи, проходи, Голиков. Жду тебя, жду...

Но так как я оставался на месте, он взял от стены палку и, прихрамывая, двинулся мне навстречу, и пока он шел, я увидел, что Бортов мало изменился, только под глазами набухли тяжелые мешки. Подойдя, он протянул мне руку и подмигнул:

— Га! А ведь я тебя еще когда приглашал! Долго же ты, однако, раскачивался, — хохотнул тяжело, рассыпчато. В распахе его белой рубашки виднелась, как и прежде, тельняшка.

— Значит, ты здесь начальником? — только и спросил я.

— Значит, я, — удовлетворенно кивнул он. — А что?.. Этот цех, знаешь, поболее всего того заводика будет. Да и задачка у него стоит будь здоров, мирового значения... Я тебя сейчас в курс введу. Все поймешь... Тут, брат, такие дела завернулись. Ого-го-го!

И он сделал приглашающий жест в сторону длинного стола, который протянулся вдоль окон.

Мы сели друг против друга, Бортов подвинул ко мне тяжелую стеклянную пепельницу и стал рассказывать... Завод здесь построили небывало быстро и оснастили новейшим оборудованием, тут и великолепный электросталеплавильный цех, и установки непрерывного розлива, и цехи горячего проката, но наш цех особый, его воздвигли по специальному решению. Дело в том, что его главное назначение — катать тонкий лист электротехнической стали холодным способом, чтобы лист этот был высокого качества. Энергии нынче требуется все более и более, нехватка электротехнической стали может оказаться губительной для целого ряда промышленных комплексов. Вот и поставлена перед заводом, а стало быть, главным образом перед цехом задача: как можно быстрее наладить выпуск этой стали. Цех сейчас в стадии освоения, еще не пущена первая очередь, хотя все главные ее линии готовы, но продукции цех не дает... Да и как он может ее давать, когда еще всерьез не отработана технология.

Тут Бортов усмехнулся. Все, о чем он говорил, было моим делом, ведь я уже несколько лет занимался холодным прокатом стали, прав-



да больше всего автолиста, но не даром же меня интересовали прокатные станы всех систем, и я, бывая на других заводах и роюсь в различных журналах, составил для себя подробное их описание, не только наших отечественных, но и зарубежных. Я сообразил, почему Бортов стал начальником этого цеха — ведь он, так же как и я, по образованию прокатчик.

— Сам понимаешь,— говорил Бортов,— работы у тебя будет навалом. Но я слышал, опыт есть. Берем-то мы тебя на такую должность, какую ты и занимал, только цех, конечно, побольше будет... Ну что же, пойдём глянем на него.

Мы снова спустились в туннель, прошли совсем немного и вышли в широкий пролет. Бортов подождал, пока я огляжусь, а посмотреть и в самом деле было на что: потоки света падали сверху и от широких боковых окон, они перекрещивались в центре пролета, потому перспектива цеха виделась словно бы сквозь дымку, под сводами на большой высоте работали сварщики, осыпая желтые и зеленые искры, они гасли, не долетая до пола. Я прикинул технологическую схему и без труда различил отделения цеха — травильное, прокатное, термическое...

— Пойдем по нитке,— предложил Бортов, и мы зашагали рядом.

Он ничего не объяснял, да мне и не нужно было, я с жадностью оглядывал линии и механизмы, видел, как много тут сделано и как много еще надо сделать, и уже любил этот цех, как можно любить свое рабочее место, где ты уверен, ждешь тебя много интересного и неизведанного. Так прошли мы мимо травилки с огромными ванными под кислоту, мимо печей черного обжига и вышли в просторный пролет, где стояли прокатные станы. Я заметил, что Бортов устал — я шел слишком быстро, а он старался поспеть за мной, опираясь на свою палку,— и указал на скамью:

— Покурим?

Он согласно кивнул, с наслаждением выпустив струйки дыма, спросил:

— Ну как тебе в общих чертах?

— Здорово!

Он искоса посмотрел на меня, усмехнулся и неопределенно покачал головой:

— Ну-ну...

Я не понял, что пряталось за этим — то ли насмешка, то ли предупреждение,— и тут же вспомнил, как он приехал к нам после пожара, как затравленно смотрел на Игната Матвеевича, а потом напористо наступал на него, требуя, чтобы тот покинул Ярск, и вызвал этим неожиданный гнев Лены, и спросил:

— А как ты с Ремезом-то, Степан?

Он посмотрел на меня усталыми зелеными глазами:

— А как?.. Хорошо! Даже вроде бы очень.

— А что же, он забыл, как ты его турнул отсюда?

На этот раз удивился Бортов:

— Ну и чудак ты, Голиков!.. Вот чудак! Да кто такое сейчас помнит! Га! Ты что?.. Да и потом, он тебе не обидчивая девочка, чтобы ссадины считать.— И, приподняв крепкий палец, внушительно сказал: — Он директор. А это тебе не трали-вали...— И опять откровенно рассмеялся.— Ну нашел что вспоминать!

Я видел, что его и в самом деле это забавляло, и не понимал его веселости.

— Что же, по-твоему, если он директор, то и обиды не помнит?

Бортов рассердился:

— На что обида, Голиков? Может, ты мне объяснишь?.. Я, что ль, Ремеза сюда в мастера направил? И он бы на моем месте так же себя вел, а может быть, и круче. Как ситуация потребует, так и поведешь себя. Мы, брат, дело делаем. А ради него на многое можно идти. И никаких тебе обид. А если обиды считать начнем, как сейчас некоторые пробуют, то ни черта с места не сдвинемся... Ты вот что, Костя, ты ведь тоже войну прошел, тоже солдат. Так? Ну и будь солдатом, я тебе по-хорошему советую...

— Спасибо,— сказал я с усмешкой.

Он взгляделся в меня повнимательней, тяжело перекатил с одного плеча на другое голову, сказал с грустью:

— Ну, это ты зря... В общем, поживешь тут, пооботрешься, может, тогда и поймешь... Ладно, двинули дальше.

Еще издали я увидел — возле большого стана собралась группа людей, но вглядывался не в них, а в машину; это и был пятиклетевой стан холодной прокатки: пять высоких массивных стоек и меж ними по два блестящих могучих валька. Я как-то однажды сказал Семену Куликову, что такой стан похож на мамонта, он удивился и не понял; вроде бы и верно — ничего общего, но все равно эта машина напоминала мне вымершее могучее животное, и только сейчас я понял почему: у мамонта, как и у стана, каждая часть тела была сама по себе завершена в своей массивности (нога как отдельная стойка, голова — тяжелый таран), но части эти все же не смотрелись сами по себе, а вместе, в единстве они обладали не только массивностью, но и легкостью, грациозностью, даже изяществом, так целое становилось выше суммы своих частей. Стан сверкал новизной деталей, пульт управления был вынесен в сторону — все на автоматике. Но тут же я насторожился, увидев в клетях согнутые, искореженные полосы металла, они были набросаны словно после хорошего взрыва.

Возле пульта собрались все те, кого я видел вчера в ресторане за длинным столом, они слушали человека с пышной седой шевелюрой и смуглым широколобым лицом, с короткими седыми усиками над резко очерченной, с волнистым изгибом губой.

— Еще раз! Все по местам! — скомандовал он.

Седой и еще двое остались у пульта; Галя прошла в конец клетки, а бородатый и его друг в начало, к подавателю, бородатый помахал вверх крановщице, и к ним начал опускаться синеватый рулон стали; надев рукавицы, они вдвоем приняли его, делали все это старательно, аккуратно, но без той легкости и небрежной простоты, с какой трудятся привычные к такой работе вальцовщики, и пока они возились, а седой человек с товарищами что-то все считал у пульта, я склонился к Бортову, напряженно следившему за ними, и спросил:

— Они кто?

— Профессор Самарин с сотрудниками. Слышал про такого?

Конечно же, я слышал, и не только слышал, но и изучал его книги в станах. По книгам я представлял его другим, мне казалось, что он должен быть внешне чем-то похож на профессора Куликова, с такими же тонкими чертами лица и немножко сноб, а тут работал широкоплечий человек, и, если бы не эти короткие усики, лицо его выглядело бы мурым, как у лесного или таежного человека, привыкшего к крепким орозам, отчего пористая кожа загрубела и потемнела, а у рта и под глазами образовались, как трещины, морщины.

— Задавай! — приказал он и, выждав паузу, кивнул стоящим у пульта: — Начали!

Все напряглись, вытянули вперед шеи, не сводя глаз со стана, я посмотрел на Галю — она наклонилась всем телом вперед, лицо ее побледнело, и от этого ярче выступили веснушки, и резче обозначились темные глаза... Напряжение передалось и мне. Синяя, с радужными отливами широкая стальная полоса, чуть подрагивая, натянулась, два могучих блестящих валка — один над другим — пропустили эту полосу меж собой, сдавливая ее при вращении, и подали к следующим валкам, которые вращались уже быстрее, меж третьих валков полоса пролетела стремительно к четвертым, пятым... показался ее конец, протянулся к моталке, и... полоса с хрустом разорвалась, заскрежетала, закрошилась под последними валками, как стекло, один из осколков пролетел с гудением и ударился о стенку клетки. И сразу же по лицам прошло усталое разочарование.

— Стоп! — взвился голос Самарина, хотя кричать было бессмысленно — тревожно завывала сигнальная сирена.

Бортов достал из кармана платок, отер им вспотевший лоб, сказал с укоризной:

— Вот так-то, Голиков.

И я понял его, потому что знал: разгадать тайну прокатки электро-технической стали, хрупкой и колкой, нелегко...

В это время от пульта управления раздался визгливый, на высокой ноте голос:

— Я говорил, говорил! Сколько можно, сколько можно, черт возьми!

Этот истеричный голос принадлежал чернобородому.

— Прекратите, Стрельцов! — тут же прервал его внушительный бас Самарина. — Стыдно!

— Пойдем отсюда, — позвал меня Бортов, — Сейчас они ссориться начнут...

Мы двинулись дальше по пролету и когда миновали другой, менее мощный стан, я оглянулся; и вправду возле пульта люди сбились тесной кучкой и что-то доказывали друг другу, размахивая руками. Галя стояла в стороне, устало курила, и опять необъяснимая жалость к этой женщине шевельнулась во мне.

— Трудные дела у нас, Голиков, — хмуро заговорил Бортов. — Все вроде бы идет хорошо, кроме главного... лист дать не можем. Эти ветродуи из Москвы приехали... наука, сейчас модно... два месяца возятся, ни черта у них не выходит. Всем башку задурили. Почитай уж сорок вариантов испробовали, а все на месте стоим. Скоро с меня башку снимать будут. Через месяц хоть тресни, а электротехническую начни катать... Вон министр приезжал. Наши к нему. Отодвинем, мол, сроки. А он: что хотите просите, хоть золота вагон — и то легче дать, чем сроки отодвинуть... Придется и тебе, брат, тут башкой поворочать...

— Ну а Ремез что?

— Нет сейчас Ремеза, — ответил Бортов. — В отъезде он. А как вернется, чует мое сердце — крепко за нас возьмется... Ну ладно, пойдем, я тебе твой кабинет покажу. Правда, тебе тут больше в цехе придется, но все же... Место нужно. Да, еще вот что: есть директорская команда насчет квартиры тебе. Тут вот-вот дом для нас, прокатчиков, сдавать будут. Мы тебя в список включим, так что ты уж сей час пока в гостинице... Да и ко мне заходи. Вот в выходной хотя бы Зайдешь? Ведь не чужие мы с тобой.

Я подумал, что совсем не знаю ничего о семье Бортова; в тот давний приезд не удалось побывать у него, а теперь нам работать вместе я уж знал: хорошая работа возможна, когда люди понимают друг друга с полуслова.

— Рад буду,— ответил я.

Он показал мне кабинет заместителя по оборудованию, находился он на том же этаже, что и кабинет начальника, был невелик, но мне понравился, все было новым — стол, кресла и умывальник в углу, отделанный кафелем,— еще никто здесь не работал, и мне предстояло обжить это помещение...

Ремез приехал на следующий день и сразу же созвал цеховое совещание. В кабинет Бортова набилось множество людей, сидели вдоль длинного стола, заполнили пространство меж этим столом и стеной, видимо, собрав стулья из всех комнат: тут были цеховые инженеры, управленцы и группа Самарина, рядом с Бортовым, углубившись в бумаги, охватив обеими руками жесткий ежик рыжих волос, задумался Ремез. Я сел, жадно вглядываясь в него, и он словно почувствовал мой взгляд, поднял голову, и сразу же в кабинете начала устанавливаться тишина... Лена точно описала мне Ремеза. Глаза Ремеза весело блеснули, и он сказал:

— Начнем, товарищи!

Спокойно и негромко он заговорил о том, что в цехе уж четыре месяца идут работы по технологии проката малоуглеродистой стали, что к этому подключен весь завод, а два месяца назад по приказу министра прибыла группа ученых, но дело вперед не сдвинулось, и он хотел бы знать почему. Говорил он не более трех минут и как только кончил, слово взял Бортов и, сжимая широкую ладонь в крепкий кулак, взмахивая им, стал объяснять, что дают некачественные слябы, а из цеха горячего проката поступают рулоны, не соответствующие заданной программе.

И началось!.. Рвал страсти начальник электроплавильного, с начальником цеха горячего проката чуть не случилась истерика, и чем дальше шло это совещание, тем жарче разгорались споры, в которых уж и понять-то ничего было нельзя... Много раз мне приходилось видеть подобное на заводе, где я прежде работал, и стало ясно: никто из выступающих не знает истинных причин неудач. Я посмотрел на Ремеза: понимает ли он это? И тут же догадался: понимает. Он сидел невозмутимо и то ли записывал что-то карандашом, то ли рисовал на бумаге, он никого не перебивал, никому не задавал вопросов, дал всем выговориться, и постепенно спор затих... Тогда он поднял глаза от бумаги, весело всех оглядел, спросил негромко:

— Все? Ну что же, подведем итог. Он один — дело дрянь. И потому с завтрашнего дня я здесь.— Он ткнул карандашом в письменный стол.— Надеюсь, Бортов, пустите меня? — усмехнулся он и тут же жестко сказал: — Я хочу, чтобы каждый понял: именно здесь решается судьба завода. Мы обязаны дать лист через месяц. Все свободны. Прошу остаться группу ученых, Бортова, его заместителей.

Еще некоторое время все сидели молча, словно сделалось неловко за бурный, наполненный ложными страстями спектакль, который они только что бесполезно разыгрывали, потом нечто подобное тяжкому вздоху прошло по кабинету, и люди задвигали стульями, засуетились, стараясь как можно быстрее уйти. Я остался на месте. А Ремез, ни на кого не глядя, достал трубку и коробку с табаком, трубка у него новая, не изогнутая, а прямая, и люлька ее обшита кожей, он набил трубку, закурил — сразу же потянуло сладким запахом — и повернулся к профессору Самарину.

— Любомир Сергеевич,— сказал он мягко.— Я ознакомился с вашей работой за минувшее время, и у меня по этому поводу вот какое ощущение. Мне думается, вы избрали не ту методику...

Едва он это произнес, как Самарин побагровел, хмурое его лицо ~~еще более~~ **отяжелело, и он сказал глухо:**

— Ну уж, Игнат Матвеевич, насчет методики... Другой избрать не могли. Было бы вам известно: у нас нет теории. Нет! Хоть тресни. Идем вслепую. Вот и избрали систему отрицания. Этот вариант не подходит — отбрасываем. Идем дальше. Ничего другого я предложить не могу. Вот так!

Ремез помедлил, пыхнул дымком. То, что он курил, видимо, не нравилось Самарину, он недовольно поморщился, а потом еще взмахнул возле себя ладонью.

— Я не об этой методике, Любомир Сергеевич, — спокойно сказал Ремез. — Ваша группа работает обособленно от цеховых инженеров. Вы прочно отделились от них. Вы что же, считаете их некомпетентными?

— А что они могут предложить новенького? — в грубоватой своей манере спросил Самарин.

— Не знаю. Еще не спрашивал у них, — ответил Ремез. — Во всяком случае, по прежней опыту могу привести множество примеров, когда цеховые инженеры, практики, решали задачи, которые оказывались не под силу даже крупным ученым. — Голос его стал жестче. — С завтрашнего дня я объявлю по цеху и по заводу о том, что все предложения по электротехнической будут нами рассматриваться немедленно. Выделяю для этого премиальный фонд. И попрошу вас заняться этим вместе со мной, не пропуская без анализа ни одного замечания, даже если оно покажется на первый взгляд бредовым.

Самарин пожал широкими плечами.

— Мне недосуг копаться в графоманских записках, увольте, Игнат Матвеевич. Мы ведем работу как умеем, а уж коли не нравится... — Он сделал широкий жест рукой.

— Не нравится, — кивнул Ремез. — Извините за откровенность, но не нравится, Любомир Сергеевич. Когда будут результаты, тогда понравится.

И тут произошло совсем для меня неожиданное: то ли у Самарина от долгих неудач сдали нервы, то ли на самом деле он был капризен, избалован вниманием, наградами и почестями — он считался единственным авторитетом по прокату среди ученых, Самарин встал, тряхнул пышной седой шевелюрой и сказал с театральной громкостью:

— В таком случае мы покинем завод!

Ремез какое-то время смотрел на него с любопытством, мне показалось — в его угольных глазах мелькнула усмешка, но он постарался погасить ее и сказал просто:

— Не надо, Любомир Сергеевич. Прошу вас. Я понимаю: нервы расшатались... Сядьте...

Самарин пригладил седые волосы и неожиданно покорно опустился на стул.

— Ну вот, — кивнул Ремез. — И чтоб больше вы не делали подобных заявлений, я хочу вам сказать: сталь-то ведь мы прокатаем, не можем не прокатать. Если это делают за рубежом, сделаем и мы. Таков закон. А теперь прикиньте, как вы будете выглядеть, если мы добьемся результатов без вас. Вам не только недруги, но и ученики этого не простят... Я сегодня же подпишу приказ: все, что вы делаете, беру под личный контроль. Вы работаете на заводе, а не в личной лаборатории. — И как припечатал: — Все!

Чувствовалось — Самарин растерян, пристыжен и не знает, что отвечать. Ремез, видимо, это понял, поднялся, подошел к профессору, сказал:

— У всех нас такое бывает, Любомир Сергеевич. Поверьте, я и мои товарищи очень ценим вас как серьезного ученого и убеждены, что найдем с вами контакт. Так что вы уж помогите нам..

Он говорил это не столько для Самарина, сколько для его помощников и учеников, чтобы как-то сгладить впечатление от растерянности Самарина, поднять учителя в их глазах; он протянул Самарину руку и сказал:

— Завтра мы встречаемся с вами здесь же...

Самарин что-то пробурчал в ответ и пошел к выходу, за ним потянулись инженеры его группы. Галя, проходя мимо меня, неожиданно озорно подмигнула, и я догадался: она рада такому повороту.

Едва за учеными закрылась дверь — Ремез провожал их взглядом, — он обернулся и пошел ко мне, улыбаясь, протягивая руки:

— Ну, здравствуйте, здравствуйте, Костя! — Он обнял меня, легко прижал к себе, и я почувствовал, какие крепкие и цепкие у него руки. — Ну, вы молодец! — воскликнул он. — Молодец, что решились и приехали. Сами, наверное, уже убедились, какой здесь размах, как интересен этот завод инженеру. Будем вместе работать, будем. Я запрашивал о вас характеристику, мне дали самые лестные отзывы, так что я на вас надеюсь. — Он дружески похлопал меня по плечу, снова улыбнулся. — Еще встретимся, поговорим... А сейчас спешу. Извините, товарищи. Всего доброго!

И быстро пошел к выходу легкой, слегка подпрыгивающей походкой.

Вот так я его увидел после многих лет разлуки, и он снова мне понравился, и снова я принял его душой. Глядя в окно кабинета Бортова, как он выходит на улицу, как садится в машину, думал: если бы раньше я работал с ним, то, наверное, жить мне было бы интересней. Даже на этом небольшом совещании за каждым словом Игната Матвеевича чувствовалась четкая уверенность и спокойствие, а это не так уж мало в наше суетное время...

Машина Ремеза только отъехала от цеха, как Бортов, вздохнув, сказал:

— Ну, Костя, теперь держись. Сейчас начнется — не только про выходные, про сон забудешь...

*(Окончание следует)*



---

---

АЛЕКСАНДР МОСКВИТИН

★

## ВОСПОМИНАНИЕ О ПЕСНЕ

С до войны или с войны —  
в чистой памяти ребенка  
голоса солдат слышны  
и отчетливо и звонко.

Давний пыльный городок.  
Утомленный душный вечер.  
Гарнизона мерный ток  
светом улицы очерчен.

Так внушительно не зря  
узел песни распластался:  
«Раздалась команда: — Поднять якоря! —  
И берег в тумане остался».

А во мне поплыло вкось,  
над волнами накренилось  
и в груди оборвалось:  
мера мира изменилась.

И на всей земле окрест  
гуще встала тьмы завеса...  
Далеко от отчих мест  
Севастополь и Одесса.

Постоянство дней сухих.  
Блестки соли на затворе.  
Оттого ли дразнит их,  
пехотинцев, море, море?

Иль у песни был красив —  
по предчувствию, настрою —  
боль рождающий мотив  
расставания с землею?

По внушенью вещей снов?  
По одной по той причине,  
что уйдут от берегов  
и умрут в его пучине?



Юность вправду была голодная.  
Молодость — точно! — была военная.  
Зрелость, честно сказать, не мед.  
Мне в этом видится точка исходная,  
суть человека того поколения,  
что и сегодня — разное — живет.

Все ж и удачей судьба не обидела —  
на перепутьях фронтов не оставила,  
а напророчила — терний не счесть.  
Щедро таланта природного выдала,  
право всегда исповедовать правила,  
веруя в разум, в совесть и честь.

Если живет и отнюдь небогато он,  
если к тому же не в лучшем здании,  
юность — голодная! — время виной:  
просто давно презирал горлохватов,  
просто копил не госзнаки — знания,  
просто весь мир у него за стеной.

Молча несет, что с лихвою отсыпало:  
сердце, здоровье, время раздаривать,  
будто не меньше их с каждым днем,  
чтобы свободно, как на душу выпало,  
без экивоков и ляс разговаривать, —  
молодость реет — военная! — в нем.

Хоть и не басом — обычным тенором,  
хоть и не зычно — будничной дикцией,  
лишь о значительном держит речь...  
Сколько басило — забыто, потеряно.  
Выстоять, выйти как снова родиться,  
правду о времени в слово облечь.





---

---

ЭДУАРДАС МЕЖЕЛАЙТИС

★

## ИЗ ЦИКЛА «ИНДИЙСКИЙ ОРНАМЕНТ»

С литовского

\* \* \*

Мир — это око мудрости.

Всякое создание земное — яблоко глазное,  
Перед которым раскрыта  
Мглистая и многолистная  
Книга вселенной,  
Где можно прочесть  
Напечатанные светлым петитом звезд  
Свидетельство о рождении своем  
И некролог себе.

Интервал  
Не так уж мал:  
Можно заполнить его  
Грандиознейшими химерами  
И грудой мелких предметов.  
И все мы,  
Сказочные великаны  
И слишком реальные гномы,  
Обычно  
Выбираем занять  
Себе по плечу.  
Так или нет?

Просвет  
Между рождением и смертью  
Заполняет сказка-несказка,  
Которую повествуют  
Смертные боги  
И бессмертные люди,  
Крылатые звери  
И бескрылые птицы...

Вот и весь расклад.  
А часовой циферблат,  
Этот двойник вселенского ока,  
Строго следит за течением нашего срока...  
Всякое создание земное — яблоко глазное,  
В котором прозрачно отражены  
Величие и ничтожность  
Нашего мира.

\* \* \*

Рис держится рисом.

Слушай, слушай меня! Я рисовое зерно!  
 Я зернышко риса! Я рис. Не обижай  
 Меня. Не надо. Я маленькое, я кроха,  
 Но я могущественно. Могу тебя размельчить,  
 Раскрошить, сделать неизмеримо мельче  
 Себя. В прах могу превратить. Знай:  
 Я — твой владыка, я — жизнь твоя.  
 И все большое тело твое — из моего тельца.  
 Знай еще и другое: рис держится рисом.

Слушай, слушай меня! Я рисовое зерно!  
 Я зернышко риса! Я рис. И я же враг  
 Риса. Я поедаю семя, давшее мне жизнь,  
 Ради того, чтобы жил ты, который меня  
 Поедает. И, значит, я — враг себе самому,  
 И, значит, я — друг врагу своему. Но ты  
 Знай еще и другое: рис держится рисом.

Слушай, слушай меня! Я рисовое зерно!  
 Я зернышко сладкого риса! Я сладкий рис.  
 Но сладок я лишь тому, кто делит меня  
 С другим. Я горек тому, кто норовит  
 Один насыщаться мною. Тот не съедает  
 Меня. Я съедаю его. Ибо и я плотоядно.  
 Слышишь, слышишь меня? Рис держится рисом.

\* \* \*

Человек стремится к бессмертию,  
 потому что смертен.

Мир простоват. Но все ж не прост он. Мир — крестьянин.  
 Свой интерес блюдет он более всего  
 И, разумеется, миндальничать не станет  
 Ни с кем, кто встанет на дороге у него.

Он толстосум. Его сокровища несметны:  
 Гирлянды звезд летят в бездонную суму.  
 Бессмертья алчет он. Вот почему бессмертны  
 И мы, пока от нас бывает прок ему.

Но от смертельной стужи мы спастись не можем,  
 Какой бы сильный ни пылал в душе костер...  
 А все-таки его богатства рьяно множим  
 И расширяем жизненный его простор.

Не простачи и мы. В цветке, в металле, в слове  
 Самих себя продлить мы силимся всегда.  
 Он возмущается. Он грозно супит брови.  
 Погода портится, приходят холода...

Но вот опять прогрело солнце всю округу.  
 На плутни наши вновь сквозь пальцы он глядит.  
 Тут дело в том, что мы и он нужны друг другу  
 И часть его бессмертья нам принадлежит.

Перевел Л. МИЛЬ



---

---

ФЕЛИКС ЧУЕВ

★

## ИЗ НОВОЙ КНИГИ

\*.\*

Мои красавцы старики,  
я к вашим будням прикасаюсь,  
живые те большевики,  
потомков будущая зависть.

Хотелось тоже вам небось  
побыть беспечными когда-то.  
Куда б спокойнее жилось  
в купцах, дворянах, адвокатах.

Но ваш порыв переиграл  
Гурзуфы, ярмарки, мазурки  
на Александровский централ,  
на Турухански и Манзурки.

Но вам доньше помнить, как  
в том зале, истиной согретом,  
Ильич в потертых башмаках  
провозглашает власть Советов.

Вам рядом с ним на сцене той  
стоять неизбежно доньше,  
преображая шар земной,  
как в те минуты молодые.

\*.\*

Мой отец не тянулся к наградам,  
и с начальством не ладил отец,  
был на фронте и после  
солдатом,  
многих был похрабрей, наконец.

Ордена получали другие,  
хоть не более в деле сильны,  
премиальные им, наградные,  
коверкоты, квартиры, чины.

Ну так что ж — и они заслужили,  
и не каждому слава сполна.  
Но ценили отца за двужилие,  
то, чем родина наша сильна.

Ни нытья, ни обиды, ни жалоб,  
хоть, наверно, обидно до слез.  
Но зато как себя уважал он,  
как высоко он голову нес!

### ПИСЬМО

Семь страниц забытого пилота,  
северная белая тетрадь.  
А вот мне просторно отчего-то,  
словно только начал я шагать.

Страшно и щемяще интересно,  
словно в детстве: что там, за бугром?  
Каждый листик, строчками не тесный —  
как с высот зимой аэродром.

Все еще небесные поводыя  
льнут к ладоням памяти моей,  
все еще из неба не уходят  
эти командиры кораблей...

\*\*\*

Каким здоровьем нужно обладать,  
чтоб быть на свете русским человеком,  
своим челнам дорогу пробивать  
где по морю, где посуху —  
до греков,  
стране огромной ладить два крыла,  
как два весла —  
для будущего крылья, —  
и сказку начинать, не помня зла,  
прекрасными словами «жили-были...».

Спасти весь мир и братьев обогреть,  
себя в бою и в дружбе не жалея...  
Какую ж нужно силушку иметь,  
чтоб всю отдать  
и стать еще сильнее!

\*\*\*

Запах неба на степной поляне,  
привкус чабреца на виражах,  
васильки невысказанной сини  
у земного летчика в глазах.

Девушка взглянула — покраснела,  
глянул он на туфельки в пыли...  
И земле не дышится без неба,  
и бескрыло небо без земли.

\* \* \*

В феврале за себя беспокойная,  
закрутила зима колесо.  
Комья снега — шмели дальнобойные —  
от ветвей рикошетят в лицо.

Катит белый февраль переулками,  
на деревьях лепя калачи,  
и по крышам огромными булками  
колдовство закругляет в ночи.

Буйством рваного неба притушены  
долговязые лампы во мгле.  
Как по дну океана воздушного,  
прохожу по неровной земле.

Доберусь до желтеюще-светлого  
ореола над башней своей,  
где за столиком в кухне приветливо  
от жены и от двух сыновей.

В золоченые сумерки блинные  
стены дымные тянутся ввысь,  
машут крыльями книги старинные,  
и мятежится русская мысль.

Словно я над святыми колодцами,  
и не вычерпать тайну до дна...  
Просветленно на свете живется мне,  
и нисколечко жизнь не сложна.

\* \* \*

И все-таки любовь, наверное, жива,  
коль мы ей говорим похвальные слова,  
коль сами мы весной, почувствовав весну,  
душой на целый миг уходим в тишину  
от холода звонков, от планов и бюро  
и светится, как сон, жар-птицыно перо.  
Любовь еще жива внезапностью своей  
как остановки знак на перекрестке дней.  
И счастлив тот, кто вдруг безволен пред собой,  
когда над ней рассвет весенний, озорной...  
Вчера ль она была, иль это все старо?  
Мерцает на столе жар-птицыно перо.  
Она еще придет, поверь и подожди,  
и раньше, чем придет, себя не подожди.  
Еще наступит день, разбуженный с утра,  
ее шальная тень шепнет тебе: пора.  
Внезапно ты поймешь, увидишь, побежишь,  
впервые — ну и что ж! — себя не победишь.  
Гони иль приручай — твоя теперь она,  
пусть даже и печаль — до дна, браток, до дна.



---

---

НИКОЛАЙ ШУМАКОВ

★

## В КАШИНЕ

Брожу по городочку  
Ночью поздней.  
Хожу через тесовые мостки.  
А в низком, очень низком небе —  
Звезды,  
Как в русском поле  
Ночью огоньки.  
Прохожих запоздалых вижу лица,  
Они минутой каждой дорожат.  
И фонарей усталые ресницы  
В снежинках нарастающих дрожат.  
Еще не спать пока  
Продрогшим птицам,  
Метели заметать мои следы.  
А мне все пить, все пить —  
И не напиться  
Ночной прохлады,  
Как живой воды...

## МИХАИЛ ЛУКОНИН

Меня привели к нему службы дела.  
Таилась в душе моей радость-тревога —  
Почти что полвека к поэту вела  
Обычной судьбы моей тропка-дорога.

Ко мне повернувшись, поднялся слегка,  
Меня приглашая для разговора...  
Была и горячей и крепкой рука  
Поэта,  
Бойца,  
Футболиста,  
Шофера...

О цели прихода ему рассказал —  
Улыбкою щедрой лицо озарилось.  
Хоть сталью отсвечивали глаза,  
Но сердце его добротою светилось.

...Мне встретиться с ним  
Лишь однажды пришлось,  
За это спасибо поэту и доле.  
Во мне словно эхо отозвалось  
Его обаянья магнитное поле...

## ШТУРМАН

В соседстве неблизком  
Который уж год  
На Третьем Балтийском  
Мой штурман живет.

Он весь прокалился  
Военным огнем.  
Осколок таится,  
Как маятник, в нем.

На стенах картины —  
Таких не найдешь..  
И складень старинный  
На море похож.

А рядом неспоро  
Заводик дымит,  
Как будто «Аврора»  
На помощь спешит.

В боях и походах —  
Отточенный вкус.  
Сквозь души проходит  
Рожденный им курс.

На Третьем Балтийском  
(Почти одинок)  
Живет не без риска  
Прекрасный мой бог.

Себя обрекает  
На это он сам.  
И время стекает  
По рыжим усам..



---

---

ВАЛЕРИЙ ПРОХВАТИЛОВ

★

## СТАРИННЫЙ СЮЖЕТ

А был утес на всадника похож,  
который (так и есть!) еще немного —  
и спрыгнет вдруг у самого порога  
и выхватит кривой кавказский нож.

Булатный нож, буланого коня,  
болотный цвет потертого кафтана  
вдруг увидеть под вечер у фонтана —  
на это сил не хватит у меня.

Черкесу из прадедовых времен  
хозяйка приготовила на славу  
бараний бок и острую приправу,  
бутыль вина — пусть будет счастлив он!

Но всадник был похожим на утес —  
не замечал хозяйки влажных взоров  
и пену всех застольных разговоров  
легко разбил, развеял, перенес.

Напрасно так старались вы, ткачи,  
соткав наряд своей хозяйке милой.  
Не создан был тот гость для жизни мирной,  
растаял конь, как тень исчез в ночи.

И смотрит правнук, радуясь чуть-чуть,  
на весь сюжет картины той старинной:  
ему явиться хочется с повинной  
и прошлому столетию пасть на грудь.

\*.\*

Доносится звук электрички,  
рожденный как будто назло  
твоей обретенной привычке  
оконное трогать стекло,  
оконное трогать, простое,  
тебя отделившее вдруг  
как будто навек от простора  
дымящейся жизни вокруг.





---

ГЕРМАН КАНТ

★

## ОСТАНОВКА В ПУТИ\*

Роман

XVI

**П**ока мы были заняты этой работой, наступил март, а с ним — весна. Она проглядывала ростками травы меж трамвайных рельсов, нежной зеленью деревьев, уцелевших чуть дальше на Раковецкой.

В иные дни мы снимали не только куртки, но и рубашки и в обеденный перерыв дремали на солнышке.

Не знаю, может, я и здесь счел своим долгом занять более высокую позицию, но только зачем-то забрался на крышу большого американского грузовика и растянулся на брезенте. Никто мне и слова не сказал, я блаженно раскинул руки, ощущая кожей нагретую солнцем ткань, и заснул.

И вдруг проснулся — от крика, от движенья, от переполоха, достаточно сильного, чтобы разбудить меня, но недостаточно сильного, чтобы помешать шоферу тронуться с места. Он скорее всего хотел только удобнее поставить машину под погрузку и не обязан был смотреть, не загорает ли кто у него на крыше. Но все же он в конце концов остановился.

Должен признать: мои приятели-уголовники орали изо всех сил, чтобы предостеречь меня и остановить машину. Их крики достигли и моих ушей и ушей шофера, тот нажал на тормозную педаль, но именно в этот миг я поднялся.

Пусть тебе много раз говорили и ты охотно верил: как быстро падает человек! Все ж таки когда сам летишь кувырком, это кажется невероятным.

Сверхмощный тормоз был гордостью шофера, не отказал он и на этот раз: резкий толчок ногой — и чреватое бедой движение остановлено.

Только я не смог остановиться и пролетел немного дальше.

Траектория полета не представляла собой крутой дуги — она шла напрямиком на землю.

Я сразу же встал, это я помню. Полагаю, что вид у меня был растерянный и дурацкий.

Сначала ты летишь, потом ударяешься оземь, потом наступает шок, и только потом чувствуешь боль.

Меня окружили знатоки, и Эугениуш превзошел себя — ему удалось синхронно переводить их многоголосые суждения.

Большинство считало, что у меня сломана рука. Левая рука. Выше запястья. Прямо пополам. Это же яснее ясного, выдвигал я переломы. Ничего удивительного — грохнулся с такой высоты да с такой силой. Вот идиот. Сам виноват. Явный перелом. Срастется быстро, но надо наложить шину. Как он побледнел, бедненький. Притих теперь, белобрысенный. Больше уж наверх не полезет.

Шофер тоже страшно побледнел, а мой личный конвоир пришел в ярость. Сэ

---

\* Продолжение. Начало см. «Новый мир» №№ 9, 10 с. 5.

погрозил мне прикладом автомата, и между конвойными разгорелся спор. Но Эугениуш его переводить не стал.

До ворот тюрьмы было всего несколько сот метров, но шофер непременно хотел подвести нас — меня и моего конвоира.

Солдат-усач на сей раз держался не так невозмутимо, но все же обхлопал мои карманы, ощупал каждую штанину и правый рукав. До моей левой руки он не дотрогнулся, ее немного погодя ощупал врач, с которым я уже имел дело раньше, после происшествия с кувалдой. По-моему, он это сделал грубо. Разговаривал он тоже грубо:

— Вы разве эксцентрик? Мало вам того, кто вы? Хватит с вас, что вам шею сломают, а руку-то зачем? Да еще в тюрьме. Кто это в тюрьме ломает себе руку? Здесь можно заработать понос, флегмону, а уж перелом — это эксцентрика. Я к нему не прикоснусь. Я сам сижу и оказываю помощь по мере сил — заглядываю в горло и в задницу, но ваш перелом подождет, пока придет тюремный врач. Рентгена у меня нет, гипса нет, рука потом останется кривая, а где у меня гарантия, что вас не повесят? Если да, то ваши останки попадут в анатомичку. И что там скажут? Увидят кривую кость и закричат: врачебная ошибка, врачебная ошибка! Вам-то все равно, вы будете уже холоденький, а моей репутации это повредит. Никто не скажет: надо войти в положение, коллега и сам сидел. Нет, они заявят: он не справился с простым переломом. Никто не вспомнит, что не было ни гипса, ни рентгена. Я своих коллег знаю, или вы думаете, я сам напросился сидеть в тюрьме? Разве я, по-вашему, такой эксцентричный? Ложитесь на носилки и ждите, пока придет тюремный врач. Представляю, как он взбесится — он бы с удовольствием переломал все кости каждому из вас, а тут вдруг являетесь вы и, нате пожалуйста, сами себе что-то сломали — вот наглость!

Рука у меня зверски болела, а потому из всей речи врача-арестанта вначале до меня дошли только отдельные куски, злиться на него по-настоящему я не мог, основной заряд злости я тратил на себя — что правда, то правда: Нибур — эксцентрик! Почти двадцать лет войны и мира прожил без переломов и — надо же! — слопотал себе перелом в таком заведении, где это считается из ряда вон выходящим. А самого заведения тебе мало? Мало того, что ты здесь сидишь? Мало вам того, кто вы? Как он сказал, этот тип? Мало вам того, кто вы? Откуда он может знать? Он же сам сидит. А говорит, сломают шею. И кому — человеку, который чуть было сам ее себе не сломал. А сломанная рука — это что, пустяк? Но он говорит о повешении — почти всерьез. Или правда всерьез? Да не может же он действительно так думать. Анатомичка!

На какой-то недобрый миг я почувствовал, что сердце у меня остановилось, споткнувшись об это слово, а когда затихло сердце, затихла и боль. И потому, что это было для меня вопросом жизни, я вытеснил из сознания и одно это слово и всю гнусную речь и сказал себе: ты очутился здесь из-за смехотворного увечья, перелом руки — это даже не перелом ноги, не говоря уж о других переломах. Не говоря уж о переломе коленной чашечки, или шейки бедра, или тазовой кости, или ребра... не говоря уж обо всем этом.

Смехотворно, смехотворно да и только, у него всегда был талант калечиться людям на смех. Однажды он играл в «бомбежку Адуа», и его принесли домой как после всамделишного сражения. Эта игра — «бомбежка Адуа» — раньше называлась «в казематах форта Дуомон», но поскольку тогда шла война с Абиссинией и на киноуроке нам показывали фильм «Мужчины делают историю», игра стала называться «бомбежка Адуа».

Она была так проста, что не могла надоест, она вызывала одновременно ужас и восторг, чем доставляла нам огромное удовольствие. Один из ребят залезал в канаву, под жестяной рекламный щит, а остальные обстреливали его из большущей рогатки камнями величиной с кулак. Резинка была от эспандера; она громко щелкала, на щит с грохотом обрушивались камни, а мы делали вид, будто от этого грохота гложнем.

Я как раз был абиссинцем, сидел в бункере под Адуа и ждал очередной итальянской бомбежки, когда меня вдруг позвала мама. Адуа находился на изрядном расстоянии от нашего дома, но про голос моей мамы отец говорил, что его слышно до самого Гельгольанда, а чтобы сделать свое утверждение более правдоподобным, прибавлял: «Конечно, при хорошей погоде».

В окрестностях Марне мамин голос настигал меня при всякой погоде. Она звала

меня моим полным именем — Маркус, а при сильном ветре и на большом расстоянии от него оставались только гласные. Но уж это «а-а-у-у» я слышал всегда и по завещенному у нас обычаю — его со свойственным ему упорством ввел у нас отец — должен был ответить: «Да-а-а, иду-у-у», все бросить и мчаться домой. И как еще мчаться!

В Марне я слыл послушным мальчиком и сейчас понимаю, что для этого были основания.

Бомба на Адуа, видимо, уже летела и мамин зов тоже, они настигли меня почти одновременно — зов чуть раньше, чем камень, потому что я как раз высунулся из канавы, чтобы прокричать положенный ответ, тут снаряд ударил по краю рекламного щита фирмы аккумуляторов «Даймон» и дал рикошет такой силы, что содрал у меня кусок скальпа и затмил мне свет на весь остаток дня.

Кроме того, у него еще шрам над левой бровью, похожий на морщину, и шрам этот, пожалуй, ему к лицу, но заработал он его смехотворным образом.

У меня, естественно, был старый револьвер, газовый револьвер, и ствол его, естественно, был просверлен, — я пережил свой револьвер благодаря нескольким чудесным случайностям. Носил я его в кармане куртки и однажды вечером крикнул со двора маме, чтобы она из кухонного окна бросила мне куртку. Пока летела куртка, револьвер провис и угодил в меня первым, так что в тот вечер мне уж куртку надевать не пришлось.

Но некая особа сказала, что шрам мне к лицу.

А потом он еще руку себе сломал, это просто смехотворно. Неделями он лазает вверх-вниз по высоченному обломку стены, что далеко не безопасно, если дует ветер, мучит совесть, мешают деревянные башмаки, а когда он наконец оказывается внизу, ему вдруг приходит в голову позагорать — и вот, извольте.

Я ощущал на коже легкое жжение, оно было отдаленно сродни жгучей боли в руке, и когда меня стало знобить, подумал: это, может быть, от солнца или от перелома, — и меня так и подмывало крикнуть: «Как мне страшно, ах, как мне теперь страшно!» Значит, это и вправду бывает — плач и скрежет зубовой.

Но ко мне относилась только вторая часть изречения, ибо для плача — это я еще не забыл — бывают более веские причины. А ведь случившееся со мной было смехотворно. И подло. Едва он начал немножко отходить от самого себя, едва преодолел себя и зарекся впредь неизменно думать только о себе, впервые последовал заповеди, что тот достоин презрения, кто не оглядывается вокруг и не позволяет окружающим заглядывать в свои дела, как вдруг его сбрасывает с крыши и он опять становится совершенно единичной особью.

Сбрасывает? Кто сбрасывает? Господь бог, или черт зловонный, или чудища, которых пускают в ход, когда надо научить человека страху, — ведьмы и тролли? Кто сбрасывает Марка Нибура и превращает его в единичную особь, выбивающую дробь зубами? Кто хочет сбросить Марка Нибура, абиссинца из форта Дуомон, со шрамом от револьвера?

Я понимал, как много заложено для меня в этом вопросе, но ответить на него мне было еще не по силам, и вот я решил снова вернуться в тот дом и держаться до поры до времени за моих добрых знакомых, которых звали Сикорский, Ковальский, Ядвига и чьи истории были настолько потрясающими, что могли отвлечь меня от моей собственной. Но этим фигурам, сотканным из фантазии, пришлось отойти на задний план, их отгеснили другие, и оттого, что я их видел, и слышал, и обонял, а однажды увидел в совсем необычном свете, я не мог в них не верить.

Это были — неужели травматическая лихорадка действует так быстро и так сильно? — женщины, несколько пожилых женщин, но больше молодых и молоденькие девушки. Они как будто совершенно забыли, что они не на рынке, не в общественной прачечной и не на лужайке для отбеливания холстов, а меня вообще не замечали. Их была дюжина, а казалось — говорят наперебой двадцать четыре голоса, хотя некоторые пожилые женщины озлобленно молчали, а две совсем юные девушки безмолвно держались за руки. Две-три начали снимать куртки, но перестали, когда появился врач-арестант, который с трудом заставил их утихомириться.

Два слова из его речи мне были известны, ибо они составляли основу тюремного языка: *róbniej* и *szekaś* — «позже» и «ждать». Отклик женщин на его заявление тоже

меня не удивил: она протестующе заныли, что их заставляют ждать, точно им предстояли бог весть какие важные дела и потеря времени была для них очень чувствительной. Из этого мне стало совершенно ясно, что они были пленные, как я, или арестантки, как врач. Однако им было неясно, что я за птица, но врач молча отмахнулся от их вопросов, мстя им за недостаток уважения к себе, а ко мне подошел и сказал:

— Тюремный врач придет чуть позже. Один тут повесился, но он еще жив, халтурная работа. Вы этого не делайте. Предоставьте это нашим специалистам. Возня с вами — нужен гипс! Нет в тюрьме гипса. Послали за каменщиком, может, у него есть. Иначе придется положить вам руку в цемент. Придется вам чуть дольше пробыть без движения, привыкайте понемножку — скоро и вовсе двигаться перестанете. Загонят, загонят вам руку в цемент. Я же говорил: эксцентрик!

Он произнес это слово громко, уже в дверях, и, разумеется, оно снова привлекло ко мне затухший было интерес женщин. Одна из них, особенно бросившаяся мне в глаза, потому что она больше других разговаривала руками, бедрами, грудью и задом, крикнула:

— Ты, ekscentryk, ty Niemiec jesteś?

Я нашел, что не слишком-то вежливо спрашивать меня, немец ли я, и потом, никогда нельзя знать, как примут твой ответ, — с меня было довольно, что врач-арестант все время звал меня эксцентриком. Но, с другой стороны, не так уж неприятно, когда тобой интересуется хорошенькая женщина, и в конце концов я ведь только сейчас, что называется, днем с огнем искал общества, чтобы отделаться от самого себя, — ну так в чем же дело?

— Да, немец, — ответил я, и мне почудилось, будто те две девочки еще крепче зыались за руки, да и судя по перешептыванию остальных они тоже были не в восторге.

— Ты, Niemiec, — сказала хорошенькая, и нетрудно было заметить, что она собирается устроить какое-то представление для своих товаров, — ты, Niemiec, что болит?

Потом она тот же вопрос повторила по-польски, но не успел я ответить, как одна из женщин крикнула что-то, чего я не понял, и, едва договорив, прыснула со смеху, да и большинство остальных тоже расхохотались. И хорошенькая заливалась восторгом, но раз уж она начала представление, она его и продолжала:

— Ты, Niemiec, ты эксцентрик в цирке, варьете, кабаре?

Она тут же изобразила, что понимает под словами «цирковой эксцентрик», и не только потому, что сомневалась, существуют ли эти слова в немецком языке, — просто у нее был талант. Она сгибалась в три погибели, ноги ставила то иксом, то скобкой, а руки у нее вдруг так вытягивались, что она почти на них наступала. Все это она проделывала уморительно и совершенно покорила свою публику, а меня вдвойне. От смеха я почти позабыл про боль в руке, даже совсем позабыл, потому что на меня еще никогда не выплескивалось столько женственности.

Я знаю — перелом вызвал у меня лихорадку, мое восприятие то бывало притуплено, то опять обострялось, но эта дама была из тех, что весьма способствуют учащению пульса, и она это знала, она знала также, что я это знаю, ей доставляло удовольствие, что я это знаю, и я почти уверен, что она испытывала и нечто большее, чем удовольствие, «удовольствие» — не совсем точное выражение.

Как у всех остальных, одежда у нее была из грубого материала, но сама она была не из грубого материала. Она была из тех женщин, что могут поднять бочку с водой и при этом не теряют своей женственности. Мне кажется, когда такие, как она, показывают только мизинчик, видишь уже всю руку и хочешь уже всю руку, и другую в придачу, и плечи, и шею, и живот, и все прочее.

Она была бесконечно изобретательна в своей эксцентрике, и о некоторых ее фигурах я не мог бы с уверенностью сказать, имеют ли они отношение к цирку — к детской программе цирка, во всяком случае, нет, — я знал только, что у меня уже давно горят уши.

— Ты, Niemiec, — сказала она, — ты эксцентрик, я жонглерка, бросаю шары, давай устроим цирк. Или устроим варьете? Так, так, устроим варьете с вариациями — ты эксцентрик, я жонглерка, я эксцентричка, ты жонглер!

И она показала всем нам, но прежде всего и прежде всех мне, как она представ-

аяет себе наше варьете с вариациями, и хотя она была сделана не из грубого материала, но более грубого материала, чем в тот раз, я еще долго после того не видел.

Ладно, я уроженец Марне, у нас там несколько северные представления о варьете и о том, какими частями тела не очень-то удобно жонглировать, но боюсь, что и в Марселе такого рода эквилибристику, с такими удивительными вариациями, сочтя бы немного рискованной.

Даже врач-арестант проявил веселое любопытство и не без сожаления прервал спектакль. Он громко захлопал в ладоши, у него это прозвучало как команда, но хорошей вдобавок отвесил полупоклон — она впрямь была, считать его знаком одобрения.

Он, по-видимому, сообщил, что тюремный врач пришел, потому что женщины выстроились в очередь у двери в соседнюю комнату и первые опять сняли куртки и сбросили с себя негнущиеся юбки.

После варьете меня это не особенно взволновало, тем паче что белье у этих дам было довольно своеобразное. К тому же я опять почувствовал, что кровь в моей руке с трудом проталкивается мимо обломка кости. В довершение всего у меня появилась удивительная мысль, странный вопрос, зацепившийся за почти стертое воспоминание. Был ведь уже в моей жизни какой-то эпизод с польскими женщинами и с цирком или театром, и я тогда тоже лежал, правда по другой причине, да и женщины были другие, но я лежал, а женщин было много и шел разговор о театре или цирке. Об артистах цирка! Меня приняли за артиста.

Сначала я решил, что в повторении эпизода, а может, в искаженном воспоминании или горячечном бреде виноват мой перелом; но дальше в двойной картине появилась одна подробность — ранение, из-за которого я тогда лежал на соломе перед женщинами в первую из всех этих бесчисленных ночей, и тут я понял, что это не сон, хотя лучше бы это был сон.

Потому что это чуть искаженное повторение было каким-то неотвязным; оно словно таяло в себе какой-то смысл, а я сознавал, что мне его не понять, да и кто бы мог в этом разобраться? А одна из мерзостей жизни под замком состоит в том, что все случившееся, всякая мелочь приобретает огромное значение. Конечно, это объясняется тем, что не случается почти ничего, а времени на раздумья хоть отбавляй, но объяснением горю не поможешь, а оттого, что без конца находятся желающие объяснить, оно становится еще горше.

Там, где у человека нет выхода, толкователям снов, предсказателям, интерпретаторам всевозможных жизненных ситуаций полное раздолье. Я ненавидел лагерных шаманов за то, что они кормились чужой глупостью и корчили из себя мудрецов, надевая людей судьбой, которую сами же и выдумывали.

А теперь я увидел, как бегу к одному из этих заклинателей дождя, и услышал, как излагаю ему двойную историю про Марка Нибура и польских женщин, и нашел это недопустимым.

Поэтому я прервал свой рассказ, не успев открыться толкователям. Ничего подобного, воскликнул я, никакая она не двойная! Тогда был январь и еще шла война, а теперь апрель, и год другой, и уже мир. Тогда они смазали мне обмороженные ноги салом, а теперь я жду цемента для сломанной руки. Тогда они приняли меня за артиста, а теперь за клоуна. Тогда я был в плену, а теперь в тюрьме. Тогда все только завязывалось, а теперь должно наконец развязаться. Ах, прости-прощай, мой конь буланый!..

Я услышал свой стон, открыл глаза и дал себе зарок перед этими бабами в уродливых кальсонах больше не пикнуть. Оставайся ты собой, я пребуду сам собой. Рот ожми и слезы скрой. Не слышать им ропот твой.

Ах ты, святая, пресвятая дева, опять он постукивает стипшками. И уходит в себя. А ему бы помолчать, эксцентрику. Марк Нибур, а-а-у-у-у, а-а-у-у-у!

Осторожно придерживая больную руку, я попробовал сесть и отодвинуться на вытых клеенкой носилках назад, к стене. Мне это почти удалось, и кровь теперь вроде бы не так сильно стучала в место перелома. Откуда было женщинам знать, почему не лежится, — они, конечно, заметили, что теперь я могу лучше их разглядеть, но я не лежал это по-своему. Одни злобно смотрели на меня, другие явно надо мной потеша-

...диск. Однако меня это не трогало: все, что только ~~можно~~ расстать черной мрак, было благом. Даже эти такие чужие женщины в платках и обрезанных мужских кальсонах. По крайней мере, тут я не свалюсь с колокольни. А свои двуступицы придержу при себе.

Тюремный врач, однако, не торопился. Тоже ведь профессия — осматривать женщин-арестанток ряд за рядом. Но, может, он следит, как замешивают цемент, и раздумывает, что предпринять. Хоть бы он придумал. Не то еще возьмет и сделает мне бетонную повязку. Потом ее будет не снять. Придется с ней возвращаться в Марне. «Слушай, ты уже видел Нибура, экая у него бетонная лапша. Да, брат, война есть война: одному они ноги оттяпали, другому прилепили такую вот цементную трубу. Как бы его не прозевать, когда он выйдет погулять».

Стоп, опять заговариваешься, а ведь дал себе зарок не вылезать больше со ступенями. Сядь-ка прямо, сломанную лапу подтяни к груди, будь с ней поосторожней, когда дышишь; дыши с опаской, все делай с опаской, смекай, что делаешь, что видишь, — что ж ты видишь?

Я вижу двенадцать женщин, три почти старухи, две совсем еще девочки, семь — молодые женщины, девушки. У четырех, что ближе к дверям, юбки и куртки перекинуты через руку. Головы повязаны платками, на ногах — грубые ботинки и толстые чулки, а белье прабабушкино или прадедушкино. Не слишком отрадное зрелище. И со здоровой рукой радоваться было бы нечему.

Вот что я думал, и думал как раз в ту минуту, когда хорошенькая, видимо, устала ждать и вышла из очереди. Она прислонилась к стене и отдыхала, держась хоть и прямо, но расслабленно, как в глубоком сне. Глаза были закрыты, а лицо под платком стало совсем маленьким. Руки повисли вдоль туловища, кончики пальцев касались стены. Казалось, она парит в воздухе. Ноги она поставила носками внутрь, грубые ботинки образовали почти тупой угол, — поза ее была похожа на одну из ее цирковых фигур, но на этот раз смеяться не хотелось.

Я как раз искал определение для нее такой, какая она была сейчас, подобрал уже словечко «милая», но был еще в нерешительности и рылся в поисках других выражений; тут она взглянула на меня, и я сразу побросал все эти слова — «милая», «нежная», «прекрасная» и «волнующая сердце» — в ящик, а ящик валялся ногой, так что он с треском полетел в угол, под шкаф.

Она была настолько же мила, насколько я был свободен, а волновала ли сердце? Господи, разве это называется сердце?

Сломанная рука причиняла мне немалое беспокойство, но я не уверен, что не дал бы сломать ее еще раз при условии, что эта эквилибристка еще раз покажет мне свою игру.

Именно игру, а не бешеное жонглирование всевозможными шарами — и оно было неплохо, но его, как выяснилось, можно повторять, — нет, я хотел бы опять увидеть эту тихую, совсем тихую игру у стены. Думаю, то была встреча с настоящим искусством.

К этой игре подходил и плохой конец, но, может, он был не плохой и сулил спасение.

Игра: одним взглядом она уведомила своих товарок, и они уже знали, что снова начинается цирк, только я не понимал, где нахожусь — в ложе или на манеже. Во всяком случае, женщины в очереди были публичкой, а номер у стены — гвоздем программы. Да, гвоздем программы, говорю это с полной ответственностью.

Она все время смотрела на меня, и я было подумал, что это обычное состязание — кто дольше выдержит взгляд, — и сперва даже не отвечал ей. У нее не одни только глаза хороши, думал я, есть и еще на что посмотреть, и раз она так нахальничает, буду и я нахалом.

После эксцентрического варьете я был уже не так робок.

Игра: она смотрела на меня, почти не двигаясь. Только иногда шевелила рукой — раз одной, раз другой, при этом ее руки и туловище были словно разными существами.

В самом деле, я не знал, что можно так расстегнуть куртку. Грохот в ушах. Огни святого Эльма. Теперь-то я понимаю, почему эту штуку в горле называют адамовым яблоком.

На ней была такая же сорочка, как и на других. Белошвейка не слишком мудрила над этим изделием. Я не очень присматривался, но, по-моему, она просто взяла кусо

полотна, сложила пополам и прострочила, а потом пришила две бретельки. На этом ее фантазия иссякла.

Но вышло так, что эта сорочка пришлась хорошенькой в ~~самый~~ раз. Казалось, сорочка только такой и может быть.

Игра: она смотрела на меня, спокойно выжидая, пока я посмотрю на нее. Это давалось тяжело, но что такое вечность? Я действительно пытался отвернуться, но меня удерживал страх перед хохотом этих баб. Иногда я на миг отводил от нее глаза, но они неизменно возвращались к куску полотна и тому необыкновенному, что дышало и билось под ним.

Игра: движение рукой и чуть заметное шевеление бедрами, два балетных па — и сбрасывается юбка. У нее, должно быть, такие же обрезанные мужские кальсоны, но куда же девалось уродство?

Уродство никуда не девалось — мои глаза куда-то девались; я не вижу уродства. Я вижу все, что относится к ней, но ее самоё не вижу. Вижу грубые ботинки и грубый платок, толстые чулки, сорочку из куска полотна и полотняные портки с мужской шириной, вижу прелестные очертания коленок и глаза, которые не отускают меня, вижу изящную линию длинных ног, голубоватые ключицы и плоский живот — но это почти единственная плоскость. Я вижу множество мест, к которым хотелось бы прильнуть, вижу и такие, к которым хорошо бы припасть, и одно, на которое я не прочь бы упасть.

Игра: она смотрит на меня, а я знаю, что другие смотрят на нас обоих, иногда я их слышу — то словечко, бойкое и задиристое, то смешок, слышу и ругань, а когда она балетными па сбросила юбку, раздались рукоплескания. Но игра продолжается: правая рука перелетает от правого бедра через весь обширный континент вверх к левому плечу, летя над низменной равниной в области пупка, набирает скорость, чтобы одолеть предстоящий ей огромный подъем, но этот отважный полет, оказывается, нужен лишь для того, чтобы сбросить с плеча и голубоватой ключицы одну бретельку.

Да не может же ова!..

Нет, может: она и левую руку отправляет в такой же полет и с тем же результатом. Теперь правая бретелька соскальзывает с плеча на руку, но хитро скроенный кусок полотна падает не сразу — он задерживается на прекрасно вылепленных формах, только излишние движения теперь не довлены.

После долгой расслабленной неподвижности игра требует лишь одного резкого и напряженного движения — тут полотно и падает, падает Ниагарским водопадом, белым, тяжелым, грохочущим.

В грохоте участвовали и аплодисменты ее товарок, но оглушительней всего отдавался он у меня внутри.

Единственным человеком, которого происшедшее ничуть не взволновало, была, по-видимому, сама артистка. Она все еще стояла в такой же свободной позе, только больше не прислонялась к стене, потому что и спину ее больше не прикрывала сорочка, как не прикрывала и обнаженную грудь.

Она продолжала смотреть на меня и, казалось, намерена была вести игру дальше, но врач-арестант испортил концовку.

Он впустил первых четырех женщин из очереди в соседнюю комнату и тут заметил цирк, увидел и других женщин в рядах зрителей, меня в ложе и артистку на манеже.

— Вроде обеда перед казнью! И правда, слегка эксцентрично, — сказал он мне и добавил: — Когда придет ваш черед, желаю удачи! Цементная повязка значительно ускорит дело!

Он повторил свои несколько рискованные шутки дамам-зрительницам и даме-исполнительнице по-польски, а чтобы они лучше удовили их остроу, по-видимому, да понять, кто я такой, во всяком случае кем числюсь в этом заведении. Очевидно, числюсь до сих пор, несмотря на все написанные мною автобиографии.

Я плохо понял остряка доктора, но слова, которые произносятся снова и снова, везольно запоминаешь, особенно если речь явно идет о тебе, а окружающие от этих слов заметно мрачнеют, к тому же совсем не трудно запомнить такие слова, как Morderca и «Люблина».



Хорошенькая сперва довольно безучастно накинула на плечи куртку, подобрала юбку и сорочку и собралась как будто вернуться на свое место в очереди. Но на минутку остановилась и что-то спросила у врача-арестанта, спросила с недоверчивой улыбкой, сопровождая вопрос слегка презрительным кивком в мою сторону. Наверняка она спросила: «Этот? Этот вот?» На сей раз ответ был дан совершенно определенный, со всем врачебным авторитетом, и снова прозвучало слово *Mordere*.

А хорошенькая что-то прошептала, покачала головой, вобрала ее глубоко в плечи, скрючилась и натянула платок на лицо.

Я увидел, что она острижена наголо, и увидел, что ее тошнит.

С тех пор прошло уже так много времени, что в события тех дней неизбежно привносится много оценочного. Однако и тогда, в приемной тюремного врача, я понял: если от того, что я будто бы сделал, такой вот девке становится дурно, то, выходит, они меня принимают... выходит, по-ихнему, я...

Договаривай. Ясно, кто ты. Думай еще. Совсем один среди кручин, сижу в кутузке без причин. Единичная личность. Одинокая единичность. Единичный одиночка. Одинок, как в поле котка. Котка, койка, комната, камера, келья, кирпич.

Назовем все слова на «к» — камера, нет, не камера, комната, комната на «к», как каторга. Комната на «к», как край родной. Край родной на «к», как кофе и корица. Кофе и корица запрещены, назовем все запрещенные слова на «к» — кофе и корица, колбаса килограммами, карбонат, карамель, кисель, каберне.

Назовем все не запрещенные слова на «к» — кровать, коса, клоун, коза.

Назовем все слова, связанные с краем родным, — картофель, клевер, кино, календарь, кодыбель.

Если уж такой девке делается дурно. Если уж такой... Запрещаются все фразы, начинающиеся с «если».

Если все ручейки текут. Фразы со словом «ручейки» разрешаются. Фразы со словом «текут» разрешаются. Фразы со словом «все» разрешаются. Только никаких фраз с одиночками по фамилии Нибур. Нибур в одиночке ревя ревет всю ночь. Скорей воспользуйтесь моментом, залейте рот ем цементом.

Назовем все предметы, связанные с цементом. Дом, стена, труба, надгробный камень — надгробный камень запрещается, — дом, стена, труба, чердак, свиное корыто, пороссячий кашель. Пороссячий кашель с цементом? Пороссячий кашель от цемента? Точно, в Мельдорфе, это в моих родных краях, знаете, это городок такой, там родился Бартольд Нибур, — так вот там один человек разорился, потому что на его свиней и поросят вдруг напал цементный кашель.

Очень сильный кашель от цементной каши, свиньи от него гибнут и поросята дохнут.

Это нам рассказывал ветеринар в конторе старичков Брунсов. Не совсем так, конечно, про кашель от каши он ничего не говорил, ем ведь не надо было называ-к-ать все слова на «к». Называть. Зубная щетка. Зрительный зал. Зара Леандер.

Позвольте, а разве эту артистку зовут Зара, а не Сара? Именно Зара, как заря и закат. Если бы ее звали Сара. Фразы, начинающиеся с «если», запрещены. Будь она Сарой, то она бы... Фразы с этим словом запрещены. Ну-ка быстро — все фильмы с Зарой Леандер. «К новым берегам» — фильм с Зарой Леандер, да еще на букву «к». «К новым берегам» — новый фильм студии УФА с Зарой Леандер, подросткам моложе восемнадцати лет вход воспрещен.

Но ко мне это не относилось. Меня нельзя было считать подростком моложе восемнадцати лет, поскольку в Марне я был единственным печатником моложе восьмидесяти лет. А также поскольку господин Фрейлиграт заказывал у нас в типографии входные билеты, программки для специальных сеансов и все, что и жно было ему лично.

Госпожина Фрейлиграта звали Иоганнес, а ему хотелось бы называться Фердинандом. Господин Фрейлиграт в свое время объездил свет в качестве музыкального клоуна, а потом купил кинотеатр. В первые годы у него еще жил белый пшиц, с которым он выступал в цирке, но у меня возникло подозрение, которое я так и не осмелился высказать. Я подозревал, что господин Фрейлиграт никогда не был музыкальным клоу-

ном. Его шпиг уму только подолгу ходить на задних лапах, больше ничего. Шпиг музыкального клоуна должен уметь по крайней мере ходить еще и на передних лапах.

Клоунский шпиг. Клоунский на «к». Хватит!

Господин Фрейлиграт печатал еще в типографии Брунсов свои стихи. Из-за них он и бунтовал против своего имени Иоганнес. Но он и сам понимал, что он отнюдь не Фердинанд Фрейлиграт. Стихи эти он печатал всегда только в одном экземпляре, под мое честное слово.

Честное слово было излишне — я ведь хотел ходить и на фильмы «до восемнадцати».

Должен сказать, что если бы я заставил господина Фрейлиграта дать честное слово, что в этих фильмах всегда есть что-нибудь неприличное, он оказался бы в очень затруднительном положении. Может, дело было в моей наивности, но они могли бы спокойно пускать меня в кино и не требуя, чтобы я печатал господину Фрейлиграту его стихи.

Один фильм назывался «Купанье на гумне». Его я с тайной помощью господина Фрейлиграта смотрел четыре раза: я думал, либо у меня с глазами неладно, либо я самые скользкие места прозевал. Но потом догадался, что мои глаза тут ни при чем, просто фильм рассчитан на воображение зрителя. На экране показывалось очень немного из того, что видели мужчины, подглядывавшие в щелки сарая, остальное надо было додумать самому. Вначале я так и делал, но четыре раза подряд это не получается, и я пришел к выводу, что «Купанье на гумне» — дурацкий фильм.

К тому же Зара Леандер там не участвовала. Назови все фильмы с Зарой Леандер. Как называется тот, про войну, где в нее влюбляется какой-то летчик?

«Большая любовь»? Тут уж я вообще не мог понять, почему этот фильм нельзя смотреть до восемнадцати лет. Ведь после него хотелось поскорей стать солдатом, летчиком и встретиться с Зарой Леандер. В бомбоубежище. Большая любовь. Большая тоска.

Я уже не помню, о чем был тот фильм, помню только, что, когда лежал на крыльях клеенкой носилках в медпункте польской тюрьмы, тоска захлестнула меня как воена.

Я не мог бы сказать, о ком и о чем тоскую, я только хотел, чтоб все было по-другому. Но хотеть этого значило хотеть слишком многого.

Если бы в ту минуту я захотел выразить свою тоску, то, думаю, пришлось бы мне запеть, чтобы не оставаться немым. Один раз такое со мной уже было.

А потом я чувствовал себя как после запретного сна: пытался о нем не думать и ждал, чтобы он мне приснился снова. Откуда взялась у меня эта тоска? Как мог я и разгар войны считать, что возможен мир? И даже представлять его себе? Без печали, и без злобы, и без желания, чтобы это был мир с кем-то. Просто мир, и все.

Это было поздней осенью, темным вечером. Я провожал Имму Эльбек от ремесленного училища до ее дверей; всего-то и надо было пройти навскосок через улицу, хоть мы и старались идти помедленней, но это я шел с ней через улицу, это я держал ее за руку, держал еще доаго после того, как все прощальные слова были сказаны.

Я медленно брел домой. Город спал. С моря дул легкий ветер, временами он запытался среди аэростатов заграждения, и тросы тихонько скрипели.

Я вслушивался в ночной сумрак и вдруг почувствовал, что стал значительно старше. Мои надежды и ожидания давно износились, я уже все знал, и знал не так, как несколько лет назад. Я прислушивался, словно ждал шума каких-то страшных крыльев, я стоял на краю света, рядом со мной старый город стонал в мучительном сне, а я хотел для него избавления.

Пусть бы сейчас загорелись огни, думал я, только огни — больше ничего не надо. Желание было странное, ведь первое, что мы узнали о войне — что всюду должно быть темно. И мы узнали, что война — это нечто из ряда вон выходящее, раз из-за нее погасли даже береговые огни. Первым делом береговые огни. Это было нечто из ряда вон выходящее, потому что, по словам дяди Йонни, на плавучем маяке у берегов льбы светилась надпись: «Здесь жизнь для вас забьет ключом!»

Жизнь должна начаться снова, и снова должны вспыхнуть огни. У меня, наверно, этому хватало смелости так думать, что перед этим я набрался смелости поцеловать

Имму Эльбек возле ее калитки — над калиткой, уже разразившей нас, — так что, когда Имма Эльбек убежала домой, моя смелость осталась нерастроченной. Тогда я принялся снова зажигать огни, но от этого было мало толку. Колпаки уличных фонарей с самого начала покрасили в синий цвет, а газ отключили совсем еще много лет назад. А витрины мясников и мелких лавочников были забиты досками или заклеены плотной бумагой, и каждому окну — будь то на кухне или в спальне, в каморке или в подвале — полагалось быть завешанным шторой. За светомаскировкой наблюдал дежурный по противозадушной обороне и, едва завидев малейший, пусть даже самый тусклый проблеск света, кричал: «Погасить свет!»

Но я зажег все огни, оборвал бумагу со стекол, содрал грязную синь с фонарей, а плавучему маяку крикнул — пусть осветит призыв к началу новой жизни! Мяснику Хакеру пришлось снять светомаскировочные диски с фар своего «ганомага»; мужчины получили обратно свои зажигалки и сигареты, дети устроили шествие — «Солнце, звезды и луна, огненные шарики, зажигайтесь, фонари, светлые фонарики!». И я вскочил на велосипед, возле калитки Иммы Эльбек завел динамо, поднял велосипед на заднее колесо, и надо сказать, что у динамо фирмы «Даймон» еще хватило силы бросить луч света высоко-высоко в мирное ночное небо.

Моя смелость скоро испарилась, и глаза опять привыкли к обычной темноте, но что-то во мне не погасло — то была моя тоска, и, быть может, именно в ту минуту я научился связывать мысль о конце войны не с победой, а просто с мягким и светлым словом «мир».

Быть может, но точно я знаю лишь одно: я не умел выразить свою тоску и по дороге домой изливал свои чувства, напевая сквозь зубы; мелодии я выдумывал или выбирал такие, что отвечали моему настроению, — среди них наверняка была и «Лили Марлен», и не только потому, что там упоминается фонарь.

А когда я проходил под окнами Брунсов, фрейлейн Брунс сказала брату — они рассказали мне это на следующий день: «Вот идет Маркус Нибур, и с головой у него неладно». И от изумления старички больше не могли заснуть.

Так же был изумлен и врач-арестант, и я дал ему для этого достаточный повод, вот уж эксцентрик так эксцентрик — одной ногой в могиле, другой рукой угодил в цемент и еще намерен здесь заснуть. Красотка Барбара выламывается перед ним, он пялится на нее и, кажется, теряет дар речи, но поет «Лили Марлен». Вы что, пытаетесь спасти свою голову, прикидываясь, будто она у вас не в порядке? Что же, попробуйте свои штучки на тюремном враче, он любит немцев — это неудивительно, хоть один человек должен же их любить, а он как раз остался один из всей своей семьи. Давайте скажем ему «здрасьте».

Но тюремный врач не сказал ни слова. Он схватил мою руку, да так, будто хотел в месте перелома разорвать ее пополам, наложил на нее повязку и гипс, и когда мне едва не стало плохо, я еще успел подумать: все-таки лучше, чем цемент. А врач резкими толчками отбуксировал меня к высокому столу. Своему коллеге-арестанту он сделал большим пальцем знак, в котором не было ничего коллегиального, а когда мы остались с ним наедине, я услышал, как он позвякивает стеклом и металлом, услышал его тяжелое дыхание и ужасно испугался.

Он вскипятил себе чай, выпил три стакана, потом встал и проверил мою повязку. Такими же грубыми приемами стащил меня со стола и поставил у стены. Я поддерживал загипсованную левую руку правой и старался не встречаться глазами с врачом. Это было нелегко, и я сам не до конца понимал, почему этого боюсь. Поэтому я стал оглядывать комнату, увидел полупустой шкаф с инструментами, переполненное мусорное ведро, погнутый лоток с остатками гипса, иногда я взглядывал в окно — я узнавал издали колокольню, за которую мысленно держался, и понял, что еще несколько недель назад из этого окна хорошо была видна высоченная обгорелая стена. А на уровне нижнего края окна далеко-далеко я увидел деревья, уже отмеченные весной, но мне не все время удавалось избегать взгляда врача. Он был слишком большой, лицо у него было слишком широкое, а глаза такие же жесткие, как руки.

С тех пор больше никто на меня так не смотрел, больше никто не опаял меня такой ненавистью, больше никто не видел во мне такого врага, и ни за что на свете не хотел бы я быть тем, за кого принимал меня тот врач

Он накиннул мне на шею черную косынку, словно веревку, с присущей ему резкостью показал, как положить в нее руку, чтобы она была на весу, и большим пальцем указал на дверь.

## XVII

Едва я успел усесться на койку у себя в камере, как пан Шибко впустил ко мне одного из усталых поручиков, и хотя я полагал, что с покалеченного человека можно бы и не требовать рапорта, я все же крикнул ему в лицо, что я в полном составе, и только тогда мне пришлось на ум, зачем явился ко мне поручик: наверно, о сломанной руке полагается написать в автобиографии.

Я уж думал, что они оставили меня в покое и я их больше не интересую, — иу, заставят еще разобрать несколько стен и выпустят отсюда домой или, по крайней мере, отправят в мой прежний лагерь. Не то чтобы я верил в это, но надеялся.

Надежда еще жила во мне; может, поручик пришел для того, чтобы выставить меня отсюда; катитесь-ка подальше, к таким же, как вы. Проваливайте. На выход!

Поручик и в самом деле сказал — на выход, и я пронес свою гипсовую повязку мимо пана Шибко, который еще раз легонько стукнул меня по заду связкой ключей. Однако поручик повел меня не вниз, и не в глубь здания, где мы обычно обсуждали мои биографии, и не на улицу, где в моей биографии образовался такой излом. Он отпирал и запирали за нами бесчисленные двери, потом поднялся со мной по лестнице и запер еще несколько дверей. Сдав меня на руки какому-то надзирателю, он ушел. Надзиратель сделал мне знак головой, и я последовал за ним; он распахнул передо мной двери камеры, сделал знак, и я вошел.

Она была такая же большая, как та, в которой главенствовал пан Домбровский, но в ней было гораздо больше народу. Мужчин, конечно. Ни одного человека моего возраста, все старше, некоторые настолько старше, что годились бы мне в дедушки. Что это — камера для больных, камера для слабых? Но я не видел ни у кого ни гипсовых, ни каких-либо иных повязок — только один пустой рукав и один костыль. А еще я увидел, что большинство одето в бывшую форму — нашу форму. Я заметил офицерскую, чиновничью, начальственную форму, бриджи без сапог. Тогда уж лучше брикигольф. Один был в таких брюках.

Нет, это определенно не камера для больных. Определенно.

Я уже отучился приветствовать незнакомых людей, никогда не знаешь, как они к этому отнесутся, особенно если обращаешься к ним на немецком или китайско-польском языке. Так что я молча стоял у двери и ждал.

Сколько времени я так простоял, не знаю, кажется, довольно долго, пока один тип постарше не произнес медленно и отчетливо:

— Что ж, послушаем для начала рапорт по форме.

По голосу это мог быть майор, если не выше. Такой голос появлялся у них вместе с витыми погонами. А также радушие, ибо они могли позволить себе, что им угодно. Майоры и директора школ всегда такие вежливые. А в ящике стола — трость. Вежливое предложение сознаться, отрапортовать. Вежливость бывает такая, а бывает и другая. У инженера Ганзекеля была другая вежливость. Он был тоже старый. Теперь он мертв. Он был мастер истинной вежливости. К тому же он участвовал в создании первого немецкого звукового фильма. А еще у него была картина Гейнсборо. Он выругал меня за то, что я не знал, кто такой Гейнсборо. Но вежливо выругал. Не с майорской, а с истинной вежливостью.

Я внимательно посмотрел на старого скрипуна, и мне стало безразлично, майор он или генерал. Рапорт от меня мог требовать сейчас только тот, кто требовал его по-польски и кто мог войти и выйти в дверь, когда ему заблагорассудится. Я оглядел этого командира-арестанта и сказал:

— Гейнсборо, экспендрик. У меня все, еще вопросы будут?

А сам подумал: теперь держись, не то они вмиг сделают тебя говновозом, на работах они не больно-то похожи.

Старый хрыч слегка опешил, но не подал виду. Он махнул рукой и сказал со своей особой вежливостью:

— Если вы, камрад, избрали такую тактику, значит, так тому и быть. Каждый спа-

сается как может.— Он протянул мне руку и представился:— Генерал Эйзенштек, председатель совета старейшин.

Раз уж я пожал ему руку, то мог теперь придерживаться обычных правил поведения, теперь это было просто.

— Нибур,— сказал я,— рядовой мотопехоты, запасной бат...

— Стоп! — воскликнул генерал.— Сообщайте только те данные, которые уже известны противнику. Хотя все мы заключенные и все мы добрые товарищи, но нас тут, пожалуй, многовато, а?

Раздался не слишком веселый смех. Лишь двое-трое совсем не обратили на меня внимания. Кое-кто держался поодаль, но наострил уши, а для большинства мое появление было событием, которое они не хотели пропустить. Они окружили меня и разглядывали как человека, принесшего важную весть.

Прибытие новичка — это привет из внешнего мира, из прекрасного прошлого, из иного настоящего. Вновь прибывшего можно спросить, стоит ли еще земля, есть ли надежда на скорое освобождение, как там бабы и не найдется ли у него закурить. Не знаешь, в западной части Бреслау много разрушений?

Если кто заинтересуется, что у тебя с рукой, лучше сразу его отшить, это допущайка. А если кто спросит, больно тебе или нет, постарайся хорошенько его отбрыть.

Если ты новичок, они непременно постараются запихнуть тебя в самый дальний угол. Им нужен раб, они тебя ждали. Но новичок-то ты лишь в этом зале, в других ты уже успел побывать, так что раба им из тебя не сделать.

Наверно, я здорово смахивал на психа, во всяком случае пока больше никто не изображал из себя вожака стаи. Они расспрашивали меня, как обычно, необычно было только, что большинство говорило мне «вы». Друг к другу большинство из них тоже обращалось на «вы». Эйзенштека называли господин генерал, другого старика просто генерал, и, казалось, они слегка друг над другом подсмеиваются. Были там еще два майора, один крейслейтер, еще какого-то они насмешливо называли ортсбауэрнфюрер, другого — газовщик, а третьего — гауптштурмфюрер; с последним они были очень почтительны.

Он взял у меня серо-белую куртку от маскхалата и проворным движением вывернул ее на лицевую сторону. Потом поднес к свету и принялся внимательно рассматривать, словно она вызывала у него какие-то подозрения. Рассмотрев, показал остальным и отдал мне.

— Пехота?— спросил он.— Разумеется, морская пехота, судя по крапчатому рисунку на куртке. Как все видят, а многие знают, крапинки здесь несколько мельче, чем у обыкновенной пехоты. Они, конечно, немного полиняли, потому что — это вполне понятно — морской пехоте чаще других приходится лезть в воду. Добро пожаловать на борт, капитан.

— С маскхалатом дело обстоит не совсем так,— сказал я, но гауптштурмфюрер своей большой рукой сделал мне знак попридержаться язык.

— Каждый спасается как может,— сказал он,— к нам это тоже относится, мой мальчик, так что, если хочешь быть обыкновенной пехотой, будем считать тебя обыкновенной пехотой. Как бишь имя?

— Запасной батальон и...— начал я, но он перебил:

— Нет, нет, не название части — его ты можешь хранить в своем юношеском сердце. Твое личное имя и фамилия — вот я о чем спросил, но можешь и их оставить при себе. Здесь это разрешается.

— Марк Нибур,— ответил я и, так как он, по-видимому, этого ждал, чуть вытянулся и добавил:— Марк Нибур, гауптштурмфюрер.

— Ясно,— сказал он и ласково потрел меня по щеке своей ручищей.— Настоящий морской пехотинец сказал бы, конечно, «господин гауптштурмфюрер», но ты, по-видимому, недавно вступил в христианское морское братство.

— Мне так говорил Урсус Бер,— поспешил я сказать, и моя поспешность меня огорчила. Если я буду продолжать в том же духе, лихое начало пойдет насмарку, а ему, гауптштурмфюреру, наверняка требуется денщик. И я продолжал: — Урсус Бер был моим командиром в гитлерюгенде, а потом перешел в СС, и в первом же бою ему прострелили ягодицы, обе сразу.

Кажется, гауптштурмфюреру мое объяснение не понравилось, но это была правда. Урсуса привезли в госпиталь в Мельдорфе, и мы его навещали. Он лежал на животе и рассказывал нам, как хорошо в СС. Командиры не господа, а солдаты не слуги. И даже когда приезжает сам рейхсхайни<sup>1</sup>, к нему обращаются «рейхсфюрер», а не «господин рейхсфюрер», и приветствие у них в СС тоже другое — они только слегка поднимают согнутую руку, и это означает: дерьмо дошло как раз досюда.

Рассказывая это, Урсус Бер смеялся и стонал от боли. Он спрессил, известно ли нам, что когда человек смеется, у него трясется задница. А еще он сказал, что хоть это ему и неприятно, но мы, его старые дружки, имеем право знать правду — беда случилась с ним, когда он мочился.

«Я,— говорил он,— подумал, что надо бы облегчиться, в атаку лучше идти, когда в пузыре ничего не булькает; встал у дерева — и дивь-ди-лянь. Представьте себе, ребята: пролети пуля на двадцать сантиметров дальше, вы могли бы сегодня звать меня Урсулой».

Урсус Бер приводил меня в восхищение, которое остыло только тогда, когда с ним стала гулять Имма Эльбек,— вот тут я проклял стрелка-мазилу. Должно быть, в моем ответе гауптштурмфюреру чувствовалась злоба на Урсуса Бера, потому что он сказал:

— Прости, солдат, это, конечно, твое личное дело, исключительно твое дело, но все же — кто переломал тебе кости, поляки?

— Нет, они мне наложили гипс.

Я сказал это без всякой задней мысли, сказал что есть, никого и не думал злеть. Но ответ не понравился: чтобы переводить язык взглядов, Эугениуш мне был не нужен.

Гауптштурмфюрер обратился к генералу Эйзенштеку:

— Я полагаю, этот морской кавалерист не должен больше нарушать нашу повестьку дня. Если он желает, чтобы его звали Нибуром, то в ближайшее время мы его послушаем. Эя как носорог — скоро подойдет его очередь.

— Совершенно с вами согласен,— ответил генерал Эйзенштек,— тем более что сегодня нас развлекает ортсбауэрнфюрер Кюлиш. Прошу вас сюда, господин Кюлиш. А остальные пусть рассаживаются свободно, как в казино.

В камере началась небольшая суматоха, каждый, видимо, стремился на предназначенное ему место. Все расселись. Они так весело хихикали, что я вдруг испугался — неужели я угодил к сумасшедшим?

Где-то ведь их держат, во всех лагерях попадались сумасшедшие, и когда они уж очень буянили, их убирали. Говорят, отправляли домой, но мало ли что говорят. Тюрьма вполне годится для такой двудеядной цели — содержания немцев-сумасшедших.

Но я-то — я тут при чем? Вот тебе и на.

Может, в медпункте я вел себя гораздо хуже, чем мне кажется? Разве я не пел «Лили Марлен» перед дюжиной раздетых женщин? Или они вовсе не были раздеты, а я разговаривал с ними как с голыми? Вслух обсуждал движения хорошенькой и ее сорочки, а никакой хорошенькой вообще не было?

Господин доктор, мы тут принесли вам одного парня — с ним что-то неладно. Загорал на крыше грузовика — уже одно это нам показалось странным, но мы еще ничего такого не думали. Вдруг он упал, и сперва нам показалось — он упал на руку, а теперь он кричит, будто он фоварщик, и что-то про бомбежку Адуа и про то, что казематы форта Дуомон устояли, а потом на него вроде бы опять напал страх, и цензурно он выражался тоже, так что у нас, господин доктор, полное впечатление.

Как меня все время называл врач-арестант? Экцентрик? Не означало ли это в переводе «сумасшедший»? Только не это. Нет, только не это.

У него порой наблюдалась некоторая эксцентричность. Подумайте хотя бы о том, как он чуть было не задохнулся в яслях, чуть было не примерз к стене и не задохнулся. Или... Но если мы начнем перечислять его странности, не будет конца. Симптом за симптомом. Однажды он забыл свое имя, а знаете, как он представился своим новым соседям? Как Гейнсборо. Я думаю, это и есть то самое. А в Любляне он, говорят... Ах, прости-прощай, мой конь буланый... Моглаа.

<sup>1</sup> Гиммлер.

Я заметил, что рассевшееся на полу общество недовольно смотрит на меня, похоже, я их задерживал. В простенке между двумя зарешеченными окнами стоял Кюлиш, которого они называли ортсбауэрнфюрером. Он переминался с ноги на ногу перед откинутой к стене койкой из проволочной сетки, и вид у него был, как у беспомощного школьника. На меня он смотрел с укоризной: я все еще стоял и это мешало ему начать. Я не увидел свободного места, а потому сел прямо где стоял — я был уже ученый. Я бы мог сделать это и побыстрее, но боялся задеть руку. Кое-как я все-таки сел, мой сосед с гипсовой стороны чуть отодвинулся и сказал с акцентом диктора радиостанции «Кельн», ведущего субботние программы: «Всякая всячина», «Laterna magica», «Юмер и музыка»:

— Мы тут все по очереди выступаем — по алфавиту. Каждый рассказывает про самое радостное событие своей жизни. Но это не «Сила через радость». Вечером играем в «отбивные», это будет похлеще.

— Заткнись, газовщик, — бросил ему гауптштурмфюрер, а генерал Эйзенштек сказал:

— Ну давайте, Кюлиш, и не про какие-то там скабрзные шалости в хлеву.

Но Кюлишу трудно давалось начало, он все пытался поудобнее встать, словно разнашивал новые ноги, а руки вообще не знал, куда девать.

Я тихо спросил газовщика-рейнца:

— Что вы за люди, из каковских?

— Из таковских, что и ты. У них для этого имеется страшноватое словечко: военные преступники.

Ортсбауэрнфюрер Кюлиш сказал:

— Самое радостное событие моей жизни... Самое радостное событие моей жизни связано с фюрером. Нет, с фюрером и с колоколом. С освящением колокола. Сперва мы его привезли, вернее, вывезли из рейха. Он лежал на всегерманском кладбище колоколов. Вызывает меня раз гаулейтер и говорит, — я удивился, думаю, разыгрывает он меня, что ли, а он говорит: «Кюлиш, говорит, дорогой партайгеноссе Кюлиш, нам предстоит большое дело — Венденвер получает из рейха колокол». «Ну да!» — говорю, а он: «Да, Венденвер получает из рейха колокол. Но его еще надо привезти из Гамбурга. Только смотрите, Кюлиш, не влипните там в историю». Вовсе он был не зверь, гаулейтер, насчет этого я готов поспорить с любым. «Так что собирайтесь, Кюлиш, — говорит, — и, пожалуйста, кроме колокола, ничего там, в Гамбурге, не подхватите. Чтобы и колокол, черт побери, и все ваше хозяйство было в полном порядке, поняли?» Резкий он был, это верно, но прямой. А от Венденвера до Гамбурга расстояньице будь здоров. Венденвер, потом Липманштадт, потом... — короче говоря, два дня туда, два обратно, всего четыре дня на то, чтобы привезти колокол. В товарном вагоне. Но там удобно. В Гамбурге на кладбище колоколов нам сказали: глядите, мол, в оба, у одних тут сперли колокол. Но воров поймали. Это были два инвалида войны, они изготавливали из колокола древнегерманские бронзовые украшения. Чтобы с нами этого не случилось, мы закрыли вагон изнутри на цепочку. Прекрасная была поездка. Только мой заместитель понаделал себе хлопот. У него очень жгло в одном месте, и он было подумал, что чего-то подцепил, но жгло ему только на сильном ветру, то есть когда он мочился в дверях вагона. А ведь мы побывали с ним на профилактическом пункте. И врач или там санитарный врач нам сказал: лучше сделать профилактику, чем потом орать от боли. Или: лучше предупредить болезнь, чем от нее орать. Да... во время войны каждый должен быть на своем посту, но от такого врача что толку? Ну, пока он еще шутки шутит, ладно. А когда мы прибыли в Венденвер, все там было готово: гарнизон отрядил роту стрелков, и девушек прислали, что отбывали трудовую повинность, гаулейтер назначил оратора, наша деревня ведь имела военное значение. Не зря ей дали такое название — Венденвер, заслон от вендов. При поляках она называлась Колбасково или Колбаскашински, а стала называться Венденвер. Народ выстроился шпалерами от вокзала до смотровой башни, а мы еще захватили из Гамбурга бочонок рольмопсов. Всегда легче чего-нибудь добиться, ежели приходишь не с пустыми руками. Особенно когда ты ортсбауэрнфюрер. А перед самым началом церемонии освящения колокола оратор отводит меня в сторону и говорит: «Партайгеноссе Кюлиш Альфонс, пред-

ставляешь, я разговаривал с фюрером. Да,— говорит,— разговаривал с фюрером. Ну, Зомбарт, спросил он меня, как дела? Спасибо, говорю, мой фюрер, собираюсь вот ехать в Венденвер на освящение колокола Вульфилы. Венденвер, спрашивает он, это не там ли, где Кюлиш? Так точно, отвечаю, мой фюрер, он там ортсбауэрнфюрер. А фюрер и говорит: Зомбарт, отныне и впредь я буду называть преданных нам людей в пограничной области не иначе как верными крестьянскими фюрерами. Передайте это Кюлишу, Зомбарт». Вот как услышал я эти слова от Зомбарта — это и было самым радостным событием моей жизни.

Бывает так: слушаешь человека и вроде не слышишь, что он говорит. Я, естественно, с жадностью слушал рассказ крестьянского фюрера Кюлиша хотя бы уже потому, что впервые за долгое время слышал немецкую речь. А еще потому, что он упоминал отрезок железной дороги, по которому я так часто ездил в мечтах. И все же если бы посреди его сообщения строгий учительский голос потребовал, чтобы я повторил сказанное, я бы не смог. В моих ушах все время отдавались два слова, звучавшие громче, чем тысяча слов ортсбауэрнфюрера Кюлиша. Это были зазубренные, колючие, в незнакомом мне сочетании слова, к которым я наверняка не имел отношения, но которые явно имели отношение ко мне. Военный преступник. Звучали они в высшей степени странно, но веско.

И преступник-то уже достаточно плохо, а военный преступник еще того хуже. Все выражения, где к слову «преступник» приставляется что-то еще, звучат гораздо хуже, чем просто «преступник». Профессиональный преступник, опасный преступник, уголовный преступник, малолетний преступник.

Я не относился ни к одной из этих категорий, но военным преступником не был тоже. Я не преступник, а пленный. Военнопленный. Что это вообще должно означать — «военный преступник»?

Я стал присматриваться к тем, кто сидел возле меня на полу, словно их лица могли раскрыть мне смысл непонятого выражения, но видел только людей, давно сидящих взаперти. Раз в неделю приходит брадобрей, видимо, он был здесь дня три назад. Раз в месяц стригут волосы, наверно, срок уже подошел. Раз в месяц меняют белье и водят в баню, по запаху слышно, что месяц на исходе. Раз в жизни каждому из здесь сидящих довелось распоряжаться другими людьми, и когда-то все они за собой следили, но теперь ими распоряжались другие и мало кто из них еще следил за собой. Оправданий для распушенности было сколько угодно: волос у меня нет, причесывать нечего, и расчески нет тоже. Я оброс бородой, но могу ее только вырвать. У меня нет мыла. Мне нечем почистить ногти. Не позволяют держать при себе хотя бы ржавый гвоздь. У меня нет носков на смену, нет портянок на смену, нет и носового платка. От меня воняет. Ну и что? От других воняет не меньше. На пол я не лаю, потому что ночью придется на нем спать. Не стану же я плевать на свою кровать. Но вонять и рыгать я могу вволю, о чистоте воздуха беспокоиться нечего, стеклы в окнах у нас все равно нет, а рыгать — это истинно немецкое удовольствие. А мое настроение — это уж всецело мое и только мое дело, приятель.

Эти приятели, как мне показалось, выглядели более запущенно, чем я наблюдал до того в лагерях. В пулавский штрафной барак пускали не всякого: придется тебе, братец, постоять часика два в очереди к колонке, или, может, у тебя другие планы на сегодняшний вечер? Но от тебя так воняет, что тебя никуда не пустят, и до того ты липкий, что в нашу чистую горницу тебе ходу нет.

Здесь этого, по-видимому, никому не говорили, и я удивлялся. Потому что не все тебе обязательно должны говорить. А если уж рассказали, запомни на всю жизнь.

Грязь впитывается внутрь — такая присказка была у моей матери. Стоило ее раз усвоить — и ты уже без проверки содержал свои уши в чистоте.

Быть в плену, да еще зарости грязью? Довольно глупо. Значит, большинство из них дураки. Но этого быть не может, ведь большинство здесь офицеры, чиновники или начальники. А что, если все дело в тех двух словах — вдруг те два слова пришивали их так же, как меня?

Может, они из-за этого так повсюду сидят на полу. Как обезьяны в дожде. Как обезьяны в дожде? Те куда-нибудь спрячутся от дождя. Да и там, где живут обезьяны,



Дождя почти не бывает. Они радуются, когда идет дождь. Скачут от радости и выскребают себе грязь из-под мышек.

Обезьян под дождем я видел у Хагенбека. В нашей школе каждый класс обязательно возил в Гамбург к Хагенбеку. В Марне дождь бывает часто, и в Гамбурге дождь бывает часто, но там, откуда обезьяны, он бывает редко. Обезьяны спрятались под выступ скалы и глухо тарачились на гамбургский дождь. Самые молодые обезьяны родились уже у Хагенбека, но глазели с таким же удивлением, как их африканские родичи. Может, они обезьянничали у старших, или это было заложено в них природой. Ведь было же в них заложено, чтобы они выглядели, как те обезьяны, почему же им было не глазеть на дождь, как глазели африканские обезьяны?

Не все мои сотоварищи сидели, как обезьяны под дождем, гауптштурмфюрер так же сидел и оба генерала тоже. И еще двое-трое, но о тех я совсем ничего не знал, а потому приглядывался к первым трем. Как будто по их лицам я мог прочесть, что такое военный преступник.

Мой сотоварищи? Это слово по многим причинам было не вполне уместно. Когда ты употреблял его, тебя высмеивали. Какие-нибудь доходяги или толстокожие пропойцы, которых уже не задевали насмешки, могли еще обратиться к кому-нибудь со словом «камад» — сотоварищ, товарищ.

Офицеры не могли быть мне товарищами, поскольку они были офицерами. Хотя именно они еще часто употребляли это слово. Употребляли теперь. И даже обращаясь к такому, как я.

Гауптштурмфюреры, начальники, ортсбауэрнфюреры действительно не могли быть мне товарищами. Этого мне никто не внушал. Это не надо было внушать. Так повелось во века. Как природные задатки обезьян. Если кто и мог мне это внушить, то лишь они сами. Уж они-то заботились о том, чтобы каждый вел себя, как ему положено. Обезьяны прячутся от дождя, а с нижестоящими не надо быть заванибрата. Я считаю, за такую науку люди должны быть благодарны.

Но сам я отнюдь не был благодарен сыновьям бургомистра соседнего городка, когда они преподали мне подобный урок. Это были два знаменитых в округе спортсмена, они выходили на парней из кинофильма «Выше голову, Йоганнес!», а их отец был большой человек — бургомистр. Сыновья большого человека были господскими детьми, но умели споро работать.

Я столкнулся с ними, когда мы после тяжелых авианалетов поехали в Любек. Прежде чем мы взялись за расчистку развалин, их отец держал перед нами короткую речь, и тут я понял, что такое «народная общность»: мы приехали из Шлезвига, чтобы помочь голштейнцам. Сыновья бургомистра не жались к отцу, а орудовали вовсю летает так же, как я, и так же, как я, съедали огромные миски густой похлебки и выпивали огромные кружки сидра, а на обратном пути через Шлезвиг-Гольштейн являлись такие же усталые, как я.

В поезде было много свободных мест. Старший из моих товарищей по работе растянулся в купе на одном диване, а его брат и я прикорнули в углах другого. Когда старший — его звали Геро — однажды вышел из купе, мы оба проснулись: я вытянулся чуть поудобней, а младшему сыну бургомистра пришло в голову использовать в качестве подушки мое бедро.

Не думаю, чтобы ему было очень удобно, но его старший брат считал такое положение совершенно недопустимым. Он вернулся, дважды грозно окликнул брата: «Харро!» — а потом рявкнул: «Ну-ка слезь с пролетарской задницы!» Харро сейчас же поднялся и немного погодя пересел на диван к брату, и должен сказать, что остаток пути они проехали в довольно напряженных позах.

Это было происшествие с дистанционным взрывателем: сперва я обозлился на незаслуженно резкое слово и чуть было не полез в драку, но я вряд ли справился бы и с одним из братьев, к тому же я очень устал. Раз они такие дураки, так им и надо, подумал я, и расчудесно вытянулся на диване. Но потом это слово опять взорвалось во мне: оно нырло между нами глубокую яму, и когда нам пришлось ехать снова — на сей раз в разбомбленный Росток, — я старался держаться подальше от всяких Геро и Харро.

Он мог бы сказать: «Слезь-ка с его задницы» — и я бы только обрадовался,

спящий Харро тяжело навалился на меня, что мне было совсем ни к чему, я не люблю такой близости с парнями; так нет же, ему зачем-то надо было прибавить «с-пролетарской», и я даже не знаю, кто из них был мне противней — Геро или Харро, один употребил это слово, а другой вскочил так, будто его застали за постыдным делом.

Я допускаю, что у него не было дяди Йонни, и потому в слове «пролетарий» ему могло слышаться только что-то опасное, вредное и даже гнусное. Мне тоже были знакомы все эти оттенки: одним из первых кинофильмов в моей жизни был «Гитлерюнге Квекс», а гитлерюнге Квекса убили пролетарии. До этого показывалось, как пролетарии, состоявшие в коммуны, отнимали у своих жен последние сэкономленные гроши и, напившись, били дома и без того скудную посуду. Пролетарий Генрих Георге хотел заставить своего сына — это и был гитлерюнге Квекс — петь «Интернационал», а пролетарий-коммунар Герман Шпельманс заколол гитлерюнге Квекса. На ярмарке.

Но под конец они все-таки пели: «Реет знамя, строится отряд!» — и человек усваивал раз и навсегда, что такое пролетарий. И я бы усвоил, если бы не дядя Йонни. Дядя Йонни всегда твердил, что он и мой отец — пролетария, а когда Блейке Таммс поступила в морские части СА, потому что там якобы ликвидирована классовая вражда, дядя Йонни сказал: они еще подбородный ремешок придумали для пролетария, чтобы он рта не мог раскрыть! И у них с отцом вышел спор. Отец считал, что большинству пролетариев лучше и не раскрывать рта; ведь умом они небогаты, и он вовсе не уверен, что жизнь станет лучше, если Блейке Таммс начнет ею распоряжаться.

Они могли спорить часами, и послушать отца, так пролетарии всегда останутся пролетариями, как, скажем, человек с короткими ногами так с короткими ногами и останется, сколько его за них ни тяни. А когда говорил дядя Йонни, то слово «пролетарий» звучало у него, как в некоторых древних сказаниях звучит надежда на то, что мститель пробудится.

С тех пор это слово вызывало у меня противоречивые чувства. Я не хотел быть таким, как Генрих Георге, как Герман Шпельманс и Блейке Таммс, но вот таким, как мой отец и дядя Йонни, я бы очень хотел быть. И я хорошо запомнил, что сыновья бургомистра все равно остаются для тебя людьми другой породы, даже если ты вместе с ними расчищаешь пожарища и кормишься похлебкой из одного котла.

Так что я вдвойне настораживаюсь, когда слышу слово «товарищ» от кого-нибудь такого, кому больше подошла бы компания Геро и Харро.

Гауптштурмфюрер определенно был тип вроде Геро и Урсуса Бера. Толстых в этой камере я не видел, но он, судя по его сложению, толстым никогда и не был. Он ухитрился проложить на своей остриженной голове подобие пробора, да и уши у него наверняка были чистые. Сдел он в непринужденной позе, прислонившись к стене, выгнув ноги, руки в карманах, и с дружелюбным, почти довольным видом, наверняка скрывавшим издевку, слушал крестьянина Кюлиша, но уроки дядя Йонни помогли мне сообразить: Кюлиш — это его Блейке Таммс.

Но и дядя Йонни не смог бы мне помочь теперь, когда я начал раздумывать: на преступника он не похож, на военного преступника тоже.

И тут я на себя разозлился. А на кого военные преступники, по-моему, похожи, обезьяна ты несчастная? Раз ты не знаешь, что такое военный преступник, как ты можешь сказать, кто на него не похож, а кто похож? Ты ведь уже имел дело с польскими уголовниками, должен, стало быть, знать, что преступники выглядят по-разному, и говорить «этот похож на преступника» или «этот не похож на преступника» бессмысленно. Пан Домбровский был похож на одного моего фельдфебеля, кстати необыкновенно тщеславного. Пан Эугениуш — на одного из моих любимейших учителей. Но ведь оба были преступники: Эугениуш сам называл себя аферистом. А скотоложец и ортсбауэрнфюрер могли оказаться родственниками по прямой линии. А инженера Ганзекеля с его изможденным старческим лицом, заросшим седой щетиной, можно было свободно принять за укrywателя краденого из первых кинофильмов, однако на самом деле он был звукооператором первых звуковых фильмов, а в его вилле на Ванзе висела картина Гейнсборо. Когда же все мы собирались в бавэ — голые и наголо остриженные, места, где были волосы, смазаны чем-то белым, обтянутые кожей скелеты с синими пятнами на бедренных впадинах, — это было Зрелище,

способное научить страху. Кучка изголодавшихся чертей. Толпа изможденных разбойников. Сборище подонков, худых как щепки, с хищными мордами.

Среди них — Марк Нибур. Вон тот мешок костей с крючковатым носом и ушами преступника. На затылке между двумя подозрительными макушками белеет длинный шрам. Над глазом еще один шрам, похоже, от удара револьвером, я видел также, знаю. Типичный преступник. Опасный преступник. Военный преступник. Что же это может быть?

Опасный преступник тот, кто совершает наиболее опасные преступления. Значит, не брачный аферист, а, скажем, сексуальный маньяк. Профессиональный преступник тот, кто живет преступлением. Есть еще преступники, пользующиеся затемнением. Тогда, выходит, военный преступник тот, кто пользуется войной? Но как? Преступник, пользующийся затемнением, ворует или грабит во время затемнения, а что же делает военный преступник во время войны? Если он в это время ворует, значит ли это, что он военный преступник? Или, например, половые преступления, опять что-то другое. Подовой преступник — это тот, кто ведет себя непристойно. Можно ли считать военным преступником того, кто ведет себя невоенно, невоинственно, невоинственно?

Но за это же не сажают. Раньше, верно, сажали. Раньше человека сажали, если он был невоинственный, трусливый и непокорный. А теперь мы сидим как раз за то, что были воинственны. Военнопленные.

Военнопленные. Военные преступники. Morderga. Убийца из Люблина. Но если человек не был в Люблине, он не может быть убийцей из Люблина. И если его считают военным преступником потому, что он якобы убивал в Люблине, а он не убивал в Люблине, потому что никогда не бывал в Люблине, значит, никакой он не военный преступник.

Браво, Марк Нибур, наконец ты хоть одну мысль додумал до конца. Эту длинную фразу мы прибережем для усталых поручиков. Обмотаем ею свое исхудавшее тело, и пусть она служит нам защитой. Пусть будет панцирем, когда придет прокурор. Фраза вроде гипсовой повязки. Вроде кокона.

Я не могу быть военным преступником потому, что это немыслимо географически. С тем же успехом меня можно было бы назвать ноябрьским преступником. Это столь же немыслимо потому, что в ноябре 1918 года меня еще не было на свете. Имена Эберта, Носке и Шейдемана, Либкнехта и Люксембург я узнал только из споров между моим отцом и дядей Йонни, и звучали они в их устах совершенно по-разному, так же как слово «пролетарий». Но в школе они звучали одинаково — как имена преступников. Ноябрьские преступники.

Послушайте, господин поручик, можете вы выслушать одно мое заявление, не выходя тотчас же из-за письменного стола? Я в той же мере не могу быть военным преступником, как не могу быть ноябрьским преступником. Я и не профессиональный преступник: в типографии Брунсов я зарабатывал прилично, это можно проверить по документам. Может быть, я преступно и непристойно пользовался затемнением, потому что нас с Иммой Эльбек не всегда разделяла калитка и наша захватывающая дух близость возникла во время затемнения. А если положено сажать за одни только мысли, то я, может быть, даже половой преступник, потому что у меня возникали непристойные мысли. Насчет Урсуса Бера, когда он начал отбивать у меня Имму Эльбек. Тогда я подумал, что снайпер, простреливший Урсусу Бери обе ягодицы, был мазила, а поскольку это был вражеский снайпер, то, значит, я мысленно вступил в разговор с врагом в смысле пособничества врагу или пособничества со стороны врага.

Это несомненно преступление военного времени, военное преступление, но никоим образом не преступление в глазах польского прокурора, господин поручик. А в городе Люблине я никогда не был, господин поручик.

Не был я никогда и в Венденвере, где висел колокол Кюлиша. Лицманштадт, сказал он. Венденвер возле Лицманштадта. Его счастье, что никто не наступил ему на язык за Лицманштадт. Лодзь — вот как называется теперь этот город, а если произнесешь его как Лодц, тоже рискуешь кое-что слопотать, потому что оно должно звучать примерно как Лудзь, примерно.

Но я, должно быть, ослышался: Лицманштадт, и оратор гаулейтера, и ортсбауэри-

фюрер, и фюрер, и все это вместе — «самое радостное событие моей жизни». Колокол Вульфилы. Этот тип, должно быть, слишком близко подошел к колоколу Вульфилы. Вот это и побил билам. А теперь это самое радостное событие его жизни. Звенарь из Венденвера. Интересно, в чем состоит его военное преступление? Повесить колокол — это можно считать нарушением общественного спокойствия, но и только.

Однако если прежде деревня называлась Колбасково, а стала заслоном от вендов с колоколом Вульфилы и такой вот Кюлиш был там ортсбауэрнфюрером, то, видимо, в тех краях нельзя было оставаться поляком. Или полькой. Особенно такой полькой, как Ядвига Серп.

И уж конечно ему не хотелось признавать себя ортсбауэрнфюрером Кюлишем, когда пришли русские и возвратились поляки. От него можно было ждать, что с приходом вендов, славян и калмыков он зазвонит в колокол Вульфилы. Зазвонит, да так, чтобы услышал фюрер и явился на помощь своему соратнику Кюлишу.

Но фюрер не явился. Являясь он повсюду, где у него висят колокола, он должен был бы появиться и в окрестностях Марне, когда туда пришли англичане. Ведь поблизости от Марне был кусок земли, носивший имя фюрера: Новая земля, Невь, Адольф-Гитлер-Ког.

Раньше это место называлось Диксандрког, но потом там построили павильон с церковными витражами, только на них изображались не дева Мария или распятый Христос, а солдаты и гражданские, отбывающие трудовую повинность. Возле павильона на высоком насыпном холме повесили колокол Имперского земельного сословия<sup>2</sup>, а еще там был дуб, который посадил лично фюрер, и когда мы ходили со школой на экскурсию в этот павильон, туда обычно приезжал ортсбауэрнфюрер Вреде и рассказывал, как фюрер пожал ему руку и пожаловал эту землю в лен.

У того нашлось бы что рассказать, подойди его очередь поведать о «самом радостном событии его жизни». Но его здесь не было, да он и не был военным преступником. Он же не был верным крестьянским фюрером в деревне Колбасково, а простым ортсбауэрнфюрером Адольф-Гитлер-Кога возле Марне. Не могли же они, в конце концов, пригнать сюда весь Марне. Марне и так уже был представлен военным преступником Нибуром. Кстати, рассказать о радостном событии в жизни он сумел бы куда лучше других.

«От его вранья уши вянут!» — говорил обо мне отец и прибавлял — ему, мол, ясно, почему я захотел стать печатником: по его мнению, люди этой профессии частенько имели дело с враньем. Но тут мать брала меня под защиту, что вообще-то делала крайне редко: «Малый не врет, он просто выдумщик!» — и оба сходились на том, что все это у меня от книг.

Дорогая мама! Извини, что я пишу тебе только теперь, но с некоторых пор я нахожусь в таком месте, где косо глядят на человека, если он пишет что-либо, кроме автобиографии. Прошу тебя также извинить меня за плохой почерк. Дело в том, что у меня нет стола и мне приходится класть бумагу на мою гипсовую руку. Да, об этом я тебе тоже еще не писал — ко всему у меня теперь гипсовая рука. Если бы я вздумал тебе рассказать, сколько всего мне пришлось пережить и как они мне делали гипсовую руку, ты бы тоже, как папа, сказала, что от моего вранья уши вянут. Но это чистая правда. Только я теперь хорошо знаю, что чистой правде иногда верят меньше всего. Насчет гипсовой руки не беспокойся — ведь под гипсом пока еще моя собственная рука. Только она слегка ноет и временами меня лихорадит. Сперва они хотели взять цемент, потому что здесь такое место, где мало гипса, — если бы отец это услышал, он бы опять сказал, что у него уши вянут. Но чтобы ты действительно не беспокоилась, скажу тебе: я сломал руку, когда загорал. Здесь, куда меня поместили, немножко тесно и еда могла бы быть разнообразней, но ведь никто лучше тебя не знает, как я избалован! У нас много игр и развлечений — «отбивные котлеты», «самое радостное событие моей жизни», — все принимают участие. Здесь дело обстоит по-другому, чем тогда с сыновьями бургомистра, — ты, наверно, помнишь, я тебе рассказывал, когда приехал из Любека с полным животом похлебки и сидра. Здесь никто из себя ничего такого не строит, все лежат, довольно тесно прижавшись

<sup>2</sup> Официальная организация крестьянства в фашистской Германии.

друг к другу, и не спрашивают, кто сосед — газовщик или генерал. В одном смысле здесь все равны, но так как это еще не вполне ясно, я хочу сказать, не вполне ясно, касается ли оно также и меня, я пока об этом распространяться не буду. Но мне пора кончать письмо, потому что крестьянский фюрер из Венденвера закончил рассказ о самом радостном событии своей жизни и теперь, как только что сказал генерал Эйзенштек, начинается вторая часть игры. Прощупывание и допрос с пристрастием! — так называет ее генерал, а поскольку я здесь еще новичок, то лучше мне пока подождать и осмотреться, потом я опишу тебе все подробно. А до тех пор тебя любит (и целует) твой сын Марк!

### XVIII

Генерал Эйзенштек в самом деле сказал, что теперь можно начинать допрос с пристрастием, и тогда посыпались вопросы, пожалуй несколько туповатые. Позднее мне пришлось отвечать на более острые, эти были тупоумные.

Все дело было в Кюлише: он не врал, значит, его слова и нельзя было опровергнуть. Да и кому бы пришло в голову что-то опровергать в этой истории с колоколом?

И тут не Эйзенштек, а другой генерал прямо-таки заикнулся на рольмопсах. Когда речь зашла о рольмопсах, я тоже прислушивался с интересом, но все же генералу во время допроса не стоило бы так пристрастно допытываться, какими огурцами была начинена селедка.

Но не таков был генерал-майор Нетцдорф. Захлебываясь слюной, он пустился в пространное рассуждения об идеальном сочетании шпревальдских огурцов с норвежской селедкой и признался, что в былые времена вычеркнул из списка на повышение одного подполковника за то, что у того в казино ему подали рольмопсы с начинкой из кислой капусты.

Поэтому все встрепнулись, когда другой человек, средних лет штатский, говоривший с легким саксонским акцентом, заявил, что знал оратора Зомбарта, и потребовал от Кюлиша подробного описания его внешних данных, характера и привычек. Интересного тут было только одно: загадывать, когда наконец Кюлиш кончит описывать брюки названного оратора или пересказывать рассказ партайгеноссе Зомбарта, имеющий какое-то касательство к празднику солнцеворота или солнцестояния.

Если его вообще и слушали, то очень неохотно. Но, по-видимому, существовал уговор сидеть спокойно. Слушатели перешептывались, посмеивались в кулак, и только задававший вопросы штатский как будто по-настоящему был увлечен своим делом. Когда он заставил Кюлиша пересказать текст песни, исполнявшейся во время праздника солнцеворота, — «Выше пламя!» — я спросил у газовщика:

— Этот тип учитель или кто?

И газовщик с необыкновенно довольным видом шепнул мне на ухо

— Или кто. Гестаповец — вот он кто.

— Гестаповец? И он в этом признается?

— А куда же ему деться? Когда они его взяли, у него при себе оказалось собственное личное дело. Видно, он даже огню не доверял. Выше пламя, черт возьми! Газовщику, должно быть, стало совсем невтерпеж, он выскочил, как школьник, подняв руку, и громко спросил:

— Я хотел бы прощупать кое-что другое: когда вы в Гамбурге кое-где побывали и потом у одного из вас, звонарей, в известном месте зазвонило, это где было заведение — Имперского земельного сословия или Имперского военного сословия?

Кюлиш обстоятельно растолковал газовщику, что у земельного сословия не было собственных заведений такого рода, и тут из него поперло — он рассказал все подробности самого начала, с бесконечными подробностями, от прибытия на товарную станцию Альтона до прихода в профилактический пункт у Миллернтор, а я все никак не мог оторвать глаз от человека, который служил в гестано.

И я снова услышал, как мой отец говорит с моим братом, да так гадко, как он никогда с нами не разговаривал. «Если ты желаешь поступить туда, сын мой Йозим, — сказал он, и по тому, как он чеканил слова, и еще по тому, что называл брата Йозимом, можно было догадываться, как он изоблен, — если желаешь поступить туда, придется тебе еще кой-чему научиться. Там мало дать человеку по ушам, оторвать

ему ухо начисто — вот что там требуется. Постарайся себе представить: человек этим ухом слушал вражеское радио, значит, ухо надо оторвать. И не важно, что коли он слушал вражеское радио, у него вскорости и вся голова слетит с плеч. Да, сын мой, Иоахим, тебе негоже думать: да ведь это голова сапожника Хенке, доброго старого чудака, — нет, ты должен думать иначе: через это ухо в нашу дорогую отчизну просачивалась мерзкая вражеская пропаганда, значит, ухо надо оторвать. И нечего тарашить на меня глаза — если желаешь туда поступить, готовься к таким делам. Отдавить человеку пальцы сапогом — это ты умеешь? А должен уметь, коли хочешь там служить, без этого ведь враг своих секретов не выдаст. Прежде чем подашь заявление, садись-ка на велосипед и поезжай в Эдделак. Там на фабрике пряностей спроси Штёвера. Придумай уж какой-нибудь благовидный предлог — этому тебе все равно придется учиться, сын мой Иоахим, раз ты желаешь служить в тайной полиции. Штёвер работает на складе, а раньше был часовщиком. Трудно в это поверить, когда смотришь на его правую руку. Пальцы у него точно культипки, похоже, будто каждый из них кто-то долго топтал сапогом. А вышло это потому, что где-то нашли бомбу с часовым механизмом, значит, изготовить ее мог часовщик. Тут уж твоим друзьям из тайной полиции негоже было миндальничать, надо было проявить твердость и отдавить пальцы часовщику Штёверу. Сможешь ты это сделать, сын мой? И сможешь ли сделать то, чего прежде всего ждут от тебя твои тайнополицейские друзья, — прийти к ним и сказать: «Мой отец говорит, чтоб я ни в коем случае к вам не шел? Может, они прикажут, чтобы для начала ты поупражнялся на мне. Что ты на это скажешь, Иоахим Нибур, есть у тебя желание поупражняться?»

Мы оба ревели после этой речи, и я и мой брат, хотя в то время ему было уже почти восемнадцать лет и он всего только и сделал, что принес домой проспект, где расписывалось, кем ты можешь стать, если пойдешь в СС. Можно попасть в СД и бороться с украинскими бандами. Сперва надо выучить украинский язык и освоить ближний бой, потом втереться в какую-нибудь банду и, когда они соберутся нанести нам удар, всех их перехватать. Рыцарский крест обеспечен.

Или можно поступить в тайную военную полицию. Тут уж надо следить за чистотой рядов в войсках фюрера и глядеть в оба, чтобы никто из этих банд не втерся в наши ряды и не прикинулся нашим. Можно получить крест «За боевые заслуги» с мечами.

А уж если ты хотел пойти служить в тайную государственную полицию, то должен был принадлежать к числу самых проникательных, самых мужественных и твердых, а также к числу самых преданных, потому что эта полиция была тайная из тайных и для нее требовалась истинно германская замкнутость. И эти люди были так самоотверженны, что никогда даже не упоминались в числе награжденных.

Мы с братом обсудили его возможности, а заодно и мои. Для СД он совершенно не годился, он наверняка не смог бы выучить украинский, а я, по его убеждению, из всех требуемых качеств в лучшем случае мог похвастать германской замкнутостью, да и то лишь иногда, а иногда я скорее смахивал на лживого романского карлика.

А после этого пришел отец и своей гадкой речью довел нас до слез. Для топтания пальцев и отрывания ушей оба мы не годились, для доноса на собственного отца тоже, так что мы так никуда и не завербовались и дождались, пока нас призвали. Брат мой был вскоре убит и отец тоже, а у меня теперь оказались вот какие камрады — два генерала, газовщик, ортсбауэрнфюрер, гауптштурмфюрер и тип из тайной государственной полиции. И трудно было поверить, что я всего-навсего рядовой мотоциклетцы, солдат Нибур.

Я, кажется, уже высказал свое мнение относительно игры в «отбивные котлеты», но охотно сделаю это еще раз. Готов без конца повторять, что, по-моему, невероятно глупо, когда один взрослый мужчина закрывает глаза другому взрослому мужчине, а третий взрослый мужчина из всех сил молотит второго по заднице, и тот еще должен угадать, кто из присутствующих взрослых мужчин его молотил.

Если не угадать или все сговорятся против одного, можно получить здоровенную взбучку. «Отбивные котлеты». Газовщик меня предупредил, и все-таки я был сме-

рашен, когда после раздачи капусты, незадолго до отхода ко сну генерал Эйзенштек в своей лихо-веселой манере предложил начать эту идиотскую игру:

— Господа! Отбивные котлеты! Кто на очереди, господа?

На очереди был капитан Шульцки, однако он заявил, что когда его привели в эту крепость, то сразу же зверски исколотили: мол, новичок, должен через это пройти согласно уставу, а вот же у нас есть новичок.

Я взглянул на капитана, да, в эту минуту он приобрел себе друга, но ломаться я не хотел, бог с ней, с моей задницей.

Но тут за меня вступился один человек — костлявый верзила, говоривший на странном немецком языке, с гортанным «х», в его речи попадались слова, показавшиеся мне сродни моему северогерманскому наречию.

— Так не полахается, — сказал он, — у нехо рука в хипсе, и он ше никохо здесь не знает, как ше он мошет ухадать, кто ехо колотил?

Так что на очереди все же оказался капитан Шульцки — костлявый верзила сразу так ему врзал, что капитан, хотя и застонал от боли, не задумываясь вскричал:

— Садовник!

Все радостно подтвердили, что это садовник, капитан закрыл ему глаза, а он подставил свою костлявую задницу.

Видимо, он решил до поры до времени взять меня под свою опеку: когда генерал Эйзенштек наконец воскликнул: «Отбивные отставить, господа! Готовиться ко сну!» — садовник заявил:

— Парнишку надо поместить в закуток, хосподин хенерал!

Таким образом, я получил место, где мог кое-как пристроиться со своей гипсовой рукой.

Спать ложились прямо на голый асфальтовый пол весь в трещинах, ложились все на правый бок, иначе не хватило бы места. Разговоры еще продолжались, правда шепотком — надзиратель уже два раза стучал в дверь связкой ключей.

Садовник присел возле меня в закутке и тихо сказал:

— У этой солдатики нет никакого чувства чести. Но ты не трусь — будем дершаться друх за друха.

— Спасибо, — сказал я. — А ты сам из каких краев?

— Я из Нидерландов, — ответил он.

— Вопрос, конечно, глупый, — сказал я, — я ведь и сам не знаю, как сюда попал, но все-таки как мог сюда угодить голландец?

— Парень, вопрос не такой дурацкий, вопрос правильный. Все оттого, что я садовник, садовник-тюльпанщик. Был бы ты здесь, когда я рассказывал о самом радостном событии моей жизни, ты бы понял, как мог сюда попасть садовник. Меня зовут Ян Беверен, и я рассказывал одним из первых. Про то, как вырастил зеленый попухаев тюльпан. Я назвал его «бусбек» и ездил с ним на выставку. Могу тебе потом рассказать.

— Да, — сказал я, — расскажи как-нибудь. Больно уж любопытно — зеленые тюльпаны и эта тюрюга.

— Будет время, расскашу подлинше. А вкратце так: меня застучали здесь в одном лахере, куда я приехал по вызову коменданта. Он очень любил тюльпаны и вызвал меня из Холландии ради больших работок. Ах, когда в лахерь приходила весна, это была такая красота. Теперь они как раз цветут, если поляк их не выкопал.

— Значит, ты где-то здесь, в Польше, работал садовником?

Костлявый садовник вздохнул, казалось, он сокрушается о постигшей его беде, но и, конечно, тоскует по родине.

— Да, — ответил он, — в Польше, теперь это опять Польша, отсюда к югу и чуть на запад хороший уголок для тюльпанов, вообще красивый уголок, недалеко от Кракова — Аушвиц называется это место.

С таким же успехом он мог сказать, что он убийца мальчиков Хаарман, удобрявший цветы свежей кровью. Тот сажал георгины. Страх, который охватывал тебя в темноте, носил имя Хаарман. Из-за Хаармана ты удирал, если кто-то незнакомый спрашивал дорогу, а ты шел один. Хаарман была клочка дьявола, вот почему Хаарман не умер, хотя ему отрубили голову, и по той же причине он никогда и не жил.

Хаарман, и всевозможные ведьмы, и пресловутый Хаген<sup>3</sup>, и Истребитель саксов<sup>4</sup>, и поджигатель Ван дер Люббе, и Распутин, и Лукреция Борджа — все это были разные наименования непостижимого зла. Непостижимы они были потому, что были так безмерно злы.

Рассказы о них можно было слушать только потому, что нельзя было постичь. Можно было слушать, потому что невозможно было постичь, а значит, и верить в них можно было не до конца. От последней степени испуга можно было спастись мыслью: да ведь все это выдумки.

Так же обстояло дело и с Аушвицем. Это название недавно стало в ряд устрашающих, но это жуткое слово отличалось от других жутких слов еще и другим. Никто не плевал на меня, говоря: это тебе за Хагена фон Тронье, или за Распутинна, или за Хаармана; никто меня с ними не связывал и не основывал на этой связи какие-либо права — право душить меня за горло или, завидев меня, плакать от бессильного гнева.

Но вот с Аушвицем меня связывали, и мне нисколько не помогало, что сперва я даже не знал, что называется этим словом — человек или вещь.

Однако когда тебя несколько раз принимаются душить — руками ли, взглядами или криками — и всякий раз звучат слова «Аушвиц», или «Освенцим», или «Майданек», то ты, конечно, спрашиваешь, что такое Аушвиц и Майданек, и выясняешь, что Аушвиц нечто вроде Хаармана, а ведь Хаармана никто не знал.

Никто с ним не был знаком. Все узнали о нем только из газет, и ни один человек по-настоящему в него не верил.

Говорят, они существовали, этот Хаарман и этот Аушвиц, но поди знай. Мало ли что люди болтают. Конечно, бывают убийцы, всегда бывали, но ловить на дорогах мальчиков и рубить на куски топором — господи помилуй! Этого убийцу расписали так, что он годится для паноптикума. Жестокость? Конечно, жестокость существует, но для людской жестокости существуют все-таки пределы. Каннибализм — это, знаете ли, бывает в Африке, а не в Ганновере.

Жажда мести тоже должна иметь пределы. Поляк уж слишком далеко заходит в своей жажде мести. Возможно, он и сам это замечает, и вся болтовня про лагерь нужна ему для очистки совести. Чтобы у него был повод так с нами обращаться.

Конечно, лагеря были, всегда были, их изобрели англичане во время англо-бургской войны. Когда пленных разместить негде, их можно только убить. Мы сумели их разместить. По-вашему, надо было пустить их бродяжничать? Пусть каждый сам ищет себе кров — так? Пусть каждый сам позаботится о том, чем набить себе брюхо, — так?

Да это же просто чужь. Как можно вести войну, если тыл кишмя кишит беспризорными пленными?

Ясно, что это не годится. Значит, либо запереть их, либо укокопить. Мы их заперли.

А теперь давайте взглянем на эти так называемые лагеря уничтожения с точки зрения здравого смысла: зачем бы мы стали сажать людей, если хотели их уничтожить? Зачем нам понадобилась вся эта морока: ставить заборы, копать выгребные ямы, строить бараки, если мы собирались всю эту публику перебить и закопать в землю? Верно, господа, победителей не судят, но это вовсе не значит, что надо сразу же, поправ здравый смысл, изобрести какие-то лагеря уничтожения, Аушвиц и бог знает что еще.

Я охотно слушал такие успокоительные речи, ибо раз уж со мной обошлись плохо, мне хотелось иметь основание возмущаться. А как возмущаться, если на самом деле существуют причины, заставившие поляков со слезами вцепиться мне в горло?

И раз они могли засадить меня за решетку только со слов какой-то помешанной, то просто диву даешься, какие выдумщики эти поляки, хотя это и ясно как день. Им, оказывается, мало того, что мы у них в руках, они еще уверяют, что видели нас

<sup>3</sup> Хаген фон Тронье — один из персонажей «Песни о нибелунгах», убийца Зигфрида.

<sup>4</sup> Кери Великий, жестоко подавлявший непокорных саксов и после восстания саксов в 782 году казнивший 4500 человек.



в Аушвице и Майданеке. Мы-де вели себя там бесчеловечно, заявляют они и сажают меня в тюрьму. Меня, ни в чем не повинного! Как человечно! Спасибо.

Может, явится еще кто-нибудь и скажет, что я Хаарман. Может, та женщина признала во мне Хаармана. Им просто не терпелось поскорее загнать меня сюда, а раз уж я сижу здесь, можно больше не лезть ко мне с Аушвицем.

Правда, сейчас не они упомянули Аушвиц; его назвал голландский садовник, он сказал, что был там. Уместнее было бы сказать — утверждают, что я был в этом легендарном Аушвице, но нет, он сказал: я там был.

Не может же кто-то сказать — я Хаарман, если он не Хаарман. Не может же человек сказать — я был в Аушвице, если Аушвица вовсе не существует. Должно быть, поляки твердо верят в этот Аушвиц, раз они засадили в тюрьму человека, бывшего там всего лишь садовником.

Разгадка проста: садовник потому так спокойно говорит об Аушвице, что у него нет причин беспокоиться и скрывать свое пребывание там.

Все равно как я, рассказывая о Марне, сообщил бы: я был там печатником.

Пример не совсем удачный, потому что, будь у Марне такая же дурная слава, как у этого Аушвица, я поостерегся бы признать, что я оттуда, не сделав соответствующих пояснений.

Если ты был в страшном месте всего лишь садовником, это само по себе еще не основание для спокойствия. Не основание для спокойствия, даже если ты был печатником в таком прекрасном городе, как Марне, в городе с таким незапятнанным именем. Ибо и такой человек, как известно, может угодить за решетку. Насколько же скорее должен угодить туда человек, служивший в таком жутком месте, как Аушвиц, пусть даже только садовником-тюльпановодом.

— Послушай, садовник, — сказал я костлявому голландцу, — ты не рассердишься, если я тебя еще кое о чем спрошу? Все равно я не могу заснуть, столько нового крутом, да и лапа болит, так можно тебя спросить, или ты о себе не рассказываешь из-за страха за свою шкуру?

— Спрашивай что хочешь, только так, чтобы я тебя понял. О моей шкуре беспокоиться нечего. Я тебя буду звать Марком, ты меня Яном.

— Хорошо, Ян, спасибо, Ян. Так вот что я хотел спросить. Тебе сказали, за что ты сидишь? О себе я только разговоры слышал, но толком мне никто ничего не объяснил.

— А что за разговоры?

— Между собой они зовут меня Morderca.

— Morderca? Убивец? Это нехорошо, — сказал садовник.

Из ряда на полу, где люди лежали вплотную друг к другу, как ложки в ящичке, высунулся гестаповец:

— Будет наконец тихо или нет?

Ян прыкнул на него:

— Заткнись, полицейский! — А мне ответил: — Это у кохо как, одним было сказано за что, друхве и сами знают.

— А ты?

— Мне удивляться нечего. Если ты был в Аушвице в форме и тебя хватают поляки, то они, ясное дело, посадят, если не повесят на первом же дереве.

— В какой форме?

— Как у тебя.

— Как у меня? Это ты про маскхалат? Разве ты был эсэсовец?

— Хауптшарфюрер.

— Я думал, ты садовник.

Яна Беверена этот вопрос насмешил. Он так хохотал и тряс головой, что долго не мог ответить, и он все еще тряс головой, когда наконец сказал:

— Либо ты здорово так притворяешься, что ничего не знаешь, и тогда ты чемпион, либо яснее ясного, что ты недолго был солдатом. Слушай, парень: в армии повар — фельдфебель, автомеханик — унтер-офицер, начальник склада противохазов и носков — тоже фельдфебель, а садовник-тюльпановод — хауптшарфюрер.

— И такое было возможно? — спросил я. — Они выписали тебя из Голландии ради тюльпанов и одели в форму гауптшарфюрера?

— Две возможности, — сказал он, — ты чемпион, или ше я хотел бы, чтоб поляки были такие же наивные, как ты.

— Наивный? Не знаю, наивный я или нет, но всякое обвинение надо обосновать. Объясни мне все-таки, в чем тут дело?

— Наивный ты, если думаешь, что комендант мог взять к себе в лахеры штатского из Нидерландов или еще откуда-нибудь. Но он знал, что среди тюльпанщиков у него есть боевой камад, вот он и пригласил его к себе.

— А откуда комендант лагеря в Польше знал, что в Голландии есть такой человек?

— Оттуда, деточка, что раньше он служил в Холландии и видел меня в деле.

— Появля.

— Думаешь?

Нет, я, конечно, не понял, но меня злил насмешливый тон садовника, зато, что он назвал меня деточкой, да и боль свернула руку, мне было жарко, во рту пересохло, и понемногу стало безразлично, что происходило в Аушвице с тюльпанами.

— Ты не дашь мне глоток воды? — попросил я, и гауптшарфюрер-тюльпановод перешагнул через спящих к ширме.

Гестаповец опять приподнялся и произнес обиженным тоном, с сильным саксонским акцентом:

— Долго это еще будет продолжаться?

— Заткнись, полицейский! — рявкнул я, и это порадовало гауптшарфюрера,

— Правильно, камад, не позволяй командовать собой какому-то засрачному шварцдарму.

Он подал мне русский котелок, полный воды, и я так жадно припал к нему, что едва не захлебнулся. Отвалившись назад, я был в силах задать еще только один вопрос:

— Поляки страшные вещи рассказывают про Аушвиц — правда это?

— Я имел дело с тюльпанами, — ответил Ян Беверен, — но слышать многое слышал. Все же это правда, что ховорит поляк. — И с печальным вздохом, которого я меньше всего ожидал от этого костлявого верзилы, улегся последним в ложечный ряд, предварительно позаботившись о том, чтобы мне осталось достаточно места в закутке.

Мне оно было нужно как воздух. Ибо временами я только тем и спасался от нестерпимой боли, что как можно дальше отводил записованную руку, словно таким образом отстранял от себя полыхавший в ней огонь; ногами и здоровой рукой я скреб растрескавшийся асфальт и два раза чувствовал, как садовник укладывает меня обратно в прежнее положение. Но оба раза был не совсем уверен, что именно садовник берет меня за ноги, что вокруг меня еще живые люди и что сам я еще живой.

Я видел свои ноги на каталке пулавского лазарета — два тонких полена среди других таких же поленьев, — а ложечные ряды возле меня были рядами трупов перед анатомической палаткой. «По двое, в четыре хватки!» — кричал санитар, и они хватили нас за руки и за ноги и с размаху кидали на стол для секции, а если у кого-то чего-нибудь не хватало — стопы, всей ноги или руки, — острили: «Отставить! На двоих всего три угла, как быть?» Из шутки сразу рождалась песенка: «О трех-углах была парень, он был о трех углах!» И под эту песенку некомплектный труп летел на стол.

Но как же они возьмутся за меня? Я, правда, о четырех углах, только один бесформенный от гипса, даже костлявой руке садовника его не ухватить. Они растеряются, а у меня появится надежда выбраться, так как пойдет слух, что вовсе я не умер. Кто не умер, тому не обязательно иметь четыре угла для четырех хваток, его не имеют права класть на стол, он должен оставаться в закутке, в закутке для умирающих, который когда-то, в другой жизни, назывался «кафе Захера».

Но я знал, что нахожусь не в кафе Захера, ибо здесь меня сторожили не венцы, здесь меня сторожили голландцы.

Должно быть, кто-то меня предал — человек, знавший, что я специалист по куриному корму. Боже всемогущий, как это хорошо, значит, меня не запрут вместе с Хаарманом, который выращивал свои георгины на крови тысяч мальчиков, но поляки это обнаружили и с плачем выкрикивали название его сада.

Освенцим, плакали они, и Ядвига плакала тоже, волосы у нее были острижены так же коротко, как у меня, и при виде меня ее стало тошнить, и она не хотела взять у меня тюльпаны, которые я собрал для нее на стене.

Я выкарабкался из сна, как из-под груды щебня и ржавых осколков, исцарапанный и ободранный, а моя больная рука весила столько же, сколько все остальное тело. Казалось, небо хочет помочь мне освоиться в новой обстановке: тюремный двор был залит ярким весенним светом, а мои генералы, и садовник, и бауэрнфюрер обладали всеми признаками реальности вплоть до коросты на ушах. Жизнь в плену, уже до мелочей мне знакомая: одни стояли в очереди в клозет и подбадривали или проклинали того, кто засел за перегородкой, другие, привычные к спортивной ходьбе, быстрыми шагами мерили камеру от окна к двери и обратно, и если двое шли рядом, они старались идти не в ногу — матросы не танцуют под «La paloma», а заключенные избегают ходить в ногу. Под зарешеченным окном капитан Шульцки делал приседания, а два пожилых человека стояли возле окна и глубоко вдыхали пока еще свежий воздух. Принесли чан с водой, крышки от кастрюль для каждого желающего умыться — ты плескал воду себе на голову и растирал насколько ее хватало по лицу и шее.

Хлеб был уже нарезан, и меня несколько не удивило, что раздатчик гауптштурмфюрер, не удивило и то, что при раздаче никто не ворчал — возле гауптштурмфюрера, заложив за спину костлявые руки, стоял гауптштурмфюрер Беверен.

Все это я уже видел: крохоборы, съедавшие свою пайку микроскопическими порциями; люди с тюленьей пастью, куда клейкий колобок проскальзывал, как селедка; любители кофе, тягущие бурду с таким видом, будто сидят за чашкой молко или за чинным завтраком в халате, прихлебывая кофе с молоком; расчетливые едоки, помышляющие только о калориях; алхимики, полагающие, что еда становится качественнее и питательнее, если ее подольше подержать во рту; оценщики, ошеломляющие всех сообщением, что и эту трапезу никак нельзя считать сытной; и проклятые собаки, которым непременно надо рассуждать о копченых утях и яичнице с салом.

Новым, поистине новым явлением оказался для меня генерал-майор Нетцдорф. Воскликнув вполне генеральским тоном: «Итак, приступим к дефекации!» — он исчез за ширмой, и ответом ему был дружный стон.

Он пробыл там долго и удивительно часто спускал воду, а поскольку я был новичок, он удостоил меня разъяснений:

— Послушайте, солдат, вас, наверно, учили, что надо почистить зубы, выморкать нос, вымыть с мылом свой желудок — одним словом, следить за всеми своими входными и выходными отверстиями. Ну а какие давали вам указания насчет дефекации? Давали ли подобные указания вообще? Наверно, давали, да только так давно, что вы и не упомните. Вас сажали на горшочек, хвалили, когда вы делали пиши вля а-а, и подтирала попку. В один прекрасный день вам разрешили подтираться самому, а для этого надо было сперва разнять попку на две половинки, и если вы росли в приличном доме, то вам внушили, что после этого следует помыть ручки. А думали вы когда-нибудь о том, что случится, если вы, подтеревшись бумажкой, на том закончите процедуру? Не кажется ли вам, что таким способом вы производите отнюдь не очищение, а загрязнение организма? Вы заталкиваете пыль, бактерии, бактерии, живые и мертвые инородные тела в свой кал, с которым вы, по-вашему, расстались, но нет — по меньшей мере некоторый его остаток, обогащенный теперь кордускулами и микробами, вы заталкиваете обратно в свой кишечник, сжимаете сфинктер, пока все эти гости не окажутся в тепле и укрытии, где скорее развивается очаг болезни, а потом вы заболете какой-нибудь дрянью и будете недоумевать, откуда она взялась.

Ясно, то был коронный номер генерал-майора, и когда тебе пришлось уже порядком посидеть под замком, такого рода поучения перестают удивлять, надо только смеяться, как от них отделаться. Ведь если очень к ним прислушиваться, им не будет конца, а на генерал-майора не прикрикнешь и затрецинами не прикрикнешь. В затрецины он не поверит.

По правде говоря, я и не представлял себе, что мог бы замахнуться так высоко.

Так что я посмотрел на моего камрада Нетцдорфа с тухлым выражением, с каким смотрят на генералов, когда они говорят о непонятном — о контрударе, о героической смерти и о дефекации.

— Исследуем бумагу! — воскликнул генерал-майор Нетцдорф, и какой-то человек средних лет, все время стоявший рядом с генералом, так что я даже хотел его спросить, нет ли у него затруднений с дефекацией, протянул мне кусок грубой бумаги — я видел такую в ящике возле унитаз.

— Даже невооруженным глазом, — продолжал Нетцдорф свои поучения, — вы видите загрязненность данного предмета, который используете для того, что ошибочно считаете очищением. А как вы полагаете, что выявил бы микроскоп? На сей раз я не стану распространяться о том, что бы он выявил, и прямо перехожу к решению проблемы, которое нашел сам: естественная гигиена, очищение тела собственными средствами — рука, вода и никакой бумаги!

Иногда все представляется тебе ничтожным и никчемным: и ты сам и человечество. Я переживал как раз такие минуты. Вот ради чего, думал я, пришлось мне в хмурый декабрьский день покинуть материнскую кухню и, переехав через Кильский канал, отправиться в дальние края — пройти через Кольберг, и Гнезно, и Клодаву, миновать крепость Позен, но зато попасть в Лодзь и Пулавы, правда, к счастью, не в Люблин, зато в варшавскую яму-могилу; вот ради чего пришлось заниматься упражнениями на выносливость и закалку, заработать прозвище младенца Иисуса и кроссвордиста, видеть перерезанные шеи и вспоротые животы и узнать, что палец на ноге может стать квадратным; вот ради чего пришлось изъясняться на китайско-польском языке и разговаривать в лазарете с эсэсовцем, беседовать с дамой из Баку об историке Нибуре, с господином из Ванзе — о художнике Гейнсборо, а со множеством усталых поручиков — о ходе моей жизни, и все для того, чтобы какой-то генерал-майор остановил ход моей жизни и принялся объяснять мне все про дефекацию.

Я вытянулся чуть ли не по стойке «смирно» и сказал достаточно громко, чтобы меня услышали генерал и его ближайшее окружение:

— Нынче ветер, стужа зла, но настанет день тепла. — И с тою же силой, с какой мой отец выкрикивал эти слова из складского окошка, прибавил: — Ты ж пребудь вовек собой! — И так как генерал все еще не верил своим ушам, продолжал: — Оставайся ты собой! Я пребуду сам собой!

Тут уж генерал отпрянул назад. Пожилой, по-видимому его адъютант, сказал:

— Он бредит, господин генерал, у него жар от перелома, лихорадка, момент, наверно, неподходящий.

— В закуток, капитан! — скомандовал гауптштурмфюрер, и садовник из Освенцима хотел было помочь мне опять улечься, но я сказал:

— Я в полном порядке, просто я знаю: позволишь человеку долго болтать о собственной заднице — и он вскоре примется за твою. Он и правда генерал-майор?

— Правда, — ответил садовник. — Кашется, был комендантом хорода в Хейльбронне для Маннхейме, а мошет, в Висбадене — где-то в тех краях. Его переправили сюда американцы — у него что-то вышло с поляками. Кохда он не ховорит о дерьме, то ховорит о парахрафах устава.

«Я бы охотно общался с людьми, если б для этого не требовалось общество людей!» — гласило одно из самых загадочных изречений дяди Йонни, но сейчас для меня не было слов понятней. В моей одиночке было слишком много места для образов и лиц, а здесь я не находил себе места от натиска харь. Но для тех, кто поместил меня сюда, я и сам был харей. Morderca. Убийца. Белобрысый убийца.

Я не знал, следят ли они за мной, но и с трудом соображая, понял, что должен сам за собой следить, чтобы не смешаться с этой запертой в клетку сворой костлявых и болтливых фюреров. Никак нельзя мне было откликаться на заднепроходные рассуждения этого коменданта.

С кем водился, с тем попался, с тем и в петельке болтался. Похоже было, что это изречение, бывшее намного древнее тех, что употребляли мой отец, моя мать и дядя Йонни, оправдывалось здесь убийственным образом на мне, но теперь я защищался от него иначе, чем в Пулавах, когда меня пугал им парикмахер. Тогда еще оно могло соответствовать действительности, потому что я попался — попал в плен вместе с кавалерами рыцарского креста из Фогланда, фарфорщиками из Коло, извозопромышленниками из Пирны и даже одним франкфуртским банкиром, но они не посмели повесить меня за то, что я оказался теперь в компании крестальских фюреров, гит-

радов и гауптштурмфюреров, ибо раньше я никогда в подобной компании не был и с ними не водился. Для них у меня была слишком пролетарская задница, и я хотел сохранить ее в целости. Если я не сумею втолковать это им, то как втолкую другим?

Я уже догадывался, что они скоро погонят меня из закутка, а потому устроился в нем поудобней и, ослабев от физической и умственной нагрузки, вскоре забылся тревожным сном.

Со сломанной рукой плохо спится. Я спал, как, наверное, спят люди со сломленной душой.

Майор Лунденбройх сказал:

— Сначала одно признание, господа. Я лишь скрепя сердце следую установленному порядку. Порядку, который обязывает каждого растрюбить про самое радостное событие своей жизни. Возможно, вы откажете мне в праве выступить здесь с критикой, но, прежде чем вы мне откажете, я все же выскажусь. Кому какое дело до чихов радостей? С тех пор как я попал сюда, мне довелось прослушать уже немало рассказов такого рода, и должен сказать, что кое с кем из рассказчиков я после этого порвал бы всякие отношения, находишься мы в условиях, когда человек располагает достаточной свободой для подобного шага. Знаю, мы такой свободой не располагаем, и потому подчиняюсь, подчиняюсь вдвойне: продолжаю поддерживать отношения и придерживаюсь уговора, принятого здесь до меня. Самое радостное событие моей жизни. Оно довольно деликатного свойства, я это сознаю, но — либо все, либо ничего. Либо ничего, либо все, целиком и полностью. Итак, что вам сказать: я познакомился с моей невестой вечером тридцатого января тысяча девятьсот тридцать третьего года. Берлин, Унтер-ден-Линден, Бранденбургские ворота, факельное шествие СА. Чтобы сразу исключить недоразумения: я не был национал-социалистом тогда и не стал им потом. Прошу не расценивать это как запоздалую попытку отмежеваться — я не был национал-социалистом, я не национал-социалист. Я был и остался патриотом. Тех из вас, кто занимал руководящие посты в СА, прошу простить мне признание: я не очень симпатизировал СА, мне казалось, от них несет хамством, но при наших нынешних обстоятельствах об этом действительно лучше не говорить. Я только хотел сказать, что в тот вечер не имел отношения к шествию, а случайно оказался поблизости и остановился лишь для того, чтобы посмотреть на этот спектакль. Песни, свет факелов, дым, маршевый шаг, толпы народа вдоль тротуаров — все это, конечно, производило впечатление, но не настолько сильное, чтобы отвлечь мое внимание от молодой девушки стоявшей поблизости от меня. В родительском доме меня приучили к известной рассудочности, а занятия юриспруденцией отнюдь не разожгли во мне мечтателя, так что я сказал себе: спокойно, такой красивой, какой она тебе видится, женщина вообще быть не может, это все от освещения, от назлектризованной атмосферы; наверное, какая-нибудь продавщица. Ну и что, если продавщица, — на эти вещи мы смотрим широко. Вы сами знаете, чего мы, мужчины, только не вытворяем, когда хотим разглядеть даму поближе, вам объяснять не надо, можете мне поверить, все это я и вытворяю. Но с какой бы стороны я ни глядел и как бы ни менялось освещение, девушка оставалась такой же красивой, и сколько бы я ни пытался уличить себя в ошибке, желание познакомиться с ней только крепло. Короче: я познакомился с Анне-дородой, и впоследствии при дневном свете и при лунном, при грозном и при свечах, при свете зари на Куршской косе и при закате в Бернских Альпах первое впечатление только углубилось и упрочилось. В моих манатках, как здесь говорят, есть фотографии, сделанные в первые месяцы, а также и в более поздние, нам их, я полагаю, отдадут, и я спокойно жаду той минуты, когда вы потребуете от меня доказательств красоты моей невесты, а со временем и жены. Но вернемся к радостному моменту: у нас с ней было столько радостных моментов, что теперь, когда подошел мой черед рассказывать, мне было трудно на чем-то остановиться. Однако когда я поборол наконец упомянутые сомнения и решился рассказывать, то на первый план выдвинулся один-единственный момент, имеющий полное право называться самым радостным. Он относится к началу тридцать шестого года. Позади немало волнений — помолвка и, перенос, бурная страсть, а с другой стороны, ремовский пучок и перестройка судебной системы рейха, включая юрнбергские расовые законы и национал-социалистские

правоохранительные нормы. На пасху была назначена свадьба, а затем предполагалась поездка в Южную Италию до начала курортного сезона, по умеренным ценам, — правда, в чрезмерности наших чувств мы способны были позволить себе и неумеренные. И вдруг я нахожу в почтовом ящике записку: «А чистокровная ли арийка фрейлейн Аннедора Корен?» Сперва я, конечно, вскипел гневом на клеветника, потом с презрением бросил его пачкотню в корзину, потом рассмеялся над этой дикой глупостью — ведь на свете не было второй такой голубоглазой, белокурой, прекрасной девушки. И тогда я подобрал письму и разглядел ее, считая, что Аннедора тоже имеет право позабавиться. И вот когда я разглядел записку, мой взгляд нечаянно упал на нее, и я прочел: «Ко ен» — на одной половине «Ко», на другой «ен», а «р» почти что стерлось на слэбе. Машинально начинаю я подставлять в пробел недостающие буквы и, можно сказать, одними глазами, без всякого умственного усилия читаю: «Кобен, Кодед, Коген», а вслед за этим сразу — «Коган». Не могу сказать, что последнее мне тоже далось без умственного усилия. Мой ум забил тревогу, и я прочел «Коган», зачеркнув «е» и подставив «а», и уж хуже этого ничего быть не могло — Коган. «Вы маленького Коганчика не видели?» Коген, Коган, Кон, — Аннедора Кон, в замужестве Лунденбройх? Вам не надо объяснять, господа, что это значило для человека, который ценою жертв и усилий, своих и родительских, подготовился к большой служебной карьере, для патриота, в ком лояльность сидела так же прочно, как его собственное сердце. Не я придумал эти законы, но они действовали, и теперь оставалось только выяснить, подпадаю ли под них я — и, соответственно, фрейлейн Корен. Шекотливая ситуация — как будешь спрашивать белокурую, голубоглазую, высокую, безупречного сложения даму, арийка она или нет? Ну, я был юристом, и в бытность мою в Марбургском университете нам факультативно преподавали методику допроса, так что мне было нетрудно как бы ненароком навести разговор на происхождение фамилии Корен. Странное дело: в такое время, когда составлять родословное древо, таблицы предков, доискиваться своего происхождения стало, можно сказать, светской игрой, правда с весьма серьезной подоплекой, — в такое время фрейлейн Корен ничего не могла сказать о своей фамилии. Понятно вам, что меня это отнюдь не успокоило? Не могу и не хочу воскрешать душевное напряжение тех дней; перешагнув через них, сейчас скажу только: я нашел специалиста по этим делам — такие водились, и среди них были люди без всякого фанатизма, заинтересованные исключительно в деньгах, они бесстрастно сообщали человеку всю правду, приятную или нет, — я и специалиста такого нашел, он быстро согласился за определенную сумму взять на себя это дело, гарантировал мне полное соблюдение тайны, и потянулись дни, которые я и сейчас, при моих нынешних обстоятельствах, никак не мог бы причислить к счастливейшим дням моей жизни. Теперь, когда все это уже позади, во всех смыслах позади, можно сказать: у меня были минуты такого неверия, когда в женщине, которую я, казалось, любил, мне вдруг чудились семитские черты — странно чуждый разрез голубых глаз, гортанный призыв там, где в немецкой речи его не бывает, еврейские вкрапления в чисто немецкую лексику, например, она то и дело вставляла словечко *shuzre*<sup>5</sup>, и, кроме того, что-то наносное, чуждое в характере, но излишне сейчас об этом распространяться. Все это и так было излишне, потому что в один прекрасный день, господа, я получил справку, о содержании которой, вы, конечно, уже догадываетесь. Эта письменная справка, а к ней прилагались копии документов, — получение ее и было самым радостным событием в моей жизни — удостоверяла: фрейлейн Аннедора Корен принадлежит к самому что ни на есть арийскому роду. Впоследствии я как-то рассказал жене эту историю — то-то было смеху.

Они без особого пристрастия прощупывали историю майора Лунденбройха и его семейное счастье. Правда, газетчик пытался его расспросить, какими еще достоинствами, кроме волос и глаз, обладала фрейлейн Аннедора: ему довелось слышать, что у еврейских женщин своя, особая манера греть мужчине постель, — так как же обстояло дело у них, когда они ездили в Бернские Альпы слушать «йодль» или на Ку-

<sup>5</sup> Развлекость, нахальство.

ридскую косу с ее крутыми ветрами? Но когда смолк хохот, гауптштурмфюрер цыкнул: «Заткнись, газовщик!» — и газовщик заткнулся.

Самое радостное событие моей жизни, и «отбивные котлеты», и утренняя пайка хлеба, и ежедневный стул генерал-майора Нетцдорфа, и его ежедневные при этом стоны, и, от случая к случаю, импровизированные лекции генерала Эйзенштека о коренных различиях между Гинденбургом и Людендорфом, или о том, насколько бессмысленно называть марнское чудо чудом, или о том волоске, на котором можно было удержать Сталинград, и ежевечерняя переключка с неизменным рапортом учителя-фольксдойче, и ночное бормотанье в ложечном ряду, и с трудом сдерживаемая враждебность почти каждого к почти каждому, и бесконечные свары, когда речь заходила о расписании поездов в Ноймионстере, или об идеальной дозе мускатного ореха, потребной для приготовления цветной капусты, или о принадлежности Карла Великого к немцам, и камерный марафон завязтых ходоков, и марафон заядлых игроков — любителей японской игры «камень-ножницы-бумага», и гастрономический марафон людей с голодным бредом в голове, и вонь от грязи снаружи и страха внутри — все это были прочные составные части моего прочного заключения. Я влачил свои дни, как вол, крутящий ворот, только со мною дело обстояло похуже: я считал, что нахожусь не на своем месте, и все думал о месте и о себе, но у меня хватало ума не слишком обнаруживать это перед другими.

Стихами Флеминга и своими в придачу, поэтическими цитатами вместо ответа немецкому генералу я показал, что у меня не все дома, вдобавок я носил пятнистую куртку, какие носили также костялый садовник, поджарый гауптштурмфюрер и еще несколько человек, и меня сочли опасным, а так как голландец разболтал, что я убийца, то и общественно опасным, и только капитану Шульцки, все еще злешемуся на меня за то, что на «отбивные» пустили не меня, а его, вздумалось проверить, насколько я соответствую своей репутации. И вот когда пришла его очередь сметать веником пыль в трещины асфальтового пола, он протянул это орудие мне и сказал:

— Слушайте, вы, конфирмант, пусть у вас гипсовая рука, и гипсовые яйца, и мозги гипсовые, но для такой уборки и одной руки хватит, а ума вообще не требуется — ничего, справитесь, ну-ка, вы, типчик, берите!

Все это было вроде бы в пределах допустимого. Правда, выражение «конфирмант» стояло на грани оскорбления, но среди такого количества стариков его можно было проглотить. А предположение капитана насчет гипсовых частей моего тела было даже не лишено остроумия, что позволяло мне пропустить его мимо ушей.

Не мог я пропустить только слова «типчик»: кто смирился с таким обращением, должен был бы с этой минуты стоять перед ними навтыжку и чистить ботинки какому-нибудь капитану Шульцки. Тут уж капитан Шульцки пережал, и чтобы он это сразу понял, и не только он, а и те, у кого были сходные побуждения, я мгновенно развернулся налево, придав крутящий момент и силу инерции своей записывавшей руке, и двинул ею господина капитана Шульцки по шее между кадыком и сонной артерией, отчего он свалился как подкошенный.

Самому мне тоже было зверски больно, и сперва я на себя разсклизся, метал-то я ему в зубы, но увидев, что капитан и так основательно онемел и что покамест ни у кого как будто бы нет охоты называть меня типчиком, примирился с ожившей болью в руке. И когда вечером генерал Эйзенштек объявил решение совета старейшин о том, что мне надлежит освободить закуток и занять в ложечном ряду место, «соответствующее моей букве алфавита, я принял это как должное.

Я очутился между обер-лейтенантом Мюллером, который представился: «Мюллер-расстрел-заложников» — и каким-то типом по фамилии Нучке.

Тот сказал, что наверняка попал сюда по ошибке, и оттого, что мне не спалось, я думал, и мысль моя шла все по одной и той же колее: значит, вас уже двое, значит, вас уже двое, значит, нас уже двое.

## XIX

К слушанию рассказов о радостных событиях я приблизился, только когда на очереди был уже крестьянский фюрер Кюлиш, и ничего не знал о том, что было верхом блаженства для оргсгруппенлейтера Аммана и советника по уголовным делам

Косински, но из всего явствовало, что майор Лууденбройх своей повестью о чуть было не сорвавшемся свадебном путешествии внес новый оттенок в эту часть дневной программы. Ибо после него всякий, кому приходилось повествовать о пережитой им высшей радости, делал это в таком сугубо интимном плане, что я только диву давался. Ну какое было дело без малого сотне чужих, чуждых, а иногда и совершенно отчужденных друг от друга людей до того, что швейцарец Лупшке почувствовал огромное облегчение, когда супруга его хозяина-помещика сообщила ему, что вчерашним вполне довольна? И в чем состояла ценность сообщения, которое сделал нам оберлейтенант Мюллер (Мюллер-расстрел-заложников), что «его старуха» — так называл он свою жену, о которой среди его однополчан шла молва, будто на такой гулящей срамно жениться, — так вот что его «старуха» после первой брачной ночи заверила его, что никому еще не удавалось ее так улажить.

Да и самое радостное событие в жизни газовщика, который не только говорил с рейнским акцентом, но еще и назывался Юпшкен Мюллер, не вызвало у меня никакого желания, чтобы очередь поскорее дошла до буквы «Н», то есть до Марка Нибура. Радостное событие в жизни газовщика, как и следовало ожидать, состояло из целой серии радостей, которые он уготовил домашним хозяйкам своей части города, когда снимал у них показания со счетчика. Парень, парень, у кого-то нашлось для тебя кое-что на счету!

Я, конечно, спросил газовщика, что вынудило его променять приветливые берега Рейна на унылый берег Вислы, а он в ответ вяло махнул рукой: ему-де ничего не могут предъявить, ну разве что пустячное присвоение власти, и положенный ему срок он здесь уже отсидел как подсудимый, но с точки зрения закона вообще сомнительно, что бы из-за такой безделицы его надо было засунуть сюда, к полякам.

Мне хотелось подробнее узнать о присвоении власти, но насколько подробно умел он расписывать, что происходило, когда он со своим привычным возгласом: «Ну-ка поглядим, сколько там набежал!» — входил в квартиры к солдатским женам и вдовам, настолько же скуп на слова оказывался он, когда речь заходила о юридических «пустяках». В больших дозах эти вечные сказки про шейки-шлейки, пряжки-ляжки, спинки-ширинки показались мне немного утомительными, и мое намерение ни в коем случае не говорить в этом круту о минутах душевного взлета только утвердилось, когда швейцарец Лупшке, газовщик Мюллер и Мюллер-расстрел-заложников все ярче стали расписывать этой критически прощупывающей публике свои замечательные подвиги.

Правда, генерал-майор Нетцдорф, чья очередь рассказывать была как раз передо мной, хотя в нашем ложечном ряду он не лежал, а занимал место в углу для совета старейшин, — правда, генерал-майор Нетцдорф избавил нас от своих постельных историй, которые, наверно, оказались бы довольно линиялыми, не стал он ничего сообщать и о самом прекрасном в своей жизни стуле, а рассказ о том, как ему, в то время молоденькому прапорщику, удалось уличить в ошибке седого преподавателя тактики при разборе сражения под Гравелот<sup>6</sup>, ненадолго занял внимание слушателей, меня же только укрепил в намерении не участвовать в этом параде болтунов.

Пожалуй, здесь опять уместно будет сказать, что отнюдь не моя более высокая честность или более острый ум побудили меня не со всем соглашаться и держаться особняком: просто из отчего дома я вынес примеры известной строптивости, а теперь оказался в таких обстоятельствах, которые заставляли меня быть строптивым, если я не хотел, чтобы они меня задавили. Полное разрушение всего существовавшего доселе порядка навело меня на мысль, что я смогу справиться со своим окружением только в том случае, если буду ему упрямо противостоять.

Настолько я к тому времени был еще наивен и неискушен.

Может быть, я смутно сознавал, какие у меня есть на это причины, и, может быть, это придавало моему противоборству еще большую силу; так или иначе, когда от меня ждали одного, я делал совсем другое, а мои сокамерники, которые пробыли

<sup>6</sup> Гравелот — деревня возле г. Меца, где в 1870 году немецкая армия одержала победу над французской.



в лоджетном строю на целый век, а то и на два дольше моего, считали совершенно невозможным, чтобы человек не придерживался отведенной ему позиции.

И, разумеется, то, что их содержали в камере и обращались с ними как с шайкой подонков, лишило их той твердости, какую они проявили бы по отношению ко мне в других обстоятельствах.

Я не учел этого в полной мере, хотя и не преминул этим воспользоваться — когда наступила моя очередь поведать о радостнейшем событии моей жизни, сказал:

— Самое радостное событие моей жизни мне еще предстоит. Оно произойдет, когда я распрощаюсь с этой тюрмой. Конец сообщения.

Каждый из них откликнулся на свой лад: костлявый садовник сокрушенно вздохнул; капитан Шульцки возмущенно воскликнул: «Видите! Видите!»; газовщик Мюллер сказал, это все равно как если бы кто-то отменил карнавал; майор Лунденбройх назвал мое поведение некорректным; генерал-майор заговорил о необходимой субординации, в содружестве поневоле; генерал Эйзенштек готов был допустить особый режим только для смертников, а гауптштурмфюрер мрачно заявил, что, по его мнению, пора уже наконец загодить мне задницу.

— Так точно, гауптштурмфюрер, — сказал я, — пролетарскую задницу.

Тогда гауптштурмфюрер сказал: «Беверен!» — и костлявый тюльпанщик, вздохнув, ударил меня с такой силой, что я удивился, как у меня уцелела голова на плечах.

— Приказ выполнеи! — крикнул мой друг Ян гауптштурмфюреру, мне же он сокрушенно сказал: — Приказ!

Но когда он увидел, что за меня собираются взяться капитан Шульцки и гестаповец, то заслонил меня, заложив за спину свои огромные садовничьи руки.

А я уже вообще ничего не соображал и орал:

— Тюльпанская задница, гестаповская задница, капитанская задница!

И я быдо взял наизготовку свою пишсовую кувалду, как вдруг раздался крик по-польски: «Васпнóсć!» («Внимание!») — после чего в камере сразу все стихло, стлх и мой боязливый гнев.

Вошел беспешный надзиратель, которого человеку в здравом уме следовало опасаться, а с ним еще один тюремщик, в более начальственной форме. Учитель, говоривший по-польски, торопливо отрапортовал и торопливо отвечал на короткие вопросы. Оба надзирателя проявили некоторый интерес ко мне, потом поговорили между собой и, по-видимому, придумали что-то малоприятное, что их, однако, развеселило: Беспешный что-то скомандовал, учитель перевел — команда означала, что мы должны немедленно построиться, но не в том порядке, как обычно на переключке, а по чинам.

Встали оба генерала и наш единственный полковник, а потом началась изрядная путаница. Позднее я понял ее причину: одни важные лица столкнулись с другими, по-иному важными лицами, кое-кто хотел теперь казаться ниже рангом, чем был раньше, таких нашлось немало, и вышла толкотня. Какой-нибудь дурак капитан ни за что не желал стать позади дурака ортсгруппенлейтера; хитрый министерский чиновник старался занять местечко понезаметней, а уже заявивший это местечко хитрый лейтенант жандармерии не желал переходить вперед, то есть выше.

Только что мои дела были из рук вон плохи, но вот все стало опять хорошо: мое место в самом конце ряда, в самом низу, никто не мог оспаривать; в камере же было человека ниже меня по воинскому званию, а если попадались штатские, как, например, газовщик, то все они были значительно старше годами; со мной дело было ясное, меня никак нельзя было ни вытянуть, ни замешать в эту толкучку; я был несомненно последний. Пусть вьдут свои места между генералитетом и мною; один генерал, второй генерал и полковник и я, рядовой мотопехоты, — мы давно уже стояли на своих местах, когда остальные наконец распутали клубок.

Надзирателя Беспешного и его начальника вся эта вольница явно побавляла, и вожже было, что они уже заранее радуются новой заготовленной ими шутке: Беспешный отдал учителю громкий приказ по-польски, а учитель мне громкий приказ по-немецки быстро сделать шаг вперед.

Смотри-ка, Нибур, подумал я, вот ты и опять добился одиночного положения. Чем, интересно, платят здесь за строптивость? Какие события уготованы тому, кто не изъявил готовности поведать о самом радостном событии своей жизни? Как будут

привечать того, кто ждет расставания с этим домом как прекраснейшего мгновения своей жизни? Чем расплатится тот, кто умолчал о самом радостном событии своей жизни? Криком смертного страха? Что сообщит мне сейчас Бешейный устами учителя?

А что бы я мог им рассказать?

Какое событие моей жизни я мог бы преподнести им как достаточно радостное? Самое радостное событие моей жизни.

Однажды фрейлейн Баргтехоф нам объявила, что завтра мы пишем диктант, очень трудный, даже неверная запятая будет засчитываться за пол-ошибки, а все остальные ошибки — за целые, и у кого их окажется меньше, тот получит первый приз, но будут еще и второй и третий призы, а возможно, еще несколько утешительных призов, правда этого она пока точно не знает. Она знает только, что все призы очень ценные — очень ценные книги, они принадлежат ей лично, и она их очень любит, но все они в очень хорошем состоянии. Специально готовиться не стоило, потому что диктант — так сказала фрейлейн Баргтехоф — не на какую-то определенную тему, а на все темы, которые мы проходили, но их все за один вечер не повторить. Этот диктант выявит, кто из нас упорно работал. Потому-то призы и такие ценные, что присуждаются они за упорство. Фрейлейн Баргтехоф заявила, что упорство в жизни очень важно, а мой отец сказал, что стоит ему поупорнее представить себе няню фрейлейн Баргтехоф, как ему сразу хочется потребовать себе самый высокий приз, иначе у него ничего не получается, но мама заметила, что незачем ему мучить себя такими представлениями, пока у него есть она, моя мама. Я не совсем понял, о чем речь, хотя понял больше, чем предполагали мои родители. Я хорошо ладил с фрейлейн Баргтехоф, однако диктант и в самом деле предстал очень трудный. Но я знал, как прекрасно будет получить от фрейлейн Баргтехоф книгу в награду за упорство, которое ценится так высоко. Во время диктанта у меня было такое чувство, будто все четыре года моей учебы в школе обозримо присутствуют у меня в голове, так что если я сомневался, что пишется с большой, а что с малой буквы, где отделяемые и где неотделяемые приставки, где звонкое «з», а где глухое «с», одно «н» или два, то я окидывал взглядом свои знания, выстроившиеся у меня в голове, как стройные мы на школьном дворе для переключки, и находил все что нужно. Я сделала ошибку только в одной запятой, но думаю, что на свете нет человека, который не мог бы ошибиться в запятой. Потому что, как говорит мой дядя Йонни, когда все идет хорошо, правила укладываются в жизнь, но жизнь никогда не укладывается в правила. Однако когда я писал тот диктант, у меня почти все уложилось в правила, и с ошибкой в запятой, которую мне засчитали за пол-ошибки, мой диктант все равно оказался самым лучшим, даже намного лучше остальных. У того, кто получил второй приз, было три полных ошибки, а у меня только пол-ошибки, и как ученик, заслуживший первый приз, я имел право выбрать себе книгу сам. Я взял «Сказания о Рюбецале» с картинками, и фрейлейн Баргтехоф похвалила меня за хороший выбор. На одной картинке было изображено сливовое дерево с густо-синими сливами. Вот, собственно, самое радостное событие моей жизни. Только отец сказал, что я мог бы обойтись и без пол-ошибки, так что полной радости все же не было.

Самое радостное событие моей жизни.

В Марне долгое время не было кинотеатра, а когда его наконец открыли, не было никакой уверенности, что ты туда попадешь. Билет стоил тридцать френнигов, а у человека они были не всегда. И если показывали очень знаменитый фильм, то случалось, что не было мест — другие люди приходили раньше тебя. Однажды объявили, что следующим пойдет знаменитейший фильм «Камрады на море», но он будет идти только один день и по причине ремонта кинотеатра — в зале гостиницы. Это был знаменитейший фильм про Испанию, где нашим матросам пришлось зашищаться от большевиков. Этот фильм я очень хотел посмотреть. Если бы мне не удалось его посмотреть, это было бы для меня ужасным несчастьем. Я хотел бы смотреть все фильмы, но пропустил я некоторые из них, большой беды не было бы. Без фильмов, где все время поют, я бы мог вполне обойтись. Без фильмов, где все время целуются, тоже. Без фильмов про крестьян я тоже мог бы прожить, а что касается фильмов, которые vychиваются с похорон, то их я совсем не хотел смотреть, так как они обычно и продолжались в том же духе. Первый фильм в моей жизни назывался «Кэптан Примбаке в Африке».

В во втором Анни Ондра, ставшая позднее женой Макса Шмелинга, заснула в автомобиле и въехала в воду, и в том фильме они без конца пели песню: «В Золотом гусе» у Катрин у Рыжей парни девок, танцую, целуют бесстыже, а третьим фильмом, сколько помню, был уже «Гитлерюнге Квекс». Но «Камрады на море» чуть было не проехали мимо меня. У меня не хватило денег, а тетушка Риттер уже целую неделю мне ничего не давала: ее муж на всех кроссвордах, загадках и магических квадратах в последнем номере журнала жирным синим карандашом написал один и тот же стихок, упорно повторяя его на каждой странице: «Ты спятила, дружок, тобой владеет сплин, расстанься с Марне поскорей и поезжай в Берлин!» А когда я в тот день пришел из школы, то ко всему еще заболел мой брат, и вместо того, чтобы встать у гостиницы в очередь за билетами на «Камрадов на море», мне пришлось мчаться в аптеку, в аптеке же не оказалось того лекарства, которое значилось в рецепте, и они велели мне пойти к доктору и спросить, можно ли это лекарство заменить другим — название записали на бумажке. Мне не пришло в голову попросить их позвонить доктору по телефону, доктор, аптека, телефон — все это было для меня так высоко, что я не осмеливался сунуться со своими предложениями. А приемная у доктора, конечно, оказалась битком набита, и когда я сказал сестре, что хотел бы только спросить, все остальные загадали — это были в большинстве крестьянки с толстыми ребятишками, повятели не имевшие о том, что сегодня в первый и в последний раз показывают «Камрадов на море», — они, мол, тоже «хотели бы только спросить». Вот еще новости! Эдак всякий скажет — ему-де только спросить, и полезет вперед! Этого еще не хватало! Какой-то сопляк после школы, у него и дел-то никаких ни по хозяйству, ни вообще, скажи на милость! Мне пришлось переждать множество свиннок и расстройств желудка, прежде чем сестра догадалась меня спросить, что мне, собственно, нужно. Ей, наверно, тоже надоело слушать гадеж этих баб, потому что я как заведенный твердил: «Я хотел бы только спросить...» — а бабы как заведенные оралы: «Этого еще не хватало!» У гостиницы толпилась уже масса желающих посмотреть «Камрадов на море», и, на мое счастье, там оказался Эрни Фос, даже одолживший мне недостающий грош, но место мне занять он не мог, не то крестьянские ребята постарше ему бы показали, да и городские ребята постарше показали бы ему тоже. Когда я побежал обратно в аптеку, как раз открыли двери гостиницы, а поскольку в аптеке собрались все деревенские старики, дожидавшиеся микстуры от кашля, то когда я яковец понесся домой с лекарством для брата, зал в гостинице был волон, и я понял, что мне уже никогда не увидать «Камрадов на море». И все-таки, доставив лекарство, я бросился обратно к временному кинотеатру и под насмешливый хохот многих моих товарищей на сцене, которых тоже не пускали на «Камрадов на море», принялась дергать дверь гостиницы, — тут я впервые познал глубокое отчаяние. Но в эту минуту из кинозала выбежал Буби Нутман — он увидел в киножурнале вертящуюся карусель, и теперь его рвало, и вместо него в это замечательное кино, на знаменитых «Камрадов на море», пошел я, да и денешки были целы — ведь мне достался билет Буби Нутмана. И только я отыскал свое место, как с марша «Да, мы — камрады на море» начался фильм. Я думаю, до этого в моей жизни не было момента радостней, чем тот, когда Буби Нутман выбежал из кино, прижимая ко рту носовой платок.

Самое радостное событие моей жизни. Самое радостное событие моей жизни, связанное с отцом, — история, как он вползал в собачий лаз. Чтобы это могло произойти, нам пришлось поехать на крестьянскую свадьбу в Ойтин, но мы, разумеется, поехали туда не ради того, чтобы это произошло. Поехали мы ради родственников, но в каждом мы с ними состояли родстве, я уже точно не помню. Я тогда удивился, что среди нашей родни вообще есть крестьяне, а мама на это сказала: «Кое-что приходится делать по обязанности». Эти слова были направлены прежде всего против отца, не желавшего ехать, да еще надевать для этого синий костюм. Родственники, к которым мы приехали на свадьбу, были и правда сплошь незнакомые крестьяне. Они накачались водкой и без конца пели одну и ту же песню: «Сердце мое — это улей пчелиный!» — и вдруг мой отец исчез. Мама расспрашивала о нем всех, но крестьяне были слишком сильно увлечены пчелиным ульем, и прошло добрых два часа, прежде чем отец объявился снова. Он не часто закладывал за галстук, но уж если закладывал, то по нему это сразу было видно — он казался глухим. Когда отец после двухчасового

отсутствия вновь появился на свадьбе, то он был глух, как пень, и, хотя нехорошо так говорить об отце, прыгнул, как свинья. Костюм его был сплошь перепачкан, ни одного синего местечка не осталось, и даже к волосам прилип комок навоза. Ему, оказывается, просто захотелось выйти на улицу, а когда он пожелал вернуться в дом, то напнулся на высоченный забор. Отец целых сто миль пробирался ощупью вдоль забора, но в плотном пятакетнике не нашлось ни одной лазейки, вдобавок он был чересчур высок, не перелезешь, а за ним вовсю шло веселье. Тогда отец попытался найти лаз, и после того, как он прополз еще дважды сто миль, нашел отверстие, сквозь которое кое-как протиснулся. Отец желал, чтобы все мы осмотрели этот бесконечный забор и единственную в нем лазейку, но это был самый обыкновенный деревенский забор во-круг деревенского дома, а отверстие, сквозь которое пролез мой отец, было собачьим лазом — чтобы дворняга могла иногда выбежать на улицу или же с улицы попасть обратно во двор. Однако сейчас ворота были открыты настежь, даже створы сегодня утром сняли из-за свадебного поезда и обилия водки: собачий лаз находился в подметре от трехметровых широких ворот, а обогатило хозяев-крестьян и увеличило их усадьбу только воображение моего отца, измаравшего навозом синий костюм и даже водосы. В романах я читал, что от великого позора люди иногда кончают с собой, и я уже готов был покончить с собой от стыда. Но пока крестьяне все одновременно переводили дух, чтобы заржать снова, отец сказал: «Из вас ни один бы там не протиснулся». Они уже все хорошенько надрались и гурьбой повалили пробовать, протиснутся они или нет, и допробовались до того, что их костюмы тоже расцвелились пятнами коровьего и свиного навоза и куриного помета.

А мой отец продекламировал стихи поэта Флеминга и попросил налить ему рюмку водки и с ней в руках протиснулся сквозь собачий лаз, а потом показал, что рюмка все еще полна, и осушил ее. Тогда один крестьянин из числа наших родственников заявил, что против моего отца циркач Гудини все равно что старик Гинденбург с его суставным ревматизмом, и крестьяне закричали «ура», а так как Гудини был величайший акробат-каучук, то это и есть радостнейшее событие моей жизни, связанное с отцом. Только мама оценила это происшествие иначе, и когда позднее моим родителям случилось его обсуждать, она всегда одерживала верх, произнося в заключение: «А во сколько обошлась чистка костюма, господин Гудини?»

Самое радостное событие в моей жизни, связанное с матерью, было, когда она, плача, выбежала из дома и сказала, что никогда не вернется, а спустя четыре часа вернулась.

Самое радостное событие моей жизни, связанное у меня с братом, произошло, когда я оказался в гуще довольно опасной драки, которую сам и вызвал своей чрезмерной робостью, а Имма Эльбек крикнула моему брату: «Да помоги же ему!» — на что брат ответил: «Не вижу здесь никого, с кем бы он не мог справиться сам!» — закурил сигарету и пошел своей дорогой.

Радостные события моей жизни никого не касаются, не касаются ни служащих имперских железных дорог, ни газовщиков, ни гауптшарфюреров, ни гауптштурмфюреров и вообще никаких гауптглавначальников. Что надо вам, господа? Кто здесь все-му голова? Кто думает здесь за всех? Кто держит над всеми верх? Кто терпит здесь крестную муку? Кому в гипс уложили руку? Нибур ходит с рукой загипсованной, только сам он какой-то психованный. В цирке Ренца был знаменит Гудини, а Нибур известен своей гордыней. Надзиратель Бешпейный, не поминайте лихом солдата Нибура, горемыку, коли он со стыда за собачий лаз покончит с собою на этот раз. Не долго осталось, чтоб впал он в агонию, камрады совсем его доняли вонью. Ах, где бы, камрады, нам море сыскать, чтоб вас с головы в нем до пят искупать? Марк Нибур навеки уляжется спать. Вот стоит он, одиночка. Вниз, и точка.

Я стоял и ждал распоряжений надзирателя Бешпейного.

Тут надзиратель, у которого, похоже, совсем не было шеи, сказал учителю что-то такое, чему тот — это было по нему видно — никак не мог поверить, но что очень развеселило второго надзирателя, в более начальственной форме. И его коллеге пришлось — такого еще не бывало — прикрикнуть на учителя, чтобы заставить того выдать из себя немецкие слова, слова и вправду удивительные, хотя у меня они веселят

не высказали. Смысл их был таков: отныне для наведения в этих стенах порядка и дисциплины и, соответственно, для их поддержания этот вот назначается старшим по камере со всеми вытекающими отсюда полномочиями.

«Этот вот» был я.

Оба надзирателя, смеясь, удалились: они хорошо чувствовали, на чем надо кончить.

А у меня и понятия не было о том, с чего надо начать, когда тебя неожиданно назначают старшим по камере.

Старшим по камере, где ты самый младший, да еще рядовой, в то время как старший по возрасту в ней генерал-майор, а старший по рангу — генерал пехоты.

Для наведения, а соответственно, для поддержания порядка и дисциплины. Ах, мой конь буланый, они ведь тянут меня в могилу!

Значит, я обладаю в этих четырех стенах всеми полномочиями? Могу ли я запреть крестьянскому фюреру Кюлину вонять в камере? Могу ли попробовать все же дать по зубам капитану Шульцки? Должно быть, могу: первое необходимо для чистоты воздуха, второе вызвано неправильным пониманием дисциплины при игре в «отбивные котлеты». Могу ли вмешаться, когда майор Лунденбройх рассказывает о том, какого страху он натерпелся из-за патриотической расовой гигиены, и когда генерал-майор Нетцдорф, гигиенически очищая собственный организм, мешает всем остальным очистить кишечник? Обладаю ли полномочиями заткнуть Мюллеру-расстрелзаложенников его грязную пасть, когда он снова примется нести похабщину про свою старуху? Или призвать швейцарца Лупке подзаянаться лучше правилами родного языка, нежели занимать нас рассказами о жене своего хозяина? Имею ли полномочия отключить веселящемуся газовщику-рейнцу веселящий газ, или же это будет присвоением власти и уравниет меня с ним перед законом? В моей ли власти отплатить этому тварю из гестапо за то душевное смятение, которое пережили мы с братом, за то, как ему подобные изувечили руки часовщика, заставив моего отца так гадко разговаривать со мной и моим братом? В моей ли власти послать гауптштурмфюрера Беверена за лувковцами тюльпанов в Амстердам или в Освенцим, чтобы к порядку и дисциплине в этих стенах прибавилось бы и немного красоты? И как я буду осуществлять всю полноту своих полномочий, если здесь полновластен поджарый гауптштурмфюрер, который и без подсказки солдата знает, что порядок и дисциплина необходимы для продления жизни?

Радостное продление моей жизни.

Зачем ты, Марк Нибур, опять заделался одиночкой и воспротивился обычаю поведствовать о радостнейшем событии своей жизни? Считаешь ли ты теперь, когда они придавили тебя этими полномочиями, что игра стоила свеч? Опять тебе вздумалось показать свой нрав, а так ли уж ты на сей раз прав? Тебе непременно надо при открытых воротах протискиваться через собачий лаз, и вот ты уперся в стену, ткнулся лицом в стену лиц. Лица камрадов, камрадов, которые справлялись с делами почище и для которых какой-то девятнадцатилетний солдат — пустое место. Камрадов, чьи умудренные глаза вдвое, втрое, а то и четверо старше, чем весь Марк Нибур, которого поляк назначил здесь старшим по камере.

Глаза камрадов, на которых не произвело бы впечатления, если бы Марк Нибур преподнес им самые радостные события своей жизни. Ну да, «Камрады на море» в гостиничном зале Марне, но эти камрады уже побывали в океане, в Африке с Роммелем и с Зеппом Дитрихом под Нарвиком, на Тунском озере в Бернских Альпах и на Куршской косе. Конечно, первый приз за трудный диктант — это чего-то стоит, но здесь были люди, выдержавшие оба правовых экзамена, четверо защитили диссертации, один по медицине, гестаповец по философии, генерал Эйзенштек имел Рыцарский крест с мечами и дубовыми листьями, а еще один вырастил махровый тюльпан «бусбек» и ради тюльпанов был призван в окрестности Кракова с другого конца континента.

Радостное событие — книга сказаний о Рюбецале-репосчете? Нибур, дружище, прислушайся-ка получше к их рассказам, тогда ты рано или поздно услышишь, как один из них с глубоким удовлетворением говорит другому: «За это он поплатится своим кочаном!». А ведь тебе известно, что они рассказывают друг другу не про капусту и репу, да и сами они фрукты совсем не того сорта, что нарисованы в книжке фре-

лейн Баргтехоф, а если еще вспомнить ее внешность, то лучше о ней перед ними и не заикаться.

Вот про Имму Эльбек рассказать можно бы, или про пылающую директорскую дочку на холодной мельнице, или про шейку жены мостильщика. Ну и крик поднимется, если я им сообщу, что шейкой дело и кончилось, а если расскажу еще, как получилось у меня с Иммой Эльбек за церковью во время затемнения, то крик перейдет в рев. Но это никого не касается и вообще не имеет значения, так как вскоре затем вернулся домой Урсус Бер с простреленной задницей.

Слушай, Марк, мне пришло в голову, ты мог бы теперь стать здесь королем, хоть на день стать королем «самого радостного события» и почти избавиться от ярма, которое по минутной блажи надели на тебя надзиратель Бешейный и второй, поначальственной. Стоит только описать им сценку, которая недавно помогла тебе скоротать часы ожидания, вызванные тем, что в этом заведении не предусмотрены запасы гипса.

Слушай, Нибур, ты им такого нараскажешь, что даже газовщик покажется конфирмантом.

Скажите-ка, солдат, эта дама и в самом деле?.. Желательно узнать более точные координаты, амплитуды синусоид и тому подобное — судя по вашим намекам, это что-то сногсшибательное...

Совсем недурственно, капитан, а для рядового морской пехоты прямо-таки лихо и в самом деле немножко эксцентрично.

Да, сын Нибура, таким образом ты мог бы завоевать авторитет, для этого тебе совсем не понадобилось бы врать напропалую. Понадобилось бы только сказать правду, неправдоподобную правду и лишь немного потрудиться, дабы придать истории подобающее обрамление, да еще получить у слушателей разрешение поведать не о самой радостной, не о самой потрясающей, а о самой ужасающей встрече с красавицей. И уж, конечно, пришлось бы умолчать, чем кончился этот эксцентричный номер — остриженная голова, приступ тошноты, а ты слышишь, как тебя называют Mordersca.

Но у нерассказанных историй нет конца, а история твоей жизни как раз обрела новое начало, сохранив из прежних своих частей лишь ту, где тебя приняли за Mordersca, за мелкоштынистого убийцу. И вот сейчас к ней кое-что прибавилось: ты стал полновластным старшим в смрадной яме с убийцами, выдающимся одиночкой, а в ложечном ряду — самым первым.

Разумеется, первым на эту новую ситуацию откликнулся гауптштурмфюрер:

— Мы с вами, господа, уже установили, что поляк способен на все. Однако выдумать такое безобразие — назначить этого фрисландского молокососа... Господи, если бы фюрер знал! Ну что же, солдат, давай произноси свою тронную речь.

Все вернулось на круги своя. Настоящий вожак в этих джунглях сказал свое слово, сказал с издевкой, а значит, с чувством превосходства, значит, я в счет не шел, значит, и остальные могли надо мной издеваться.

— Прежде чем вы нам изложите вашу программу, — сказал генерал Эйзенштек, — я как председатель совета старейшин обращаюсь к вам, господин старший по камере, с единственной просьбой: сделайте милость, избавьте нас на будущее от цитат из беллетристики.

Ему заплодировали, что, по-моему, больше подобало бы штатским, и я задал себе вопрос, слышал ли я когда-нибудь, чтобы офицеры аплодировали, словно ответ на него мог мне чем-то помочь. В складе моей памяти сохранилось несколько кадров из кинохроники, где люди в серых мундирах со звездами хлопали в ладоши, — это было на том собрании, на котором рейхсминистр просвещения и пропаганды спросил, хотим ли мы тотальной войны.

Мы? Ну я-то, конечно, там не был, но хорошо помнил: тогда для меня было очевидно, что тотальную войну ведут, когда другие уже начали ее против тебя, и из всех признаков, ознаменовавших начало тотальной войны, у меня в памяти осталось только запрещение — хотя ко мне оно совсем не относилось — ездить верхом по берлинскому Тиргаргену.

— Совет старейшин распущен,— сказал я и с удивлением слышал собственные слова, с удивлением глядел, как они летят, нетесаные камни, пущенные катапультой — моим самонадеянно-болтливym языком.

С таким же успехом я мог сказать, что отныне запрещается совершать путь от оконной до дверной решетки верхом на лошади. С таким же успехом я мог сказать, что самым радостным событием моей жизни было, когда поляки приняли меня за военного преступника. С таким же успехом я мог сказать, что главная цель моего будущего правления состоит в том, чтобы добыть для всех нас брюки-гольф, и что в дальнейшем я прошу титуловать меня «господин полномочный обер-ушоловник».

Рейнский газовщик с его природной веселостью уловил весь юмор моего заявления — его хохот походил на грамзапись смеха, что продается в магазинах. Я чуть не лишился чувств от оглушительного ржания газовщика, которому вторили остальные мои сокамерники, а они замолчали только после того, как надзиратель Бесшейный стукнул газовщика ключами по левой ключице. Молча наблюдали они и как надзиратель Бесшейный стукнул меня ключами по правой ключице. Молча и с полным вниманием слушали, как он укоризненно повторял: «Starszy celi, starszy celi». — и всякий без труда понял, что это указание мне поскорей приступить к исполнению обязанностей старшего и позаботиться о тишине, положенной в таком месте, среди такого сброда.

Я поймал себя на мысли, что, пожалуй, мог бы спастись обмороком и, закричи я от боли, мне, возможно, сделали бы снисхождение, но я уже по опыту знал, с какой опасностью связана эта идея, и внял предостерегающему голосу: теперь, парень, держись!

— Мне бы не хотелось,— сказал я,— чтобы господин Бесшейный следующий раз дал мне по башке, так что лучше уж я буду исполнять обязанности старшего. Наверно, они назначили меня ненадолго, просто в шутку, но из-за того, что у вас это дело вызвало такой смех, оно вдруг стало серьезным. Пока у нас здесь не кончатся склоки, к нам будет наведываться гость со связкой ключей. И не каждый раз он будет колотить газовщика или меня.

— Все это верно, солдат,— сказал генерал Эйзенштек,— но почему вы первым делом замахнулись на совет старейшин?

Прежде чем я успел им что-либо объяснить, они посоветовались между собой взволнованными, хоть и приглушенными голосами и единодушно порешили считать мое покушение на совет старейшин восстанием, революцией, мятежом и путчем. Они протащили меня через всю военную историю от Таурогена<sup>7</sup> вплоть до 20 июля. Одному из них я казался прихвостнем оккупантов, против которых боролся уже наш Лео Шлагетер<sup>8</sup>, другой припомнил Кебиса и Рейхпитча<sup>9</sup>, и он мог заранее предсказать ожидавшую меня судьбу, третьему я представлялся Национальным комитетом «Свободная Германия» в одном лице, и он недоумевал, на что это я рассчитываю, будучи эсэсовцем и убийцей.

Глупость — вещь надежная, говорил дядя Йонни и в этом тоже был прав.

Гауптштурмфюреру не понравилось, что армейские так бездумно ставят на одну доску понятия «СС» и «убийство». Они ведь давно единодушно порешили друг другу никаких обвинений не предъявлять, это пусть делает поляк, и если какой-то оборванец-новобранец может так легко сбить их с совместно выработанной позиции, то как же они думают справиться с польским прокурором?

Газовщик пришел в восторг, услышав, как меня обозвали оборванцем-новобранцем, потер ключицу и повторил прозвище. По его мнению, сказано очень метко, но он хочет еще раз пояснить: лично он не боится польского прокурора, ерундовое присвоение власти даже с точки зрения польских правовых норм — сушая безделица.

<sup>7</sup> Тауроген (ныне Таургае) — местечко в Литве, где 18 (30) декабря 1812 года была подписана русско-прусская конвенция о нейтрализации прусского вспомогательного корпуса.

<sup>8</sup> Шлагетер Альберт Лео (1894—1923) — немецкий офицер. Во время оккупации Рура франко-бельгийской армией был обвинен в саботаже и расстрелян.

<sup>9</sup> Кебис Альбин (1892—1917) и Рейхпитч Макс (1894—1917) — вожаки восстания революционных матросов в Киле в августе 1917 года. Оба были казнены.

Его никто не хотел слушать, и тогда слово взял гестаповец, но произнес нечто такое, что позволило мне немножко свободнее вздохнуть и сперва даже меня удивило, но потом я смекнул, что ведь и комиссар государственной тайной полиции тоже принадлежал к СС.

— Поведение этого птенчика обращает на себя внимание,— сказал он,— и я не премину обратить на него внимание, но в том, что касается совета старейшин, у меня с ним нет расхождений. Я что-то не помню такого указа, согласно которому власть фюрера заменялась бы властью советов.

Члены совета старейшин возмущенно заявили, что в этот вопрос они внесли ясность задолго до прибытия сюда господина главного комиссара, они сознательно дали этому органу название, благодаря которому его должен будет признать и поляк, а на самом деле он задуман лишь как средство для защиты немецкого достоинства.

— Хорошенькое немецкое достоинство,— возразил Рудлоф,— которое прикрывается жаргоном красного Интернационала, а манера в зависимости от обстоятельств менять ребенку имя неизбежно отдает чем-то семитским. Уж чего-чего, а таких случаев у меня были десятки.

Ему позволили рассказать некоторые из этих случаев, в большинстве действующими лицами были евреи. Впрочем, если над ним здесь вздумают учинить процесс, сказал главный комиссар Рудлоф, он намерен назвать в качестве свидетеля Блюменфельда. Если у того осталась хоть капля чести, он должен будет клятвенно подтвердить, что на допросах у него, Рудлофа, всегда царила вполне терпимая, сносная атмосфера.

— Поносная атмосфера,— откликнулся садовник Беверен, неосмотрительно шумно веселясь,— рвотно-поносная атмосфера — вот что ты создавал твоему обрезанцу, шандарм ты несчастный, и брось нам забивать баки. Поделом тебе, что только и мошешь теперь надеяться на чувство чести у еврея. У еврея нет чести.

Гауптштурмфюрер встал и легонько потрепал садовника по щеке, точь-в-точь как меня в день моего прибытия в эту камеру.

— Да, Беверен,— сказал он,— так, во всяком случае, нас учили. Но мы ведь, в конце концов, только простые солдаты. Тем не менее, господа, вопрос не снят: что нам делать с этим юным Видукиндо? В чем наш птенчик прав, в том он прав: если поляк вздумал сделать младшего старшим, у него найдутся средства настоять на своем. И если малец должен отвечать за мораль всей этой лавочки, парламент, конечно, ему только мешает. Неубедительно, нет? Тогда короче: чего добивается поляк назначением этого рекрута? Чтобы мы тут переругались и передрались, разве нет? Так что давайте не ругаться и не драться, а совет старейшин распустим. Это вовсе не означает, что наш Сигизмунд Юстиг, наш рулевой поневоле, будет глух к каким бы то ни было советам. Так я, во всяком случае, думаю, а ты как думаешь, Беверен?

Садовник сказал, что тоже так думает, и когда гауптштурмфюрер спросил меня, я заявил, что и я думаю так же.

Как и следовало ожидать, все обращались со мною так, будто я добился своего назначения с помощью верноподданнического, холуйского доноса: они либо ставили мне подножки, либо смотрели мимо меня, либо потешались надо мной.

Правда, им ничего другого не оставалось, как в час переключки строиться по моему приказу, и учитель-фольксдойче теперь не мог отказаться служить переводчиком мне, но бесшейному надзирателю все это казалось еще недостаточно забавным. И вот он через учителя сообщил мне, что слышал, будто я замечательно владею польским языком, во всяком случае настолько, сколько требуется для рапорта старшего по камере, а старший по камере я в этих стенах уже довольно давно, так что желательно сегодняшней утренний рапорт повторить еще раз, и ждет он его теперь непременно на польском языке и непременно от меня, обнадеживающе молодого старшего.

Язык, на котором я отдал рапорт, можно было бы назвать индо-китайско-польским. Но ведь мне пришлось хорошенько поломать голову. Во-первых, над иноязычной редакцией самого рапорта: господин надзиратель, рапортует старший по камере — в камере номер пятьдесят один восемьдесят девять человек, все на месте! Во-вторых,



над переводом до сих пор неизвестного мне по-польски числительного «восемьдесят девять», которое пишется *osiemdziesiąt dziewięć*, но произносится далеко не так просто. В-третьих, над вопросом, не воспримет ли господин надзиратель мое северофрисландское обращение с его родным языком, а особенно с простым числительным «восемьдесят девять», как насмешку над собой и какие это может иметь последствия. В-четвертых, над тем, как будут реагировать мои сотоварищи-подчиненные, до сих пор не замечавшие во мне талантов полиглота, на то, что их желторотый старший не только дерзко разговаривает с ними, но еще и говорит по-польски. В-пятых, не может ли точное исполнение мною задания побудить короткошею надзирателя придумать для меня что-нибудь похлеще. Ведь в конце концов так оно и случилось в сказке про парня, который пустился в путь, чтобы научиться страху, все встречные только и старались помочь ему в этом деле, а если я правильно оценил этого надзирателя, то он был способен провозгласить меня старостой тюрьмы, назначить собственной забавы ради главарем ее обитателей, заставить рапортовать на перекличках обо всех, кто сидит в этих стенах,— о пане Домбровском и юном пане Херцоге, об уличных грабителях, о скотоложцах и брачных аферистах, а также о стриптизных танцовщицах. Господи, что же это получатся за числа, когда даже «восемьдесят девять» звучит так бесконечно длинно и с таким южноазиатским акцентом! Ах, как мне страшно, ах, как страшно!

Доведись мне отвечать на вопрос, что я считаю чудом, и ограничиться при этом полдюжиной примеров, я прежде всего назвал бы сон, сон, который все-таки берет человека, даже когда мир объят пламенем или заколочен досками и забран решеткой. Или когда тебя сделали старшим по камере в центральной польской тюрьме. В центре Польши, там, где она строже всего блюдет самых ответных. В Варшаве, где почти не осталось камня на камне.

Спать в таком месте, приняв на себя такую должность, будучи песиком в клетке с тиграми, песиком, коему надлежит покусывать тигров ради порядка, взять да и заснуть в таком месте, при таких обстоятельствах — вот это я называю чудом.

Чудо длилось недолго, но было сладостным.

Я снова занял место в закутке, откуда меня выдворил совет старейшин. В конце концов, я же распустил совет старейшин и теперь сам был старшим: песику надлежало показать тиграм зубы, а коли у тебя рука в гипсе и ты старший по камере, то тебе необходимо местечко для отдыха.

Отдых был недолгим, но сладостным.

Быть может, я несправедлив ко всем другим местам, где мне довелось вкушать сладкий сон, но мне кажется, что таким глубоким, непробудным, безмятежным сном, каким я сразу же забылся в этом закутке, рядом с рядами кряхтевших и солевших ложек,— таким глубоким, непробудным, безмятежным сном я до этого спал всего один раз, а после этого ни разу. Первый раз это было в том курятнике на колесах, что стоял в зимнем январском лесу, а кругом бушевала война. Тогда я думал, что избежал всех бед, и из меня словно испарилась вся сила, что еще была у меня в крови, ее не хватило даже на то, чтобы заметить опасность. Я летел быстрее зеленых самолетов и ружейных пуль — я уже был победителем, но я не знал, как близок был к кровати в польской хате, к узкому пространству между ее ломаным пружинным нутром и пыльным полом. Я заснул на куче засохшего куриного помета, чуть присыпанного соломой, но каким сладким сном!

И каким сладким сном заснул я теперь в закутке, я, песик среди тигров.

Он длился недолго, как всякое чудо.

То был сон без сновидений, без примесей, сон безукоризненно чистый, но все же он захватил меня не всецело, и я был в состоянии оценить его с той грани, что лежит между сном и явью. Я сознавал, что сладко сплю, сознавал, какое это счастье. И какое чудо.

Но вдруг мне почудилось, будто я все же начинаю грезить. Ибо, находясь еще совершенно вне действительности, я почувствовал, как кто-то подошел ко мне и что-то со мной делает, схватил и куда-то несет, и я подумал: да разве могло оно долго длиться, такое счастье!

Схватили и несли меня несколько человек, но среди множества рук я заметил одну пару, показавшуюся мне знакомой. Очень костлявые, очень большие руки — руки садовника. Один ухватил меня за левую ногу, один за правую, один особо и может быть, с особой осторожностью держал мою загипсованную руку, а садовник просушил руки мне под мышку, и его костлявые кисти покоились у меня на груди.

Таковы были мои наблюдения, как вдруг положение опять изменилось. Только я хотел закричать, смекнув, что эта переноска наверняка не сулит мне ничего хорошего, как чья-то рука закрыла мне рот и голос гауптштурмфюрера произнес:

— Спокойно, капитан, с морячкой выдержкой держим рот закрытым, начинается прилив.

Этот человек знал, как вовлечь меня в игру: я сразу наострил уши, но не сопротивлялся; когда садовник дал мне понять, что я должен стать на колени, послушно стал на колени, а увидев, перед чем стою, хотел подняться, да было уже поздно. Я стоял на коленях перед унитазом, а садовник захватил меня приемом, который называется двойной нельсон и позволяет тому, кто держит человека таким образом, направлять и поворачивать его голову куда угодно.

Яну Беверену было угодно ткнуть меня головой в унитаз, лицо мое как раз уместилось в той выемке, через которую испражнения стекают в трубу. Вообще-то этот предмет санитарии содержался в чистоте, так как генерал-майор Нетцдорф имел обыкновение заканчивать день вторым самоочищением организма, что всякий раз возбуждало вопрос, как это у него получается по два раза в день, когда остальным требуется целых три дня, чтобы мало-мальски наполнить кишечник.

Говоря, что мое лицо целиком уместилось в выемке, я преуменьшаю роль тюльпанщика. Не пихни он меня с силой в затылок, не так бы уж хорошо я там уместился. Правда, вдавив меня в выемку, он слегка искривил мне нос, но все же не настолько, чтобы я не мог дышать хотя бы одной ноздрей. Правда, он слишком сильно притиснул мне рот к гладкому фаянсу, но все же не настолько, чтобы выломать мне зубы. Напротив, скоро выяснилось, как важно моему другу Яну не совсем зажать мне рот. А выяснилось это, когда гауптштурмфюрер дернул за цепочку и вода хлынула в унитаз, где ей нечего было смывать, ибо там пребывала только моя голова, по-прежнему прочно сидевшая на шее и к тому же находившаяся в заботливых руках садовника Беверена.

Друг мой Ян принялся ругаться — он забыл засучить рукава, — да и мне куда как хотелось выругаться, только для этого в трубе было слишком тесно. А вода уже доходила мне до ушей, и садовник точно улучил момент, когда мне оставалось выбрать одно из двух — задохнуться в унитазе или захлебнуться в унитазе. Я предпочел захлебнуться, и садовник мне помог, дав приоткрыть зажатый рот и слегка раздвинуть стиснутые зубы.

Благодаря этому я хорошенько наглотался воды, и наглотался бы еще больше, если бы значительная часть ее не стекала мимо моего рта прямо в фановую трубу.

— Готовьтесь к приливу, капитан! — крикнул мне гауптштурмфюрер, и Беверен понял это как сигнал опять крепче втиснуть меня в выемку унитаза.

Тут вода хлынула мне в уши, сквозь ее бульканье я опять расслышал ругань тюльпанщика, и опять он дал мне глотнуть воды лишь тогда, когда я уже совсем задышался.

Утоплен в клозете — такого не бывает, думал я, но сам отлично сознавал, что такое очень даже бывает.

— Земля на горизонте, капитан, — прогремел громовой голос гауптштурмфюрера, — и, пожалуйста, не вздумайте выпить всю воду, не то еще посадите канализационных крыс на мель.

Он вовсе не гремел, да и раньше не кричал, наоборот, он говорил шепотом и, видимо, опустился возле меня на колени, я чувствовал его близость, ощущал его дыхание на своем мокром ухе и понимал, что в такую ночь, в таком месте и при таких делишках он не посмел бы ни кричать, ни греметь.

— Пока на тебя еще не напала смертная икота, — шепнул он мне в унитаз, где его голос отдавался громовым эхом, — пока ты не накачался окончательно и бесповорот-

но, сын мой, прими ненавязчивую рекомендацию касательно твоего будущего курса: держись неизменно нашего направления — и не подмочишь себе задницу.

— Ну и поцелуй меня туда,— сказал я, губы у меня при движении болели, нос тоже.

Гауптштурмфюрер засмеялся едва слышно и прошептал:

— Таким мы и хотели бы всегда видеть немецкого солдата. Ну-ка, Беверен, во дворн своего клиента на место, похоже, у нашего птенчика слегка обвисли крылья.

Садовник осторожно опустил меня на асфальт, словно я был тюльпановой луковицей, из которой должен вырасти зеленый махровый «бусбек». Не знаю, почему меня так злило, что они называют меня птенчиком. Вернее, в первый момент я этого не знал, а в следующий уже кое-что понял. Это было старое-престарое словечко, словечко господ и живодеров, которое бог весть почему пришло им однажды в голову. Мальчишку, обходившего лагерь с ранцем, набитым мокрым балтийским песком, тоже обзывали птенчиком, и телефонные провода вместо ремней врезались ему в тело сквозь коричневую рубашку.

Почему именно птенчик? Почему не кенгуру, не головастик или что-нибудь другое столь же безобразное? Ведь птенчик сам по себе прелестен. Самые ранние наши мечты связаны с птицами, мы хотели бы уметь летать, как они. Мы им завидуем, летим за ними в мечтах, так как же могло слово «птица» стать презрительной кличкой? Бранным словом живодеров, в которое они вкладывают глубочайшее презрение? Теперь я над этим задумался.

— Слышь, садовник,— сказал я, и мой голос звучал как глухое бульканье,— не думай, что ты можешь сунуть человека головой в нужник, а он тебе за это не оплатит.

— Можешь мне не рассказывать,— прошептал он,— будь мы на воле, все было бы по-другому. На воле я бы тебя держал до тех пор, пока бы ты перестал хроститься.

Он сокрушенно вздохнул и оставил меня одного с моей кручиной. И с моим опухшим лицом — теперь оно было столь же прекрасно, как моя гипсовая рука. С ушами, полными воды, и носом, откуда все еще лила вода.

Но глаза были сухи, глаза были сухи. Птицы не плачут, мы, птицы, не плачем. У крокодилов бывают слезы, у собак иногда тоже. Но у нас, у птиц, глаза остаются сухими. Мы ведь много старше человека и видели больше, чем он. Откуда в наших глазах может еще взяться влага? Это о нас люди иногда мечтают, они завидуют нам, и оттого наши глаза блестят.

Чтобы снова приманить сон, я закрыл свои древние глаза, но сон долго не шел ко мне, и я прислушивался к ночным звукам в камере, где был самым старшим, намного старше других. Доисторическая птица и песик без хозяина.

## XX

Для того чтобы человек верил в справедливость, ему должно быть очень хорошо, а мне было не очень-то хорошо. Тем удивительнее, что наутро, испытывая тягостные ощущения после вчерашнего, я пытался рассуждать о справедливости.

Тягостные ощущения были связаны с переходом из сна, где все, казалось, шло нормально, в ненадежную явь, и в то же время именно этот переход я считал справедливым: за пребывание в невесомой пустоте без сновидений и без кошмаров надо платить, а особенно за тот блаженный миг, последний перед пробуждением, за то райское мгновенье, когда начинаешь снова осознавать себя, но еще не осознаешь своего псложения. Такие высокие размышления о справедливости тоже всего лишь частичка этого перехода; они рассеиваются, как только получишь разглядишь гнусную явь.

И вот я уже стал думать о справедливости только в одном смысле — в смысле отплаты за боль и стыд, когда тебя одолевает одно желание: выместить твою боль и стыд на тех, кто их причинил.

Правда, банкир Гесснер, называвший себя инженером-монетчиком, перед тем как я потерял его из виду, что-то говорил о том, что можно, нужно, пора прекратить же-

стокость, пора покончить с насилием, но как мог я покончить с ним теперь, после насилия, совершенного надо мной костлявыми руками, теперь, когда у меня распухло лицо и, кто знает, быть может, приняло очертания унитаза?

Я уже стал посмешищем: соседи по камере хихикали, а тюремщик смотрел пустым взглядом, как человек, упорно старающийся чего-то не замечать. Как только утренний кус хлеба окажется у них в брюхе, то даже капитану Шульцки и звонарю Кюлишу придет охота надо мной поглумиться — так или эдак.

Тут, кстати, выяснилось, что садовник Беверен — один из немногих чистоплотных людей в камере. Он вытирал тряпкой пыль с откинутых к стене железных коек, а я постарался как бы невзначай очутиться рядом с ним. Он явно раздумывал, подобает ли ему со мной поздороваться, и не спускал глаз с моей гипсовой руки.

Я понял его взгляд и, чтобы показать, насколько неопасна для него эта дубина, отвел руку-окаменелость за спину и подхватил ее здоровой рукой. Садовник по достоинству оценил миролюбивый жест, он сразу как-то повеселел и принялся еще усерднее тереть прикрепленную к стене койку, а я, увидев, что остальные, видимо с интересом ожидавшие нашей стычки, разочарованно вернулись к своим занятиям, увидев, что только когнитивный садовник не спускает с нас зоркого взгляда, увидев, что костлявая рука садовника начищает тряпкой один из шарниров — как раз на нужной мне высоте, — повернулся, словно уходя, спиной к Яну Беверену, руку с гипсовым наростом я все еще держал за спиной, и вдруг резко шагнул назад, вплотную к стене, к железной койке, к руке садовника на ребристом шарнире. И хотя дыхание садовника огнем пахло мне ухом, я уперся деревянными башмаками в асфальт, моя левая рука в жесткой повязке была закреплена достаточно прочно, поддерживать ее надобности не было, а правой я вцепился в соседнюю койку и еще сильнее вжал свой гипс в стену, в койку, в шарнир и в руку, что лежала на нем.

Мне много раз доводилось слышать, как вздыхает садовник, но обычно эти вздохи из его груди исторгала печаль, теперь же дело обстояло по-другому. И вздох у него теперь был другой, боль шла уже не от сердца, воздух со свистом вырывался у него изо рта, а придавленная рука так парализовала его мысль, что он не знал, как поступить.

У меня нет причин его хвалить, но, говоря по правде, он не хныкал. Он с шумом выпускал и втягивал в себя воздух, но не стал криками навлекать на нас тюремщика.

Далеко не все в нашей конуре заметили, что я делаю с садовником. Большинство заметило, но они вели себя, как здесь было заведено: заботились о безопасности собственных рук и головы и лишь украдкой поглядывали в нашу сторону.

Да они и не вызывали у меня никаких опасений; опасения вызывал только гауптштурмфюрер. Я ожидал, что он придет на помощь своему помощнику. Ожидал со страхом, ибо не знал, как отразить такой капитальный штурм. Я знал только, что он и одной рукой управится лучше, чем я бы управился двумя.

Но, странное дело, он с интересом наблюдал за нами, но не торопился на помощь Яну Беверену, не трогался с места, а я напряженно думал, долго ли он выдержит. Вообще пора было уже засечь время. Когда следует отпустить руку, которая вела зеленый махровый «бусбек», а сейчас вжата гипсом в железный шарнир? Когда надо вернуть волю руке, едва не утопившей тебя в унитазе? Сколько времени можно продержаться так руку, о которой тебе известно, как незаменима она была в Аушвице для ухода за тюльпановыми рабатками?

Я знал только, что эта рука должна оставаться у меня в плену до тех пор, пока я не отниму у садовника нечто большее, чем уверенность в крепости его конечностей, а поскольку я не считал нужным осведомляться у него, как он себя чувствует, то продолжал следить за гауптштурмфюрером. Заметив на его тигриной физиономии первые признаки беспокойства, я еще раз, напряжись, со всей силой ярости и страха придавил гипсом руку гауптштурмфюрера Яна Беверена и, услышав, как обессиленно он вздыхает, шагнул в сторону, поборов искушение сказать несколько слов насчет происшедшего.

Это сделал другой человек, и, как нарочно, человек, от которого я еще и слова не слышал. Не будь у него такая странная фамилия, я бы вообще не обратил на него

внимания. Но он звался Скорбило, и многие обращались к нему лишь для того, чтобы вслух произнести его фамилию. Он был советником имперских железных дорог и, как теперь выяснилось, образованным человеком, потому что сказал:

— How to win friends and influence people.

Я догадался, что это по-английски.

Очень образованные сословия весело рассмеялись, а не столь образованные пожелали узнать, что такое отмочил железнодорожный советник. Майор Лунденбройх охотно продемонстрировал свою образованность — он знал, что железнодорожник привел название одной американской книги, очень известной и очень популярной книги, дословно оно звучит так: «Как приобрести друзей и иметь влияние на людей».

Тут уж рассмеялись и мы, необразованные, а когда железнодорожный советник Скорбило сказал, что лично он переводит этот несколько длинноватый английский титул более кратко: «Искусство завоевывать друзей», то смех охватил уже все сословия и уровни культуры, и даже мой друг Ян мужественно улыбался — пыльную тряпку он намочил холодной водой и обмотал ею прищемленную руку.

— Откуда вы, Скорбило, так блестяще знаете английский? — спросил Лунденбройх и тем дал понять, что знает толк в английском.

Тут выяснилось, что несколько лет назад советник проходил специальный курс обучения, чтобы после успешного окончания операции «Морской лев» взять на себя контроль над английскими железными дорогами.

И вот они снова свернули в свою привычную колею: что было бы, если бы фюрер не вздумал внезапно заменить план «Морской лев» планом «Барбаросса». Что бы мы приобрели, если бы сначала приобрели Гибралтар. Где бы мы теперь стояли, если бы сразу двинулись в Персию. Как бы хорошо нам было объединиться с нордическими датчанами и норвежцами и через Исландию, Гренландию и Канаду добраться до калифорнийских нефтяных промыслов. Как нам следовало вести войну, чтобы ни за что ее не проиграть. Где бы мы были теперь?

Во всяком случае, не здесь. Во всяком случае, не здесь. И сознание, что, во всяком случае, сейчас мы здесь, заставило нас на какое-то время умолкнуть.

Потом майор Лунденбройх сказал:

— Раз многие из нас знают английский, мы, собственно, могли бы организовать здесь разговорный кружок.

— Клаал я на твой разговорный кружок! — высказался один из эсэсовцев поглубже, а когда учитель-фольксдойче напомнил присутствующим, сколько раз он предлагал им обучать их польскому языку, прибавил: — Клаал я на твой вшивый польский!

Но больше ему сказать было нечего: такой тип, наверно, пригодился бы, если бы понадобилось еще кого-нибудь сонного тащить к унитазу, а уж в спор о языках ему бы лучше не ввязываться — ведь сам-то он говорил на языке, который только с натяжкой можно было назвать немецким.

Я бы мог сказать, что в настоящий момент изучать польский, на мой взгляд, более целесообразно и что я работал на польской железной дороге, хотя и не занимал там контролирующей должности. Но, с одной стороны, я не знал, буду ли вообще в состоянии говорить, так как лицо у меня все больше оплывало, а с другой — насколько не огорчался, что мне не придется участвовать в таком разноязычном разговоре моих сокамерников.

Да и в конце концов старшему по камере лучше держать свои мнения при себе.

Образованных было меньшинство, поэтому занятия английским единодушно решили начать с азов, так, чтобы каждый мог приобщиться к знаниям, при этом допускаясь, чтобы более подготовленные совершенствовали разговорную речь, беседуя друг с другом.

Вот так железнодорожный советник Скорбило вдруг оказался начальством, стал необычайно говорлив и, сразу же взяв строгий учительский тон, начал мучить нас местоимениями I, you, he, she, it, а все педагогические советы искусного в польском фольксдойче решительно пресекал. Кто хотел заниматься, садился так, чтобы ходам оставалось достаточно места и никому не пришлось бы проделывать акробатические трюки на пути в сортир, а Скорбило использовал простенок между окнами в качестве классной доски. Он медленно рисовал буквы на стене, а так как при этом он тща-

тельно их выговаривая, то через некоторое время нам стало казаться, что он и в самом деле пишет — отчетливо и ясно.

Один раз я вспомнил грифельный ящичек Ядвиги Серп, словно он мог нам пригодиться, хотя нам требовались доска и мел.

С этими занятиями все получилось, как обычно. Сначала разохотились почти все, но уже к полудню большая часть снова обратилась к кулинарным рецептам, к экскурсиям, организованным «Силой через радость», и к вечному «Разве ты его не знал?». А с железнодорожным советником дело у нас пошло совсем неплохо, он был человек методичный, и ему доставляло удовольствие сбывать нам багаж, которым его напичкали в предвидении операции «Морской лев».

Когда Бесшейный вызвал меня из камеры, я мог уже сосчитать до двадцати по-английски.

Если тебя согнутым пальцем поманил надзиратель, ты выходишь быстро и молча, а остальная компания безмолвно тебя отпускает. Разве она может знать, куда ты идешь и чем обернется для нее, если она вздумает тебя напутствовать?

Мы прошли через множество коридоров, мы шли и шли, мы поднялись на множество лестниц, пока не очутились в узком переднем дворе, где стоял усатый солдат, такой же важный, как всегда.

Глазами и руками он удостоверился, что я не вынес никаких казенных вещей, и передал меня под расписку двум другим в распространенной в то время полуштатской одежде. То есть в мундирах без погон, с оттопыренными правыми карманами, где, по моим предположениям, находились отнюдь не курительные принадлежности. Один из них вынул стальные наручники — «восьмерку», с непринужденным изяществом, столь присущим польским военным, приблизился ко мне и отщелкнул металлические затворы, явно собираясь сковать мне руки. Но тут он увидел загнуванную руку, для которой потребовались бы кандалы слоновьего размера. Он, видимо, прикидывал возможность пристегнуть мою свободную правую руку к своей левой, но потом скорее всего подумал, что на меня навешан уже достаточно тяжелый минеральный балласт, и если он был поляк не только по изяществу манер, то при мысли о каком бы то ни было соединении со мной его, конечно же, передернуло. Он спрятал наручники и до тех пор постукивал по своему оттопыренному карману, пока не убедился, что я понял намек, и понял верно.

Прежде чем мы расстались с усатым стражем ворот, тот задал еще несколько вопросов, и мне показалось, что он произнес их очень недоверчивым тоном, а одно слово, которое он повторил несколько раз, прозвучало у него почти насмешливо, что в устах этого солдата показалось мне удивительным. Он показывал на мое лицо и покачивал своей воинственной головой.

Identyfikacja — вот как звучало это слово, и я подумал о двух вещах: польский язык, подумал я, все же легче английского, потому что кто же догадается, что под he, she, it подразумеваются он, она, оно, в то время как слово Identyfikacja сразу понятно — идентификация, опознание. И еще я подумал: не даром он качает головой, ибо то отражение, которое я сумел разглядеть в темных дверных стеклах по пути из камеры во двор, было не очень-то похоже на мое лицо.

Неужели им понадобилось вызвать меня для идентификации именно в тот день, когда на мне отпечатались контуры предмета санитарии? Кто опознает эту клозетную физиономию?

Да и кто вообще может меня опознать?

Женщина, которая кричала? Она-то уж опознала меня, да так громко, что ее больше спрашивать незачем. Но если бы они все же это сделали, сделали сегодня еще раз, то этой женщине, захоти она остаться при своем, пришлось бы сказать: нет, это совсем не он, — потому что я при своем не остался: я был сам на себя не похож. Тогда бы я был обязан поцеловать Яну Беверену придавленную руку. Ибо если он так придавил мне лицо, что женщина откажется от своих страшных слов, значит, он помог мне вернуть себе волю и я совсем ни за что повредил ему руку, руку тюльпановода. Какая открывается перспектива: я целую гауптшарфюреру его костлявую руку.

Какая открывается перспектива: они согнали спутников моей жизни для моего опознания. Те только и ждут, чтобы хором заорать: да, это наш дорогой Марк Нибур!

Да, говорят старички Брунсы, и осторожно кивают своими дряхлыми головками, это Марк Нибур, на которого мы какое-то время возлагали надежды. Иной раз он портил бумагу, потому что у него была зазноба, девчушка, для которой он без конца сочинял захватывающие истории про индейцев, в них ее всегда похищали, а он ее всегда спасал, но в остальном он был паренек смывленный и вполне воспитанный. Нет, нет, мы как раз можем засвидетельствовать, что в то время, когда он якобы совершал убийства в Люблине, он старательно готовился к экзамену на звание подмастерья, а мы только удивлялись — ведь такому смывленому, как он, волноваться было вовсе незначительно. Конечно, мы его опознали. Уж мы-то знаем Марка Нибура.

Конечно, говорят почтальон и железнодорожник, поскольку оба они чиновники, то и выступают тоже в паре, как старички Брунсы, да, конечно, это мы можем подтвердить под присягой, уехал он в начале декабря, через три дня после призыва, и тут нам всякие мысли в голову лезли — ведь его отец и брат не вернулись с фронта, а теперь ехал он, третий, но ехал на восток, и вот мы поговорили и решили: ну, до Кольберга еще доедет, если все пойдет хорошо, а Люблин — нет, оттуда наши уже давно ушли.

Честь имею! — рявкнет мой померанский капитан. Честь имею! — рявкнет он сильным голосом. Совершенно верно, в мою роту этот малый попал под рождество. Узнал ли я его поближе? — нет, узнать его поближе мне не пришлось, хоть я и старался всегда установить с моими людьми личный контакт, но тут начались эти упражнения на выносливость и закалку, а под Тоннингеном, прошу прощения, под Кладовой, как это место называется теперь, я однажды ночью потерял его из виду, это было примерно 12 или 13 января, тогда события развивались с ужасающей быстротой. Но во время войны он в Люблине не бывал, за это я могу поручиться.

Так jest, скажет польский крестьянин, его вытащили из-под моей кровати, было это уже в конце января. Страшно? Нет, страшного в нем ничего не было. Голодный он был и усталый, но не страшный, нет. Хотя с этими людьми никогда нельзя знать, вот почему я первым делом отобрал у него автомат.

А крестьянки из этой деревни воскликнут: «Этот-то страшный? Так ведь он артист, он знал Зару Леандер и Марику Рёкк, и как такой парень может быть страшным, да еще с такими ногами?»

Найдется и русский лейтенант, коротышка с огромной палкой, у него потрясающая память. Он говорит, что с этим молодым фрицем у него было много хлопот, остальные вздумали дразнить его младенцем Иисусом, а ведь существовал приказ, касающийся уважения к религиозным чувствам, вот он и не спускал глаз с этого юного Карла-Гейнца или как его там. Нечего даже думать, чтобы он мог на какое-то время смотаться в Люблин с целью совершить там убийство — приказ есть приказ.

Все они меня опознают. Молоденькая фрау Фемлин будет при этом слегка смущена, но все же скажет — она-то уж заметила, кто это каждый раз ухитрялся стать за ней в очередь к булочнику и горячо дышать ей в узел волос на затылке, и поскольку она — здесь, перед судом, надо быть откровенной — однажды подумала кое-что такое, о чем ей все же не хотелось бы говорить, то она подумала также и кое-что другое, и об этом она скажет, это важно для опознания. Она подумала, что за некоторые мысли ей должно быть стыдно, ведь ее муж, имеющий, впрочем, оба Железных креста, сражался у предместного укрепления в Баранове, и ей известно, что перед тем он был в Люблине, однако еще задолго до того, как Марк Нибур начал пыхтеть ей в затылок у дверей булочной.

Ничего не поделаешь — директорская дочка вылезает-таки с куриным кормом и холодной мельницей, это необходимо для опознания. Имма Эльбек тоже рвется меня опознать, хотя она и вынуждена согласиться, что у нас с ней дело происходило чаще всего во время затемнения. Она даже готова, говорит она, с разрешения высокого суда опознать меня в условиях затемнения, надо бы создать их в этих стенах, и тогда можно поставить в ряд целую группу людей, знакомых и незнакомых, и меня тоже, и, может,

еще Урсуса Бера. А я думаю: сейчас она, чего доброго, одурчит суд, потому что суд ведь не может знать, что меня и Урсуса Бера легко отличить друг от друга даже при глубочайшем затемнении — стоит только выбрать того из нас, у кого нет двух зарубцевавшихся дыр на ягодицах, и вот я уже опознан.

Начинайте-ка свою идентификацию: несмотря на распухшую руку и гипсовое лицо, люди все же сумеют отличить меня от других, для этого даже не требуются более близкие знакомые, скажем дядя Йонни, или тетка Риттер, или моя мать.

Дядя Йонни предложил бы суду спросить меня, откуда, на мой взгляд, взялась у людей вера, и после того, как я произнес бы свое изречение, что каково положение, такова и вера, мы с дядей Йонни покинули бы зал суда, пошли бы и назюзюкались, дядя Йонни всегда находил такую возможность даже в наихудшие дни войны и мира.

Тетушка Риттер только принюхается ко мне, а так как в меня на всю жизнь вьелся запах ее сигарет «Юона круглая», то она восстановит мое доброе имя, в том числе и как восстановителя кроссвордов, которые портил ее злой супруг.

Моя мать скажет только: «Я же говорила, что когда-нибудь ты попадешь в переделку, посмотри, на кого ты опять похож, и вообще скажи — ты сегодня ел?»

Я полагаю, господа судьи, что меня уже исчерпывающе опознали, и если вы не можете решиться сразу отпустить меня домой, то, пожалуйста, поставьте опять на рельсы там, где я так катастрофически сошел с рельсов, — отвезите меня обратно на Прагу, в предместье Прага за Вислой, подальше от здешней ямы.

Поначалу все как будто указывало на то, что мои сопровождающие — полувоенные с оттопыренными карманами — намерены ехать именно туда, потому что они сели вместе со мной в американский «джип» с брезентовым верхом, и мы покатали в том направлении, откуда я когда-то пришел. Когда один из моих сопровождающих заметил, что я интересуюсь, какой дорогой мы едем, он нашел все же способ применить наручники: так крепко прицелкнул мою руку к чему-то в углу машины, что захотел я взглянуть в заднее стекло, мне пришлось бы совершенно вывернуть шею.

Но дальше мои надсмотрщики за мной не смотрели, а спокойно и весело болтали между собой, по-видимому, они были знакомы уже давно и грузы вроде меня были им наверняка не внове.

Я скоро бросил мысленно представлять себе наш путь. Я слишком плохо его знал. В тот раз я не очень-то обращал на него внимание и шел по нему, как шли Гензель и Гретель, пока они еще ничего не подозревали и не держали в карманах ни хлеба, ни камешков. Камешков мне накидали другие, но в этот раз они не знали, кто едет мимо них в американской машине, прикованный к ней двойным стальным обручем, и стальные обручи сжимают ему не только запястья.

Ах, как хорошо, что никто здесь не знает, кого в этом «джипе» сегодня катают!

Это наверняка было очень хорошо, ибо наша поездка то и дело прерывалась и шофер то и дело бранчливым тоном с кем-то объяснялся, а не дай бог, если кому-то не понравится чей-то тон — как скоро тогда кучера стаскивают с козел, а заодно, коли уж взялись, выбрасывают и тех, кто в карете. Смотрите-ка, ребята, этот парень привязал себе тележку к руке, должно быть, боится, как бы ее не увели. В чем дело, приятель, что это они тебя так запеленали? Судя по твоей разбитой роже, ты угодил в одно из побоищ, о которых сейчас столько приходится слышать. И знаешь, мнение общественности разделилось. Одни говорят: все правильно, раз война кончилась, должен опять установиться порядок. А другие говорят: хватит с нас порядка, мы теперь хотим порезвиться вволю. Тебе повезло, приятель, мы принадлежим ко второй части общественности и считаем, что польскому парню незачем быть пристегнутым к американскому автомобилю. У кого из твоих спутников ключ?

И как раз в эту минуту, не позднее, мои спутники скажут, что никакой я не польский парень, а niemiec, которого везут на Identyfikacja, потому что он Morderca. Что сделают тогда эти люди, только что желавшие меня освободить? Вскочат в машину, раз уж они так завелись? Помнут мою слишком уж гладкую рожу? Сорвут с машины брезент и начнут метать в меня камни? Бомбардировка Аду, бомбардировка



Варшавы, бомбардировка Нибура, прикованного к машине старшего по камере, бомбардировка до тех пор, пока никакой идентификации уже не понадобится? Спустят ли они машину с крутого берега, по которому мы скоро будем проезжать, если мы действительно едем на Прагу, сбросят ли этот «виллис-джип» в Вислу, невзирая на стальные обручи, соединяющие меня с этим вездеходом? Опознать труп мужчины, обнаруженный под обломками военной легковой машины иностранной марки, найденными на берегу Вислы, несмотря на все усилия сотрудников полиции, по причине состояния трупа, в особенности состояния лица, оказалось невозможным. очевидцев происшествия, во время которого вышеописанная машина, по всей вероятности, потеряла управление, убедительно просят сообщить полиции интересующие ее сведения. Органы, занимающиеся расследованием означенного происшествия, желают прежде всего выяснить следующее. Первое: у какого частного врача или в какой клинике в последние несколько дней пациенту мужского пола была наложена гипсовая повязка на фрактуру левой лучевой кости? Во-вторых, в каком учреждении охраны порядка (например, в полицейском участке), снабженном такими средствами, недосчитываются пары наручников фирмы Герлаха (так называемой восьмерки)? Все эти сведения решительно никого не интересуют, кроме матери Марка Нибура.

Надо, наконец, сказать этой женщине, что ее сын теперь и правда «топал в переделку». Чтобы она больше не считала дни от воскресенья до воскресенья и не думала, что один из трех еще может вернуться. Нибур, Нибур, подумай, что за радость твоей матери, если ты вернешься к ней чокнутым.

Уж лучше ей тогда до конца дней рисовать себе в воображении три могилы, две на западе и одну на востоке. Уж, конечно, лучше, чем если ты вернешься с гипсовыми глазами и мозгами всмятку. Она не заслужила, чтобы ты болтался по дому, истекая слюной, и требовал себе игрушечную лошадку, называя ее своим буланным конем. Или стал для нее старшим по камере и все время поднимал ее по команде «стройся», на радость ребятишкам со всей улицы. Или весь остаток своих дней просидел бы у нее на руках, обливаясь слезами.

Этого, Марк Нибур, твоя мать не заслужила.

Каково положение, таково должно быть и поведение, Марк Нибур, ну-ка давай бери коней под уздцы, буланого и игрушечного, поступи так, как всегда поступал в свои лучшие дни: гляди в оба и хорошенько думай, получше считай и поменьше болтай всякого вздора. Больше думай и меньше выдумывай. Они теперь хотят тебя идентифицировать, самое лучшее, если ты начнешь это делать сам.

Машина опять остановилась, и шофер опять посигналил, но на сей раз дал только три резких гудка и совсем не ругался. Открыли какую-то тяжелую дверь, наверно ворота, и я подумал, что больно уж долго встречаю на своем пути одни только тяжелые двери. После переговоров, звучавших вполне казенно, мы проехали еще несколько метров. Потом мы снова остановились, видимо надолго, потому что меня отцепили от машины и вытолкнули из ее низкого кузова.

Когда долго просидишь в тюрьме, двор барачного лагеря кажется парком, и, если память меня не обманывает, я увидел там даже тюльпановые рабатки. Но еще до этого я увидел множество людей в польской форме, среди них был и один усталый поручик, и я был доволен, что сдержал себя и не поклонился ему, другое поведение в таком положении было бы неуместно.

Не знаю, что случилось с моими сопровождающими, но только они указали мне на скамью, стоящую на солнце, и сделали знак, чтобы я сел. Допустим, им потребовалось очень долго о чем-то совещаться, сначала прямо тут, во дворе, а потом в одном из барakov, где они пропадали добрых два часа. Но предложить сесть такому, как я,— это уже что-то новое.

Я сидел на солнце, без наручников, немного усталый и упражнялся в искусстве не выдумывать ничего заранее.

Впереди себя метрах в двадцати я вижу торцовую стену длинного барака. Слева от двери свежей краской начертаны белый орел на красном поле и какая-то неразборчивая надпись. Вдоль правой стены тянется длинная грядка, которую я было принял

за тюльпановую рабатку. Но, возможно, это одна из моих старых фантазий, а теперь существенны только новые впечатления. Слева от барака на расстоянии двух, самое большее двух с половиной метров высокая стена, она упирается под прямым углом в другую, чуть повыше. Перед стеной забор, оплетенный толстой проволокой. Над более высокой стеной протянуты три тонких проволоки, и по фарфоровым изоляторам ясно, что здесь пущен ток. Над тонкой проволокой не видно ни крыш, ни деревьев — только небо, несколько облачков, даже птиц нет. Справа от барака, в который вошли мои сопровождающие, шагах в тридцати параллельно ему стоит другой, похожий на него, как зеркальное отражение; цветочная грядка идет вдоль его левой стены, а каменная стена пониже тянется справа от него, упираясь в более высокую. И на двери нет государственного орла. Со двора, где стоят оба барака, моя скамейка и американский «джип», можно выйти, по-видимому, через три двери — через две в более низкой стене слева и справа, а есть еще одна, в какую я вошел сюда, — те тяжелые ворота, возле которых стоит и ворчит часовой. Он то и дело говорит что-то шоферу «джи́па», залезшему под капот, и шофер отвечает ему, как отвечают обычно шоферы, копаясь в моторе. Во двор через дверь в правой низкой стене дважды вошли группы людей и скрылись за дверью слева. В руках у них метлы и лопаты, а одеты они в потрепанную военную форму, которую когда-то носили в нашей армии. У них как будто вполне хорошее настроение, они смотрят на меня, но не окликают. Я их тоже не окликаю: учусь держать рот на замке. Учусь не останавливаться на многих вопросах: как я сюда попал, и почему здесь не поет ни одна птица, и почему кажется, будто между краем стены и небом ничего больше нет.

Я наверняка просидел на скамейке больше двух часов, прежде чем вернулись военные и двое моих полувоенных. Они вышли с таким деловым видом, какой бывает у людей, когда они после долгого совещания наметили важное мероприятие. Некоторые из них прошли через левую дверь следом за людьми с метлами и лопатами, усталый поручик подсел ко мне на скамью, а мои сопровождающие, у которых, впрочем, карманы уже не так оттопыривались, заговорили с шофером, все еще ругавшим мотор, и озабоченно прислушивались к его словам.

За левой стеной слышались свистки и окрики, а потом раздался такой звук, словно по каменной мостовой загрохотали две тысячи пар деревянных башмаков, и я подумал: слушай, Нибур, зачем тебе сразу две тысячи пар?

Через несколько минут дверь в стене растворилась, и один из военных сделал нам знак, и хотя я вообще-то запретил себе отвлекаться, я все же подумал; у него есть сюрприз и он этим гордится. Быть может, у него действительно есть две тысячи пар деревянных башмаков и мне разрешат выбрать себе одну из них?

— Пойдемте, — сказал мне поручик. — Вы не будете говорить и не будете делать знаков. На вас будут смотреть, вы не должны отворачиваться и должны молчать. Темп задаю я.

Он поманил меня и направился к двери. Я последовал за ним, а мои сопровождающие последовали за мной.

За оградой начиналась лагерная улица, и она действительно была вымощена большими камнями, а на камнях действительно стояли деревянные башмаки, по меньшей мере две тысячи пар, но у каждой уже был владелец, и они, владельцы, стояли по трое в ряд, обратив ко мне деревянные лица, какие делают пленные, когда не знают, чего от них хотят.

Поручик задал усталый темп, так что каждый вполне мог хорошенько меня разглядеть, а некоторые даже позволяли себе подольше поглазеть на мою гипсовую руку. Эти были совсем уж глупые — есть ведь род любопытства, который проистекает из чистой глупости. Меня так и подмывало им крикнуть: не мою окаменевшую лапу надо вам опознать, а меня самого, и прежде всего по лицу, по моей фрисландской физиономии!

Но от такого крика меня удерживали строгие обеты — один на меня возложил поручик, другой я сам, но был, однако, и третий обет, который я себе дал, он предписывал мне смотреть на тех, кто смотрит на меня, присматриваться к тому, как они

на меня посматривают, и прежде всего высмотреть, нет ли среди них таких, на кого я смогю не впервые.

Они глядели на меня как люди, которые не желают ни во что больше ввязываться и понимают: им сейчас показывают нечто такое, во что ни в коем случае не следует лезть. Появляется какой-то тип в сопровождении весьма бдительной свиты; тип, из-за которого две тысячи человек согнали с нар; парень, которому кто-то, похоже, сломал руку и отутюжил физиономию; субъект, ради которого затевается возня, папахивающая тайной полицией, да еще в этом городе, да еще в этой стране, да еще в такое время,—нет, мне очень жаль, но этого человека я не знаю. Это означало: и ничуть мне не жаль.

Довольно тяготно проходить усталым темпом мимо двух тысяч человек, особенно тяготно, если вяло протекающий осмотр не прерывается волнующей сценой узнавания. Меня никто не узнавал, и, миновав несколько сот человек, я почти перестал различать лица в шеренге — они мелькали передо мной как незнакомое племя, к которому я впервые приехал в гости.

— Identifikacja negatywna,— сказал один из моих сопровождающих другому, когда незнакомое племя уже осталось у нас дозади, и я было опять подумал, что польский много лучше английского, как вдруг поручик так живо, так резко и в таких непонятных выражениях напустился на обоих полустатских, что я эту мысль бросил.

Человек в почти новом сером мундире проревел тоном, знакомым мне по Гнезему и Кольбергу:

— Передать команду: кто знает этого человека, три шага вперед, марш!

Они передавали команду дальше, это мне тоже было знакомо по Гнезему и Кольбергу, от колонны к колонне неся крик, долго не смолкавшее и лишь медленно затихавшее эхо, однако — и тут начиналось отличие от Гнезена, Кольберга, Кладавы и даже Марне — никто не двинулся с места, хотя только сию минуту на чистейшем немецком языке прозвучал приказ «вперед, марш!».

— Теперь идите,— сказал мне поручик,— идите и смотрите сами, и если узнаете одного из своих товарищей, то скажите и сделайте знак. Темп задаете вы.

Сперва я подумал: но такого уговора ведь не было. Я прибыл сюда затем, чтобы один из этих людей узнал меня, но вовсе не затем, чтобы я сам узнал одного из них. Кто знает, что они сделают с тем, в кого я ткну пальцем? Может, приставят к нему четырех конвоиров и командира и поведут по Варшаве? И вдруг однажды, когда дежурить будет надзиратель без шеи и у него окажется веселое настроение, он введет этого парня в мою камеру и объявит, что отныне тот старший.

Потом я подумал: Нибур, может, ты все-таки бросишь наконец выдумывать так оголтело и без пользы для дела. Тебе же все ясно: если ты кого знаешь, то и скажешь, что знаешь. Если среди этих людей обнаружится кто-то из специалистов, с которыми ты приехал на Прагу, ты его назовешь, тогда им придется поверить хотя бы в часть твоей истории.

Потом я подумал: но, может, никто не захотел тебя узнавать потому, что боялся во что-нибудь втравить? Может, дело с узнаванием здесь обстоит так же, как в армии с изъявлением добровольной готовности,—никого на это теперь не купишь, потому что ничем хорошим это давно уже не кончается.

Потом я подумал: ладно, но если среди них есть кто-то из Марне или из Мельдорфа, человек, который должен знать, когда я пошел в солдаты, то я вправе его называть. Я вправе назвать всякого, кто может засвидетельствовать, что в Люблине я никогда не был. Что я никогда не был убийцей.

И я вновь обошел двухтысячный серый строй, и оглядел всех, и увидел несколько лиц, о которых мог думать, что они были когда-то в числе тех двухсот восьмидесяти, я это только предполагал, но не знал твердо, зато я твердо знал, что в нынешнем своем положении оказался лишь потому, что некая женщина слишком положила на свое предположение.

А потом я увидел Эриха из Пирны-на-Эльбе в Саксонии. Чтобы оказаться в группе специалистов, он назвался транспортником, я же после лазарета не хотел с ним знаться, потому что, по мне, он слишком близко сошелся там с самыми отъявленными

разбойниками. Вот он стоит передо мной, рассказчик фильмов Эрих, и наконец-то может рассказать кое-что из действительной жизни, может сказать: да, этот молодой человек мне знаком самое позднее с февраля прошлого года. Я его помню, он был для меня идеальным слушателем — восторженным, наивным, не строил из себя всезнайку, но и не лишен был некоторых знаний. Он, по-моему, единственный, кто смотрел «Гленарвонскую лисицу», и я полагаю, что Хайдемари Гатейер ему не понравилась. Но вообще он горячий поклонник кино. Особенно восхитил его фильм, который я сам из-за занятий строевой подготовкой посмотреть не смог, так что он рассказал его вместо меня, и совсем не плохо. «Камрады на море» назывался тот фильм; да, господа, этого камрада я знаю.

Но Эрих из Пирны ничего не сказал и даже не подал виду, что ему есть что сказать. Он смотрел на меня таким же бессмысленным взглядом, как остальные, и, глянув в эти пустые глаза, трудно было поверить, что они видели «Эшнапурского тигра», и «Доктора Криппена на борту», и «Сержанта Берри», и Зару Леандер, когда она поет: «Нет, ни за что не плакать от любви!..»

И глядя на этот равнодушно сжатый рот, никак нельзя было сказать, что он может верещать, как Грета Вайзер, шамкать, как Иоганнес Хеестерс, и ворчать, как Генрих Георге.

По виду транспортника Эриха нельзя было сказать, что когда-то он блестяще владеет техникой рассказа, и я подумал: вот свинья! И тут же подумал: да нет, где же ему меня узнать, когда садовник сделал из моей физиономии свиную харю, но в этот миг я заметил, что мой товарищ Эрих все-таки меня узнал. То был поистине какой-то миг, беглый взгляд его глаз, открывший мне, что он меня узнал, но только теперь открылось мне в полной мере, каким великим мастером рассказа был мой Эрих, ибо одним-единственным движением бровей он рассказал мне, что с моей стороны было бы подлостью втягивать его в мою историю. Дружище, сказал он мне этим мгновенным сокращением мышц, — он торопился, как в конце захватывающих кинодрам, — дружище, не впутывай меня, кому от этого польза? Я не знаю, что они против тебя имеют, судя по твоему виду, это дело тяжелое, но легче оно не станет, если ты что-то ввалишь на меня. Ведь я выбрался из Пулав только как специалист, потому что пора было смыться оттуда из-за одной истории, одной аферы с гражданскими лицами, но это дело давно проехало. Если ж ты втянешь меня в свое, они скорее всего поднимут и мое дело, так что ты уж меня не впутывай, у меня семья. А если ты когда-нибудь придешь в Пирну, мы будем еще и еще рассказывать друг другу кино, расскажем и эту историю: как однажды я вижу, — ты идешь мимо меня, но я, разумеется, тебя не знаю, потом ты опять идешь мимо меня, и, разумеется, тоже меня не знаешь, рядом с дурацким видом шлепает поляк, а я думаю: что же это они делают с парнем! И еще я подумал: как в фильме с Эвальдом Бальзером, где один должен был выдать другого французам, но не выдал.

Может быть, на Эвальда Бальзера навел меня и не Эрих — рассказчик фильмов, Эвальд Бальзер стал моим любимым киноактером незадолго до моего призыва в армию; он и его манера надевать шляпу побудили меня тоже купить себе шляпу.

И может быть, скорее из-за Эвальда Бальзера, чем ради извозовладельца Эриха я, в свою очередь, не узнал товарища, не пожелавшего узнать меня. Это мне далось нелегко: пришлось напомнить себе о намерении узнавать только, буде они встретятся, людей из Марне и вообще из Дитмаршена, ибо только они и могли мне помочь, и на протяжении нескольких шагов я очень гордился своей верностью и твердил себе, что Фолькер-шпильман тоже никого бы не выдал.

Так мы прошагали мимо строя в две тысячи человек. Поручик возглавил нашу небольшую группу и ускорил темп, а моих полустатских сопровождающих он, видимо, очень запугал, и они больше не решались заявлять вслух, что идентификация дала отрицательный результат.

На стене над дверью, через которую мы прошли, большими буквами значилась польская надпись, и поскольку я не допускал мысли, что на такой стене поляки могли бы написать что-нибудь не стоящее внимания, и, кроме того, мне очень хотелось **знать**, что написано на стене, через которую я дважды проходил для идентификации,

то я постарался запомнить тот набор слов, нанес его на шиферную доску своей памяти, запечатлел в сознании как определенную последовательность знаков, как сложный узор, как вытянутый в длину рисунок, как сплетение линий: «Jenies, jak wtóciysz do domu, zwalczaj wojnę!»<sup>10</sup>

С тех пор я успел узнать, что означает эта фраза и как надо ее произносить, но тогда, вернувшись через ту дверь во внутренний двор, я представлял себе только начертание этих слов и потому, естественно, долгое время над ними не задумывался.

Шофер между тем основательно разобрал наш «джип»; злой, весь перемазанный маслом, он, по-видимому, заявил моему конвою, что его совершенно не интересует, как мы будем добираться обратно. Оба полуштатских несколько минут с ним переругивались без всякого толку, потом исчезли в бараке и вышли оттуда опять с оттопыренными карманами. Тот, что надевал на меня наручники, угрюмо озирался в поисках какой-нибудь железяки, к которой он мог бы меня пристегнуть, и только тогда спрятал оковы в карман, когда поручик, теперь опять выглядевший очень усталым, надо думать, сказал ему, что, в конце концов, их трое против одного и куда же это я могу от них сбежать.

Усталый поручик надеялся, что «джип» доставит нас и обратно, и оттого, что он так поник, у меня шевельнулась мысль, а не сказать ли ему, что на какую-то секунду мне показалось, будто я все же видел там, в лагере, одного знакомого; полной уверенности у меня, правда, нет, ибо с той же вероятностью это могло быть лицо, только показавшееся мне знакомым, потому что я помнил похожее по какому-нибудь фильму, так нельзя ли повторить идентификацию?

Я тут же призвал себя к порядку, строго, но и не без снисхождения, ведь, в конце концов, я пропустил мимо себя дважды две тысячи лиц, в их числе одно совершенно особенное. И раз мною была одержана победа — в духе Эвальда Бальзера или Фолькера-шпильмана, — так уж, наверно, я мог позволить себе маленькую мужскую шутку.

Нет, давайте без дальних слов уйдем после идентификации из этой кинодекорации с проводами над оградой, уйдем от этих унылых барачков в город, к людям; так откройте же мне ворота, я хочу поглядеть, что делается снаружи под вашими облаками.

Но снаружи под теми же облаками открывалась такая картина, что человек не верил своим глазам, сколько бы их ни тарачил. Это была пустыня Гоби с уходящими вдаль барханами битого кирпича. Северное море, оцетинившееся рифами обломков, земля, до горизонта засыпанная булыжным извержением. Какое-то чудовище проглотило стены, крыши, балки, трубы, а затем выдавило их из себя в перемолотом, но не переваренном виде, оно проглотило весь мир и в Варшаве выблевало его обратно. Каменная ограда лагеря позади нас была единственной уцелевшей здесь стеной. Вокруг больше не было стен — ни одной, которую мне могли бы приказать снести, все были уже снесены. Во все стороны тянулись гряды неровных пыльных холмов. Впереди на бесконечном пространстве хаосом Атласских гор громоздились вывороченные каменные глыбы.

И словно для того, чтобы глаза удостоверились, что они на самом деле видят все это, кажущееся тебе таким невероятным, чтобы дать им точку наводки, опору, меру глубины взбаламученного моря щебня, намек на масштаб перемолотого мира, среди развороченных руин стояла церковь — целая и невредимая, очень одинокая и оставленная в целости не случайно: дом божий, открытый дьяволом для обозрения.

Я смотрел на нее не отвлекаясь.

## XXI

— Да, — сказал поручик, — это вы сделали основательно. Может быть, для того, чтобы мы не были разочарованы. Нас еще в школе учили: немцы народ основательный. И точный. Если дан приказ разрушить гетто, а в гетто имеется католическая церковь, то гетто разрушают, а католическую церковь оставляют в целости. Да что я вам рассказываю, вам, конечно, уже говорили.

<sup>10</sup> Пленный, когда вернешься домой, борись против войны! (Польск.)

— Об этом мне никто еще не говорил.

— Разве не говорили? Разве по радио не передавали сначала музыку, а потом сообщение: наши герои сровняли с землей большую часть большого города? Сообщали же вам под музыку: мы потопили большой корабль. Почему же было не сообщить и такое: мы потопили большой город?

— Может быть, и сообщали. Я уже не помню.

— Это другое дело,— сказал поручик,— может быть, вы просто забыли. Столько городов было потоплено. Вам не упомнить все города. Может, среди них были Варшава или Тегеран. Вы не знаете. У вас только одна голова, а сообщения передавались без конца, так есть?

Я хотел ему объяснить, что за какой-то возрастной границей, не по ту, а по эту ее сторону, я уже не особенно интересовался войной, просто она слишком долго длилась — с конца моего детства до конца моей юности. Тут уж перестаешь втыкать флажки в карту, гибель на фронте начинает казаться естественной смертью; вот еще один лишился руки, а отцы соседских ребят в один прекрасный день снова оказываются в Витебске, и ты уже почти забыл, что раньше, во время оно, когда они были там в первый раз, ты воткнул флажок в карту России, один из многих флажков.

С тех пор, хотел я по своей дурусти сказать поручику, я даже засунул подальше карту России, но в ту минуту поручик не занимался мной. Он, по-видимому, не мог договориться с моими сопровождающими о том, какой дорогой идти, да и о том, как обходиться со мной, тоже.

Но старший по званию одержал верх. Оба полустатских отстали от нас на несколько метров, а после того, как поручик несколько раз что-то крикнул им требовательным тоном, принялись громко болтать между собой. Так же громко, как когда мы ехали сюда, но, на мой взгляд, уж слишком громко.

— Теперь я дам вам инструкцию,— сказал мне поручик,— слушайте. До Раковецкой улицы около шесть-семь километров. Я говорю около, потому что нельзя знать точно — по какой-то улице не пройти и надо делать обход, там как раз откопали подвал и вытаскивают многие мертвые люди. Первые два километра выглядят, как здесь, дальше лучше. Здесь нельзя разобрать, что есть разрушено, там можно разобрать, что есть разрушено. Но если люди увидят, как вас ведут, они подумают: вы тот, кто все разрушил. Но моя работа и моих товарищей есть: мы должны сдать вас в Раковецкую неразрушенным. Так мы немножко будем делать игру. Тут идут два человека, там идут два человека. Пойдут другие люди, я буду говорить по-польски, тема будет немножко скучный, чтобы никто не интересовался. Я буду говорить про свою тетю, вы будете слушать, и слушать так, чтобы было видать — вы понимаете. Харада. Так говорят — харада?

— Шарада.— Сам я, по-моему, еще никогда не произносил этого слова, но читал.— Да, шарада.

— Ладно, делаем шараду: я показываю другу город и рассказываю про тетю. Вы когда-нибудь делали такую веселую шараду?

Я покачал головой, а он сказал:

— Говорите, говорите, когда никого нет поблизости, вы говорите. Поблизости ведь мало людей. Так вы еще никогда не делали такую веселую шараду?

— Такую веселую еще нет.

— Придется нам обоим учиться. Я начинаю: смотри, милый, милый Марек, мы с тобой находимся в гетто — в том, что от него осталось. Невозможно поверить, это есть все, что осталось от города, но когда видишь коробку с пеплом, тоже невозможно поверить — это есть все, что осталось от человека. Мы сейчас идем по улице Генся, это не похоже на улицу, это похоже на козью дорогу в Высоких Татрах, но это улица Генся. Так говорят по-вашему: козья дорога?

— Козья тропа, наверно.

— Козья тропа, очень хорошо. Улица Генся значит Гусья, Гусиная улица, а мы идем в направлении улицы Смоча. Вы что-нибудь слышали, ты слышал про улицы Гусиную и Смоча? Нет? Но, может, слышал про улицу Мила или Павя? Мила находится по ту сторону стены, по ту сторону лагеря, где, к сожалению, у вас не оказа-

лось никого знакомых. А Павя — мы сейчас по ней пойдём. Тюрьма Павяк, вы про нее слышали, ты про нее слышал, называется так по улице Павя.

— Я никогда не слышал этих названий.

— Это странно. Я думал, по вашему радио сначала играли музыку, а потом чей-то голос говорил: верховное командование сообщает — мы потопили улицу Смоча. Мы потопили улицу Павя. Мы потопили улицу Заменгофа. Но про него-то вы слышали, про Заменгофа Людвига?

— Нет.

— Но про эсперанто вы слышали?

— Про искусственный язык? Да, слышал, потому что мой отец и дядя...

— Можешь спокойно говорить, тракторист не поймет. Он видит — ты говоришь, но не слышит что. Думает, ты говоришь по-польски. Говори хоть по-немецки, хоть на эсперанто — он все равно не услышит.

Но я и не думал о трактористе. Я только подумал сам не знаю почему, что невозможно здесь рассказывать о моем отце и о дяде Йонни и об их споре по поводу эсперанто. Эта шарада была выше моих сил. Мне хотелось сейчас стать грязно-серой ящерицей, чтобы незаметно проскользнуть среди известковой осыпи и замшелых дверных обломков по Генся, Смоча и всем другим улицам и укрыться за красной стеной на Раковецкой, — не мог же я рассуждать здесь об эсперанто, как в кругу родных. Здесь, где три человека с оттопыренными карманами и служебными удостоверениями из-за меня разыгрывали шарату и шли порознь — из-за меня. Чтобы никто не принял меня за подкованного, а их за конвоиров. Чтобы никто не подумал: вот они ведут того, кто потопил улицу Мила и улицу Генся.

Но поручик сказал:

— Ты хотел рассказывать о твоём отце и твоём дяде и о Заменгофе.

— Нет, о Заменгофе я ничего не знаю.

— Это тот, кто придумал эсперанто. Глазной врач, польский врач.

— Этого я не знаю. Наверно, отец и дядя тоже не знали. Отец говорил, что эсперанто пригодился бы, если бы случилось поехать во Францию или в Италию, и вообще это хорошая вещь — ведь когда люди говорят на одном языке, они становятся ближе друг другу. А дядя спросил: когда ты наконец поедешь во Францию? Наш брат в последний раз побывал во Франции при кайзере Вильгельме. Отец сказал, что господин Шлодер — это был хозяин хлеботорговой фирмы, где работал отец, — тоже изучает эсперанто. Да, ответил дядя Йонни, тот, возможно, тоже поедет во Францию, но ему ясно, сказал дядя Йонни, что отец и господин Шлодер здорово сблизятся, если господин Шлодер как-нибудь в пятницу при выдаче жалования скажет: так, Нибуур, сорок восемь марок окладных плюс за четыре часа сверхурочных, итого сорок две марки сорок, — но скажет на эсперанто.

Говорил я торопливо и беспорядочно, ибо знал: все, что я мог бы сказать, здесь не к месту. На этих козьих тропах, званихся прежде улицами Гусиной, Смоча и Мила, среди этих наносов, этих присыпанных пеплом обломков бормотать что-либо, кроме молитв, было бы до ужаса неуместно, но молитв я не знал и потому бормотал что умел.

— Вот видишь, Марек, как интересно, — сказал поручик. — Твой отец думал немножко как добрый доктор Заменгоф, а я — я думаю немножко как твой дядя Йонни. Разве это не есть интересно? Как ты полагаешь, если бы мы оба знали эсперанто — ты и я, мы бы скорее договорились друг с другом? Как, по-твоему, если бы вы владели эсперанто, и люди на улице Мила и на улице Заменгофа тоже владели бы эсперанто — как, по-твоему, могли бы вы с ними договориться, что не будете потопить улицу Заменгофа, и Гусиную, и так далее?

— Я знаю, мой отец чаще всего бывал не прав, когда спорил об этих вещах с дядей Йонни.

— Вот что, — сказал поручик, — придется мне немножко защищать твоего отца, взять его под защиту — не всегда он бывал не прав, а разве он не поехал во Францию?

Это было не столь важно, но у меня мелькнула мысль: он хорошо разбирается

в моей биографии, может, когда-нибудь он все же в нее поверит. И еще я подумал, и это было уже более важно: разве не странно, что именно улица Заменгофа оказалась так перемолота? И пойдет ли мне на пользу, если я сейчас, прямо здесь, в пыли, стану на колени и поклянусь, что как в этом городе не тронул ни одного из этих бывших камней, так и в Люблине не тронул ни одного человека?

Что это отнюдь не пойдет мне на пользу, я смекнул сразу, смекнул я и то, что это мне только повредит — ведь условием шарады предусматривался путешествующий родственник, а не сомнительный тип, который бухается на колени среди обломков и начинает что-то вопить по-немецки. Это навлечет на меня и моих поляков других поляков, а никто из нас не знает эсперанто.

— Можно мне спросить?— сказал я, и поручик ответил:

— Если это не касается вашего следствия, пожалуйста.

— Нет, следствия это не касается. Это касается церкви. Просто чудо, что церковь осталась цела.

— Это и есть твой вопрос,— сказал он,— чудо или нет? Ты что, начинаешь интересоваться чудесами? Нет, то вопрос взрывной техники. Здесь не стреляли, здесь взрывали.

— Не стреляли?

— Стреляли тоже. Когда поднялось восстание, то стреляли и взрывали, а когда восстание подавили, то все взорвали, а укрытия вычистили огнеметами. На сто процентов — вы опять поставили мировой рекорд.

Нам встретились несколько человек, толкавших тележку с домашним скарбом, поручик наставительно заговорил со мной по-польски, пока мы не прошли мимо этой группы.

— Но я говорил совсем не про нашу тетю,— сказал он мне после,— я говорил о святом Августине — патроне этой церкви. Я сейчас мало что знаю о блаженном Августине, позабыл уже, но два положения Августина не можно забыть, если ты поляк и воспитан католиком: о первородном грехе и о предопределении. Люди не могут быть добрыми, то вина Адама, но некоторые избраны господом для вечного спасения. Этот район очень символичен: видно, что люди недобрые. И еще видно: уцелела даже церковь, которая получила имя святого избранника Августина. Очень символично.

Мне было неловко снова повторять, что я этого не знал, сегодня я говорил это слишком уж часто. Но каждый раз говорил правду: я не знал, как потопили этот город, не знал ничего ни о Заменгофе, ни о предопределении. И когда я почувствовал некоторый проблеск удовлетворения, я разозлился на себя и подумал: разве ты вправе испытывать удовлетворение только оттого, что ничего не знал?

— Твоему брату было бы сейчас двадцать три года, верно? — спросил поручик.

Как он хорошо знает мою биографию, подумал я, если бы он в нее еще и верил, и ответил:

— Да, примерно так.

— Как Мордехая Анелевичу,— сказал поручик,— слышал ты про Мордехая Анелевича?

Я ненавидел его и себя за то, что вынужден был опять сказать «нет», но сказал:

— Нет.

— Ему было двадцать три года, и он стал вождем еврейского восстания против вас. Можешь ты себе представить своего брата в качестве вождя восстания?

— Если бы наша мать ему не помешала бы, то вполне,— сказал я.

А с поручиком произошло вдруг нечто невообразимое: он рассмеялся — в таком месте и над тем, что сказал ему я. Но рассмеялся не зло. Рассмеялся, как смеется человек, болтая со своим родичем, который вдруг сострил.

— Моя мать тоже была такая,— заметил он и на время умолк.

— Этот Мордехай Анелевич в свои двадцать три года совершил два невероятных дела. Первое: небольшая часть этого города поднялась против всей гитлеровской Европы. Вы тогда еще были в Африке и в Норвегии и вторично заняли Харьков, и тут как раз тихие евреи восстали.



Он шел рядом со мной, качая головой, и было так естественно заразиться его изумлением, что я отважился спросить:

— А что второе совершил этот Мордехай — какое второе невероятное дело?

— Этому тебе не понять, — ответил он, — но раз я сказал два дела, то теперь расскажу и о втором. Вот второе невероятное дело, которое он совершил, — я сам знаю два случая, когда добрые католики, отец и мать, окрестили сына Мордехаем. А ведь пока еще мало семей, где народились новые дети.

Он был прав, я не вполне его понял, хотя обращение пана Домбровского с паном Херцогом навело меня на эту тему, но, к счастью, я вовремя сообразил, что здесь, на развалинах улицы Смоча, мне непозволительно интересоваться этой темой.

Я поскользнулся деревянной подошвой на каком-то куске металла, не видимом под слоем кирпичной пыли, а поручик сказал:

— Не ломай себе еще и ногу о трамвай, пожалуйста.

— Трамвай, — переспросил я, — такая это была большая улица?

— Да, — ответил он, — этого теперь не видно, но это была большая улица большого города. Трамвай и много магазинов, много заводов, много ремесленников и много людей. Мальчишкой я жил на Железной, она тут поблизости, в двух шагах, а моя тетка жила возле Данцигский вокзал, так мы ездили к ней на трамвае. И вот почему эта дорога почти совсем не осталась у меня в памяти: я его ненавидел из-за нарядного костюма, который меня заставлял надевать всякий раз, когда мы ездили к тете. А теперь представь себе нарядный костюм и эта дорога. И еще в трамвае отец с матерью всегда ссорились, отец требовал, чтобы мать с ним держать пари, кто из пассажиров сойдет на углу Генся — Заменгофа, где тюрьма. Мать говорила — этим людям и без того неприятно, что приходится посещать тюрьму, так нечего еще держать на них пари, но отец говорил — у кого есть родные в тюрьме, те привыкли и не к такому. И когда мы приезжали к тете, отец и мать были совсем злые, но от тети они это скрывали. Может быть, от нее ждали наследства, не знаю. Ну вот, сейчас за углом и будет Железна, а гетто здесь как раз кончается. Разве я не говорил: здесь видно, что есть разрушено — где разрушенный жилой дом, где разрушенная мастерская или разрушенный склад.

Наши спутники, шедшие за нами чуть поодаль, что-то крикнули, из чего я понял лишь обращение «пан поручик», а поручик, подождавший их, видимо, сразу им сказал, что коль скоро мы играем в шараду, то не надо звать его паном поручиком. Они с виноватым видом приняли это к сведению, и оба одновременно стали в чем-то убеждать моего допросчика, через несколько минут он с ними согласился, после чего те двое снова отстали.

— То полицейские, — сказал поручик, — они сказали, уже конец рабочего дня, и вынудили у меня согласие сделать крюк, чтобы один мог зайти к жене. Ладно, что значит какой-то километр, когда речь идет о жене. Но что значит километр, когда речь идет о жене другого. Ну вот, это и есть Железна, где я жил. Нет, не здесь, а подалее, на углу улицы Злотой.

— Скажите, пожалуйста, — заговорил я, — пока мы не дошли до вашего дома, можно мне задать вам еще один вопрос?

— Если он не имеет отношения к следствию, — ответил он.

— Конечно, нет, — сказал я, — он касается опять же тех разрушенных домов, по которым уже нельзя узнать, что это были за дома. Люди, которые там жили... Те, что были в домах, когда... Неужели они тоже?.. Неужели мы их тоже?..

— Вы их тоже, — ответил поручик. — Большинство. Говорят, здесь погибло шестьдесят тысяч человек, а остальные до этого и после этого попали в Треблинку, что же касается их пребывания в Треблинке, об этом вам лучше всего спросить у кого-нибудь из ваших соседей по камере. Скажите им просто: слушайте-ка, ребята, кто из вас был в Треблинке и знал там людей, живших прежде на улице Мила и улице Заменгофа, может, тот мне скажет, что с ними случилось?

— Такие вопросы у нас не обсуждаются, — сказал я.

Он рассмеялся и похлопал меня по плечу. Сначала я подумал, что он это сделал

из-за прохожих, которых в этом более оживленном районе попадалось чуть больше, но, видимо, ему просто понравился мой ответ, он несколько раз повторил:

— Такие вопросы у нас не обсуждаются... Это интересно. Скажите: а какие вопросы у вас обсуждаются? Я вас не заставляю выбалтывать мне секреты. Дайте общую характеристику.

— Это очень трудно,— сказал я.— Я понимаю, что вы имеете в виду под общей характеристикой, но когда с тобой вместе сидят восемьдесят девять человек, это трудно. Пожалуй, можно сказать, что разговоры ведутся о том, насколько лучше было раньше. Каждый рассказывает о самом радостном событии своей жизни.

— Это интересно. Ну, ясное дело, они говорят: раньше было лучше, когда мы загоняли людей в Треблинку, нам было лучше. Сегодня нас загнали в Раковецкую и сегодня уже не так хорошо. Но самое радостное событие в жизни — то действительно интересно. Не будет ли слишком нескромно спросить — какое событие вашей жизни выбрали вы как самое радостное?

Должно быть, я так удивленно воззрился на него, что он понял, в чем дело, расхохотался и сказал:

— Вы думаете, что же это он — раньше спрашивал меня, спрашивал и не говорил про нескромность, а сегодня вдруг взял и заговорил? Но тут есть разница. То я спрашивал на следствии в Раковецкой, а теперь спрашиваю в беседе на Железной, где я провел свое детство. Но на Железной вы отвечать не обязаны.

Оттого, что это было почти одно и то же, и оттого, что я ему уже почти доверял, я сказал:

— Тогда вы могли бы и в Раковецкой вернуться к этому вопросу. Но точного ответа на него нет. Я сказал, что самый радостный день моей жизни у меня еще впереди — день, когда я выйду из тюрьмы.

— Это я могу понять, это был бы для вас прекрасный день. Смотрите, вон там, внизу, стоял наш дом. Конечно, теперь его уже там нет, и место, где он был, видно отсюда только потому, что других домов, которые раньше стояли впереди, теперь равным образом нет. Можно в этом случае сказать «равным образом»?

Он заговорил со мной на ласково-задушевном польском языке; мы проходили мимо кучки недоверчиво поглядывавших на нас людей, которые, кажется, торговали чем-то из-под полы.

— Теперь я действительно говорил о своей тете, я боялся, что среди этих спекулянтов кто-нибудь меня знает.

— Боялись? Вы? А с вами-то что может случиться?

— Что вам кто-нибудь проломит кирпичом череп. А я, по-вашему, что смогу сделать? Теперь будьте внимательны: если я сниму шапку, снимите и вы, а когда я надену, вы тоже наденьте. Поняли? А теперь ни слова по-немецки.

Через несколько шагов он снял шапку, я сделал то же самое, и мои сопровождающие позади нас поступили так же. Слева от нас к стене дома была прибита деревянная доска, а под ней лежал венок и во всевозможных сосудах стояли цветы.

Когда все мы снова надели шапки, я сказал:

— Разрешите спросить?

— Да, я полагаю, вы хотите знать, кому отдали честь шапкой?

— Да.

— До Раковецкой вам придется еще несколько раз снимать шапку. Везде, где ваши расстреляли людей. Заложников, так по-вашему?

— Вы хотите сказать «заложников», без «е».

— Большое спасибо. Но все-таки есть.

— Что есть?

— Такое слово без «е».

— Да, это очень старое слово. Из средних веков.

— Верно, в средние века оно существовало. Но здесь расстреливали не в средние века. Вы, конечно, ничего об этом не знаете?

— Что заложников расстреливали? Почему же, знаю. Когда я был солдатом, нам объявляли: если совершенно нападение, то в наказание берут заложников.

— Ага,— откликнулся поручик,— значит, вот как вам объявляли? Я спрашиваю

потому что мне это интересно. Объявляли, значит, так: поскольку злые поляки совершили нападение на мирных немцев, то злых поляков теперь в наказание надо расстрелять как заложников. Или так: поскольку некоторые поляки опять противились тому, что мы с тридцать девятого года стреляем польских людей.

— Нет, мне кажется, нам просто говорили: в возмездие за нападение сегодня по законам военного времени расстреляна группа поляков.

Поручик по-родственному обхватил меня за плечи и, так как теперь мы шли по очень оживленной улице, сказал мне в самое ухо, сказал очень спокойно, отчего его слова ничуть приятней не стали.

— По законам военного времени? Ну, это уже кое-что. Почти что законно, верно? Но точно вы не помните, так ли это говорилось или не так. Теперь я задам вам вопрос. Он не касается вашего следствия, он касается вашей, твоей жизни. Тебя не удивляет немножко, что тебе всегда все только кажется, а знать ты не знаешь, а между тем дело шло о жизни людей? Разумеешь? Не надо разве, если дело идет о жизни людей, точно, совершенно точно узнать, совершенно точно рассмотреть, совершенно точно расслышать, совершенно точно спросить, совершенно точно подумать?

— Это верно.

— Это верно, говоришь ты теперь, но ты не говоришь того, что должен сказать, если ты честный. Если ты честный, ты должен сказать: меня учили, что поляки недо-человеки, а мы сверхчеловеки. Так тебя учили?

— Но это же была пропаганда,— сказал я почти шепотом: я очень боялся, чтобы люди вокруг не кинулись на нас за нашу немецкую речь.

— Пропаганда? Ты хочешь сказать, пустые слова, без всякого значения, без значения для тебя? Ну-ка посмотрим! Были у вас в Марне польские рабочие, с буквой «П» на куртках?

— Да, но они работали главным образом у крестьян.

— Но они были?

— Да.

— В городе иногда тоже?

— Да.

— Вот ты идешь по тротуару, идет навстречу поляк с буквой «П», место есть только для одного — кто кому уступит дорогу?

— Мне кажется... Нет... Нет, не так: мне кажется, поляк сходил с тротуара, а я оставался.

— Разве ты был такой старый, а поляк такой молодой?

— Нет.

— Разве ты была старая женщина, а поляк молодой человек?

— Нет, но я понимаю, что вы имеете в виду.

— Что я имею в виду?

— Поляк или полька сходили с тротуара, уступали место, потому что они были поляки, а я оставался наверху, потому что был немец. Вы ведь это имели в виду?

— Это и кое-что еще. Тебе приходило в голову — когда навстречу шла женщина с буквой «П», хотелось тебе уступить ей дорогу?

— Могло быть, что я сперва думал, то есть я хочу сказать, конечно, думать тут особенно не над чем, но все-таки я сперва думал — вот идет женщина, и уже готов был сойти с тротуара, так могло быть.

— Но потом ты замечал — это женщина с буквой «П», и оставался на тротуаре.

— Да.

— Пропаганда, значит? Так, сейчас мы пойдем в обход, потому что коллеге надо зайти к жене. Ну, для обхода бывают и худшие причины. Это был Главный вокзал, а это Аллеи Ерозолимске, великолепный большой проспект, ведущий к Висле. Его еще можно узнать, верно?

— Да, это не то, что раньше.

— Что раньше? Ах, гетто. Да, это не то. Твоей матери сейчас сорок два года?

— Точно, сорок два.

— Не молодая, но и не старая женщина. Можешь ты себе представить — она

идет по Марне, как мы идем по Варшаве. На куртке у нее буква «Н», и когда на встречу идет англичанин, она должна сойти на мостовую, сойти с тротуара, потому что носит «Н», а идет человек, ему двадцать лет, но он англичанин и настоящий человек. Можешь ты это себе представить?

— Я бы не хотел.

— Это я понимаю. И ты пойми: я тоже не хотел представлять себе, как моя мать с буквой «П» ходит в Марне по улице и уступает тебе дорогу, когда ты идешь на встречу.

— Это я тоже могу понять,— сказал я.— Но к некоторым вещам привыкаешь, потому что так делают все.

— Конечно,— сказал поручик,— конечно, привыкаешь. Поляки должны сходить с тротуара, поляки должны носить на куртке опознавательный знак, поляки должны ехать работать в чужую страну, поляки должны быть расстреляны как заложники, если другие поляки оказали сопротивление сверхчеловекам. Привыкаешь сталкивать поляков с тротуара и ставить к стенке. Везде, где мы проходим, сняв шапку, немецкие солдаты стреляли, так как они привыкли, что поляков можно расстреливать. Пропаганда.

— Им же приказывали это делать,— сказал я и заметил, что сказал слишком громко, потому что прохожие стали оборачиваться на меня, и тогда поручик обрушил на меня целый поток польских слов, а я из осторожности кивал ему в ответ.

Только оглянувшись несколько раз через плечо, мой польский родич опять повел свою тихую немецкую речь:

— Пожалуйста, не так громко. Некоторые мои земляки привыкли всякого немца хватать за горло. Говоришь, им приказывали. Знаешь, Марек, если я возьму результаты всех допросов, которые я целый год учинял немцам, то выйдет у каждого немца два отделения. В одном он действовал по приказу, в другом был свободен, сам себя освободил. В отделении «по приказу» он делал все плохие дела, а в свободном сделал много хороших дел. И еще от допроса такой результат, что плохие дела делались лишь ради того, чтобы можно было делать хорошие. Если послушаешься плохой приказ, можешь потом делать много хороших дел. Я не хочу говорить про твое следствие, но все-таки почему ты еще ничего не рассказал о хороших делах, которых ты так много сделал для польских людей?

— Потому что я ничего такого не сделал.

— Никого не прятал от злых фашистов?

— Нет.

— Никого не защищал от побоев пьяного крестьянина?

— Нет.

— Никому не давал теплую куртку, горячий суп, сигареты, окурки?

— Не давал.

— Если так, Марек, то должен тебе сказать — ты очень странный немец. Немец, который не помогал, выйдя из отделения «по приказу», бедным польским людям. Приходится думать, Марек, ты обращался с поляками как со своими врагами. В отделении «по приказу» одинаково, как в свободном отделении. Очень необычно, Марек. Как ты думаешь... Шапку долой... Может, ты даже стал бы стрелять в польских людей — вот здесь, у этой стены?

— Я этого не могу себе представить, наверно, просто не хочу.

— Ну, скажем, не можешь, так я тебе помогу. Предположим, в Варшаве воскресенье, дело к вечеру, ты стоишь на квартире в Варшаве, чистишь мундир, потому что намерен поразвлечься — пойти с товарищами в кино для вермахта, или в пивную для вермахта, или в бордель для вермахта, или в польский парк только для вермахта, и вдруг — тревога, вы грузитесь в «опель-блиц» и едете сюда. Фельдфебель говорит: польские недочеловеки стреляли в наших немецких товарищей, будем ловить заложников. Все ругаются: вот дерьмо; какие уж тут развлечения, ловить заложников — удовольствие маленькое, но ведь это приказ, и в парк для вермахта теперь не пойдешь, надо ловить заложников. Вы приезжаете на угол Аллеи Ерозолимске и Познаньской улицы, домов здесь после восстания немного, но несколько еще осталось, и приказ гласит: схватить двадцать польских людей. Но дело такое: когда вы приедете, польские

люди, которые стреляли, уже давным-давно попрятались. На улице стоит одна бабушка и вместе с другой бабушкой сует на войну, и вот идет еще бабушка с двумя ведрами воды. Мимо бредет старик сапожник. Его любят дети за то, что он всегда рассказывает им всякие занятные истории, и сейчас за ним тоже бегут трое ребятшек. А вон там в подъезде стоят пятеро подростков, скоро им прицепят букву «П» и отправят в Германию, но пока они для этого еще маловаты. Какая-то пани ходила навещать больную кузину и теперь радуется, что встретила пожилой пан Малиновский. Из двери дома выскользнул Млотек, он опять был у пани Винярской. Выстрела Млотек не слышал, оттого что пани Винярска была так восхитительна; что касается других, большинство не слышали тоже или слышали, но подумали: что поделаешь, каждый день стреляют. Но ваши грузовики они слышат, и кто достаточно подозрителен и достаточно проворен, тот скрывается, а остальных вы ловите. «Всего одиннадцать! — орет фельдфебель. — Да еще почти одни старухи. Давайте, ребята, быстро по квартирам, тащите парочку парней, чем скорее их наберется двадцать, тем скорее мы с этим делом покончим». Это ведь приказ, верно? И вы тащите одного за другим, пока их не наберется двадцать. На твою долю достается, скажем, сапожник. Сперва ты думаешь, — ах, да ведь это несчастный старик, но потом твоя мысль идет привычным ходом. Тебе приходит в голову, что ведь этот старик — поляк, а это уже совсем другое дело. И вот они все стоят у стены этого дома, фельдфебель их пересчитывает, верно, двадцать, и он докладывает офицеру в кабине «опель-блиц»: двадцать заложников, как скомандовано... Скомандовано?

— Как приказано.

— Взято двадцать заложников, как приказано.

— «Чего вы еще ждете?» — говорит офицер. Фельдфебель отдает команду, и вы стреляете. Может, ты попадешь в сапожника, ты его привел, ты и доведешь дело до конца, или попадешь в Млотека, который немного моложе тебя. Но ведь это все равно, в кого ты попадешь, потому что ты стреляешь в поляков, в польских заложников, стреляешь в наказание, не по своей воле, но служба есть служба, так?

— Не могу себе представить, чтобы так было на самом деле, — ответил я и оглянулся на мемориальную доску: теперь я понял, почему стены, к которым были приделаны эти обставленные цветами доски, так густо усеяны щербинами.

— Конечно, не можете, — сказал поручик. — У вас не хватает фантазии. Но разве мало вам было увидеть этот город, чтобы вообразить себе любые кровавые картины?

— Не могу представить себе, чтобы я стрелял в старика сапожника. Ведь дед мой был сапожником.

— Знаю, — ответил поручик, которому я уже сто раз писал свою биографию, — но вы не должны забывать: в польского сапожника. И вам дали команду. Но, может, вам больше хочется выстрелить в Млотека, на него вы даже вправе злиться: он нежился с пани Винярской, а вам не дают и на блицминутку затащить девчонку в кусты.

— Я ни в кого не хочу стрелять.

— Теперь-то уж об этом позаботились, но мы с вами обсуждаем прошлое. У нас с вами такая шарада, что вам дали команду расстрелять польских заложников. Как думаете, стали бы вы стрелять?

— Я не убийца, — ответил я.

— Вы имеете в виду ваше следственное дело или нашу беседу?

— И то и другое, если позволите.

— Нет, не позволю. Но что касается нашей беседы, то я не говорил, что вы убийца, я говорил, что вы нацистский солдат.

— Я не был нацистом.

— Может быть. Только солдатом нацистов. Думаете, для старика сапожника, и юноши Млотека, и пожилого пана Малиновского была большая разница, кто их расстреливает в воскресный вечер в их родном городе — убийца, или солдат-нацист, или солдат нацистов?

— А я вообще не думаю, что дело было так, как вы говорите.

— Ну вот что, Марек, дорогой мой родич-незнайка, я больше тебя убеждать не буду. Я тебя отошлю к экспертам. Когда ты немного погоды вернешься в Раковецкую, то — чего уж лучше — спроси своих сокамерников, как расстреливали заложников. Я

знаю, такие вопросы у вас не обсуждаются, но, может, ради тебя сделают исключение, потому что ты молодой и любознательный. Скажешь генералу Эйзенштеку: господин генерал, я не знаю, как мы расстреливали заложников, пожалуйста, объясните мне, господин генерал.

— Эйзенштейк?

— Эйзенштейк и некоторые другие. Но следствие еще не закончено и если будут, если есть другие случаи, мы их обсуждать не станем. Но ты спроси. Спроси о расстрелах заложников, о Треблинке. Попробуй еще спросить, может ли кто из них подтвердить тебе, что там поляки плетут про гетто. Это, наверно, польская пропаганда. Или — и тут мы совсем чуть-чуть заднем твое следственное дело: может, ты действительно не тот, за кого тебя приняла та женщина, и тогда ты вправе думать — насчет меня поляки ошиблись. А следом придут другие мысли: поляки ошибаются не только насчет меня. Поляки плохо со мной обращаются. Полякам верить нельзя. Спроси-ка, спроси своих товарищей насчет Треблинки и гетто. Шапку долой.

Я взглянул украдкой на доску у изрытой пулями стены и, прочитав на ней число расстрелянных, с идиотским облегчением подумал: только одиннадцать! Мой допросчик, который явно знал обо мне больше, чем я писал в своих биографиях, сказал:

— Только одиннадцать, здесь вы, очевидно, торопились. — И прибавил: — Я не знаю, что тебе ответят твои соседи, когда ты будешь их спрашивать насчет заложников, и потому объясню тебе еще кое-что. Не всегда фельдфебель говорил: «Отпустите старух и детей». Иногда вы только женщин и детей брали. В сорок четвертом во время восстания вы вытащили женщин и детей из подвалов церкви Святого Креста и погнали впереди ваших танков. Так вы наступали на нашу баррикаду на улице Новы Свят. Это значит в переводе новый мир. Дети перед танком, чтобы в него нельзя было стрелять. Таков был ваш новый мир. Спроси у себя в камере, может, кто сидел в таком танке. Скажи ему, когда я приду для допроса: я был на той баррикаде и я его видел. Я вас видел.

В первый раз за все время, что я его знал, а я его знал уже довольно давно, он говорил, задыхаясь от гнева, и, наверно, забыл, о чем мы с ним условились ради нашей безопасности, а я от страха тоже забыл, что он запретил мне говорить о себе и своем следственном деле.

— Извините, но меня вы не видели, — сказал я. — Меня вы не могли видеть во время восстания. Меня здесь не было.

— Заткни свою кровавую пасть! — рявкнул поручик.

Долгое время мы шли молча по выгоревшим и заваленным обломками улицам; я чувствовал, что человек рядом со мной едва сдерживается, чтобы не схватить меня за горло. Я затаил дыхание и старался издали углядеть каждый из тысяч камней на дороге; не споткнуться, не кашлянуть, быть невесомым, незримым, как призрак, ибо если он заметит, что в тебе еще есть жизнь, он из тебя ее вышибет.

Но по дороге нам пспались еще две доски, и оба раза я снимал шапку. После второго раза поручик наконец сказал:

— Это интересно: ты привык, что особа с буквой «П» должна сойти с тротуара, а я привык, что особа в твоей форме стреляет в женщин и детей. Ты свою привычку приобрел в Марне, я свою привычку приобрел в Варшаве, на баррикаде улицы Новы Свят. Знаю, ты думаешь — пропаганда, мол. Есть такое выражение — «страшные сказки». Вот что я тебе скажу: с сентябрь сорок четвертый год я верю в любые страшные сказки. Потому что сам пережил страшную сказку. По ночам я часто вижу вас во сне. На нас катит танк «тигр», люди молятся и берут винтовки. Потом мы видим перед танком людей и, разглядев, что это женщины и дети, понимаем, почему танк идет так медленно. Он должен быть осторожный с заложниками. Они ему еще нужны, пока он не подъехал вплотную к баррикаде. Потом он может раздавить и баррикаду и заложники, но сейчас «тигр» вынужден ехать совсем медленно. И сейчас мелькает мысль: который был тогда на баррикаде, надо стрелять; это наши женщины, наши дети, но ведь если танк подойдет совсем близко, он раздавит их тоже, их и баррикаду. Значит, надо стрелять и отстоять баррикаду. Мы не стреляли, дали «тигру» подойти, спрятались со своими ружьями, танк раздавил все — в этот момент всегда просыпаешься. Я верю в любые страшные сказки. Вы нас к этому приучили.

У него снова сделалось каменное лицо, и я несказанно обрадовался, услышав голоса двух других сопровождающих. Мы остановились перед наполовину уцелевшим домом, у входа один из полуштатских передал что-то другому, отчего у того оттопырился и другой карман, и тогда мы втроем зашагали дальше. Мои спутники говорили, наверно, о своем товарище и его жене, у которой он остался,— такие разговоры узнаются по тону, но через несколько минут поручик все же приказал второму снова от нас отстать.

— До тюрьмы уже недалеко,— сказал он,— здесь люди увидят, что три человека идут в Раковецкую. Это как в трамвае на углу улиц Заменгофа и Генся. Мне бы не хотелось, чтобы люди держали на нас пари. Если будет еще одна идентификация, мы пойдем по другой дороге. А может, машина к тому времени будет уже в порядке. Мы поедем по Мокотовской, через площадь Трех Крестов, на Новый Свят. Я покажу тебе на Краковском предместье церковь Святого Креста. Не бойся, женщин с детьми я упоминать не буду, мы опять разыграем шараду. Я буду упоминать только то, что показываю приезшему родственнику,— столп, или, как это говорят, столб, в котором замуровано сердце Шопена. Мемориальные доски в память писателей Пруса, Крашевского и Словацкого, а также генерала Сикорского. Я рассказываю о барокко, мы делаем шараду.

Я хотел отвлечь его от воспоминаний о страшной сказке и потому сказал:

— Я, конечно, не хотел бы вас обидеть, но я этих имен еще никогда не слышал. Он немного подумал, потом ответил:

— Этим ты обижаяешь не меня. Тебя не учили, что существуют польские писатели. Но тебе наверняка известен Шопен — я произношу его имя на французский манер, как произносят немцы и, разумеется, французы, а может быть, и другие, только не поляки. По-нашему — Шопин.

— Ах, этот. Да, я когда-то слышал, что он был поляк, но я плохо разбираюсь в музыке.

Мы завернули за угол, и я узнал Раковецкую улицу. Мне хотелось понять, насколько лучше мое положение теперь, чем когда я шел сюда в первый раз. У меня был сейчас другой конвой, но я все еще назывался тем именем, которое дала мне незнакомая женщина на Праге. Нет, лучше мое положение не стало, потому что сегодня я увидел еще часть этого города. Я услышал, что рассказывают про нас в этом городе, как же могло мое положение улучшиться?

И оттого, что это был день страшных сказок и осязаемых ужасов, день шарады, день игры, в которой из картин складываются имена, мое самое отчаянное, самое безумное «я» делая мысль: все-таки сегодня твое положение лучше.

Но я недолго останавливался на этом странном утверждении — в эту минуту мы как раз проходили мимо целехонького домика, на котором красовался пышный герб, а выше реял красно-бело-синий флаг.

— Голландское посольство,— сказал поручик,— вы были в Голландии?

— Нет,— ответил я,— только в Польше.

— И даже не доехали до Люблина,— заметил он.

— Только до люблинского вокзала.

— Это предмет расследования,— сказал он,— но я вот о чем подумал: если сегодня в тебе опознают хорошего человека, как бывает в хороших сказках,— такие тоже есть, есть страшные сказки, но есть и хорошие сказки,— так вот, если в тебе опознают одного из многих немцев, которые только и делали что давали полякам горячий суп и защищали поляки от злых эсэс, тебя сразу отправят домой. Ну и что у тебя останется в памяти от Польши?

Я мог бы ему ответить, что для меня это не столь уж важно, лишь бы мне снова увидеть Марне, но предпочел вслух этого не говорить; тогда он ответил себе сам.

— Ты видел страну в огне войны. Твоей войны. Видел дома, которые горят, и дома, которые сгорели и стали похожи на пепел в коробке. Ты не побывал ни в церкви, ни в музее, ни в парикмахерской, ни на ярмарке, ни в школе, ни на стадионе. Польские стены были для тебя стены тюрьмы или укрытие от русских танки. Польские дороги показались тебе козыми тропами, такими же длинными, как путь из Конины в Лодзь. Польские поэты тебе неизвестны. Польские музыканты, по-твоему, французы. А поль-

ские люди? Кого из них ты успел узнать? Тех, что попрятались, когда ты пришел, и тех, от кого тебе самому хочется убежать подальше? И тех, кому не следует знать, что ты здесь? Польские люди, сидящие в тюрьме по уголовному делу, и другие польские люди, следящие, чтобы заключенные не убежали. Которые расследуют, правду ли говорят заключенные. Ты запомнишь Польшу как скверную сказку.

— Скверную-то скверную,— отозвался я,— но вот сказку ли?

— Это покажет следствие,— сказал он и вскоре затем через дверцу в воротах № 37 на улице Раковецкой сдал меня в тюрьму, где словно в знак свершившейся перемены усатого солдата на этот раз не было.

## XXII

Газовщик-рейнец воскликнул:

— Встать! Шут идет!

Большинству моих сокамерников этот возглас показался очень смешным, и они даже вытянулись по стойке «мирно», пока он мне рапортовал:

— Господин обер-старший, разрешите доложить: землячество «Варшава» на берегу Вислы опять в полном составе. Настроение бодрое. Ну-ка выкладывай, что они тебе показывали — хорошенький польский городок или хорошеньких польских девочек?

— Остатки того и другого,— ответил я. И в полной растерянности от обступивших меня страшных картин прибавил:— То, что вы оставили после себя.

Настроение сразу испортилось. Газовщик запротестовал: он-де впервые в этой дыре и, конечно, не по своей воле, хватит с него и того, что поляк засадил его сюда за присвоение власти. Так что уж к разрушению города его, пожалуйста, не припутывайте.

— Который, кстати, и до войны чистотой не блистал,— вставил майор Мюллер, наш третий Мюллер.

Я удивился его реплике — такая в ней звучала холодная ненависть, да он и не говорил раньше, что знает Варшаву.

Вскрики вроде «Польские порядочки!» меня не удивили, эти слова я услышал впервые не здесь, в камере, и не в Польше, и не во время войны. «Польские порядочки» было выражение, означавшее хронический беспорядок, все равно как слово «рукоделие» означает ручную работу, а слово «хедер» — шумную суматоху.

— Тихо, здесь вам не хедер! — прикрикнул на расшумевшихся гауптштурмфюрер и, добившись тишины, сказал мне:— Слушайте, вы, малолетний пердун, разделение на «вы» и «мы» остается за пределами этой клетки. Здесь внутри есть только «мы», а кто этого соблюдать не желает, тот угодит в нужник, и не просто так, а будет по кускам спущен в трубу. Меня поняли?

— Все поняли,— ответил я,— и вчера еще вы могли бы произвести на меня впечатление. Но сегодня уже все. Не желаю иметь с вами ничего общего.

— Понимаю вас,— сказал он, и сказал довольно любезно,— вполне вас понимаю, однако иначе не пойдет. Мы все повязаны одной веревочкой, неужели ты этого не уразумел, мой мальчик?

— «Мой мальчик» — так обращался ко мне только мой отец, когда бывал в приподнятом настроении, а вы для меня старый пердун, да еще сию минуту грозились по кускам спустить меня в уборную.

Он, казалось, обдумывал, не должен ли немедленно пресечь подобные речи, потом с большим самообладанием сказал:

— Ладно, пердун против пердуна дает ничью, молодой и старый — это почти соответствует действительности, а отсылка к фановой трубе объясняется некоторым раздражением. Обращение «мой мальчик» больше не повторится, коль скоро это привилегия отцов,— теперь все в порядке, солдат?

— Допустим,— отозвался я.

Я не обольщался на его счет, но был рад, что таким образом выбрался из затруднения. К тому же я перехватил недоумевающий взгляд крестьянского фюрера Кюлиша и еще нескольких дураков, в чьих глазах их гауптштурмфюрер сразу слегка слинял, и тогда заметил, что все эти и пружины во мне наконец ослабли.



Ян Беверен, у которого рука все еще была обмотана мокрой тряпкой, тоже, должно быть, это заметил: он внимательно оглядел меня и спросил:

— Что они там с тобой сделали?

— Ничего,— ответил я,— решительно ничего такого, что ты, по-видимому, предполагаешь. Они мне действительно только показали город. Кстати, голландское посольство тут совсем рядом — разве они не обязаны о тебе позаботиться?

Этот вопрос привел его в ярость, и я тут же узнал почему — он почти что выхаркнул мне в лицо:

— Они? Они уже позаботились. По их милости я здесь и сишу. Они выдали меня, схватили в моей родной стране и крикнули полякам: если вам нушен наш земляк Беверен, вот он, приходите и берите бесплатно и в упаковочке!

— Надо думать, какая-нибудь афера с тюльпанами,— сказал майор Лунденбройх. Ехидно сказал, и меня это удивило: храбростью он не отличался, а с костлявым шутить было небезопасно. Правда, я здорово придавил тюльпанщику руку, а Лунденбройх, возможно, улавливал малейший оттенок слабости.— Может, у вас на родине считают, что вы выдали тайну королевских лукович, а красу и гордость Нидерландов ткнули в землю в каком-то захолустье, в каком-то Аушвице. За это вас надо посадить, а поскольку в нидерландских исправительных заведениях заключенным живется слишком сладко, вам же надлежит искупить свою вину потом и кровью, то вас отправили в Польшу. Но кроме шуток: я просто не представляю себе, чтобы выдача Польше гражданина Нидерландов могла считаться законным актом.

Очередной раз выяснилось, что и все остальные сомневаются в законности подобного акта. Среди нас оказалось множество юристов, и если по другим вопросам они без конца спорили, то в этом всегда сходились. Едва ли не все, что с нами делали, они находили незаконным.

Но так как подобная болтовня столь же мало могла возратить нам свободу, как обмен кулинарными рецептами пойти на пользу желудку, то я решил извлечь из познаний своих соседей что-либо полезное для себя.

— А как обстоит дело с заложниками,— спросил я,— законно это или нет? Я хочу сказать, законно ли брать заложников?

— Приятель,— воскликнул главный комиссар Рудлоф,— значит, тебя взяли в оборот за взятие заложников?

Я не мог понять, чему он так радовался, задавая мне этот вопрос. Но его я вообще не переваривал и не стал бы ему объяснять даже, которая рука у меня правая, а которая левая, а потому просто его не слушал.

Однако генерала Эйзенштека я слушал и по его ответу понял, что он дает его не впервые. Не впервые мне и не впервые другим, да и про себя генерал, видимо, уже не раз твердил эти объяснения.

— Задержание гражданских лиц в качестве заложников для обеспечения мира или мирного поведения населения является законным. Право войны вполне допускает увод жителей оккупированной территории в качестве заложников, дабы пресечь их дальнейшие действия, противоречащие международному праву.

Я не считал возможным усомниться в разъяснении генерала, но так как незадолго до того я не считал для себя возможным даже обратиться за разъяснением к генералу, да и фекально-кишечные упражнения другого нашего генерала несколько поубавили мое почтение к этому высокому званию, к тому же разговор между нами был разговором между бывшим председателем совета старейшин и новоиспеченным старшим по камере, то я искал возможность прицепиться к генеральскому ответу каким-нибудь «но».

— Но...— начал я и должен сказать, что заботился только о том, чтобы оказаться правым, а не о праве, о котором не имел понятия, полагая лишь, что оно на моей стороне.— Но,— начал я,— разве население оккупированной территории обязано вести себя мирно? То есть законно ли было требовать, чтобы они держали рот на замке?

— Меня понемногу начинает интересовать,— подал голос комиссар Рудлоф,— где это вы сегодня побывали? Вам что, впрыснули кой-чего в башку? — спросил он.

Лунденбройх, который расходился с гестаповцем во мнениях насчет гестапо,

опять пришел мне на помощь. Сегодня уже второй раз, и я не преминул взять это на заметку.

— Странно, комиссар,— вставил он,— что вы считаете, будто молодой немец нуждается в польской подказке. Настолько мало доверия к своим? Господи, конечно, такова была ваша профессия, но пора вам наконец с ней покончить.

Генерал Эйзенштек позволил сперва своему майору разделаться с гестаповцем и лишь потом дал ответ мне, но он его дал, и я заметил, как он неприятно удивлен.

— В самом деле, солдат, в самом деле, гражданское население оккупированной страны обязано держать рот на замке, если воспользоваться вашим образным выражением, солдат.

— Почему? — спросил я.

Из сумрака давно минувшего выплыло ощущение удовольствия, которое я когда-то испытывал, задавая этот вопрос, и выплыло также воспоминание о той ярости, в какую можно было привести взрослых, если достаточно долго приставать к ним со своим бесхитростным «почему».

Генерал Эйзенштек был очень взрослый, и он очень долгое время был защищен от всяких докучливых «почему», поэтому он все больше и больше приходил в ярость.

— Потому что если позволить враждебному гражданскому населению болтать и судачить, так нечего и воевать.

— А расстреливать заложников тоже законно? — спросил я, и на секунду у меня мелькнула мысль: не полезет же генерал со мной драться.

Я получил в ответ четкое и твердое «да!», а он получил мое четкое «почему?».

— Потому, солдат, что если не предполагать расстрела заложников, то незачем их и брать.

— А это разве законно? Понимаете, господин генерал, меня это очень интересует, у меня есть причина этим интересоваться.

— Понимаю, кажется, понимаю. Да, это законно.

— Почему?

— Потому что так было решено.

— Кем решено?

— Ну, солдат, всему есть мера. Кем это, по-вашему, могло быть решено?

— Во всяком случае, не мной. Я, правда, не знаю. Наверно, генералами.

— Генералы защищают право, вы этого не делаете. Понимаете вы разницу, солдат?

— По-моему, да,— ответил я.— Я могу себе это представить.

— Что, солдат, вы можете себе представить?

— Что генералы так порешили. Один генерал говорит другому: гражданское население ужасно мешает. Разве можно толком вести войну, когда они перечат и судачат? Эти люди ведут себя просто отвратительно. Я предлагаю, коллега, болтовню оккупированных гражданских лиц впредь считать противоречащей международному праву, идет?

Должно быть, я верно схватил тон офицерского казино, потому что раздавшийся смех относился не ко мне, а газовщик заявил, что мне непременно надо как-нибудь попробовать свои силы на карнавальных подмостках. Но генерал Эйзенштек холодно сказал:

— Пусть ваша фантазия, солдат, пасется на родном лугу. В генералах вы ничего не смыслите, в вопросах права вы ничего не смыслите, а уж в национальной психологии еще того меньше, господин балаганный оратор!

Вокруг меня давно уже вертелось слишком много людей, пытавшихся подобраться к моей шкуре, откуда же это странное чувство — удовлетворение тем, что я так восстановил против себя генерала? Я не мог ответить на этот вопрос, и, наверно, именно потому у меня родилась безумная мысль, что никогда еще я не был так свободен, как в тот миг, ибо больше нигде ничто подобное происходить не могло. Я разъярен на генерала и это ему показываю. Я насмехаюсь над генералом и свои насмешки произношу вслух. Я нападаю на генерала, и тот не может со мной ничего сделать, кроме как обозвать балаганным оратором. Не может ничего сделать. Я

могу вести себя с ним вопреки международному праву, а он меня взять заложником не может. Как заложник я для него уже недостижим, а значит, для генерала меня просто не существует. Меня нельзя схватить, нельзя расстрелять. Нельзя даже бросить в застенки.

Я понимал, что должен пойти еще дальше, слишком уж грозная была атмосфера, разряд мог ударить и в меня, и пусть никто не думает, что я в самом деле позволю сплавить себя отсюда по кускам.

— Вы правы, господин генерал,— сказал я.— Во всем этом я мало что смыслю, а что касается национальной психологии, то не понимаю даже самих этих слов. Допускаю, что здесь, в этом краале, я единственный, кто ничего не смыслит в национальной психологии, и наверняка единственный, кому приятно, когда ему долбят, что он чего-то не понимает. К тому же я здесь единственный с гипсовой повязкой — это прежде всего. Единственный уроженец Марне в Зюдердитмаршене. Единственный Марк Нибур и, вероятно, также единственный, кто знает, господин генерал, что вы очень много знаете о расстрелах заложников. Но я полагаю так: если уж соглашаться со словами гауптштурмфюрера, что больше не должно быть разделения на «вы» и «мы», то вы не должны таить от меня свои познания. Вы должны подумать про себя: бедняга Нибур ничего не знает о национальной психологии и о расстрелах заложников, но он из наших и ему надо помочь. Вот я, например, так вы будете рассуждать, много чего знаю о национальной психологии и о расстрелах заложников, отныне я буду делиться своими знаниями с этим моим камрадом.

— Морячок, дружище,— вмешался гауптштурмфюрер,— не лезь в бутылку. Все уже поняли, что поляки сегодня задали тебе перцу, но кому будет легче, ежели мы начнем колошматить друг друга?

Послышались возгласы одобрения, но не только одобрения, а раньше мне не случалось наблюдать, чтобы кто-нибудь не соглашался с гауптштурмфюрером. Газовщик только искал, над чем бы посмеяться, а ведь далеко не всегда, думается мне, какой-то газовщик присутствует при том, как препираются генерал и солдат. Некоторые, как я предпологал, просто радовались, что кто-то осмелился раскрыть рот, на что сами они не решались, а Лунденбройх даже высказал нечто такое, что привлекло нескольких человек на мою сторону.

— С вашего позволения, господин генерал,— сказал он,— если уж говорить о национальной психологии, то, может быть, начать с психологии собственной нации? Общепризнанная психология — такого понятия, наверное, нет, оно слишком противоречиво, не имеет соответствия, но вот психология личности — такая наука есть и она учит: немецкий солдат, все равно — молодой или старый, не может не чувствовать себя уязвленным, если его уличают в невежестве, в котором он совершенно неповиновен.

— Что это должно означать, майор,— спросил Эйзенштек,— новый социальный проект, одинаковые знания на всех ступенях?

— И в мыслях не было,— возразил майор,— просто с точки зрения руководства войсками мне представляется нецелесообразным распределять знания по ступеням, чтобы затем высмеивать стоящего на низшей ступени за доставшиеся ему крохи.

Меня в этой болтовне кое-что не устраивало — я не переносил, когда говорят вроде бы обо мне, но с таким видом, будто меня здесь нет, кроме того, я не понимал, какие есть основания у майора причислять меня к самым невежественным. Ну-ка посмотрим, кто из них знает все читанные мною книги и содержание пятисот журнальных комплектов? Кто умеет составлять кроссворды? Ну-ка посмотрим, кто способен так бойко рифмовать? Однако из всего, что было до сих пор сказано в этой камере, в этом здании, под этой крышей, в меня сильнее всего врезались слова гауптштурмфюрера, а именно — что мы не должны колошматить друг друга. Друг друга. Речь ведь шла о генерале и обо мне. Мы с ним — друг друга. Генерал и я. Мы с ним. Генерал меня, а я генерала. Мы с ним на равных. Генерал больше не должен колошматить меня, а я не должен больше колошматить генерала!

Оставьте вы парня в покое, генерал. Парень, оставь-ка ты генерала в покое. Меня опять поймали сыновья бочаров, но на сей раз дело решилось и окончилось по-другому. На сей раз — ну кто бы подумал, ребята, Нибур-то с каким длинным

схватился, я сам видел, просто не верится, и давай его колошматить, и если бы тут не встрял наш вожак, бог знает чем кончилось бы. На сей раз Марк Нибур выстоял.

Я сказал:

— Что касается меня, то сам я ссоры не ищу, но кто ищет ее со мной, не жаждется. И потом, по-моему, глупо оставаться в этой шаткой повозке — сегодня я увидел, куда с нее можно свалиться. О многом я даже понятия не имею, и это меня очень беспокоит. Я с пустыми руками, генерал, боеприпасы у вас, а враг наступает.

— Так что же? — спросил генерал.

— Так я предлагаю: кто хочет делать «отбивные», пусть делает «отбивные». Кто не хочет, пусть делает что хочет. А желающие послушать вас пусть подсядут к вам, и вы расскажете им, как обстояло дело с заложниками, а также о других подобных делах, о которых вам известно намного больше, чем кому бы то ни было в этой пестрой компании.

— В конце концов, вы старший по камере, — сказал генерал.

Возражать против этого было бессмысленно.

Однако меня очень удивило, как мало народу заинтересовалось познаниями генерала. Ведь перед некоторыми, что скрывать, маячила виселица, и как тут можно было тратить силы, отгадывая, кто кому измолотил задницу, не укладывалось у меня в голове. Но, разумеется, каждый спасается как может, это было неписанным законом, и моих сил едва хватало, чтобы спастись самому, так чего ради мне растрачивать их на других?

Я слушал генерала Эйзенштека и, кажется, кое-что уразумел. Я уразумел, что генерал мыслит иначе, чем солдат, и что, по его мнению, мыслить можно только так, как он. И что мир для него таков, каким он его себе мыслит. Что мир и должен быть таким. Всегда таким и был. Я уразумел: каково положение, таково и мышление.

Я уже где-то упоминал, что если не могу понять истинной сути какого-нибудь вопроса, то либо упрощаю его, либо чересчур усложняю. Так было и с суждением генерала о поведении жителей оккупированной области, противоречащем международному праву.

Я не мог толком объяснить почему, но эта формула до меня никак не доходила. Поляки были моими врагами — это понятно, и мы вели против них войну — это тоже понятно. Но понятно и другое — я также был их врагом и они также вели войну против меня. Иначе получалось бы словно на перемене в нашем школьном дворе: кто-то из ребят сел мне на грудь верхом, сдавил ребра, смял мышцы, а когда я, изловчившись, хорошенько ему вмазал, сразу побежал жаловаться. Таких жалоб на моей памяти не было, это было бы курам на смех — кто же его просил ко мне лезть? Думаю, что жалобщика мы просто сочли бы психом, псих, да и все.

Я бы счел более нормальным, если бы генерал Эйзенштек прочитал мне свою лекцию в сложных, непонятных выражениях, но над его выражениями мудрить было нечего, он говорил просто и ясно: законно было убивать людей, которые поступали незаконно, защищаясь против тех, кто законно занял их землю.

Мне и сегодня еще нелегко в этом сознаться, но не сознайся я — зачем бы тогда рассказывать эту историю: если бы генерал сказал мне, что поляки должны были вести себя тихо, потому что они поляки, мы же по отношению к ним поступали законно, потому что мы немцы, а они поляки, — да, это я, поперхнувшись, проглотил бы и принял. К этому меня готовили всю мою жизнь. Да, я понял бы генеральскую речь, если бы она гласила: поляки не смели и пикнуть, а чтобы они это лучше усвоили, мы им время от времени давали урок!

Но я никак не мог взять в толк, почему поляки теперь поступают незаконно, сажая за решетку тех, кто таким образом учил их, что законно, а что нет.

Поймите меня правильно: скажи мне генерал — для него, мол, загадка, чего хотят от него поляки, я бы нашел это вполне естественным. Но слезть с человека, на котором ты только что сидел верхом, и, когда он в ответ стукнет тебя по морде, вопить, что это незаконно, — нет, такие штуки были выше моего разума.

Может, потому, что у меня было другое представление о генералах. Я говорю сейчас не о Нетцдорфе, у того были не все дома, тут уж ничего не поделаешь, нет, я говорю об Эйзенштеке. Ладно, допустим, то был первый генерал, с которым я оказался под одной крышей, других я знал только по книгам и кинофильмам, но какое-то сходство все же должно быть. Немецкий генерал был человеком, который говорил так: «Тысяча дьяволов, ваше величество, можете меня повесить, но, с позволения вашего величества, только после битвы. Сдается мне, турки уже у порога!» Или так: «Да, Гартман, все это печально, у одного умирает жена, у другого гибнет единственный сын, но кайзер не может с этим считаться. Он может сейчас думать лишь одно: да, очень тяжело, да, почти невыполнимо то, что мы должны совершить во имя бога, но у нас есть генерал Шпенгелор, у него адъютантом храбрый майор Гартман, и потому мы это осилим на радость нашему господу и во славу нашего народа». Или так: «Поехали, поехали, фельдфебель, садитесь за руль, и черт вас побери, если телега застрянет, черт поберет тогда нас обоих. Дайте мне ваш автомат, поглядим, разберусь ли я еще, где перед, а где зад, и уж коли разберусь, то пусть Иван поет себе отходную. Поехали, Мильшевский, вперед!»

Такими видел я своих генералов и даже не мыслил себе, что они тоже ходят в уборную, но еще меньше мог я предполагать, что они не в силах сладить с простейшей логикой школьного двора.

Разумеется, я перевожу здесь в слова, речи, картины, представления, мысли нечто такое, что сначала могло возникнуть только в виде смутных догадок. Я говорю о кристаллах, которые росли долго, и чтобы они образовались, вначале требовались крупинки, но крупинки были. В конце концов, я вырос среди людей, которые не полагались на господу бога, и уж если им приходилось туго, могли на какой-то миг наплевать и на Марне и на самого черта. У меня была мать, считавшая, что люди рано или поздно попадают в переделку, у меня был отец, который не раз попадал в переделку, из многих переделок выходил блистательно и хитроумно, из одной не вышел совсем. Я довольно нахально паялся на бретельки госпожи Фемлиг, когда у меня еще нос до этого не дорос. Я был из таковских — некой женщине, весьма небрежно обходившейся со своими бретельками, и с тем, что на них держалось, и с тем, что под этим скрывалось, — я был из таковских, что упомянутой женщине стало дурно, когда ей об этом сказали. Я видел людей, которые глядели другим людям в рот и ждали, пока те не испустят последний вздох, а потом украдкой вытаскивали из-под еще не остывшей головы мертвеца кусок хлеба. Я слышал от одного ученого человека, как Гейнсборо составлял из красок многоцветный мир, а во время похода, последовавшего за безрезультатной идентификацией, узнал, до какой степени мир можно развалить и обесцветить. Занимаясь собой и своими обстоятельствами, я научился задавать вопросы, не более того, но уж это как следует, так почему мне было не задать недоуменные вопросы генералу, которому, на мой взгляд, слишком уж недоставало качеств, какие я всегда предполагал у людей его ранга?

Мне было без малого двадцать лет, кажется, в этом возрасте Архимед открыл законы рычага. Ладно, я не Архимед и законов рычага не открыл, но я, наверно, все же в состоянии был точными словами поддеть худую логику собеседника, пусть он и генерал.

В моем состоянии — да.

Иногда мне казалось, что генерал, да и некоторые другие репетируют передо мною речи, с какими намереваются позднее выступить перед польским судом. И тут меня брало сомнение: неужели человек, еще недавно бывший генералом, станет теперь выдавать себя за слабоумного? Хотя генерал Нетцдорф, так безбожно эксплуатировавший варшавскую канализацию в личных целях, уже доказал, что это возможно.

В том-то и штука: если бы Нетцдорф начал жаловаться, что поляки его обижают, вымещая на нем перенесенные несправедливости, ему бы это вполне подходило. Это было бы очередное психопатическое самоочищение организма.

Но генералу Эйзенштеку и тому, чего я ожидал от такого генерала, это не подходило. Тот уже год сидел под замком, неужели он за это время ни разу не сошел со своей точки зрения, хотя бы не поскользнулся на ней? Не могу себе представить,

что можно быть генералом, командовать сражениями, не умея взглянуть на положение вещей глазами противника. Этому научаются, уже играя в «уголки», в шахматы или в «крестики-нолики». Не теряют же это умение лишь оттого, что попали в руки противника.

Быть может, в первый миг, в первые часы, в первые недели — но на целый год, навсегда?

От лисы, над чьей хитрой головой захлопывается капкан, я не жду, что она подумает: ну что же, они имели право поставить здесь ловушку. Но даже лиса петляет, хитрит, показывая тем самым, что знает — она нежеланный гость, и хотя капкан ей совсем не по нутру, она вряд ли станет им возмущаться.

Ладно, то лисы; я мало знаком с их повадкой. Не знаю, способны ли они думать, и предполагаю, что чувство возмущения им неизвестно. Но генерал — человек, пусть мне он даже представляется извергом, он все же человек, и после того, как, угодив в капкан, он некоторое время бился там и кричал, он должен снова начать думать. И пусть не рассказывает мне, что только он имеет право сесть верхом на другого.

До такой степени я ему неподвластен. Я вообще больше ему неподвластен.

В самом деле, я мечтал избавиться от фельдфебелей и даже майоров, но о генерале в таком плане не смел и думать. К этому побудил меня только командир корпуса генерал Эйзенштек.

Я должен быть ему благодарен: неправильное течение его мысли заставило работать мою. Он помог мне перебраться через следующий ров, а при той должности, которую возложил на меня лукавый надзиратель Бесшейный, мне это было весьма кстати.

Ортсбауэрнфюрер Кюлиш и еще кое-кто из ему подобных слышали, как я беседую с генералом и задаю ему вопросы, и рано или поздно они причислят меня к его ближайшему окружению. А для других я останусь наглецом, который сыплет рифмованными двустихиями: коль не хочешь быть наказан, скажешь: шел я по приказу! И парнем в пятнистых штанах, которого считают убийцей. И коварно-проворным обладателем гипсовой руки, проворным и коварным.

Я не нравлюсь себе таким, каким был там, в тюрьме, хотя будь я иным, я скорее всего и не выжил бы.

Утешает меня одно — ошибочное представление, будто я волк, заставило кое-кого приоткрыть мне истину.

— Расскажи-ка наконец, газовщик, как это у тебя вышло с присвоением власти.

И газовщик рассказал. Его рейнский акцент я опускаю, он бы слишком отвлекал, а здесь требуется полное внимание.

— Я родился в девяносто пятом, — начал газовщик, — и угодил бы на войну в четырнадцатом, не будь у меня вывих тазобедренного сустава. Но вывих был — и рентген подтверждал и моя походка. Теперь уж можно сказать, что хромота я больше для виду. Я ведь не был фанатиком. К тому же я всегда работал. И пришлось мне совсем нелегко — одна война, вторая. В первую войну я работал на газовом заводе. Кто незнаком с этим делом, тот и представить себе не может, что такое выпуск шлака. Жара, едкий запах, тяжелые вагонетки. Да еще при вывихе тазобедренного сустава. И с пустым брюхом. Так что, воздавая должное истине, до баб я был тогда не очень охоч. Тем более в начале войны, когда они предпочитали серые мундиры, а позднее — что вам сказать — бывало, но редко. Вот почему я, овцебык этакий, расписался с первой же, которая дала мне по любви. И расписался и обвенчался, а она была такая ревностная католичка, что у нас с ней чуть ли не каждый раз получался ребенок. Разве из вас кто догадался, что у меня восемь душ детей? Законных! Восемь душ! Несчастные ребята, небось каждый день спрашивают, куда девался их папа. Воздавая должное истине, — шестеро. Старший прыгнул с самолета возле форта Эбен-Эмаэль и разбился насмерть. Мы боялись, как бы он не унаследовал мой вывих, но он стал парашютистом-десантником. Позднее я говорил одной бабе: госпожа капитанша, я родил фюреру парашютиста, но если дети нежелательны, надо мне только намекнуть. В то время я уже снимал показания со счетчиков, и я хорошо помню, с

чего у нас с ней начался разговор — она расходовала лишние кубометры. Я говорю: природа вас так хорошо упаковала со всех сторон — зачем вам столько наружного тепла? Ежели вы скажете, вам не хватает тепла изнутри — это я могу понять. Могу даже поспособствовать — тут я и ввернул про парашютиста. Говорю, значит: касательно перерасхода газа, то надо бы опломбировать и сообщить надо бы тоже. Воздавая должное истине — не пригрози я ей, что сообщу, она бы, может, и дрогнула, когда я взял да и спросил: но, может, вы, госпожа капитанша, уже опломбированы? Говорю вам, сорок восемь лет это вовсе еще не старость, а небольшой изъём в тазобедренном суставе не препятствие, если ты в войну работаешь газовщиком. Я уж вижу, главный комиссар Рудлоф думает: злоупотребление бедственным положением во время войны, — а майор Лунденбройх прикидывает, сколько мне причитается; вообще-то это никого не касается, но скажу вам коротко: у нас тоже был свой главный комиссар и он очень интересовался делами на внутреннем фронте. Он охотно мне поможет, сказал он, если в тылу мне покажется слишком трудно. У этого вашего коллеги в кабинете висела карта Европы, и он предложил мне на выбор другие фронты вместо внутреннего. С моим тазобедренным суставом считаться не хотел. Что мне оставалось? Не может ли кто из господ юристов мне помочь: следует ли считать это присвоением власти, если властью меня в известном смысле наделил комиссар? А по существовавшим законам поляк вообще не имел права заниматься с этой бабой, когда я пришел смотреть счетчик. Поляк не имел права, и баба не имела права, и, воздавая должное истине, к моим просьбам она всегда оставалась глуха. Ага, сказал я и был уже готов уладить дело миром, но поляк прямо взбесился, давай орать, ни за что не хотел успокоиться, да еще драться со мной полез. Тут подоспели соседи, они это видели, могут подтвердить, они и помогли мне с ним справиться, без них мне бы его на газовую трубу не вздернуть. Присвоение власти, конечно, имело место, я признаю, но надо же принять во внимание, что ему бы все равно не выжить, и тут, в тюрьме, я иногда думаю: должны все-таки судьи посчитаться с тем, что я избавил его от проволоки.

— Но вы ведь не станете утверждать, — спросил майор Лунденбройх, — что вас не привлекали по этому делу?

— Конечно, не стану, — ответил газовщик-трубовщик и захныкал: эта баба, кодова проклятая, не желала подтвердить, что то была необходимая самооборона и защита от насилия, ну и ее замели тоже, а когда англичане их всех освободили — они ведь сидели как политические, — она донесла на него какой-то польской комиссии.

— Деготь, сказала муха, а она-то думала, мед, — подал голос гауптштурмфюрер. Мне кажется, после этого рассказа газовщик для него перестал существовать, да и для некоторых других тоже.

Но газовщику это не нравилось, он неделями ныл, какая, мол, несправедливость: сперва заставить человека все рассказать, а потом перестать с ним разговаривать, о себе-то небось помалкивают. Он рассказал о самом пакостном событии своей жизни, пусть и другие расскажут.

— «Самое пакостное событие моей жизни», серия передач радиостанции Кельн, — пожалуй, совсем неплохо, — заявил наш высокопоставленный железнодорожник и преподаватель английского языка. — Я, например, уже не в состоянии слушать про радостные события. Без конца картофельные оладьи, и портупей, и простыни — довольно-таки скучно.

— Не воображайте, что у вас получилось очень весело, когда вы рассказывали, как повысили на одиннадцать процентов пропускную способность железнодорожного узла Каров в Мекленбурге, — сказал капитан Шульцки, и скажи это кто-нибудь другой, раздался бы дружный смех.

Но оказалось, что и другие стоят за изменение порядка, и вечером все пришли к единому мнению: чья очередь теперь рассказывать, пусть сам решает, о чем говорить — о взлете или о падении.

— А можно о том и о другом? — спросил венденверский звонарь, который все принимал всерьез, когда надо и когда не надо, и я, быстро пожонглировав в уме словами отшелкал:

— Конечно, добрый человек, о том, как славно ты по..., хотел уж праздновать успех, но — ах! — штанов-то ты не снял!

Господи, ему еще пришлось объяснять смысл стишка, нашлись охотники, сделавшие это обстоятельно и с удовольствием, а я стал для окружающих чуть более терпим и чуть более опасен, что, наверно, всегда получается с теми, кто так и сыплет рифмами. О каком событии в своей жизни — высшем или низшем — поведал следующий рассказчик, не знаю: незадолго до его выступления перед микрофоном меня вызвали к врачу.

Гипс на мне разрезал врач-арестант, и если бы я не глядел в оба, он бы разрезал не только повязку.

— Может, вы возгордитесь,— сказал этот грубый резака,— когда услышите, что с вашим появлением в здешней тюрьме начался гипсовый век? Каменный век, бронзовый век, железный век, гипсовый век, так? Теперь у вас есть что взять с собой в могилу, вы сможете спокойно на этом спать. Вечным сном. Именно благодаря вам обратили внимание, что здесь нет гипса, а ведь теперь времена пошли такие, когда требуются решетки и гипсовые повязки. Похоже, в некоторых кругах не совсем довольны режимом.

По этому поводу я мало что мог сказать, но, не желая себя выдать, заметил:

— До каменного века был еще ледниковый период.

Но он опять принялся за свое.

— Поглядите только,— радостно воскликнул он,— какая торопыга ваша рука! На несколько недель опередила остальное тело — начала уже мумифицироваться. Такая эксцентричная ручонка.

— Такого слова нет,— сказал я, хорошо зная, чем можно поддеть язвкатых умников вроде него.

Он сразу ощетинился.

— Зайдите к тюремному врачу,— сказал он.— Он хочет вас видеть. Обратите внимание, на что он будет смотреть. Он будет делать вид, что смотрит на вашу руку. Но, приглядевшись, вы заметите: он смотрит на вашу шею. Ищет место, где бы потуже затянуть узел. Известно ли вам, что он научный консультант палача? Каменный век? Нет, век науки.

Он мне отплатил с лихвой, но ему все еще было мало.

— И знаете,— сказал он,— тюремный врач дает консультации бесплатно. У него есть предубеждение, так себе предубеждения, слабенькое, как ваша рука. Из-за того только, что его жена и сын однажды пошли гулять, а теперь значатся на доске — плац Унии Любельской. Заходите, заходите.

Но тюремный врач не глядел на мою шею, это я точно знаю. Мне кажется, на меня он не смотрел вообще, хотя я имел некоторое отношение к своей руке. Он осмотрел мне руку и плечо, ощупал место перелома, показал, как я должен разрабатывать руку, плечо и пальцы, что-то записал и указал мне на дверь.

Возвращаясь в камеру, я думал: что, если его жену и сына расстреляли по приказу генерала Эйзенштека?

Нет, нет, от этой мысли врач не сделался мне ближе, с какой стати, но генерал становился все более чуждым, и сам я стал себе чужд, потому что понял, какой я трус. Ведь я больше не спрашивал Эйзенштека о том, как происходили расстрелы заложников. Моего ехидства хватило только на деревенского вояку, а перед генералами я лепетал что-то нерифмованное.

Вот и нет, подумал я, сам не зная, что это должно означать, но так как мальчишки не могут обойтись без клятв, я же во многом еще был мальчишкой, то дал себе слово больше никогда ни об кого не оттачивать свои рифмы, ибо прежде всего надо испробовать их на генерале.

### XXIII

Мне на всю жизнь с избытком хватит праздных и спорных суждений о том, существует ли случайность, существует ли судьба, есть бог или нет, есть справедливость или нет,—мы все их проработали в Раковецкой и до Раковецкой. Так что если



теперь я говорю о случайности, или о каком-то предназначенном мне испытании, или о том, что своей мальчишеской клятвой навлек на себя то или иное, это вовсе не задумано как продолжение тех беспочвенных перепалок и вовсе я не намерен что-то доказывать. Я только не могу просто взять и сказать без предисловий, во всяком случае в этом месте моего рассказа, ибо это звучало бы еще более многозначительно: следующим мне поперек дороги стал опять генерал Эйзенштек.

Если бы я допускал, что вызвал это своим зарокон, то должен был бы задаться вопросом, какими другими зарокон вызвал другие жизненно или смертельно важные встречи, а кто всерьез и подолгу ставит перед собой такой вопрос, однажды не сможет двинуться с места, заклиненный проблемой: что случится, если он ступит сейчас левой ногой, и что, если правой?

Это не значит, что я стою за бездумность, мысли — дело хорошее. Надо просто уметь думать, говаривал мой отец, и в этом пункте — что бывало крайне редко — вполне сходился с дядей Йонни. Так что надо просто уметь думать, но насчет той стычки с генералом я ничего не думал: случилось то, что случилось, и перст судьбы в случившемся я не усмотрел.

А случилось то, что генералу первому попалась на глаза моя высохшая рука, и он воскликнул таким тоном, будто я искалечился ему назло:

— Да у вас вид тяжело раненного, юноша! Эти остиндийские шарлатаны своим гипсом сделали вас настоящим калекой.

— Как говорил мой дядя Йонни, — ответил я, — в армии очень удобно: если у тебя нет зеркала, офицер всегда скажет, как ты выглядишь. И ни за что не станет льстить.

— Оригинальный ум у вашего дядюшки.

— Это у нас в роду.

— Заметно, заметно. Не удивлюсь, если окажется, что этот ваш дядя мне где-нибудь уже попадался в восемнадцатом, девятнадцатом году, а может, при инспекции Торгау?

— Насколько мне известно, мой дядя еще жив.

— Что это должно означать?

— Да, что бы это могло означать?

— Черт вас побери, солдат, извольте немножко придержать язык. Это же просто безнравственно — так злоупотреблять нашим положением. И мне совершенно неприятно, как человек с такой мушиной лапкой позволяет себе дерзить; видно, уж столь утвердился в правах.

— Столь утвердился в правах, — повторил я торжественным тоном и тем сразу завоевал наиболее грубую часть аудитории: им не нравилось, когда кто-нибудь слишком уж отклонялся от привычного для них языка «поди-туда-и-сделай-то-то». Они подозревали подвох и в большинстве случаев не ошибались. — Столь утвердился в правах, — повторил я еще раз, сам не зная, к чему я клоню, и продолжал: — Право у всех на устах. Прыгают птички в кустах. Прачки с вальками в руках. Старец в ветвистых рогах.

Рога сделали свое дело: то был верный путь к успеху в этой компании. Они уже не раз поразились моим головокружительным словесным сальто, но теперь я на всем скаку стал ногами на седло да еще спустил штаны. Если бы у них было пиво, они бы до конца дня поили меня за свой счет.

Дико говорить, что мне было стыдно, но я был не совсем доволен собой. Я не собирался изображать клоуна перед этими истуканами. Мне, конечно, хотелось поддеть генерала — ни больше ни меньше. Когда стихнет смех, выяснится, что ничего особенного не произошло. Опять я разыграл из себя сумасшедшего, правда теперь ради более высокой цели.

У Эйзенштека хватил терпения дожидаться, пока я кончу, после чего он сказал очень снисходительно и мягко:

— Прятко, солдат, но как бы вам не допрыгаться до клинки. Может, дело не только в руке? У меня был один дальний родственник, он тоже нес такую вот бодягу, а больше ничего не умел. Когда его слишком занесло, он утонул в Икермюнде. Что имел обыкновение пить ваш уважаемый папаша?

— Сперва пиво и тминную водку, потом французское красное, а потом собственную кровь,— сказал я, понемногу заводясь и приходя в тихую ярость.— Моего отца, господин генерал, вы лучше не поминайте, и не поминайте без конца мою руку, и не надейтесь так на мою глупость. Отца моего нет в живых, руку свою я верну к жизни, а если вам нужны более осмысленные изречения, извольте, господин Эйзенштейк. Тонка рука, мой генерал. Тонка, как стек, как трость, как палка. Тонка бессовестно рука. Как сильно истончилась совесть. Бог весть, куда девалась совесть. Где ваша совесть, генерал?

По тому, как мне запомнились эти слова, я вернее всего могу судить, что они мне понравились. Я их испугался, но они мне понравились. Испугался, потому что они звучали странно, явились сами собой, без всякого усилия, а построены были искусно, как хитроумно составленный кроссворд, продуманный по горизонтали и по вертикали. Если бы они еще рифмовались! — подумал я, но видел, что они дергаются и так.

— Что это еще за джазовая музыка? — спросил гауптштурмфюрер, и я заметил, что он сделал Яну Беверену какой-то знак, заметил также, что тот не шелохнулся, а Рудлоф пробормотал:

— Совесты!

И это прозвучало у него как «мерзкая гадина!». Лунденбройх покачал головой — он не сердился, но считал меня неумным; Шульцки, казалось, готов был наконец-то расквитаться за свою распухшую шею, а генерал-майор Нетцдорф подошел к железной ширме, придерживая штаны на приличной еще высоте. Но хотя у других одежда была аккуратней, понятливей они не были, поняли ничуть не больше, взаимопонимания от них ждать не приходилось, а генерал Эйзенштейк, вернувшись к психологии и руководству войсками, сказал:

— Да, господа, я припоминаю, в кадетском училище в Лихтерфельде у нас был святой дух: кто не желал проникнуться духом училища, тому он быстро внушал **должные** понятия.

Не надо было изучать руководство войсками, чтобы почувствовать, сколь многие в камере вспомнили святых духов, с которыми они тоже встречались или в чье распоряжение предоставляли свои кулаки и ноги, когда требовалось внушить кому-то **должные** понятия.

Писунам святой дух являлся до тех пор, пока они не переставали писать в постель, или же от одного страха перед духом не шлепали каждые два часа в уборную, или не попадали в лазарет в специальное отделение. Тех, кто заправлял койку и не желал усвоить, как натянуть войлочную попону до гладкости бильярдного сукна, тех, по чьей милости дежурный унтер-офицер бушевал в комнате подобно урагану, — таких остолопов святой дух среди ночи накрывал с головой одеялом, и тогда оказывалось, что у него вдвое больше колотящих ног, чем солдат в пострадавшей комнате. Кто не хотел делиться посылками, тому святой дух внушал братские чувства. Не умевших плавать спихивал вниз с трехметровой вышки, неловких заставлял прыгать через плинт, слабосильных гнал на полосу препятствий. Свои обязанности по наведению чистоты и порядка святой дух исполнял не только в кадетских училищах, он не был привилегией избранных, он снисходил и к народу и здесь тоже не скупился на **помощь**. То был истинно национальный народный дух, и все мы хорошо его знали.

Мне не мерещилось — я видел более чем ясно, сколько моих сообщников меряют меня взглядами, размышляя, как бы в этом польском заведении призвать к воздействию на меня немецкого святого духа, и у некоторых — сомневаться не приходилось — уже сложились на этот счет вполне осязаемые представления, как **вдруг** ко мне подоспела помощь с той стороны, откуда я меньше всего ее ждал.

— С позволения господина генерала, — заговорил венденверский звонарь, видно было, что ему очень не по себе, но он упрямо преодолевает замешательство, — если господин генерал позволит, я бы считал так: надо договориться, либо он со своей позией может наскакивать на всех, либо ни на кого.

— **Что-то** я не очень вас понял, Кюлиш, — отозвался Эйзенштейк, и чудо **продолжалось** — Кюлиш пояснил, что он хотел сказать:

— Когда он наскочил со своей поэзией на меня — как, мол, хорошо, ежели ты смог пос..., и плохо, ежели перед тем не успел снять штанов, так что это разом и хорошо и плохо, — все смеялись, а я подумал: что ж, раз это для увеселения общества — пускай. Но теперь он наскочил с поэзией на господина генерала, и оказывается, это уж для увеселения общества не годится.

Дальше Кюлиш не двинулся, но дальше и не надо было, ибо господин командир корпуса не желал даже слышать слова «поэзия», а чтобы ставили на одну доску его, генерала, коему подобает благородная душа и совесть, и какого-то неотесанного крестьянского фюрера, — этого он категорически не потерпит.

Не знаю, что в те минуты сработало в мою пользу — может, еще сохранившееся у окружающих ощущение, пусть подавленное, искаженное, стершееся и безотчетное: поэзия имеет право на существование.

Вопрос о совести был выражен в поэтической форме, хотя и без рифм, но настолько отвлеченно, что звучал поэтически, а значит, этим вопросом нельзя было пренебречь.

Глупый Кюлиш оказался прав: стихи могли касаться либо всех, либо никого. Но если никого — будет скучно. Значит, всех.

Рядовой дал прикурить генералу — подобное даже не снилось. Развлечение, да еще какое. Поэты все равно что лунатики, а лунатики очень занятные.

Мои армейские товарищи на писунов натравливали святого духа, а лунатиков брали под защиту.

Мне повезло — я был лунатик. Сомнамбул или что-то в этом роде. Поэт.

Генерал искал возможности с честью отступить и заявил: он никогда не был сторонником «Силы через радость» или фронтового театра, ну а уж если на то пошло, он скажет напрямик — он предпочитает «Мулен руж» и концерт по заявкам, но при чем тут совесть? Предел легкого жанра в искусстве, на его вкус, песня «Спокойной ночи, спокойной ночи, мама!», дальше уж некуда; ему случилось однажды застать своего адъютанта в слезах от этой песни.

— Искусство должно возвышать, — заключил генерал.

На этом и кончилась наша стычка — ведь стоило только навести генерала на разговор, кого он за чем застал и какие это возымело последствия, как этому разговору не было конца, притом он еще вспоминал унижения, пережитые им самим, вот почему сейчас был лоб всякий, кому удалось бы переменить тему.

Даже почтовый чиновник, которого большинство вообще не переносило, уж слишком часто он сетовал на свою склонность к аффектам, коей объяснялся и тот факт, что он забил до смерти свою прислугу-польку лишь за то, что она прожгла ему форменные брюки. Была у него еще и другая склонность — без конца лезть к людям со своими авантюристическими проектами и требовать от них гарантий будущего партнерства. Но на сей раз к нему прислушались: он внес предложение, оказавшееся более чем кстати, после чего все сразу умолкли.

— Доктор! — воскликнул он, когда генерал упомянул фронтовой театр. — Меня осенило: давненько уж вы не рассказывали нам историю про артистку и лососину.

На стороне почтовика оказалось такое подавляющее большинство, что доктор ломаться не мог. Хотя он и заметил, что в основном это происшествие уже всем известно, ну да ладно, он все же мнит себя таким великим рассказчиком, чтобы считать, будто эта его история забываема.

Не дав никому и слова вставить, он снова, наверно в сто двадцать пятый раз, пересказал нам этот забавный случай, а я поостерегся вступать: против сказки об артистке и лососине я не тянул.

— Лапландия... — начал врач, а я подумал: этот пес каждый раз начинается одними и теми же словами, он с нами обращается как с малыми детьми, которые не любят, чтобы знакомые сказки им рассказывали по-другому. — Лапландия, уважаемые господа, некрасивая страна.

Это мы знали уже давно — доктор подробнейшим образом описал нам безобразие Лапландии, — но мы сразу повеселели, услышав эту превосходную фразу: Лапландия — некрасивая страна.

Я бы мог сказать, что повеселел уже оттого, что мой генерал здорово скис, услышав слово «Лапландия», но это было бы вранье. Фраза мне понравилась, а от повторения она только выигрывала.

— Лапландия, господа: летом одни комары, не выйдешь погулять, а зимой не с кем спать — никаких развлечений.

Шумное веселье. Еще один рифмоплет.

— Будь Лапландия в Центральной Европе, скажем поблизости от Вены, это бы еще куда ни шло. Тогда Вена была бы поблизости от Лапландии. Сел и поехал развлекаться. Но Лапландия в Финляндии, а Финляндия — та же Лапландия. Много комаров, никаких развлечений. Ладно, летом вы можете ночью сфотографировать часы на церковной башне, когда они показывают половину второго, но, дорогие друзья, на снимке только и будет что часы, показывающие половину второго. Стоит ли ради этого забираться в такую даль? Зимой — вы только попробуйте себе это представить: слева от вас — обледенелая Швеция, сверху — Северный полюс, справа — Ледовитый океан и русские, а внизу — остальная Финляндия и еще больше русских. Когда вы находитесь в Лапландии, вас окружает сплошное безобразие. И вот в один гнусный зимний день посреди всего этого безобразия вдруг приземляется самолет «Юнкерс-52». Бывают вещи похуже, нежели «Ю-52», который прилетает в Лапландию, например, «Ю-52», который привозит вас в Лапландию. Лапландия такова, что когда над ней появляется «Ю-52», то с него уже не сводишь глаз. Что-то на сей раз шлет нам фюрер? Тонну мази от комаров, поскольку сейчас зима? Зато в июле нам пришают тысячу теплых наушников. Представьте себе, господа, какие глаза сделают лапландские комары, когда вдруг увидят, что отныне ваши уши для них недостижимы. Но в тот день к нам слетела с неба не мазь и не шапки-ушанки, к нам слетел фронтон театр. То есть сперва из машины вынесли аккордеониста. Он был мертвецки пьян, а его инструмент совершенно обледенел. Еще они привезли дрессированных собачек, но с ними невозможно было сладить — вокруг так страшно были лапландские собаки. И что же все-таки к нам споркнуло? На землю Лапландии споркнула с неба фрейлейн Беатрикс. Четверка и имитация канарейки. Дорогие друзья, я знаю: вы видели всякое, но такого не видели. Вместо описания скажу: мы поняли — господь бог знает, каково нам в Лапландии. Мы поняли, сколь велика справедливость и благость господня. Единственная неясность: как заполучить бабенку в постель? Посмотрим, посмотрим. Сначала — этот обычай в Лапландии есть, как везде, — мы с артистами немного закусили, немного поболтали, немного выпили, точнее с артисткой, собачий номер не был — для Лапландии нечто новое, — а в аккордеониста больше уже не лезло. Зато в артистку — просто удивительно, сколько в нее всего влезло: шампанское, и коньяк, и невероятное количество лососины. При этом она была весьма грациозная, изящная женщина, не худая, господа, но грациозная, изящная, гибкая, стройная — прямо газель. Глаза — звезды, ноздри, как у баядеры, и так далее и тому подобное. Посмотрел я на своего начальника, на его адъютанта, на интенданта посмотрел и на капитана саперов, посмотрел на старого-престарого лейтенанта-радиста, увидел, как все они возле нее увиваются, и уже хотел пойти поглядеть, что у меня есть в шкафчике с ядами. И тут почувствовал, что перепил. Смотрю, фрейлейн Беатрикс как-то расплывается у меня перед глазами, я поскорей хватаю лососину, чтобы не болталось в животе одно спиртное. Лососина для этого дела вполне годится, а ее там было навалом. Лопарь ловит лосося и кидает в снег за домом. Северный полюс там близко. Понадобится ему кусок — пошел и отпилил. Глотаю я, значит, лососину и смотрю — мой сосед делает то же самое. И смотрю — они у меня перед глазами несколько не расплываются. Я благословляю лососину, от которой так быстро отрезвел, думаю, что пора опять начать перемигиваться с фрейлейн Беатрикс, и поднимаю глаза на артистку. Я говорил вам, господа, что Лапландия некрасива, так вот фрейлейн Беатрикс на глазах делалась все больше похожа на Лапландию. Она вся распухла, да так, что о четке уж и думать было нечего, в лучшем случае танец бочки и, может, еще имитация слонихи. Господа, говорю я, вы не пьяны и можете поднять глаза от тарелки. Господу было угодно наделить фрейлейн Беатрикс острой непереносимостью к определенной пище, как я предполагаю, все дело было в лососине, однажды в

Пресбурге<sup>11</sup> произошел такой же случай. Ну, раствор кальция за три дня сделал фрейлейн Беатрикс вновь пригодной для фронтальной сцены, но труппу уже ждал «Ю-52». Аккордеонист был все еще невменяем, инструмент его все еще не оттаял, собачки все так же перепуганы, а фрейлейн Беатрикс опять так же грациозна, с такими же лучистыми глазами, как до того, как она наелась лапландской лососины. Но, дорогие мои друзья, я думаю, могло выйти гораздо хуже. Представьте себе: аллергия у этой дамы начинается не сразу. Я тот счастливчик, кто залучил ее к себе на ложе. Я ее там устраиваю, на минутку отворачиваюсь, чтобы сбросить с себя последние одежды, и, вновь повернувшись к ней, хочу взглянуть в ее лучистые глаза и наконец-то заняться с ней делом, и что же? Оказывается, лапландский лосось раздул мою фрейлейн Беатрикс, как дирижабль «Цепелин». Известны случаи, когда от таких потрясений самые твердокаменные мужчины навсегда выходили в тираж. Лапландия, господа, некрасивая страна.

Надзиратель Бесшейный, заглянув к нам, спросил:

— Веселый жизнь, так? — А мне сказал: — Starszy celi, пойдешь со мной!

Стекло тверже дерева, это известно. Известно также, что дерево массивней стекла, массивней и шире и, может быть, от этого все-таки тверже? Что чего тверже, выяснишь, когда выяснишь, что что режет. Гипс режет тальк — значит, гипс тверже талька. Кальцит режет гипс — значит, кальцит тверже гипса и много тверже талька. Апатит режет флюорит — значит?.. Корунд режет топаз. Алмаз режет все остальные минералы. Алмаз режет также стекло, но стекло режет дерево. Для шкалы твердости достаточно установить, что одно режет другое. Фактор времени для нее несуществен. Но когда дерево сталкивается со стеклом, то фактор времени весьма существен. Твердость стекла уменьшается тем заметнее, чем дольше скребешь им по дереву, чем, значит, дольше расходуешь время. То же можно сказать и про человека. Чем дольше скоблить человеком дерево или чем дольше заставлять человека скоблить дерево стеклом, тем заметнее уменьшается твердость человека. Как определяется твердость? Прочность, которую какое-либо тело противопоставляет деформации от соприкосновения с круглым осколком стекла. Но не форма решает вопрос о твердости дерева или стекла, а время. Не благодаря форме нажимающей поверхности решается, какой запас прочности некое деревянное тело противопоставляет причиняемой ему деформации. Это решается благодаря форме нажимающего, то есть того, кто должен нажимать стеклом на дерево, чтобы деформировать последнее. Главное — это его форма, его состояние, оно решает, доколе стекло будет тверже дерева, а если циклевщик — печатник Нибур, то стекло очень скоро перестает резать дерево. Что нам шкала твердости — Нибур не в форме, чтобы ей соответствовать, все оттого, что ему сократили срок тренировок на выносливость и закалку.

Мне приказали отциклевать пол. Паркетный пол. Осколком оконного стекла. В какой-то конторе. Под началом какой-то грубой бабы. И при этом как можно больше работать левой рукой, слабо хватающим концом той палки, которая прежде была мсей рукой. Прежде чем оказалась в гипсе. Кальций режет гипс? Но гипс режет капитана Шульцки и тюльпанщика Беверена. Мой гипс их срезал. Мой гипс поставил меня высоко на шкале твердости. Теперь я без гипса. Теперь меня режет тальк.

И я должен скоблить эти паркетные плашки? Эти алмазные бляшки? Эти корявые шашки?

Тихо, Нибур, генералов поблизости нет, можешь не оттачивать свои изречения, тебе приказано циклевать пол, паркетную древесину. Правой не штука, ты левой попробуй, скобли, и ни звука, чтоб пол был как новый.

— Что вы там говорите? — спросила женщина.

— Я только постукиваю.

— Вас знобит?

— Прямо дух занялся.

Она пожелала узнать, что значит «дух занялся». Я попытался ей объяснить, но она сказала, что никто меня не торопит.

<sup>11</sup> Немецкое название Братиславы.

Паркет — это мерзость. Потому что состоит он из множества мелких частей, которые прикидываются, будто все они равной величины. А это совсем не так. Каждая последующая чуть больше предыдущей. Чуть больше, но наступает все же момент, когда одна паркетина оказывается вдвое больше других. Наступает момент, когда четырехугольный брусок паркета возводится в квадрат. Дерево с квадратным корнем. Квадрат из корневища. Его только что вырезал Нибур.

Паркет — это мерзость. Потому что не только отдельные части его все время увеличиваются — количество их увеличивается тоже. Если ты отделал огромный кусок древесины, это не значит, что ты отделал уже огромный кусок пола. Пол растет вместе с его частями. Скользящая шкала растяжения согласно профессору Нибуру. Паркет выложен елочкой — параллелями. Параллели пересекаются в бесконечности. Паркет надо скоблить до бесконечности.

Паркет — это мерзость. Зачем он нужен в конторе? Тут-то и видно, на что уходят деньги. Паркет у них есть, а скоблить его изволь куском стекла. На замазку в окнах у них не хватает, зато в конторе паркет. А Нибур — скоблевщик паркета. На одну ступень выше половой тряпки. Не знают небось, что я старший по камере. И что я не гожусь для ухода за полами. Все равно где, в конторе или дома, я для этого не гожусь.

Не во всех стычках с матерью я одерживал победы, но в этой я победил. Я мог не брать в руки швабру. И половую тряпку тоже. И веник. Правда, она говорила: кто не помогает матери мыть полы, тому не знать покоя в гробу, он будет скрести изнутри крышку до самого страшного суда. Но ведь она и другое говорила: кто выбрасывает хлеб, тот превратится в камень. Это я проверил — не подтвердилось. И еще она говорила: кто работает споро, тому бог опора. И это я проверил. На ней. Также не подтвердилось.

Я, конечно, не знал, как надо понимать слова «бог опора». Когда речь идет о матери Марка Нибура, жене складского рабочего Нибура. Быть может, бог был ей опорой, и потому ее муж не вывалился из слухового окна, когда орал на весь Марне, что нынче ветер, стужа зла. Но потом он погиб во Франции, а там погибло не так уж много народу, и его старший сын погиб тоже, а младший пропал без вести. Бог — опора? Чепуха!

Женщина, которая руководила мной при циклевке паркета, тоже, наверно, усматривала связь между спорой работой и божьей опорой — хоть она и сказала, что меня никто не торопит, все же то и дело подгоняла, и мне было совсем невмоготу. Особенно моей левой руке, бывшей руке, и тут меня бог нисколько не подпирал, мне было адски больно, а паркету, судя по следам стекла на нем, нисколько.

Моя мать обращалась бы со мной получше, но в одном та женщина была похожа на нее: если я осколком гипса достаточно долго и безуспешно скреб алмазный паркет и достаточно громко стонал, она брала у меня скребок и показывала, как обстоят дела на шкале твердости.

Так бы сделала и моя мать. Так бы смотрела на дело и моя мать. Она бы так же мной возмущалась. Она бы так же со мной обращалась. Хотя я ее сын. Именно потому, что я ее сын.

Стоп, стоп — потому что я ее сын?

Вовсе нельзя сказать, что та женщина обращалась со мной так же, как обращалась бы моя мать. И нельзя сказать, что моя мать обращалась со мной так же, как обращалась та женщина. Потому что для моей матери я был сыном, а для той женщины пленным немцем.

Уравнение возможно только при одновременном преобразовании всех его членов. Заменишь один — заменяй все. Женщина обращается в мою мать, а я в кого? А я, следовательно, в пленного. Я и так уже пленный. И так уже, но теперь я становлюсь пленным и для моей матери. Если я хочу сравнить мою мать с этой женщиной, то должен быть пленным и для моей матери, только тогда уравнение будет возможно. Нет, не будет оно возможно.

Если уж мы хотим построить уравнение, то должны заменить и этот его член — немец должен обратиться в поляка.

Моя мать надзирает за польским пленным, который скоблит паркет, а у него изувеченная рука.

Не отвлекаться сейчас — есть ли в Марне контора с паркетным полом, что моя мать делает в этой конторе, как оказалось, что она надзирает за пленным? Это второстепенные вопросы. Чтобы уравнение было возможно, оно должно быть свободно от второстепенных вопросов. Итак, вернемся к тому, что уравнимо и существенно: моя мать надзирает за польским пленным, который скоблит паркет, и у него изувеченная рука. Как она к нему относится?

Разумеется, фактор времени здесь тоже важен. И еще некоторые обстоятельства. Если в уравнении должно содержаться как можно больше известных величин, то мы уже окончили войну и держим в плену тех, кто ее начал, кто стер в порошок Марне. Моя мать присматривает за последним в Марне куском паркета и руководит пленным поляком-циклевищиком, а тот, возможно, убийца.

Это уж я хватил через край. При таком уравнении моя мать должна думать, что этот пляк натворил много зла — по слухам, в Киле. Или думать о том, что якобы натворил генерал Эйзенштек. Что он натворил. Но не генерал Эйзенштек, его тоже надо заменить: превратить его в польского генерала, позаботившегося в Марне о том, чтобы население не вело себя по отношению к оккупантам противно международному праву. Нет, это уж я хватил через край.

Простое уравнение:  $a + b = c + d$ ;  $a$  — польская женщина, наставляющая Марка Нибура (в нашем уравнении —  $b$ ) в науке о высшей шкале твердости;  $c$ ...

Это не годится. Это ничего не дает. При этом мы обходим вопрос стороной. Марк Нибур намерен крадучись обойти вопрос. А вопрос гласит: как вела бы себя в сходных обстоятельствах моя мать?

Сам не знаю, с чего это я припел сюда свою мать, быть может для того, чтобы понять, где я. Ведь, в конце концов, это было едва ли не первой обязанностью моей матери — сказать мне, где я, кто я, что я и что к чему. Почему? Потому! Почему?

Мать дана человеку для того, чтобы он не растерялся, попав в переделку.

Как вела бы себя в этом случае моя мать?

Какою была моя мать?

Если правда, что Ньютон открыл закон всемирного тяготения, увидев, как падает яблоко, а паровую машину мы обрели, когда Джеймсу Уатту однажды пришлось в голову наблюдать, как его жена готовит завтрак, правильным будет и утверждение, что я начал понемногу входить в разум, когда скоблил стеклом дерево, подгоняемый полькой, которая настаивала, чтобы я действовал также и своей несчастной больной рукой. И когда я пробовал представить себе свою мать на месте надзирательницы. Когда пробовал составить неслышанное уравнение. То есть когда представил на месте надзирательницы свою мать. То есть когда начал смотреть на себя глазами поляков.

Когда начал... Такое начинается не сразу. Много яблок должно упасть, прежде чем из этого будет выведен закон. То, что я навоображал себе о соседях Ядвиги, тоже было началом. Началом было, когда я вдруг с ужасом понял, почему остриженную танцовщицу стошнило. Началом была способность заново отстроить город из пепла гетто. Началось это, когда я присоединился к подросткам в подъезде и вдруг нагрянула серая облава, запольхал огонь из автоматов, пролилась кровь. Это началось во всю, когда я был молодым поляком, а шпик, присвоивший власть, и десять крикливых домохозяек на шнуре от утюга вздернули меня на газовую трубу. И совсем уж всерьез началось вопросом, как бы обошлась с пленным моя мать. Как было бы с моей матерью и со мной.

Из падающих яблок и танцующей крышки чайника я не вывел никаких движущих мир законов — только нашел для себя чуть более разумное поведение; получилось это примерно так же, как с выпадом против генерала Эйзенштека: я его не придумал, он вылился сам собой.

Много времени потребовалось мне, прежде чем я поместил свою мать в одном кадре с пленными. Но потом замелькали и другие кадры.

Шли мы как-то с вокзала — не помню уж, куда мы ездили, — и по дороге попала нам группа французов, они чинили какую-то решетку. Молчали они вообще редко,

но теперь, когда мимо проходила моя мать, залопотали что-то таким тоном, что переводить мне не надо было. Да и матери тоже. Я не знал, как себя держать, и сделал вид, будто ничего не замечаю, но я прекрасно видел, что мама не возмутилась. Она вскинула чуть повыше голову с чуть длинноватым носом и шла, как человек, заботящийся о своей походке. Уголками глаз она поглядывала на меня, но, кажется, не заметила, что я что-то заметил. Сомневаться нечего, ей было приятно, но она знала, что это нельзя показывать. Потому что то были французы, пленные. Прежде всего потому. В Марне такие вещи вообще нельзя было показывать.

Уже когда отец был на фронте, мы с ней несколько раз ходили к нему на склад за сечкой для козы. Некоторые старые товарищи моего отца часто его вспоминали и кое-что нам подбрасывали. На складе работали поляки, и помню, мать как-то спросила, не трудно ли с ними.

Надеюсь, мне поверят, что я люблю свою мать, но сказать, чтоб она сочувствовала полякам, я не могу. Я им и сам не сочувствовал, однако сейчас речь идет о моей матери. Нет, она им не сочувствовала — у старого Мюллера она хотела только узнать, справляется ли он с ними. Как справляются с новой лопатой или тачкой.

Русских я встретил только один раз, идя вместе с матерью. С ними обращались не так, как с другими пленными; их можно было увидеть, только когда их выводили на работу. Я не знал, что с ними делают, и не хотел знать, мать тоже этим не интересовалась. Увидев оборванных, изможденных людей, она сразу отвернулась и сказала: «Ну и вид у них!»

Я не говорил с ней на эту тему и, может, зря приписываю ей что-то, чего она никоим образом не заслуживала, но я полагаю, свой упрек насчет вида русских она адресовала не только им самим.

В Марне считается чуть ли не ругательством, когда один человек говорит про другого: «Ну и вид у него!» Это всегда упрек, но он может означать и то, что человек сам привел себя в такой вид, и то, что его привели другие. Думаю, моя мать не одобряла, что русских привели в такой вид.

А ведь это было вскоре после того, как убили отца, и, если верить словам матери, выходило, что ей хочется перебить за это всех на свете. И все же она не одобряла, что людей приводят в такой вид.

Может, я нахожу связь там, где на самом деле никакой связи нет, но вот что еще произошло: некоторое время спустя матери пришлось по приказу блокарта разбудить меня среди ночи — вся молодежь Марне мужского пола была поднята по тревоге в связи с побегом русских из лагеря. Когда мы позднее это с ней обсуждали, она сообщила мне только, что со сна я ворчливо осведомился: «И теперь мне их ловить?» Но я хорошо помню, что, подталкивая меня к дверям, она сказала: обязательно, мол, лазить под каждый куст, — и никто меня не убедит, что думала она при этом только обо мне. Я не питал ни малейшей симпатии к русским, но никакого усердия не проявил. Под кусты я не лазил, конечно, и из трусости тоже, но и потому, что меня парализовала мысль: я могу наткнуться там на человека, похожего на тех русских, и придется рассказать об этом матери.

Иногда я думаю, что кому-то надо было только должным образом поговорить с моей матерью и людьми ее круга — и многое пошло бы по-другому. Мне возразят: это и делалось; а я скажу: делалось, но не должным образом.

Она и знать не хотела о гордой скорби, и когда нам прислали письмо, что мой брат служил примером для своих товарищей, сказала: «Посмей мне только!» Она не одобряла, что русских привели в такой вид, но она одобряла другое, чего не стала бы делать, если бы нашлись люди, сумевшие должным образом с ней поговорить.

Она тоже поминала «польские порядочки» и «хедер» и нередко рассказывала, как однажды молоденькой девушкой вместе с нахальной кузиной забрела в синагогу и держала молитвенник вверх ногами, а кто-то ей его поправил.

Одно я знаю про свою мать: если бы кто-нибудь ей сказал, что она была Лизой-дурочкой и что не только с молитвенником, а и со многим другим на свете следует обращаться не так, как обращались в Марне, она бы это усвоила. Но у нее был только старший брат Йонни, чьи изречения она не желала слушать, и моего отца тоже не



всегда слушалась, да и как бы стала она слушаться человека, оравшего из складского окошка, человека, сунувшегося в синий костюм в собачий лаз.

Когда объявили, что у евреев больше покупать нельзя, она об этом жалела, потому что знала в Альтоне один еврейский магазин, где все было гораздо дешевле. Может, она жалела и самих евреев, но я от нее этого не слышал. Не думаю, чтобы она их жалела: в наших краях, в Дитмаршене, рассуждая о кризисе и об инфляции, непременно поминали «подлых жидов».

Мне было бы очень приятно думать о своих родителях, что они во всех случаях жизни оказывались умными, любезными, порядочными, но так было далеко не всегда. Нацисты не сумели привлечь их к себе, но и те немногие, что были против нацистов, не сумели тоже. Дядю Йонни они более или менее принимали, но если бы вдруг обнаружили, что он мастерит в нашей прачечной бомбу, то тихонько вышли бы в сад, будто знать ничего не знают, и от них бы действительно никто ничего не узнал. Но сперва они попытались бы отобрать у дяди Йонни динамит и взрыватель и выгнать его из прачечной.

Однажды мама сказала своему брату, чтобы он катился в свою коммуну, и я еще помню, в какой ужас привела меня мысль, что дядя Йонни мог бы удалиться в этом направлении. А как-то раз она обозвала одного мальчишку жиденком. Он учился первые годы со мной в одном классе, и у нас вошло в привычку кидаться друг в друга камнями. Когда мама увидела, что Берни кинул в меня камень, у нее сорвалось с языка это словцо, но мне она заявила, чтобы я не смел его произносить — ни под каким видом. «Посмей мне только!»

Того мальчишку я давно забыл: в один прекрасный день он исчез вместе со своим семейством и никто по ним не скучал. Забыть-то я его забыл, однако позднее у меня были причины его вспомнить. Берни, видимо, уехал из нашего города задолго до 1938 года. Осенью тридцать восьмого я слышал разговоры взрослых, что ортсгруппенлейтер из предусмотрительности отправил своему начальнику в Киль телеграмму: «Проявлений народного гнева против евреев в городе не отмечалось в связи с полным отсутствием последних».

Возможно, взрослые потому так часто, с таким удовольствием и упоением обсуждали эту телеграмму, что она с любой точки зрения была свидетельством глупости, но не исключено, что они хотели шуточками отделаться от темы «народного гнева». Во всяком случае долгое время я думал, что мои старики совсем не причастны к «народному гневу», и все же с той минуты, как мне опять вспомнился Берни, я не могу утверждать это с полной определенностью.

Столь же неопределенно вынужден я ответить и на вопрос, как обращалась бы моя мать с весьма подозрительным поляком, доведись ей надзирать за ним при циклевке паркета.

Оттого, что мне приятно так думать, и оттого, что это неопровержимо, скажу: моя мать ничего плохого поляку не сделала бы, она поступала бы с ним так же, как полька поступала со мной: умеренно подгоняла бы, позволяла бы передышки и давала поест. Мне хотелось бы, чтобы это было так.

Да, моя мать тоже безжалостно следила бы за тем, чтобы пленный не слишком падал свою изувеченную ручонку. Уравнение так уравнение.

Иногда, вспоминая Раковецкую улицу, я думаю: будь рядом со мной кто-нибудь более опытный, умный, понаторевший в искусстве претворять впечатления в суждения — говоря проще, делать выводы из пережитого, — то я, быть может, лучше использовал бы время за кирпичной стеной.

А так дело доходило только до расшатывания привычных мнений, обретения позиции, сомнений в прописных истинах. Больше всего во мне развилось нечто, чему я тогда еще не знал названия. А название это — скепсис. Он малопопулярен, но это не столь важно. Могу даже заверить: я уже не так охоч до сомнений, как некогда. Но я всегда готов сомневаться и таким хотел бы остаться впредь.

Звучит странно: человек тверд в своих сомнениях. Потому что сомнение как раз и направлено против чего-то утвердившегося и по видимости твердого. Так ~~что~~ получается противоречие: я тверд в своем сомнении.

К этой позиции я подошел не совсем подготовленным. Один из трюков моего отца состоял в том, что он терпеливо выслушивал чью-то взволнованную речь, потом отворачивался и насмешливо спрашивал через плечо: «А теперь ты это знаешь?»

Это был не вопрос, а ответ, и за такие шутки моего отца недолюбливали.

Конечно, он и меня несколько раз так отделявал, и я был ужасно зол на него и разочарован, мне ведь стоило немалых усилий заставить себя выложить отцу свое мнение, поведать желание или мечту. Может, потому мне и понадобилось так много времени, прежде чем я освоился с этой вопросительной формулой, с этой подковыркой в форме вопроса. Но в конце концов мне это удалось, и я понял всю сокрушительную силу этой нехитрой фразы: «А теперь ты это знаешь?»

Поэтому, именно поэтому я думаю, что ненавязчивый учитель — податель мыслей был бы мне очень кстати. Человек, который помог бы мне отделаться от ложной веры и считать что-то еще надежное возможным, что-то еще возможное возможным.

Но такого человека со мною рядом не оказалось и, скажу сразу, не было и после.

Я должен был помочь себе сам, а на этом пути далеко не уйдешь. Или уйдешь даже очень далеко, но станешь таким однобоким. Таким непререкаемым. Таким категоричным. На все случаи жизни у тебя будет всегда одно только средство: как, например, мне в трудных случаях всегда приходил на ум мой гипсовый панцирь. Плохо, что я преуспел благодаря ему. Нет, я не жалею о том, что заставил капитана Шульцки на время утратить дар речи, а тюльпанщика заколебаться, когда гауптштурмфюрер сделал ему знак. То, что я молотил других и потому они не измолотили меня, — достаточный повод, чтобы тепло думать о гипсовой повязке.

Плохо, что мне потом ее не хватало; очень не хватало, ибо я уж счел на нее полагаюсь.

Но и в этом суждении таится некоторая несправедливость, потому что под защитой своей каменной палицы я бесстрашно насакивал со своими рифмованными и нерифмованными, нет, со своими неподобающими изречениями на людей, к которым прежде не смели обращаться с дерзкими речениями и бунтарскими мнениями.

Пожалуй, многоват размышлений о гипсовой повязке. Скажем так: она была нежелательна, но полезна и, когда я от нее избавился, мне ее сильно недоставало. И она оказалась необходима в том смысле, что без нее, вернее без того, во что она превратила мою руку, мне вряд ли пришла мысль поставить мою мать в одно уравнение с чужой женщиной, полькой.

Без нее я не научился бы так критически смотреть на вещи.

«А теперь ты это знаешь?»

Я знаю это постольку, поскольку можно знать что-либо подобное. Так что я придерживаюсь фактов, о них и рассказываю.

В моей камере тем временем тоже думали обо мне. Я почувствовал неприятную напряженность и, хотя у меня болели колени и руки, особенно левая рука, старался выглядеть не слишком разбитым. Ведь я знал, что живу в одной клетке с гиенами.

#### XXIV

Дело взял на себя главный комиссар Рудлоф. Почти такими словами он и сказал мне: он взял мое дело на себя. А так как кое-кто из присутствующих кивнул, а все остальные молчали, я понял, кто поручил ему дело, понял также, что должен подчиниться. Однако было бы неестественно не спросить:

— А что это за дело?

— Давайте-ка рассмотрим его спокойно, — сказал Рудлоф, и, несмотря на боязливый холодок, меня охватила ярость при мысли: гестаповец опять чувствует себя на своем месте. — Давайте-ка спокойно и деловито рассмотрим, что мы имеем, — сказал Рудлоф. — Мы имеем молодого сотоварища — да, мы будем пользоваться этим обозначением, пока оно еще допустимо, — именно молодого сотоварища, которого вражеский каприз — так нам представлялось это до сих пор — сделал у нас в камере старшим. Это само по себе уже достаточно странно, но не было бы так странно, если бы враг предоставил этому молодому старшему отправлять здесь, в камере, не подобающую

ему, но тем не менее возложенную на него должность. Однако этого враг не делает. Враг то и дело уводит молодого сотоварища из камеры, вместо того чтобы оставлять его там для надзора. Уводит неоднократно, а иногда и надолго. Стоп, мы рассмотрели дело пока еще не во всей его совокупности. А только из совокупности оно и возникает. Ибо у нас не было бы никаких оснований задумываться о молодом сотоварище и его отношениях с врагом, если бы сей молодой сотоварищ возвращался бы в наше общество в таком состоянии, которое отчетливо бы показывало: молодой сотоварищ побывал у врага во враждебной обстановке, с ним враждебно обращались и теперь он настроен против врага еще более враждебно. Но так наше дело, к несчастью, не обстоит. Правда, молодой сотоварищ, возвратившись от врага, каждый раз бывает настроен все более враждебно, но враждебность его направлена, как ни странно, против его же сокамерников. Их он осаждает вопросами, которые при нынешних обстоятельствах следует считать по меньшей мере неуместными. Он обращается к ним тоном, который надо прямо назвать тоном горластой матросни. Он грубо и оголтело на них набрасывается и в довершение всего заставляет их выслушивать какие-то книжные премудрости. Вопрос гласит, и в зависимости от ответа дело возникнет или не возникнет вообще — сейчас, когда мы так спокойно об этом беседуем, такая возможность еще есть. Вопрос гласит: чем, собственно, занимается молодой сотоварищ за пределами этой камеры? Действительно ли он занимается тем, о чем нам сообщает, отчего возвращается крайне усталый и раздраженный и хочет — по-человечески это вполне понятно — сорвать на ком-нибудь свой стыд и злость? Или тут перед нами стыд другого рода? Может, молодой сотоварищ так враждебен к нам, потому что враг с ним дружен, а он дружен с врагом? Объяснятся ли его необъяснимые дерзости, если выяснится: хотя молодой человек и молод, но он отнюдь не молодой сотоварищ, не наш сотоварищ и его следовало бы, если бы это не оскорбляло священного слова, назвать сотоварищем врага? То есть предателем? Ну-ка вы, залетная птица, объясните, что с вами происходит?

Рудлоф наговорил слишком много. Употребил слишком много слов. Слишком многими словами злоупотребил оттого, что опять возымел вес. Доберись он скорее до последней фразы, я бы не успел сообщить: он брызжет слюной от восторга, что его опять призвали на службу.

Даже гауптштурмфюрер сказал:

— Вы всегда так трепались? Нам нужен допрос, а не семитское словоблудие.

— Понятно, гауптштурмфюрер, — ответил Рудлоф и, обратившись опять ко мне, спросил: — Где вы были сегодня?

— В конторе.

— Где вы были вчера?

— У врача.

— Где вы были на днях, когда вы так долго отсутствовали?

— В лагере, на территории бывшего гетто.

— Кто, кроме вас, был в конторе?

— Женщина.

— Кто, кроме вас, был у врача?

— Другой врач.

— Кто, кроме вас, был в лагере?

— Примерно три тысячи человек, заключенных и не заключенных.

— Имя женщины?

— Мне его не называли.

— Ее звание?

— Уборщица, наверно.

— Не хамить. О чем вы говорили с врачом?

— Ни о чем.

— Вы молча общались с двумя врачами?

— Ваш вопрос касался одного. Тот со мной не разговаривает.

— А второй?

— Тот сам арестант. По мне, так даже слишком много разговаривает.

— В лагере вас хотели опознать? Кого в вас хотели опознать?

— Того, кто я есть.

— А кто вы есть?

— Я Марк Нибур, понял ты, пес безмозглый? Я один из Нибуров, тот, кто жив еще, понял, отставной кровосос? Полякам я не могу запретить меня проверять, но не позволю такому недоделанному курошупу лезть ко мне с идиотскими вопросами. Отцепись от меня, недоумок, мастер плясать на чужих пальцах, не то я вобью тебе уши в горло!..

Я бы мог продолжать в том же духе, с удовольствием продолжал бы, на меня нашло вдохновение, я гнал бочаров попарно. Я сорвался — они перекрутили гайку. И пронзительно острая мысль сверлила меня во время всей этой сцены: если уж тебе не верят, что ты Нибур, изо всех громких Нибуров один тихий, то задай им перцу, они ведь этого ждут.

Они тебя держат за душегуба — так терять нечего.

Женщины с паркетом тебе не избежать, но ты можешь избежать участи при-служника этих типов, а ты станешь им, если вздумаешь уступить. Этого надо избежать.

Это надо кончать. Тут нужна еще одна точка. Здесь надо все перевернуть. Нужна точка опоры.

Я ее нашел. Сегодня она кажется маленькой, действительно всего только точка. Точка — это нечто такое, что неделимо и не имеет протяженности, так говорит Эвклид. Но нечто неделимое — это огромная целостность, а нечто, не имеющее протяженности, должно пронизывать насквозь, так говорю я. Движущаяся точка проводит линию — значит, опять-таки мне нужна точка, ибо здесь надо подвести черту. Точку можно определить также как пересечение двух кривых. Верно, пути Нибура и Рудлофа пересеклись: Нибур-отец был страшен и бесстрашен, когда его сыновья простодушно рассуждали о гестапо, а Рудлоф служил в гестапо и был страшнее страшного. Кривые пересеклись, образовав точку. Когда идет процесс размежевания, определение точки может быть сформулировано резче, если понимать точку как часть пространства. На какой-то миг, зажатый между двумя рифами, Нибур понял, что идет процесс размежевания: точка, которую ему следует найти, окажется существенной частью его бывшего и будущего жизненного пространства. А поскольку Нибур был печатником, то немецкое слово «пункт» — точка — мыслилось ему и как единица измерения шрифта, и тогда он вспомнил, что это немецкое слово происходит от латинского punctum и что означает оно, собственно, укол.

Разумеется, тогда я ничего этого не думал; это я думаю сейчас, когда рассказываю.

Это тоже не совсем верно, я и тогда знал, что необходимо поставить точку, сделать укол, а об отце, который так гадко говорил со мной и с моим братом, думал всякий раз, когда мне на глаза попадался Рудлоф. Да и могло ли быть иначе: страшные картины, которые я рисовал себе мальчиком после пугающих рассказов отца о растоптанных пальцах часовщика, яркими вспышками расцвечивали мои представления о деятельности комиссара Рудлофа в те времена, когда он еще не был моим сокамерником.

И этот тип собирался теперь меня допрашивать? После польских деревенских старост, русских штабных офицеров, усталых поручиков и дуболомов пана Домбровского — еще и этот тип? Нет, этому не бывать. Именно он, комиссар Рудлоф, хочет, чтобы я узнал еще и третью степень плена? Он, наверно, не предполагает, что мне мнится, будто самый первый раз я оказался в плену поблизости от него?

Тогда придется ему сказать. Придется это ему сказать. Что же следует сказать такому типу?

То, что я ему сказал, звучит сегодня почти избито, стерто, не слишком остро и резко, ничуть не колко и, казалось бы, не годится для тонкого процесса размежевания. Я его обозвал нацистом. Я сказал:

— Катись от меня подальше, нацист!

И этим кое-что было сказано. Смешно, но это так: никто из них не хотел называться нацистом. Некоторые допускали, что они были национал-социалистами, но нацистами — нет. Даже крестьянский звонарь Кюлиш, для которого привет от фюрера, переданный через оратора Зомбарта, стал самым радостным событием его жизни,

не желал, чтобы его так называли. Слово «нацист» считалось ругательством, а они его не заслужили. Оно наводило на мысль о брюшке, нависшем над поясным ремнем, а ведь они со своими людьми делились. От него отдавало фанатизмом, а ведь они были деловые люди на трудной службе — на службе родине.

Нет, нет, они не собирались отречься от самой идеи — от чистой и верной идеи, необходимой как опора против хаоса; они хотели бы только не погрешить против истины. Они были солдатами, офицерами, чиновниками, начальниками и носителями власти, многие из них состояли в партии, но далеко не все, многие, возможно, были чересчур легковёрны, скорее всего так, этим и объяснялись те или иные акции, которые здесь собираются вменить им в вину, — пусть все это так и есть, и они готовы принять упрек, что со строжайшей жестокостью и жесточайшей строгостью ратовали за интересы народа, в конце концов они побежденные. Но нацисты? Нет.

А вот я их так назвал. Все очень обиделись.

Достаточно плохо и то, что поляки зовут их фашистами. Плохо и нелепо, они ведь не служили у дуче. Достаточно плохо, что поляки обращаются с ними, как с итальянскими преступниками. Но что сказать про соотечественника, который другого соотечественника обзывает нацистом? Да еще в таком месте.

— Позор!

«Позор» — вот слово, которым они меня притводили. Это был позор. Позор — это был я.

Должен сказать, что позором мне быть совсем не хотелось, во всяком случае в глазах некоторых людей в этой камере. Вот почему я сказал майору Лунденбройху:

— Я что-то не понимаю. Вы подсылаете ко мне комиссара для допроса, я защищаюсь, и тогда вы говорите «позор». Я полагал, что позор — это когда не защищаются.

Майор, казалось, раздумывал, может ли он стать на мою сторону. Потом ответил:

— Нельзя выступать против своих с чужим оружием.

— А если свой оказывается чужим?

— Ну у господина комиссара просто хватка крепкая. Такова уж его профессиональная манера.

— И нельзя ее назвать нацистской?

— Здесь — нет. Здесь, у поляков, — нет.

— Но и дома у нас некоторых людей называли нацистами.

— Ну конечно, ваш уважаемый дядюшка? — заметил генерал Эйзенштек. — Дядя Томми с его красным матросским сленгом.

— Ах, господин генерал, все же так на это смотреть не надо, — возразил майор Лунденбройх. — У меня в семье, случалось, нацистов тоже называли нацистами. Дело ведь не в этом. Дело в том, можем ли мы в нашем здешнем содружестве поневоле пользоваться языком, который стал языком противника.

— Это все юридические тонкости, — сказал Эйзенштек.

А я сказал:

— Ведь меня могли спросить вы, господин Лунденбройх, вас бы я никогда не назвал нацистом.

— Этого еще не хватало. По вышеназванным причинам это было бы в этическом смысле совершенно недопустимо, а в смысле моих личных убеждений — неуместно, неверно, неоправданно. Но давайте о деле, и возможно короче: вы утверждаете, что за время вашего столь интригующего всех отсутствия не сотрудничали с противником ни добровольно, ни по принуждению и не были принуждены им к каким-либо действиям или высказываниям, направленным против интересов всего нашего содружества поневоле или отдельных членов этого недобровольного союза?

— Мне кажется, — сказал я, — если я все правильно понял, то должен был бы сейчас обидеться, но чтобы не затягивать, скажу: нет, не сотрудничал и не был принужден к сотрудничеству, если, конечно, вы не сочтете таковым скобление стеклом паркета. Не хотите ли взглянуть на мои пузыри?

— Пузыри?

— Да, так выражаются у нас дома, когда речь идет о волдырях, о намечающихся или уже имеющихся мозолях.

Я протянул ему свои руки; видно было, что на шкале твердости они стоят много ниже гипса.

Лапландский доктор удостоил их взгляда и заметил:

— Красота!

А Ян Беверен яростно на него напустился:

— Так нельзя ховорить, когда ты доктор, а у камада такая больная рука.

Врач радостно ответил:

— Вы, кажется, уже забыли, как этот камад своей больной рукой хорошенько отделал вашу. И, да будет вам известно, умеренный физический труд — это как раз то, что нужно при атрофии конечности.

Ян Беверен озабоченно и растерянно поглядел на свою руку, которая давно уже была опять годна для садовых работ, а я подумал: надо же, а я и не знал, что «конечность» женского рода. И еще я подумал: кажется, пронесло, но все же укол Рудлофу я сделал не зря.

Тут слово взял гауптштурмфюрер:

— Вернемся к делу, солдат. Вашего слова мне достаточно, ясно, что с теми, за стеной, вы ничего общего не имеете. Но на мой старомодный вкус, вы слишком мало или совсем ничего общего не имеете и с теми, кто находится внутри этих стен. Ваше отношение к некоторым личностям я вполне разделяю. Можете не жаловать безнравственную скотину газовщика, точно так же и почтовика, забившего польскую девушку из-за своих штанов, притом что он не упускал случая залезть в ее собственные, — этих я не защищаю. При других обстоятельствах не стал бы защищать и еще кое-кого. Но нынешние обстоятельства, как их изящно называет господин Лунденбройх — обстоятельства содружества поневоле, недобровольного союза. Отпадение одного или другого члена содружества означает начало разложения. Так не годится, солдат. Вы сторонитесь Рудлофа, потому что он был в гестапо. И что же из этого следует? Что Лунденбройх должен сторониться меня, потому что мы совершенно разного мнения о двадцатом июля. А я — сторониться Беверена, потому что он из «Мертвой головы» и служил в Аушвице, хоть и садовником, а я всегда был фронтовиком. Беверен же не захочет знаться с Гейсслером, потому что Гейсслер служил в Треблинке, а у них там не было ни одной тюльпановой рабатки. Генерал Эйзенштек и генерал-майор Нетцдорф должны разойтись — их разделяет проблема бумаги. Железнодорожный советник, который так хорошо говорит по-английски, не признает газовщика и почтовика за то, что они собственноручно отправили на тот свет лиц польской национальности, сам он отправлял их только по железной дороге, да и то письменно. Так не пойдет, солдат. Я не собираюсь твердить вам: «Наша честь называется верность» — это ведь тоже прекрасное изречение. Дело обстоит гораздо проще, господин поэт: мы нераздельны, как ветер и море. Да, да, каждый спасается как может, но при одном условии: что он не топит другого, если дело идет о жизни и смерти. А дело идет именно об этом — наши польские друзья не оставляют нам в том никаких сомнений. Если речь идет о вашем спасении, господин соотечественник, то по мне — хоть рассказывайте, что вы великий муфтий Иерусалимский или маршал Маннергейм, но извольте, юноша, никого здесь не обзывать нацистом. Это по сути только другая форма перехода к врагу.

— У вас все? — спросил я, больше мне ничего не пришло в голову.

— Все, — ответил гауптштурмфюрер, — почти все. Только еще одна мелочь, о которой мне не хотелось бы забыть. Допустим, вы не та птица, за которую вас держат поляки, это вполне возможно. И кто же вы тогда — невинный младенец? Только что вы тут разглагольствовали по поводу того, как выглядит теперь еврейский квартал, в расстрелах заложников вы тоже нашли порок, той старой гестаповской крысе вы говорите «нацист» — словом, вы нам всячески даете понять, что к еврейскому кварталу, к заложникам и к гестапо вы никакого отношения не имеете. Вы будете смеяться — я тоже не имею. Но разве из-за этого я стал бы обзывать вас нацистом? Только один вопрос, солдат: вы когда-нибудь стреляли во что-нибудь иноземное?

— Я же не отрицаю, что был солдатом.

— Я не об этом спрашиваю. Стреляли вы или нет — вот что меня интересует.

— Да, несколько раз.

— Попали?

— Да, два раза попал. В танк и в повара.

— Неплохие достижения для вашего возраста: пять человек и один танк.

— Из танка трое выскочили.

— Пожалуйста, не преуменьшайте своих заслуг. Я ведь не утверждаю, что двое — это пустяк. Говорят, в этой войне участвовали в общей сложности сто десять миллиионов солдат. Подумай только: каждый уложил двоих — сколько бы оказалось теперь свободного места. Но не будем брать мир в целом. До ноября сорок четвертого года наше возлюбленное отечество призвало под знамена тринадцать миллионов человек...

— Меня призвали только в декабре.

— Значит, в декабре их было тринадцать миллионов и один. Если каждый был так же старателен, как ты, это составит двадцать шесть миллионов и два. Но не каждый был так старателен. Погляди только вокруг. Газовщик убил одного — ты вдвое больше. Почтовик одну, пол не будем брать в расчет, — у тебя вдвое больше. Железнодорожного советника ты превзошел на двести процентов, тот только составлял расписание, и Беверена на двести, сам знаешь — тюльпаны. Что касается Рудлофа, главного комиссара гестапо, то это вопрос особый, мы его касаться не будем, а вот нашего полярного доктора ты опять-таки обскакал, он ведь не только никого не умертвил, а многих даже воскресил. Против него ты вообще герой. Нет, солдат, не говори: двое — это уже кое-что. Без тебя было бы не обойтись. Без таких людей, как ты, — это я тебе точно говорю — Кюлиш не смог бы возиться с колоколом, а пришлось бы ему стрелять вместо тебя. И господам генералам тоже пришлось бы это делать самостоятельно, не будь тебя. Думаешь, Рудлофу удалось бы провести хоть один приличный допрос, будь он вынужден постоянно отлучаться на фронт? Но он не был вынужден, для этого существовал ты. Ты замещал многих, не будь таким скромным. Без двух выстрелов из твоего автомата дело бы не обошлось — не работала бы почта, железная дорога, газовый завод, не было бы тюльпановых рабатов, господина Рудлофа не было бы и меня тоже, не было бы ни гетто, ни Треблинки — что б мы делали без тебя! И теперь ты хочешь нас покинуть?

Гаупштурмфюрер говорил тихо и спокойно, я молчал, но становилось все беспокойней.

Потому что его слова не могли быть истиной, но были ею. Потому что этого поистине не могло быть, но было. Потому что я истинно не мог с ним согласиться — и должен был это сделать.

Какая игривая мысль: тебя держат за душегуба, так что терять тебе нечего. Очень остроумная мысль. В первой своей части как будто даже очень верная мысль. Тебя держат за душегуба. Ты для них душегуб. Признан таковым. Признан душегубами за своего. Воевал за душегубов. С душегубами попался. Свою душу загубил, да и с телом распрощался.

«Дорогая мама! Здесь обо мне очень плохо говорят. Одни уверяют, что я заодно с другими, а другие говорят, что да, верно, я заодно с ними. Я не хочу быть с ними заодно, но они говорят об этом так, что приходится верить. Что я этого не хочу, помогает мало — ведь я так не искушен в Хотенье. Они уверяют, что я был их пособником, а я даже толком не знаю, каковы их дела. Дела некоторых мне известны, и я боюсь узнать про дела других. Потому что меня считают их пособником во всем.

Некоторые даже говорят, что я был не только пособником. Другие — что я уж во всяком случае был пособником. Я все время думал: скорее бы мне выбраться из ямы. Но теперь я понял: я нахожусь в двух ямах. Одна яма глубокая, но узкая, для меня одного, из нее можно выбраться. Но когда я из нее вылезу, то окажусь в другой, более просторной яме и более подходящей для меня. И как я выберусь из этой второй ямы — не знаю.

Я уже давно ни с кем не разговариваю. Оттого, что я странным образом составил, меня здесь зовут старшим, и ежеутренне и ежевечерне я докладываю человеку, желающему это знать, что мы в полном составе. Что мы все вместе. Иногда я думаю,

что я немножко не в себе. Мне кажется, что голова у меня такая же, как рука. Как рука была недавно. Она уже опять обросла мясом. Этой рукой я в одном месте немного истончил земной шар, и оттого она у меня стала толще.

Я пробыл здесь еще одно лето и осколком стекла скреб землю. Копал ее, словно мало мне двух ям. Если нельзя выйти через верх, то, может, удастся через низ.

Здесь есть женщина, она присматривает за мной, когда я скоблю, царапаю и скребу, но в одном она такая же, как те, среди которых я старший: она со мной не разговаривает. А в другом такая, как ты: она дает мне есть.

Только я погибаю, когда со мной никто не говорит. Поэтому я должен, должен говорить сам с собой, такую речь называют стихами.

Они передают мое настроение, но построены неправильно. Покажу тебе, что я имею в виду:

Покинуть мир. Уйти из жизни сей —  
Вот мысль, что день-деньской меня точила.  
Навеки сбросить груз земных скорбей,  
И пусть возьмет меня могила.

Как видишь, это просто настроение, но разумного тут мало. Стихи построены в виде шутки. Один падает и говорит: «Вниз, и точка» — и тут же придумывает на это рифму.

Только никому не говори. Я хотел бы, чтобы об этом знали все, но ты никому не говори.

Дорогая мама! Они здесь мерзко играют со мной в молчанку. Поэтому мне и понадобилось однажды поговорить с тобой, как мы еще никогда не говорили. Не пугайся, когда я так говорю о могиле или о своем буданом коне. Это все из-за головы, она у меня бетонная, и я не хочу, чтобы она усохла, как рука.

Я хочу поговорить с тобой, когда вернусь домой. Я хочу домой, чтобы поговорить с тобой.

Я не очень-то искушен в Хотенье. Пытаюсь наверстать теперь. Твой Марк».

И вот в один прекрасный вечер — я отскоблил уже столько моргенов паркета, сколько прежде натоптал шинкованной капусты, и так же долго и много ел кислую капусту собственного изготовления, и все еще был старшим в камере, куда возвращался после работы и где в течение всего лета был изолирован молчанием своих собратьев за то, что плохо говорил с ними, назвал их таким словом, которого они ни от кого не желали слышать, тем менее от меня, ведь, по их словам, я и сам был их пособником, и до тех пор, пока я не возьму это слово обратно, я от них не услышу ни единого слова, ни доброго, ни злого, — и вот в один прекрасный вечер, в тот вечер все переменялось.

Я хотел проскользнуть в камеру молча, вползти в нору, не здороваясь и по возможности не поднимая глаз, что старался делать уже давно, но не мог не заметить: они стояли не так, как всегда. Не мог и не услышать, что некоторые сказали: «Добрый вечер!» — или: «А вот и он!» И уж никак не мог не увидеть и не услышать майора Лунденбройха, который заступил мне дорогу и произнес:

— Мы решили единодушно — опала с вас снимается, вы возвращаетесь в содружество поневоле. То слово забыто, вы никогда его не произносили и, надемся, больше не вспомните. Пусть у нас будет доброе товарищество, оно сейчас нужнее чем когда-либо.

Он протянул мне руку, но у меня хватило мужества ее не взять.

Да, для этого требовалось мужество, потому что временами я был готов броситься на шею первому, кто снова заговорит со мной. А про Лунденбройха я знал точно, что не ему пришло в голову подвергнуть меня опале. Знал это и про некоторых других. Ян Беверен сокрушенно смотрел на меня, печально и безмолвно, как смотрят иногда собаки. Газовщик, случалось, нашептывал мне что-нибудь на ухо — все это время меня ему не хватало, надо же — именно ему! А ортсбауэрнфюрер явно скучал без общих развлечений — я больше ни на кого не наскакивал с поэзией. Почтовый советник, бывало, не раз подступался ко мне, даже начинал что-то хмыкать, и только угрожающее хмыканье особо строгих железнодорожных сторожей оберегало меня от соучастия в его новейших и несомненно нечистоплотных проектах.



Но в тот вечер и для него все переменялось, никто его не одергивал, а я не знал, как мне от него отделаться.

— Слушай, коллега,— начал он, и хотя я не понимал, с какого боку я его коллега, слушать все-таки стал.— Слушай-ка, ты все еще работаешь во всяких там конторах? В служебных помещениях — кабинетах, канцеляриях?

Я не мог решиться заговорить с ним раньше, чем с другими, и только утвердительно кивнул.

А ему больше ничего и не требовалось; теперь уж его было не остановить.

— Слушай, коллега,— сказал он,— ты там осмотришься хорошенько и как заметишь какой-нибудь штемпель, хватай его — и в карман. Или принеси казенный бланк. Лучше всего и то и другое. Да еще перо и чернила, и я изготовлю документки, один для тебя, другой для меня. Учитель-фольксдойче подскажет, как написать по-польски, и на бумаге появятся оправдательные доводы. Подпись и штемпель — годится?

Я хотел от него отойти, но почувствовав, что другие еще не знают, как восстановить со мной отношения, позволил почтовому, так дорожившему своими штанами, болтать дальше.

— Слушай, коллега, хочу, чтоб ты понял, я заглядываю далеко вперед: на почту я не вернусь, уеду в какой-нибудь небольшой городок, настолько небольшой, что там еще нет машинописного бюро, но и достаточно большой, чтобы испытывать потребность в таковом. Нескольких пишущих машинок к услугам каждого, кто хочет печатать на машинке, но своей не имеет. Или же — вот это и есть наш шанс — имеет свою машинку, но пользоваться ею не хочет. Невысокие расценки, спокойная атмосфера, укромные комнатки — вот что мы предлагаем клиентам. А что сулит дело нам? А вот что, коллега: я ведь не какой-то там почтовик-экспедитор или приемщик бандеролей — я телеграфист. Наши машины будут немного замаскированными телетайпами, технически это не проблема, остальное — чистые деньги. Человек думает, он печатает анонимное письмо, а тем временем параллельный аппарат в соседней комнате на наших глазах выстукивает копию. Получаем мы с клиента деньги за пользование аппаратом, смотрим ему в глаза и берем уже совсем по другой таксе. Но письма с подписью тоже могут представлять немалый интерес. Просьбы о займах, об отсрочке платежа — словом, все финансовое тоже можно использовать. Всякого рода разоблачения, жалобы, прошения, полезные указания — чистое золото. Разумеется, коллега, наичистейшее золото можно извлечь из наигрязнейших почтовых отправок. Какой-нибудь учитель поделится с нами своим жалованьем из-за непристойного письма к ученице, которое он состряпал у нас совершенно секретно, в полном одиночестве. Соседка, пишущая соседке, что ей все известно про эту соседку и некоего соседа, прикинет в уме, насколько мы обойдемся ей дешевле, чем скандал, суд и адвокаты. Или, например, мамаша...

Но тут мое терпение иссякло. Я тихо отошел от него и даже не сказал, чтобы он заткнулся. После такого долгого молчания это было бы слишком странным Первым Словом.

Тюльпанчик помог мне найти более подходящее начало. Сперва он нерешительно терся возле меня, потом спросил:

— Они тебе рассказали, что здесь произошло?

— Нет,— сказал я.

«Нет» было Первое Слово, наиболее уместное для меня в этом заведении, в этом обществе, после этого лета.

— Им предъявили обвинение. Шесть человек побывали у прокурора. Он им сказал, что ему от них надо.

— И что же ему надо? — спросил я и лишь совсем мимолетно подумал, что вопросительное предложение для начала вполне уместно.

Ян Беверен сообщил мне, что нужно было польскому прокурору от поддюжины соседей поневоле.

«соседа Нетидорфа он хотел узнать, как тот воспримет упрек, что вследствие тщательного привлечения к окопным работам гражданских лиц, женщин и под-

ростков, которые своевременно не были эвакуированы из зоны боев, он стал виновником гибели по меньшей мере трехсот человек — женщин и подростков.

У соседа Рудлофа он хотел узнать, верно ли, что своими методами допроса он лишил судей по меньшей мере двадцати одного обвиняемого-поляка.

У соседа Гейслера и еще одного эсэсовца он хотел узнать, сколь велика их доля в горах пепла вокруг Треблинки.

У одного тихого соседа, тихого крестьянина, он хотел узнать, куда девалась некая состоятельная семья из Варшавы, о которой было известно, что во время оккупации ее в последний раз видели у него в сарае с детьми и множеством багажа.

У гауптштурмфюрера, также бывшего моим соседом, он хотел подробнее узнать про его солдатские подвиги на фронтах, проходивших по улицам Мила, Генся и Заменгофа.

Смешно, но факт: пока гауптшарфюрер Беверен сокрушенно повествовал о том, в чем обвиняют шестерых наших соседей, нас окружало все большее их число, нет, не нас, а прежде всего меня, словно они хотели в один миг искупить то зло, которое причинили мне неделями бойкота. Они не только сняли с меня опалу и анафему, но ловили теперь каждое мое слово и как завороженные смотрели на рот, так долго бывший сомкнутым. Словно у меня можно было найти защиту и спасение от вопросов прокурора, словно они были мальчишками, а я седовласым генералом; словно они были младшими, а я старшим.

Но я и был старшим. Я был единственным работавшим среди сплошных безработных. Единственным покамест, кто бывал на воле, проходил через большой и малый дворы, по большим и малым улицам, переходил из камеры в контору, с асфальта на паркет. Единственным, с кем они неделями не обменивались ни словом, возможно, я знал какие-то новости: возможно, я знал средство против новейших новостей.

В конце концов, он же старший по камере.

Только я было собрался удобно расположиться на вновь обретенном троне, только было вознамерился лихо, чуть набекрень насадить на голову корону и поуютнее закутаться в почти уже привычную горностаевую мантию, как меня предостерег внутренний голос, тот, что я позднее стал называть скепсисом. Он подсказал мне: разве вы с ними теперь больше подходите друг другу? откуда у них вдруг взяли уши? что развязало им язык? чем вызвана такая необычная словоохотливость? откуда у тебя сразу столько товарищей?

Они сняли с тебя опалу, и ты тут же стал королем, вот как? Они льнут к тебе, и одиночества более горького, чем в одиночной камере, как не бывало? Ты и они — содружество поневоле. «А теперь ты это знаешь?»

На них пахло холодом, и они хотят, чтобы ты помог им согреться? Их становится меньше — значит, им дорог каждый. Ты готов был от них отойти, их пинок ускорило дело, и ты почти уже отошел, так не останавливайся, иди дальше. Они объявили тебя перебежчиком — чего же ты ползешь обратно? Оставайся ты собой, я пребуду сам собой.

— Да ведь и надо было ожидать, — сказал я, — что в один прекрасный день они выступят с обвинениями. Они же думают, что имеют дело с нацистами. Но судя по тому, что я слышал, они еще никому такого упрека не предъявляли. Может, они боятся, что после этого вы перестанете с ними разговаривать. Тут они очень придирчивы. Они придают большое значение этому разговору. Иногда они бывают усталые, тогда они благодарны за любое развлечение. И если вам не придет в голову ничего поинтересней, расскажите им свою биографию. Или еще лучше, попытайтесь им объяснить, что вы не нацисты, — они и опомниться не смогут от удивления. Мне кажется, им только захочется говорить и говорить с вами на эту тему.

— Все ясно, — сказал генерал Эйзенштек. — Господин рядовой чувствует себя на высоте положения. Да будет вам известно: для меня вы и впредь не существуете.

— Так точно, господин генерал, — сказал я, — только пожалуйста: если я стою у вас на дороге, не пытайтесь пройти сквозь меня. За последнее время я стал таким вспыльчивым, что моя мать этому просто не поверила бы.

Теперь бы им на меня и накинуться, но в тот вечер все шло по-другому, с того дня все пошло по-другому. Путаным путем я вступил в контакт с поляками, подумал

я, но эта мысль меня не обрадовала. Шестерым из здешних обитателей поляки сообщили, что они о них думают, и содружество поневоле стало разваливаться. Скоро от него останется только неволя, и это даст мне возможность вздохнуть.

Ну и что? — пришла следующая мысль. Неужели ты испытываешь угрызения совести? Если верно, что ты был их пособником — а ведь они на этом настаивают — и потому здесь оказался, то, рассуждая логически, ты оказался здесь прежде всего из-за них, по их вине. Иначе ты бы сюда не попал. Ты ничего им не должен.

А вот полякам — ничего не поделаешь, это придется признать — ты кое-что должен. Если гауптштурмфюрер мог спокойно перемальвать улицу Генся, потому что ты шел следом как подкрепление, значит, жителям улицы Генся ты кое-что должен. Верно? Верно.

Если Гейсслер и его подручный могли всецело посвятить себя своему делу, потому что знали — ты в резерве, значит, ты кое-что должен тем, от кого сегодня остался только пепел. Верно? Верно.

Могло ведь быть и так, что противотанковый ров, по которому ты удирал от надвигающегося огня, был вырыт женщинами и детьми, согнанными туда Нетцдорфом. Нетцдорф жив, а многие из тех людей погибли. Так кому же ты что-то должен?

Мысли помогают — надо только уметь думать. И надо хотеть. Ты ведь сказал, что хочешь научиться Хотенью.

Нибур, я полагаю, с этого-то и начинается свобода. Не тогда, когда человек не обязан что-то делать. Только когда он чего-то хочет. Когда он хочет того, что обязан. Ты обязан порвать с пепельных дел мастерами, этого ты наверняка хочешь. Ты обязан расплатиться с теми, кому что-то должен, разве можешь ты этого не хотеть?

Верно, верно, только они ведь и меня считают пепельных дел мастером.

Кто тут рассуждает о путаных контактах, да еще о свободе?

Надо хотеть сделать то, что обязан?

Ах, сперва надо быть в силах сделать то, что хочешь.

И я подумал: поистине вечер не таков, как утро, и лето кончается не так, как началось. Когда оно начиналось, эти вот хотели устроить мне допрос, теперь же, когда оно на исходе, допрашивают их, а они готовы спрашивать меня.

Но свободой пока что не пахнет, ей пришлось бы просочиться сквозь толстые стены, а это, насколько я знаю, привилегия привидений. Однако в привидения я не верю. Так как же мне верить в свободу?

*Перевели с немецкого И. КАРИНЦЕВА и С. ШЛАПОБЕРСКАЯ.*

*(Окончание следует)*



---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

**В. И. ЧУЙКОВ,**  
*дважды Герой Советского Союза,  
Маршал Советского Союза*



## МИССИЯ В КИТАЕ

*Записки военного советника*

### ПРЕДИСЛОВИЕ

Имя прославленного советского военачальника, дважды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова хорошо известно в нашей стране и за ее пределами. Ровесник века, он более шестидесяти лет отдал службе в рядах Советской Армии. В. И. Чуйков защищал нашу Родину на полях великих сражений, в которых решалась судьба завоеваний Октября. Один из организаторов Советских Вооруженных Сил, участник гражданской войны, войны с белофиннами, Великой Отечественной войны, командарм легендарной 62-й армии, которая от стен Сталинграда победоносно дошла до Берлина,— таковы основные вехи боевой биографии прославленного маршала. Широкому читателю хорошо известны его книги, в которых он рассказал о своих ратных делах: «Закалялась молодость в боях», «Сражение века», «Гвардейцы Сталинграда идут на запад», «Конец третьего рейха».

Есть, однако, в биографии В. И. Чуйкова страницы, о которых до последнего времени знал только узкий круг специалистов. Эти страницы связаны с его деятельностью в Китае.

В. И. Чуйкова связывало с Китаем немало обстоятельств. За период с 1926 по 1942 год он побывал в этой стране четыре раза. Впервые он попал в Северный Китай в качестве дипкурьера еще осенью 1926 года, будучи слушателем восточного факультета Военной академии имени М. В. Фрунзе. В стране в это время бушевала антиимпериалистическая революция. Как известно, помощь Страны Советов сыграла огромную роль в укреплении базы революции на юге Китая. Советские политические и военные советники во главе с выдающимися деятелями нашей партии и Красной Армии М. М. Бородиным, П. А. Павловым, В. К. Блюхером и другими помогли оформить единый антиимпериалистический фронт гоминьдана и КПК, создать Национально-революционную армию Китая (НРА), подготовить и провести Северный поход, ставший важнейшим событием революции 1925—1927 годов. Их имена оказались навсегда вписанными в историю китайской революции.

В. И. Чуйков в то время не входил в состав группы советских военных советников. Его первая командировка носила скорее ознакомительно-деловой характер, но она помогла ему увидеть реальный Китай, познакомиться с жизнью трудового народа, понять многое в тех процессах, которые происходили в стране.

Осенью 1927 года после окончания восточного факультета Военной академии имени М. В. Фрунзе Чуйков снова был командирован в Китай. К этому времени революционная волна пошла вспять. Чан Кайши совершил контрреволюционный переворот в Шанхае и Нанкине, революции изменил уханьский гоминьдан. Василий Иванович оказался в стране, охваченной мутной волной контрреволюционного террора. Само пребывание в Китае в то время советского человека, тем более приехавшего помогать революционным силам, было сплошь и рядом сопряжено с риском для жизни.

В 1929 году вспыхнул известный конфликт на Китайско-Восточной железной дороге

(КВЖД), спровоцированный гоминьдановской военщиной. В. И. Чуйков находился при штабе В. К. Блюхера, командарма Особой Дальневосточной армии, и принимал непосредственное участие в боевых операциях, в ходе которых провокаторы получили надлежащий урок. Следует сказать, что описание Чуйковым военных действий во время конфликта на КВЖД является одним из немногочисленных свидетельств очевидца этих событий и представляет большой интерес для историка.

Рассказ о первых командировках в Китай и конфликте на КВЖД составляет содержание первых двух глав воспоминаний В. И. Чуйкова, сокращенный вариант которых предлагается вниманию читателя. Они составляют как бы введение к повествованию о его главной миссии в Китае, начавшейся в конце 1940 года, когда В. И. Чуйков был командирован в эту страну в качестве военного атташе СССР и главного военного советника китайской армии.

Шел четвертый год национально-освободительной борьбы китайского народа против японской агрессии. Как известно, в начале 30-х годов Япония, захватив северо-восточные провинции Китая и образовав там марионеточное государство Маньчжоу-го, начала создавать плацдарм для нападения на Советский Союз и дальнейшего наступления на Китай. Широкому развертыванию японской агрессии на Дальнем Востоке способствовала капитулянтская политика гоминьдановского правительства и антисоветская направленность внешней политики США, Англии и Франции. Летом 1937 года Япония приступила к осуществлению своих планов захвата всего Китая. Инцидент 7 июля 1937 года, спровоцированный японской военщиной в районе моста Лутоуцяо под Пекином, послужил поводом для начала очередного этапа войны в Китае более широкого масштаба.

Сделав ставку на молниеносную войну, японские правящие круги хотели помешать начавшемуся процессу создания единого антияпонского фронта, побудить гоминьдановское правительство вернуться к братоубийственной гражданской войне, продемонстрировать свою военную мощь фашистским партнерам по «Антикоминтерновскому пакту». При этом они рассчитывали на военно-техническую отсталость Китая, отсутствие политического единства в стране и на нежелание или неспособность других государств оказать помощь Китаю.

Казалось, ничто не могло помешать японским милитаристам осуществить свою идею одноактной войны в Китае. Под напором технически превосходящих сил Японии китайские войска были вынуждены отходить в глубь страны. Однако японские милитаристы просчитались в другом — в решимости китайского народа вести справедливую национально-освободительную борьбу до победного конца и в масштабах помощи Советского Союза.

Руководствуясь ленинскими принципами пролетарского интернационализма, всемерной поддержки национально-освободительной борьбы колониальных и зависимых народов, а также народов, подвергшихся империалистической агрессии, Советский Союз и в эти годы неуклонно и последовательно защищал Китай на международной арене, а также оказывал моральную, экономическую и военную помощь борющемуся народу. В свою очередь национально-освободительная борьба китайского народа в определенной степени сковывала руки агрессора, затрудняя подготовку войны против первого в мире социалистического государства. В этой взаимопомощи нашла яркое проявление историческая закономерность взаимодействия на мировой арене сил социализма и национально-освободительного движения в борьбе против общего врага — империализма.

21 августа 1937 года между СССР и Китаем был подписан договор о ненападении. В тот период это был, по существу, единственный международно-правовой документ, укреплявший положение Китая в начавшейся войне. Расчеты японских милитаристов на международную изоляцию Китая терпели провал. В счет советских кредитов (250 миллионов долларов), предоставленных в самый трудный, критический для страны период, Китай получал вооружение, боеприпасы, нефтепродукты, медикаменты. В 1938—1940 годах автотракт от Алма-Аты через Синьцзян до Ланьчжоу протяженностью три тысячи километров в связи с установлением в начале войны полной блокады китайского побережья фактически превратился в дорогу жизни для Китая. Помощь Советского Союза стала важнейшим фактором отпора Китая японским милитаристам. Благодаря самоот-

верженным усилиям СССР Китай не только выстоял под сильным ударом агрессора, но и сумел к середине 1939 года восстановить и развернуть крупные вооруженные силы: 245 пехотных, 16 кавалерийских, одну механизированную дивизию (всего 3 миллиона человек).

Помощь Советского Союза Китаю помимо военного имела еще и другой аспект. Она оказала существенное влияние на внутривнутриполитическую обстановку в стране, сыграв чрезвычайно важную роль в установлении и сохранении, особенно в течение первых четырех лет войны, единого национального фронта. Благодаря единому фронту, который увеличил силы сопротивления китайского народа, японский империализм не смог осуществить план молниеносной войны в Китае. Единый фронт дал возможность патриотическим силам усилить давление на правящие круги гоминьдана. Особенно важную роль единый фронт сыграл в укреплении революционных сил Китая, прежде всего КПК и контролируемых ею армий.

В ответ на просьбу китайской стороны правительство СССР согласилось отправить в Китай военных советников, специалистов и летчиков-добровольцев. В начальный период войны помимо советских людей, обеспечивавших доставку вооружения и других грузов по «дороге жизни», многие советские добровольцы сражались бок о бок с китайскими воинами непосредственно на фронте. В первый период войны советские летчики-добровольцы приняли на себя главный удар японских воздушных армий. Посланцы советского народа помогали разрабатывать планы операций для организации отпора японскому наступлению, обучали и готовили китайские войска к активным боевым действиям против захватчиков. К сожалению, некоторые их рекомендации и пожелания саботировались Чан Кайши, военным министром Хэ Инцинем и антисоветски настроенными командирами.

К середине февраля 1939 года в Китае работали и участвовали в борьбе с японскими агрессорами 3665 советских военных специалистов. Именно с их участием связывали в Китае длительную оборону Уханя (июль—октябрь 1939 года), державшегося более четырех месяцев (в то время как Шанхай оборонялся три месяца, Нанкин — пять дней, Гуанчжоу — один день). Среди советских советников были такие видные военачальники, как П. Ф. Батицкий, П. С. Рыбалко, А. Я. Калягин и многие другие. Плодотворную работу в Китае до В. И. Чуйкова вели главные военные советники М. И. Дратвин, А. И. Черепанов, К. М. Качанов.

В своих мемуарах автор рисует сложную и противоречивую обстановку, в которой протекала его деятельность в Китае. В 1941 году китайский фронт являлся важным фактором развития событий на Дальнем Востоке и в бассейне Тихого океана. В условиях подготовки гитлеровского нашествия и угрозы нашей безопасности со стороны японской военщины этот фактор приобретал первостепенное значение и для Советского Союза. Япония к этому времени, по существу, прекратила наступательные операции в Китае, дожидаясь благоприятного для себя развития обстановки на западе и выбирая объект для нового агрессивного броска. В этих обстоятельствах китайский фронт мог бы сковать силы японских милитаристов и не дать им возможности ринуться в новые военные авантюры. Важным условием этого должна была стать помощь Китаю со стороны западных держав и внутреннее единство в стране.

Мемуары В. И. Чуйкова помогают конкретному раскрытию того непреложного исторического факта, что китайский фронт не стал преградой дальнейшему развертыванию японской экспансии. Причиной тому была так называемая политика непризнания и нейтралитета, проводимая западными державами, и эгоистические расчеты, которые преследовали чунцинские политиканы и часть руководства КПК во главе с Мао Цзэдуном.

Антисоветская направленность внешней политики правительств США, Англии и Франции с самого начала способствовала широкому развертыванию японской агрессии на Дальнем Востоке. Намереваясь задушить национально-освободительное движение в Китае руками японской военщины, правящие круги этих стран стремились использовать Японию и как ударную силу против Советского Союза. Они считали, что чем больше уступок будет сделано японскому агрессору за счет Китая, тем скорее начнется японо-советская война. Вплоть до второй половины 1941 года западные державы, по существу, не оказывали никакой реальной помощи Китаю в борьбе с агрессором. Помогал борьбу

целому народу только Советский Союз. Как известно, политика Запада привела к катастрофе при Пёрл-Харборе.

Воспоминания В. И. Чуйкова раскрывают перед читателем и глубины чунцинской политики в тот период. Благоприятные перспективы, связанные с прекращением широких наступательных операций Японии в Китае, гоминьдановское руководство использовало отнюдь не для усиления военного давления на японских агрессоров. Чан Кайши в первую очередь стремился укрепить однопартийную диктатуру гоминьдана и усилить мероприятия по ограничению деятельности КПК и блокаде освобожденных районов, контролируемых коммунистами. Спровоцировав в январе 1941 года нападение на Новую 4-ю армию, руководимую коммунистами, Чан Кайши взял курс на фактический разрыв единого фронта. На фронтах антияпонской войны гоминьдановские войска проявляли в этот период полную пассивность. «Внутренняя борьба с КПК заслонила у многих китайских генералов вопрос войны с японцами», — пишет В. И. Чуйков. Гоминьдановская верхушка стремилась прежде всего сберечь силы для борьбы с КПК, рассчитывая разбить японцев руками третьих стран.

По сути дела, аналогичную позицию пассивного ведения войны с японскими захватчиками и накопления сил для борьбы с гоминьданом, как известно, занимала в то время и часть руководства КПК во главе с Мао Цзэдуном. Конкретному раскрытию теневой стратегии Мао Чуйков посвящает специальную главу своих воспоминаний.

Между тем обстановка на советско-германском фронте, сложившаяся в первые месяцы нападения гитлеровской Германии на Советский Союз, требовала усиления борьбы китайского народа против японских агрессоров, чтобы предотвратить возможность вступления Японии в войну против СССР. Это соответствовало не только интересам Советского Союза, но и интересам других свободолюбивых народов, и в особенности интересам китайского народа.

В. И. Чуйков предупреждает, что он «солдат и привык говорить правду без обиняков и дипломатических смягчений». Та правда, которую поведал нам автор записок «Миссия в Китае», свидетельствует, что ни Чан Кайши, ни Мао Цзэдун не помышляли об оказании помощи СССР в трудный для нашей Родины час, преследуя лишь свои эгоистические интересы. В этот момент Чан Кайши вел линию на обострение советско-японских отношений, более того — на провоцирование войны между Японией и СССР. Стремление В. И. Чуйкова скоординировать, объединить военные усилия гоминьдана и КПК наталкивалось на противодействие и той и другой стороны. Этим не хотели заниматься ни Чан Кайши, ни Мао Цзэдун. Один пересиживал другого.

В обстановке косности, рутины гоминьдановского генералитета, его нежелания воевать главному военному советнику было нелегко реализовать даже план какой-нибудь частной операции против японцев. Находиться каждодневно среди этой рутины и косности, когда враг рвался к Москве, быть всем сердцем на Родине и оставаться на посту, который тебе поручила Родина в далеком Китае, — это ли не подвиг советского человека-интернационалиста!

И тем не менее наш советнический аппарат продолжал свою нелегкую миссию. По его рекомендациям были усилены оборонительные укрепления, в результате в 1941 году и в ближайший после этого период японцы так и не смогли прорвать оборону китайской армии и достигнуть крупных оперативных успехов на фронте. Был разработан и реализован план Ичанской наступательной операции, успешно проведен в жизнь план разгрома японского наступления на Чанша осенью 1941 года и т. д.

Чрезвычайно важный вопрос, который стоял перед советскими военными советниками в Китае, — выяснение направления дальнейшей японской экспансии. Север или юг? — так формулирует эту задачу Чуйков. Он раскрывает нам свой конкретный анализ складывавшейся обстановки, как бы ставит нас на свое место, предлагая вместе с ним перенестись на сорок лет назад, решить эту сложнейшую и важнейшую для безопасности нашей страны задачу. Япония, как известно, ринулась на юг, предположения В. И. Чуйкова подтвердились. Однако вместе с тем на протяжении всей войны Япония не отказывалась от планов агрессии против СССР, заставляя нас держать большие военные формирования на Дальнем Востоке.

Воспоминания В. И. Чуйкова — важное свидетельство очевидца, приоткрывающее нам завесу чунцинской политики и теневой стратегии Мао Цзэдуна в 1941 году. Они

показывают, как вели себя китайские националисты в тот тяжелый для нас год, отсиживаясь и ожидая развязки борьбы между державами. Вместе с тем эта книга — свидетельство четкой и недвусмысленной позиции СССР в отношении Китая. Наша помощь поступала народу, который проливал кровь в борьбе за свою независимость. Вместе с ним сражались, не щадя себя, и советские люди. Советский Союз не мог допустить, чтобы эта помощь использовалась для подавления прогрессивных сил страны. В начале 1942 года, когда гоминьдановцы усилили нажим на Освобожденные районы, Советское правительство отозвало из Китая всех советников. В феврале 1942 года вернулся на Родину и В. И. Чуйков. Вернулся, чтобы сразу же окунуться в огонь сражений, в которых решалась судьба страны. В июле 1942 года Чуйков прибыл на Сталинградский фронт. Началась новая страница его биографии. Книга воспоминаний «Миссия в Китае» без сомнения будет с интересом воспринята как историками, так и широким кругом читателей.

### ПЕРВАЯ КОМАНДИРОВКА В КИТАЙ

**М**оя первая командировка в Китай в 1926 году не была случайной. В свои двадцать шесть лет я пережил немало: за спиной Южный, Восточный и Западный фронты гражданской войны, ранения, командование полком. Как и многие активные участники гражданской войны, в 1922 году я поступил учиться в Военную академию имени Фрунзе. После ее окончания в 1925 году мне предложили продолжать учебу на китайском отделении восточного факультета той же академии. Как известно, в это время в Китае широким фронтом разворачивалось революционное движение, охватывшее миллионные массы крестьянства, рабочих, мелкую и национальную буржуазию. Мы, советские командиры, под руководством великого Ленина разгромившие войска бедохраней генералов и отразившие походы иностранных интервентов, считали за честь принять участие в национально-освободительном движении китайского народа и помочь ему в борьбе с империалистическими хищниками. Лозунг «Руки прочь от Китая!» доходил до наших сердец как свой, родной.

Учились мы усердно, с огромным воодушевлением. День и ночь зубрили китайские иероглифы, старались овладеть их правильным произношением, кропотливо изучали историю Китая, традиции и обычаи его народа. Я до сих пор вспоминаю наших преподавателей — В. С. Колоколова, Лян Куна, профессора-историка А. Е. Ходорова и других.

Наш факультет часто посещали товарищи, которые уже побывали в Китае. Они много рассказывали нам о положении в этой стране. Мы часто ходили в Институт востоковедения имени Н. Нариманова, присутствовали на собраниях китайских студентов, среди которых шли споры и дискуссии о проблемах китайской революции.

Скажу откровенно, нам, тогда еще плохо знакомым с обстановкой в этой стране, нелегко было разобраться во всех перипетиях революционной бури в Китае, представить пути ее дальнейшего развития.

В 1926 году некоторым слушателям восточного факультета академии предоставили возможность побывать в Китае. Меня командировали на практику с выполнением обязанностей дикпурьера. Мне предстояло проехать через Харбин, Шэньян, Далянь (Дальний), Тяньцзинь до Пекина и обратно. Пусть читатель перенесется в то далекое время и вообразит себе столь длительное путешествие сначала через всю Сибирь, а затем и через Северо-Восточный Китай.

Сибирь была мне знакома по моей боевой юности. Там в борьбе с Колчаком я получил свое боевое крещение и стал командиром полка. Суровым был поход против Колчака и других генералов царской армии. Теперь за окном вагона мелькали мирные платформы, селения и деревни залечили свои огневые раны. Поезда шли хотя и с частыми опозданиями, но уже не по расписанию гражданской войны. В 1919 году от Кургана до Москвы наш полк двигался по железной дороге больше месяца. Теперь экспресс — не того, конечно, класса, какие ходят сегодня, — доставил нас за семь суток до границы с Маньчжурией. Отсюда нам предстояло ехать по Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД).

Мы пересекли границу. Сразу и не ощутили, что под колесами уже не русская



земля, не увидели поначалу и резких перемен в ландшафте. Но вскоре, выглянув из окна во время остановки поезда, убедились, что мы в ином мире. Жизнь будто замерла здесь, остановилась, и мы в одну минуту перенеслись на несколько лет в прошлое.

По платформам в военной форме с погонами разгуливают русские офицеры. Те, что были выброшены вместе с войсками Колчака и других генералов и атаманов за пределы родины. Китайские власти привлекали их к охране дороги, и они служили, не меняя обмундирования, выжидая, когда понадобятся для какого-нибудь нового бандитского налета на большевистскую Россию в войсках атамана Семенова или Меркулова.

С любопытством выглядываемся в их облик. Скрупулезное сохранение формы и личного оружия. Форма несвежая, поношенная, как бы помятая. Нет того блеска, которым всегда отличалось русское офицерство царской армии. Настороженно-враждебный взгляд. Они сразу же в числе пассажиров отличают русских, да еще и дипломатов, полпредов Страны Советов, которую ненавидят. Но это — родина, и чувствуется, что они по ней тоскуют. Не светит им солнце на чужбине, и с каждым годом тают у них надежды вернуться победителями в отечество, которое их изгнало. Но не все смотрят с ненавистью, в иных взглядах отчаянная тоска. Вернулись бы, упали на колени покаяться перед матерью родиной, да расплата страшит, много погрешили против нее, против русского народа, за спиной иных страшные кровавые злодеяния.

Итак, в качестве дипкурьеров я и старый большевик Рожков направлялись в Пекин. В вагоне мы часто ловили на себе косые взгляды своих соотечественников — в нас узнавали русских, понимали, что мы большевики, а иные догадывались о цели нашей поездки. Рожков посоветовал мне держать наготове пистолет.

Но вот и Харбин...

Опасный перегон позади. Нас встретили на станции консульские работники. Возможно было вздохнуть посвободнее и познакомиться с городом.

Харбин — торгово-экономический и политический центр тогдашней Маньчжурии, ее столица и одновременно центр контрабандистской и шпионской деятельности. Весь город — это черный рынок, где открыто торговали валютой, наркотиками, оружием, людьми. Здесь все было товаром. Нет в наличии — доставят из любого уголка земного шара. Законы запрещали беспощадную торговлю, но не было чиновника, который за взятку не согласился бы его нарушить. Такого распада нравственности, как в Харбине, мне никогда больше не приходилось встречать.

В городе много русских, и не только эмигрантов. Многие поселились здесь со времен строительства КВЖД, некоторые здесь и родились. Их речь сильно отличалась от обычной русской речи и по акценту и по словарному запасу. Русские слова часто перемежались английскими, французскими или даже китайскими словечками. Некоторые из этих местных русских просились на родину, подавали заявления в советское консульство с просьбой о приеме их в советское гражданство. Они не испытывали вражды к России и к большевизму, несмотря на то, что белоэмигранты постоянно пугали их «большевистскими злодеяниями». При подаче заявлений о приеме в советское гражданство консульство выдавало особые квитанции. Этих временно еще не принятых в советское гражданство белогвардейцы в насмешку называли квитподданными.

Харбин — город контрастов. С одной стороны, богачи, зарабатывающие огромные деньги на самых рискованных спекуляциях. Нажив капитал, они потом перебирались в более спокойные места. С другой — масса нищих. Рабочие тоже владели полунищенское существование. Китайский рабочий почитал за счастье получить работу на КВЖД у советской администрации. Здесь были организованы профсоюзы, рабочие имели повышенную плату.

Тогда мы все приглядывались: а существует ли в Харбине революционная ситуация, готовы ли харбинские рабочие к организованным формам протеста? Увы, каких-либо видимых проявлений такого протеста не ощущалось. Город захлестнула стихия черного рынка, полицейского террора, волна белогвардейщины.

В Харбине я провел пять дней. Затем мы выехали через Шэньян, Далянь на Пекин. На станции Чанчунь пересадка с КВЖД на Южно-Маньчжурскую железную дорогу (ЮМЖД). До русско-японской войны 1904—1905 годов КВЖД и ЮМЖД были единой дорогой. Построена она была царским правительством. Затем по Портсмутскому мирному договору ЮМЖД — от Чанчуна до Ляйшуня (Порт-Артура) — была передана

Японии. Японцы стали полновластными ее хозяевами. Возникло что-то вроде государства в государстве. Китайцы трудились на дороге только в качестве рабочих.

Японцы ввели на дороге военизированные порядки. Это давало им возможность поддерживать дисциплину. Поезда ходили точно по расписанию, работали вагоны-рестораны. Со станции исчезли белогвардейцы со споротыми погонами, праздношатающиеся проститутки, пьяные.

Но дорога — для богатых. Цены на билеты очень высокие. В вагонах-ресторанах прекрасная кухня, искусные повара, но блага эти для состоятельных. Порции столь мизерны, что русскому человеку впору съесть два-три обеда, чтобы не выйти из-за стола голодным.

Порт Далянь (Дальний) и расположенная рядом крепость Люйшунь (Порт-Артур) находились в южной части Ляодунского полуострова, в свое время они были приобретены в аренду царской Россией. В результате русско-японской войны 1904—1905 годов эти порты отошли к Японии и, по существу, превратились в японские города на территории Китая. Различие их с китайскими городами было огромным. Далянь представлял собой благоустроенный город с современной архитектурой — незамерзающий океанский порт, оборудованный новейшей техникой. Японцы строили заводы, расширяли старые; четко работала администрация. Нищих тоже хватало, но на главных улицах они не смели появляться. Редко можно было встретить русского человека, белогвардейцев здесь не жаловали, их держали поближе к русской границе как пушечное мясо для военных набегов на советскую землю или пополнения кадров шпионов. Японцы обходились китайскими рабочими — и дешевле и спокойнее. Из них выжимали все соки. Жаловаться им было некому, защищать свои права они не умели, японские власти запрещали деятельность профсоюзов. О местных коммунистах в те годы в Даляне и не слыхивали.

В городе много европейцев, путешествовавших или приезжавших совершать сделки в торговом пароходстве. Пляжи полны купающихся.

Здесь я впервые познакомился на практике с работой японской контрразведки. Она пользовалась своеобразной методой, резко отличной от приемов западных разведок. Ну, к примеру: за нами была установлена плотная слежка, при этом японские детективы и не пытались ее как-либо закамouflировать. Идут по пятам, в двух шагах, открыто показывая, что идут за нами. Ситуация складывалась смешная и досадливая: пришли на пляж, разделись, вошли в воду, поплыли, а рядом неотступно японец.

Детективы предельно вежливы. Если во время прогулки понадобятся спички зажечь папиросу, они тут как тут. Они ни в чем нам не пытались мешать, но и не отходили ни на шаг, провожая до дверей консульства. А у дверей консульства с улыбкой раскланивались и шли на свои наблюдательные посты, ожидая, когда мы выйдем в город. Прелестно!

После Даляня наш путь шел морем. Мы погрузились с чемоданами дипломатической почты на японский пассажирский пароход. На нем нам предстояло обогнуть Ляодунский полуостров и высадиться в порту Тангу, неподалеку от Тяньцзиня.

Люйшунь мне довелось увидеть с моря. Пароход там не приставал. Очень хотелось побывать в городе, поклониться русским героям, сложившим головы при его обороне, но въезд в Люйшунь для советских людей тогда был закрыт — японская морская крепость!

Перед заходом в порт Тангу нас жестоко потрепал шторм. Мой вестибулярный аппарат в те годы оказался стойким против качки, но товарищи хлебнули морской болезни досыта. Из Тяньцзиня до Пекина добирались поездом.

Назвать Пекин столицей Китая в 1926 году можно было только условно. В стране бушевала революция. В июле 1926 года революционное правительство Юга предприняло Северный поход, который принес его войскам немалые успехи<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Северный поход — важнейшее событие национальной революции 1925—1927 годов в Китае. В июле 1926 года Национально-революционная армия (НРА) двинулась из провинции Гуандун, где была создана территориальная база революции, на север с целью разгрома милитаристов и объединения Китая в единое демократическое государство. Большую помощь в создании НРА и проведении Северного похода оказали советские военные советники во главе с героями гражданской войны П. А. Павловым, затем В. К. Влюхером.

Ко времени нашего приезда положение пекинских правителей сильно пошатнулось. Пекин находился под военным контролем двух китайских милитаристов — Чжан Цзолиня и У Пэйфу. Их поддерживали американские, английские, французские и японские империалисты, рассчитывая с их помощью укрепить и расширить сферы своего влияния в Китае. В частности, Чжан Цзолинь, властитель Маньчжурии, ориентировался на Японию, полагаясь на нее как на более близкого соседа. Нелишне заметить, что когда политическое влияние Чжан Цзолиня упало и у него возникли трения с его покровителями, он был попросту устранен: в 1928 году Чжан Цзолинь погиб при взрыве поезда, организованном соответствующими японскими службами.

К осени 1926 года войска У Пэйфу потерпели тяжелое поражение от революционных войск, наносящих удар с юга. В Пекине царила атмосфера неустойчивости, какой-то призрачности, хотя это было и не сразу заметно. Чиновники пекинского правительства пытались казаться любезными и уверенными в своем положении. Торговую жизнь лихорадило. Лопались банки, тут же возникали новые, совершались в огромных масштабах финансовые аферы, промышленники торопились выкачать из своих предприятий последние прибыли за счет каторжного труда рабочих. И одновременно внешне спокойная, размеренная жизнь в посольском квартале, своего рода государства в государстве — территории для иностранцев на китайской земле. Китайцы допускались в квартал лишь в исключительных случаях по специальному пропуску. Здесь были расквартированы иностранные войска, работала особая полиция, подчиненная лишь администрации квартала. Под видом охраны иностранцы были надежно отторжены от тех процессов, которые происходили в жизни Китая.

Меня поражали контрасты. Не мог без чувства горечи за униженное человеческое достоинство смотреть, как трудятся рикши, не мог допустить и мысли, что мы, коммунисты, можем пользоваться трудом человека-лошади. Но вот однажды попытались наши посольские работники отказаться от их услуг. Это стало известно рикшам, и они обратились со слезной просьбой в наше представительство отменить этот запрет, ибо он лишал их заработка. Пришлось согласиться с рикшами, но от этого чувство неудобства пользоваться ими не пропало.

Пекин, Тяньцзинь и другие города Китая, которые удалось посетить в первый приезд, напоминали мне пороховую бочку. Революция была единственным средством, могущим покончить с чудовищным бесправием народа. На севере Страна Советов показывала пример, как это делается.

Осенью 1927 года я и мои товарищи окончили восточный факультет академии. Командование сочло нас подготовленными для работы в Китае. Несмотря на очень сложную обстановку там (к этому времени Чан Кайши уже совершил контрреволюционный переворот, уханьский гоминьдан изменил революции, а в августе вспыхнуло Наньчанское восстание), было принято решение послать нескольких военных советников в войска, находящиеся под влиянием Коммунистической партии Китая.

С тех пор, когда наши военные советники прибыли в Китай и начали налаживать работу в стенах военного училища в Гуанчжоу<sup>2</sup>, времени прошло немного, а для создания настоящей кадровой армии просто мало. Однако в боях Северного похода в какой-то мере выкристаллизовались те воинские части и подразделения, которые могли стать костяком подлинно революционной армии. Прежде всего коммунистические полки отличались от гоминьдановских войск тем, что они не были наемными. Они формировались не по капризу какого-либо милитариста, не подчинялись командиру как нанимателю. Они состояли из добровольцев, из тех, кто понял, что такое революция, что она несет китайскому народу. Китайский солдат был вынослив, смел, воодушевлен идеей

---

<sup>2</sup> Автор имеет в виду центральную военно-политическую школу Вампу (Хуанпу), созданную в мае 1924 года на острове Хуанпу, около Гуанчжоу, Сунь Ятсеном в сотрудничестве с китайскими коммунистами по подготовке офицерских кадров для революционной армии. Расходы, связанные с ее организацией и деятельностью, полностью взяло на себя Советское правительство. Весь учебный процесс в школе был возложен на советских советников. Воспитанники школы сыграли важную роль в Северном походе НРА. После контрреволюционного переворота Чан Кайши в 1927 году школа была распущена, а многие курсанты-революционеры расстреляны.

революции. Он старался научиться военному делу, понимать своего командира, приложить все силы и выполнить боевой замысел. Но должен заметить, что редкий солдат до конца понимал цели революции, для многих революция воплощалась в решении его личной судьбы, судьбы его близких. Основной контингент революционных частей — крестьянский. Крестьянин, часто неграмотный или полуграмотный, не очень разбирался во всех оттенках революции, не до конца понимал, почему Чан Кайши не может примириться с коммунистами. Лишь позже пришло сознание, что Чан Кайши попросту предал революцию и перешел в стан ее врагов.

По роду своей деятельности я много ездил. Мне довелось побывать в районе Пекина, Тяньцзиня, в провинции Сычуань, я исколесил почти весь Северный и Южный Китай, научился довольно бегло говорить по-китайски.

В 1929 году начался известный конфликт на КВЖД. Советские граждане — служащие дороги подвергались всевозможным оскорблениям и нападкам со стороны полиции и были отозваны из Китая. Нашей группе не разрешили возвращаться на родину через Маньчжурию, пришлось пробираться кружным путем, через Японию.

Наверное, тогда я впервые увидел, что китайские чиновники и даже простые служащие бывают не только приветливы. Чиновники — это понятно, они были воспитаны в слепом повиновении начальству, иерархическая лестница бюрократии давно прочно сложилась в Китае. Но даже носильщики отворачивались от нас. Мы двигались по стране будто в пустоте. Нас как бы не замечали, а те, кому надлежало за нами следить, не отходили ни на шаг. Сопровождали нас полицейские и в форме и в штатском. Они не грубили, но в глазах у них светилась холодная ненависть.

#### КОНФЛИКТ НА КВЖД

В августе 1929 года я и мои товарищи прибыли во Владивосток. По поручению штаба Особой Дальневосточной армии нас тут же направили в Хабаровск, где формировалась Особая Дальневосточная армия. К тому времени на советско-китайской границе создалась очень тревожная обстановка, назревал вооруженный конфликт.

Командовал Дальневосточной армией В. К. Блюхер, начальником штаба у него был Альберт Иванович Лапин. И Блюхер и Лапин знали меня еще по гражданской войне. Владеющих китайским языком и знающих обстановку в Китае прикомандировали к штабу армии.

Обстановка накалялась с каждым днем, вот-вот можно было ожидать с китайской стороны уже не отдельных бандитских налетов провокационного характера, но и открытого военного выступления.

Тут было над чем задуматься. Прошло как-нибудь шесть лет с тех пор, как Чан Кайши, глава специальной миссии революционного гуанчжоуского правительства, побывал в Москве, где он вел переговоры с руководителями нашей страны о военно-политической поддержке китайской революции<sup>3</sup>. В дальнейшем Чан Кайши принимал с распростертыми объятиями наших советников, отдавая себе отчет в том, что без помощи советских инструкторов гоминьдан не смог бы победить своих многочисленных врагов и создать регулярную армию. Советские военные советники планировали Северный поход Национально-революционной армии, не покидали революционных частей во время многочисленных сражений против армий северных милитаристов. Я задавался вопросом: что побудило Чан Кайши начать военные действия против нас?

Политических объяснений искать не приходилось. Ненависть к китайским коммунистам в равной степени обращалась и на нас. Чан Кайши понимал, что Советский Союз помогает и будет помогать КПК в ее справедливой борьбе. Все это так. Могли быть у него и иные противоречия с Советским Союзом. Однако все это еще не было основательной причиной предпринимать вторжение в пределы северного соседа в обстановке разгорающейся в Китае гражданской войны. Напрашивался один бесспорный вывод: военное выступление Чан Кайши осуществлялось под нажимом империалисти-

<sup>3</sup> В августе 1923 года Сунь Ятсен направил в Москву для изучения советского опыта и для конкретных военно-политических переговоров делегацию во главе с Чан Кайши (в ее состав вошел и коммунист Чжан Тайлэй). Делегации предоставили возможность ознакомиться с жизнью Страны Советов, встречаться с руководящими деятелями Советского государства и Коминтерна.

ческих держав, которые были заинтересованы штыками китайцев прощупать мощь Красной Армии. Нельзя было исключить и попытку самого Чан Кайши прощупать наши силы на Дальнем Востоке. Способна ли наша Дальневосточная армия отразить вторжение, или мы пойдем немедленно на крупные уступки? Не расчистит ли эта «разведка боем» дорогу для более серьезного вторжения, не двинет ли в случае удачи китайских войск свои силы и Япония? Это очень устроило бы Чан Кайши; втянуть Японию в длительную войну на советском Дальнем Востоке и, используя ее поддержку, решить внутренние проблемы борьбы с КПК. Думается, немалую роль в решимости Чан Кайши пойти на вооруженный конфликт с советской Россией сыграли русские белоэмигранты, которые убеждали Чана в слабости Страны Советов и ее Красной Армии.

Наши войска, ведя оборону своей территории, были вынуждены наносить короткие контрудары по группировкам китайцев, сосредоточенным вдоль границы. Одновременно мы старались не дать козырь империалистической пропаганде, которая постаралась изобразить дело так, будто Советский Союз стремится к каким-то захватническим целям в Китае. Наша цель была одна — заставить Чан Кайши уважать договорные обязательства, принятые китайской стороной<sup>4</sup>.

Как известно, почти от Читы до Владивостока на несколько тысяч километров вдоль китайской границы тянется Забайкальская железная дорога. Она связывает наш Дальний Восток с центром страны. На своем протяжении эта дорога в некоторых местах проходит в нескольких километрах от китайской границы. Кроме того, судоходные реки Амур и Уссури в качестве водной коммуникации связывали многие районы Забайкалья и советского Дальнего Востока.

Сосредоточение китайских войск на самой границе и частые обстрелы нашей территории не только вызывали тревогу у жителей наших пограничных районов, но и угрожали прервать связь советского Дальнего Востока с центром страны.

Несмотря на наши неоднократные предупреждения, налеты продолжались. Китайская артиллерия обстреливала нашу территорию. Над захваченными в плен красноармейцами китайцы изощренно издевались, с жестокостью, о которой сейчас страшно и больно вспомнить, — вырезали языки, в глаза и уши забивали ружейные патроны, сжигали... Наше правительство заявляло один за другим протесты.

Так, 13 июля 1929 года Наркоминдел СССР обратился к поверенному в делах Китая в СССР с очередной нотой протеста, в которой одновременно выражалось стремление разрешить конфликт мирным путем.

«По сведениям, полученным Правительством СССР, — говорилось в ноте, — 10 июля утром китайские власти произвели налет на Китайско-Восточную железную дорогу и захватили телеграф КВЖД по всей линии, прервав телеграфное сообщение с СССР, закрыли и опечатали без объяснения причин Торговое Представительство СССР, а также отделения Госторга, Текстильсиндиката, Нефтесиндиката и Совторгфлота. Затем дубань дороги (Председатель правления КВЖД) Люй Чжунхуан предъявил Управляющему КВЖД г. Емшанову требование передать управление дороги лицу, назначенному дубанем...

Одновременно получены сведения о сосредоточении вдоль советских границ маньчжурских войск, которые приведены в боевую готовность и пододвинуты к самой границе. По сведениям, вместе с маньчжурскими войсками у границ СССР расположены русские белогвардейские отряды, которые маньчжурское командование намерено перебросить на советскую территорию...

Оставаясь верным своей мирной политике, Союзное Правительство, несмотря на насильственные и провокационные действия китайских властей, еще раз изъявляет готовность вступить с Китаем в переговоры по всему комплексу вопросов, связанных с КВЖД. Такие переговоры возможны, однако, только при условии немедленного освобождения арестованных граждан СССР и отмены незаконных действий китайских властей»<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> В соответствии с подписанным в мае 1924 года соглашением между СССР и Китайской республикой Китайско-Восточная железная дорога объявлялась чисто коммерческим предприятием, совместно управляемым СССР и Китаем на паритетных началах впредь до выкупа КВЖД правительством Китая.

<sup>5</sup> «Документы внешней политики СССР». М. Политиздат, 1967, т. 12, стр. 380, 381, 385.

Однако правительство Чан Кайши и связанные с ним китайские милитаристы, особенно маньчжурский диктатор Чжан Сюэлян, не спешили разрядить обстановку. 17 июля 1929 года Наркоминдел СССР вынужден был отозвать всех советских представителей и сотрудников из Китая и выставить из СССР представителей чанкайшистского правительства. Дальнейшие переговоры Советское правительство вело с Чан Кайши через посредников, в частности через германского посла в Москве, Дирксена. Предложения Советского правительства носили мирный характер, в каждом обращении Наркоминдела содержались конструктивные предложения для ведения переговоров с целью мирного урегулирования конфликта. Однако агрессивные круги Китая и те, кто за ними стоял, вели дело к вооруженному конфликту, а миролюбие Советского правительства расценивалось ими как слабость.

Штаб Особой Дальневосточной армии с первых чисел ноября получал разведанные, что из глубины Китая через Харбин, Бухэду на Хайлар направлялся корпус трехдивизионного состава, выдвигались и другие крупные войсковые соединения частей усиления. К границам советского Приморья также шли крупные соединения. Медлить далее было нельзя.

15 ноября 1929 года группа советского командования во главе с Блюхером выехала из Хабаровска на станцию Даурия. Я находился при штабе Блюхера для особых поручений и докладов и оказался как бы в центре, куда стекались все сведения о складывавшейся обстановке. К тому времени мы уже располагали довольно полными сведениями о китайских войсках, сосредоточивавшихся на нашей границе.

Основную ударную силу противника составляли бригады и корпуса, находившиеся в подчинении нанкинского правительства. Они были полностью укомплектованы и вооружены современным стрелковым оружием. Каждая бригада состояла из трех пехотных полков, саперного батальона, артиллерийского дивизиона и роты связи. Эти бригады содержались за счет государственных средств и находились целиком в подчинении Чан Кайши, то есть не зависели от других милитаристов. Эти части можно было причислить к регулярным войскам. Общая численность бригады доходила до 12 тысяч человек. Командовал бригадой, как правило, генерал.

Провинциальные войска имели в своем составе бригады, содержались губернаторами провинций на средства, собираемые в виде налогов. Обычно они использовались милитаристами в карательных операциях против крестьянских восстаний, против коммунистов.

Дислоцированы китайские войска были следующим образом. Город Маньчжурию, превращенный в важный опорный пункт, обороняла 9-я бригада генерала Ляна. Город Чжалайнор тоже был превращен в опорный пункт, его обороняла 17-я бригада. Обе эти бригады числились в войсках нанкинского правительства.

Вдоль границы по реке Аргунь дислоцировались пограничные войска, усиленные бригадами провинциальных армий. В частности, одна из таких бригад охраняла железнодорожные станции между Чжалайнором и Хайларом.

Наиболее мощная группировка противника сосредоточивалась в Хайларе, туда выдвигался корпус генерала Ху Юйкуня в составе трех бригад. В район городов Мишань и Мулин выдвигались две кавалерийские бригады.

Из перечислений видно, что китайские войска растянулись в нитку вдоль железной дороги, что делало уязвимыми их боевые порядки.

Вначале советское командование склонялось к варианту глубокого захода в тыл всей китайской группировки, чтобы расчленяющим ударом прорвать оборону в Хайларе, разгромить там главные силы и с тыла обрушиться на остальные опорные пункты, в частности на Чжалайнор и Маньчжурию.

В распоряжении советского командования находилось всего лишь три стрелковые дивизии — 21-я, 35-я, 36-я (к тому же они не были полностью укомплектованы), — одна кавалерийская бригада и бурят-монгольский кавдивизион. С такими силами было признано рискованным заходить в глубокий тыл китайской группировки. Могли при этом встретиться и особые трудности. В районе трехречья, в двухстах — трехстах километрах севернее Хайлара располагались белогвардейские казачьи поселения. В белоказачьей среде находилось немало людей, совершивших тягчайшие преступления против

советской власти, для них приход советских войск был смерти подобен. Они легко могли влиться в состав китайских войск и угрожать нашему тылу и коммуникациям.

Советское командование решило сократить глубину удара, обходом с севера и востока разгромить укрепленный гарнизон Чжалайнора и затем окружить гарнизон на станции Маньчжурия, покончив с этими крупнейшими войсковыми соединениями противника. Проще говоря, было решено громить противника по частям, создавая превосходство в силах поочередно против каждого гарнизона. Уже перед самым выступлением наши части были усилены танковой ротой, оснащенной машинами МС-1. Предстояло в ходе боев впервые в Дальневосточной армии наладить взаимодействие стрелковых частей с танками.

15 ноября наши войска под командованием комкора С. Востречева начали выдвижение на исходные позиции.

В бесснежном Забайкалье стояли сильные морозы, дули пронизывающие степные ветры. Красноармейцы были одеты в теплые полушубки, в валяные сапоги. Тяжелая зимняя одежда сковывала марш. Все передвижения войск проводились скрыто, в темное время, по заранее разработанным маршрутам, чтобы за ними не могло вестись наблюдение с китайской территории. Управление армии разместилось в селе Абагатуй, в километре от границы по реке Аргунь.

16 ноября командование Особой Дальневосточной армии осмотрело позиции, произвело рекогносцировку местности, осмотрело видимые позиции китайских войск, заслушало и утвердило решения командиров дивизий. Наступление назначили на утро 17 ноября.

На рассвете 17 ноября началась артиллерийская подготовка, поддержанная ударами с воздуха. Артподготовка длилась час. Я не могу сказать, что наш удар был внезапным. Китайское командование, видимо, узнало о передвижениях наших войск.

Наиболее успешно наше наступление развивалось там, где действовала 36-я стрелковая дивизия, поддержанная ротой танков МС-1. Этот бой вообще был самым интересным. Мы впервые могли наблюдать действие танков во взаимодействии с пехотой.

В роте действовало 10 машин. С исходных позиций они двинулись после артподготовки. Все это, разумеется, очень далеко от методики применения танков в годы Отечественной войны. Танки не вводились в прорыв, они прорывали оборону, прикрывая собой наши пехотные цепи. Их атака была внезапной для китайских солдат, удивила она в не меньшей степени и красноармейцев. Я находился на наблюдательном пункте рядом с В. К. Блюхером. Мы видели в бинокли, как китайские солдаты и офицеры, заведя наши танки, высунулись почти вполроста из окопов. Мы ожидали, что они в панике побегут, но удивление оказалось столь сильным, что оно как бы парализовало их волю и убило даже страх.

Странно вели себя и красноармейцы. Они тоже не успевали наступать за танками, а некоторые как зачарованные глядели надвигающихся стальных черепах, изрыгающих огонь. Вспомним, что шел 1929 год. Крестьянские парни, служившие в армии, знали о танках и даже о тракторах только понаслышке.

Танки беспрепятственно дошли до китайских позиций и открыли огонь вдоль окопов. Пулеметный огонь отрезвил китайцев. Они в панике побежали. 10 танков прорвали без каких-либо потерь с нашей стороны оборону противника.

Если бы у нас было налажено взаимодействие танков с пехотой, мы могли бы молниеносно развить успех. Однако и наши части не ожидали такого эффекта. Красноармейцы ворвались в расположение противника и, вместо того чтобы быстрее двигаться дальше вперед, замешкались в китайских окопах. Танки продвинулись на пять километров в сторону Чжалайнора и остановились, опасаясь двигаться по китайским тылам без пехоты. Все же им удалось выйти на железную дорогу станции Маньчжурия — Чжалайнор и перерезать ее.

Наши стрелковые части с опозданием двинулись за танками, подавляя сопротивление в отдельных узлах китайской обороны, значительно парализованной танковой атакой. И все же, несмотря на замедление действий, задача разъединить маньчжурский и чжалайнорский гарнизоны была выполнена.

На восточном участке фронта кавалерийская бригада под командованием К. К. Ро-

коссовского с батальоном 35-й стрелковой дивизии, выступив в темноте 17 ноября, прошла по льду до высоты с отметкой 101 и внезапной атакой захватила ее. В это время со станции Маньчжурия через Чжалайнор на Харбин шел поезд с солдатами и офицерами. Командир кавалерийской бригады быстро развернул артиллерийскую батарею и несколькими выстрелами подбил паровоз. Захватив поезд, кавалерийская бригада совершила быстрый бросок и вышла на южную окраину города Чжалайнор.

Стрелковый батальон, как это и намечалось, занял высоту 101 и укрепился на ней с артиллерийской батареей. Остальные части 35-й дивизии не смогли прорвать с ходу укрепления противника. Завязался огневой бой.

В результате наступательных операций к концу дня было полностью завершено окружение двух китайских бригад общей численностью около 20 тысяч человек. Начинался второй этап операции по разгрому гарнизона в городах Чжалайнор и Маньчжурия.

В. К. Блюхер связался с Москвой.

В течение дня Москва несколько раз запрашивала штаб армии о ходе боевых действий. Несколько раз к прямому проводу подходил К. Е. Ворошилов. Вечером Ворошилов высказал сомнение, выполним ли намеченный план рассечения и окружения китайской группировки. Он даже намекнул на возможность отвести войска на нашу территорию, ограничив военные действия состоявшимся ударом. Беспокойство Ворошилова имело под собой основания. Особая Дальневосточная армия тогда не располагала достаточными средствами подавления противника. Ощущался острый недостаток в артиллерии. Замечу здесь, что о плотности артиллерийского огня, который применялся при наступлении наших войск в годы Отечественной войны, мы тогда и не мечтали. Даже теоретических разработок в этом направлении не велось. Мы могли действовать только стремительным маневром, внезапными передвижениями войск и концентрацией превосходящих сил на отдельных участках фронта. В. К. Блюхер понимал беспокойство Москвы, считался с ним, еще и еще раз перед наступлением темноты выверил все возможности армии и проявил твердость в решении. В 5 часов вечера он собрал своих ближайших помощников и объявил, что принимает решение с рассветом развязать наступление. План оставался прежним: прорвать оборону противника в нескольких местах, используя артиллерию и танковую роту, — как бы проткнуть пузырь с воздухом. Оборона противника при таких прорывах на отдельных участках должна потерять устойчивость.

Ставя задачу на наступление, Блюхер передал инициативу командирам дивизий, оставив за ними выбор, на каких участках начинать прорыв обороны.

Уже в темноте все разъехались по войскам с устными приказами. Меня послали в 5-ю Кубанскую кавалерийскую бригаду к К. К. Рокоссовскому, которая находилась южнее Чжалайнора.

Передав приказ Блюхера Рокоссовскому, я из-за позднего времени остался до утра в его бригаде. Утром 18 ноября я смог лично наблюдать атаки наших кавалеристов на китайские позиции. Нужно отдать справедливость командирам Кубанской бригады, которые ночью хорошо подготовили маневр и взаимодействие пеших и конных атак с артиллерией. Последняя на больших аллюрах выскакивала на открытые позиции и огнем прямой наводкой и стрельбой картечью прокладывала дорогу кавалеристам. Кавалеристы в полном смысле слова врубались в укрепленные боевые порядки китайцев. От их сабельных ударов не одна сотня солдат противника свалилась в заснеженных степях Маньчжурии.

Возвращаясь днем на командный пункт через высоту 101, я наблюдал на восточной окраине поселка Чжалайнор большое скопление китайских войск, которые, по всей вероятности, готовились к прорыву и отступлению на восток, на Хайлар. Наша авиация группами по 5—6 самолетов наносила по ним бомбовые удары. Прибыв на командный пункт, я доложил лично В. К. Блюхеру обстановку на участке Кубанской кавалерийской бригады. К этому времени обстановка вокруг Чжалайнора резко изменилась в нашу пользу.

На всех участках наступления обозначился успех, сопровождавшийся продвижением наших войск к центру Чжалайнора. От наших разведчиков пришло донесение, что командир 17-й бригады, обороняющей Чжалайнор, убит нашей авиационной бомбой.



С командного пункта мы видели, как тысячи китайских солдат и офицеров с восточной окраины Чжалайнора по покрытой льдом степи в беспорядке хлынули на восток, обходя с юга и севера наш батальон, занимавший позицию на высоте 101.

В. К. Блюхер, лично наблюдая, как рвутся снаряды в толпах отступающих, приказал прекратить огонь.

— Довольно крови,— сказал Василий Константинович,— пусть они бегут и рассказывают другим, что на советскую землю нападать нельзя.

В ночь с 18 на 19 ноября наши войска, разгромившие чжалайнорскую 17-ю бригаду, оставили в поселке Чжалайнор 35-ю стрелковую дивизию и повернули на запад, против маньчжурской бригады под командованием генерала Ляна.

Удар с востока наносился силами 36-й дивизии, с юга — 5-й Кубанской кавалерийской бригадой. Теперь весь гарнизон станции Маньчжурия был в кольце наших войск. Перед нами стояла задача — разгромить или пленить эту группировку противника.

Генерал Лян, по-видимому убедившись в безвыходности своего положения, решил ранним утром прорываться на Чжалайнор и далее на Хайлар. Поэтому с раннего утра завязались жестокие бои между нашими войсками, наступавшими с востока от Чжалайнора на станцию Маньчжурия, и китайскими войсками, прорывавшимися на восток.

...По всему пространству вокруг станции Маньчжурия шел бой. Все попытки китайских командиров найти слабое место для прорыва и отступления встречались атаками и контратаками наших войск.

В это время начальник связи армии С. Гулин, входивший в оперативную группу командования, доложил В. К. Блюхеру, что на разъезд Отпор прибыла группа китайских офицеров с работниками японского консульства на станции Маньчжурия для переговоров о капитуляции гарнизона и просила связаться с уполномоченным советского командования. Это было неожиданно для всех нас, в том числе и для В. К. Блюхера. Он тут же решил послать меня для ведения этих переговоров, вернее для предъявления ультиматума о сдаче всего гарнизона. На автомобиле по бездорожью я быстро проскочил расстояние около двадцати пяти километров до нашего разъезда Отпор, где в маленьком пограничном домике встретился с представителями китайского командования и японского консульства. Я тут же изложил им требования советского командования: 1) сложить оружие там, где оно находится; 2) не допускать никаких насильств и грабежа; 3) всем пленным солдатам собраться в казармах на восточной окраине станции Маньчжурия, офицерам — в отдельной казарме.

Китайские представители безоговорочно приняли наши условия капитуляции. Я спросил их, где сейчас находится командир бригады генерал Лян. Японец, сопровождавший китайских представителей, заявил, что генерал Лян находится в японском консульстве. Китайские и японские делегаты пригласили меня выехать вместе с ними для встречи с генералом Ляном.

Связавшись с В. К. Блюхером, я доложил ему о результатах переговоров. Он тут же приказал мне выехать на станцию Маньчжурия, проследить там за поведением китайцев и, главное, не выпускать из виду командира бригады генерала Ляна.

Вслед за автомашиной под японским флагом, в которой ехали китайцы и японцы, я с переводчиком и двумя красноармейцами выехал в город Маньчжурия. При подъезде к Маньчжурии было видно, как китайские солдаты и офицеры со всех сторон стекались к городу, а за ними двигались наши боевые порядки, не ведя огня. Когда же мы въехали в центр города, перед нами открылась ужасная картина грабежа. Двери, окна магазинов и торговых заведений разбивались прикладами, толпы мародеров старались проникнуть внутрь, из дверей и окон выскакивали солдаты, нагруженные всем, что попало в руки. Многие на военное обмундирование напяливали штатскую одежду, другие сбрасывали с себя военную и надевали штатскую. Трудно передать картину, которую мы увидели в городе Маньчжурия 20 ноября 1929 года. Когда-то покоренные города отдавались на разграбление завоевателям. Мы же видели, как город грабили не завоеватели, а оборонявшие его войска.

Не доезжая до японского консульства, наша машина попала в затор, ее движению мешали брошенные винтовки, гранаты и снаряды. Дальше ехать было рискованно. Мы вышли из машины и пошли пешком в японское консульство. Немного не дойдя до кон-

сульства, мы увидели автомашину, на которой с другого конца города подъехал командир нашего корпуса Степан Вострецов. Его войска ворвались в город. Увидев меня, он остановил машину и спросил:

— Где генерал Лян?

Я пояснил, что предполагаю увидеть его в японском консульстве.

— Ты знаешь его в лицо?

— Знаю по фотографии.

Вострецов вышел из машины и пригласил меня сопровождать его в консульство.

Генерал Лян встретил нас в приемной консульства со старшими офицерами бригады. Я его сразу узнал и указал на него Вострецову. Вострецов объявил генералу и офицерам, что с этой минуты они являются военнопленными Красной Армии. Генерал Лян и офицеры сдали личное оружие. Никаких условий сдачи в плен они не оговаривали. Этой акцией фактически закончились военные действия, вошедшие в историю как конфликт на КВЖД.

В результате боев 17—20 ноября 1929 года наши войска разгромили в районе города Маньчжурия две усиленные бригады численностью около 20 тысяч человек, взяв в плен около 10 тысяч. Китайские войска потеряли много убитыми и ранеными.

Наше командование не ставило задачи осуществить полное окружение китайских войск. Некоторая часть китайских солдат вырвалась со станции Маньчжурия и Чжалайнор. Они встретили на пути подходивший к месту боев корпус генерала Ху Юйкуня. Встреча произошла в районе станции Циганор. Она произвела самое неожиданное воздействие. Вид китайских солдат, паника, посеянная ими, обратили в бегство подходившее свежее пополнение.

Наши войска продвинулись до Хингамского хребта и остановились.

Газета «Известия» 23 ноября 1929 года писала по поводу происшедших событий:

«Учитывая создавшуюся на Дальнем Востоке обстановку, командование Особой Дальневосточной армии принуждено было принять со своей стороны контрмеры по защите наших границ и для обеспечения охраны пограничного населения и нашего тыла.

В результате части Особой Дальневосточной армии как в Забайкалье, так и в Приморье, отбив 17 ноября наступление китайских войск, преследовали их и на китайской территории, отгнав их подальше от наших границ. Разоружено более 8000 китайских солдат и 300 офицеров; отобрано до 10 000 винтовок, значительное количество полевых пушек, огнестрельного и прочего боевого снаряжения».

Тон китайских дипломатов и китайских правителей тотчас же изменился. Уже 23 ноября пришли первые телеграммы о согласии китайской стороны вступить немедленно в переговоры и о принятии всех советских требований. В декабре 1929 года китайской и советской сторонами был подписан протокол об урегулировании конфликта на КВЖД и советско-китайской границе.

В конце ноября в районе станции Даурия состоялись торжественные похороны бойцов и командиров Дальневосточной армии, павших при защите советской границы. На траурное знамя, установленное на могиле, командарм В. К. Блюхер прикрепил орден Красного Знамени.

На этом бы и закончить главу. Но не могу не вспомнить один эпизод, характеризующий нравы тогдашних японских дипломатов в Китае. Во время боев в городе Маньчжурия шальным снарядом убило японку из японского публичного дома. На следующий день после капитуляции китайских войск японское консульство предъявило иск советскому командованию на сумму в 22 500 японских иен. В иске было подсчитано, сколько лет могла бы прожить эта японка, сколько посетителей могла бы принять за эти годы, какой могла бы принести доход содержанию публичного дома, а стало быть, и Японии.

В 1929 году Чан Кайши и его окружение получили незабываемый урок от Красной Армии. Мы показали всему капиталистическому миру, что границы Страны Советов неприкосновенны, что Красная Армия умеет карать тех, кто пытается их нарушить. К сожалению, этот урок японцы скоро забыли, и нам пришлось напомнить о нем в боях у озера Хасан и на Халхин-Голе.

Не думал я в то время, что через одиннадцать лет снова окажусь на Дальнем Востоке, в Китае, только уже в иной обстановке и в другом качестве...

### БЕСЕДА В КРЕМЛЕ

Вторую мировую войну я встретил в Белоруссии, где командовал 4-й армией.

В августе 1939 года Советское правительство подписало пакт о ненападении с гитлеровской Германией. В настоящее время всем хорошо известны факты, которые привели к этому событию. Мюнхенские соглашатели во главе с английским премьером Невилем Чемберленом пытались найти выход из войны за счет Советского Союза. Они считали, что в Западной Европе Гитлер ограничится лишь угрозами и демонстрациями, а острие своего удара направит на восток, против СССР. Стремясь подтолкнуть фашистскую Германию к войне с нашей страной, участники мюнхенского стовора отдали на растерзание фашизму сначала Австрию, затем Чехословакию, настала очередь Польши. Западные державы полагали, что, продвигаясь на восток, Гитлер будет стремиться к созданию общей границы с Советским Союзом, чтобы подготовить вторжение в его пределы.

Когда встал вопрос о защите Чехословакии, СССР не один раз выступал с конструктивными предложениями, направленными на обуздание агрессора. Красная Армия готова была прийти на помощь чешскому народу. Однако англо-французские покровители фашистского агрессора сделали все для того, чтобы отстраниться от помощи со стороны Красной Армии. Если бы вместо мюнхенского стовора была объявлена мобилизация в Англии и во Франции, а Польша открыла границы для прохода Красной Армии к границам Германии, агрессор оказался бы в тисках и вторая мировая война или вообще не состоялась бы, или имела бы совсем другое развитие. Немецкий генеральный штаб не мог не знать из истории, к чему приводит война на два фронта.

Летом 1939 года Гитлер предпринял вначале дипломатический нажим на Польшу, а потом перешел к прямым угрозам. Нарастала реальная опасность возникновения второй мировой войны. Англо-французские «примирители» готовы были пойти на новые уступки агрессору. Хотя Франция и Англия были связаны с Польшей договорными обязательствами, но к договорам не относились всерьез, а их обещание гарантии ничего не стоило. С падением Польши могло резко нарушиться европейское равновесие, и это беспокоило не только общественное мнение Франции и Англии, но и многие влиятельные деловые круги. В то же время Гитлер рассчитывал, что и на этот раз мюнхенские соглашатели уступят, тем более он видел, что никаких реальных шагов против него не предпринимается. Хотя весной 1939 года в Москве начались англо-франко-советские переговоры, но было видно, что эти переговоры обречены на провал. Теперь преданы гласности все сопутствовавшие этим переговорам документы, тогда мы только могли догадываться, что и Англия и Франция к переговорам относились несерьезно, что они были предприняты лишь для успокоения общественного мнения, что за их завесой скрывались планы отдачи Польши на разграбление агрессору.

1 сентября 1939 года началось вторжение немецких войск в Польшу. Под давлением общественного мнения Англия и Франция объявили войну Германии, но военных действий не начали и не собирались начинать. По этому поводу с тех пор написано немало книг, воспоминаний, исторических исследований. Я солдат и привык говорить правду без обиняков и дипломатических смягчений. Мы воочию увидели, что несли нам переговоры с мюнхенцами. Они не собирались воевать с Гитлером и, объявив войну, выжидали, а не сойдутся ли в вооруженном конфликте немецкие войска и Красная Армия.

В этой обстановке о безопасности границ нашей страны могло позаботиться только Советское правительство. По войскам был отдан приказ войти на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины, чтобы спасти от фашистской оккупации родственные нам белорусский и украинский народы. Я командовал 4-й армией, которая должна была продвинуться до Бреста.

Этот поход ничего общего с военными действиями не имел. Население Западной Белоруссии и Западной Украины встречало нас с ликованием и радостью. Танки и автомашины буквально осыпались цветами. Попы и ксендзы выходили навстречу с иконами и хоругвями. Там, куда вступила Красная Армия, дорога фашизму была закрыта.

Мы остановились почти на теперешней границе с ПНР по восточному берегу Буга. Хотя и был подписан пакт о ненападении с Германией, однако мы держали войска в полной боевой готовности. Никто не верил, что Гитлер будет соблюдать какой-либо до-

говор, если увидит, что ему выгодно его нарушить. Это был очень опасный и напряженный момент. Мы знали, что Гитлер с той самой минуты, как пришел к власти, воспитывал своих молодчиков в звериной ненависти к советским людям, к коммунизму, ко всему русскому. В этом духе воспитывалась и армия, которую годами нацеливали на восточный поход. Мы могли ожидать всякого рода провокаций. Но, оказывается, и гитлеровцы, когда это им было надо, умели вести себя деликатно.

Нашим командирам приходилось часто бывать в немецких штабах для уточнения разграничительных линий. Их встречали уважительно, внимательно разбирали их претензии и выполняли требования, обусловленные соглашением. Солдаты проявляли всяческое дружелюбие к бойцам Красной Армии. Дружелюбие, конечно, было деланным, иногда даже и не очень искусно разыгранным. Но провокаций немецкие солдаты не устраивали.

В искренность их дружеских излияний из нас мало кто верил. Мы верили в мудрую политику нашей партии, в свои силы, всячески демонстрировали выдержку, но в то же время спешили возводить укрепления для обороны от столь сомнительных друзей. Никто из нас не сомневался, что мирный пакт о ненападении с Германией — дело временное, вынужденное. Нам необходимо было отсрочить войну с фашистской Германией, готовой вступить против нас в любой стовор с Францией и Англией. Мы торопились строить укрепления по новой границе.

Тем временем немецкое командование перебрасывало свои войска с восточной границы на границу с Францией. Если бы Франция и Англия, точнее их правящие круги, пошли на соглашение с Советским Союзом против агрессора, то и в сентябре 1939 года время еще не было упущено.

10 мая 1940 года началось наступление немецких войск на западе. Немецкие войска нарушили нейтралитет Бельгии, Голландии и Люксембурга. Практически это были возможные направления в обход «линии Мажино». Только здесь немецкий генеральный штаб мог планировать маневренную войну в расчете на внезапность и массовое применение танков. Однако тут же последовал удар через Бельгию на Седан, через Арденны. Я с удивлением прочитал об этом в газетах. Горные дороги ставили под удар авиации союзников немецкие танковые колонны. На горных дорогах танки были лишены маневра. Казалось невероятным, но немецкие танковые дивизии прошли сквозь Арденны без потерь и форсировали Маас в зоне, доступной для артиллерии главных калибров из фортов «линии Мажино». В несколько дней фронт союзников был прорван, ни в одном пункте немцам не оказали сколько-нибудь серьезного сопротивления. Стало быть, с самого начала Гитлер рассчитывал не только на военную силу, но и на политическую обстановку во Франции и в Англии, на слабое сопротивление мюнхенских соглашателей.

Мы знали, что французский солдат — это мужественный солдат, у нас с уважением относились и к английским солдатам. Не прошло и нескольких месяцев после Дюнкерка, как английские летчики показали, на что они способны, выиграв битву в воздухе над Британскими островами. Нет, во французской трагедии мы не могли винить солдат союзников.

После выхода немецких войск на широкий оперативный простор на фронтах во Франции создавалась катастрофическая обстановка. Фронты были рассечены, начались путаница и паника, крупные соединения потеряли связь и управление. Через шесть недель Гитлер развязал себе руки в войне с Францией. Под ударом оказались Британские острова. В немецкой печати все чаще и чаще раздавались угрозы в адрес Англии. Наша разведка получала по разным каналам сведения, что Гитлер готовится к прыжку через Ла-Манш. Теперь, после войны, эта операция известна под кодовым названием «Морской лев».

Наш высший генералитет не верил в возможность этого прыжка. Гитлер не имел для этого плавучих средств; не завоевав господство на море и в воздухе, он не мог пойти на подобную авантюру. Маневры гитлеровской пропаганды и службы дезинформации не обманули нас. Мы воспринимали разговоры о прыжке через Ла-Манш как дымовую завесу, поставленную Гитлером для подготовки вторжения в нашу страну. Через польскую границу к нам систематически поступали сведения, что между Вислой и Западным Бутом и в прилегающих районах идет планомерное сосредоточение и накоп-

ление немецких войск. К нашей земле приближалась война, а еще очень многое нужно было сделать для укрепления обороноспособности страны. Предстояло разрешить немалые трудности и международного характера.

Неспокойно было и на наших дальневосточных границах. Начиная с 1931 года японские милитаристы, захватив северо-восточные провинции Китая, начали превращать их в плацдарм для дальнейшего продвижения в Китай, а также для нападения на Советский Союз. Японские войска находились в Маньчжурии в непосредственной близости от наших границ. В июле 1937 года японская военщина вторглась в Северный Китай. В истории национально-освободительной борьбы китайского народа открылась новая кровавая страница. Наша страна оказала огромную помощь и поддержку китайскому народу, послав в Китай летчиков-добровольцев, военных специалистов-советников, военную технику. Японо-китайская война приняла затяжной характер.

В 1938—1939 годах японская военщина предприняла вооруженные провокации против нас в районе озера Хасан и на Халхин-Голе. Имелось в виду, с одной стороны, прощупать силу Красной Армии, а с другой — оказать на нас вооруженное давление и заставить отказаться от помощи борющемуся Китаю. Мы понимали тогда, что это еще не война, что это «разведка боем» японской военщины. Но война на два фронта вставала для нашей страны реальной угрозой.

Осенью 1940 года меня срочно вызвали к наркому обороны С. К. Тимошенко. По началу ничего особенного в этом вызове я не усмотрел. Нарком часто встречался с командующими армиями, чтобы иметь информацию из первых рук о положении в войсках и округе. Но сразу же, как только закрылись за мной двери его кабинета, я понял, что разговор пойдет о чем-то ином.

Нарком объявил мне, что в Центральном Комитете партии и у него лично сложилось мнение, что мне надо ехать в Китай. Многие детали этого разговора у меня не удержались в памяти, но главное я запомнил. Нарком прямо мне сказал, что правительство не верит в надежность пакта о ненападении с Германией, что Гитлер, по всем данным, готовится к восточному походу. В правительстве и в Наркомате обороны отдают себе отчет, что Германия выступит против нас не в одиночку. Тогда уже, осенью 1940 года, Семен Константинович почти целиком обрисовал состав гитлеровского военного блока: Германия, Италия, Румыния, Финляндия.

— Относительно этих стран сомнений нет,— продолжал он.— Нас волнует возможная позиция Турции и совершенно особый интерес вызывает Япония. Дальний Восток — нелегкий орешек, сразу и с наскока его не разгрызешь. Нам и без того приходится держать там мощный заслон против возможного выступления Японии... В случае войны на два фронта большие трудности возникнут из-за растянутости коммуникаций... Япония — это главный вопрос в связи с угрозой нападения Германии...

Нарком обрисовал мне военную обстановку, сложившуюся на фронтах японо-китайской войны. Нападая на Китай, японские милитаристы рассчитывали на скорый успех, однако молниеносной победы они не достигли, их войска завязли в Китае, и незаметно было, чтобы там наметился решительный перелом в их пользу. Нарком привел мне любопытные данные о численности японской армии в Китае по годам. Так, в 1937 году там действовало 26 японских дивизий общей численностью в 832 тысячи человек. К осени 1940 года количество дивизий достигло 35, а людской состав возрос до 1120 тысяч человек. Эскалация японской агрессии в Китае была налицо. Однако увеличение армии не принесло японцам ощутимых результатов. Это было известно и из печати тех дней.

— Можно предполагать,— заявил мне нарком,— что японские милитаристы приложат все силы, чтобы либо добиться в сорок первом году победы над Чан Кайши и гоминьданом, либо свернуть военные действия мирными переговорами... Им нужны свободные руки к тому часу, когда Гитлер двинет войска против нас, то есть быть во всеоружии к большой войне для решения своих проблем на востоке. Наша задача — помочь Китаю отразить японскую агрессию... Не думаю, что войска Чан Кайши могут одержать решительную победу, но затяжная война принесет в конечном счете победу китайскому народу, а не японским милитаристам... Мы можем рассматривать сорок первый год как кризисный в этой войне. Или китайский народ устоит и отразит все

попытки японских войск полностью овладеть положением, либо после крупных поражений Чан Кайши может склониться к кабальным условиям мирного договора, которые попытаются навязать ему японские агрессоры... Ваша задача — разобраться в обстановке в стане Чан Кайши, взвесить его реальные силы и на правах его главного военного советника активизировать действия китайской армии... Мы уже оказывали и будем оказывать военную помощь Чан Кайши. Надо ее активно использовать против японцев.

Я не мог считать свое новое назначение случайностью. «Китайский вопрос», как уже известно читателю, не был для меня неожиданностью. Правда, с тех пор как я побывал в Китае, прошло более десяти лет. Многие там изменилось, но многие процессы еще продолжались в том же плане, как и в годы моей работы.

Нарком обрисовал мне и процедурные моменты моего нового назначения. Решено послать меня сначала военным атташе при китайском правительстве. Затем, когда я войду в курс событий, последует назначение меня главой советской военной миссии, то есть главным военным советником при главнокомандующем китайской армией Чан Кайши.

От наркома во время этой беседы я узнал, что Советское правительство оказывает Китаю большую помощь вооружением. Однако не всегда это оружие применялось с должным умением. Нередко в неудачных для китайцев боях японские войска забирали это оружие в качестве трофея. В мою задачу входила не только помощь китайскому командованию в управлении войсками — мне предстояло научить их применять современное оружие в свете новейших тактических требований. Мало того, в мою задачу как военного атташе и главного военного советника входило сдерживание воинственных устремлений Чан Кайши против коммунистических армий и партизанских районов, которые контролировались китайскими коммунистами. Иными словами, удерживать Чан Кайши от войны междоусобной, чтобы он мобилизовал все силы нации на отпор агрессору. Нарком мне объяснил, что и командование китайской Красной Армии тоже склонно обратить оружие против Чан Кайши, не принимая при этом в расчет опасности, которой оно подвергло бы весь китайский народ и его революционные завоевания. На главного военного советника возлагалась задача согласовывать действия китайской Красной Армии и войск Чан Кайши против японских захватчиков, несмотря на разногласия между ними.

Зная природу китайских милитаристов и Чан Кайши, я понимал, что координация действий войск Чан Кайши и китайских коммунистов являлась самой сложной и деликатной задачей.

Получив мое согласие на поездку в Китай, С. К. Тимошенко пригласил меня следовать за собой. Его машина доставила нас в Кремль. Я понял, что мне предстоит серьезный разговор в Центральном Комитете партии, но, право, не ожидал, что встречу лично с И. В. Сталиным.

Длинными коридорами мы пришли в приемную Сталина. Его личный секретарь А. Н. Поскребышев тут же доложил о нас. Это была моя первая личная встреча со Сталиным. До этого я видел Сталина только на трибунах. Теперь нас разделяло всего несколько шагов. Мы поздоровались, и он сразу, не теряя ни минуты, спросил меня:

— Как будем считать? Согласен на поездку в знакомую вам страну?

— Я согласен поехать, куда прикажете!

— Не так уж сразу! Надо и подумать, куда дается приказ ехать.

Сталин вернулся к столу и пригласил нас садиться.

— Надо подумать и подготовиться,— продолжал он.— Вы были в Китае в двадцатых годах... Тогда была одна обстановка, сегодня сороковые годы, теперь обстановка другая. Тогда во главе гоминьдана стоял доктор Сунь Ятсен. Это был человек высокой нравственной чистоты, и он был безраздельно предан интересам своего народа. Тогда мы только налаживали с ним связь и, несмотря на свои трудности, всем возможным безвозмездно помогали китайской революции. Ныне правители Китая не те. И гоминьдан не тот, что при Сунь Ятсене, и Чан Кайши в сравнении с Сунь Ятсеном все равно что котенок в сравнении с тигром. Выросла и новая сила в Китае — коммунистическая партия... На стороне Чан Кайши вся мелкая буржуазия, некоторые крупные капиталисты, не связанные своими интересами с японским капиталом, феодалы и крестьянская масса. За коммунистами идет прежде всего китайский рабочий класс... Вы были в Китае и

должны знать, что Китай — крестьянская страна, а не пролетарская. Рабочий класс Китая значительно уступает в своей численности и даже организованности китайскому крестьянству. Китайское крестьянство веками подвергалось нечеловеческому угнетению. Китайский крестьянин — забитый и измученный человек. Он робок в сравнении с рабочим человеком, но в больших массах он готов на большие подвиги, об этом говорит история. Китайская компартия также опирается на беднейших, забитых и неграмотных крестьян. КПК недооценивает растущий рабочий класс, а это не может не наложить своего отпечатка на ее идеологию, на ее лозунги, на ее понимание политических задач в революции. В китайской компартии довольно значительны националистические устремления. В ее рядах недостаточно развито чувство интернациональной солидарности. Вместо того чтобы на этом этапе объединиться в единый фронт против японского агрессора, Чан Кайши и Мао Цзэдун не забыли старые разногласия. С той и другой стороны идет борьба за влияние и власть. Мао боится Чан Кайши, а Чан Кайши боится Мао.

Сталин говорил медленно, как бы вдумываясь в каждую свою фразу. Каждое слово он произносил четко, а в конце фразы делал паузу, как бы приглашая этим возражать, если у меня или у Тимошенко родились бы какие-либо сомнения. Вопросы, конечно, рождались. И главный вопрос — почему я еду к Чан Кайши, а не в китайскую Красную Армию? Но для вопросов время еще не настало в этой беседе. Сталин угадывал многие вопросы и до того, как их мне предстояло задать, отвечал на них. Он закурил трубку и продолжал:

— Казалось бы, китайские коммунисты нам ближе, чем Чан Кайши. Казалось бы, им и должна быть оказана главная помощь... Но эта помощь выглядела бы как экспорт революции в страну, с которой мы связаны дипломатическими отношениями. КПК и рабочий класс еще слабы, чтобы быть руководителем в борьбе против агрессора. Потребуется время, сколько — сказать трудно, чтобы завоевать на свою сторону массы. Кроме того, империалистические державы едва ли допустят замену Чан Кайши Китайской-коммунистической партией. С правительством Чан Кайши заключены соответствующие договоры. Вы ознакомитесь со всеми этими документами, будете действовать в строгом с ними согласии. Главное — это объединить все силы Китая на отпор агрессору... Позиция коммунистов Китая еще непрочно внутри страны. Чан Кайши легко может объединиться против коммунистов с японцами, коммунисты с японцами объединиться не могут. Чан Кайши получает помощь от США и Англии. Мао Цзэдун никогда не будет поддержан этими державами, пока не изменит коммунистическому движению. Обстановка в Европе, гитлеровские победы говорят о том, что помощь Чан Кайши со стороны Англии и США, возможно, будет постепенно нарастать. Это внушает надежды, что с нашей помощью и с помощью английских и американских союзников Чан Кайши сможет если не отразить, то надолго затянуть японскую агрессию.

На протяжении беседы Сталин несколько раз вставал, выходил из-за стола, оставив нас с Тимошенко, продолжая развивать свою мысль.

— Не надо думать, — говорил он, — что после поражения Франции западные соглашатели уйдут со сцены. И сейчас, даже в такой трудный момент для английского народа, между Берлином и Лондоном снуют умиротворители агрессора. Они каждую минуту готовы пойти на новые уступки, лишь бы агрессор повернул свое оружие против Советского Союза. У некоторых китайских коммунистов от легких побед Гитлера в Европе и японцев над войсками Чан Кайши закружилась голова. Им кажется, что если японцы разобьют Чан Кайши, тогда коммунисты Китая смогут овладеть положением в стране и изгнать японских агрессоров. Они очень ошибаются. Чан Кайши, как только почувствует опасность потерять власть или в случае отказа ему в нашей помощи и помощи западных держав, тут же найдет пути соглашения с японскими милитаристами по примеру Ван Цзинвэя<sup>6</sup>. Тогда они общими усилиями обрушатся на китайских коммунистов — и китайская Красная Армия будет поставлена в безвыходное положение... Ваша задача, товарищ Чуйков, не только помочь Чан Кайши и его генералам с умением вос-

<sup>6</sup> 16 декабря 1938 года заместитель Чан Кайши по ЦИК гоминьдана Ван Цзинвэй открыто перешел на сторону японцев, заявив о намерении содействовать заключению мира между Японией и Китаем. В марте 1940 года японцы учредили в Нанкине марионеточное правительство, поставив во главе его Ван Цзинвэя в качестве «исполняющего обязанности председателя». Пост председателя был зарезервирован для Чан Кайши.

пользоваться оружием, которое мы им посылаем, но и внушить Чан Кайши уверенность в победе над японскими захватчиками. При уверенности в победе Чан Кайши не пойдет на соглашение с агрессором, ибо он боится потерять поддержку американцев и англичан и свои капиталы, вложенные в их банки.. Ваша задача, товарищ Чуйков, задача всех наших людей в Китае — крепко связать руки японскому агрессору. Только когда будут связаны руки японскому агрессору, мы сможем избежать войны на два фронта, если немецкие агрессоры нападут на нашу страну...

Задача была сформулирована четко и ясно. Сталин просил меня не разглашать содержания беседы. Быть может, и напрасное предупреждение. Я человек военный, с девятнадцати лет командовал полком, понимал, что такое военная и государственная тайна. Сталинское предупреждение для меня было лишь дополнительным знаком, что мне оказывается очень высокое доверие, что справиться с поставленной передо мной задачей будет нелегко.

Мне дали некоторое время подготовиться к новой работе. Пришлось основательно потрудиться в различных управлениях и наркоматах, чтобы уяснить обстановку, которая создалась в Китае к концу 1940 года. В частности, Наркомат иностранных дел предоставил мне возможность ознакомиться со всеми документами, которые были положены в основу нашей политики с Китаем.

Перебирая документы, источники, вспоминая все, что видел в Китае, с чем сталкивался, я должен был признать, что мало, очень мало знаю эту страну. Впрочем, я уже знал по опыту, какую огромную роль в жизни этого народа играли старые многовековые традиции. Старый уклад давил на все слои населения. Китайский народ только просыпался от многовекового сна.

Я понимал, насколько противоречива и сложна политическая ситуация в Китае. Гоминьдан, правящая партия страны, представляла собой конгломерат враждующих и вместе с тем уживающихся друг с другом различных военно-политических группировок. Рядом с гоминьданом — компартия Китая, опирающаяся в борьбе с реакцией на собственные вооруженные силы. Чан Кайши был вынужден пойти на единый фронт с КПК для борьбы с внешним врагом. Меня, конечно, интересовал конкретный вопрос, насколько этот союз эффективен в плане отражения японской агрессии. В трудной борьбе компартия выработывала свою программу, свою тактику и стратегию. Не мудрено, что это могло породить массу ошибок, к партии могли примазаться случайные люди и повести ее по пути, который вел в сторону от марксизма. Тогда эти опасения еще не связывались с конкретными именами, хотя я знал, что история коммунистического движения в Китае изобилует борьбой групп и группировок.

Я снова и снова думал о предстоящей работе. Ведь ехал я к человеку (я имею в виду Чан Кайши), которому ни в чем нельзя было доверять. Ехал с задачей помогать ему вести военные действия с агрессором, который напал на его родину. Казалось, чего же проще! Но мы знали, что Чан Кайши ведет войну с Японией, находясь в едином фронте с коммунистами, которых считает своими главными врагами. Ехал к маклеру, к торговому меняле, который при соответствующем стечении обстоятельств не задумываясь предаст родину и свой народ. Ехал... учить его патриотизму? Нет, ехал помочь китайскому народу выбросить со своей земли иноземных захватчиков.

Скажут — вот, дескать, благодетель. Разве не в интересах Советского Союза было вести войну с Японией руками китайцев? Это приходилось мне слышать и в те годы и сейчас. Но против Советского Союза Япония так и не выступила даже в самые трудные для нас годы войны, а Китай топила в крови. С этим очевидным и неоспоримым фактом нельзя не считаться тем, кто в какой-то мере хочет быть объективным.

### ЧЕЛЮСТИ ТИГРА

Изучение документов и материалов о положении в Китае могло бы занять длительное время. Но меня торопили. Отъезд назначили на декабрь 1940 года. Моего предшественника, военного атташе в Китае П. С. Рыбалко, уже отозвали в Москву.

Откровенно говоря, я ехал в Китай со смешанными чувствами. Во-первых, ожидал, что основные военно-политические события развернутся на наших западных границах, а, естественно, мне хотелось использовать свой командирский опыт на этом главном на-



правления. К тому же предстояло расставаться с семьей, а в то время у меня тяжело заболела только что родившаяся дочь Иринка. Утешал себя мыслью, что смогу оказать полезным моей родине и в сложнейшей обстановке в Китае, хотя никак не мог отделаться от убеждения, что Чунцзян являлся в те дни глухой провинцией, удаленной от главных международных перекрестков. И ошибался...

Перед отъездом согласно протоколу я должен был нанести визиты китайскому послу и китайскому военному атташе. Ни к чему не обязывающие протокольные визиты без какой-либо надежды узнать от китайских дипломатов что-либо о положении в Китае. Вероятно, они и сами мало знали, что там творилось. Правда, по намекам военного атташе можно было понять, что в китайском посольстве встревожены развитием событий в стране, причем более всего политической обстановкой, прежде всего взаимоотношениями КПК и гоминьдана.

Со мной в Китай выезжали 15 военных советников и военных специалистов. К сожалению, никто из них хорошо не знал страну и не владел китайским языком. С точки зрения военной подготовки группу можно было считать квалифицированной. Вместе с нами Советское правительство направляло в распоряжение Чан Кайши большую военную помощь — 150 самолетов-истребителей, 100 скоростных бомбардировщиков, около 300 орудий, 500 автомашин ЗИС-5 с соответствующим оборудованием и запасными частями.

В декабре 1940 года наша группа выехала поездом из Москвы в Алма-Ату. Через пять суток мы были в столице Казахстана. Отсюда добраться до Чунциня можно было только воздушным путем. Несколько дней нам пришлось ждать летной погоды. Трасса по тем временам считалась одной из сложнейших, а декабрь в тех местах месяц дождей, туманов и снегопада. Однако всякому ожиданию приходит когда-нибудь конец. Наконец «дали погоду», и наш пассажирский самолет поднялся, а за ним 20 самолетов СБ, которые перегонялись нашими летчиками в распоряжение Чан Кайши. Вся эта эскадрилья прошла над горами, над нашей границей с Китаем и приземлялась на небольшом полевом аэродроме Шихо в Синьцзяне. Здесь опять задержка. Туманы снова закрыли перевалы через горы. Наконец минуло и это ожидание. Новый перелет, новые трудности: крылья нашего самолета оледенели в воздухе. Но, к счастью, через несколько часов мы приземлились в Ланьчжоу, столице провинции Ганьсу.

На аэродроме нас встретил командующий 8-м военным районом генерал Чжу Шаолян. (Военный район Китая равнялся по аналогии нашему фронту, а в тылу — округ.) Для встречи выстроили почетный караул. Все говорило о том, что, по-видимому, генерал был предупрежден о нашем прибытии и имел соответствующие инструкции. С этой минуты и началась моя дипломатическая деятельность в Китае.

Беседы с генералом Чжу Шаоляном, банкеты, взаимные визиты величественности начались с первого дня нашего прибытия. Чжу Шаолян был доверенным лицом Чан Кайши. Он принадлежал к тому кругу офицеров из школы Вампу, которые в апреле 1927 года помогли Чан Кайши совершить контрреволюционный переворот. Чан Кайши передал ему под командование войска, охранявшие единственный оборудованный сухопутный и воздушный путь, связывавший Китай с Советским Союзом: они являлись оборонительным заслоном Синьцзяна, а также замыкали с востока окружение Особого района, контролируемого компартией. Чжу Шаолян следил, чтобы в Особый район не проникали наши люди и оружие.

Я попытался выяснить у гостеприимного генерала, какова обстановка в Китае, что он думает здесь, вдали от центра, о ходе японо-китайской войны, как он планирует дальнейшую борьбу с агрессором. В свою очередь, Чжу Шаолян горел желанием узнать из «первых рук» об обстановке на западных границах Советского Союза, выяснить отношение Советского правительства к режиму Чан Кайши. Словом, встретились на перекрестке дорог два дипломата и решили проявить свои способности.

Если кто-либо по наивности полагает, что улыбка китайского чиновника есть признак его дружелюбия и откровенности, тот жестоко ошибается. Говорят, что дипломату дан язык, чтобы скрывать свои мысли. Генерал Чжу Шаолян не был дипломатом, но мысли свои он умел скрывать куда искуснее самого изощренного дипломата европейской школы. И у меня, конечно, он ничего не почерпнул, я умел молчать, быть может несколько грубовато уходя от прямо поставленных вопросов. А генерал все говорил,

говорил, расточая елей, сладко улыбаясь, подливая в рюмки китайской водки с сильным запахом сивухи...

Взаимные визиты затягивались. Аэродромная служба твердила изо дня в день одно и то же: погода нелетная. Наш советский самолет улетел обратно. В соответствии с соглашением отсюда нашу миссию должны были доставить в Чунцин на китайском самолете. Казалось бы, Чан Кайши должен был ждать нас с нетерпением, тем более что мы везли ему значительное вооружение. А наши летчики между тем подсказали мне, что с погодой китайцы хитрят. Не из-за погоды задержка, но и не для того же, чтобы местный генерал провел зондаж советской делегации!

В таких делах нельзя идти на самотек и болтаться без дела. Пришлось заявить генералу Чжу Шаоляну без обиняков, что, по моим сведениям, летная погода установилась, что проволочка с вылетом нашей делегации, судя по всему, от нее не зависит. Генерал был очень раздосадован, что я получил информацию о погоде.

Тогда же я получил и несколько иную информацию, правда все ее трагическое значение в то время в Ланьчжоу оценить не мог. Наш консул узнал, что поблизости от Особого района, занятого коммунистическими войсками, войска Чан Кайши производят подозрительные перегруппировки. За этим передвижением войск скрывались какие-то невыясненные замыслы чанкайшистского командования. Консул даже высказал опасение, не собирается ли Чан Кайши вновь обострить гражданскую войну. Ни о чем подобном в Москве я не слышал. Донесения наших военных советников из Чунцина не содержали такого рода предположений. В моем сознании подобные агрессивные намерения Чан Кайши не укладывались. Я знал, что он был очень рад, когда узнал о нашей новой помощи военным снаряжением. Положение на фронте для него складывалось до той поры неблагоприятно. Сражение с войсками коммунистов Особого района не только могло отвлечь его от сопротивления японскому агрессору, но вообще поставить в тяжелейшее положение материальное снабжение его армии. Советское правительство могло в этом случае прекратить военные поставки.

Я настоял на немедленном вылете в Чунцин. И был прав, ибо Чан Кайши и его штаб, по-видимому, были заинтересованы в нашей задержке в пути...

За мной и моим помощником Г. М. Горевым из Чунцина прибыл трехместный одномоторный самолет. Проводы были такие же пышные, как и встреча. Китайский летчик с большим мастерством совершил трудный перелет через горные перевалы. Несколько раз обледеневали крылья самолета, но искусным маневром летчик сбивал лед, ныряя в теплые потоки воздуха. Мы видели, как лед отпадал от крыльев.

С аэродрома мы с Горевым направились в посольство. Здесь я впервые встретился с Александром Семеновичем Панюшкиным, нашим послом в Китае. С тех пор прошло почти сорок лет. Все эти годы вплоть до смерти Александра Семеновича не прерывалась наша дружба, хотя там, в Китае, нам приходилось частенько горячо спорить.

Тогда Панюшкин был молод, энергичен. На дипломатическую работу он пришел, окончив Академию имени Фрунзе. К моему приезду освоился с обстановкой, знал страну, расстановку сил в Китае, умел разгадывать замыслы правителей Китая, многих знал лично, точно оценивал их характеры, способности и привязанности.

Я познакомился с работниками аппарата военного атташе, хорошо подготовленными людьми. Единого и централизованного руководства работой всех наших военных в Чунцине не было — не было органической связи между аппаратами военного атташе и главного военного советника. Все подчинялось непосредственно центру, Москве.

Мой заместитель полковник Н. В. Роцин, очень толковый смелый работник, хорошо знал Китай, у него установились надежные связи с китайцами, а также с англичанами и американцами.

Хорошим специалистом был переводчик Степан Петрович Андреев, который прекрасно владел китайским языком, недурно знал английский, умело завязывал обширные связи с китайскими чиновниками, прогрессивными работниками многих министерств и ведомств и с ними, как говорится, дружил и общался запросто. Роцин и Андреев во многом помогли мне, особенно в изучении обстановки в Китае. Работники моего аппарата Бедняков, Перов также хорошо знали обстановку, работали смело, не ждали особых указаний, всегда сами проявляли разумную инициативу.

Мы прибыли в Чунцин накануне нового, 1941 года. В тот же вечер я был представлен Чан Кайши на банкете, который он давал нашим советникам по случаю новогоднего праздника. Я понял, что сам Чан Кайши желал поскорее встретиться со мной, чтобы подробнее уточнить, какая помощь идет из Советского Союза и как скоро он ее получит. Кроме того, он очень интересовался событиями в Европе, стараясь выжать из меня все, что знаю я сам, и как расценивает обстановку наше правительство. Я был подготовлен к таким вопросам и не особенно гнул обстановку на наших границах, а больше говорил о нерешенных проблемах Гитлера на западе, в частности с Британскими островами.

Первая встреча и первый разговор с верховным правителем Китая были краткими, носили скорее протокольный характер, но все же первое впечатление о самом Чан Кайши сложилось определенное. Невысокого роста щупленький генерал, одетый в повседневную форму без погон, с воинскими отличиями на петлицах. Хитрый взгляд раскосых темных глаз, резко выступающие протезы зубов... Хищная натура, способная шагать к намеченной цели через трупы, шантаж и обман. В простонародье говорили, что Чан Кайши на ночь кладет под подушку челюсти тигра. Его частые восклицания «хао!», «хао!» («хорошо!») резали слух.

Как я уже сказал, во время моего первого официального визита к Чан Кайши последний больше всего интересовался положением в Европе и поставками оружия из Советского Союза. В его словах сквозил такой смысл: но не думайте, что вы благодетели, моя дружба или, по крайней мере, мой нейтралитет еще вам очень пригодятся, когда войска Гитлера ринутся на восток.

Я твердо пояснил ему, что Советское правительство ведет и будет проводить мирную политику, что оно все сделает, чтобы не ввязываться в войну на какой-либо стороне, что оно полно самых миролюбивых намерений и относительно Германии. Ну а если вдруг Гитлер потеряет рассудок и вторгнется на советскую землю, то он встретит подготовленную армию и получит отпор, которого еще нигде не встречал. Чан Кайши картинно сокрушался:

— Франция. Кто бы мог подумать, что французские и английские войска будут разбиты за несколько недель...

Ему были далеки судьбы Европы, но чувствовались его симпатии к Гитлеру, это звучало в тоне, каким произносились эти слова. Я ответил ему:

— Если бы не обход через Нидерланды и отсюда внезапность удара, если бы в Арденнах, когда танковые дивизии Гитлера вытянулись в одну ниточку, французская и английская авиация нанесла бы по ним удар, война закончилась бы в несколько дней и, возможно, с другими результатами.

— Сегодня в мире есть три силы, не втянутые в войну, — заявил Чан Кайши. — Это Советский Союз, Америка и до известной степени Китай, который может вести войну сопротивления. За ними и от их действий зависит будущее. Другими словами, три личности будут решать судьбу на земле.

Я сейчас же воспользовался предлогом и спросил, почему же Китай так долго воюет с Японией. Много раз я потом раздумывал над его ответом. И сейчас он вызывает у меня размышления.

— Япония не может победить Китай! — После некоторой паузы Чан Кайши добавил: — Китай вообще не может быть побежден. Война для Китая — это болезнь, и только. А все болезни проходят...

— Но болезни вызывают смерть, — возразил я ему.

— Нет! Мы не считаем, что болезнь вызывает смерть. Смерть — это не болезнь, она приходит помимо болезни.

А он умен, этот китаец, подумалось мне, и не так-то прост. Да, конечно же, не прост. Начать с менялы, с мелкого маклера — и захватить власть над огромной страной! Бывают и злые таланты, не только добрые. Нет, он не марионетка в руках каких-то неведомых сил; здесь, в Китае, он и сам сила и только силой может быть сокрушен. Не интригами, не авантюрами, не сменой правительства, а волной народного гнева.

Так или иначе, официальная встреча Чан Кайши и военного атташе Советского Союза состоялась. Он узнал, что я привез, передал через меня благодарность Советско-

му правительству и посоветовал мне заняться изучением обстановки в Китае. Я тут же попросил его дать указание ознакомить меня с положением на фронте. Мне было обещано содействие в генеральном штабе. Но никто из высших военных китайских генералов не торопился ввести меня в курс дела.

Меня знакомили с обстановкой сотрудники посольства и аппаратов военного атташе и главного военного советника. И тут, на месте, сразу же начался разнобой в оценках. Я не буду вникать в детали расхождений. Главное другое. В Москве считалось, что гоминьдан не идет на обострение отношений с коммунистами, вся беда в малой активности китайцев на фронте. Здесь, в Чунцине, все оказалось более сложным.

Прежде всего о положении на фронте. До последнего времени во всех сражениях одерживали верх японцы, хотя китайская армия превосходила японскую по численности и с каждым годом уменьшался разрыв в их вооружении.

Начальник специального информационного центра Военного совета адмирал Ян охотно поделился со мной своими данными о численности японских войск в Китае. Должен отметить, что китайская разведка работала неплохо. Сверяя потом свои записи с официальными сведениями о численности японских войск в Китае, я почти не нашел расхождений. Нарастание японской агрессии, эскалация ее, складывалась по годам так: в 1937 году Япония держала в Китае 26 дивизий общей численностью свыше 800 тысяч человек, в 1938 году — 30 дивизий (976 тысяч человек), в 1939 году — 35 дивизий (миллион человек), в 1940 году японская армия в Китае возросла до 1120 тысяч. Если к этому приплюсовать войска китайских милитаристов, перешедших на сторону Японии, то общая численность войск агрессора достигала полутора миллионов. Полтора миллиона прекрасно вооруженных и отлично обученных солдат — это огромная сила.

Сказать, что коммунисты и гоминьдан ничего не сделали для отражения японской агрессии, нельзя. Если бы китайская армия не оказала сопротивления, японцам не было бы нужды увеличивать контингент своих войск. Их армия прошла бы по Китаю победным маршем от края до края, полностью поработив его.

Общие вооруженные силы Китая превосходили по численности японские войска. Ведя оборонительные бои, китайская армия сдерживала агрессора и связывала ему руки. Каждое продвижение вперед или оккупация новых районов требовали присылки с островов новых контингентов. А тут еще неудачи под Халхин-Голом. В Северо-Восточном Китае Япония была вынуждена держать большую Квантунскую армию.

Однако получить в чанкайшистском генштабе точные данные о численности китайских войск оказалось не так-то просто. Секретные данные? Недоверие к нам? Нет, совсем нет! Просто этих точных сведений не было в китайском генштабе. Каждый генерал по старому обычаю старался нажиться, рассматривая свою должность прежде всего как sineкуру. А как нажиться? Простейший способ: представлять наверх завышенные списки солдат. Довольствие, получаемое на мертвые души, шло в карман генералу. А вслед за генералом и все мелкие командиры прибегали к такому же способу. Позже, когда мне приходилось планировать операции против агрессоров, я всегда делал скидку на эти мертвые души. Изменить эту систему надувательства было невозможно.

В целом китайская армия, какой я нашел ее в 1941 году, была способна вести активные военные операции против японского агрессора. Однако китайское командование систематически от этого уклонялось, преследуя иные цели.

### СОБЫТИЯ В ЮЖНОМ АНЬХОЕ

Цели эти очень скоро обнаружили. Наш консул в Ланьчжоу не случайно приглядывался с тревогой к перегруппировке чанкайшистских войск вокруг Особого района. Оказалось, что осенью 1940 года чрезвычайно обострились отношения между Чан Кайши и коммунистами. Как выяснилось в дальнейшем, гоминьдановцы подготавливали нападение на Новую 4-ю армию коммунистов<sup>7</sup>. Приказом Чан Кайши с юга против

<sup>7</sup> После начала японской агрессии руководство гоминьдана было вынуждено признать легальный статус пограничного района Шэньси-Ганьсу-Нинся в качестве Особого района Китайской республики, а также вооруженных сил, руководимых КПК. В августе 1937 года правительство Чан Кайши издало приказ о преобразовании китайской Красной Армии в 8-ю армию Национально-революционной армии Китая. Командующим 8-й

Особого района была создана специальная группа войск во главе с генералом Ху Цзуннанем, верным и надежным ставленником Чан Кайши. Эта группа обеспечивалась лучшим оружием и снаряжением.

В Москве при изучении обстановки в Китае таких данных не было. Об этом не знали и в аппарате военного атташе, а также наши военные советники, находящиеся в Чунцине.

Для лучшего уяснения обстановки я постарался предварительно встретиться с представителями КПК, которые находились в Чунцине при ставке Чан Кайши. В эту группу входили Чжоу Эньлай, Е Цзяньин и Дун Биу.

Чжоу Эньлай и Е Цзяньин без обиняков заявили мне, что врагом номер один для Чан Кайши были не японцы, а Коммунистическая партия Китая и ее вооруженные силы. По их словам, под влиянием КПК находились не только 18-я армейская группа (АГ)<sup>8</sup> и Новая 4-я армия, но и большинство партизан, действовавших в районах, оккупированных японцами. Однако на мои вопросы о действиях их войск они ограничивались жалобами на Чан Кайши, на тяжелые материальные условия жизни армии и особенно на слабость ее вооружения.

В высказываниях Чжоу Эньлая и Е Цзяньина чувствовались недоверие и обозленность по отношению к Чан Кайши. На мой вопрос, как обстоит дело с единым фронтом против японцев, ни Чжоу Эньлай, ни Е Цзяньин ничего толком ответить не могли. Из беседы с ними я почувствовал, что единый фронт гоминьдана и КПК к тому времени уже дал серьезную трещину.

Чан Кайши, конечно, знал и учитывал силу и влияние компартии Китая. Поэтому он пытался при всяком удобном случае обессилить ее, покончить с ее влиянием в стране. Пользуясь своей властью генералиссимуса и верховного главнокомандующего всеми антияпонскими военными силами Китая, Чан Кайши стремился подставить войска коммунистов под удар японцев или дать им явно невыполнимые задачи, не оказывая при этом никакой помощи. В конечном итоге такие действия были направлены сначала на ослабление, а затем и на ликвидацию вооруженных сил коммунистов.

В то же время чувствовалось, и дальнейшие события это подтвердили, что часть руководства КПК в лице Мао Цзэдуна и его ближайших соратников также считало своим врагом номер один не японцев, а гоминьдан и его армию. Между ними шла жесткая, хотя и скрытая борьба, о которой знали многие.

У меня постепенно складывалось все более крепнущее в дальнейшем мнение: и Чан Кайши и Мао Цзэдун одинаково считали, что исход начавшейся второй мировой войны должен и будет решаться в борьбе между великими державами, в то время как они, избегая активных действий против агрессора, должны сберечь и накопить силы для будущей схватки друг с другом.

В начале 1941 года отношения между КПК и гоминьданом обострились настолько, что войска Чан Кайши, применив оружие, напали на отряды Новой 4-й армии КПК. Часть войск этой армии была разгромлена. Это произошло в первых числах января 1941 года, в первые дни моего пребывания в Китае. Как выяснилось, события развивались следующим образом.

Вскоре по приезде в Китай я получил информацию, что незадолго до этого между Чан Кайши и Чжоу Эньлаем имел место очень серьезный разговор о дислокации Новой 4-й армии. Фактически к этому времени Чан Кайши закончил подготовку своей армии для организации провокации против войск КПК. В ультимативной форме он потребовал от Чжоу Эньлая, чтобы 18-я армейская группа и Новая 4-я армия подчинились его приказам. Чан Кайши заявил, что КПК «за последние годы проявила себя нехорошо, перешла в другой район, расширяя свое влияние, увеличивая без разрешения свои войска,

---

армией был назначен Чжу Дэ, его заместителем Пын Дэхуай. Численность армии составляла в то время 45 тысяч человек. В октябре гоминьдановское правительство согласилось на создание под руководством коммунистов еще одной, Новой 4-й армии из партизанских отрядов Центрального и Южного Китая. Вскоре эта армия (12 тысяч бойцов) начала вооруженную борьбу в Центральном Китае.

<sup>8</sup> В начале 1938 года 8-я армия была переименована в 18-ю армейскую группу.

организуя партизанские отряды, сосредоточивая свои войска вокруг войск центрального правительства». Для «урегулирования» этих вопросов он в категорической форме предложил перевести части Новой 4-й армии на северный берег Янцзы. В противном случае Чан Кайши угрожал в ближайшее время выступить против армии КПК и уничтожить ее по частям. «Вы понесете поражение не от рук врага, а от наших войск»,—заявил он Чжоу Эньлаю и в заключение добавил, что войска КПК необходимо сосредоточить в указанном им месте, ограничить их численность 80 тысячами солдат, обещая, что тогда военный министр Хэ Инцин выполнит его приказ о снабжении КПК боеприпасами и деньгами. Тем самым Чан Кайши сделал вид, что он якобы хочет избежать военных столкновений между войсками гоминьдана и КПК, в то время как эти столкновения уже имели место во многих районах, а главный удар по Новой 4-й армии был уже подготовлен.

Заявление Чжоу Эньлая о том, что «части Новой 4-й армии 1 декабря начали подходить к южному берегу Янцзы для переправы на север», ничуть не повлияло на позицию Чан Кайши и его генералов. Остановить занесенный удар никто не хотел и не мог. Возможно, ответ Чжоу Эньлая лишь подлил масла в огонь и ускорил нападение гоминьдановцев на коммунистические войска.

Приказ о разгроме штабной колонны Новой 4-й армии был подписан военным министром Хэ Инцинем, а не самим Чан Кайши. В случае необходимости Чан Кайши мог отвести обвинения в свой адрес, сославшись на самовольные «предупредительные» действия его генералов.

Чанкайшистское командование тщательно скрывало от наших военных советников, что уже с весны 1940 года правительственные войска под командованием чанкайшистского генерала Ли Цзунжэня неоднократно наносили удары по Новой 4-й армии, оттесняя ее из районов, освобожденных от японских захватчиков.

В октябре 1940 года чунцинский Военный совет высказал неудовольствие, что Новая 4-я армия создает опорные базы в районах Нанкина, Шанхая и Ханчжоу. Совет указывал, что это нарушает равновесие между гоминьданом и компартией и идет вразрез с приказом верховного главнокомандующего Чан Кайши о дислокации войск в Китае. Претензии крайне странные, выглядят они для стороннего наблюдения полной нелепостью. Речь шла о территории, оккупированной японцами. Новая 4-я армия вытесняла японцев, освобождала страну от оккупантов. И вдруг — дежес территории, не освобожденной от врага.

Объяснить это легко. Чан Кайши опасался, что коммунистические войска утвердятся в Центральном Китае, в его промышленных центрах и получат там господствующее положение. Объяснить легко — понять трудно. Ясным становилось одно — рост влияния компартии беспокоил Чан Кайши больше, чем организация сопротивления японским агрессорам.

Для того чтобы выполнить приказ Военного совета, вернее ультимативное требование Чан Кайши, нужно было время, нужен был искусный военный маневр. И все же согласно договоренности с Военным советом войска Новой 4-й армии начали перемещение на северный берег Янцзы.

В декабре Чан Кайши снова встретился с Чжоу Эньлаем и высказал ему неудовольствие медленной передислокацией коммунистических войск. Разговор происходил в резком тоне. Чан Кайши держал себя как диктатор, как хозяин положения. Он не убеждал, не просил, а требовал, чтобы коммунисты беспрекословно выполняли все его приказы. Чан Кайши заявил, что власть в Китае принадлежит ему, что он ни с кем не собирается ее делить.

Чжоу Эньлай потребовал в ответ гарантии, что Чан Кайши не использует создавшуюся ситуацию с передислокацией коммунистических войск для удара им в спину. Чан Кайши снова заверил представителя компартии, что он не намерен уничтожать КПК и стоит за тесное сотрудничество двух партий. Упреки Чан Кайши сводились к следующему: КПК перешла в район, который не был обусловлен предварительной договоренностью, расширяет влияние, ведет к расколу страны, увеличивает свои войска, занимает угрожающие позиции для войск центрального правительства. Чан Кайши вновь потребовал отвода войск КПК на север от Янцзы. Чжоу Эньлай заверил Чан Кайши, что приказ будет выполнен. Не знал Чжоу Эньлай, не знали и мы, что вопрос был

предрешен. 19 декабря 1940 года военный министр чунцинского правительства Хэ Инцинь подписал приказ об уничтожении Новой 4-й армии.

Против девятитысячного отряда Новой 4-й армии выступили 12 дивизий командующего 3-м районом генерала Гу Чжутуна. Внезапное нападение облегчило задачу правительственным войскам. Им удалось разгромить штабную колонну, взять в плен командующего Новой 4-й армией генерала Е Тина, многих высших ее командиров. Заместитель Е Тина Сян Ин, раненный в бою, был схвачен и зверски убит гоминьдановцами. Чан Кайши издал приказ о расформировании Новой 4-й армии.

Безусловно, этот инцидент в южном Аньхое, как его именовали в Чунцине, а точнее предательский удар, имел своей целью сломить революционный дух Новой 4-й армии и в целом нанести удар по позициям компартии.

Возникший конфликт между КПК и гоминьданом сводил на нет совместную борьбу против общего врага — японских агрессоров. Кто был больше виноват в этих разногласиях, сразу сказать было трудно. Было очевидно, что войска Чан Кайши, имея превосходство в силах над распыленными войсками Новой 4-й армии, воспользовавшись удобным случаем, напали и разгромили штабную колонну генерала Е Тина. Но эта очевидность требовала подкрепления фактами или документами. У наших военных советников в первое время ни того, ни другого не было. Китайские генералы их попросту обманывали. Требовался максимум осторожности и тщательного изучения, чтобы не ошибиться в своих действиях.

22 января 1941 года КПК предъявила правительству «Двенадцать требований». Однако вплоть до выступления Чан Кайши на сессии Национально-политического совета Китая (НПС) 6 марта компартия не получила на них ответа.

Обострившиеся отношения между КПК и гоминьданом нашли свое выражение во взаимном политическом наступлении, причем обе стороны воздерживались от крупных военных столкновений. Со стороны гоминьдана это выразилось в репрессиях против КПК и ее организаций: закрытии представительств 18-й АГ в провинции Гуанси и преследовании там левых организаций; закрытии левого издательства «Синь шэн» («Новая жизнь»); арестах молодежи в 6-м военном районе; провокационной травле газеты «Синьхуа жибао» в Чунцине; разгроме и закрытии транспортной конторы 18-й АГ в Сиани; арестах и преследовании левых деятелей в Чунцине, Сиани, Чэнду и других городах; усилении полицейского наблюдения за членами компартии и левых организаций.

КПК ответила выпуском листовок, в которых разъяснялся смысл происходящих событий и обнародовались факты реакционной деятельности гоминьдана. В пригороде Чунцина проходили митинги протеста против преследования газеты «Синьхуа жибао» и левых организаций.

Однако широкого массового движения протеста организовано не было. Дело в том, что КПК заблаговременно эвакуировала из Чунцина представителей левых организаций, поэтому в тот момент, когда нужно было выступать и выражать протест против реакционных действий гоминьдана, делать это практически было некому. Одновременно начались переговоры гоминьдана и КПК. Со стороны гоминьдана первое время в них принимал участие начальник политического управления генерал Чжан Чжичжун. Затем он от этого дела устранился, и фактически все переговоры Чжоу Эньлай вел с Чжан Цюнем, второстепенной фигурой, да еще с солидным полицейским запашком. Это позволило Чан Кайши заявить на сессии НПС, что ни он, ни правительство ничего о требованиях КПК не знали.

Январским ударом правительственные войска не уничтожили Новую 4-ю армию, а лишь нанесли ей тяжелые потери. Но не меньше потерял в результате «инцидента с Новой 4-й армией» и Чан Кайши. Его войска понесли немалый урон. Прогрессивная общественность страны увидела, что в результате провокационных действий Чан Кайши и его генералов Китай вновь оказался накануне серьезного политического кризиса, грозящего вылиться в гражданскую войну. Влиятельные члены гоминьдана Сун Цинлин<sup>9</sup>,

<sup>9</sup> Сун Цинлин (род. в 1890 г.) — видная китайская государственная и общественная деятельница, вдова Сунь Ятсена. В период войны 1937—1945 годов активно выступала за сплочение всех национальных сил Китая для сопротивления японским агрессорам. После образования КНР была избрана заместителем председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

Хэ Сяннин<sup>10</sup> и многие другие выступили с публичным протестом против действий Чан Кайши. Либеральные круги интеллигенции и предпринимателей создали Лигу демократических политических организаций Китая. В программе Лиги политика гоминьдана подверглась резкой критике.

Настал час сказать свое слово и нам. Однако сделать это необходимо было с достаточной осторожностью, чтобы наше выступление не расценивалось как вмешательство во внутренние дела союзного государства.

Военным советником я еще не был, а всякое слово военного атташе — это высказанная позиция правительства. Без санкции посла А. С. Панюшкина делать этого я не мог. Мы долго раздумывали с Панюшкиным, каким образом нам действовать, чтобы предотвратить разрастающийся конфликт и перенацелить Чан Кайши на действия против японского агрессора.

Положение не из легких. Мы имели договорные обязательства с правительством Чан Кайши, наши душевные симпатии на стороне китайских коммунистов. Но если бы мы открыто высказали эти симпатии, мы могли бы оттолкнуть Чан Кайши. Я не сомневался в том, что Чан Кайши, конечно, знал, что наши симпатии на стороне коммунистов, но поскольку это не имело внешних проявлений, он мирился с этим, будучи заинтересован в советской военной помощи. Вместе с тем, если бы мы открыто объявили о поддержке китайских коммунистов, Чан Кайши под давлением своих западных покровителей и своих соратников по гоминьдану вновь мог пойти на осложнение отношений с нами, что было на руку японским агрессорам. Оставалась лишь одна возможность: дать понять Чан Кайши, что его агрессивные действия против коммунистов, поворот его войск на борьбу с народом, а не против агрессора может повлиять на поставку военной помощи со стороны Советского Союза.

Необходимо было повременить с демаршем к Чан Кайши и воздействовать на него через его ближайших помощников.

Первый протокольный визит мне полагалось нанести военному министру Хэ Инциню — он же начальник генерального штаба вооруженных сил Китая и автор приказа об уничтожении Новой 4-й армии. Среди милитаристов, окружавших Чан Кайши, Хэ заметно выделялся знанием военного дела, незаурядными способностями и хитростью. Его политическая позиция крайне правая: ярый антикоммунист, противник каких-либо революционных преобразований в Китае, сторонник военной диктатуры в интересах феодальной верхушки и крупных предпринимателей. Но вместе с тем он хотел бы и дальше получать военную помощь от Советского Союза. Надеялся перехитрить советских дипломатов и нащупать вместе с тем возможность соглашения с японскими агрессорами. Он считал, что захват китайской территории японскими войсками не продлится вечно, что Япония вползет в конфликт с великими державами и вынуждена будет уйти из Китая или, вступив в большую войну, пойти на соглашение с китайской военной верхушкой.

Мы встретились будто старые друзья. Хитрая улыбка блуждала на губах китайского генерала, я тоже приучил себя держаться дружелюбно, улыбочиво, как человек, который все, что ему говорят, принимает на веру и лишь по наивности задает неожиданные вопросы вроде бы и некстати, по случайности.

Хэ Инцинь начал с изъяснений благодарности Советскому правительству, советскому народу, лично маршалу С. К. Тимошенко за помощь вооружением, за присылку военных советников, за их работу. Он нахваливал военных советников, превознося их знания, таланты, их помощь в военных операциях, не упомянув, однако, что ни одной операции, разработанной нашими военными советниками, китайское командование не довело до конца, а некоторые, не отвергая, положило под сукно.

Я терпеливо ждал, когда иссякнет каскад его благодарностей, а затем спросил, не было ли использовано наше вооружение при конфликте с Новой 4-й армией. Хэ Инцинь незамедлительно начал меня убеждать, что ни одно из видов вооружений, присланных из Советского Союза, не было употреблено в боях с Новой 4-й армией. Вот этого подтверждения от должностного лица, что бои имели место, я и ждал. Этим признанием он дал повод продолжить беседу на важнейшую для меня тему. Я сейчас

<sup>10</sup> Хэ Сяннин — вдова китайского революционного демократа, левого гоминьдановца Ляо Чжункая, убитого в августе 1925 года по указке правых гоминьдановцев.



же задал второй вопрос: как мне доложить об этих боях в Москву? Ответ был явно заготовлен заранее. Для этого Чан Кайши и вел беседу с Чжоу Энляем, для этого с октября чунцинский Военный совет выступал с предупреждениями в адрес командования Новой 4-й армии. Меня внутренне возмутила наглость, с которой генерал выложил подготовленную версию. Он заявил довольно бодро, все с той же сладенькой улыбочкой, что Новая 4-я армия и ее командующий не выполнили приказа Чан Кайши и верховный главнокомандующий решил их за это наказать. Этим ответом Хэ Инцинь подтвердил, что указание на разгром штабной колонны Новой 4-й армии шло от Чан Кайши.

Право, мне трудно сказать, на что рассчитывал генерал, давая такое толкование инциденту. Если он хотел спрятаться за спину Чан Кайши, то этим лишь оказывал медвежьё услугу последнему.

— Предположим, что это так, — ответил я ему. — Предположим, что командование Новой 4-й армии замедлило с выполнением приказа, не могло его выполнить по тем или иным причинам военного порядка. Что в таких случаях предпринимает верховное командование? Оно смещает командующего, отдает его под суд или подвергает дисциплинарному взысканию. Но не открывать же военные действия против своих войск, против рядовых офицеров, против солдат, которые никак не повинны в ошибках своего командования. Идет война с агрессором, в этой войне, чтобы победить, народ должен быть един. Зачем же воевать против своих, зачем убивать своих солдат и офицеров?

Хэ Инцинь на этот вопрос не смог дать вразумительного ответа. Он начал меня уверять, что правительство не желает возобновления гражданской войны, что это преобладающие трудности, рассыпался в излияниях дружбы к Советскому Союзу...

На следующий день я нанес визит заместителю начальника генерального штаба генералу Бай Чунси. Влияние этого генерала отнюдь не исчерпывалось его официальной должностью. Он возглавлял гуансийскую милитаристскую клику, присоединившуюся к Чан Кайши, и, конечно, стоял в первых рядах китайских антикоммунистов. Визит протокольный, он не обижал ни меня, ни Бай Чунси к каким-либо официальным заявлениям. Беседа опять началась с изъявления благодарности за помощь вооружением, но не в столь слащавой форме, как у Хэ Инциня. Бай Чунси был человеком более суровым, более грубым и прямым. Он первый начал говорить об инциденте с Новой 4-й армией и в качестве документального подтверждения ее виновности разложил топографические карты. Признак знаменательный. Мои вопросы Хэ Инциню возымели действие, и вот уже передо мной спешат оправдаться. Стало быть, забеспокоились, стало быть, нуждаются в советской военной помощи и ищут возможности выйти из тупика, куда сами и зашли.

Но это обстоятельство несколько не снимало требования быть осторожным. Я не стал рассматривать карты и заявил, что в Китае я человек новый, что еще не вжился в обстановку, не изучил расстановки сил на фронте и не могу судить о правомерности тех или иных приказов верховного главнокомандующего Чан Кайши, однако в моем сознании никак не укладывается совершившееся. Всякое вооруженное столкновение правительства с народом перед лицом агрессора выглядит крайне удивительно. Я заявил, что мне придется подробно информировать наркома обороны маршала С. К. Тимошенко о заранее спланированном нападении правительственных войск на Новую 4-ю армию, которая неплохо сражалась с японскими войсками.

При встречах и беседах с другими военными работниками чунцинского правительства не столь высокого ранга я повторял одно и то же — гражданская междоусобица только повредит борьбе с агрессором, делая намек, что это может привести к прекращению помощи со стороны Советского Союза, потому что советскому народу и Красной Армии будет непонятно, почему китайские войска, вместо того, чтобы бить общего врага — японских захватчиков, — начали военные действия между собой. Я замечал, что все мои высказывания в ходе этих встреч и бесед тут же доводятся до сведения высшего генералитета и, по всей вероятности, докладываются Чан Кайши. С гражданскими руководителями чунцинского правительства я был более осторожен. Вопросы о нападении на Новую 4-ю армию я не поднимал, но проводил в беседах мысль, что агрессора может остановить только единство народа плюс помощь дружественных дер-

жав. Параллельно моим демаршам в военных инстанциях большую работу с гражданскими министрами провел А. С. Панюшкин. Нас поспешил принять председатель Законодательного юаня Сунь Фо, сын Сунь Ятсена, который стал нас уверять, что 1941 год начинается для Китая очень благоприятно. Благодаря помощи вооружением из Советского Союза удалось стабилизировать фронт, укрепить армию и нацелить ее на новые наступательные операции. Сунь Фо заверял нас, что Китай будет бороться с агрессором до победного конца.

По нашим протокольным визитам и беседам Чан Кайши имел возможность убедиться, что его враждебные действия против коммунистических войск не остались не замеченными советской стороной<sup>4</sup>. В то же время нарастал протест против этих действий и в Китае.

В офицерской среде, как я имел возможность убедиться, действия Чан Кайши тоже не находили поддержки. После предпринятых демаршей оставалось только выяснить, готов ли Чан Кайши на дальнейшее обострение конфликта с КПК. Это был важный вопрос, от которого во многом зависел ответ на другой — пойдет ли Чан Кайши на стовор с японскими захватчиками или продолжит сопротивление агрессору?

6 марта на сессии Национально-политического совета (НПС) с ответом на требования КПК выступил Чан Кайши. В решительных выражениях он охарактеризовал отказ КПК от участия в работе сессии НПС как враждебный акт со стороны коммунистов. Основные требования КПК (о создании новой АГ, признании Особых районов на оккупированной территории, освобождении задержанных бойцов и командиров Новой 4-й армии, возвращении оружия и т. д.) он признал неприемлемыми, заявив, что принятие их равносильно признанию марионеточных организаций предателя Ван Цзинвэя. Чан Кайши обвинил 18-ю АГ в незаконных действиях, в том, что она не ведет борьбу с японцами. Он прозрачно намекнул, что для пресечения деятельности 18-й АГ правительство вынуждено было в течение последних лет концентрировать крупные силы. В заключение Чан Кайши отверг заявление коммунистов о том, что центральное правительство организует карательные экспедиции против войск КПК. Он призвал руководителей КПК и 18-й АГ одуматься и сотрудничать с правительством в его борьбе с японцами на основе декларации ЦК КПК 1937 года. Одновременно он указал, что правительство будет добиваться выполнения своих приказов всеми имеющимися в его распоряжении средствами.

В ответ коммунисты — члены НПС направили на имя сессии письмо, в котором перечислялись факты репрессий против КПК. В нем подчеркивалось, что КПК по-прежнему стоит за объединение, но до тех пор, пока взаимоотношения не будут урегулированы на основе ее условий, коммунисты не смогут принимать участие в работах сессии НПС. Таким образом, КПК продолжала настаивать на принятии своих требований. Сессия НПС закончилась, так и не разрешив этого важного вопроса.

В условиях усиливающейся реакции в стране уступка со стороны компартии могла окрылить реакцию. Однако в тот момент КПК не удалось организовать ни в Чунцине, ни в стране в целом открытого массового движения протеста, которое показало бы Чан Кайши недовольство широких слоев реакционной политикой гоминьдана.

К марту 1941 года против КПК фактически действовали две крупные оперативные группы.

Концентрация крупных армейских подразделений на подступах к Особому району и к районам, занятым КПК в центральных провинциях, события в южном Аньхое, разгром левых организаций — все это помогало верхушке гоминьдана обострять и дальше конфликт с КПК, подогревало их желание одним ударом покончить с силой и влиянием компартии.

Обстановка складывалась серьезная. События в южном Аньхое по крайней мере показали реальную готовность гоминьдановского правительства начать операции по разгрому отдельных отрядов коммунистических войск.

<sup>4</sup> Советский Союз официально предостерег гоминьдановское правительство против развязывания гражданской войны. С резким осуждением инцидента с Новой 4-й армией выступила советская печать. Посол А. С. Панюшкин 25 января 1941 года посетил Чан Кайши и заявил, что нападение на Новую 4-ю армию ослабляет военные усилия китайского народа, что на руку японским захватчикам. Посол обратил внимание на то, что гражданская война будет губительной для Китая.

Однако в условиях войны с Японией Чан Кайши не мог пойти на открытый разрыв единого фронта и гражданскую войну против КПК. Во-первых, это означало бы для гоминьдановского правительства резкое ухудшение отношений с СССР. Во-вторых, этому не способствовала общая социально-политическая обстановка в стране. Экономические трудности, порожденные войной и углубленные неспособностью правительства их преодолеть, тяжелым бременем лежали на плечах народных масс. Отсюда недовольство режимом различных слоев населения. Оно усиливалось из-за произвола, лихоимства, казнокрадства местных органов власти. Наконец, полицейский произвол и политические репрессии отталкивали от правительства передовую часть китайской интеллигенции.

В создавшейся обстановке Чан Кайши боялся развязать стихию гражданской войны, так как это могло привести не только к ухудшению международных позиций Китая, но и к большим внутренним взрывам.

Думаю, что эти дни были решающими в определении политики чунцинского правительства. Вскоре мы почувствовали, что Чан Кайши временно не пошел на дальнейшее обострение борьбы с коммунистами.

### АНАЛИЗИРУЯ ОБСТАНОВКУ...

Проблема взаимоотношений гоминьдана и КПК была хотя и чрезвычайно важной, но все же только одной из многочисленных проблем, с которыми мне пришлось столкнуться в Чунцине. Мне требовался тщательный анализ военной обстановки, соотношения вооруженных сил Китая и Японии, состояния экономики, финансов и т. п. Помимо внутренних, меня интересовали различные международные аспекты, связанные с внешнеполитическим положением Китая. За каждой из названных проблем стоял целый комплекс других. Например, выясняя состояние китайской армии и ее возможности для ведения активных боевых действий, невозможно было игнорировать взаимоотношения Чан Кайши с различными группировками милитаристов и их внутренние взаимоотношения друг с другом. Вопросов вставало много, но два из них меня занимали постоянно: позиция Чан Кайши по вопросам ведения войны с Японией и военные планы Японии в 1941 году.

Во главе всей военной организации Китая стоял Чан Кайши, который объявил себя генералиссимусом Китая, но мы, советские советники, обращаясь к нему, называли его маршалом, а китайцы — председателем Военного совета. Управление войсками осуществлялось через генеральный штаб во главе с Хэ Инцинем, который по совместительству был и военным министром.

В 1941 году под командованием Чан Кайши находилось около 290 пехотных и 14 кавалерийских дивизий, 22 артиллерийских полка, 6 минометных и подразделения других родов войск. Общая численность армии составляла 3856 тысяч солдат. По численности японская дивизия почти в два раза превышала китайскую. Некоторые китайские армии и дивизии существовали только по названию.

В конце 1938 года был принят закон о всеобщей воинской повинности, согласно которому создавались провинциальные, дивизионные и полковые мобилизационные районы. Согласно этому закону в армию призывали мужчин в возрасте от восемнадцати до тридцати пяти лет.

Во всех военных районах находились наши военные советники. В коммунистических войсках их не было. Там находилось несколько наших корреспондентов, которые пропускались туда с ведома только самого Чан Кайши. Мне неоднократно приходилось обращаться с просьбой к Чан Кайши, чтобы он разрешил пропустить в Особый район тот или иной наш самолет с медикаментами, командирами подразделений 18-й АГ, окончившими учебу в наших училищах и академиях, или корреспондентов и представителей Коминтерна. Чан Кайши в таких пропусках не отказывал, но всегда строил недовольную мину.

Все вооружение, поступавшее из-за границы в порядке закупок или помощи Китаю, направлялось в распоряжение Чан Кайши. Он рассматривал войска, подчиненные и руководимые КПК, как своих главных соперников в борьбе за власть и при распределении полученного оружия, конечно, ничего им не давал. Как военный

атгаше я, естественно, не мог вмешиваться в распределение оружия по войскам Китая.

Коммунисты в значительной степени вооружались за счет японского трофейного оружия. Но его не хватало, тем более что их армия численно росла. КПК приходилось прибегать к всевозможным другим способам, чтобы добывать средства и оружие для армии и содержания административно-политического аппарата. Разведка КПК и 18-й армейской группы выслеживала, например, когда, по каким маршрутам гоминьдановцы перевозили деньги и оружие в районы дислокации своих частей, а затем специальные отряды КПК осуществляли их захват. О подобных экспроприациях знали многие, в том числе и Чан Кайши, но предпринять что-либо против этого были бессильны.

Изучая китайскую армию по материалам, имеющимся у наших советников, я видел, что укомплектованность гоминьдановских частей и подразделений, их боевые качества и политико-моральное состояние находились на очень низком уровне. Большинство солдат служило в армии за чашку риса и медные гроши.

Китайский солдат получал в среднем 12 юаней в месяц. Ежедневно ему полагалось чуть больше полкило риса. Однако за редким исключением солдаты никогда не имели полной нормы материального довольствия. Их или обворовывали, или трудности транспортировки, недостаток продовольствия в стране снижали рацион солдат. Солдаты сплошь и рядом переходили на самообслуживание. Например, нередко наблюдалась такая картина: группа солдат, расположившись на рисовых полях, ловила мелкую рыбешку, змей и этим несколько скрашивала свой скудный стол. Низкое санитарное состояние, систематическое недоедание вели к болезням и большой смертности, делали солдат слабосильными и инертными ко всему происходящему. В 102-й пехотной дивизии, например, 50 процентов состава болело малярией. В одном из докладов на имя Чан Кайши содержалось следующее признание: «Войска плохо накормлены, плохо одеты, часто дислоцируются не в интересах стратегической необходимости, а с точки зрения возможностей снабжения. Солдаты заняты перетаскиванием риса, работой на заводах в качестве чернорабочих, а не боевой подготовкой».

К плохому материальному обеспечению солдат добавлялось грубое обращение с ними со стороны офицеров и младшего командирского состава, имели место телесные наказания, случаи грубого обращения с ранеными. Провинившихся солдат часто наказывали палками. Приходилось только поражаться невзыскательности и терпению китайского солдата, переносящего невзгоды, плохое питание, изнурительные походы, а также грубое, подчас бесчеловечное отношение со стороны офицеров. Офицеры же ниже жембата материально также не обеспечивались, плохо одевались, с семьями не виделись около четырех лет, жили крайне бедно.

Участились факты проявления недовольства политикой гоминьдана, а в связи с этим — частые аресты под предлогом чистки армии от «нежелательных элементов».

В гоминьдановской армии процветали коррупция и казнокрадство. Командиры полков и дивизий получали средства на содержание своих частей согласно штатному расписанию, которое резко отличалось от наличного состава людей в частях и подразделениях. Наживались даже на похоронах солдат. На захоронение умершего или убитого солдата отпускалась соответствующая сумма, например на покупку гроба — около 10 юаней. Командиры придумали такой порядок — хоронить умерших не сразу, а группами, когда наберется 10—15 покойников. Командир получал деньги на 10—15 гробов, но расходовал только на один. Этот гроб строился с откидным дном. В братскую могилу каждый труп подносили поодиночке, открывали дно гроба, труп падал в могилу. Пустой гроб возвращался за следующим покойником, и только последний покойник вместе с гробом сверху укладывался в могилу. Таким образом, командиры получали прибыль на гробах, попутно выколачивая содержание на мертвых, которые продолжали числиться живыми.

У Чан Кайши сложились далеко не идеальные отношения с генералами-милитаристами, которые формально включили свои войска в состав вооруженных сил Китая под общим руководством Чан Кайши, но отнюдь не спешили направить их на фронт для борьбы с японскими захватчиками. Такой командующий районом, как генерал Янь Сишань, типичный милитарист, лишь формально признавший власть центрального

правительства, за всю войну не выполнил ни одного приказа Чан Кайши. Последний назначил Янь Спшаня командующим 2-м военным районом, чтобы удержать от перехода к японцам, и поручил ему блокаду Особого района с севера и востока, официально подчинив ему 18-ю армейскую группу во главе с Чжу Дэ. На северо-западе Особый район блокировали милитаристские войска братьев Ма, которые не подчинялись даже Чан Кайши, но цепко держались за контролируемую ими территорию, собирая налоги с населения в свою пользу. Губернатор провинции Юньнань генерал Лун Юнь умудрялся даже брать налоги с имущества, поставляемого из Америки и Англии для центрального правительства.

Все говорило о том, что дивизии многих генералов-милитаристов, номинально присоединившихся к центральному правительству, никакой боевой ценности не представляли.

Счастьем для китайцев было отсутствие зимних холодов на юге страны: не требовалось теплой одежды и капитальных строений, что удешевляло содержание армии. Даже офицеры до командира роты включительно ходили в шортах и легких туфлях без носков. Часто приходилось наблюдать — идет рота по дороге или тропинке, а впереди несут офицеров в паланкинах, в которых они во время марша умудрялись спать. Замыкал общую колонну походный лазарет, где на носилках и на руках несли больных. Многие солдаты страдали дизентерией. Все же на учениях, на которых мне представлялась возможность присутствовать, а также судя по поведению солдат в быту, можно было отметить достаточно хорошую дисциплину войск, их подтянутость и выносливость. Что касается обучения армии, то здесь упор делался на муштру, основанную на механическом исполнении часто абсурдных приказов.

Для ведения наступательных действий против японцев в широких масштабах китайская армия была плохо подготовлена и имела мало средств. Она могла проводить частные наступательные операции, да и то после долгой и тщательной подготовки. Могла бы успешно громить изолированные японские гарнизоны до дивизии включительно. Очень мешало бездорожье и недостаток транспортных средств для маневра. Активно же обороняться, используя выгоды пересеченной местности, эта армия могла успешно. Для активной обороны средств и сил хватало, что и было затем доказано во время наступательных действий японской армии в 1941 году.

Политические разногласия между КПК и гоминьданом не могли не отражаться на взаимодействии их войск. Гоминьдановские генералы и офицеры в большинстве выходцы из имущих классов. Они не спешили координировать свои боевые действия с коммунистическими войсками.

Не имея постоянной связи с КПК и ее войсками, я мог судить о политике Мао Цзэдуна только по реакции гоминьдановцев и поведению Чжоу Эньлая, находившегося в Чунцине, но он и люди из его окружения предпочитали помалкивать. Во всяком случае, я пришел к выводу, что и руководство КПК в лице Мао Цзэдуна не особенно стремилось поддерживать боевые связи с войсками гоминьдана, проявляя большую заботу о накоплении сил для борьбы за власть в Китае.

В свою очередь Чан Кайши и его окружение верили в «Антикоминтерновский пакт»<sup>12</sup>, считая нападение Германии и Японии на Советский Союз вопросом времени. По их мнению, Япония в этом случае ослабила бы давление на Китай, что развязывало им руки для борьбы с коммунистами. Я считал, что вражда между гоминьданом и КПК будет усиливаться. А пока главные события развертывались в Европе, та и другая сторона занимала выжидательную позицию, накапливая силы для предстоящей борьбы за власть.

...Чунцин, временная столица Китая, был расположен на гористом левом берегу Янцзы, у впадения в нее реки Цзялинцзян. Долина Янцзы в этом месте замыкалась со всех сторон горами. Дорог к городу вело немного, а мостов не было совершенно. Меня поразила прежде всего грязь и множество крыс даже в самом центре города. Идешь по улице днем и видишь, как они десятками пробегают у твоих ног. Ни кошки, ни собаки им ни о чем. На главных улицах более или менее современные дома в три—пять этажей соседствуют со стоящими рядом лачугами, в которых живут, ра-

<sup>12</sup> «Антикоминтерновский пакт» между Германией и Японией подписан 25 ноября 1936 года.

ботают, торгуют китайцы. Трамваев нет, автомобилей мало — разных марок из разных стран. Основное средство передвижения для большинства трудового населения — собственные ноги; высшие чиновники и богатеи предпочитали автомашины, но не везде на них можно проехать, так как многие улицы соединялись лестничными переходами, по которым даже рикша не в состоянии проехать. Поэтому, кроме автомобилей и рикш, существовал еще один вид транспорта — езда в паланкинах.

Каких-либо крупных промышленных объектов в городе и окрестностях не было; почти все, что производилось, делалось руками или при помощи ручной механизации. Вся энергетика Чунцина базировалась на одной маломощной электростанции, которая еле обеспечивала освещение города и работу водопровода.

Средний уровень жизни рабочих, служащих и мелких чиновников был настолько низким, что даже чиновники после работы в учреждениях, приходя домой, переодевались, брали напрокат коляску или паланкин и обслуживали богатую публику, работая рикшей или носильщиками.

Чан Кайши выступал как блюститель нравов. Он издал приказ о закрытии публичных домов и других увеселительных заведений. Их официально закрыли, но вместо них появилось множество подпольных.

Под страхом смертной казни Чан Кайши приказал прекратить курение опиума, но вы могли встретить на улице лежащих опиумокурильщиков, которые в экстазе в ясный солнечный день считали звезды на небе. Улицы заполнены нищими, прокаженными и калеками, протягивавшими руки за подаванием.

В 1940—1941 годах японцы очень часто бомбили Чунцин и всегда объявляли, что бомбили там военные объекты. Но за мое присутствие в Китае в 1941—1942 годах военное министерство и генеральный штаб Китая ни разу не подверглись бомбежке. Не думаю, чтобы японцы считали эти учреждения невоенными объектами. Тут было что-то другое.

Японские бомбардировки тяжело отражались на жителях Чунцина. Население каждый раз несло материальные убытки — разрушались дома, гибло личное имущество. Больше всего страдала беднота и средние слои населения. Состоятельная часть все свои ценности успела вывезти в пригородные районы. Бомбежки оказывали гнетущее воздействие на состояние людей. Во время воздушных налетов почти все рабочие и служащие укрывались в крупных бомбоубежищах, а высшая знать на автомашинах выезжала за город. Вся жизнь в городе прекращалась, электростанция спускала из котлов пар, водопровод выключался.

После бомбежек и особенно после повреждения электроснабжения для всех жителей города наступали трудные дни: света нет, воды тоже. В работу вступали носильщики, которые на коромыслах по два ведра таскали воду, черпая ее из Янцзы. Река Янцзы с виду являла собой красно-желтую массу, по которой плыли трупы животных, а иногда и людей. Конечно, такую воду без хлорирования и кипячения употреблять в пищу нельзя. Надо кипятить — а на чем? Где взять топливо? Эти проблемы стояли перед каждой китайской семьей.

Японцы бомбили город систематически, в различное время суток при благоприятной летной погоде. Как правило, большинство убежищ не имело вентиляции, света, скамеек. Люди часами простаивали на ногах, не имея возможности сесть. Вопиющий факт массовой гибели людей произошел во время ночного налета японской авиации 5 июня 1941 года. В убежище тоннельного типа, рассчитанное на 2500 человек, в ту ночь набилось свыше 5 тысяч. Убежище не имело ни вентиляции, ни света. Воздушная тревога продолжалась около четырех часов. Люди вскоре стали задыхаться от недостатка воздуха. Их попытки выйти на воздух пресекались дежурившими у входа полицейскими. Когда требования выйти на воздух стали настойчивыми, полицейские заперли двери на замок и ушли. В результате все находившиеся в убежище люди погибли от удушья. Массовая гибель 5 июня вызвала огромное возмущение населения. Чан Кайши ограничился издевательским приказом о снятии с занимаемой должности ответственных за состояние убежищ — начальника чунцинского гарнизона Лю Ши и мэра города, но одновременно оставил их при исполнении служебных обязанностей.

Затянувшаяся война тяжелым бременем ложилась на плечи трудящихся, вызы-

вая озлобление против произвола властей и их неспособности успешно решать насущные проблемы.

Общее положение в стране не могло не отражаться на состоянии армии. Предметом постоянных дум и разговоров солдат были тяжелые материальные условия, в которых жили семьи военнослужащих.

В 1941 году в низовом и среднем звене китайской армии начали появляться настроения усталости, потеря веры в победу, неверие в способность главного командования довести войну до успешного конца. В основе этих настроений лежала пассивная тактика ведения войны, избранная правящими кругами гоминьдана, тяжелое материальное положение как всей страны в целом, так и армии. Отсутствие за все время войны крупных побед китайской армии, наоборот, значительные успехи, одержанные японцами, также поколебали стойкость китайских войск. Появился целый ряд симптомов морального разложения китайской армии. Участились случаи дезертирства, воровства, продажи патронов и т. п.

Однако, несмотря на проявления усталости, потерю некоторой частью солдат и офицеров веры в конечную победу, настроения разочарованности в связи с тяжелым материальным положением на фронте и в тылу, боееспособность армии в целом не была подорвана. Об этом свидетельствовало отсутствие массовых случаев перехода на сторону противника, выступлений солдат против офицеров, отказов идти в бой. Даже те представители среднего офицерства, которые жили в крайне тяжелых материальных условиях и теряли веру в способность главного командования решительными действиями закончить войну, продолжали оставаться сторонниками решительных методов окончания войны, то есть перехода в наступление, в противовес генералитету, который придерживался оборонительной тактики.

#### ЧАН КАЙШИ ВЫЖИДАЕТ

С конца 1938 года после захвата Уханя и Гуанчжоу японцы фактически прекратили широкие наступательные операции за исключением мелких действий и отражения контратак китайцев. Некоторые наши советники уверяли, что в конце 1938 года японцы выдохлись и у них нет сил для дальнейшего продвижения в глубь Китая. Конечно, китайский фронт сковал крупные силы японцев. Однако в этом состояла только одна из причин приостановки японского наступления. В 1938—1939 годах произошли события на озере Хасан и в районе Халхин-Гола, которые потребовали от японцев немало сил и средств. В эти же годы на западе, в Европе, развертывалась гитлеровская агрессия. Прекратив широкие наступательные действия в Китае, японцы приступили к освоению захваченных районов и, по-видимому, готовили армию и военную промышленность к большой войне.

В свою очередь Чан Кайши вместо активных боевых действий против японцев старался сберечь свою армию как для борьбы с прогрессивными силами, так и для того, чтобы возвыситься над другими милитаристами. Среди гоминьдановской верхушки, особенно среди генералитета, не было согласия и взаимодействия. Каждый в свою очередь стремился сохранить свои войска, особенно оружие, без которых он не имел бы веса. Власть Чан Кайши над высшим генералитетом, особенно над командующими районами, не была прочной. Он, несомненно, боялся, что каждый из них мог перевернуться на сторону японцев по примеру Ван Цзиньвэя.

Достоверно известно, что еще в ноябре 1937 года между Чан Кайши и японцами велись тайные переговоры о мире. Известно также, что в 1939—1940 годах Гитлер через своих представителей в Китае рекомендовал Чан Кайши прекратить военные действия на условиях: японские войска отводятся на север, Маньчжоу-го сохраняется как независимое китайское государство, возобновляется экономическая деятельность Японии в Китае; в Шанхае, Гуанчжоу и Сямыне создаются японские селтльменты.

Думаю, что такое предложение было согласовано с японцами. Выполнение этих условий чрезвычайно усилило бы позиции Японии в экономике Китая и одновременно развязывало руки японской военщине для агрессивных действий в любом направлении — на севере против Советского Союза и на юге против западных держав.

Чан Кайши после долгого раздумья ответил Гитлеру, что он согласен начать переговоры о мире с японцами при условиях: Япония должна отвести свои войска из

Китая, Гитлер должен гарантировать, что Япония на определенном отрезке времени не попытается вновь начать военные действия против Китая. Условия японцев, которые предлагались через Гитлера, Чан Кайши принять не мог, боясь потерять престиж главы правительства и восстановить против себя большинство китайского народа. Японцы также не особенно шли на уступки, считая, что режим Чан Кайши долго не продержится. Они, несомненно, учитывали политические и военные разногласия между КПК и гоминьданом. Возможно, они знали о подготовке Чан Кайши к вооруженному конфликту с 18-й армейской группой, о готовившемся предательском ударе по Новой 4-й армии.

Настроения пассивности в борьбе с Японией у Чан Кайши особенно усилились в 1940 году в связи с поражением Англии и Франции в Европе, а также втягиванием США в европейскую войну. Военная помощь этих держав Китаю, и без того мизерная, почти прекратилась. Не желая обострять отношения с Японией, США до поры до времени также воздерживались от оказания реальной помощи Китаю и вместе с Англией и Францией проводили политику «дальневосточного Мюнхена», которая лишь поощряла агрессора.

В 1940 году накануне моего приезда в Китай Чан Кайши был на распутье. Он боялся КПК и ее возросших вооруженных сил, в то же время он получал очень незначительную помощь от западных держав. Пойти на капитуляцию перед Японией означало потерять поддержку большинства китайского народа и стать предателем. Кроме того, японцы уже имели в Маньчжурии Пу И и в центральном Китае Ван Цзинвэя, на которых они сделали ставку. Будучи ярким антикоммунистом, Чан Кайши рассчитывал, что в борьбе с силами КПК он найдет поддержку всех империалистических держав, в том числе и Японии. Начавшаяся вторая мировая война не сулила скорого окончания. Это также заставило Чан Кайши занять выжидательную позицию. Поэтому в 1940 году он и не думал проводить активные военные действия против Японии, а сосредоточил все свое внимание на подготовке к борьбе с КПК и ее вооруженными силами.

Между прочим, такой же политики накопления сил для последующей борьбы за власть с гоминьданом придерживался и Мао Цзэдун. В то же время руководители КПК не могли не понимать, что их пассивность в борьбе с японцами не увеличивает их силы, а ведет к сокращению. Стабилизировав фронт против гоминьдановских армий, японцы провозгласили лозунги «Тыл важнее фронта!», «Очищение тыла важнее, чем наступление!», «Использовать ресурсы занятых районов!» и повели широкие боевые операции против партизанских районов, контролируемых КПК.

Напрасно наши советские советники разрабатывали и предлагали планы разгрома той или иной японской группировки. Чан Кайши и его ближайшие помощники одобряли эти планы, но проводить их в жизнь не думали, занятые подготовкой борьбы с КПК и ее вооруженными силами.

Не имея свободных сухопутных войск для расширения территориальных захватов в Китае и начав подготовку к большой войне, японцы в 1940 году массированными ударами своей авиации по Чунцину стремились подорвать сопротивление Чан Кайши, заставить его пойти на кабальный мир. В то же время японская авиация совершенно перестала наносить удары по Особому району, занимаемому войсками КПК.

Могли ли японцы в 1939—1940 годах продолжать наступательные операции против китайской армии? За этим вопросом следует другой: какова была бы цель дальнейшего захвата китайской территории, если к этому времени уже были захвачены основные промышленные центры страны, морские порты и в руках Чан Кайши оставались лишь две грунтовые дороги, связывавшие Китай с внешним миром,— на юге от Куньмина на Рангун и на северо-западе от Ланьчжоу на Алма-Ату? Чтобы перехватить эти две коммуникации, японцам нужно было ввести в Китай еще десяток дивизий, оставив у себя в тылу сотни тысяч партизан. Расширявшаяся война в Европе толкала и Японию на путь выжидания, заставляла держать главные силы, как экономические, людские, так и военные, в повышенной готовности.

В начале второй мировой войны Англия и Франция, сосредоточив свои основные силы в Европе для защиты себя от гитлеровского вторжения, неизбежно ослабили



оборону своих колониальных владений в бассейне Тихого океана. Стараясь удержать свои владения на востоке, правительства Великобритании и Франции начали усиленно проводить соглашательскую политику, стремясь удовлетворить захватнические цели Японии за счет СССР и Китая. Так, например, эти правительства передали Японии китайское серебро на сумму 40 миллионов долларов, находившееся на хранении в английском и французском консульствах в Тяньцзине. Следующая уступка со стороны англичан — подписание послом Великобритании в Токио Р. Крейги соглашения, запрещавшего провоз в Китай через Бирму военного имущества. В августе 1940 года по требованию японского правительства Англия вывела свои военные отряды из Пекина, Шанхая и Тяньцзиня. Но такие уступки со стороны западных держав только подогревали аппетиты японской военщины.

В связи с поражением Бельгии и Голландии и капитуляцией Франции в Японии активизировались сторонники экспансии на юг, мечтавшие прибрать к рукам то, что плохо защищено. Крупным шагом японской агрессии в этом направлении явилась оккупация в сентябре 1940 года северной части французского Индокитая, богатого каучуком, цинком, оловом, другим промышленным сырьем, а также рисом. К этому времени японская военщина уже захватила острова Хайнань и Спратли, которые могли стать хорошим трамплином для дальнейшей экспансии на юг.

Потерпев поражение на западе, Франция не в силах была противостоять захватнической политике Японии на востоке. В июне 1940 года Япония потребовала прекращения отправки в Китай военных материалов через индокитайскую границу, установив на всех дорогах контрольные пункты для наблюдения за выполнением своего требования.

Генерал-губернатор французского Индокитая вице-адмирал Жан Деку, проводя соглашательскую политику, признал ведущее и господствующее положение Японии на Дальнем Востоке. В августе 1940 года японское правительство официально заявило о включении Юго-Восточной Азии в так называемую восточно-азиатскую сферу взаимного процветания. Не получая должного отпора от западных держав, Япония приступила к строительству военно-морских и воздушных баз в Северном Индокитае. Она использовала в военных целях коммуникации в этом районе, одновременно увеличивая вывоз оттуда железа, угля, олова и другого сырья. Японцы создали сильные гарнизоны и сосредоточили 200 военных самолетов в районе Ханоя и острова Хайнань, начали концентрировать флот в водах Южного Китая и вдоль побережья Индокитая.

В результате в 1939—1940 годах без особых военных усилий Япония не только сумела поставить под свое политическое и экономическое влияние значительные районы Юго-Восточной Азии, но и приступила к созданию там военных плацдармов и баз для дальнейшего наступления на юг.

К середине 1941 года японские сухопутные силы, находившиеся за пределами Японии, насчитывали 56 пехотных дивизий, из них больше половины (30 дивизий) находилось на фронтах в Северном, Центральном и Южном Китае, 12 дивизий — на северо-востоке (в Маньчжоу-го), 5 — на Тайване и одна на Хайнане. Остальные дивизии находились в Корее (5), Индокитае (2) и на Южном Сахалине. Японцы имели мощную авиацию, артиллерию, инженерные и танковые войска, военно-морской флот, который в основном еще не вводился в действие. В 1940 году Япония выпустила около 3500 самолетов, построила боевые корабли водоизмещением около 70 тысяч тонн. В 1941 году на воду был спущен линейный корабль «Ямато» водоизмещением 64 тысячи тонн, вооруженный девятью 460-миллиметровыми орудиями. Неизвестно, сколько дивизий находилось или формировалось в самой Японии. Это была сильная армия.

Куда бросит она эти силы — на север, против Советского Союза, или на юг, в бассейн Тихого океана, — до поры до времени оставалось загадкой. Премьер-министр Японии Тодзио внимательно следил за обстановкой в Европе, продолжая спешно наращивать ударную мощь японской армии, ВВС и флота. Япония ждала дальнейшего развития событий и готовилась к новому военному прыжку. В каком направлении? Этот вопрос, чрезвычайно важный для нас, волновал тогда многих.

(Окончание следует)



ВАЛЕРИЙ ДЖАЛАГОНИЯ



## ЗЕЛЕНОГРАД: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ГОРОДА

**К**огда Александру Федоровичу Захарову требуется уточнить какую-то цифру, он не листает блокнот, не роется в папках. Просто нажимает клавишу дисплея, стоящего на письменном столе по правую руку,— и зеленые строки, бегущие по экрану, складываются в нужную таблицу. Компьютер похож на зубрилку-отличника: отвечает с ходу, не утруждая себя обдумыванием. Удобно, надежно и, главное, сберегает то, что для партийного руководителя самый большой дефицит,— время.

Дисплей в кабинете первого секретаря Зеленоградского райкома партии, рациональная до последней детали обстановка которого максимально отвечает представлению о деловом комфорте, выглядит органично, как столик с разноцветными телефонами или перекидной календарь.

— Придет время — и для каждого партработника компьютер станет повседневным рабочим инструментом,— говорит Александр Федорович.— Сегодня мы создаем автоматизированные системы управления предприятиями, отраслями, целыми регионами. ЭВМ помогает ставить врачебный диагноз, регулировать движение транспортных потоков, прокладывать атомоходу курс во льдах Арктики, обрабатывать результаты спортивных стартов. Она привычная примета нашего научно-технического быта. Но где, если вдуматься, этот умный помощник человека нужнее, как не в партийном комитете, куда, словно разветвления нервной системы, стягиваются нити, приводные ремни всего, чем живет, за что борется наша страна? Партийное руководство — это наука,— заключил Захаров, словно формулу выводил,— и овладение ее инструментарием — один из путей выполнения программной установки Двадцать пятого съезда КПСС: совершенствовать формы и методы партработы на научной основе.

Эксперименты по внедрению электронно-вычислительной техники в практику работы партийных комитетов ведутся во многих местах. Дело это новое, очень непростое — попробуй-ка перевести на язык алгоритмов необъятный круг забот, которыми живет райком партии! Есть первые успехи, есть и неудачи, по-своему тоже полезные, потому что они поставили заградительный знак на пути заведомо бесперспективном.

Зеленоградцы, создающие информационно-справочную систему райкома партии как составную часть «АСУ-региона», включились в этот коллективный поиск в числе первых. И к ним ездят издали — посмотреть, поучиться, поспорить.

Первыми, впервые — слова эти для Зеленограда характерны. Само рождение молодого города — спутника Москвы было первым опытом такого рода, экспериментом — социальным и градостроительным. Первыми они включились и в другой эксперимент, за результатами которого внимательно следит вся Москва: в числе четырех районов столицы зеленоградцы начали соревнование за право носить звание — образцовый район. В печати как-то промелькнуло сообщение, что выйти на этот рубеж зеленоградцы намерены к восьмидесятому году.

— Ну, это избыток оптимизма,— поморщился Александр Федорович.— Так просто под фанфары и дробь барабанов, держа равнение на календарный график, к образцовому городу не придешь. Вообще у нас кое-где наблюдается облегченное отношение к этому обязывающему слову — образцовый, девальвировано оно. Ведь как бывает: штурмом преодолеваешь сопротивление таксиста, которого почему-то не устраивает нужный тебе маршрут, ему удобнее по пути в парк — а в машине плакатик «Гарантируем отличное обслуживание». Входишь в магазин — тоже табличка в красивой рамочке: «Бригада образцового обслуживания». А стоит под табличкой труженица прилавка и привычно, на хорошем профессиональном уровне хамит покупателям... Говорил я как-то со строителем — это уже у нас в Зеленограде, — он рапортует: «Строим образцовку на 450 мест». «Что это такое — образцовка?» — спрашиваю ошарашенно. «А у нас, отвечает, в титуле так записано — «образцовое предприятие общественного питания»...» А ведь образцовой будущую его «образцовку» сделать могут не интерьеры да кухонный инвентарь, а культура обслуживания, и только она!.. С бездумной игрой в слова мы решительно боремся, — сказал секретарь райкома и энергичным жестом подтвердил то, что говорил. — Образцовый город, как мы понимаем, — это образцовая не по плакатам, а по существу работа всех предприятий, образцовое благоустройство, образцовый сервис, оптимальный уровень управления городским хозяйством. И наконец, это главное, — надо, чтобы нравственные принципы каждого жителя города отвечали моральному кодексу нашего общества. В этом сердцевина всей политико-воспитательной работы районной парторганизации. Когда решим все эти задачи? Дисплей на этот вопрос не ответит. А вот коммунисты на нашей седьмой отчетно-выборной конференции — она в январе этого года проходила — с фактами в руках сверяли, как мы движемся к цели, которую сами же обозначили. Вот несколько статистических выкладок. За два года число коллективов, участвующих в движении за коммунистический труд, увеличилось с 866 до 11 630. Коллективов, завоевавших звание коммунистических, было 380, стало почти вдвое больше. Ряды ударников комтруда возросли на 5500 человек. В семьдесят шестом году в Зеленограде выпускалось 59 изделий со знаком качества, в семьдесят восьмом — почти втрое больше. Свыше 80 процентов жителей обеспечены отдельными квартирами с высоким уровнем комфорта, а ежегодно к жилому фонду города приращивается еще примерно по 60 тысяч квадратных метров — растем! Это, так сказать, наш актив. Но мы хорошо знаем и свои недостатки. Тем же строителям крепко на конференции досталось. Жилье строят прилично, а вот капиталовложения, отпущенные на сооружение культурно-бытовых объектов, осваиваются медленно, со скрипом... Видите эту стройку в лесах?

Захаров показал в окно на площадь, перегороженную заборами, из-за которых громоздилось недостроенное здание и торчали жирафы шеи башенных кранов. Нельзя сказать, чтобы созидательный пафос на стройплощадке так уж кипел.

— Это городской Дворец культуры. Будущий. Пока же всего-навсего несданный объект. Строят его более десяти лет, а конца все не видно. А городу, особенно его молодым жителям, он ох как нужен! Проблема досуга, организации свободного времени подростков и молодежи одна из самых острых. Ее тоже надо решить, чтобы иметь право сказать: да, мы этого добились, Зеленоград — образцовый район столицы.

Кабинет секретаря райкома — отличная смотровая площадка и в прямом и в переносном смысле этого слова. Райком партии расположился под одной крышей с горисполкомом и другими районными учреждениями в новом, очень эффектном здании Дома Советов. Его смелый, резко очерченный силуэт чем-то напоминает океанский лайнер. Разместился он в самой сердцевине площади, которая сама является общегородским центром Зеленограда, еще только формирующимся.

Я смотрел через широкие оконные проемы на город, по которому потом много бродил, приглядывался, изучал, и он мне определенно нравился. Нет, он еще не стал образцовым. Но непременно станет.

Зеленограду нет еще восемнадцати. Для человека это пора, когда приходит гражданская зрелость. Для города — самое начало пути. Зеленоград еще весь в движении, в росте. Но у него уже есть свое лицо, которого так недостает многим новым районам столицы. Есть, все заметнее проступает свой, зеленоградский стиль. Об этом мне и хочется рассказать. Это не портрет города — штрихи к портрету.

## ГОРОД, ОТ КОТОРОГО НЕ НАДО ОТДЫХАТЬ

Выдающийся советский архитектор Андрей Буров писал: «Естественно и логично строить не только курорты для отдыха от нелепых городов, но и самые города так, чтобы от них не приходилось отдыхать». Перечитываешь эти строки и думаешь: это о Зеленограде. Но когда Буров писал свою ныне знаменитую книгу «Об архитектуре», еще гримыхала война и там, где сейчас посреди фантастически прекрасных лесов Подмосковья раскинулся Зеленоград, перепаханная металлом земля пахла кровью и порохом.

«По существу это была книга об уверенности в нашей победе, наполненная мечтами о будущем восстановлении и строительстве», — написал Буров в обращении к читателям. Наверное, символично, что Зеленоград, воплотивший мечты не одного поколения советских градостроителей, возник именно там, где проходил последний рубеж обороны столицы и где враг был остановлен, разгромлен и обращен в бегство.

...На зеленом, набирающем высоту по параболе кургане, царапая небо, вырастают примкнутые друг к другу штыки. На цоколе памятника — суровый профиль воина в каске. Рядом на плитах черного лабрадорита, прикрывающих братскую могилу, — бронзовое кольцо с надписью: «Родина-мать не забудет своих сыновей».

Не забыла. Из этой могилы были взяты останки Неизвестного солдата, прах которого покоится ныне у кремлевской стены в Александровском саду.

Немало безвестных героев, грудью заслонивших столицу, нашли вечный покой в изрытой траншеями земле между станцией Крюково и Ленинградским шоссе — сегодня это границы территории Зеленограда. Эхо войны, разным оно бывает... Это произошло совсем недавно, при мне. Звонок в райком партии, и взволнованный голос в трубке: «Строители вскрыли котлован, а в земле — останки бойца». Я невольно взглянул на календарь. Боям под Москвой шел тридцать восьмой год, нашей победе — тридцать четвертый...

Обнажив головы, мы стоим у монумента. Мой спутник — Игорь Александрович Покровский, один из авторов этой скорбной и величественной композиции.

— Работу над мемориальным ансамблем, — рассказывает Игорь Александрович, — мы начали, когда решения о его строительстве еще не было, — оно подоспело потом. Начали, потому что были убеждены: он необходим и место его именно здесь, на сорок первом километре, у главного въезда в Зеленоград. Пусть каждый, кто в него въезжает, видит сначала этот памятник героям, а потом сам город, который, в сущности, тоже памятник их подвигу.

Дань памяти защитников столицы живет и в названии проспекта, берущего начало от Кургана Славы. Одна из главных транспортных магистралей города названа в честь генерала И. В. Панфилова, имя которого после боев под Москвой стало легендой.

Мы едем по проспекту, и я люблю четким ритмом высотных зданий, прорастающих из сосен с естественностью живых организмов. Это по левую руку. По правую — тоже выдержанный в укрупненном масштабе набор блоков производственных корпусов. Вечерами их голубые стемалитовые стены светятся изнутри подобно диковинным дворцам, которые кому-то вздумалось соорудить целиком из стекла.

Характер производств в Зеленограде исключает их вредное воздействие на среду, поэтому жилая и промышленная зоны образуют единое целое. Вышел из родного подъезда, перешел через дорогу, — и ты у заводской проходной.

Надо сказать, что избалованные этой самой пешеходной доступностью — предметом гордости местных градостроителей, — зеленоградцы, на мой взгляд, немножко «заелись». Маршрут на автобусе в пятнадцать минут считается здесь марафонской дистанцией. Зеленоградцы, как известно, москвичи, их город — тридцать второй район столицы. Но транспортные проблемы согорожан по ту сторону кольцевой дороги, затрачивающих на путь до службы в среднем около часа, никак не отражаются на представлениях зеленоградцев о времени и пространстве. Убеждены, что пятнадцать минут — это много, и все! А может, они и правы?

Мы сворачиваем на Центральный проспект и подкатываем к подножию пары семнадцатистажных башен, косо соединенных галереями пристройки. Здесь размещается

третья мастерская Моспроекта-2 — градостроительный штаб Зеленограда. Начальник штаба, он же главный архитектор города. — Покровский.

В кабинете Игоря Александровича, увешанном схемами архитектурно-планировочных зон Зеленограда, мой взгляд недоуменно уперся в фотографию, запечатлевшую огромный мраморный зал. Публика, заполнившая его, была одета с вызывающим изыском: мужчины во фраках и смокингах, женщины в длинных, волочащихся по паркету вечерних платьях. Неужто это зеленоградцы в часы заслуженного отдыха?

— То, что вы рассматриваете, — перехватил мой взгляд Покровский, — зал приемов нового здания посольства СССР в Париже, на бульваре Ланн. У нас в Зеленограде одеваются попроще. В кабинете же фотография оказалась по той простой причине, что я имею некоторое касательство к парижскому проекту, будучи его руководителем и одним из авторов...

Игорь Покровский — имя в советской архитектуре приметное. Среди его работ, выполненных в соавторстве с другими архитекторами. — интерьеры станции метро «Краснопресненская», кинотеатр «Прогресс» на Ломоносовском проспекте, ансамбль Дворца пионеров на Ленинских горах, отмеченный Государственной премией. Вторую премию он получил как руководитель творческого коллектива за создание архитектурных комплексов Зеленограда.

Надо сказать, они впечатляют, эти комплексы. И чем ближе я знакомился с Зеленоградом — тем больше. Но чтобы меня не заподозрили в лакировке, уточню: я видел в Зеленограде дома и ансамбли великолепные, видел просто хорошие, средние и похуже. Но не было таких, о которых Горький когда-то, в эпоху до крупнопанельного домостроения, сказал: «Дома, лишённые желания быть красивыми».

Скажем, печально знаменитая серия К-7: бетонные коробки в четыре и пять этажей — Зеленоград начинался с них, давно уже ставших добычей юмористов. Человечество, как известно, смеясь расстается со своим прошлым. Но прошлое в виде бездумно построенных домов подчас доживает до настоящего и грозит замусорить собой будущее... Однако в Зеленограде даже эти злополучные коробки изо всех сил стараются быть если не красивыми, то пристойными. Они прячутся в аккуратно подстриженную зелень; уродливые швы на торцах, где стыкуются блок-секции, — обычно для термоизоляции их мажут чем-то похожим на деготь, — щеголевато очерчены в две линии голубым или красным цветом; балконы обзавелись изящными ребристыми плитами. И, честное слово, смотря на эти дома, вызывают добрую, сочувственную улыбку, какой мы провозжаем дам уже не молодых, но не сдавшихся, одетых продуманно и не без кокетства.

— Все успехи и просчеты нашего градостроительства последних лет можно проследить в Зеленограде наглядно, как годовые круги на срезе дерева, — говорит Покровский. — Но в целом градостроительный эксперимент большого масштаба, каким стала застройка Зеленограда, думается, удался. Суть эксперимента заключалась в том, чтобы в оптимальных условиях, которые обеспечивало отсутствие в Зеленограде старой, стихийно сложившейся застройки, оптимально же выявить возможности типового проектирования, ориентированного на индустриальные, заводские методы возведения зданий со стандартным набором архитектурно-строительных элементов. Жилых домов, школ, детских учреждений мы практически не проектировали. Почти весь Зеленоград был перевезен на колесах из Москвы, с домостроительных заводов столицы, так что чистота эксперимента была соблюдена. Типовую городскую среду мы попытались разнообразить за счет чередования ритмов застройки и вкрапления в нее немногих по числу, но значительных, акцентированных по своему изобразительно-смысловому решению объектов, создававшихся по индивидуальному или доработанным нами проектам. Это и определило своеобразный облик города.

Замысел зеленоградских зодчих постигаешь особенно предметно, шагая по главной магистрали города — Центральному проспекту. Профиль его асимметричен. По южной стороне тянется, как выражаются архитекторы, строчка девятиэтажных жилых домов значительной протяженности, отделенных от проезжей части зеленым бордюром. Силует противоположной, северной, стороны формируют поставленные под углом к оси проспекта четыре пары семнадцатизэтажных домов-башен. Их четкий, крупный шаг как

бы задает масштаб всему проспекту. В первых этажах ~~бизнесных зданий~~ — ~~магазины~~ «1000 мелочей», «Океан», «Детский мир», Дом быта.

Я прошелся туда и обратно по примерно километровому отрезку проспекта — от площади Юности до общегородского центра — и не сразу понял, что занимаюсь изрядно позабытым делом: гуляю! Исторически я южанин и хорошо помню, как вечерами по воскресным дням весь наш город высыпал на террасы Приморского бульвара, главную прогулочную артерию, чтобы пройтись, озоном подышать, со знакомыми раскланяться — есть такой милый провинциальный обычай! А где гулять в ныне родном мне Беляево-Богородском или любом другом новом районе столицы? Ездить на улицу Горького? Конечно, мне могут ответить: лес под рукой, гуляй на здоровье. Но речь о другом — об испокон веку отличавшем горожан стремлении окунуться иногда в уличную толчею и ощутить себя ее частицей, частицей города, который не только дом, но и люди, согорожане. А кого встретишь на улице современного типового микрорайона, чуть шагнув в сторону от торговых трактов и транспортных стоянок? Разве что опалит затылок тяжелым дыханием очередной бегун от инфаркта...

— Это издержки организации городской структуры по принципу пресловутого трехступенчатого обслуживания, — говорит Игорь Александрович. — При такой схеме разворачивается центр общегородской, центр жилого района и центр микрорайона. Теоретически это разумно, но при реализации выясняется, что не из чего делать улицу как таковую, не из чего делать площадь, и район как бы вывернут наизнанку, внутрь. По улицам бегают автомобили, а тротуары пусты. В Зеленограде мы систему трехступенчатого обслуживания сохранили, но не столь жестко, привязали ее к местным условиям. А для прогулок предусмотрели специальные магистрали. Зеленая эспланада того же Центрального проспекта предназначается именно для этой цели. Так что милости просим, приезжайте гулять к нам...

Архитекторы не забыли пешехода, любителя прогулок, и при формировании общегородского центра. Центральный проспект впадает в него, как река в озеро. Образ этот мне, наверно, подсказало озеро натуральное, расположенное ниже уровнем. Естественное падение рельефа к югу определило формирование городского центра как каскада террас, спускающихся к водоему, образованному запрудой на реке Сходне. Для главной площади Зеленограда зодчие выбрали не геометрический центр города, но зато место самое живописное, с великолепным видом на окрестный ландшафт. Я проверял: гуляешь по верхней террасе, которая как бы продолжает бульвар Центрального проспекта, являясь одновременно эксплуатируемой кровлей будущего торгового центра, и что ни точка, то новый ракурс — прямо колесо обозрения.

Средняя терраса — это собственно площадь. Ее центр обозначен тем самым океанским лайнером — Домом Советов, в котором я уже неоднократно бывал, в полной мере оценив выразительный лаконизм его служебных интерьеров, словно настраивающих на четкий, без суеты рабочий ритм. Рядом подрастает, набирая этажи — всего их будет двадцать семь, — свеча общежития гостиничного типа. По соседству строится — увы, слишком медленно, как мы уже отмечали, — Дворец культуры. Зеленоградцы поглядывают в его сторону с особым нетерпением и надеждой.

— На порядок культурная жизнь в городе поднимется, когда мы Дворец наконец введем, — пояснил Игорь Александрович. — Без преувеличения скажу, будет он одним из лучших в стране — с киноконцертным залом на 1300 мест и полным сценическим оснащением для музыкально-драматического театра.

Площадь непосредственно примыкает к городскому парку в пойме Сходни — он образует третью ступень каскада. Это главная зона отдыха зеленоградцев с отличным пляжем и лодочной станцией. Здесь же создается крупный комплекс спортивных сооружений: стадион, легкоатлетический манеж, бассейн, Дворец спорта. В общем, центр Зеленограда складывается многоплановым, не парадным, как это порой бывает, а Человечным, полным жизни. Велика его роль и в архитектурной композиции города, для которой он станет завершающим мазком. Вертикали центра соберут вокруг себя и гармонизируют другие высотные сооружения, кажущиеся пока разрозненными.

Организация вертикалей — проблема немаловажная, потому что в Зеленограде их становится все больше. Новый рубеж в наборе высоты был ознаменован строительством двадцатидвухэтажных жилых домов. Первый из них с двухмесячным опережением

графика сдала «под ключ» бригада Николая Злобина. Прославленный строитель, с именем которого связан широко известный метод бригадного хозрасчета, — зеленоградец. Он здесь работает — в управлении Зеленоградстрой. Здесь и живет — в одном из домов, построенных его же бригадой. Да и сам бригадный хозрасчет, который сегодня сокращенно называют методом Злобина, поначалу именовался зеленоградским экспериментом. В 1970-м, когда бригада Злобина взяла подряд на строительство жилого дома, став полновластным хозяином стройки и самостоятельно решая, как расходовать отпущенные по смете средства, это и был эксперимент. Ныне злобинский метод — магистральное направление организации строительно-монтажных работ. За восемь лет на эту систему перешла примерно треть всех строительных бригад страны. Работают по-злобински и за рубежом, в странах социализма. Среди многих почетных званий Николая Злобина — Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии, депутат Верховного Совета СССР — есть и такое: заслуженный строитель ГДР. Звание присвоили зеленоградцу немецкие друзья, многому научившиеся у него.

Суть своего метода сам Злобин однажды выразил так: «При этой системе безделью нет места вообще. Она не терпит лентяев, недоучек и болтунов. Ей нужны только те, кто знает свое дело, кто инициативен, изобретателен». Конечно, метод бригадного хозрасчета мог зародиться и в другом городе, на другой стройке. Но, наверное, есть своя закономерность в том, что опробовался он именно в Зеленограде. Потому что предполагаемые им точность экономических расчетов, безупречная производственная и технологическая дисциплина, обостренное чувство ответственности за доверенное дело, профессиональная компетентность — все это очень в духе Зеленограда...

— Злобинская двадцатидвухэтажка открыла новую серию — всего таких домов будет четырнадцать, — пояснил Покровский. — Для Зеленограда с его острым дефицитом свободных земель взятая высота — событие принципиального значения. Ведь мы живем в лесу, и это главное богатство города, беречь которое для нас первая заповедь.

Да, около половины городской территории — более тысячи гектаров — занимают здесь парки и лесопарки, не говоря уж о том, что город плотно окольцован лесом; его ответвления, вклинивающиеся в Зеленоград, стали естественными границами микрорайонов.

В Зеленограде в лес можно ходить не только по грибы, но и за более прозаическими продуктами питания. Я не раз видел, как женщины с хозяйственными сумками сворачивали с улицы в лес, угол срезали — так до продмага ближе. Общаться с лесом горожане могут круглый год, даже в разгар осенней хляби — шагают по прогулочным аллеям с твердым покрытием и забот не знают!

— Много споров было, когда мы эти дорожки прокладывали, — вспоминает Игорь Александрович. — Высказывались опасения, что лес уйдет. А результат получился обратный; мы его спасли от вытаптыванья. Вообще с особенностями ландшафта, который природа городу подарила, приходится соизмерять каждый шаг. Зеленоград въехал в лес очень аккуратно, ни одного деревца не потревожив: для застройки были использованы естественные пустоты — бывший аэродром ДОСААФ и малочисленные сельскохозяйственные угодья двух деревушек, поглощенных городом. Но ныне трудности появились: земельный лимит практически исчерпан и Зеленограду некуда расти, только вверх. Если бы сейчас нам предложили спроектировать город заново, мы бы сделали его плотнее, компактнее и, конечно, выше... Сразу выйти на двадцать второй этаж, — продолжает развивать мысль Покровский, — мы, естественно, не могли: уровень стройиндустрии той поры не позволял. Но и начинать с четырехэтажек, а потом беспешно ползти вверх было бесхозяйственностью. Лучше уж выждать, чем столь расточительно расходовать землю в уникальном природном окружении. Эта земля и сегодня величайшее богатство, а завтра будет просто на вес золота. Сейчас мы стали умнее: оставляем просветы в застройке городу на вырост. Что в них ставить — жизнь подскажет. Думаю, что в одном из таких пропусков гараж-высотку со временем заложим — автостоянки Зеленограду нужны позарез.

— А разве рентабельно ставить гараж, пусть даже высотный, на такой земле, как зеленоградская? Не лучше ли его упрятать под землю?

— Конечно, лучше, конечно, надо идти под землю — это аксиома! А нас придерживают. Дорого, говорят, повремените... А мы и так непростительно много времени по-

теряли. В тридцать седьмом году на Международной выставке в Париже, где впервые целый павильон был посвящен подземному градостроительству, советские архитекторы оказались триумфаторами. За строительство Московского метрополитена им была присуждена одна из двух премий. Тогда мы были лидерами. Московское метро и сегодня лучшее в мире, но где другие наши достижения такого же класса в подземном строительстве? Москва вон уже, как опара из кадки, через кольцевую дорогу переползает, а сколько городской территории внутри кольца высвободить можно было, загони под землю то, чему надлежит быть именно там — автостоянки, склады, архивы, да мало ли! А что касается экономичности, то не следует обольщаться выгодами тактического порядка. Есть ведь и экономическая стратегия! На Двадцать пятом съезде эти слова прозвучали очень весомо.

### У ВХОДА В ЭЛЕКТРОНИКУ

В 1945 году произошло событие, подлинное значение которого человечество, еще не пришедшее в себя после трагедии самой кровопролитной в мировой истории войны, оценить было просто не в состоянии. В этот трудный и радостный год на свет появилась первая, самая первая электронная вычислительная машина.

Принадлежала она к принципиально новому классу: была способна не просто выполнять работу, но и управлять ею, осуществлять контроль, производить сложнейшие расчеты, оперировать логическими категориями, запоминать, то есть делать то, что до сих пор считалось исключительно монополией человеческого мозга.

Но существовали серьезные опасения, что чудо-машина окажется нежизнеспособной. Громоздкая, как домна, — в ее чреве размещалось 19 тысяч электронных ламп и фантастическое множество других деталей — прабабка современных ЭВМ была хрупкой, как антикварный сосуд. Из строя она выходила чаще — понимаю, что в это трудно поверить, — чем первые образцы цветных телевизоров, а ремонтировать ее было еще сложнее.

Благородный род ЭВМ спас маленький скромный прибор — транзистор. Будучи в тысячи раз меньше электронной лампы, этот полупроводниковый гномик оказался значительно надежнее ее. Средняя продолжительность трудовой жизни транзистора может исчисляться тысячами! Разумеется, срок этот прогнозируемый, поскольку вся история племени транзисторов составляет пока тридцать лет.

Раньше транзисторы были величиной со спичечную головку, сегодня иные можно разглядеть лишь в микроскоп. А ведь надо собирать их в схемы, включающие сотни и тысячи транзисторов. Это посложнее, чем воспроизводить на рисовом зернышке — есть такой всегда повергающий меня в тихое изумление жанр изобразительного искусства — картину «Покорение Ермаком Сибири».

Новые идеи и решения после создания ЭВМ сыпались словно из рога изобилия. Родилась, в частности, мысль создавать полупроводниковые интегральные микросхемы, или, говоря чуть более популярно, образовывать в одном полупроводниковом кристалле все потребное количество транзисторов с электрическими соединениями между ними. Началась эра микроэлектроники...

— А теперь, я думаю, вы созрели, чтобы если не пощупать, то посмотреть, что это такое — интегральная микросхема.

С этими словами Леонид Николаевич Преснухин, ректор Московского института электронной техники, что в Зеленограде, протянул мне белоснежный, жестко хрустнувший халат и шапочку, которую я всегда считал принадлежностью хирургов. Доктор технических наук, профессор, лауреат Государственной премии, он только что прочитал курс о происхождении микроэлектроники перед аудиторией с довольно низким уровнем научно-технического развития. Думаю, что я имею право на столь строгую оценку, поскольку аудитория состояла из одного человека — меня. Нынче мне предстояло дополнить теоретический курс личными наблюдениями: ректор предложил походить по цехам созданного при институте учебно-экспериментального завода...

Очерк о Зеленограде непременно должен включать главку о МИЭТе, это я уяснил для себя сразу. И потому, что профиль института — электроника, говоря иначе, самое современное слово в науке и технике, а Зеленоград — город прежде всего современ-



ный. И потому, что в укладе трудов и дней МИЭТа, как они открылись мне, угадывался тот синтез оптимального рационализма и непрерывного поиска, который характерен для всех срезов городской жизни Зеленограда. И потому, наконец, что сам облик институтского городка как нельзя более соответствует архитектурному образу Зеленограда, активно участвует в его выявлении.

Представьте себе зеленую чащобу леса, у самой кромки которого на неправдоподобно ухоженном газоне распластана по горизонтали комбинация строгих и выразительных объемов. Пластика линий дополнена мастерски найденным цветом: темно-красный кирпич прорезан голубыми полосками остекленных проемов и обведен серебристой каймой алюминия. Получается так, что графически точный силуэт всего разветвленного комплекса зданий словно прорисован на зеленом экране самой природы. Если бы Зеленоград пожелал обзавестись визитной изюкарточкой, МИЭТ как обобщенный образ города отвечал бы этому назначению в полной мере.

Но продолжим путешествие в страну Электронику, у самых врат которой мы остановились...

Одна из глобальных проблем современности — защита природы от вредного воздействия промышленного производства. А предприятия электронной промышленности, оказывается, сами нуждаются в защите от природы. Парадоксально, но факт. Если хотите — гримаса экологии!

Кто не наблюдал сонма пылинок, лихо пляшущих в столбе воздуха? Считать их бесполезно — мириады! — остается только глотать, не думая о последствиях. А вот в цехах, по которым я ходил, сверкая белым халатом и чувствуя себя до неприличия стерильным, каждая пылинка взята на учет. Леонид Николаевич, тоже белый и стерильный, шагал рядом со мной и методически оповещал: «...в этой зоне допустимая норма запыленности не более пятисот, в этой до пятидесяти...»

Когда норма упала до пяти, я не выдержал и трусливо прикрыл рот ладонью. Ну их, в самом деле, эти проинвентаризованные пылинки! Еще невзначай нарушишь баланс, а последствия непредсказуемы. По счастью, оказалось, что этот жесткий лимит — пять штук, и точка! — обязателен лишь для боксов. Это такие стеклянные шкафы — электронщики называют их скафандрами, — из лицевой стенки которых выглядывают окуляры микроскопов, а по бокам проделаны круглые отверстия. Девушки в халатах, по-моему еще более белых, чем у нас — хотя куда же более? — просовывали в них свои нежные руки, припадали к микроскопам и застывали красиво, как изваяния. То есть что-то они, безусловно, делали там, в скафандрах, под мощными электронными линзами, но работа эта была настолько хрупкой — по ту сторону осязаемости, — что никакими внешними проявлениями действия сопровождаться просто не могла.

— Пучок электронов, которыми выводят узоры на поверхности кристалла эти девушки, — пояснил профессор Преснухин, — тоньше, чем длина волны видимого света. Примерно как в «Голом короле» у Андерсена: портные ткут из невидимой пряжи невидимую ткань с невидимыми узорами. Только наш луч-невидимка рождает узор вполне материальный, и при сильном увеличении он доступен для обозрения. Хотите взглянуть?

Я на цыпочках подошел к скафандру, на всякий случай задержал дыхание и заглянул в окуляр. Что я ожидал увидеть? Сам не знаю, но что-то совершенно необычное, ни на что не похожее. А получилось так, будто я смотрю сквозь дырочку детского калейдоскопа: геометрическая композиция с, казалось бы, совершенно стихийным раскладом компонентов. Это и была таинственная интегральная микросхема.

— А узор произвольный? — безграмотно спросил я, все еще находясь в плену калейдоскопных ассоциаций.

— Строго заданный, определенный чертежом, рассчитать который, быть может, самое сложное, — ответил Леонид Николаевич с тем бесконечным терпением и оптимизмом, которые отличают истинных педагогов, убежденных, что нет такой головы, куда при должном упорстве нельзя было бы вбить хоть какие-то осколки от гранита наук. — Прикиньте: объем кристалла составляет примерно пять тысячных кубического сантиметра. А в нем надо образовать целую колонию транзисторов — более пятнадцати тысяч штук... Часть из них надо соединить тончайшими ниточками металла; другие, там, где электрический контакт не требуется, напротив, прослоить столь же ажурным изолятором. В общем, число координатных точек на чертеже, по которому производится

сборка интегральной схемы, исчисляется сотнями тысяч. Так что полагаться на импровизацию — дело опасное. Рассчитывать микросхемы помогают ЭВМ, а потом этими же схемами — клеточной тканью электронного мозга — начинается новая вычислительная техника. Путем такого круговорота электроника и движется вперед, причем семимильными шагами. Каждый год в нашей стране с заводских конвейеров сходят миллиарды полупроводниковых приборов и интегральных схем.

— И ваши студенты смогут все это? — Вопрос прозвучал несколько расплывчато, но я дополнил его круговым движением руки, вписав в окружность скафандры с фигурками, продолжающими изображать скульптуры (по-моему, ни одна из них ни на йоту не изменила положения).

— А это и есть студенты. Организация производственной практики у нас отличается от традиционной. Тех двух месяцев, которые обычно отводят на нее вузы, мы считаем, мало. В МИЭТе режим другой: в течение двух лет каждый студент три дня в неделю отработывает на институтском опытном заводе. Электронику он должен не только пропустить через мозг, но и приучить к ней руки. Штатные рабочие завода — тоже в основном наши студенты. Вечерники. Видите, сколько пустых мест у скафандров? Сессию сдают...

И Леонид Николаевич вздохнул. Как ректор он горячо приветствовал тягу рабочей молодежи к знаниям, но как лицо, несущее ответственность за судьбу заводской производственной программы, не мог не скорбеть о потерянных человеко-часах.

— Московский институт электронной техники — вуз вообще принципиально новый, и многие задачи нам приходилось решать, как говорится, от нуля, — продолжил профессор Преснухин. — Инженер, которого мы готовим, будучи прежде всего специалистом определенного профиля — электронщиком, должен быть и универсалом. Его задача — овладеть циклом физико-математических наук на уровне физика и математика с университетским дипломом, уметь пользоваться средствами вычислительной техники не хуже питомца факультетов прикладной математики и технической кибернетики, а по инженерной подготовке, в том числе технологической, не отставать от специалистов, окончивших общетехнический вуз. Сложность в том, что знаниями трех этих циклов научных и технических дисциплин мы должны вооружить студента в рамках обычного для советской высшей школы пятигодичного срока обучения. Проблема подготовки специалистов в области электронной техники, от которой сегодня в решающей степени зависят темпы научно-технического прогресса, решалась нами впервые, но думается, что в процессе становления вуза МИЭТ нашел свой путь.

— Не слишком ли велика нагрузка, ложащаяся на ваших студентов? Не увеличивает ли это отсев?

— Отсев у нас сейчас небольшой — процента три, я бы сказал, что это естественная утриска. Поначалу было больше — до семи. Так что время работает на нас. А что касается нагрузок, главное — их рационально распределить. Знаете, если навалить на путника груз как попало, по принципу «в дороге притрется», он с места не сдвинется. А аккуратно уложите тот же, а то и больший груз в хорошо пригнанный рюкзак, отцентруйте его — и ваш пешеход бодро пройдет всю дистанцию, да еще песни в пути распевать будет! В смысле центровки «рюкзака» нам очень институтская АСУ помогает. Круг добрых услуг системы, сконструированной нашими кибернетиками, охватывает практически все сферы деятельности вуза — от учебно-воспитательной и научной до хозяйственной. Но вернемся к проблеме нагрузок. Определение их баланса — монополия ЭВМ. Именно она составляет учебное расписание, обеспечивая студентам наиболее благоприятные условия для занятий. Другая не менее важная задача, в решении которой мы прибегаем к техническому содействию АСУ, — внушить студентам, что работать надо круглый год! Средство для этого одно — контроль. Раньше нередко бывало, что преподаватель считал свою миссию выполненной, изложив курс с кафедры. А кто и как его усвоил, доживем до сессии — увидим. Это принципиально неверно, потому что учебно-воспитательную работу с аудиторией надо вести изо дня в день — весь семестр. Теперь у нас стало непреложным правилом: уровень знаний каждого студента преподаватель проверяет раз в две недели. При этом он в обязательном порядке сообщает ему свою оценку, доводит ее до сведения деканата и — что очень важно — закладывает в память АСУ. Наш электронный помощник обобщает и анализирует полу-

ченные сведения, что позволяет руководству института быть постоянно в курсе: как работает та или иная группа и каждый студент в отдельности, насколько добросовестно выполняет свои обязанности преподаватель. Если у какого-нибудь нерадивого студента складывается аномальная ситуация — схватил несколько двоек, — АСУ подает сигнал тревоги и мы принимаем меры, не дожидаясь сессии...

Слушал я ректора и вспоминал свое университетское прошлое, музыкальным аккомпанементом которого служила бодрая песенка: «От сессии до сессии живут студенты весело, а сессии всего два раза в год». Надо признать, что, не отличаясь философской глубиной, этот образец песенного фольклора довольно реалистично отражал жизнь не одного поколения студентов. И я испытал легкую сентиментальную грусть оттого, что не было в наше время таких заботливых кибернетических нянек...

МИЭТ я посетил в канун приемных экзаменов, в то драматичное время, когда у родителей абитуриентов резко подсказывает потребление валидола, а витрины, предназначенные для объявлений, и столбы, для этого отнюдь не предназначенные, густо облеплены самодельной рекламой: репетирую, готовлю, натаскиваю в вуз...

Одно из таких объявлений я переписал и прочел Преснухину: «Специальная подготовка к экзаменам. Математика, физика. Опытный преподаватель — кандидат наук. Основные вопросы теории. Техника решения задач. Психология экзамена. Прочные знания. Уверенность в себе».

— Что это, — спросил я Леонида Николаевича, — новая форма просветительской деятельности, рожденная социальными потребностями общества? Справедливо ли мнение родительских масс, что репетитор сегодня — необходимое связующее звено между школой и вузом?

— Чушь! — коротко, но выразительно ответил ректор МИЭТа, впервые обнаружив, что его ровному профессорскому баритону доступны и верхние ряды голосового регистра. — Отнюдь не убежден, что человек, торгующий собой с фонарного столба, действительно кандидат, это может быть и самозванец. Но ученый, считающий возможным опускаться до этаких балаганно-заявных реклам, недостойн называться ученым. Могу заверить, что ни один из преподавателей МИЭТа такого объявления не вывесит. Общественное мнение института считает репетиторство как форму частного бизнеса, мягко выражаясь, дурным тоном. Можно много говорить о корнях этого социального зла, но я скажу о другом — о том, как мы с ним боремся. А боремся просто и, смею думать, эффективно: занимаемся репетиторством сами. Но не кустарно, а с размахом, доступным только государственному учреждению, на серьезной научно-методической основе. Ежегодно в октябре мы объявляем прием на курсы — очные и заочные — по подготовке в МИЭТ. Набираем примерно полторы тысячи школьников. Стараемся всемерно развить уверенность абитуриента в себе, в своих знаниях, помочь ему ориентироваться в новой обстановке. Принципиальная схема занятий близка к тому, что делает — или делает вид, что делает, — частный репетитор, но профессиональный уровень несравненно более высок. С заочниками общаемся в письменной форме. В июле приглашаем их в Зеленоград на месячные сборы, завязываем личное знакомство. Тем, кто по-челу-либо не смог или не пожелал включиться в эту систему, предоставляется возможность пройти подготовку по укороченной программе. Имеется при институте и подготовительное отделение обычного типа. Одним словом, мы ведем жесткую конкурентную борьбу с кланом кустарей-надомников, и, думаю, им нечего делать даже на дальних подступах к МИЭТу. Своего будущего студента мы найдем и подготовим сами! Проблема абитуриента, — подытоживает беседу ректор, — ключевая для любого вуза, потому что его лицо, его будущее — это студенты. Наша «АСУ-вуз» имеет подсистему, которая так и называется — «Абитуриент». Она изучает пестрый поток молодежи, ежегодно вливающейся в двери приемной комиссии, обобщает, сопоставляет и, само собой, ведет строгий учет баллов, когда наступает пора подводить итоги конкурса, так что любой элемент субъективизма, случайности при зачислении в институт исключается на корню.

### НЕОБРАЗЦОВЫЕ «ОБРАЗЦОВКИ»

Пришла пора сделать признание: под впечатлением встречи с компьютером, знакомства с интегральными микросхемами и прочими большими и малыми чудесами электроники у меня созрело дерзкое предположение: а вдруг в Зеленограде — впервые в

отечественной практике — полностью искоренены счеты? В голове уже вырисовывался сенсационный заголовок, что-то вроде «Город, где не щелкают счеты».

И я решил проверить — зашел в современный универмаг, взявший себе обязывающее имя «Зеленоград». Дробный перестук, обрушившийся на меня, едва я распахнула стеклянные двери, вдребезги разбил иллюзии. Все кассирши, сидевшие за кассовыми автоматами, имели по правую руку дополнительный рабочий инструмент — деревянные счеты и привычно кидали кости — щелк, щелк, щелк...

Сколько веков звучит на Руси это лихое пощелкивание? Уже знакомый с родословной ЭВМ, я впоследствии решил докопаться до генеалогических корней и их деревянных коллег. В БСЭ (второе издание) обнаружил целое исследование про счеты, авторы которого явно относили этот нехитрый прибор к вершинным достижениям национального гения. Оказалось, что счеты как таковые возникли в России в XVI веке, а последней модернизации подверглись в XVIII. Так без малейших изменений они благополучно дожили до наших дней. «До настоящего времени, несмотря на применение совершенных счетных машин, счеты сохранили свое значение и имеют широкое распространение в СССР при практической счетной работе», — со сдержанной гордостью констатировала БСЭ. Эссе про счеты перекочевало и в третье издание энциклопедии, авторы теперь про них вместо «сохранили свое значение» сказано более сдержанно: «не утратили». Господи, когда же утратят?! Когда статья о них в очередном энциклопедическом издании будет наконец снабжена пометкой *устар.*? Ведь они просто не имеют права сосуществовать в одном временном отрезке — ЭВМ и «дощатый счет», порождение средневековья...

После посещения универмага в чувствах несколько расстроенных я решил подняться ярусом выше — перекусить в ресторане «Русский лес». Стилизованный под старину, он мне понравился. Но по части обслуживания и меню... Нет, ничего ужасного не было: отечественный сервис обычного, усредненного уровня, еще одна разновидность необразцовой «образцовки». А очень уж хотелось, чтобы в красивом современном городе Зеленограде, где люди умеют работать не усредненно, а по высшему разряду качества, до него была подтянута и такая заскорузлая отсталая сфера нашей жизни, как сервис. В городе, как и в человеке, все должно быть прекрасным.

— Согласен на все сто, — говорит Глеб Сергеевич Сорокин, председатель Зеленоградского горисполкома.

Автономный район Москвы, Зеленоград по статусу — город, поэтому советскую власть в нем представляет не рай-, а горисполком. Это не терминологическая тонкость, а дополнительный круг забот, и сфера обслуживания в ранге замкнутой городской службы среди них одна из самых хлопотных.

— Хромает у нас этот участок, как и повсюду, впрочем, — замечает Сорокин. — Город — это целостный социально-экономический комплекс, и развиваться он должен гармонично. Застройка же новых микрорайонов ведется некомплексно, сооружение предприятий обслуживания и социально-бытового назначения отстает от темпов строительства жилья. А это уже закон: если строим плохо, то и культура труда в этой сфере на соответственном уровне будет. Складывается какая-то фатальная обусловленность: так было всегда и остается вроде только смириться. А мириться нельзя, обязательно будем преодолевать дурную инерцию. В других областях у нас это получилось, значит, и здесь добьемся. Вот вам парадокс: можно ли себе представить дело более грязное, чем, извините за выражение, канализация? А у нас комплекс канализационных сооружений носит звание предприятия высокой культуры труда. Механическую и биологическую очистку сточных вод на такой уровень поставили, что они питьевой кондиции достигают! Пить эту воду городу нет нужды, но для полива улиц и зеленых насаждений используем ее самым широким образом. Вообще городские инженерные службы в Зеленограде — лучшие в Москве. Смонтировали первую в стране автоматизированную систему управления водоснабжением, и теперь нам все завидуют: ЭВМ сама давление в сети регулирует, оптимальный режим выбирает, избыточный напор сбрасывает, с утечкой борется. Вот до такого уровня все сферы городского хозяйства подтягивать надо. И задачу эту мы решим во что бы то ни стало. Причем не волевым нажимом, а планово, комплексно, с опорой на общественность и прежде всего депу-

татский актив. Пусть это нашим вкладом станет в решение задачи всенародной — сделать Москву образцовым коммунистическим городом...

Слушал я рассказ Сорокина о планах социально-экономического развития Зеленограда и вспоминал тревожные статьи в западной прессе о судьбах аналогичных городов-спутников, вырастающих вокруг более крупных городских образований. «Грубейшей ошибкой в истории градостроительства» назвал их создание известный западногерманский архитектор Рихард Дитрих. Исправляются эти ошибки по-разному. Муниципалитет американского города Сент-Луис, к примеру, попытался сделать это с помощью хирургии динамита. Целый квартал небоскребов в городском предместье, шумно разрекламированный как земной филиал рая, был взорван: рай оказался нерентабельным. Практика показала, что самостоятельная городская жизнь в поселениях, созданных по соседству с промышленными центрами, для которых они призваны поставлять рабочую силу, не развивается. Города-спутники, города-спальни на Западе быстро превращаются в бетонные трущобы, из которых бежит все живое, и в первую очередь молодежь.

— Спутник Москвы Зеленоград развивается на принципиально иной основе,— говорит Глеб Сергеевич,— с полной занятостью всего его трудоспособного населения непосредственно в самом Зеленограде и с собственной яркой и динамичной городской жизнью. Демография у нас отличная: жителей уже под 130 тысяч, по генплану должны добрать еще тысяч 10—15, а средний возраст населения двадцать восемь лет, пора расцвета. В общем, город молод, полон сил и планов. Думаю, что зеленоградский эксперимент, понимая его как комплекс градостроительных, экономических и социальных проблем, несомненно удался. Но он еще далеко не закончен...

Я возвращался из горисполкома полюбившейся зеленой эспланадой, и меня обтекали бурливые людские ручьи. Включенный в их энергичный ритм, я вглядывался во встречные лица — молодые и не очень, веселые и с печатью забот — и думал, что для этих людей Зеленоград давно не эксперимент. Это их жизнь, их город, и, конечно же, они сделают его еще лучше.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АЛЕКСАНДР ПАНКОВ



## РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ МЫ ПРИНИМАЕМ

**В** начале нынешнего года почти одновременно появились на журнальных страницах две работы о производственной теме в современной литературе.

А. Радов в статье «Нужны смелые головы» («Литературная учеба», 1979, № 1) писал: «Удивительные метаморфозы происходят нынче с «производственной» прозой. Прежде всего бросается в глаза ее «количественный» рост. Еще несколько лет назад следить за новинками было довольно легко, ибо за год появлялось до десятка произведений, а вот теперь едва успеваешь прочитывать названия повестей и романов. Ясно, что это обстоятельство отражает возросший общественный интерес к проблемам и достижениям современного производства, характеризует озабоченность самых широких социальных слоев вопросами экономики и управления».

Ю. Кузьменко в статье «Горизонты производственной темы» («Октябрь», 1979, №№ 1, 2) делится своими наблюдениями: «В последнее время много говорится и пишется о состоянии литературы на так называемую производственную тему. И явственно различимы в этих разговорах две главные ноты. С одной стороны, удовлетворенность тем, что бывшая «производствобязнь» у пишущих и читающих, слава богу, позади, что книги на эту тему (и спектакли и фильмы) стали появляться дружно и густо, создавая порой даже подобие моды. С другой стороны — неудовлетворенность числом действительно крупных и ярких произведений, которые стояли бы вровень с нашей литературной классикой, прежде всего с книгами о первой пятилетке».

Итак, общественный интерес. Количественный рост. Преодоление «производствобязни». Но и подобие моды. Но и тоска по крупному и яркому.

К слову, о «производствобязни» (хотя сам этот термин отнюдь не ласкает ухо). Об ее истоках пишет И. Шайтанов в статье

«Герои и ситуации современной драмы» («Сибирские огни», 1978, № 9), ссылаясь на дискуссию о театральных новинках: «Ни в одном из выступлений не было высказано сомнения в том, надо ли ставить. Было другое, сквозившее в словах едва ли не всех выступавших, — то, что производственная тематика сама по себе плоска, а привязанный только к производству человек будет показан однобоко. Нравственный отчет в решении вопросов экономических... не должен упрощаться, деловой конфликт не должен заслонять конфликт человеческий, сводиться к простому объяснению: хорошие люди наталкиваются на сопротивление плохих людей, одни вредят, а другие им в этом препятствуют».

Данная мысль отражает, пожалуй, широко бытующий взгляд. Но, может быть, именно поэтому здесь и не обошлось без скрытого противоречия: столкновение плохих и хороших людей — это как раз и есть нравственный, человеческий конфликт в его общей форме. Что же есть тогда конфликт деловой? И не получается ли, если твердо следовать логике критика, обратное: когда суть действия сводится к простому столкновению хороших и плохих людей, то не заслоняется ли, не смазывается конфликт деловой?

Характерно и другое замечание критика: «...отстаивая правомерность, ценность производственной темы, я бы отстаивал ее как тему в пьесе, взятую в общем проблемном ряду, а не как обособленную тему в драматургии». Позиция резонансная и методологически гибкая, но есть опять один любопытный нюанс: современная драма сплошь и рядом настойчиво отсекает от производственной темы бытовую антураж, личные отношения героев, могущие, казалось бы, служить широте общего проблемного ряда. Словно памятуя о неудачах «утепления», новейшая драма решительно выделяет ситуацию работы и дела в чистом виде и, как

это ни странно, добивается определенного сценического успеха. В чем секрет?

Прежде всего уточним сами понятия «производственная тема» и «производственная проза».

Эти выражения употребляются, как правило, в общем ряду: тема труда, литература о рабочем классе, производственная тема... Разборчивый ум должен бы сразу заметить, что тождества тут вовсе нет. Производство, труд, рабочий класс — сущности разноразличные, неоднородные. Напрашивается вывод: мы до сих пор выделяли тему по материалу и предмету повествования, по месту сюжетного действия — цех, завод, стройка — и гораздо меньше брали в расчет структуру действия, архитектуру произведений, конфликты. В результате в круг производственной прозы иной раз пытались включить книги, где события привязаны к заводской площадке и рабочей среде, но где производственно-деловой конфликт и, соответственно, производственная тема либо вообще отсутствуют, либо весьма скромно располагаются в «общем проблемном ряду».

Мне однажды приходилось сослаться в качестве примера на роман А. Кривоногова «Гори, гори ясно»: в нем производственная ситуация плотно окружена цепью ситуаций семейно-бытовых, а тема рабочего класса объемлет тему производственную как гораздо более широкая и вообще во многом самостоятельная.

Критика, понятно, имеет право при необходимости выхватить в круговороте беллетристичности конкретную тему, но было бы ошибкой — вследствие таких критических акций — мерить одним аршином содержание иных разнохарактерных книг.

На мой взгляд, производственная тема (этот термин, по-видимому, наиболее точен) рождается там, где исследуются конфликты, возникающие в ходе работы, общественного труда. В известной пьесе И. Дворецкого господствует производственная тема, а все остальное вплоть до любовных увлечений Чешкова — «утепление». И верно: пьеса «Человек со стороны» до сих пор анализировалась только с деловых позиций. Личная жизнь Чешкова многим вообще показалась лишним элементом сюжета.

К сожалению, на ниве литературы о человеке и его работе выросло и продолжает произрастать немало хилого, скучного, трафаретного, вычурного, псевдоактуального. И все же объективность требует не впадать в крайность заносчивого эстетизма, а спо-

койно разобраться в первоосновах того общественного интереса, который продолжает — и это факт! — сопутствовать наиболее серьезным романам, повестям и пьесам о человеке и его работе.

Думаю, что лавры первенства производственная проза 70-х годов во многом уступила производственной драме. Наметилась своеобразная тенденция: пока беллетристы пытались преодолеть прежние повествовательные стандарты и принялись искать бытовую и психологическую полноту, драма, напротив, рискнула сузить предмет изображения: открыто обособила деловую тему в общем проблемном ряду, взялась исследовать конфликты, рождающиеся в момент принятия героями решений, стала размышлять о социальной и нравственной ценности человеческих позиций в такие моменты (пьесы И. Дворецкого, В. Черных, Г. Бокарева, А. Гельмана).

Сказанное о конфликте в современной производственной прозе требует некоторого углубления в вопросы взаимосвязи литературы и экономики.

Кажется, никогда ранее в истории искусства художественная мысль не претендовала на столь явную социально-экономическую нацеленность. Не то чтобы литература шла мимо социально-экономических закономерностей жизни. Отнюдь. Вспомнить хотя бы Бальзака или А. Островского. У них большинство коллизий так или иначе вращается вокруг денежного интереса и социального права. Вспомнить и Л. Толстого, у которого Левин занят хозяйственными выкладками. И однако у классиков экономика входила в круг изображения какими-то эпизодическими сторонами, сплеталась со всечеловеческими страстями и вопросами, вливалась в общие ряды жизненных проблем. С упоением читая классику и восторгаясь ее неподвластностью времени, мы как-то не отмечаем этих собственно экономических элементов сюжета, не выносим их в особый тематический раздел.

Производственная проза, напротив, изначально отличалась специализаторской установкой, когда сюжет и коллизия не просто базируются на экономическом положении героев, но в самих этих положениях выделяют деловую, производственную и даже профессиональную подоплеку. Не удивительно, что читатель-производственник нередко начинает критиковать такие книги за всяческие ошибки в описании технологии: то герой не тот ключ взял, то принял ся ре-

гулировать ходовую часть двигателя, то поместил конвейер в инструментальном цехе... Производственные подробности легко превращаются в литературный балласт, хотя многие беллетристические суда, как это опять-таки ни странно, ухитряются держаться на плаву исключительно благодаря подобному балласту.

Беда иных книг на производственную тему не в том, что в них преобладал анализ деловых, экономических отношений между людьми, а в том, что создавалась лишь видимость такого анализа! Привлекают же внимание те книги производственной прозы, которые, будучи подчас узкими тематически, в общем достаточно заинтересованно выражают современное социально-экономическое сознание общества.

Итак, началось с Чешкова. Кто же он был, сей современный герой, чей образ до сих пор тревожит критику? Какая практическая идея захватила его деловое сердце? Оказывается, идея порядка, идея нормальной организации дела. Но разве это новая идея? Да ведь и Бахирев о том же помышлял! Однако критика обратила на Чешкова живейшее внимание как на героя дня и, окрестив его деловым человеком, саму эту деловитость восприняла как нечто наисовременнейшее.

В. Озеров, завершая в «Вопросах литературы» дискуссию о «Человеке со стороны», развернутую по горячим следам, отмечал: «Пьеса интересна своим общечеловеческим звучанием: через производственные конфликты отчетливо выступают социальные и нравственные проблемы, волнующие всех нас».

Чем же Чешков отличался от того же Бахирева? Пожалуй, самоуверенностью и рассудительностью. Причем его рассуждения относились к вещам, каковые лежали далеко за границами его непосредственных цеховых хлопот. Поставленный перед частной задачей наладить производство в данном цехе (технологически, кстати, устаревшем), он взялся решать ее универсальными управленческими средствами, прокламируя новую организацию отношений в коллективе.

Бахирев был человек скромный. Я бы сказал, он был новатором по нужде: поперек горла встали ему бракованные тракторы. Видя, что завод немилосердно лихорадит, он на свой страх и риск занялся реконструкцией цехов. Выступив нравственным антагонистом Вальгана с его чванством, показухой, карьеризмом, Бахирев видел панацею в техническом прогрессе. Чешков ви-

дит панацею в прогрессе организационном. И тут налицо одно серьезное различие между романом и пьесой: Чешков сталкивается не с другим руководителем, но с коллективом. И хлопочет не просто о стиле личного руководства, а о системе общения.

Противоречивость чешковского характера, породившего в критике немало разногласий, во многом объясняется тем, что драматург нащупал насущную тему, но в освоении ее избрал половинчатый путь. Скажем, многообразные филиппики героя по поводу экономических неурядиц малопонятны, поскольку сам он пришел с хорошо налаженного производства. Может быть, в этом случае и не стоило воспарять на теоретические высоты, а надо было просто умело, без слеха позаимствовать проверенный опыт и приспособить его к иной обстановке, постепенно осуществить реконструктивную операцию в духе Бахирева? Добавим: ведь деловая судьба Бахирева завершилась счастливо. Чешков же куда как настойчивее претендует на роль преобразователя, а судьба его и его дела остаются в пьесе открытыми.

Объективное значение чешковских рассуждений и возникшего затем критического интереса к герою — это как бы символ начавшегося в стране широкого обсуждения послереформенной ситуации 60-х годов в народном хозяйстве. Пьеса опередила на сей раз беллетристику, и закономерно. В романе или повести чешковские пассажи о научной организации труда остались бы без сюжетной почвы, а со сцены, брошенные прямо в зал, они задевали за живой нерв. Да и как не задеть, если в них содержался очерк типичных болевых точек экономического организма! Тут и разноречивость в планах и нормах, и накачки, и формализм, и экономическая липа... Альтернативой предложены научная деловитость, дисциплина, профессионализм, требовательность, подкрепленная нежеланием обманывать самих себя.

Повторяю: это все чешковские речи. А каковы дела?

Чешков, по словам одного из участников упомянутой дискуссии в «Вопросах литературы», Г. Кулагина, «требует порядка, чести на работе, соблюдения необходимой производственной дисциплины, субординации. Одним словом, он требует элементарных вещей».

Элементарность организационных идей героя и бросалась в глаза на фоне его действий. Зато вокруг элементарных идей закипела те самые этические страсти, которые сопутствовали конфликту Чешкова и



отозвались в критике дискуссией о нравственности делового человека и о соотношении порядка с гуманизмом.

Ченков недвусмысленно намекал: ныне нравственный коэффициент в экономике соотносится с коэффициентом деловитости. Попросту говоря, нравственна хорошая, эффективная, общепользная, «деловая» работа.

Разлад между Чешковым и его подчиненными не лишен драматической нарочитости. Уж больно скоропалительно ринулся Чешков внедрять свой стиль. Охотник до организованности и четкости, он оказался на удивление нерасчетлив в психологическом плане. Создается впечатление, что он проштудировал курс для высшего управленческого персонала и вообразил себя дальновидным менеджером. В итоге новатор и прогрессист неожиданно-негаданно был записан в антигуманисты и волюнтаристы. Такого с новаторами прежде, помнится, не случилось. Как же так — новатор в роли волюнтариста? Получается, что Чешков, несмотря на все свои науки и старания, вернулся к... методу Вальгана?

Не совсем. Страсть к организации и дисциплине сочетается у Чешкова с убеждением, что дисциплина и четкость должны достигаться не качками и погоней за буквой и цифрой, а определенностью функций и конкретностью ответственности. И разумным отбором способных к данной роли. Вальган верил в силу собственной власти, Чешков верит в систему регулирования, в рациональное начало.

Дельный зритель выходил с пьесы И. Дворецкого с мыслью, что вера в рациональное нуждается в очень веских обоснованиях — общественно-психологических и нравственных, не говоря уж о практических путях воплощения этого рационального. Да и то: одно дело единичное предприятие, другое — трест, третье — производственное объединение. А там еще человек и общество. Везде специфические задачи...

Многие восприняли центральную коллизию «Человека со стороны» как противоречие рационализма и гуманизма. Так ли это? Не будем спешить с ответом, проследим лучше дальнейшую литературную судьбу поставленной на повестку дня социально-нравственной проблемы.

Главные герои пьес А. Гельмана «Премия» и «Обратная связь» озабочены все тем же войском «нормальности». Потатов начинает объяснение с начальством с утверждения:

«...на стройке порядка не было». Но в отличие от Чешкова он не ударяется в новаторство на вверенном ему участке, а возражает против сложившейся в тресте практики строительства.

Разумеется, приняв решение отказаться от премии, Потатов также пошел против обстоятельств, и за его поступком также стоит рациональный идеал. Только проблемы, которые в «Человеке со стороны» составляли преимущественно предмет индивидуального размышления, в «Премии» превратились в предмет коллективного разбирательства. Аналитизм современной производственной драмы опирается целиком и полностью на ситуацию дискуссии, в ходе которой постепенно выясняются, «прокручиваются» объективные и субъективные причины противоречий.

В Сакулине, герое другой пьесы А. Гельмана, «Обратная связь», многие черты Потатова и Чешкова пересеклись и обрели некое свежее качество. Сакулину не безразличны и теоремы Чешкова и здравый — рабочий, народный — смысл Потатова. Сакулин вообще человек не безразличны й. Его вызов положению вещей сопряжен с поиском позитивной практической позиции. Столкнувшись с узаконенной казенной липой, он принимает решение немедленно исправить положение.

Коллизия пьесы пронизывает широкий слой человеческих связей. Решение Сакулина логически вытекает из его общественной роли: он молодой партийный работник, человек современного образования и чистой совести.

Совесть... Именно она и включает в себе тот идеальный мотив, что толкнул Сакулина на борьбу. Сакулин всего лишь «честный, порядочный человек. Он озабочен делом, а не собственной карьерой» (слова Вязниковой). Вещи вроде бы элементарные (хотя не совсем понятно, всегда ли озабоченность делом должна фатально расколоться с преуспеянием, карьерой). Но здесь вопрос: а остальные рядом с Сакулиным — они что? Не настолько честные? Не такие уж порядочные?

Имею в виду не только персонажей пьесы. В повести В. Белова «Воспитание по доктору Споку» Костя Зорин посвящает нас в свои прорабские заботы. Снова и снова повторяется тот же жизненный конфликт. Косте хочется вести дело нормально и «по закону», а в силу всяких житейских околличностей у него это никак не выходит. Болит у Зорина душа, шалят нервы. Он волея

более или менее уравновесить заработок хороших и посредственных рабочих, он знает, что объект (то есть дом) надо во что бы то ни стало «спихнуть»... Но что-то менять, придумывать, реорганизовывать не приходит Косте в голову. Не то чтобы он не знал слабых мест своего участка или не слышал, скажем, о зловинном методе. Просто сходится один к одному столько элементарных вещей, что задача пустить работу по нормальной колее кажется отнюдь не элементарной. Сердится Костя, но от экспериментаторских настроений Чешкова, Потапова, Сакулина он далек. Отказать ли ему, однако, в честности и порядочности?

Как и Чешков, Зорин ощущает зависимость своих шагов и решений от тех людей, с которыми приходится работать. В бригаде у него и опытный надежный каменщик дядя Паша, и малоопытный Смирнов, чья неумелость фактически оплачивается за счет дяди-Пашиных перевыполнений. Здесь Таня Сяницына, не попавшая в институт и временно поступившая на стройку, и полу-блатной «паршивец» Букин. Даже от него Зорин не может избавиться, и это обстоятельство мешает ему не меньше, чем перебои в снабжении и неточности в расценках.

Герой былого производственного романа взял бы да и перевоспитал в краткий срок Букина. Зорин на сей счет иллюзий не питает. И мне, в общем-то, по душе, что Костя человек «без иллюзий». С другой стороны, какой уж тут рационализм и гуманизм и прочее высокое! Тут бы только сдать дом, отбояриться.

Глядя на Зорина, легче понять и Чешкова, его жесткую, доходящую до «антигуманизма» требовательность. Те, кто попрекал за это Чешкова, как-то упускали из виду, что без строгости руководитель объекта вообще не может обойтись, будь то Вальган или Подрезов, Бахирев или Чинков, Чешков или Сакулин. Разница только та, что Вальган действовал на глазок и сугубо конъюнктурно, не стесняясь накачивать. А Чешков хочет жить нормально, то есть без липы, по трезвому расчету, по принципу личной ответственности и личной заинтересованности, от которых «вальгановский стиль» кое-кого давно отучил. Вальган был человеком рас п о р я д к а, Чешков ищет п о р я д к а. Грань тонкая, но существенная.

На настойчивые упреки в бесчеловечности Чешков мог бы ответить примерно так. Я твердо знаю свою цель и знаю, чего хочу от людей. Я требую от каждого действовать строго в соответствии с конкретными свои-

ми обязанностями и требую подчинить их собственные сиюминутные цели и навыки производственным целям. Чем четче организация дела, тем определеннее требования к людям, исполняющим необходимые функции. В силу своих руководящих полномочий я просто вынужден требовать и контролировать, навязывать соответствующие нормы. Тrequю, по сути, не я, требует само дело. И рациональный принцип вовсе не противоречит гуманизму. Он противоречит лишь хаотичности. Безразличие к ней вредно выдавать за проявление человечности. Даже если неорганизованность пропитались конкретные люди, это обстоятельство нуждается в решительном вмешательстве. Рациональная, нормальная во всех отношениях система трудовых связей — одно из первых условий реального гуманизма, что отнюдь не снимает с людей деловой ответственности... Так или примерно так мог бы рассудить Чешков.

И все же в идеях делового человека есть пробелы. Во-первых, он предполагает, что сам, как господь бог, все ведает наперед и способен все заранее высчитать. Во-вторых, он, много рассуждая о подчиненных, плохо представляет самого себя в качестве подчиненного. Как тут не вспомнить замечание Ролана Матвеевича Лоншакова из «Обратной связи», адресованное литературному преемнику Чешкова Сакулину: «...в данном случае вы исправляли чужие ошибки. Постарайтесь действовать точно так же, когда появятся собственные».

Застрахованы ли Чешковы, Потаповы, Сакулины, Зорины от ошибок? Нисколько. Еще менее они способны найти панацею от любых ошибок, трудностей, неполадок на все случаи жизни. Нет у них и гарантии, что всякий раз принятое ими решение будет безупречным. Единственное, что им не изменяет, это вера и надежда, что как их личная, так и коллективная деятельность может обрести те элементарно-рациональные, естественно-нормальные формы, когда не приходится в угоду волевой прихоти или букве распорядка доставать левое ухо через правое плечо, принимать заведомо ирреальные и убыточные для государства решения. Таковы вера и надежды.

По ходу действия Чешков не нашел истинного понимания ни у собственного начальства, ни у подчиненных. Потапов, разбудоражив трестовский улей, потерял в последний момент значительную часть сто-

ронников в бригаде. На это двуединство препятствий надо бы обратить внимание.

В пьесе «Обратная связь» формула конфликта и проблемы, которую предстоит решить, умещается в несколько строк. Вязникова выкладывает Сакулину аргументы: «...согласно государственному плану мы обязаны до конца этого года пустить весь комбинат целиком. Все три технологические нитки. Но вам, очевидно, неизвестно, что полного пуска комбината не будет, если мы сейчас досрочно пустим одну нитку, одну из трех! Потому что на этом производстве особая технология и особые условия техники безопасности. Как только мы одну нитку задействуем, территория комбината будет закрыта для дальнейших строительных и монтажных работ. Работать придется только по выходным дням и ночью. В результате оставшиеся две нитки можно будет пустить не раньше чем через полтора года. Будут заморожены огромные ценности! Государство потеряет около двадцати миллионов рублей! И это делается в то время, когда есть реальная возможность к концу года сдать весь комбинат, все три нитки».

Вязникова сказала все абсолютно точно, ни в чем не погрешив против истины. Сакулин, человек свежий, не растративший тяги к идеальному, буквально сбит с толку неопровержимостью факта. Он, как и Вязникова, всем сердцем радеет о государственной пользе, но, попытавшись исправить дело, убеждается, что предстоит иметь дело не с идеальными категориями, а с реальными людьми и учреждениями. А логика поведения учреждений подчас очень напоминает логику поведения живых людей: тут и свои цели, и свои права, и свои ошибки, и свои опасения за принятое решение.

Тот же Владимир Борисович Окунев, он ведь не просто имярек — он обком. Сакулина предупреждают: ты идешь против обкома. Никто не говорит — против Окунева.

Но вот конкретная личность. В том, что досрочный пуск комбината обойдется как минимум в двадцать миллионов потерь, по всем понятиям виновен управляющий трестом Нурков. Или, как напишут после критики, нурковщина, — была у нас прежде борзовщина, потом вальгановщина, потом гасиловщина, теперь есть нурковщина. Каверзные, между прочим, всё слова — «...авщина», «...овщина». Словно и человек в системе и система в человеке.

Итак, Нурков. Нет ничего проще чем свалить на его голову главную вину за конф-

ликт в Новотуринске. Игнат Максимович как раз фигура в полном смысле драматическая. Невыполнимые обязательства он ведь брал не по злому расчету, а ради того же дела. Поучительно проследить, как и почему Нурков, решив добиться цели всеми правдами и неправдами, запутался, в чем реально его личная вина и беда.

Диалектика вины и беды. По свидетельству критики, производственная драма ныне весьма преуспела в анализе того и другого. Но мудро открыв, что жизнь даже в самых элементарных своих объективностях многосложна и глубока, что объективные и субъективные начала не разделены непроницаемой стеной и отнюдь не полярны, аналитическая мысль зашла в некий заколдованный круг и не решалась однозначно отвечать на вопрос Чепкова, что же ему предпринять, чтобы реализовать идеальные чаяния.

Как знать, возможно, литература и не обязана давать окончательные ответы, возможно, ее дело ставить вопросы, заставляя задумываться. И, уж конечно, литература (как бы ни проникалась она пафосом познания производственных отношений) не экономический справочник. Если она и обращается к социально-экономическим вопросам, то высказывает свое мнение не декларативно, а через коллизию человеческого выбора, картину человеческой судьбы, где обычно открыты концы и начала.

Рискну утверждать: по сравнению с драмой современный роман осваивает производственную тему не столь уверенно. Он, точно витязь на распутье, постоянно колеблется: то ли держаться знакомой полупублицистической колеи, прибегая к документализму, доказывая, что искусство от жизни не отстает, — но подстерегает опасность очутиться на задворках очерка и утратить самый статус беллетристики; то ли расположить производственную тему в общих проблемных рядах... Но тут уже начинаются художественные перипетии, которые совсем не знакомы быломu производственному роману.

Так сложилось, что в этих поисках многие литераторы двинулись примерно в одном направлении. Словно одна и та же муза нашептала им сюжетные мотивы. Например, роли главных героев обычно достаются директорам. Директор таксопарка Тарутин в романе И. Штемлера «Таксопарк» («Сибирские огни», 1978, №№ 9—11), директор комбината Новиков в романе В. Гейдеко «Личная жизнь директора» («Октябрь», 1978,

№№ 1—2), генеральный директор Пушкарев в романе А. Проханова «Место действия» («Октябрь», 1979, №№ 3—5). По странному стечению обстоятельств у всех троих не ладится личная жизнь и наряду со служебными хлопотами немало сил уходит на выяснение отношений с милыми сердцу женщинами. Не берусь настаивать, что современный роман возвращается к «утеплению», но лично мне более интересны сугубо деловые линии сюжетов.

В романе В. Гейдеко авария на очистных сооружениях комбината дала главному инженеру Черепанову повод для атаки на директора Новикова с целью занять его место. В защиту директора поднялись честные люди, правда восторжествовала. Порадовавшись за счастливый для главного героя исход и падение дельца-интригана, вдруг наталкиваешься на любопытную фразу во внутреннем монологе Новикова: «Ну что ж, наконец-то игра пошла веселее, не в одни ворота». И еще через страничку: «Я подумал о том, что сражение, пожалуй, еще не проиграно».

Какова деталь! Есть в этой рефлексии Новикова, в этом ощущении происходящего нечто новое и характерное для времени, некий психологический отблеск эпохи НТР, склонной вычислять человеческое действие, видеть в нем комбинацию вариантов и возможностей. Быть может, Новиков потому и не боится принимать решения, что у него есть в запасе солидный выбор «игровых ходов»? В конце концов, разнообразие возможностей — важнейшая предпосылка деловых успехов.

Вот и директор таксопарка Андрей Тарутин в романе «Таксопарк» слышит от одного из таксистов: «У нас свои игры, директор...»

Тарутин спросит у заместителя начальника управления по перевозкам Ларикова: почему назначили его директором таксопарка? Ведь ходили вокруг такие орлы... Лариков ответит: «Толковый, грамотный инженер, интеллигентный молодой человек. Почему не тебя?» И добавит: «Есть одна странная закономерность, Андрей, я заметил... Назначили к нам управляющим Крутоверова, горлодера и грубияна. И весь аппарат стал таким же — крикуны и неврастеники. Потом его сняли, назначили Муромцева. Интеллигентный человек, тихий, вежливый. И аппарат как подменили. Даже уборщицы и те без стука не войдут в отдел. Словом, не автогранс, а рай земной, в утках от тшпшны звенело. А главное — работа шла...»

— Значит, вы эксперимент на мне проводили? — Тарутин укоризненно покачал головой.

Вот оно что! Стало быть, нравственный облик человека действительно не безразличен для экономики. А эксперимент-то ставил вовсе не Тарутин, который попытался поднять вверенный ему таксопарк, а Лариков...

И тем не менее главным действующим лицом остается в романе Тарутин, а не Лариков. По натуре молодой директор напоминает и Потапова и Чешкова. Потаповскую тактику он применил в отношении начальства: отказался, ко всеобщему удивлению, получать новую технику в знак протеста против существующих форм ее эксплуатации. В парке за голову схватились — святая простота!

Замминистра на селекторке громогласно окрестил его орлом-реформатором. Возлюбленная Вика попыталась ему втолковать, что «никому ничего не надо, кроме спокойного существования». (Думаешь: а разве Чешкову или Зорину не хочется спокойного существования? Только как, за счет кого и чего?) С Викторией Тарутину пришлось расстаться, по ее же, впрочем, инициативе: не доверяет донкихотам.

Чешковскую тактику Тарутин пытается применить в отношении подчиненных. Вникает в хитрости начальника колонны Вохты, человека в высшей степени ловкого и опытного, знающего все входы и выходы в парке. Устраивает ревизию на складе, где царствует, грея руки на дефиците, кладовщица Муртазова. Берет на работу главным механиком дотошного старика Шкляра, который в других парках прослыл склочником, а по сути отличается неустанным радением о законе.

Драматическая структура и психологическая оснастка романа «Таксопарк» не особенно оригинальны, над повествованием тяготеет избыток материала, порой автор «прокручивает» его без дальних целей. Отличается же роман проникновением в деловую кухню. Побуждениям Тарутина противостоят сложившийся быт со своими неписаными законами, со своим неповторимым и стихийным распределением человеческих сил. Таксопарковый быт не идеален. Он стоит перед Тарутиным как самодвижущаяся объективность жизни. Умудренный Вохта пытается вразумить Тарутина, почувствовав на себе его придирчивое внимание: «Вы — человек молодой, Тарутин. Суегитесь... А той системе, что сложилась, суета важна — самая, самая большая беда».

Слова Вохты по-своему перекликаются с монологом водителя Сергачева, когда тот учит уму-разуму молодого шофера Валеру Чернышева: «Есть законы и «законы». Одни написаны на бумаге и должны гарантироваться государством. А есть еще и неписанные: мораль, чувство товарищества... Наконец, чувство стаи! Ты тогда попытался пойти против течения... Конечно, каждый вариант предвидеть трудно, но есть один общий закон — все хотят лучше жить». Немного нескладен шоферский язык, ну да ладно...

Сергачев вовсе не злодей, не закоренелый «гопник», в его душе не умерли ростки честности, хотя он крепко усвоил «закон стаи» и научился стоять за себя. Не кто иной, как Сергачев в финале романа после похорон Валеры (разбился парень на машине) пойдет при Тарутине в лоб на Вохту: «Ты зачем, архангел, на кладбище явился? Не ты ли парня этого изводил за бунт против твоей вонючей системы? Не сам, через холопов своих. Сам ты всегда выглядел благодетелем бескорыстным...»

Совсем неожиданный поворот. Тем неожиданнее, что все таксопарковые грехи и грешки того гляди будут переложены на Вохту. И Тарутину останется только принять еще одно важное решение, с которым он до сих пор медлил: избавиться от начальника колонны. Однако добьется ли Тарутин своего? И кто же все-таки такой Вохта?

Размышляя о его персоне, ни Сергачев, ни Тарутин не числят его в обычных делагах. Он дефицитом не спекулирует, как Муртазова, взятку не берет, показатели у него всегда на высоте, и сам он мотивирует все свои акции пользой дела. Так и говорит бывшему уголовнику Ярцеву, когда тот безуспешно пытается вручить ему презент: вся моя суета для пользы дела. Корысть Вохты — это престиж. Правда, ради него он идет на особые махинации. Скажем, обманым путем добывается формального выполнения плана по выпуску машин на линию. Но ведь самое важное для парка не этот промежуточный показатель, а план денежный. Деньги — товар — деньги... Извечный экономический круговорот. И тут Вохта на высоте. Работает он надежнее и лучше, чем честный Сучков или горлодер Садовников. «Я делаю, чтобы для всех лучше», — внушает Вохта. Как человеческий титанж он располагается между двумя полюсами.

На одном — знакомая нам дефицитница Муртазиха. С этой все ясно: присосалась к

сладкому куску, стяжательница и преступница. Ю. Черниченко в очерке «Про картошку» заметил, что от спекуляции промтоварами сапог больше не становится. Действительно, первая экономическая беда от Муртазихи та, что она ни на копейку продукта не создает, прибыли не приносит, зато вздувает цену на проходящий через ее руки товар, «съедает» его. И ведь уследить за ней не просто. До прихода Тарутина у нее все было гладко, все ревизии сходили с рук.

Все же уследили. Помог главный механик Шкляр. Он на другом полюсе. Он не просто честный человек, а законник. Живот положит, чтобы все было по форме. В деле уловления муртазих бесребреник Шкляр действительно незаменим. Только почему-то среди бывалых водителей он, увы, не пользуется популярностью, воспринимается ими как помеха. ПроЙдоха Ярцев недаром жалуется Вохте: «Добросовестный человек хорош при налаженном деле. А как у нас, так только баламутит, верно говорю...»

Таков расклад, такова ситуация, ожидающая решений директора Тарутина. Куда же он двинется? Как и о чем будет договариваться с Сергачевым, Лариковым, Вохтой? И ведь и ему предстоит крутиться на свой лад. От машин новых отказался, а запчасти ему все равно нужны позарез. И он дает согласие на акцию своего снабженца Цыбульского по добыванию дополнительного фонда. Конечно, в этой ловкой кооперации разных предприятий все законно, никакой Шкляр носа не подточит. Однако не проглядывают ли в этой замысловатой акции приметы все той же вохтинской системы? Хорошо, что Тарутин над Вохтой, а не наоборот. (К слову, меня не очень убеждает версия автора, будто Вохта действует только из престижных соображений. Непохоже на него. Должен быть у него и свой материальный интерес. Не та натура, не тот характер.)

Не мешает заметить, что «реформаторство» Тарутина опирается как на моральную, так и на деловую аргументацию. Он объясняет коллегам: «Да, я отказался от новых автомобилей. Считаю существующую форму эксплуатации новой техники вредной. Не говоря уж о том, что она людей портит. На всякие махинации толкает, ломает человеческое достоинство...» Вот они и столкнулись вновь — экономика и этика. Только странная у них какая-то встреча. Все говорят о порядке, жотят как лучше — договориться же, согласовать точки зрения

не могут. И не очень ясно, как все эти личные и учрежденческие желания жить лучше и спокойнее соотносятся с интересами социальными. Но опять встречаются Тарутин и Сергачев:

«— Пытаюсь наладить в парке нормальные отношения...

— А зачем? — перебил Сергачев.

— То есть как? — вскинул брови Тарутин.

— Зачем? — спокойно повторил Сергачев. — Хотите, чтобы нам было хорошо? А нам и так хорошо... Мы, к примеру, всегда при деньгах. Крутимся по своей орбите. Привыкли. А вы хотите нарушить. Выходит, вы хотите сделать нам плохо, а не хорошо.

Такого поворота Тарутин не ожидал. И заволновался.

Но Сергачев словно и не замечал перемены настроений директора.

— Ну так определите под крышу все таксомоторы. Лады! Ну перестанем мы платить каким-то лихоимцам в парке за то, что они и так обязаны делать. Лады! А что изменится, директор? Разве в этом суть?.. Скучно будет от Великого порядка. Конец охотничьего сезона. Скука... Понимаете?

— Не понимаю!

— Ну... Концов не найдешь. За каждым винтиком часами бегать будешь. Великий порядок! А тут — раз, и в дамках».

Хитроумный он, однако, парень — Сергачев. Обескуражил директора. Тарутин даже не успел ему ответить, как своей заместительнице Кораблевой: его задача не разрушить коллектив изнутри, а нацелить его на перестройку работы парка. А проступки всякие, по идее, должны пресекаться не администрацией, а самими водителями.

Почему промолчал Тарутин? Может, потому, что ему пока не ясен толком план собственного начинания, средства реализации и конечные задачи. Не увязал он в голове моральные и экономические цели «реформаторства». Неизвестно ему, как улучшить положение вещей, не порушив на корню существующего дела. Недовыяснен и критерий лучшего. То не вина и даже не беда. То проблема. Тарутин подбирается к ней разными окольными путями. Пустит в ход законничество — но не власть бы ему в пустой формализм, в распорядок, на коем, того гляди, нагреет руки какая-нибудь муртазиха. Отказывается от новой техники — но вряд ли он многого этим добьется. Начинает разработку проекта, предусматривающего централизацию ремонтной базы городских автопарков. Об этом он и беседует

в добрый час с Лариковым, а тот советует войти с проектом в министерство. Пожалуй, в деле Тарутина тут намечается реальная практическая перспектива. Тем более что без изменения в кругу внешних связей таксопарк директору трудно ожидать больших успехов и в собственном хозяйстве.

Вовсе не плохо, что Тарутин огляделся, стал опытнее. Наверное, ему будет легче решать свои проблемы. По крайней мере он не наломает дров из любви к идее, не ударится в благоустроительное прожекторство и в поиски всепоспешительных панацей, претендующих на достижение в единый час Великого порядка, но обещающих, по сути, лишь подмену одной формы «законничества» другой.

В романе И. Штемлера герой настолько подчинен идее обновления, что не вполне ясна его реальная роль в повседневной работе парка, которая, пока суд да дело, идет своим чередом и, надо полагать, в конечном счете укладывается — пусть и благодаря ловкости Вохты — в плановые показатели. В «Обратной связи» конфликт определялся фактом огромной материальной потери. В «Таксопарке» же моральный принцип порой предъявляется жизни без четкого экономического мотива. Даже странно видеть такое у современных Чешковых. И не скрывается ли за их так называемым антигуманизмом некий пробел в личном искусстве руководства и управления?

Личный опыт руководителя, социальное мастерство делового человека... Насколько велика доля такого опыта и искусства в успехе любой производственной акции, проясняется при встрече с генеральным директором Пушкаревым из романа А. Проханова «Место действия»<sup>1</sup>.

Место действия — северный городок Ядринск, куда пришла большая стройка века. Новизна конструкций, мощь техники, размах современной инженерии, богатство недр — вот арсенал генерального директора. Поистине счастливый человек! Ему не надо возиться с перетряской какой-нибудь застарелой конторы и с грехами ее служителей, он кроит девственную земную твердь ножами супербульдозеров, он творит техносферу. И он знает, чего хочет, умело двигает рычагами строительства. Если где-то произошла авария, то он мгновенно оказывается на месте действия, принимает меры, торопит и советует и стружку с ответствен-

<sup>1</sup> «Октябрь», 1979, №№ 3, 4, 5.

ных снимает лихо. Строг хозяин, но на его стороже, помимо власти, еще и суровые условия Севера, где безотказность технологических систем и человеческой организации — прямое условие выживания.

А в беседе с журналистом из столицы Пушкарев — дипломат, поэт управления. «Отвечу.— Пушкарев собрал свой ум в пульсирующую горячую силу, в недрах которой бился образ комбината.— Я отвечу, в чем острота... Вот! — Он поднялся и ударил указкой в карту, черкнув по Оби и Ямалу, по зелени тундры.— Газ! Пузыри земли! Месторождения открытые, неоткрытые! Наше сырье!.. Далее,— он резко рассек континент по рекам и толям,— трубы! Нитка за ниткой! К югу, на Урал, и к нам сюда, в Николо-Ядринск! — Указка буравила малую, чуть заметную точку у синей дуги Иртыша, а за окнами башенный кран вонзил стрелу, как острый конец указки.— Тут мы, наша стройка! Сюда на больших скоростях движутся колоссальные силы. Оборудование с наших и заморских заводов. Газопроводы! Строится флот супертанкеров. Атомные ледоколы! Сырье с еще не построенного комбината считают Госплан, Министерство торговли, переводят в рубли и доллары и на эти не существующие еще миллиарды планируют грядущую сталь, пшеницу, электронику. Вот они, силы, бьющие в нас из настоящего и будущего! Стратегический смысл управления в том, чтобы их встреча была синхронна. Чтоб стыковка прошла безупречно. Если возникнет разрыв, в него, как в прорву, потекут баснословные средства. Вот в чем драма момента! Стянуть в кулак эти силы!»

Техносфера, техносфера... В сфере своего действия Пушкарев решительно рвет и рубит любые гордые узлы. Воспротивились было ему местные интеллектуалы во главе с писателем Городковым. Дорог им старый деревянный Ядринск, дороги его история, быт, местность, древние российские корни. Страшен им наплыв технических чудиц и преобразовательный напор генерального директора. Поначалу схлестнулись местные с пришельцем, и это основной конфликт романа. Но умен Пушкарев, гибок, мыслит современно и оглядливо, понимает и признает, что преобразование не ломка, а строительство, преемственное созидание, что новое должно прорасти сквозь первозданную почву и явиться миру в небывалом творческом качестве. Будет Ядринск — русский чудо-город. Пушкарев так и говорит:

мы строим чудо, создаем невиданный глорид естественной природы и техники... Минули дни — и старожилы очарованы генеральным директором, захвачены его планами и вовлечены в их осуществление. Они верят, что их собственные цели и идеалы вошли живой частицей в мощные дела строителей.

Языком науки о Пушкареве можно было бы сказать, что он не только руководит, но и управляет. Современная социология пришла к довольно внятному и полезному разграничению этих понятий. Руководство определяется как прямая административная активность. Оно оправдывает себя в применении к сравнительно простым объектам, где число прямых и обратных связей между элементами невелико. Положение становится иным, если в системе многослойны экономические, технические и, главное, человеческие связи. Коль скоро становится невозможно игнорировать эти связи во всем их движении, самостоятельности и разнообразии, то пора переходить от руководства, знающего только одну-единственную административную цель, к управлению, которое строится на тонком учете целей собственных и несобственных и стремится по мере возможности сделать эти цели синхронными. Конечно, синхронность многочисленных человеческих целей и ведомственных интересов во благо общему делу и общему развитию — высокий идеал. А разумное и эффективное сочетание руководства и управления на разных социальных уровнях и внутри разных сфер культурно-экономического быта — это тонкая наука. Детальный шифр этой науки в руках у социологов и экономистов. Для них конкретный анализ подобных явлений — острый вопрос дня.

Уже по первой беседе Пушкарева с заезжим журналистом было нетрудно заметить, что директор не прочь пофилософствовать. Если Чешков полагался на сугубо экономические выкладки, то Пушкарев мыслит в культурно-экологических категориях. В разговоре с Городковым, положившем начало их деловому союзу, герой романа проявляет широту своих представлений: «Моя мысль о местной культуре, о ядринской местной истории не имела целью отрицать ее как таковую. Я хотел лишь сказать, что вектор современной истории внезапно ударил сюда, в Ядринск, всей своей мощью...»

Нельзя не оценить в словах и делах Пушкарева осознания своей исторической мис-

сии в строительстве, этого уверенного загляда в далекую перспективу. По объективному — научному, публицистическому — смыслу пушкаревские идеи, бесспорно, созвучны времени.

Нам, в общем-то, предложено разделить точку зрения Городкова: он «поражался быстролетности пушкаревской мысли, ее свободному планированию, внезапному вертикальному взлету и резкому пикированию к точно выбранной цели». И тут автор добавляет от себя: «Пушкарев вдруг сменил тему. Говорил о нефти, о технике, о строительстве комбината, делясь с Городковым выкладками, математикой стройки, погружая его в пучину своих дел и забот, открывая политический смысл своих действий, сложную игру и борьбу интересов... Жаловался, сомневался, фантазировал вслух. И вновь возвращался к своим метафорам о народе, государстве, пространствах, о высших истинах жизни». Сознывая необходимость повествовательной экспрессии, я все же внутренне сопротивляюсь этой легкости в нагромождении пушкаревских метафор — сразу обо всем. Пушкарев, понятно, всего лишь герой романа. Но слишком весом и многозначен предмет разговора, чтобы прибегать тут к ораторской торопливости.

Надежда, что Пушкарев нас нарушит единства слов и дел, что, по крайней мере, будет к этому стремиться, есть. Не зря же он размышляет вслух: «Наша сердечность, душевность, наша мягкость и совесть — от крылец, от околиц. И в этом смысле любовь к своему крыльцу, ручейку, городку — источник нашей сердечности, нашей глубины и душевности. Здесь вы правы, не спорю. Но, кроме сердечности, есть воля, чувство общих небес, горизонтов. Необъятных, не имеющих имени. Есть чувство единства, помимо всех крылец и околиц, — единства судьбы, беды. Бесконечной в обе стороны истории, под общим небом. С огромной, почти непосильной задачей, несомой из века в век, из огня в огонь. Мечта о грядущей правде, о грядущем совершенстве. Выражаемая то косноязычно, то ясно. То молитвенно, то с проклятиями, земцем или петербуржцем, крестьянином в домотканом холсте, комиссаром в «чертовой коже». И эта мечта о правде, пусть запре-

дельной, но неизбежной, защищенная то вилами, то пулеметами, сочеталась в нас с государственной волей. Со строительством единого огромного дома, единого небывалого, скажем так, — града, вместилища правды...» Конечно, избыточно красноречив Пушкарев, но все же к его словам со вниманием прислушиваешься.

Дай бог Пушкареву уладить все свои земные дела так же удачно и к общему благу, как и конфликт со старожилками Ядринска. Мы же благодарны Пушкареву за то, что он своими трудами приблизил нас немного к пониманию краеугольных проблем руководства и управления, напомнил о необходимости живого единства народа и человека, дал почувствовать историческую значимость настоящего.

Современная критика делает упор на аналитические тенденции литературы. Но было бы неверно противопоставлять анализ другим сторонам творчества, скажем пафосу героического. Анализ и героика не антагонисты. Более того, при осмысленном, нерутинном подходе они закономерно дополняют друг друга. Истинная цена человеческого характера, прошедшего сквозь преграды и испытания, выявляется именно благодаря анализу действительности, в которой живет и действует герой.

Отказываясь от трафаретов мелочного техноописательства и «аварийного героизма», литература стремится прочесть коллизии старого и нового, в том числе коллизии делового новаторства и консерватизма в свете насущных проблем общественного развития и конкретных социальных изменений. Другое дело, что для художественного анализа этих проблем заведомо непригодны примитивные мерки, чуждые жизненной правде, далекие от высших гуманистических истин эпохи.

Диалектика экономических фактов и общего нравственного сознания для нас всегда небезразлична. Современная литература стремится придать производственной теме серьезный историко-мировоззренческий смысл, помочь обществу, людям дела глубоко познать истинную цену и практическую перспективу решений, которые мы принимаем.



---

---

*К 150-летию со дня рождения Микаэла Налбандяна*

ВАРДГЕС ПЕТРОСЯН



## БИОГРАФИЯ СТРАДАНИЙ И НАДЕЖД

Редко, как опоздание, но  
не опаздывая,  
Рождаются в самое время  
они  
и опережают это время свое,  
поэтому их не прощают.  
Живут они трудно и  
умирают легко.

*Псруйр Севак.*

**Е**сли бы это было возможно... Если бы было возможно перенестись назад на сто семнадцать лет и увидеть его в октябре 1862 года перед следственной комиссией — в Санкт-Петербурге. Шесть дней непрерывно он отвечал на вопросы следственной комиссии, уже три месяца будучи узником Петропавловской крепости. В различных камерах «петербургского Тауэра» томилась другие узники — тридцать два человека, — которые обвинялись в «преступных сношениях» с «лондонскими пропагандистами».

Бледный, с обострившимися чертами, но внутренне собранный, натянутый словно скрипичная струна, внешне спокойный и сдержанный, временами он пытался с юмором говорить о своем положении, а иной раз глубоко страдальчески искал русские слова. «Мало найдется в истории революции следственных документов, — пишет Мариэтта Шагинян, — из которых с такой силой и ясностью предстал бы законченный, совершенный характер настоящего революционера, как из этих протоколов шестидневного допроса. Удивительное... уверенное спокойствие; нигде ни в чем ни на атом паники, или замешательства, или какой-нибудь растерянности; блестящая игра под наивность... Он обдумал свои ответы, свой голос, свою позу, принятый им «ха-

ракти» до последней детали еще перед тем, как состоялись эти допросы».

Ему было тридцать три. Спустя годы в бумагах Налбандяна, оставшихся после тюрьмы, найдут несколько французских строк из Бальзака, а под ними — перевод, сделанный его рукой: «У каждого из нас есть в жизни своя Голгофа, где мы хороним свои первые тридцать и три года, ощущаем в сердце удар копыя, на голове — терновый венок». Именно в эти дни здесь, в тюрьме, ему исполнилось тридцать три (случайное и печальное совпадение), и он тогда еще не знал, что жизни ему осталось меньше четырех лет, да и то в тюрьме и ссылке.

Он родился на юге России, в небольшом городке на берегу Дона — с армянским населением — Новом Нахичеване, родители его были из Крыма, а более далекие предки — из столицы средневековой Армении Ани.

В двадцать с небольшим лет он сдал экзамен в Петербургском университете и получил должность преподавателя армянского языка в Лазаревском институте восточных языков в Москве. Спустя некоторое время он поступил в Московский университет на первый курс медицинского факультета. С молодых лет он занимался литературой, публицистикой, был основным

сотрудником и душой журнала «Юсисапайл» («Северное сияние»), а этот журнал смело можно назвать армянским «Современником».

Общественность Нового Нахичеваня избрала его доверенным лицом, которое должно было получить в Индии наследство, оставленное для нужд национального просвещения. Налбандян проделал фантастический для тех времен путь: Россия—Турция — Италия — Франция — Англия — Индия. На обратном пути он прожил несколько месяцев в Лондоне. Здесь Налбандян познакомился и сблизился с Герценом, Огаревым, Бакуниным, несколько раз встречался в Париже с Тургеневым.

Возвратившись на родину, даже не успев доложить согражданам о результатах путешествия, он был арестован, препровожден в Петербург и посажен в Алексеевский рavelин Петропавловской крепости.

В Армении М. Налбандян был перед поездкой в Индию. Он побывал в Эчмиадзине, посетил Ошакан, могилу Месропа Маштоца, побродил по бедным армянским деревням, долго беседовал с крестьянами, поднялся на Канакерское плато, где родился Абовян, и окинул взором Арарат (может быть, именно в эти минуты в душе его возник мучительный вопрос — сохранился ли огонь в старом вулкане или там один только пепел...).

Всего лишь полтора месяца он пробыл на родине, которой служил с преданностью солдата и сына, без усталости, безропотно — всю жизнь.

Кто же он был, этот человек, волею каких судеб был заброшен в Санкт-Петербург и почему предстал перед «высочайше утвержденной» сенатом следственной комиссией? Спустя многие годы в царском архиве будет найден рапорт коменданта Петропавловской крепости царю от 27 июля 1862 года об аресте Налбандяна с важной надписью в верхней части листа: «Государь император соизволил читать 29 июля». 27 июля он получил, 29 июля уже прочитал рапорт, следовательно, это был не обычный арестант.

...Микаэл Налбандян создал одно из самых мужественных произведений многовковой армянской поэзии:

Когда свободный бог в меня  
Вдохнул дыханье человека  
И брвенному созданью дал  
Дар кратковременного века,—

Я, бессловесное дитя,  
Не зная горя и невзгоды,  
Ручонки слабые простер  
К видению свободы.

Отец его Казар был кузнецом. Может быть, именно «наследственность крови» рождала ощущение, что поэтические строки могут звучать как удары молота. Молоты поднимаются подобно знамени и опускаются как мечи.

«Свобода!» — восклицаю я.  
Пусть гром над головою грянет,  
Огня, железа не страшусь,  
Пусть враг меня смертельно ранит,  
Пусть казнь, виселицей пусть,  
Столбом позорным кончу годы,  
Не перестану петь, взывать  
И повторять: «Свобода!»

Он мог быть и хрупким и нежным, умел предаваться видениям и грезам. Наверное, он родился отцом, сеятелем и поэтом. Послушайте, как нежно и мягко говорит поэт в одном из своих стихотворений:

Зачем так скоро, детство, ты прошло?  
Умчалось, упорхнуло без следа.

Но он был «солдатом правды и предводителем» и не мог жить только собственным горем и собственной радостью. И поэтому мечутся и неистовствуют нежные волны его поэзии, оборачиваясь девятым валом бури.

Не лира нежная теперь нужна —  
В руке бойца неотвратимый меч.  
Огонь и кровь на голову врага!  
Вот жизни смысл, вот боевая речь!

Он написал строки, которые спустя полвека армянские женщины вышивали на знаменах:

Смерть все равно нам суждена,  
Изменим ли природу?..  
Блажен, кто пал за свой народ,  
За родины свободу.

Он создал (на ашхарабаре — новом армянском литературном языке) первый армянский роман критического реализма — «Вопрошение мертвых», который, к сожалению, остался незаконченным. Этот роман — галерея «живых трупов» армянской действительности — очень близок по стилю и краскам гоголевским «Мертвым душам».

М. Налбандян написал «Дневник» — замечательное соединение различных форм публицистики: небольших очерков, фельетонов, писем, статей. Жанр этого произведения, явившегося словно бы энциклопедией

армянской национальной жизни 60-х годов прошлого века, скорее всего можно определить как роман-эссе, образец острой сатиры и яркой публицистичности.

Налбандян заложил краеугольный камень армянской профессиональной критики (достаточно вспомнить «Критику „Сос и Вардигер“»), определив правдивую, реалистическую литературу как зеркало, в котором «отражена жизнь нации». Налбандян считал, что, говоря о нации, следует иметь в виду простой народ, а не нескольких человек, которые взбираются серебряными ступеньками на поверхность национальной жизни.

Он создал трактат «Земледелец как верный путь» — манифест армянской освободительной мысли, который благодаря глубине социального анализа, накалу революционной страсти явился одним из превосходных образцов домарксистского социализма. Множество блестящих страниц отражают его философские, литературоведческие и лингвистические взгляды.

Не знаю, можно ли назвать Налбандяна великим поэтом, великим прозаиком, великим публицистом или критиком. Но в любом случае, характеризуя его личность и деятельность, было бы несправедливо искать другое слово. Да, Микаэл Налбандян был крупной, значительной личностью, великим человеком. Мне он представляется запоздалым титаном эпохи Возрождения, который стал таким, каким было нужно его народу. Достаточно бегло ознакомиться с тем, что он читал и чем интересовался все три года заточения в Петропавловской крепости, чтобы убедиться в этом, — Менделеев, Гегель, Прудон, Бокль, Маколей, Лазарь Парбедзи, Верди; Налбандян всерьез задумывался о переводе «Гамлета». Кроме общественных наук, он писал о проблемах астрономии и химии, физики и геологии, медицины и земледелия.

Микаэл Налбандян родился в 1829 году, чуть больше чем через полтора года после Туркманчайского договора, который устанавливал, что Эриванское ханство и Нахичеванское ханство (Восточная Армения) присоединяются к России и впредь будут именоваться Армянской областью. Если бы в 1829 году ему было хотя бы семнадцать — восемнадцать лет, он непременно оказался бы в рядах тех, кто сражался в Восточной Армении рядом с русскими декабристами, вместе с ними брал бы Эриванскую крепость и, может быть, присутствовал бы на первом представлении гениальной комедии

«Горе от ума», сыгранной ссыльными декабристами-офицерами в Эриванской крепости. Летописцем этих решающих дней был его великий предшественник Абовян, который так выразил общие чувства армянского народа: «Да будет благословен тот час, когда русские благословенной своей стопой вступили на нашу светлую землю и развеяли проклятый злобный дух кизильбашей».

Налбандян родился в России и в первые же зрелые годы оказался в магнитном поле русской культуры и русской освободительной борьбы. Если Абовян завещал оставаться навеки с Россией, то Налбандян мечтал — навеки со свободной Россией. «Освобождение Руси имеет глубокий смысл для освобождения всего человечества», — писал он.

Революционные мысли и настроения привели его к Чернышевскому, Белинскому, Герцену. Спустя сто лет со дня рождения Налбандяна Е. Чаренц вложил в его уста такие слова:

Битве с гнетом и тьмой посвятил я все сердце,  
В той борьбе никаких не страшился я мук  
И горжусь, что поэт Огарев, как и Герцен,  
Обращая ко мне, говорил — наш друг!

Неумолимое время сохранит горячие слова любви к Налбандяну его великих друзей. «...золотая душа, преданная бескорыстно, преданная наивно до святости», — скажет о нем Огарев. «...преблагороднейший человек — скажите ему, что мы помним и любим его», — дополнит Герцен. Так охарактеризует его и Бакунии, который подтвердил и горячие симпатии Тургенева к «восточному другу».

Встречался ли Налбандян с Чернышевским? Его биографы до сих пор расходятся в мнениях. Может быть, он и есть тот самый Баландян (Налбандин?), имя которого встречается в списке лиц, посетивших великого революционера в июне — июле 1862 года. Может быть, они встречались в треугольном дворе Алексеевского рavelина, куда иногда выводили арестованных на прогулку. Это было бы очень дорого, если бы оказалось, что они встречались. Но главное в том, что они были на одних баррикадах, стояли плечом к плечу, и тому свидетельство — их книги, их убеждения, их трудные и героические биографии революционеров.

Да, Налбандян родился сеятелем, отцом и поэтом. Нельзя без волнения читать его письма из тюрьмы, полные любви и заботы

о престарелых родителях. В тюрьме в мае 1863 года он узнает об открытии московского зоопарка, для которого он в 1861 году привез из Индии носорога. «Очень рад открытию зоологического сада,— пишет он.— Я бы очень желал служить процветанию Московского юного зоосада, доставляя разных редких животных...» Вот какие, оказывается, были заботы у заключенного в каменную узницу, больного, измученного, почти потерявшего веру в освобождение человека, который в эти же дни напишет, что он «скорее мертв, чем жив»!

Да, Налбандян родился отцом, сеятелем и поэтом, но встал под знамя борьбы за свободу и революцию, потому что ему, как он сам говорил, «не доставляло радости ничего, кроме того, что шло или должно было пойти на пользу многострадального народа. Я отрекся от всего личного и корыстного с того дня, когда, открыв глаза, увидел человечество нравственным взором, поэтому мое личное, только меня касающееся страдание не может разрушить той радости, которую я радовался по поводу какого-то радостного национального дела, так же как и какая-то личная радость не может заслонить тех мрачных черных туч, которые часто просто сдавливают грудь».

Да, как подлинно великий человек, М. Налбандян, кроме обычной человеческой биографии, имел еще и биографию страданий и надежд, которая не была ни сгущена личным страданием, ни освещена личными надеждами.

Как подлинно великий человек, он прожил жизнь в трех измерениях — прошлом, настоящем, будущем, и это было прошлое, настоящее и грядущее народа. Он блестяще писал о прошлом: «Мы не средневековая нация, в средние века мы пали, в средние века мы утратили свое богатство... Мы не обязаны беречь ржавчину средних веков, которой мы тогда покрылись. Есть нации, которые родились в средние века, и ржавчина, которая видна на них, исторически оправдана и понятна — они раскрыли глаза в заржавевшей колыбели. Как нация, мы принадлежим античному миру. Что могут напомнить нам средние века? Гибель, плен, погромы, кровь, огонь, голод, мрак. Именно это все принесли нам средние века, и под тяжестью этих же бед живет армянин сегодня. Сбросить себя эту тяжесть — вот наше дело».

Его проникающему в глубину и суть вещей взору открывались дни, которые «на-

ступят для армянской нации через сто лет», и за этот сокровенный, заветный мираж он и боролся. Он всегда разделял судьбу родного народа, даже тогда, когда был на берегах Нила, стоял перед Собором Парижской богородицы или бродил по Индии. В тюрьме он задумывался о перспективах шелководства в Армении, а на пороге смерти писал учебник по грамматике для учителей и учеников, без которого, как он считал, «новый литературный язык не сможет достичь никаких успехов». В Италии, будучи свидетелем победного шествия армии Гарибальди, он думал о далекой родине: «Этна и Везувий дымятся. Разве не осталось хоть искорки огня в древнем вулкане Арапата?..»

Он был убежден, что любой народ — большой или малый — благодаря национальной самобытности культуры и характера составляет часть большой семьи человечества. Именно поэтому, будучи страстным приверженцем распространения просвещения в народе, даже это святое дело он подчинил главному условию существования нации: «Если школа... это механизм, рождающий в армянине отчуждение от национального бытия, то лучше оставаться невежественным армянином, чем становиться полубразованным не-армянином». И далее: «Национальность школы связана не только с национальной принадлежностью учеников и учителей, язык — это единственное, что может оправдать эмблему национальной школы».

Налбандян верил в то, что расцвет армянской нации может наступить лишь в свободной России. «Русские завоевывают свободу не только для себя, они проповедуют свободу и для Польши и Финляндии, Малороссии, Кавказа, Грузии и Армении».

Когда Налбандяну было двадцать — двадцать пять лет, он стал одним из отцов нации. Трудное это искусство — уметь любить народ любовью и сына и отца. Сын всегда безудержен и нерасчетлив. Отец — осмотрителен, он умеет все не только понять, но и объяснить. «Пора армянам покинуть детство и обрести мужество, научиться различать белое и черное, потому что до сих пор они могли судить только о достоинствах вина и сыра...» — это сыновья с их крайностями, максимализмом, всеотрицанием, устремленностью только в будущее. А отцы? Отцы анализируют и сравнивают, над ними сгущаются тучи грусти, когда они видят, как армянский крестьянин бросает

свою землю, свои горы и уходит в город. Отцы каждый раз напоминают о том, что недостатки нации нужно замечать, нужно задумываться о них, чтобы увидеть народ свободным от этих недостатков.

31 марта 1866 года Налбандян умер в Камышине, тогда ему не было и тридцати семи. Как много он мог еще сделать — и это невольно рождает чувство глубокого сожаления. Но как много он уже успел сделать — и это рождает чувство гордости и восхищения. «Были времена,— это его слова,— когда человек, прожив сто лет, не жил ни одного дня, однако были и такие времена, когда один день жизни стоил целого века». Бывают люди, которые даже за сто лет не проходят в жизни однодневного пути... Налбандян был одним из тех, кто за один день сумел прожить век.

Он умер в Камышине, и его последнее письмо, неизвестно кому адресованное, обрывается на такой незаконченной фразе: «Врач предписал мне полный душевный покой, но разве есть покой, даже малейший покой так трудно дается...»

Он и сам не хотел обрести этот видимый, внешний душевный покой, потому что мог быть спокоен только тогда, когда спокоен народ, а народ страдал.

Так вдали от родины и родных, в страшном одиночестве завершил свою борьбу с миром и с временем Микаэл Налбандян.

Он шел впереди. А за ним шли новые войны, для которых он стал и знаменем и пророком.

Спустя две недели после его смерти Новый Нахичевань принял прах своего многострадального сына. В порту собрался весь город. А в Петербург полетели тайные полицейские донесения об этих беспрецедентных похоронах. В них особо подчеркивалось, что армяне надеются на то, что Налбандян возродится как «армянское царство», а также что в Новом Нахичеване налбандяновские произведения тайно и со всей осторожностью хранятся в бутылках.

Может быть, именно тогда и родилась легенда о том, что Налбандян не умер, что его в черной карете отправили в Сибирь, что он жив, что он еще вернется и «раздаст крестьянам землю».

Пройдут годы, и старики, которые в день похорон были еще детьми, расскажут своим внукам о том, как от берега Дона до армянского Крестовоздвиженского монастыря было постлано красное сукно и гроб Налбандяна был пронесен над этим красным цветом.

«Одним человеком стало меньше в армянском мире»,— с холодностью и равнодушием статистика возвестила заштатная газета Тифлиса.

«Заблудший нашел возмездие свое»,— как бы вторил ей «предзакатный национальный деятель» из Стамбула, против которого Налбандян вел беспощадную борьбу всю свою жизнь.

«Нет, не человек ушел, не лист упал в армянском мире,— прозвучал голос одного из сподвижников Налбандяна, и это был глас народа,— не заблудший нашел возмездие свое... а на печальном горизонте Армении закатилась яркая звезда. Налбандян как при жизни, так и после смерти будет жить в народе и служить народу.»

Величайшим памятником Налбандяну является сегодняшняя Армения, которую он видел и предвещал из своей столетней дали и ради которой стогорел как свеча. Налбандян был одним из тех художников, «жизнь которых, по словам Белинского, есть лучший комментарий на его творения, а творения — лучшее оправдание их жизни».

Новый Нахичевань... В этом городе родился Александр Мясникян — первый председатель возрожденной республики Армении. В этом городе родился Мартирос Сарьян, сумевший так выразить Армению в красках, что его творчество стало одним из величайших свидетельств самобытности нашего народа. Новый Нахичевань... Спустя примерно полвека после Налбандяна на берегу тихого Дона родился один из величайших художников XX века — Михаил Шолохов, который произнесет имя Налбандяна с высочайшим уважением; он скажет о нем: «Будучи армянином по национальности, он был моим соотечественником, я преклоняюсь перед великим сыном армянского народа».

Бреван.



---

---

К. М. ДОЛГОВ



## НАДЕЖНОСТЬ КРИТЕРИЯ

*Эстетика Гальвано делла Вольпе*

**В** 1951 году по случаю тридцатилетия Коммунистической партии Италии итальянский философ Гальвано делла Вольпе писал: «Когда я достиг сорока лет, меня, как многих интеллектуалов моего поколения, абсолютно лишенных политического чувства, национальный и европейский кризис второй мировой войны подталкивал к тому, чтобы интересоваться, и не только ради культурной любознательности, самыми общими проблемами философии Маркса. Чтение «Государства и революции» и других фундаментальных сочинений Ленина сделало свое дело: постепенно осознание той исторической роли, которую играл империализм (как последняя фаза капитализма), развилось в мою новую (подлинно) философско-критическую, то есть социологическо-материалистическую сознательность. Вступление в партию (в октябре 1944 года) было сознательным актом и почти символом новой, лучшей, духовной молодости».

«Духовная молодость» выдающегося ученого, его активная исследовательская деятельность падает на послевоенные годы. Он руководит Институтом философии, носящим теперь его имя, сотрудничает во многих философских журналах, еженедельниках, газетах и других периодических изданиях, ведет семинары, читает специальные курсы, проводит различные конференции, участвует в международных конгрессах. Г. делла Вольпе умер 13 июля 1968 года в Риме.

Гальвано делла Вольпе, постоянно изучая труды Маркса, Энгельса, Ленина, применяя их методологию к различным областям человеческого познания (философия, логика, политика, эстетика и т. д.), внес заметный вклад в развитие и распространение марксистско-ленинской философии и эстетики в Италии. Во многих своих работах он под-

вергал аргументированной критике современную буржуазную идеологию и предпринимал попытку решения на базе материалистической диалектики разных проблем философии, других форм общественного сознания и культуры вообще. Диапазон научных интересов Гальвано делла Вольпе был исключительно широк. В шеститомник ученого, изданный в 1972—1973 годах, вошли такие, например, труды, как «Источники и формирование гегелевской философии. Гегель — романтик и мистик» (1793—1800), «Эккарт и мистическая философия», «Философия опыта Давида Юма», «Рассуждение о неравенстве», «Марксистская теория освобождения человека», «Коммунистическая свобода. Очерк критики «чистого» практического разума», «Логика как положительная наука», «Экранированное правдоподобие и другие эстетические сочинения», «Поэтика шестнадцатого века (чинквеченто)», «Руссо и Маркс и другие сочинения материалистической критики», «Критика вкуса», «Ключ исторической диалектики», «Критика современной идеологии».

Уже из этого далеко не полного перечня работ ясно, что в центре внимания Г. делла Вольпе находятся вопросы материалистической диалектики, ее теоретические истоки, вопросы диалектической логики и теории познания, вопросы политической теории. Все эти работы отличаются глубиной исследования, высоким теоретическим уровнем, умелым применением диалектико-материалистического метода исследования, его сочетанием с методами других наук, огромной эрудицией, научной и общей культурой философа.

Философское наследие Гальвано делла Вольпе по сей день вызывает оживленные дискуссии как в Италии, так и за ее пределами. На страницах итальянских журна-

лов «Ринашита», «Критика марксиста» и других ведутся острые обсуждения его теоретических взглядов. Важнейшей методологической позицией, из которой исходит Гальвано дела Вольпе и которую стремится реализовать в своих теоретических исследованиях, является позиция так называемого морального галилеизма. Что означает эта позиция?

Известно, что Галилей, основоположник классической науки, выдвинул перед философами задачу: «...изучать великую книгу природы, которая и составляет настоящий предмет философии». Его труды, и прежде всего «Диалог» и «Беседы», — великолепные образцы применения научной методологии в различных областях изучения природы (в математике, физике, механике, астрономии и других), сочетания теоретических рассуждений с экспериментом, сознательного и целенаправленного математического обоснования физических явлений. Теорию Галилей ставит на прочную базу эксперимента, а эксперимент предвдвряет теоретико-логическим конструированием, ментальной структурой. Эта сторона научного творчества Галилея, его научная методология и получила название «галилеизм». Вместе с тем Галилей предпринял грандиозную попытку сознательно поставить науку на службу человеку и человечеству.

Читая его труды, которые донесли до нас отголоски острой, напряженной борьбы в науке и общественной жизни того времени, будто видишь перед собой живую человеческую личность, тонкий и глубокий ум, мужественное сердце борца за истину — словом, личность ученого, ведущего нас по трудным путям и перепутьям научных исследований, открывающего горизонты новой научной картины мира, проникающего в тайны природы, постигающего на наших глазах смысл ее законов и стремящегося направить их неодолимую силу на служение человеку. По мере чтения «Диалога» и «Бесед» мы входим в такой мир природы и человека, который до этого, кажется, не существовал, почти воочию видим захватывающую картину универсума, которую рисует нам гениальный мастер, и незаметно для себя становимся как бы соучастниками его творчества. В процессе этого научно-художественного творчества возникают новое мироощущение, новое мировосприятие, новое мировоззрение, новая культура, определяющие человеку его осо-

бое — не божественное и не дьявольское, а собственно человеческое место в мире, придающие его деятельности и его жизни собственно человеческий смысл. Галилей наполнил науку гуманистическим содержанием, смыслом, значением, она приобрела строгий классический облик. В этом суть «морального галилеизма», требующего выявлять конкретные исторические параметры человеческой деятельности во всех ее видах и формах, устанавливать соответствующие исторические связи, генезис теоретической проблематики, способы теоретического и практического решения проблем, и все это для того, чтобы понять, как включается деятельность отдельного человека (обычного и великого, простого и героя) в человеческую деятельность вообще, как соотносится история индивида с историей общества.

Гальвано дела Вольпе не просто перенимает классическое наследие Галилея: через «моральный галилеизм» он устанавливает органическую связь философии и эстетики, то есть строго научная методология марксистско-ленинской философии ориентируется и замыкается на человеке, а высокая нравственная позиция оказывается неотделимой от марксистско-ленинского мировоззрения.

И в эстетике, как справедливо полагает Г. дела Вольпе, требование строгой научности тесно связано с человеческой, гуманистической задачей. В противовес холодному, бездушному, отвернувшемуся от человека и человечности буржуазному сциентизму диалектическая, охватывающая все аспекты и уровни значения «критическая парафраза» тем и отличается от ограниченных собственной плоской эмпирической, позитивистской методологией семантической или вульгарной социологии, что устремлена к целостному человеку, конкретному субъекту истории. Только в подобном контексте, то есть в контексте осознания исторической деятельности человека и человеческого общества становится понятным целеустремленное и упорное движение Г. дела Вольпе к дальнейшему развитию «морального галилеизма» и к выработке «исторической логики», ее конкретно-исторического применения к исторической же реальности.

«Моральный галилеизм» — это и методологическая позиция, восходящая к галилеевской критике процессов гипостатизации, продолжающая линию критики Платона Аристотелем, Гегелем Марксом, позиция, определяющая критику всяческих форм из-

вращенного (идеалистического, вульгарно-материалистического) сознания и выработку соответствующей конкретно-исторической логики, которая служила бы основой диалектико-материалистического метода.

Г. делла Вольпе стремится к такой «исторической логике», которая, выражая мировоззрение пролетариата, отвечала бы заинтересованности всех трудящихся в революционном преобразовании мира и в то же время была бы тесно связана с прогрессивным содержанием и тенденциями всей предшествующей и современной культуры.

В самом деле, культура диалектична по своему существу, а диалектика является самым глубоким выражением развития человеческой культуры вообще, действенным революционным методом преобразования действительности — природы, общества, мышления. Вне связи со всей человеческой культурой не может быть диалектики — она превращается в софистику, в игру пустыми понятиями, плоскими абстракциями. В свою очередь, культура, оторгнутая от диалектики, вырождается, мертвеет, становится своеобразной антикультурой.

Гальвано делла Вольпе многие годы занимается проблемами осознания общей гносеологической основы науки и поэзии, чувственного и рационального, специфического и универсального. Он выдвигает гипотезу «органической контекстуальности», «техничко-семантической автономии» поэтической речи по отношению к речи научной, говоря при этом о необходимости обеих, обусловленной «совместным всеобщим человеческим обязательством». Именно это он и стремится доказать, показывая, что за категориями «вдохновение» и «необъяснимое воздействие прекрасного» идеалистическо-романтической эстетики стоит конкретно-историческая реальность общественных отношений, общественного бытия и общественного сознания. Чтобы понять, вскрыть и показать эту тонкую, глубокую и сложнейшую диалектику общественных отношений, философско-эстетических идей, нравственных ценностей, художественных вкусов, метод анализа художественных произведений должен быть историко-материалистическим, диалектическим методом, позволяющим через постижение структуры художественных произведений, морфологию и генезис художественно-эстетического сознания реконструировать отраженную в них конкретно-историческую действительность, как и наоборот — исходя из конкретно-ис-

торической действительности, воссоздать сокровенный смысл и содержание произведений искусства.

В своей книге «История вкуса» Г. делла Вольпе пыгается дать анализ исторического становления эстетической проблематики, проследить борьбу между двумя эстетическими линиями — от Платона до романтиков и их эпигонов, от Аристотеля до Лессинга и Брехта.

Г. делла Вольпе решительным образом встает на защиту рационалистической линии в истории эстетики, линии, ведущей свое начало от Аристотелевой теории «подражания» («мимезиса») и «правдоподобия», и всю силу своего критического ума обращает против иррационалистической линии в эстетике, восходящей к платоновской «негативной», иррациональной и имморальной эстетической теории, являющейся и по сей день основным источником самых разнообразных идеалистических, иррационалистических эстетических концепций.

Историческое развертывание эстетической проблематики сопровождается у Г. делла Вольпе ее философским осмыслением, связанным с решением современных актуальных вопросов: он осмысливает прошлое и соответствующую тому или иному периоду в истории развития общества художественно-эстетическую проблематику с позиций современного состояния эстетики, искусства, философии. Рассматривая, например, средневековую схоластическую эстетику, Г. делла Вольпе вскрывает связь с ней современной томистской и неотомистской эстетики — и по основным тенденциям и характеристикам, и по бесконечным попыткам найти «вечный идеал красоты». Связь обнаруживается и через сочетание (в обеих эстетиках) противоречивых тенденций — стремление к крайнему интеллектуализму сопровождается крайним мистицизмом, спиритуализм не исключает неразрывной связи с греховной плотью, а «возвышенная», «одухотворенная» средневековая культура и искусство понимаются как своеобразное отражение, «инобытие» земной жизни со всеми ее коллизиями и конфликтами.

Проследивая историческое развитие эстетического вкуса, Г. делла Вольпе отмечает все более мощный прогресс эстетической науки, самая существенная и трудная проблематика которой найдет свое достойное воплощение в марксистско-ленинской эстетике. Но именно это заставляет его снова



и снова бросать ретроспективный взгляд на историю искусства и эстетики, на историю культуры вообще, соотносить историю вкуса с современностью, с современной культурой и эстетикой и вносить соответствующие коррективы в существующие взгляды и концепции. Например, рассматривая развитие идей идеалистической эстетики, Г. делла Вольпе приходит к выводу, что в «немецком антипросвещенческом, антиклассическом, антирационалистическом движении (Sturm und Drang) было подготовлено наступление великого романтизма». Однако это наступление в своем историческом развитии разрешилось для идеализма трагически: философия Гегеля была не только «концом классической немецкой философии», но и концом классической немецкой эстетики, концом идеалистическо-романтического вкуса. «Кто думает найти в идеалистическом и диалектическом синтезе Гегеля развитие и систематизацию требований равновесия (чувства и разума, специфического и универсального), намеченных в поэтике Гёте, тот вынужден будет разочароваться, если рассмотрит не только принципы гегелевской эстетики, но и сами их практические, критическо-художественные, историографические следствия...» Уже в эстетике Гегеля наметился тот кризис идеалистическо-романтической эстетики, который вскоре охватит все буржуазное художественно-эстетическое сознание и окажется для него роковым.

В своих исследованиях духовных явлений Г. делла Вольпе исходил из положения о связи политических, правовых и других идеологических представлений (и обусловленных ими действий) с лежащими в их основе экономическими факторами. Философ специально приводит высказывание Энгельса о соотношении базиса и надстройки, которое называет законом «продолжительных периодов»: «Чем дальше удаляется от экономической та область, которую мы исследуем, чем больше она приближается к чисто абстрактно-идеологической, тем больше будем мы находить в ее развитии случайностей, тем более зигзагообразной является ее кривая. Если Вы начертите среднюю ось кривой, то найдете, что чем длиннее изучаемый период, чем шире изучаемая область, тем более приближается эта ось к оси экономического развития, тем более параллельно ей она идет»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 39, стр. 176.

На конкретном анализе Г. делла Вольпе показывает действие этого закона в области искусства и культуры вообще.

Рассматривая достигнутый уровень философско-эстетических исследований, ученый поставил перед философией ряд кардинальных задач, решение которых он считал важнейшим делом своей жизни.

Во-первых, выявить исключительно сложный, тонкий и противоречивый процесс взаимодействия базиса и надстройки, социально-экономического базиса и конкретных форм культуры, в которых существует и развивается надстройка, поскольку культурная надстройка, к которой принадлежат поэзия и искусство, по справедливому мнению Г. делла Вольпе, не механически, а диалектически сливается с общественно-экономическим базисом.

Во-вторых, разработать историческую в самом широком смысле слова морфологию сознания, которая не только отражает сложную диалектику базисных процессов, но и в качестве идеологии в ходе взаимодействия с базисом способна как ускорить, так и замедлить его развитие, а иногда и коренным образом изменить его.

В-третьих, в связи с этим развить логико-исторический метод Маркса (конкретное — абстрактное — конкретное), известный под названием метода восхождения от абстрактного к конкретному, то есть применить этот метод к анализу взаимоотношений базиса и надстройки, общественно-исторического базиса и соответствующей морфологии сознания, находящей свое воплощение в различных современных философско-политических, морально-этических и эстетических концепциях.

Таким образом, решение эстетических проблем означало для Г. делла Вольпе одновременно суждение об исторической совокупности надстроечных институтов, означало целеустремленное преодоление метафизической изоляции различных типов и форм деятельности сознания. Эти научные изыскания итальянского философа-марксиста несомненно подчинены интересам международного коммунистического движения. Морфология сознания интересует Г. делла Вольпе потому, что генезис человеческого сознания позволяет выявить определенные закономерности его развития, определить степень и уровень самосознания тех или иных классов, слоев, социальных групп в историческом развитии общества.

Еще К. Маркс, Ф. Энгельс и В. И. Ленин

показали, что материалистическая диалектика является единственно научным методом, позволяющим воспроизвести реальную картину развития человеческого общества, всех форм его практической и теоретической жизнедеятельности, методом, с помощью которого только и возможно революционное преобразование действительности. Материалистическая диалектика в понимании ее основоположников есть одновременно теория познания и логика: «А диалектика, в понимании Маркса и согласно также Гегелю, включает в себя то, что ныне зовут теорией познания, гносеологией, которая должна рассматривать свой предмет равным образом исторически, изучая и обобщая происхождение и развитие познания, переход от незнания к познанию»<sup>2</sup>. В. И. Ленин не только подчеркивал исторический характер материалистической диалектики как логики и теории познания, но и наметил области, из которых и должна сложиться теория и история познания, история философии.

Величайшие мыслители прошлого Платон и Аристотель, Бэкон и Декарт, Спиноза и Вико, Кант и Гегель внесли огромный вклад в подготовку идейных, философских, теоретических предпосылок для создания «новой науки». Однако, как известно, только с возникновением соответствующих субъективных и объективных исторических условий такая наука — материалистическая диалектика — была создана Марксом, Энгельсом и Лениным.

Будучи мировоззрением пролетариата, самого революционного класса в истории, марксизм ввел в качестве решающего критерия познания материально-производственную практику. Это в корне изменило содержание и характер теории познания: отныне не действительность соизмерялась с абстрактными и вечными абсолютными истинами, а истины сверялись с действительностью в процессе революционной практики. Сама истина понимается как реальный исторический и диалектический процесс.

Марксизм явился революционным переворотом в философии кроме всего прочего еще потому, что он подверг критической переработке всю предшествующую культуру. Естественный и законный наследник всего лучшего, что было выработано человечеством за всю историю его существова-

ния, марксизм (и только он) оказался в состоянии дать самую радикальную критику извращенных форм сознания, имевших место на всех этапах развития человеческой мысли.

Совершенно ясно, что подобное критическое осмысление невозможно без исследования всего исторического процесса развития человеческого сознания и самосознания. Именно поэтому Г. делла Вольпе выдвигает в качестве основной методологической задачи разработку морфологии человеческого сознания на базе материалистической диалектики, логики и теории познания.

Установка философско-эстетической концепции Г. делла Вольпе на конкретно-исторический анализ обуславливается его резко отрицательным отношением к абстрактному пониманию и истолкованию явлений искусства в идеалистической философии и эстетике. Борьба с интуитивизмом буржуазной философии и эстетики — большая заслуга итальянского марксиста. Этим можно объяснить и его стремление вывести общие закономерности художественного отражения из анализа специфики отражения и выражения в каждом виде или жанре искусства, что дает ему возможность избежать как внешней фактографичности позитивистской интерпретации поэтического текста, так и насилия над поэтическим содержанием, насилия, столь характерного для гегельянско-кroeанской методологии.

Принципы конкретно-исторического рационалистического прочтения художественного текста Г. делла Вольпе вырабатывает в борьбе с плоским позитивизмом и идеализмом буржуазного искусствознания, разоблачая эпигонов постромантизма и декадентства, рассматривающих понятийный элемент как нечто внеэстетическое и эстетическое и художественное — как нечто находящееся вне логики, вне познания, то есть как нечто иррациональное.

Обосновывая гносеологическую функцию искусства, Г. делла Вольпе обращает внимание на полезность для практической деятельности того знания, которое несет в себе реалистическое искусство хотя бы и вопреки идеологической ориентации художника.

В «Критике вкуса», наиболее известной эстетической работе Г. делла Вольпе, автор рассматривает и основные ценностные критерии марксистско-ленинской эстетики, и основные категории эстетики и поэтики со-

<sup>2</sup> Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 26, стр. 54—55.

циалистического реализма. Итальянский марксист показывает историческую необходимость возникновения социалистического реализма, обосновывает его художественное своеобразие, поэтику, исходя из концептуального определения искусства и художественного процесса вообще. Основополагающий принцип искусства социалистического реализма — единство мировоззрения и творческого метода — предстает как исторически конкретная реализация общеэстетической закономерности живой связи общественного сознания и художественного мышления эпохи. Наличие в искусстве идей и историческая обусловленность любой идеи — эти посылки влекут за собой неизбежный, методологически выверенный результат. «В наше время практическим художественным идеалом, претворяемым в жизнь, может быть только социалистический реализм, за который мы имеем право, а не просто желание бороться», — пишет Г. делла Вольпе. Яркая защита искусства социалистического реализма — неоспоримая заслуга ученого. Знаменитое письмо Энгельса М. Гаркнесс и статья В. И. Ленина «Лев Толстой, как зеркало русской революции», где Г. делла Вольпе видит глубокие, принципиально важные для марксистско-ленинской эстетики суждения, являются для него источником идей и вдохновения при исследовании одного из главных положений материалистической эстетики — о зависимости художественного произведения от его историко-социальной почвы.

Основные черты эстетической концепции итальянского марксиста выявляются в полемике особенно непримиримой и яростной, когда его оппонентом оказывается главный противник — романтическая идеалистическая эстетика (или метафизическо-спиритуалистическая, как он ее называет) с ее установкой на рациональную непостижимость искусства.

Метафизическо-спиритуалистической традиции в понимании искусства Г. делла Вольпе противопоставляет конкретно-историческое, социологическое (в его терминологии) обоснование литературы и искусства и стремится покончить с «метаисторическим и метаэмпирическим небом и пространством Платона», с царством Идеала и Духа Гегеля, со всей сферой «теней и призраков», где поэтические и художественные ценности были гипостазированы эстетикой романтизма. Представления об особой, чуть ли не внеинтеллектуальной, во всяком

случае не рассудочной, природе художественного постижения и познания Г. делла Вольпе подвергает решительной и весьма убедительной критике. Он подчеркивает, что искусство нельзя исключить из общекультурного процесса, изолировать от других форм общественного сознания — науки, философии, морали и т. д., — от человеческой деятельности вообще, как этого хотели бы не только предшественники современной буржуазной эстетики, но и сегодняшние ее апологеты, подвергающие нападкам реализм в искусстве и тем более социалистический реализм.

Но, с другой стороны, Г. делла Вольпе считает для себя необходимым, развивая классические традиции марксистско-ленинской эстетики, умерить максимализм тех эстетиков, которые видят в художественной ценности произведений искусства только прогрессивность отраженных в них идей. Взгляды подобного рода согласно Г. делла Вольпе — реминисценция гегельянства, результат влияния гегелевского положения о проявлении «Идеи» в форме искусства. Эти взгляды, подчеркивает Г. делла Вольпе, грешат антиисторизмом и вопреки лучшим намерениям их авторов глубоко противоречат основам строго научной марксистско-ленинской эстетики.

Таким образом, понятие поэтической правдивости, как формулирует Г. делла Вольпе, — это конкретно-историческая, социологическая истина, обязывающая нас при восприятии и оценке искусства отчетливо представлять себе историческую атмосферу, социально-экономическую реальность, которая его породила, всю совокупность научного и философского знания, идеологических и социальных институтов, то есть конкретно-историческую диалектику базиса и надстройки, вне которой произведение искусства невозможно ни правильно воспринять, ни справедливо оценить.

Столь внимательный подход Г. делла Вольпе к основам историко-материалистической марксистско-ленинской эстетики предполагает тщательно выверенную методологию. И он обогащает эстетические исследования самым надежным научным инструментарием, воспользовавшись при этом достижениями лингвистики, семантики, семиотики и т. д. Г. делла Вольпе прямо ставит вопрос об иерархии методов исследования, о координации во имя целей конкретного эстетического исследования усилий логики и историографии, филологии, этики и

лингвистики, чтобы произведение искусства в результате его теоретической реконструкции могло предстать во всей человеческой целостности, полноте и красоте. При этом особые надежды он возлагает на изучение семантического аспекта поэзии, стремясь восполнить пробелы, сложившиеся в понимании логической, гносеологической стороны процесса возникновения художественных представлений на социально-экономической основе, пробелы, которые, как известно, в разное время и по-разному пытались восполнить Плеханов, Меринг и Лукач.

Основную цель одной из своих последних и главных философско-эстетических работ — «Критики вкуса» Г. делла Вольпе видел в попытке систематического изложения и построения историко-материалистической эстетики, в социологическом анализе поэзии и искусства. Для этого нужно было прежде всего дать радикальную критику романтической и идеалистической эстетики.

Г. делла Вольпе критикует те концепции поэтического образа, согласно которым художественный образ понимается как символ или проводник истины, стоящий вне зависимости от интеллекта или идей, объявленных «заклятыми врагами» поэзии и искусства вообще. Буржуазно-религиозную спиритуалистическую позицию, когда образу приписывается космический, универсальный познавательный характер, Г. делла Вольпе считает тупиком поэзии и искусства, поскольку она отрывает образ от идей и понятий, чувственное от логического, рационального. Г. делла Вольпе утверждает неразрывное единство идеи и образа. Он говорит, что художественные образы следует рассматривать в единстве с понятиями, и даже вводит специальный термин «образ-понятие».

Философско-эстетическое наследие Г. делла Вольпе характеризуется антикромечанской направленностью. Кроче в своих работах проводил мысль о необходимости отказа от множественности жанров в искусстве и, следовательно, отрицал теоретическое значение своеобразия каждого вида и жанра. Г. делла Вольпе опирался на конкретно-исторический анализ, соединенный с современными «точными» лингвистическими и семантическими методами исследования, а также конкретными исследованиями в различных видах искусства (особенно в области кино) с целью обобщения многообразных аспектов художественного выражения. Думается, что интерес Г. делла

Вольпе к неомпирическим течениям и семантическим школам, сводящим традиционную философско-эстетическую проблематику к простой «технической речи» об искусстве, объясняется отчасти пафосом защиты от кромечанства живой, целостной природы искусства как познавательно-практической человеческой деятельности.

При этом, как и в других своих работах, Г. делла Вольпе органически связывает рациональность с социальностью, то есть вскрывает имманентно социальный характер мышления как такового, социальную природу человеческого познания вообще. Это позволяет ему избежать ограниченности вульгарно-социологического подхода, показать подлинно социальную природу художественного творчества и художественного произведения и, следовательно, обосновать плодотворность применения историко-материалистического или диалектико-материалистического метода к анализу собственно поэтических, художественных ценностей. Нет таких аспектов содержания произведений литературы и искусства, которые прямо или косвенно не относились бы к действительности, к опыту, к практике, к истории. Вот почему рассмотрение художественной ценности произведений искусства, анализ их структуры на любом смысловом уровне являются одновременно постижением их исторической, общественной обусловленности (сама их структура выполняет гносеологическую функцию), ибо, как замечает Г. делла Вольпе, в истинно большой поэзии поэзия и история всегда нераздельны, или, как говорил Гёте, самая высокая лиричность решительно исторична.

На конкретном анализе произведений литературы и искусства античности, средневековья, нового времени, современности Г. делла Вольпе, пытаясь обосновать свою позицию, намечает пути создания исторической морфологии сознания, в частности морфологии художественно-эстетического сознания.

Если Кроче упрекал Гегеля в том, что тот неправоммерно приписывал поэзии философские задачи, то Г. делла Вольпе критикует Кроче и его последователей за то, что они не учитывают религиозно-этических понятий древних греков, без которых греческая поэзия утрачивает всякую поэтичность. Ошибку же Гегеля он видит не в постановке нравственных и философских проблем поэзии, а в том, что немецкий философ смешивал античные проблемы с совре-

менными. А гегелевский анализ «Антигоны», по мнению Г. делла Вольпе, и сейчас остается образцовым.

В свою очередь, обстоятельный анализ «Антигоны» Софокла позволил Г. делла Вольпе доказать, что историческая, социальная природа искусства должна входить и входит органически в своеобразное наслаждение, доставляемое подлинным произведением.

Г. делла Вольпе пишет, например, что хотя поэмы Гомера и почитались за исторические документы, собственно эстетическая их ценность оставалась в стороне, поскольку исследователи не принимали во внимание религиозно-психологическую основу переживания мифа самим человеком древности: поэтическая структура произведений Гомера основана на сакральных представлениях вины и возмездия — Гибрикса и Немезиды. А без этого нельзя понять глубинного социально-исторического смысла этих произведений, следовательно, нельзя в полную меру оценить и их художественные достоинства.

Философ подвергает резкой критике не только эстетствующую спиритуалистическую интерпретацию искусства, дающую извращенную картину сложных взаимоотношений искусства и общества, художественных произведений и отражающихся в них социально-экономических отношений, но и различные позитивистские концепции, выдвинутые в виде альтернативы идеализму, спиритуализму и метафизике. Он убедительно показывает, что позитивизм не может быть альтернативой идеалистической спиритуалистической интерпретации, поскольку сам является лишь одной из разновидностей идеализма.

Историческая, социальная природа произведения искусства — органическая часть своеобразного наслаждения, которое доставляет современникам то или иное литературное, поэтическое произведение прошлого. Это наслаждение относится к самой сущности произведения искусства. Именно это конкретно-рациональное ядро и заключает в себе согласно Г. делла Вольпе так называемую жизненность произведения искусства, то есть осмысление художником определенного общества и его идеологии. Подлинное понимание художественного произведения невозможно без выявления в нем органического присутствия исторической почвы. А условием постижения этого пафоса, то есть исторического своеобразия

социально-культурной почвы, является понимание языка художественного произведения.

Прежде чем исследовать индивидуальный, или личный, язык поэта, Г. делла Вольпе устанавливает значение и исторический смысл языка культуры и общества «эпохи Гёте»: это язык натуралистического и светского гуманизма, точнее, гуманизма пантеистического, развивавшегося из свободолобного и беспокойного гуманизма периода «Бури и натиска». Чтобы проникнуть в поэзию «Фауста», необходимо учитывать «строгое и умелое использование Гёте этой идеалистическо-светской культуры и ее языка». В противоположность Данте у Гёте нравственно-богословские и религиозные понятия и обороты выступают лишь как метафоры, как образы собственных ценностей реального мира, мирской жизни. Анализируя гётевского «Фауста», Г. делла Вольпе доказывает, что «великий интеллектуальный опыт Фауста — это опыт Древней Греции и ее мифов». Метафорический символизм этого произведения не был понят в полной мере ни одним из критиков (Фишер, Риккерт, Бем, Корф). Художественная выразительность символизма «Фауста» выявляет всю значимость «светского содержания», неотделимого от формы произведения. Историческую проблематику нельзя свести ни к форме, ни просто к художественным достоинствам. Заслуга искусства состоит именно в том, что оно поставило проблему. Для искусства первостепенное значение имеет сама история, получающая преломление в экономике, политике, морали, науке и искусстве — словом, во всех формах общественного сознания. На анализе «Фауста» Г. делла Вольпе убедительно показывает, что в истинно великой поэзии история и поэзия неразделимы.

Исследователь оценивает и новейшую поэзию, так же как и классическую, в зависимости от наличия в ней реальных проблем современности. В новейшей поэзии выдающиеся поэты — это те, которые лучше и глубже других понимают и отражают в своем творчестве жизнь современного общества с его коллизиями, противоречиями, борьбой классов, идей, мировоззрений, вкусов, идеалов. Такими великими поэтами философ считает Элиота, Маяковского, Брехта в противоположность Йитсу, Валери, Рильке, творчество которых считает незначительным и малоинтересным, по-

скольку у них «чувство прошлого берет верх над чувством настоящего» и они повторяют в своем изложении вековые мифы и «образцовые банальности» о любви, смерти, вечности, природе, искусстве и т. д., не выходя за пределы традиционных культурных образцов постромантического и декадентского, символистского поэтического опыта.

Г. делла Вольпе восхищается поэзией нового, нарождающегося и развивающегося социалистического мира, стихами талантливейшего поэта революции Владимира Маяковского: «Мир возрождается с Владимиром Маяковским, поэтом Октябрьской социалистической революции». Характерной чертой творчества Маяковского он считает оптимизм нового, социалистического гуманизма.

Он отмечает, что поэтические мотивы в манере Уитмена — скажем, чувство современной техники и воспеание человеческого труда — приобретают у Маяковского иную, более широкую значимость. «Это — дух солидарности социалистического соревнования, который наделяет человека огромной силой, включая его в общественное производство, подчиняющее его лишь для того, чтобы обеспечить плоды труда, физического или умственного, в рамках всего общества». Маяковский наделяет человека огромной силой, рассматривая его в сфере общественного производства в противоположность типичной для Фауста ситуации — буржуазной конкуренции и разделению труда, когда гений одного человека, «одной души», противопоставляется «тысяче рук». Господство человека над природой, поэтически воспеваемое Фаустом-буржуа, как поэтический мотив совершенно по-новому звучит у поэта социалистического реализма — Маяковского.

Г. делла Вольпе вскрывает новаторскую, революционную сущность искусства социалистического реализма как искусства тенденционного, партийного, борющегося и побеждающего, искусства, вобравшего в себя достижения предшествующей культуры, искусства оптимистического мировоззрения, высокой нравственности, гражданской ответственности, социального пафоса. Он видит силу поэзии Маяковского в гениальном использовании метафорических образов для типизации завоеваний социалистического общества, его идеалов, институтов и решающих событий. Вот почему, пишет Г. делла Вольпе, «нас также не должен удивлять

тенденционный характер, вытекающий, таким образом, из его поэзии (согласно его собственной поэтике, которая говорит, что «поэзия начинается там, где есть тенденция»), потому что таковым является характер, который констатирует социалистический реализм этой поэзии: то есть рассуждающий или оценивающий реализм борца за общественное дело, за социализм и коммунизм. Поэтому новейший пиндаризм, целиком основанный на лексическом материале, выражающий историческую технику, часто даже по технике несколько не уступает языку Пиндара, Данте, Гёте».

Конкретно-исторический анализ языка или формы литературных произведений в тесной связи с «историческим пафосом», с культурно-историческим контекстом позволил Г. делла Вольпе выявить определенные связи или закономерности в понимании и истолковании на разных этапах истории произведений различных эпох, определенную общность и генезис их проблематики и содержания и одновременно установить их специфику.

Анализ современной поэзии, и особенно поэзии Элиота, Маяковского и Брехта, свидетельствует о силе и глубине диалектико-материалистической методологии, которая позволяет ученому проникнуть в тайны художественного творчества поэта, писателя, художника, определить конкретно-исторический смысл, сущность и содержание художественных произведений, дать наиболее объективную, научную оценку художественных достоинств произведения посредством выявления взаимодействия его структуры (со всеми ее аспектами и функциями) с социально-экономическим базисом и установить тем самым его подлинно исторический смысл и значение. В раскрытии этих преимуществ диалектико-материалистической методологии на конкретном анализе произведений искусства одна из важнейших заслуг Г. делла Вольпе.

Критический пафос итальянского марксиста направлен против любых проявлений идеалистического понимания существа поэтического и художественного творчества вообще. Однако Г. делла Вольпе не всегда удается выдержать принцип конкретно-исторического осмысления художественных явлений, о чем свидетельствует его полемика с историческим предтечей — выдающимся мыслителем XVIII века Джамбаттистой Вико, влияние идей которого испытала на себе итальянская эстетическая мысль

XIX—XX веков. К сожалению, Г. делла Вольпе недостаточно оценивает и раскрывает то позитивное, что есть у Вико и что оказало определенное влияние на его собственную философско-эстетическую концепцию. Речь идет о тех идеях, которые высоко оценивал Маркс<sup>3</sup>.

Вико выдвинул идею об объединении философии, истории, поэзии, права и языкознания в единую науку, исследующую все, что зависит от человеческой воли,— историю языков, нравов, события. Философия, овладевшая критическим искусством, должна обратиться к исследованию филологии, сообщить ей форму науки и дать ей схему «вечной идеальной истории», согласно которой истории всех наций протекают во времени. Создание такой науки в форме, предложенной Вико, было тогда неосуществимым делом, но сама идея подобной синтетической науки, носящей исторический характер и опирающейся на реальные факты, события и т. п., была очень ценной и плодотворной, ее отголоски явно усматриваются и в методологической концепции Г. делла Вольпе.

В ходе своей критики романтично-идеалистического понимания соотношения формы и содержания в искусстве Г. делла Вольпе приходит к важному выводу: «Есть «поэтическая речь», как есть речь историческая и научная и т. д., и термин «речь» следует понимать в буквальном смысле — рационально-интеллектуально — так же в случае поэзии, как и во всех других случаях. Выражаясь иначе и более точно, мы должны признать, что поэзия и искусство вообще есть разум (конкретный), как история или наука, и что в этом она не отличается совершенно от истории и науки вообще: то есть не отличается в познавательных, гносеологических, общих элементах; чувственность (фантазия и проч.) и разум составляют единое целое... Следовательно, поэт, чтобы быть поэтом, то есть чтобы придать своим образам форму... должен мыслить и рассуждать в буквальном смысле этого слова и, следовательно, считаться с истиной и реальностью вещей («правдоподобием» как основным художественным элементом, открытым Аристоте-

лем), разумеется, не меньше, чем историк или ученый вообще. Как поэт, он должен считаться с идеологией, событиями и с опытом вообще (также «историческим»), если даже он и пытается, согласно своему намерению, абстрагироваться от идеологии и событий... Это и есть сложная диалектика (реальная) поэтического произведения как такового... она неизбежно вытекает из того факта, что поэтическое произведение является речью в не меньшей степени, чем историческая или научная речь вообще».

Итальянский марксист стремится научно обосновать верную, но туманную догадку Гумбольдта о взаимосвязи идеи или мысли и речи, взаимообусловленности языка и речи: «...взаимозависимость мысли и речи конкретно выражается как взаимозависимость речи и языка».

Чтобы избавиться от ненаучного, идеалистического, иррационалистического подхода к истолкованию произведений литературы и искусства, Г. делла Вольпе пытается соединить материалистическую диалектику с достижениями лингвистики, семантики, семиотики и создать своеобразную «семантическую диалектику».

Основной пробел романтичного и идеалистического языкознания, не замеченный традиционной идеалистической эстетикой и со всей очевидностью выявленный новейшей лингвистикой, Г. делла Вольпе видит в подчеркнуто одностороннем и абстрактном сведении сложной естественной речевой деятельности к субъективному акту говорящего, в то время как язык является единой объективной системой вербальных знаков, реальным общественно-историческим институтом.

Опираясь на исследования Ф. Соссюра и принимая его положение о том, что естественная речевая деятельность имеет индивидуальную сторону — речь и социальную сторону — язык, Г. делла Вольпе подчеркивает диалектику языка и речи. Справедливо принимая и другое важное положение Соссюра о том, что языковой знак связывает не вещь и имя, а понятие и звуковой образ, и соответствующее обозначение «понятия» как «означающего», а «звукового образа» как «означающего», Г. делла Вольпе, к сожалению, принимает и ошибочный соссюровский принцип произвольности знака, повторяя механически вслед за Соссюром, что этот принцип является «первым принципом» языкознания как науки. На-

<sup>3</sup> «У Вико содержатся в зародыше Вольф («Гомер»), Нибур («История римских царей»), основы сравнительного языкознания (хотя и в фантастическом виде) и вообще немало проблесков гениальности» (Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения, т. 30, стр. 512).

сколько Г. делла Вольпе некритически воспринимает рассуждения Соссюра, свидетельствует его оговорка о том, что термины «произвольный» и «произвольность» не должны создавать у нас впечатление, будто означающее зависит от свободного выбора говорящего субъекта, так как-де индивид не властен вносить ни малейшего изменения в язык, принятый в определенной социальной группе.

Г. делла Вольпе идет дальше, напоминая, что языковой знак, характеризующийся «бестелесностью», двуплановостью, функциональностью и произвольностью, является к тому же случайным в силу своей условности. Нетрудно видеть, что это положение противоречит плодотворному утверждению самого философа о глубокой диалектике мысли и речи, речи и языка, отражающих в конечном счете объективную реальность.

Исследование семантического аспекта языка науки и поэзии привело Г. делла Вольпе к определению терминов научной речи как однозначных, а языка поэтической речи как многозначного, или полисемного. Он определяет поэзию как «характерную полисемную типичность в противоположность науке вообще или прозе, которые являются характерной однозначной типичностью». Но что может дать подобное «семантическое» определение поэзии и науки? Достаточно ли оно для того, чтобы установить то общее, что роднит поэзию и науку, и одновременно сохранить столь важную для каждой из этих областей специфику?

Использование семантики позволило Г. делла Вольпе дать убедительную критику широко распространенного различия поэзии и науки, искусства и науки, основанного на абстрактном противопоставлении разума и восприимчивости, всеобщего и особенного, абстрактного и конкретного и т. д. Философ убедительно показывает, что невозможно оспаривать принадлежность поэзии (и искусства вообще) к области разума так же, как и науки, ибо и в том и в другом в равной степени проявляются и рассудок и эмоции. Даже сама «абстрактность» точных наук неотделима от основного интуитивного чувства «свойств» мира или постоянного контакта с ним, и наоборот — «конкретность» поэзии неотделима от типичности или определенной абстрактности, на что уже указывает речевая деятельность. Но при этом не следует забывать, что речевая деятельность, будучи

преимущественно системой, регулирующей значения, и вместе с тем интеллектуальным средством коммуникации, «не впечатлительна», «не импрессионистична».

Семантическая диалектика, по мнению Г. делла Вольпе, позволяет объяснить и оправдать объективный и, возможно, исторический пафос поэзии. Вот его аргументация: 1) согласно постулату диалектического тождества мысли и языка доказывается принадлежность поэзии к мысли вообще как единство — речевое, а не мистическое — многообразия; 2) отсюда следует семантическая возможность обращения исторической (научной) мысли в поэзию, или однозначной мысли в мысль многозначную, и наоборот; 3) в таком обращении поэтическое переосмысление (то есть многозначность) значений, особенно исторических, сохраняет и одновременно изменяет эти значения: однозначные исторические значения переходят благодаря утонченно-лингвистическому посреднику в органически-контекстуальные, поэтические значения; 4) следовательно, обращение исторической (однозначной) мысли в мысль поэтическую, и наоборот, отнюдь не ставит под сомнение и не нарушает их взаимной независимости и семантического, а не метафизического отличия.

Так ли это? Столь ли уж безупречна его аргументация, чтобы можно было принять ее без обиняков? Или здесь можно кое-что (хотя бы универсальность и всесилие семантического критерия) поставить под сомнение?

Когда Г. делла Вольпе направляет свою «семантическую диалектику» против идеалистического мышления, подчеркивая, что необходимо привыкать к гносеологическому бременю знака вообще, ибо только в этом случае можно строго научно (разумеется, на диалектико-материалистической основе) объяснить динамику и разнообразие осмысления реальности и отличать поэтическую метафору от исторического факта или от физического или философского принципа, не теряя из виду того, что их объединяет, то он, безусловно, прав.

Научный анализ поэтического или литературного произведения с необходимостью ставит вопрос о его принадлежности к определенной надстройке и, следовательно, в различных аспектах его отношения к общественно-экономической базису.

Г. делла Вольпе настаивает на том, что только сложная семантическая материали-



стическая диалектика может объяснить нам и дать вразумительный ответ на вопрос, почему поэзия является составной частью истории, а семантическая и культурная субстанции определенного общества проявляются как историческая почва поэтического произведения, из которой оно возникает.

Опираясь на положение Энгельса о том, что средняя ось культурно-исторической кривой определенной идеологической или надстроечной области (например, художественной области) тем более приближается к оси исторической кривой экономического материального развития, чем длиннее изучаемый исторический период и чем шире изучаемая идеологическая область, Г. делла Вольпе подчеркивает, что определенные системы идей, культура в подлинном смысле этого слова, схватывают обычно — в своем универсализме — продолжительные исторические периоды, в рамках которых соответствующие типы экономических факторов могут развиваться в своих особых чертах параллельно культурным или надстроечным факторам. Ученому больше всего импонирует анализ, основанный на парафразе поэтических текстов, который может избежать как «содержательничества», так и формализма.

Он постоянно подчеркивает, что альтернатива «художественное» или «логическое» теоретически порочна, практически и методологически бессильна; семантическая диалектика коренным образом отличается от диалектики Идеи, Духа или Существа. Он полагает, что только семантическая диалектика позволяет понять, что «поэтическая истина есть вместе с тем глубоко социологическая истина и, следовательно, всегда реалистическая: или, что то же самое, правдоподобие».

Г. делла Вольпе убежден, что эта формула раскрывает большие перспективы перед реалистической эстетикой, ибо если без идей нет поэзии, то, признав право на поэтическое воплощение за господствующими идеями нашего времени, социалистическими идеями, можно и должно бороться за это право, сформулировав, например, четкое понятие декадентской поэзии, которую следует отличать от революционной, демократической современной поэзии. Он уверен, что этот критерий исключит игнорирование в поэзии наших дней определенного уровня художественного совершенства и что с помощью этого критерия можно будет воздать должное любой поэзии. Но можно ли согла-

ситься с философом, который, пользуясь этим критерием, утверждает, что поэзия Элиота «более поэтична и исторична», чем «мистическая, схематичная, менее сложная и менее значимая», следовательно, и менее «поэтичная» поэзия Рильке, хотя очевидно, что «Элиот — не Маяковский»? Поэтические идеи Элиота — отголосок идей, весна которых уже давно миновала. Бесспорно высказывание ученого, что Элиот не Маяковский, но не слишком ли этого мало для столь универсального критерия и для метода «семантической диалектики»?

Г. делла Вольпе характеризует свой метод философской теории литературы как метод гносеологического анализа литературного произведения, как синтетически-аналитический метод, как метод исторического синтеза, обусловленный самим характером теоретических положений или исходных посылок. Исследователь неизбежно должен иметь критическо-ретроспективное мнение о ранее существовавших эстетико-философских взглядах, чтобы установить их значение для предполагаемого решения современных проблем. Этот метод характеризуется также разнообразными и сложными средствами последовательного изучения, начиная с гносеологических и лингвистических и кончая литературными, общественно-историографическими и т. д. Таким образом, говорит ученый, это научно-диалектический метод историко-материалистической теории поэзии и искусства вообще.

Г. делла Вольпе настаивает на том, что литература и искусство, как и другие формы общественного сознания, отражают различные идеологические взгляды и их социально-экономическую основу сознательно. При этом он критикует утопическую концепцию философа Морриса, так называемую поэтику «ремесленничества», основанную на прошлом, на ностальгии средневековья. Г. делла Вольпе пишет, что мы не должны терять контакта с действительностью нашего времени — экономической, общественной, культурной — и искать убежища в действительности, отраженной в формах изношенной, пришедшей в упадок культуры прошлого, а также в формах буржуазной эстетической культуры с ее метафизическими, романтическими, идеалистическими, феноменологическими и прочими «решениями». Только научный — историко-материалистический — подход к общественным вопросам и вопросам культуры может помочь нам избежать различного рода ме-

тафизических ошибок и заблуждений. Вот это постоянное сознательное подчеркивание значения историко-материалистического подхода в решении социальных проблем и проблем культуры составляет одну из заслуг итальянского философа-марксиста.

«Критика вкуса» положила начало гносеологическому использованию языкознания в поэтике в рамках философской эстетики.

Г. делла Вольпе полемизирует с известным структуралистом Р. Бартом, который полагает, что марксизму удалось установить отношение общественной истории к идеологическому (литературному или риторическому) содержанию, что он, марксизм, даже разделяет определенную «идею формы», данную в виде «жанра» (романа, эпоса, традиции). Однако литературный язык, по мнению Барта, остается для марксизма еще загадкой.

Справедливо возражая Барту, Г. делла Вольпе замечает, что не было никакого смысла прибегать к современному языкознанию, чтобы отдать дань риторике с ее «жанрами», схемами типов и т. д. Лингвистика Соссюра и глоссематика Ельмсльева, давая научную теорию лингвистического знака, как бы определяет основной материал для построения литературного или поэтического произведения, наполняя его гносеологическим смыслом. Это позволяет выявить абстрактное и конкретное отношение к лингвистической системе литературного выражения значений, мыслей, ценностей, форм и проч., в чем, собственно, и состоит согласно Г. делла Вольпе «загадка поэзии».

Поэтические тексты, которые могут быть воспроизведены, содержат больше, чем только «литературную идеологию», то есть поэтику и риторiku определенного общества; они содержат или выражают ту или иную нравственную, политическую, общественную, классовую и т. д. идеологию именно в силу того, что поэтические значения или мысли, представляющие их основу, выступают в качестве особых приемов мысли, соответствующих отражению идеалов определенной эпохи, отражению, фокусом которого могут быть отдельные произведения (например, «Кавказский меловой крул» Брехта или его же стихотворение «К потомкам»).

Согласно Г. делла Вольпе лишь диалектическая парафраза может быть подходящим критерием функциональной литературной оценки, парафраза, отвергающая как наследие эстетствующей критики или поэ-

зии «неизреченного изречения», так и какую бы то ни было структуралистскую теорию, пытающуюся свести задачу литературного критика к задаче лингвиста.

Таким образом, проблему отношения между различными художественными языками и обществом, или надстройкой, Г. делла Вольпе пытается решить на основе соединения историко-материалистического метода с конкретными методами исследования (лингвистикой).

Применим ли гносеологический критерий органической семантической контекстуальности, предложенный Г. делла Вольпе, также и к нелитературным, невербальным произведениям живописи, скульптуры, архитектуры, музыки, кинематографа для установления и оценки их художественности? Сам философ отвечает на этот вопрос утвердительно, хотя понимает и представляет себе трудности такого применения. Ведь даже в вербальном знаке, в слове, являющемся наиболее «естественным» знаком, не так легко найти и вычлениить художественную идею. Разумеется, это еще труднее сделать в других видах искусства. Кроме того, следует учитывать, что мысль-цель вынуждена в этих видах искусства соразмеряться со специфической природой и относителными возможностями знака-средства, семантическая органичность которого должна быть нормой художественно-экспрессивного совершенства мысли. В связи с этим необходимо в самом полном смысле понимать диалектическое тождество мысли и речевой деятельности.

Семантический критерий, по мнению ученого, является не общим и внешним, а специфическим критерием различных видов искусства, следовательно, их внутренним принципом или нормой.

Рассматривая живопись, Г. делла Вольпе замечает, что без осознания ее художественного языка и его исторической обусловленности невозможно оценить с точки зрения научной эстетики ни одного произведения живописи, насколько бы оригинальным, гениальным и «неповторимым» оно ни было. Так, например, невозможна адекватная эстетическая оценка полотен Сезанна, если предварительно не уяснено отличие его семантических средств и средств, скажем, Пьеро делла Франчески или Моне.

Что касается скульптуры, то здесь, по мнению философа, решающим фактором художественности или отсутствия таковой является наличие или отсутствие органиче-

ского семантического контекста, а следовательно, семантически самостоятельного символа, мысли, ценности.

В архитектуре эстетический критерий целостной семантической контекстуальности усиливает структуру самого архитектурного знака. Поскольку этот знак не является таким условным, как языковой, то следует отличать органический семантический контекст, то есть самостоятельную семантически, а следовательно, художественную мысль, от неорганического контекста, то есть семантически разнородной и нехудожественной мысли. Другими словами, следует отличать архитектурное произведение от просто тектонического или инженерного строения.

К музыке критерий целостной семантической контекстуальности кажется почти неприменимым. Однако, как подчеркивает Г. делла Вольпе, отказ от строгой семантической постановки музыкальной проблемы равносителен отрицанию любого экспрессивного изображения в музыке, следовательно, ее человеческого и рационального характера, и ограничению гедонистическим отношением, наслаждением игрой, чистыми «звучковыми формами в движении».

Музыкальная идея действительно, говорит Г. делла Вольпе, состоит из неизреченного, но не в мистическом смысле, а в смысле непередаваемости на слова, то есть она не передаваема другими средствами, кроме музыкальных. Музыкальный смысл, или означаемое, отождествляется с неизреченным богатством мыслей, музыкальной идеей, и как таковая она принадлежит культуре и человеческому миру даже в большей степени, чем наслаждение. Музыкальная идея, музыкальная мысль не охватывается просто наслаждением, как мысль не может быть просто «игрой мыслей». Следовательно, «загадку музыки» решает правильно только тот, кто ее правильно исполняет.

Еще более недопустимым считает Г. делла Вольпе огульное включение искусства в надстройку, когда, например, ставятся в один ряд литературные социальные идеи и «социальные» музыкальные идеи, в то время как между ними необходимо проводить ясное различие, по-разному помещая в надстройку определенное искусство в зависимости от разных художественных жанров и соответствующей семантической техники. В этом случае историческая социальная обусловленность литературного произведения (например, «Фауста») проявится,

скажем, в буржуазных идеях главного героя, а историческая обусловленность музыкального произведения (например, Третьей, или «Героической», симфонии Бетховена) выразится в его музыкальных идеях, неразрывно связанных с романтической музыкальной грамматикой. Поэтому включение художественных идей в надстройку обусловлено одновременно функциональностью и историчностью экспрессивного знака вообще и специфическим отличием одного знака от другого. Это равносильно тому, что указанное включение представляет собой особый случай диалектики средства-семы и цели-идеи, которая охватывает все аспекты культуры как надстройки. В связи с этим Г. делла Вольпе говорит о мирном сосуществовании видов искусства при полном их равноправии.

Г. делла Вольпе справедливо упрекает поэтику русских формалистов в комплексе ошибок, односторонности и поверхностности. Итальянский философ и эстетик считает, что их труд был в общей сложности стимулирующим в области художественной формы, в области поэтики. Кроме того, нельзя не принимать во внимание позитивность двойственной исторической полемической функции русского формализма, а также его искреннего интереса — всегда достойного похвалы — к «специфике» литературного факта, интереса, который, впрочем, не спасает формализм от заблуждений.

Как случилось, однако, что семантическое (лингвистическое, поясняет в скобках Г. делла Вольпе, и это не оговорка, как мы увидим далее) изучение искусства оказалось для исследователя-марксиста решающим? Опираясь на высказывание Маркса о том, что «язык есть непосредственная действительность мысли», философ утверждает, что и Маркс и Энгельс якобы косвенно ощущали необходимость именно такой методологической позиции. Так ли это? Не внушена ли эта aberrация соблазнительным для всякой гуманитарной науки успешным опытом современной лингвистики, которая действительно сумела обрести строго научную форму? Или, может быть, идеей всеохватывающего изучения, которое как бы фокусируется в филологическом, текстовом, этимологическом подходе, осуществляемом с помощью этимологического семантического ключа, будто бы подсказанного и навеянного современности гениальным предтечей, с которым Г. делла Вольпе продолжает спор, — Дж. Вико? Вспомним,

как мыслит Вико «новую науку»: «Философия посредством Нового Критического Искусства, не существовавшего до сих пор... обращается в настоящем Произведении к испытанию Филологии, т. е. Учения обо всем том, что зависит от человеческой воли: таковы все Истории Языков, Нравов, Событий как мира, так и войны народов»<sup>4</sup>.

Сходство явное, даже если учесть, что более исторически близкие предшественники Г. делла Вольпе — итальянские романтики, подготовившие переход к реализму, развивали эстетику в форме литературной критики (таковы Фосколо, де Санктис и другие). Но сходство «Критики вкуса» и «новой науки» — это сходство чисто внешней установки на лингвистику. Если Вико предвещает успехи сравнительного языкознания, опережая науку своего времени, то Г. делла Вольпе весьма неудачно идентифицирует лингвистические и эстетические явления, механически пользуясь «семантическим ключом». Сам по себе структурно-семантический анализ в качестве вспомогательного инструмента исследования вполне приемлем. Однако просчет итальянского философа заключается в ошибочной экстраполяции положений лингвистики на искусство. Видимо, тут сыграло роль буквальное понимание семиотической терминологии: «язык», «речь», «знак» и т. д. А то обстоятельство, что закономерности естественных языков нисколько не объясняют специфику языка искусства, хотя его и можно описать в терминах семиотики, Г. делла Вольпе не понял. Казалось бы, едва заметный методологический сдвиг, ошибка в применении частного метода. А в результате нешуточное заблуждение относительно специфики искусства, недостоверная классификация его видов, натяжки в аргументации, проигранные полемические бои. И урок, который предстоит нам отсюда извлечь, в том и состоит, что творчески развивать марксизм возможно лишь во всеоружии современного научного познания. Изучение наследия талантливого ученого-марксиста, озабоченного актуальнейшими вопросами марксистско-ленинской эстетики, представляет для нас далеко не академический интерес. Составляя первое (1964) и второе (1966) издания «Критики вкуса», мы видим, что **«лингвистическая инструментовка»** поэтики,

инструментовка, которую Г. делла Вольпе считает своим большим достижением, на самом деле наносит его концепции заметный урон.

Г. делла Вольпе тщательно изучил Соссюра и Ельмслева, он заново открывает для себя аксиоматику современной лингвистики и переносит принцип произвольности знака, его конвенциональности на поэзию и литературу вообще, полагая, что для знака поэтического языка, так же как и для лингвистического, его собственная структура безразлична. Это заблуждение не только ведет к частным промахам, но и порождает фантастическую конструкцию — некий новый «Лаокоон». Классификация искусства строится в зависимости от структурной характеристики знака, который в музыке, живописи, архитектуре, скульптуре не является условным, как в языке и поэзии (!). Собственная структура этих искусств значима, весома, и Г. делла Вольпе даже наблюдает градации в «усилении» структуры знака архитектуры, например, в сравнении с музыкой. Критерий целостной семантической, органически-семантической контекстуальности (художественная мысль как бы «плечена» контекстом произведения искусства) в применении ко всем искусствам, кроме поэзии, дает возможность философу и эстетике правильно поставить вопрос о непереводаемости содержания художественного произведения с языка одного искусства на другой — каждое на свой лад решает эстетические задачи эпохи, занимая самостоятельное место в надстройке.

Но пренебрежение спецификой знака поэтического языка мстит многочисленными неувязками и натяжками, от которых Г. делла Вольпе так и не удается отделаться при анализе произведений литературы и поэзии. Так, выясняется, что поскольку знак значению безразличен, то поэтический перевод предпочтительнее давать как подстрочник. И не только из бережного отношения к трудноуловимым оттенкам смысла, не потому, что звуковая форма стиха «случайна», безразлична к содержанию. Показателен спор Г. делла Вольпе с Бремоном по поводу стихотворения Малерба. «Гонимая за миражем музыки анапестов», этот поборник «чистой поэзии» выказывает свое пренебрежение к мысли в поэзии. Но Г. делла Вольпе, в свою очередь, проявляет удивительную глухоту к неоспоримой составляющей поэтической ценности — звуковой стихии, полагая, что

<sup>4</sup> В и к о. Основания новой науки об общей природе наций. Л. Государственное издательство «Художественная литература». 1940, стр. 6—7.

эстетическая ценность стиха зиждется единственно на логической безупречности понятия — проводника метафор. Гальвано делла Вольпе чужд пониманию специфики звучания стиха. Вся аргументация, ниспровергающая «эстетический миф» о «звукообразе», ведется с оглядкой на лингвистику; «чувственному растрачиванию конкретно-рациональной строгости поэзии в импрессионистической критике» Г. делла Вольпе противопоставляет узкорационалистическую трактовку стиха как «типичной многозначности», своеобразной смысловой разработки и чуждой звуковому оформлению или, во всяком случае, безразличной к нему, так же как содержание речи безразлично к фонетическому плану языка.

Музыкальное толкование поэзии, по его мнению, неуместно и изжило себя как проявление гедонизма. Г. делла Вольпе анализирует мелодию стиха и приходит к выводу, что эта самая музыка, лучше всего ощущаемая в скандированном произнесении, находится даже как бы в противоречии с вербальной фразой. О том, что эквивалентом музыкальной фразы в стихе является не размер сам по себе, а ритмико-синтаксические интонационные единицы, он и не подозревает.

Так представление о специфике поэзии и ее отличии от науки не идет у Г. делла Вольпе, по существу, дальше, чем позволяет аналогия язык — речь. Искусство — это «характерная полисемная типичность», а наука — «характерная однозначная типичность». В переводе на общедоступный язык это означает, что искусство и наука по-своему совершают процедуру абстрагирования материально-буквального, то есть эмпирической реальности. Логические мыслительные операции искусства зафиксированы в самом контексте произведения, мысль пленена своим контекстом, который обеспечивает ее многозначность. Поэтический текст обладает семантической самостоятельностью в отличие от научного или философского, который как бы подразумевает множество разнородных контекстов для своего применения и развертывания.

Нам пришлось провести эту опись терминов для того, чтобы стала понятной методологическая кульминация «Критики вкуса», которая венчает собой исследовательские достижения «семантической» эстетики (мы предпочли бы ее назвать скорее лингвистической, чем действительной структурно-семиотической). Речь идет о методоло-

гической теории критической парафразы, семантической диалектики, с помощью которой, как считает ученый, удается представить произведение в его исторической человеческой целостности, во всем богатстве заключенного в нем смысла — исторического, социального и поэтического, а главное, преодолеть метафизический разрыв искусства и науки. Г. делла Вольпе постулирует идею эстетической критики как диалектической парафразы, то есть подвижного и гибкого анализа произведения, который позволял бы удерживать одновременно в сознании и художественный результат — целостное художественное произведение, и его генетическую предпосылку — породившую его реальность, историческую почву во всем ее своеобычии, не упуская при этом из виду обусловленность и взаимозависимость художественного и логического мышления соответствующей эпохи. Эта идея диалектической парафразы, на наш взгляд, достаточно плодотворна.

Выводы, к которым он приходит: «...поэтическая правдивость есть вместе с тем глубоко социологическая (конкретно-историческая.— К. Д.), а следовательно, реалистическая истина», — бесспорны. Но сам способ и процедура доказательства с помощью семиотического ключа — это насильственное выламывание специфики искусства с целью гносеологической идентификации его с наукой.

Метафизическая изоляция науки и искусства преодолевается согласно Г. делла Вольпе довольно просто: на уровне значения, в силу языковой общности всего лишь поразному организованных смысловых единиц, которые без труда переходят одна в другую. «Семантическая диалектика» допускает поэтическое переосмысление однозначности научного понятия, эквивалентное обратному переходу через язык-посредник. Узкий гносеологизм, сведение образа к понятию отличает подход итальянского мыслителя к поэзии (несловесные виды искусства, как мы помним, защищены от этой операции структурной весомостью своего знака).

Как мыслит Гальвано делла Вольпе идеальную метафору? Как совершенную познавательную конструкцию, хотя времена «лингвистической» эстетики миновали вместе с Вико. Он считает, что художественный эффект, красота образа прямо зависят от его достоверности. Связь компонентов тропа однозначна и непротиворечива, утверждает Г. делла Вольпе. Самой надежной

гарантией достоверности поэзии он считает последовательный параллелизм тропа, приводя в подтверждение стихотворение Бернса («Бледная луна заходит за белую волну, и мое время уходит»). Насколько все это уязвимо, как может подвести эта логика, становится очевидно, стоит лишь обратиться к любому иному художественному факту. Например, не достигается ли еще верней эффект поэтической меланхолии средствами так называемого обратного параллелизма, столь же распространенного приема, как и прямой контраст? А гротеск, ирония, парадокс — какие аналоги придется искать для них в логике, чтобы оправдать достигнутую такими средствами поэтическую достоверность?

Но Г. делла Вольпе не ощущает ограниченности своего рационализма в эстетике. Категории «поэтическая человеческая истина», «поэтическая правда», «поэтическое мышление» вкрадываются в рассуждения как бы против его воли, ничего не говоря воображению ученого. «От Канта скрыта речевая, интеллектуальная природа метафоры», — утверждает философ, не замечая метафоричности формулы, оказавшейся для него роковой: «язык искусства».

Чрезмерное доверие ученого к результатам своих лингвистических гносеологических изысканий притупляет иной раз его историческое чутье (так, например, Г. делла Вольпе утрачивает ощущение исторической перспективы в древнегреческом эпосе). Г. делла Вольпе усваивает у Вико представление о познавательном характере тропов, но не замечает, что имеется в виду особый тип познания, хотя, казалось бы, это должно было быть понятно ему как приверженцу исторической морфологии сознания. Лингвистический инструментарий иногда снижает неоспоримые достижения, которыми итальянский марксист обязан применению историко-материалистической диалектики к литературе (поэзии) и искусству.

Теоретическое наследие Г. делла Вольпе, выдающегося философа, логика, эстетика, играет существенную роль в современном

развитии марксистско-ленинской теории. В послании, направленном Луиджи Лонго от имени Центрального Комитета Итальянской коммунистической партии семье делла Вольпе, говорится: «Его исследования, всегда стимулирующие, принадлежат не только истории философии, но являются органической частью эпохи великого идеального, гражданского и политического обязательства интеллектуалов авангарда, среди которых Гальвано делла Вольпе занимает выдающееся место благодаря ясности ума и последовательности мышления. Плодотворным был его постоянный призыв к тому факту, что новое осмысление отношений между социализмом и демократией казалось необходимым сегодня больше чем когда бы то ни было, чтобы ориентировать нас без двусмысленностей в национальных путях к социализму, указанных реально; плодотворен его призыв к тому факту, что контраст между двумя душами современной демократии, между двумя различными инстанциями свободы означает, в политических терминах, контраст между либерализмом или свободой без равенства и социализмом или свободой с социальной справедливостью, то есть свободой для всех. Плодотворно также его постоянное подчеркивание качественного скачка, который мир совершил с утверждением исторического присутствия социалистических государств, то есть государств, которые благодаря своей системе преодолели любой мотив захватнической войны и нашли наконец социалистическое братство народов (уничтожив любую национальную и международную эксплуатацию человека человеком), побуждая последнее к вечному миру. Мы ощущаем всю актуальность его мышления и его обязательства и мы вспоминаем его также поэтому с любовью и благодарностью. Гальвано делла Вольпе продолжает оставаться с нами вместе со своими произведениями».

Дальнейшее всестороннее исследование и критическое освоение этого наследия — важная задача не только итальянских теоретиков, но философов-марксистов разных стран.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ



### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Марк Соболев. Старый воин.— В. Камянов. Вблизи и за горизонтом.— Ю. Гусев. Талант, разбуженный революцией.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

Н. Мор. От войны к миру.

## Литература и искусство

### СТАРЫЙ ВОИН

Алексей Сурков. Собрание сочинений в четырех томах. М. «Художественная литература». Том 1. Стихотворения. 1925—1945. Маленькие поэмы. 1978. 622 стр. Том 2. Стихотворения. 1946—1974. Песни. Избранные переводы. 1979. 623 стр.

Читаю стихи Алексея Суркова... Читаю подряд, от даты к дате, от раздела к разделу, листаю страницу за страницей первые тома собрания сочинений — и вдруг, как говорится, на полном серьезе задаю самому себе нелепый вопрос: неужели этих стихов когда-то не было?

Все дело в том, что на протяжении моей жизни они были всегда. Я еще только впервые надел красный галстук юного пионера, никому не давал дотронуться до него (помните, мои ровесники: «Не тронь рабочую кровь!»?), но уже, задрвав голову, видел над собой огромного трехаршинного матроса Петро Гаманенко, которому пришлось торопливым выстрелом из нагана облегчить смерть закадычного друга. На уроках военного дела, собирая и разбирая русскую трехлинейную винтовку образца 1891/30 года, повторял про себя: «Мир за нами следит, не сплосшаем, ребята?!» — и голос моего школьного военрука, раненого и тяжело контуженного в боях с колчаковцами, так же задышался, как у сурковского комбата. А потом, позже, когда судьба вывела меня на крутые пути и перепутья страны, какие песни были главными, необходимейшими на

узких просеках Темниковского бора или степных дорогах Средней Азии? Конечно же, «По курганам горбатым, по речным перекатам», «Встань, казачка молодая, у плетня» — куда позже я узнал, что они называются «Конармейская песня» и «Терская походная».

Я знаю, что «Песня смелых» прозвучала по радио на второй день войны, но мне до сих пор кажется, будто она возникла воскресным утром 22 июня 1941 года.

В то лето, в ту невысшимую осень и зиму сквозь грохот и сумятицу к нам все-таки добирались, каким-то образом доходили до нас стихи и строчки Суркова. Было ощущение, что он воюет где-то совсем рядом. «Будто руки окаменели, будто вкопан он в грунт, во рву... Этот парень в серой шинели не пропустит врага в Москву...»

Сегодня как-то особенно отчетливо вижу: с первой до последней строки Алексей Александрович Сурков никогда не уходил с передовой! Начиная с той осени 1918-го, когда вступил политбойцом в Красную Армию, а может даже с той минуты, как стал — еще до Октябрьской революции — солдатом партии. Я говорю о переднем крае

не только в чисто военном смысле, речь идет о той пограничной полосе эпохи, где друг против друга — свет и мрак, прошлое и грядущее, фашизм и коммунизм.

Передовая — место солдатское.

«Он ходил в рядовых при большой резолуции, подпирая плечом боевую эпоху». Эти строки написаны пятьдесят лет тому назад; стихотворением, которое я цитирую, открывается собрание сочинений. Заглянем в конец поэтического раздела: стихи кончатся триптихом «Бессонница». Удивительно четко прочерчена солдатская сущность Суркова: в последних стихах он сетует, что ему неприятно, нелегко

Носить маститости постылый чин,  
Сомнительное седины величие,  
И за китайской грамотой морщин  
Былое не угадывать обличье.

В 1917—1918 годах выходила большевистская фронтовая газета «Окопная правда». Можно как угодно относиться к самому понятию «окопная правда», но без нее, даже в самых масштабных произведениях, при взгляде с самых высоких исторических позиций, до сердца рядового участника событий не доберешься.

Алексею Суркову она введена во всея своей земной сути. «Фронтовой бродяга-газетчик — я в любом блиндаже родня», — писал он еще из декабрьских финских снегов «той, незначимой» войны. Это сказано точно. Я не встречался с Алексеем Александровичем на фронте, но просто по его стихам вижу, представляю: он и вправду в любом блиндаже был своим, не со стороны, не «сверху». Входил бывалый, обстрелянный, чуть усталый солдат, делился махоркой, садился у той самой печурки, огонь которой вот уже столько лет бьется в наших сердцах, и рассказывал о чем-то главном и сокровенном.

Видно, выписал писарь мне дальний билет,  
Отправляя впервой на войну.  
На четвертой войне, с восемнадцати лет,  
Я солдатскую лямку тяну.

Бесстрашие необходимо не только тогда, когда надо идти вперед под огнем, — оно должно быть в самом существе поэта и в том случае, когда он рассказывает о солдатском подвиге. Сегодня, как бы оглядываясь назад, поражаешься поэтическому и человеческому мужеству Алексея Суркова. «Трупы, трупы крутом, как черные бревна, кровь и серые брызги мозга» — это страшно

увидеть, но еще труднее преодолеть двойной страх, и сказать об этом, и показать войну такой, как она есть. «Да, мы, солдаты, кандидаты в покойники, стоящие в очереди за судьбой. Но мы не завидуем счастью спокойненьких, живущих в сторонке, довольных собой». Не только «не завидуем», а «всем им — будь они прокляты! — предъявят за мертвых солдатский счет».

Военные стихи Суркова часто «привязаны» к определенному географическому месту, они густо населены. Поэт живет, воюет, действует в совершенно конкретных обстоятельствах, рядом и вместе с конкретными людьми, он внутри событий. Стихотворения обладают убедительностью документа, разговор идет по праву участника и очевидца. Их с полным правом можно было бы назвать историей рядового Великой Отечественной — но историей, рассказанной способами поэзии. И никакими иными.

«Бьется в тесной печурке огонь...», знаменитая «Землянка», очень личное стихотворение, ставшее поистине всенародной песней, давно и, думаю, навсегда вошло в русскую советскую классику. Но есть тут и еще одно примечательное свойство. Даже самые прекрасные стихи и песни мы порой произносим или поем, как бы цитируя, то есть это создано кем-то, не нами, мы лишь повторяем сказанное. «Землянка» не цитируется, эти строки для каждого из нас не менее личные, чем для автора. Мне как-то довелось вдруг заметить, уловить выражение лиц, когда вокруг походного костерка — причем недавно, и люди все были молодыми, — вокруг костерка на дальнем тюменском нефтепромысле запели «Землянку». Нет, это пелось не «от Суркова», а от себя, недобрая и трудная земля была вокруг, и какой-то особый смысл приобретали старые, тысячу раз слышанные слова: «До тебя мне дойти нелегко, а до смерти — четыре шага».

О «Землянке» написано так много взволнованных и добрых слов, что порой возникает впечатление, будто эти стихи стоят как бы наособицу, или — что еще обиднее — вроде бы поэт больше ничего стоящего не написал. Случай не единственный — так было с «Гренадой» Михаила Светлова; похоже, нечто подобное получается с «Его зарыли в шар земной...» Сергея Орлова... А ведь это же неправда! У меня нет возможности приводить примеры в нужном количестве, но прошу поверить на слово — у Алексея Суркова немало стихотво-



реный, ни в чем не уступающих «Землянке».

Полукружем положим выгнут  
Каждой пули быстрый полет.  
Если пуля меня настигнет,  
Друг открытку тебе пришлет...

Что в бою на твоём портрете  
Смертный след оставил металл;  
Что в глухую ночь в лазарете  
Друг мне письма твои читал;

Что, согретый словами твоими,  
Я затих у всех на виду;  
Что твоё короткое имя  
Называл в предсмертном бреду.

Не о смерти думают люди,  
Проходя сквозь ветер атак.  
Ну а если такое будет,—  
Вудет так.

Наша планета «мало оборудована» не только для веселья, а и для простого отдыха. Почти тотчас на смену войне «горячей» пришла пресловутая «холодная война», да и «горячая»-то остыла лишь в Европе да Австралии... Алексей Сурков сменил форму одежды, боевой позицией стала не стрелковая ячейка и не редакционная комнатка — солдату пришлось выйти на трибуну. Началась борьба за мир — бескровная, к счастью, но требующая огромной траты нервных клеток. Старый воин бескомпромиссно и круто занял положенное ему место. А что еще делать солдату и поэту, если «от недоброго, жадного глаза осыплются роз лепестки. И к могилам поэтов Шираза из пустынь подступают пески»?

Как всегда, Сурков не наблюдает событие, а находится внутри его. Только теперь солдат стаптывает не сапоги, а шины автомобилей, его несут поезда по весям и странам, летят самолеты — и «на маршруте три древних материка и пятнадцать стран плывут под крылом».

Читая Суркова послевоенных лет в периодике и выходящих книгах, я как-то проглядел в нем одну черту, которая открылась мне лишь сейчас. В самом начале статьи я вспомнил матроса Петро Гаманенко из стихотворения 1928 года. Так вот, назывались эти стихи горько и правдиво — «О нежности». И лишь теперь я ощутил, что нежность очень заметно присуща Алексею Александровичу. Гнев, направленный на врагов, с годами не слабеет, и сейчас, когда поэту исполнилось восемьдесят лет, он все так же непримирим, но к простым людям земли он как-то тревожно заботлив. И тем больше его беспокойство об их судьбе.

Быть может, многое объясняет маленькое восьмистроичное стихотворение 1969 года:

Не лодырь, труженик, не пьяница,  
Не ищет истин днем с огнем.  
Умрет — и на земле останется  
Лишь текст надгробия о нем.

Такого взять в герои гоже ли,  
Вез нимба славы на челе?  
Послушай, друг,— но так ведь  
прожили  
Почти все люди на земле.

Коммунист и боец, очень русский человек, Алексей Сурков, если проследить «сквозное действие» его творчества, отдаёт все свои творческие силы защите всемирного солдатского братства. Я говорю здесь не о звании — речь идет о рядовом в миллиардном строю человечества. Ему приходится возделывать землю и воевать за нее, он имеет право на счастье, на восхищение своим народом, его прошлым и будущим, своей страной и своей планетой. Но он вынужден отгосподствовать это право, и тогда поэт сражается вместе с ним.

Марк СОВОЛЬ.



## ВБЛИЗИ И ЗА ГОРИЗОНТОМ

Е. Сидоров. Время, писатель, стиль (О советской прозе наших дней). М. «Советский писатель». 1978. 263 стр.

Первая книга критика далеко не всегда означает его дебют. Издатель способен замешкаться, и тогда в журнальном отклике на литературно-критическую новинку найдут место напутственные строки: «Начинать надо именно так, неосторожно, настойчиво и упрямо; а остальное приложится, несомненно». Между тем на страницах периодической печати Евгений Сидоров

выступает около двух десятилетий, и напутствовать его, пожалуй, поздновато. Но приведенные слова из рецензии В. Турбина «В поисках точных критериев» («Дружба народов», № 4, 1979) — а к ней нам еще предстоит вернуться — передают общую атмосферу, эмоциональный настрой книги. Поэтому и процитированы.

Начиная именно с атмосферы и общего

настрою, отметим, что в самой стилистике книги скрыт некий романтический заряд. Только надо уточнить: романтизм, чистый порыв к идеалу здесь взят в твердые берега, дисциплинирован корректностью аналитических приемов, подчеркнутой строгостью дефиниций и формулировок.

Нет, речь критика вовсе не окрашена в один тон. Читая книгу, отмечаешь про себя выразительный пассаж о «высоком голосе трубы», звучащем «сквозь пелену диссонансов» (разумеются диссонансы беллетристики), или о «горьком, дымном привкусе жизни, которая в литературе познает свои возможности...»; но — по контрасту — останавливает внимание и другая лексика: «социально детерминированное повествование», «закономерности не только в идейно-содержательном аспекте», «типологические свойства композиций образов».

То слышится богатое оттенками, общительное слово, то специальная речь «ученых записок» или диссертаций «на соискание». Странно? Не очень. В нашей сегодняшней критике Е. Сидоров если и ратоборец, то уж никак не партизан и не одинокий всадник, гарцующий перед строем. В своей борьбе за высоту и строгость художественных критериев (господствующий пафос его работы!) он готов быть анонимен и вживляет в летучий критический текст тяжелые блоки понятийных категорий, терминов, определений, не помеченные никаким персональным знаком.

Тяга к основательности? Да, к общезначимым и твердым основаниям, способным попридержать вкусовой произвол пусть в ущерб артистизму, легкой словесной походке... Торжествовала бы объективности! И она торжествует. От капризных подсказок вкуса наш критик застраховался с большим запасом надежности, что видно уже из первой главы, где очень дельно рассмотрены существующие классификации стилей и где мысль автора книги активна своим «расчетным» уровнем. Но, возможно, не будь такого академически-бесстрастного зачина, по-иному воспринималась бы вся аналитическая часть книги, звучащая «неосторожно, настойчиво и упрямо» (В. Турбин). Любопытный вообще-то случай «романтической» основательности в критике.

И здесь снова — о корректности. На сей раз Е. Сидорова-полемиста... Выходит, к примеру, на газетную или журнальную полосу рецензент, еще не успевший собраться с мыслями, и произносит громкое слово,

но не от себя, а как бы присоединяясь к предыдущему оратору, который в свою очередь тоже к кому-то присоединялся... Кажется, обряд как обряд. Словесный ритуал. И где тут повод для серьезного спора? А если уж мимо никак не пройти, то достаточно иронической реплики или выразительной цитаты, из такого критического одуша.

И Сидоров цитирует, делая при этом упор на стиль оппонента, но без иронических комментариев и желания «припечатать». Его интересуют типы мышления в литературе, а попутно — типы недомышления, поскольку и они не на голом месте возникли. «Грустная реальность нашего литературного быта», — без тени сарказма замечает критик, отзываясь на безжизненную риторику, выдаваемую за аналитическое суждение.

Хороша или нет подобная полемическая манера — вопрос особый. Речь наша об ином. О профессиональной самодисциплине автора книги, ведущего свой репортаж из глубины литературного процесса, где ничто не существует отдельно и не может быть отброшено без рассмотрения. В том числе напористая «полукритика» (слово Е. Сидорова) с ее обыкновением поощрять писателя за чистоту помыслов безотносительно к их воплощению.

Окруженная почетным эскортом «полукритики», движется вперед серийная беллетристика, сбивая на своем ходу (или угрожая сбить) разграничительные знаки между серьезным искусством и подделками под него. На упражнения бойких беллетристов Е. Сидоров отзываясь без всякой горячности. Он демонстрирует их продукцию, обнажая «клеточное», так сказать, строение текстов, и ровным тоном ставит диагноз: «Стилистически несовместимы с искусством».

Уравновешенная академичность и никаких романтических «вихрей».

«Вихри» вообще-то у Е. Сидорова ощутимы, но они почти не вырываются наружу, создавая внутреннее давление, непрерывную «тягу» в системе авторских суждений. «...надо сделать еще одно решающее усилие, — подытоживает критик поближе к концу книги, — и слить воедино в душе творящего и мыслящего современного героя историю и быт, войну и мир, землю и небо, слить так, чтобы его устами заговорил народ, осознающий себя в непредвзятом зеркале литературы». Вот она, энергия

романтического порыва, пробившая заслоны академизма. И вот прямой авторский манифест. Но если говорить начистоту, я, читатель Е. Сидорова, сопротивляюсь такой прямызне.

Почему? Во-первых, за чужой мыслью интересно следить, пока она подвижна и не вышла «на упор»; во-вторых, зачем же одному герою все полномочия разом? По плечу ли ноша? В-третьих... Нет, я выписал эти призывные строки совсем не ради полемике. Мне важно обозначить сквозной исследовательский «сюжет» книги, точнее — начало его и перспективу.

«Завязка» здесь — кропотливое рассмотрение текстов. «Развязки» нет, есть перспектива — завтрашний день нашей прозы, который, по твердому убеждению критика, сулит масштабные открытия. А в центре исследовательского «сюжета» — упорная, с ответвлениями и вариациями мысль о вызревании всеобнимающего романного слова в недрах малых или средних повествовательных форм, которые хоть и опередили сегодня роман, однако сами же готовят его новый взлет и уверенное лидерство.

«Мотив знакомый!» — скажет по этому поводу осведомленный читатель и сошлется на целый ряд работ, где отмечалось, что 60-е годы полнее и ярче всего отразились не в многоплановом романе, а в компактной повести. Да, вывод «повесть сегодня на подъеме» — общее достояние критики. Предвосхищая очередную реплику читателя-доки, признаю, что и вторая, перспективная часть сидоровской мысли сама по себе не открытие: здесь же, в книге «Время, писатель, стиль», мы найдем ссылку на статью Аллы Марченко, писавшей несколько лет назад о романизации малых повествовательных форм в нынешней прозе, или — «набухании романских почек».

Значит, ключевое для всей книги рассуждение сложено из двух готовых половинок? Формально похоже, по существу нет: у рассуждения живой и единый состав, широкая смысловая периферия. И напряженный пафос в основе. Там, где более уравновешенные коллеги сводят в одно, синтезируют частные наблюдения, Е. Сидоров горячит современную прозу прямым целеуказанием: «Даешь объемное слово романа!»

Впрочем, не станем разводиться мосты между Е. Сидоровым и его коллегами. Нашу критику вообще трудно заподозрить в кабинетных наклонностях. Самый дотошный

анализ не мешает ей порываться вдале, за черту горизонта, маяя подопечную литературу двигаться следом.

И когда лет пятнадцать назад обнаружилось отставание романа от оперативной и «малоформатной» повести, теоретики впади в тревогу. Помнится, вспыхнула шумная дискуссия вокруг новорожденной разновидности малого эпоса — «конспекта романа»: привьется ли?

Разрешением спора занялось время, и его ответ пока отрицателен. Во всяком случае о «конспектах» больше не слышно. А в ту пору провозглашались здравицы, строились прогнозы один светлей другого. Жанровый полуфабрикат дразнил эстетические аппетиты приманчивым запахом романа, предвещая оживление «романного мышления». И нетрудно различить за тогдашними прогнозами душевный непокой участников спора, тягу вперед и выше (достигнутого прозой), ожидание. Или, учитывая характер прогнозов и предчувствий, я бы уточнил — блуждающие токи ожидания.

Литературная атмосфера двух последних десятилетий вся пронизана ими. В этой атмосфере и появилась книга Е. Сидорова, где блуждающие токи усилены, введены в исследовательскую «сеть», и мы чувствуем ее напряжение. Иными словами, при всей отчетливости собственного голоса критика, ведущий пафос, тон, настойчивая программность книги вынесены из глубины литературного процесса и в совокупности своей опознавательны. А раз так, уместно предположить, что «романтизм» (эстетических суждений, оценок) нынче обучается сдержанности и терпению, которое всегда давалось ему с превеликим трудом. Не устанавливая уплотненных сроков — от сего, предположим, числа до полного торжества идеала, — не слишком драматизируя собственное ожидание, он тренирует свою аналитическую зоркость, входит в рассмотрение деталей и словно бы ничуть не тревожится, что от этого убудет его взлетная сила...

Конечно, «рентгенограммы» художественных стилей вобраны у Е. Сидорова в единый контекст рассуждения о логике и судьбе конкретного писательского замысла, неповторимости творческих манер и преемственности традиции. Все так. Но мне, читателю, почему-то особенно интересен Е. Сидоров, наблюдающий, как живет слово в строке, ладит ли оно со словами-соседями или выталкивается ими прочь, не глухо ли к ритму, мелодике целого. Эти участки ана-

лиза намного «горячей» соседних, полнее выражают автора. Любопытно — почему?

Исследуются, к примеру, индивидуальные стили Ю. Бондарева, В. Белова, Ф. Абрамова, С. Антонова. Все узнаваемо: интонации, ритмический рисунок фразы, характер пластической подробности. Уже немало! Но, сказав «творческий почерк», «стиль», Е. Сидоров продолжает: «тип мышления». Смысловой акцент сразу же перемещается с феноменологии (рискну так выразиться) творческих почерков, или манер, на способ и динамику духовного постижения мира.

Как именно, с какой интенсивностью отзываются те же В. Белов, С. Антонов, Ю. Бондарев и другие на «важнейшие философские, нравственные столкновения века» (формула Е. Сидорова)? Проблематикой и стилистикой своих произведений в единстве, разумеется, проблематики и стилистики... Вот вопросы, задавшись которыми Е. Сидоров и углубляется в лабиринты стилевых систем.

Значит, искомое — тип (читай — нацеленность, широта, философская зрелость, неповторимо личностный строй) писательского мышления. Причем есть искомое и есть найденный эталон — творческий опыт Леонида Леонова. Ему посвящена отдельная, отлично написанная глава. Из примыкающих глав сюда же, в леоновскую сторону, критик поглядывает контрольным взором, дабы не упустить линию отсчета. С ним вместе поглядываем и мы, вновь уточняя для себя заветную цель, сверхзадачу стилевых изысканий Е. Сидорова.

Почти безотлучное присутствие и почетная роль Л. Леонова на страницах книги помогают сложиться ответу: Е. Сидоров «прослушивает» скрытую жизнь стилевых систем, стараясь различить там романное голоса. Не просто голоса, а леоновской примерно силы. Должны ведь быть! И у одаренного рассказчика, и у мастера средних эпических форм, и у романиста, пишущего о чем-то одном — о деревне, например, или о темпах индустриального прогресса.

Е. Сидоров, конечно, ценит, когда умело пишут о чем-то одном. Но не переоценивает. Потому что верен выношенному убеждению: ничто не заменит «масштабного, социально-философского романа, стягивающего воедино главные проблемы духовной жизни нашего современника».

И зондируя стили, сличая и различая «типы мышления», он, по существу, занят разведкой резервов, поиском «слов» того ро-

манного слова, которому надлежит все объять.

Но зачем же в таком случае автор книги отвлекается на «полукритику» и «полулитературу»? Быть может, просто-напросто «то кровь кипит, то сил избыток»?

Вот В. Турбин с его обычным мягким изяществом полемиста-увещателя в своей рецензии журит Е. Сидорова за «просветительские порывы». Дескать, продукция повествователей, тяготеющих к патентованным средствам мелодрамы, была и пребудет, нападки на нее отдадут донкихотством, горячи, но недальновидны, ибо у продукции свой заинтересованный потребитель и она «звено в цепи историко-литературной эволюции, а все звенья в ней закономерны так же, как закономерны они в жизни природы...».

По-моему, в этом контексте сочетание «литературная эволюция» как-то не равно себе. Ведь обычно, говоря «эволюция», мы разумеем динамику, рост, живое развертывание процесса. Между тем ремесленные творения, украшенные павлиньими хвостами зари и золотыми розами посреди кудрявых облаков (образчики именно такого стиля приведены в работе Е. Сидорова), — область застоя, который, однако, по-своему соревнуется с движением, стараясь его перешуметь. И краски здесь «кричат» оттого, что оцепенению важно выглядеть бурным.

Так эволюция ли перед нами, русло духовных процессов или тинистая заводь? Вот вопрос. И еще. Если мы проводим параллель между литературной эволюцией и «жизнью природы», то почему бы не допустить, что и критика, выставляющая низкий балл за литературное шуটারство, «экологически» необходима? Сказано ведь: на то и щука в море, чтоб карась не дремал...

А теперь — о более важном. Отрадно, конечно, что для наших умов стали вняты или как минимум притягательны законы природного равновесия, диалектика скрытых и явных связей, сцеплений всего со всем. И разве только в сфере природы?

Входя в любую из жизненных сфер, мы с охотой прослеживаем, что из чего растет и до чего дорастает. Знаем: там аукнулось, здесь откликнулось, причины и следствия подвижны, легко перетекают друг в друга. И при «экологическом» взгляде окрест — хотя бы на область искусства — что ни факт, то звено в «цепи эволюции». Попробуй-ка отбрось!

Далеко видно во все стороны с такой воз-

вышенной орбиты. Не оттого ли сходится с нее жалко, хотя холод там космический? И вот оттуда, с тех высот созерцания, на которых утвердился В. Турбин, автор книги «Время, писатель, стиль» с его атаками на беллетризм выглядит... кем же? Современным Дон Кихотом от критики. «Тип мышления у него не гамлетовский, а донкихотский», — сказано у В. Турбина. Испытанная в литературе антитеза. Рыцарю печального образа противостоит принц Гамлет, с именем которого автор рецензии связывает прежде всего завет «осторожности не житейской, но внутренней», идею умудренного воздержания от любой горячки, от слишком резких поворотов мысли и чувства. Этот введенный в рецензию принц датский — живой укор и урок невоздержанным донкихотам (сам же В. Турбин полушутовливо-полусерьезно объявляет себя «посильным продолжателем Гамлета», Гамлетом «в очках и с потертым портфелем»).

Но уместна ли здесь логика «или—или»? И как, поинтересуемся мы, тому же Е. Сидорову усовершенствовать свой «тип мышления»? Перейти на возвышенную орбиту? Только будет ли на что смотреть «сверху», если все донкихоты оперативно перекуются в гамлеты? Потянутся ли дальше цепочки эволюции?..

Впрочем, уменьшив радиус вопросов и вернемся к работе Е. Сидорова. Действительно ли в ней явлен «тип мышления» незабвенного идеальго? Если так, он («тип») с трудом опознаваем. Разве аналитическая дотошность — из донкихотского комплекса? А система предохранительных мер против капризных подсказок вкуса? А внимание к протяженным, подспудным процессам, столь мало отзывчивым на чей-то волевой диктат (вспомним сидоровские «грустные» укоры «полукритике», влачащей за собой длинный шлейф обветшалых представлений и нормативов)?..

Боюсь, что заветы, или пусть принципы, исследовательского «гамлетизма» для Е. Сидорова не самая свежая новость. Он их уже «проходил». И, как мне кажется, усвоил в очень удачной дозировке. Во всяком случае, даже максимально отдаляясь от уровня единичных фактов и подробностей, сохраняет чувство «двойного присутствия», то есть присутствия не только там, на интеллектуальном возвышении, но и посреди будничной толчеи и горячки, а если кон-

кретней — в глубине литературного процесса.

Сегодня куда ни повернись — повсюду проблемы гносеологии. И как раз в том диапазоне, что намечен В. Турбиным, — Гамлет или Дон Кихот?

По социальным навыкам, темпераменту мы все же больше донкихоты — подданные Жизни, не созерцатели, а ратники, послушные сигналам тревоги и не очень склонные «раздумывать чрезмерно об исходе» (Шекспир, «Гамлет»). Но вот, что называется, подросли, образовались, прослеживаем экологические цепочки, порой задаемся вопросом: «Стоит ли горячиться, если бесстрастная закономерность водит нас на помочах, ловко планируя даже горячность нашу?»

Как же уравновесить в себе Гамлета и Дон Кихота? Готовых рецептов не было и нет. Но есть примеры, «типы» или системы мышления, где стерта грань между умудренной созерцательностью и романтическим энтузиазмом. И наша речь об одном из таких примеров.

Отчего Е. Сидоров затеял свой поход против ремесленных упражнений на ниве изящной словесности? Движет ли им надежда силой внушения закрыть этот кустарный промысел? Воссе нет. Повторяю: автор работы — внутри литературного процесса, где все со всем «экологически» сцеплено, и, наблюдая скрытый рост романного слова, он хлопочет о ясности критериев. Оттого в первую голову хлопочет, что размытость критериев растущему слову во вред.

Попробуйте мысленно устранить из книги горькие пассажи о беллетризме — получите обедненную систему, устремленность к светлому финишу без знания дистанции, без «санитарной службы» в пути.

Какой «тип мышления» демонстрирует работа Е. Сидорова? Донкихотский? Романтический? Допустим. Но тогда перед нами романтизм, который не спешит «взлетать», не хмелеет от собственного пафоса, подозрителен ко всякой парадности и, обращаясь к созданиям искусства, никогда не разъединяет идею, гражданственную направленность произведения и его художественное качество, отказываясь возгораться от «предварительных намерений» автора.

Совсем не хрестоматийный «романтизм». И симптоматичный, как представляется, «тип мышления».

**В. КАМЯНОВ.**



## ТАЛАНТ, РАЗБУЖЕННЫЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ

Антал Гидаш. Чтоб хлынул свет. Стихи. Перевод с венгерского. М. «Художественная литература», 1979. 320 стр.

**В** 20—30-е годы нашего столетия их было много в странах Европы, да и не только Европы, поэтов и писателей разных национальностей, на всю жизнь замороженных громовыми аккордами «Музыки революции». Разные по языку, происхождению, темпераменту, творческой манере, они были схожи в единодушном, не знающем ревности и сомнений обожании прекрасной дамы — Революции. Вместе со своим командармом, Владимиром Маяковским, они готовы были давать «революции такие же названия, как любимым в первый день дают». Молодые, жизнелюбивые, открытые всем радостям бытия, они могли становиться аскетами, мучениками, если того требовал революционный долг. Многие из них, гонимые мутным валом реакции, поднявшимися после первой, начатой Октябрем 1917 года серии революционных взрывов, вынуждены были скитаться в эмиграции; значительная часть их стеклась в конце концов в страну победившей революции, СССР, вместе с советским народом участвуя в строительстве социализма и через международные организации, через подпольные каналы стремясь передать свою веру, свое понимание исторической истины народным массам родной страны.

Этим рыцарям и бардам революции достался прекрасный, но нелегкий удел. Одни гибли, становясь жертвами террора, другим невзгоды, преследования наносили глубокие духовные травмы; испытания порой усугублялись непониманием, недоверчивостью со стороны своих... Удивительно ли, что их первопроходцев революционной, социалистической литературы, к сегодняшнему дню осталось так мало, буквально единицы!

Один из них — венгерский поэт и прозаик Антал Гидаш, которому в декабре 1979 года исполняется восемьдесят лет. Еще в юности он с головой окунулся в революционное рабочее движение, стал свидетелем и участником героических дел Венгерской Советской республики 1919 года, затем около сорока лет находился в эмиграции, из них тридцать четыре года в Советском Союзе. Лишь в 1959 году, уже шестидесятилетним, он вернулся на родину, в народную Венгрию. Судьба Гидаша — типичная судьба профессионального революционера, который служил революции на поприще литературы, бо-

ролся за нее собственным оружием — оружием художественного слова. Гидаш не только слушал «музыку революции», но и сам стремился творить ее, внося свои мотивы, свой голос в ее могучую симфонию. Причем к Гидашу эта метафора подходит тем более, что он имел довольно близкое отношение не только к поэзии, но и к музыке, он, например, сам сочинял мелодии для ряда своих агитационных стихов, переправлявшихся в 20-е годы в Венгрию, да и обилие музыкальных образов в его стихах, конечно, не случайность.

В конце концов

я стал  
таким органом,  
что, коль нажмешь  
хоть на единый  
клавиш,—  
все трубы разом зазудеть  
заставишь!—

пишет он уже на склоне лет («Орган», перевел Л. Мартынов).

Вот так, пропуская через себя повседневную, живую историю, трансформируя ее в музыкально-поэтические образы, отзвываясь на события века всем своим существом, жил Гидаш и пятьдесят и тридцать лет назад, так он живет и сейчас. И потому его поэтическое творчество — это и его собственная лирическая биография и частичка многоликой биографии самой революции, которая, вспыхнув ярким пламенем в 1917 году, идет по земле уже в течение многих десятилетий, вырываясь огненными языками в разных странах, на разных континентах.

Сборник, подготовленный издательством «Художественная литература», наглядно и емко представляет основные этапы и личной, Гидашевой, и большой, всепланетной биографии обновляющегося мира. Личностное и объективное, автобиографическое и историческое здесь не ущемляют друг друга: как всегда, в подлинном искусстве глубина субъективных переживаний — если эти переживания связаны с общезначимыми явлениями — лишь укрепляет достоверность, реальность поэтического образа, позволяя видеть за ним не только самого поэта, но и общественный контекст, умонастроения, эмоциональную атмосферу времени.

Первый раздел сборника, «Сейчас встанет солнце», отражает тот этап творческого пути поэта, который можно определить как

героический. Тональность стихам здесь задают такие факторы, как революционный порыв, сознание собственной силы, вера в завтрашний день. Правда, социалистическая революция 1919 года в Венгрии потерпела поражение, да и во всей Европе наблюдался спад революционной волны, но все это воспринималось Гидашем, и не только, конечно, им, как затишье перед новой бурей; а существование Страны Советов, ее грандиозные успехи служили очевиднейшим доказательством, что путь социализма и правилен и неизбежен. Поэтому Гидаш чувствовал себя вправе радоваться жизни, подчеркивать в ней яркие, нарядные краски.

Сама революция мыслится им как праздник, откуда и некоторая экспрессивная абстрактность в ее изображении, абстрактность, порожденная эмоциональной переполненностью, абстрактность, через которую прошли столь многие поэты, с восторгом встретившие революцию. «Метлы мели победившую землю, и устремились в дорогу желанья, вечные наши стремления к цели. Листья дрожали, они трепетали», — описывал поэт очистительную грозу революции в стихотворении «Ветви гудели» (перевел А. Мартынов).

Стихи этого периода брызжут оптимизмом, языческим упоением красотой жизни, прелестью мира. Все представляется достижимым, все задачи, даже самые трудные, рано или поздно разрешимыми. Из распахнутого настежь сердца вырываются слова, и каждому конкретному дню, и бытию, мирозданию в целом. Поэт наслаждается свободой, своей молодостью и молодостью страны, в которой он живет, дышит полной грудью, трудится в полную силу. Не случайно Гидаш быстро оказался в сфере влияния Маяковского, так естественно и убедительно умевшего передать величие и пафос эпохи.

Это не означает, конечно, что Гидаш стал эпигоном Маяковского. Хотя бы уже потому, что он был и остался глубоко венгерским поэтом, неся в себе все то, что создал за века, сберег венгерский народ, его лучшие поэты и от чего Гидаш исходит в своем творчестве. Эта неуловимо растворенная в образном, даже звуковом строе венгерская сущность с трудом поддается переводу, а если поддается, то получает выражение по-русски как неожиданность, иногда причужденность образного мышления. Может быть, поэтому русским читателям особенно бросается в глаза то, что им уже знакомо, в

частности то, чему Гидаш мог учиться у Маяковского. Примером его «маяковской» метафоризации может служить такой шедевр (одновременно и шедевр переводческого мастерства), как небольшое стихотворение «Рождение»:

Под моим пером лежит целинный,  
свежевыпавший бумажный лист.  
Я пишу слова, черчу картины,  
одержимый — лишь бы удались!

Ничего на свете нет блаженней!  
Травкой пробивается строка,  
и рождает пестрое воображенье  
песню — мокрого, дрожащего телка.

(Перевел Д. Самойлов)

И для нас совсем по-маяковски (лишь те, кто более или менее основательно знаком с венгерской поэзией, знают, что не только по-маяковски, но и по-петефиански: ведь великий венгерский поэт и революционер Шандор Петефи тоже один из учителей Гидаша) звучит в стихах этого героического периода тема любви. Обретение любви, торжество любви у Гидаша — одно из неперемных условий полноты бытия, победы человека над бесчеловечностью, а с другой стороны, без завоеванной свободы, без борьбы против калечащих человека темных сил нет и настоящей любви. «Видеть хочу тебя страстью пылающей... Садам земля еще станет, товарищи!» («Росная роза», перевел С. Поликарпов).

Следующий раздел, «Стонет Дунай», объединяет стихи того периода в творчестве Гидаша, который в отличие от первого можно назвать трагическим. Стихи эти писались в годы, когда по Европе разползлась, сея смерть, уныние, предательство, фашистская чума. Если прежде перед глазами Гидаша стояла одна перспектива — светлая перспектива всеобщего братства, коммунизма, — то отныне перед ним возникает другая, мрачная и ужасающая перспектива — опасность возврата к бесстыдной власти грубой, бездуховной силы. Эта перспектива для Гидаша особенно болезненна: ведь на его глазах Венгрия стала одним из оплотов реакции и фашизма, сателлитом гитлеровской Германии и послала войска против новой родины Гидаша, родины социализма — против Советского Союза. Отношение к родине становится неоднозначным, двойственным, вызывая мучительное раздвоение в сердце поэта. «Как же назвать эту страну, где рожден я, где вырос, играя, где, как собаку, убьют мою беззащитную

мать? Вырвать ли мне мой язык изо рта иль смиренно в сердце своем упокоить могильные эти холмы?» («Только мы!», перевел Н. Заболоцкий).

Хотя Гидаш по-прежнему верит в неизбежное конечное торжество разума и свободы (цитированное выше стихотворение заканчивается словами: «Звезды над нашей страной зажжем только мы. Только мы!»), однако сама гипотетическая возможность иного поворота истории делает его поэзию более напряженной — и оттого, может быть, более многомерной. Исторический оптимизм оттеняется сознанием невероятной трудности того пути, который предстоит пройти человечеству до полной победы великих идеалов: «Мы думали: один рывок — и одолеем горе. А горе было как река, а стало словно море. И павших за собой нести уже нам не по силам: и бродим мы по полю ржи, как бродят по могилам...» («На день рождения», перевел Д. Самойлов).

Недаром у Гидаша появляется ощущение, что он лишь теперь увидел мир по-настоящему и, следовательно, лишь теперь «стал поэтом», выразителем болей и радостей многих и многих миллионов людей, оголенным нервом человечества. «У ног моих все корневища разом переплелись. Я чувствую течение всей нашей крови, и томят мой разум все человеческие огорченья. И на плите чугуновой, раскаленной — в моей душе все слезы ваши вместе, лучась, вскипают влагою соленой и призывают землю к месту!» («Теперь и сам скажу...», перевел Л. Мартынов). Строки эти достаточно красноречивы и сами по себе, однако истинный их смысл, их глубинную обусловленность личной судьбой поэта понимаешь лишь в свете того факта, что написаны они примерно в то время, когда Гидаш создал целую серию стихотворений, посвященных его родителям, замученным хортистскими палачами.

Следующий цикл, «Утро весеннее, тополь седой...», можно назвать циклом второго дыхания. Рассудок, познавший отчаяние, моменты страха, безверия, находит в себе скрытые резервы оптимизма. Вторая мировая война подошла к переломному моменту, советский народ, собрав все силы, одолел фашистского зверя, и над миром вновь взошло солнце надежды. Настал час, когда была освобождена и Венгрия, и сердце Гидаша снова переполняет мечта о светлом, достойном будущем его народа, чувство своей неразрывной связи с многострадальной вен-

герской землей. Гидаш словно заново ощущает себя молодым, а жизнь прекрасной.

Правда, в бодрых, ликующих его песнях где-то за основной мелодией звучат — быть может, тем еще более оттеняя ожидание радости, мира и счастья — и усталые, надтреснутые нотки. Как-никак у поэта «на плечах — полсотни годов», где были не только обретения, но и почти непереносимые потери, отчаяние, мрак. Этот груз не позволяет Гидашу ликовать и петь безоглядно, как в молодости. И к тому же теперь, после победы, в груди у него еще горячее ноет и жжет «огромнейшая рана — малая страна», его родная Венгрия, куда он рвется всем своим существом... Вся противоречивость обуревающих поэта чувств емко выражена в одном из лучших его стихотворений, «Навстречу».

Остывает стих. Поэт ко сну отходит.  
становясь мудрей.

Он устал. Не тронь его — не надо шума  
у его дверей.

Завтра сам он рано встанет по тревоге:  
«В наш последний бой!»

И стихи, не сбившиеся с ритма, он подымет  
боевой трубой.

А пока будет он стоять колонной,  
думать и грустить,  
чтобы пеплом всех развалин убеленным  
в новый мир вступить.

(Перевел Д. Самойлов)

И все же, пожалуй, ни один из предыдущих разделов не драматичен в такой мере, как следующий, «Снова дома». Стихи этого раздела, который хочется назвать разделом «надежд и сомнений», выражают смятение, которое царило в душе Гидаша. Причины этого смятения по-человечески так понятны: ведь Гидаш не видел родины почти три с половиной десятка лет; за это время там сменилось не одно поколение. Гидаш и его венгерские читатели долго жили в различных условиях, испытывали влияние неодинаковых факторов. О том, сколь не просто было рядовым венграм после освобождения страны воспринять идеалы, которые так усердно очерняла долгие годы хортистская официальная пропаганда, печать, весь аппарат воздействия на умы, нам говорит и противоречивость того пути, которым шла Венгрия в первые годы народной власти.



Тревоги Гидаша находят косвенное отражение и в его невеселых медитациях по поводу надвигающейся старости. «Не лучше ль сразу эту нить прервать? К чему все это длиться?» — с горечью пишет он в стихотворении «Есть смысл?..» (перевел Л. Мартынов), имея в виду, конечно, нить жизни. А в другом, уже на следующей странице, опровергает себя: «Обман — седина осенняя. Под той сединой — весенний цвет, весенней листвы шелестение!» («Нет, Агнеш...», перевел Л. Мартынов).

Выход из такого неустойчивого душевного состояния, островки гармонии поэт особенно часто находит в своей нестареющей, неувядающей любви — оттого так много в этом разделе прекрасных любовных стихов. Однако, читая эти стихи, нельзя забыть, что Гидаш — поэт гражданственный в лучшем смысле этого слова, гражданственный даже в самой интимной лирике, и любовь для него — не убежище, где можно скрыться от бурь и катастроф, а высокий дар, который очищает и облагораживает душу, становится источником силы, гордости за человека. И как снова не вспомнить Маяковского с его мечтой о том, «чтоб всей вселенной шла любовь», когда читаешь вдохновенные строки Гидаша, посвященные любимой: «А это уж декабрьское сиянье — преклонный возраст, — но и в этот срок ты для меня сияешь столь лучисто, что иногда обыденное чувство бежит, как сброшенный с престола Рок» («В огне близящейся дали...», перевел Л. Мартынов).

Чувства и страсти, клокочущие в стихах этого раздела, получают особую наполненность и смысл благодаря тому, что поэзия здесь пронизана напряжением одной огромной — наконец сбывшейся — мечты Гидаша, мечты о долгожданной встрече с родиной. Пусть эта встреча не идеальна — Гидаш не ждал идеалов, он вообще не привык к идеалам, — она настолько переполняет поэта радостным волнением, что он, как в молодости, передает свое состояние внешне бесвязными, широкими, экспрессивными мазками. «У человека бывают такие глубокие вздохи, что даже рубцы и шрамы перестают болеть», — описывает он свидание с горой Геллерт, откуда ему вновь открылся Будапешт.

И вот последний раздел, носящий название «Как мир велик»; если искать общее определение для этих стихов, то их можно было бы, вероятно, назвать стихами «всеведущей мудрости». Мудрость здесь приходит как плод долгой и активной жизни, огромного опыта — и неизменной верности самому себе, своим идеалам. Поэт не примирился с миром, не махнул на него рукой: он по-прежнему смотрит в будущее, ждет его, но ждет без нетерпения, ждет не столько для себя, сколько для людей. Главенствующее место в этом разделе, заметно тесня все прочие формы стиха, занимают краткие, афористичные миниатюры, наполненные глубоким философским содержанием.

Гордое сознание того, что «жизнь потрачена не зря», стоическая готовность смотреть в глаза неизбежному, сохраненная свежесть чувств, восприятия — все это сообщает поэзии Гидаша новую глубину. Он словно видит яснее и дальше, чем в молодости. Эта особенность подчеркнута до парадоксальности в цикле «Размышления в глазной клинике»: вопреки болезни, грозящей отнять зрение, поэт обретает способность проникать взглядом в суть и смысл вещей, видеть так глубоко и полно, как никогда прежде.

...Революционер, поэт, большой и мудрый человек — Антал Гидаш продолжает активно присутствовать в жизни, в литературе народной Венгрии, всего социалистического мира. Придя к нам из легендарных времен, он остается нашим современником.

Настоящий сборник собрал все лучшее из написанного поэтом до сих пор. И его, этот сборник, дополняет предисловие С. Наровчатова, раскрывающее на основе личных встреч по-человечески привлекательный облик Гидаша, некоторые моменты его трудной и прекрасной биографии. Значительная часть стихов Гидаша переведена замечательным советским поэтом Л. Мартыновым; среди переводчиков в книге есть и другие, не менее блестящие имена: Н. Заболоцкий, Д. Самойлов, А. Сурков, Н. Тихонов... Факт этот тоже многозначителен: он свидетельствует о том, что стихи Гидаша прочно входят не только в венгерскую, но и в советскую поэзию.

Ю. ГУСЕВ.



Политика и наука

## ОТ ВОЙНЫ К МИРУ

Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника. Т. 9. Июнь 1920—январь 1921. М. Политиздат. 1978. 744 стр.

Есть и конечно еще будут серьезные исследования деятельности Ленина. Но, убежден, Биографическая хроника, которая фиксирует время и систематизирует огромное число фактов, как никакое другое издание позволяет нам в полной мере ощутить и осознать многогранность этой деятельности во всей ее слитности, размахе, напряженности и глубине, ощутить и осознать величие героических будней и будничное величие. Подтверждение тому и очередная, девятая книга Биохроники<sup>1</sup>.

В книге отражено свыше трех тысяч фактов — в семь раз больше, чем в «Датах жизни и деятельности В. И. Ленина», соответствующих по времени 41 и 42 томам Полного собрания сочинений. Впервые введено в научный оборот более семисот документов — письма, записки, телеграммы, заметки, наброски...

Девятый том охватывает тридцать две недели. И как веки на этом отрезке времени — II конгресс Коммунистического Интернационала (к его открытию написана знаменитая работа «Детская болезнь «левизны» в коммунизме»), IX Всероссийская конференция РКП(б), VIII Всероссийский съезд Советов, собравшийся в переходные дни от разрушительной гражданской войны к мирному социалистическому строительству. И на конгрессе, и на конференции, и на съезде Владимир Ильич выступал с докладами и речами, подготовил ряд принципиально важных документов, председательствовал.

Вот еще цифры, свидетельствующие о колоссальной напряженности тех месяцев. Ленин участвовал в 37 заседаниях Политбюро и 18 Пленумах Центрального Комитета партии; председательствовал на 34 заседаниях Совнаркома (СНК) и 25 — Совета Труда и Оборона (СТО), Экономической и других образованных правительством комиссиях, встречался с сотнями людей различных национальностей и профессий. Прибавим к этому несколько десятков устных выступлений перед раз-

личными аудиториями и на различные темы, непрекращающуюся литературную работу, чтение огромного количества книг и периодику...

«Распорядок сотрудничества». Многие записи в Биохронике начинаются так: «Ленин просматривает...», «Ленин знакомится...», «Ленин председательствует...», «Ленин участвует...». Однообразно? Нет, точно. И в полном соответствии с назначением хроники, с ее документальностью.

Стоит лишь обратиться к печатным источникам, указанным тут же, под хроникерской заметкой (если она не сообщает нового, ранее не публиковавшегося), и «голый» факт или цифра сразу же облекаются плотью, пронизанной живой кровью. И тогда перед мысленным взором читателя встает сложная, противоречивая историческая ситуация второй половины 1920-го — начала 1921 года. Притягиваемся к ней, и мы отчетливо представим себе, какой громадный груз лежал на плечах Владимира Ильича. Но он, по словам А. В. Луначарского, над этим не задумывался, «просто был занят своей работой и знал, что у него плечи дюжие и если нести какую-нибудь тяжесть, ему нужно покричать больше других. Это был — распорядок сотрудничества».

Хорошо сказано: распорядок сотрудничества! Ленин не одиночка, он идет, взявшись за руки, с товарищами-единомышленниками, членами ЦК РКП(б) и Исполкома Коминтерна, с наркомками, с хозяйственниками и дипломатами, красными полководцами и командирами, с миллионами защитников и строителей первого на планете социалистического общества. Все они, каждый на своем посту, делали свое дело, а больше других — Ленин. Биографическая хроника раскрывает это с удивительной полнотой и рельефностью.

«Ленин просматривает...» Что именно? Обратимся к некоторым примерам. В конце сентября на его рабочем столе книжная новинка: в переводе В. И. Засулич в Петрограде только что издана Марксова работа «Нищета философии. Ответ на

<sup>1</sup> О предыдущих томах (как и 9-й, они подготовлены сотрудниками Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС) см. «Новый мир», 1976, № 4; 1977, № 8; 1978, № 11.

«Философию нищеты» г. Прудона» с предисловием и примечаниями Ф. Энгельса. Ленин помечает на книге: «Есть новое письмо К. Маркса к Анненкову, 28.XII. 1846». И далее: «Откуда взято? Где напечатан оригинал?» Это не просто внимательное чтение, нет, это вопрос исследователя, историка, быть может, решившего сличить перевод с подлинником.

Приблизительно через месяц Владимир Ильич перелистывает «Краткий обзор деятельности Московского Совета» (вып. I. 1920). И вновь та же прозорливость и сила мысли. «См. о себе с. 7 и с. 10», — отмечает Ленин. Почему «особо», к тому же дважды подчеркнутое? Потому что в перечне вопросов, обсужденных Моссоветом, организационные вопросы значительно преобладали над экономическими. «Уродство. Должно быть наоборот».

Столь же аналитически, заинтересованно, критически ознакомился он и с деловыми бумагами. Таковы, в частности, доклад главкома С. С. Каменева и его сотрудников о положении на польском и врангелевском фронтах; записка Г. К. Орджоникидзе о заседании ЦК КП(б) Азербайджана; письмо группы пермских крестьян об организации крестьянского союза с жалобой на действия местных властей; переработанные — по его, Ленина, совету — тезисы доклада В. А. Аванесова к VIII Всероссийскому съезду Советов (тезисы возвращает вместе с подробным планом дальнейшего их улучшения); докладная записка о состоянии и перспективах снабжения республики топливом — поручает управляющему делами СНК Н. П. Горбунову совместно с автором сформулировать конкретные предложения...

«Ленин участвует...», «Ленин руководит работой...» — так чаще всего начинаются заметки хроники, раскрывающие роль Владимира Ильича — вождя Коммунистической партии.

Под датой: «Сентябрь, 20 и 21» — впервые публикуются сведения о Пленуме ЦК, на котором Ленин представил товарищам подготовленный им политический отчет Центрального Комитета IX Всероссийской партийной конференции. Далее на Пленуме обсуждались: ход мобилизации коммунистов на Западный фронт, очередные задачи партийного строительства, мирные переговоры с Польшей, торговые предложения Канады, предложение назначить М. В. Фрунзе командующим Южным

фронтом, вопрос о сроке пребывания в Лондоне возглавляемой Л. Б. Красиным советской торговой делегации и целый ряд других. Под датой: «Сентябрь, 22—25» — сообщение: Ленин руководит IX Всероссийской партконференцией, выступает с политическим отчетом ЦК и заключительным словом, произносит речь о партийном строительстве, пишет проект резолюции по этому вопросу, в перерывах между заседаниями беседует с делегатами.

Знакомясь с фактами, зафиксированными в хронике, всякий раз поражаешься неиссякаемой энергией, настойчивости, вниманию, с какими Владимир Ильич вникает в вопросы, значившиеся в повестке дня, в доклады и прения по ним. Например, на заседании Политбюро 9 октября 1920 года, когда речь шла о Пролеткульте, Владимир Ильич девять раз брал слово, отредактировал проект резолюции, написал ее набросок.

«Ленин председательствует...» В начале нашей рецензии названо число заседаний, проведенных Лениным. Но ведь это число нужно умножить на число обсужденных вопросов, и итог всего лишь за считанное количество недель получится четырехзначный. А какими цифрами измерить душевное напряжение, отдачу нервной энергии?

Заседания нередко продолжались допоздна (взять хотя бы заседание СНК 18 декабря, начавшееся в 18 часов и закончившееся в 22 часа). Еще пример: при открытии заседания правительства 14 декабря (в 18 часов) Владимир Ильич дополнил повестку дня двумя новыми пунктами: «19. Отдел законодательных предположений (Курский); 23. О натуральном премировании (Гольцман)». На этом заседании он выступил трижды.

Будучи сам пунктуальным, он и докладчиков и тех, кто выступал в прениях, приучал дорожить временем. Счет велся буквально на минуты. Чтобы не мешать ораторам, обмен мыслями производился также письменно — коротенькими записками, карандашом и пером. Скажем, 24 августа, увидев в скромном зале заседаний правительства вернувшегося в Москву члена коллегии Наркомпрода А. И. Свидерского, Владимир Ильич переправил ему записочку: «Где были?» — и получил в ответ, запиской же, перечень городов и приписку, что ему, Свидерскому, предстоит еще побывать на Урале и в Поволжье. Другой случай: получив записку

заместителя председателя Реввоенсовета республики Э. М. Склянского с вопросом, сможет ли Ленин поговорить с ним после заседания, Владимир Ильич написал: «Да, 2 минуты надо».

Длительные и напряженные заседания, конечно, утомляли. Усталость, по свидетельству мемуаристов, снималась шуткой, смехом, особенно заразительно смеялся Владимир Ильич. Минутная разрядка — и вновь деловая сосредоточенность.

**Встречи и беседы.** Печать, почтовая и телеграфная корреспонденция, выступления товарищей на съездах, совещаниях, заседаниях, собраниях — все это было как бы окнами, распахнутыми в действительность. Но Ленину этого было мало, он постоянно нуждался и в живом, непосредственном общении с людьми. С каждым из них он беседовал как равный с равным, он обладал счастливым даром располагать к себе, быть искренним и прямым и вместе с тем держать беседу в нужном фарватере, не упуская главного. Даже лаконичная, в две-три строки, информация Биохроники позволяет нам получить известное представление о том, с каким широким кругом лиц встречался и общался Владимир Ильич, как много он впитывал из этих встреч, а заодно обогащал мыслями, заряжал энергией своих собеседников.

Беглый перечень фактов: 16 июня Ленин принимает члена коллегии Наркомзема М. В. Фофанову; 25 июня — председателя Московского горсовета профсоюзов С. А. Лозовского, зампредаглавкомтруда В. А. Антонова-Овсеенко, члена коллегии Наркомвнешторга А. М. Лежаву; 30 июня — особоуполномоченного СТО в Донбасе В. Н. Ксандрова; 31 августа — заместителя Председателя ВЦИК В. И. Невского; 8 сентября — секретаря Коминтерна молодежи В. Мюнценберга, затем группу сибирских партизан; 13 ноября — делегата рабочих грозненских нефтяных промыслов П. К. Зайцева... А ведь это все встречи с людьми разных судеб, характеров, жизненного опыта, у каждого свои заботы, мысли, предложения...

Ленин обладал и таким в высшей степени ценным качеством, как искусство слушать других. Например, 22 декабря он присутствовал на совещании беспартийных крестьян — делегатов VIII Всероссийского съезда Советов и кратко записал их соображения по поводу принятого СНК

«Декрета об укреплении и развитии крестьянского сельского хозяйства». Днем позже, выступая на съезде, он, в частности, сказал: «Я вчера имел удовольствие присутствовать, к сожалению, не столь долго, на небольшом частном совещании беспартийных делегатов нашего съезда — крестьян и вынес чрезвычайно много из их дебатов по самым большим вопросам деревенской жизни, по вопросам продовольствия, разорения, нужды, которые вы все знаете».

**Гражданская война.** Владимир Ильич всегда пристально следил за ходом решающих сражений на фронтах, активно участвовал в определении стратегии Красной Армии, неустанно добивался, чтобы в тогдашних бедственных обстоятельствах войска наши быстрее и лучше снабжались вооружением, боеприпасами, продовольствием, обмундированием, чтобы профессионально мужали, политически росли командиры, комиссары, красноармейцы.

Например, 16 июня он выступает на Ивановской площади в Кремле — его речь обращена к курсантам, уходящим на фронт. В начале июля пересылает в Реввоенсовет республики справку Полевого штаба — надо отправить бронечастии на Юго-Западный фронт. 13 октября, ознакомившись с докладом главкома, предлагавшего использовать перемирие с Польшей для скорейшего разгрома Врангеля, направляет доклад членам Политбюро, добавив, что часть сил и средств Западного фронта можно перебросить на юг, но только после «фактического установления перемирия». 16 октября в телеграмме предостерегает командующего Южным фронтом М. В. Фрунзе от чрезмерного оптимизма, советует подготовиться обстоятельно, изучить все переходы вброд, чтобы «на плечах противника войти в Крым». 28 октября вновь телеграфирует Фрунзе: спешно обсудите меры подвоза тяжелой артиллерии, доставки саперов и прочие меры к обеспечению и закреплению военного успеха. И вот успех достигнут — 15 ноября на имя Ленина поступает телеграфное донесение: «Сегодня наши части вступили в Севастополь. Мощными ударами красных полков раздавлена окончательно южнорусская контрреволюция...»

Гражданская война была в основном закончена. Красная Армия победила.

**Эпопея.** Еще гремели сражения,

а уже началось залечивание израненного, разрушенного войной народного хозяйства, вынашивался план развития социалистической экономики на годы и годы вперед.

Следует обратить внимание на заметки, отображающие деятельность комиссии ГОЭЛРО: ни один ее бюллетень не проходил мимо Владимира Ильича. Пересылая председателю комиссии Г. М. Кржижановскому один из таких бюллетеней, испещренный пометками, Ленин советовал не увлекаться «схемами» и «планами», рассчитанными на длительный срок, а непременно иметь в виду также и «близкое». И напоминал: «гвоздь в том, что необходимо понять и совершенно точно указать, чего именно не хватает для ускорения пуска в ход уже существующих электростанций: «Рабочих? Квалифицированных рабочих? Машин? Металла? Топлива? Чего другого?» Короче говоря: заглядывая в день завтрашний, не упускать из вида сегодняшний.

Множество фактов, зарегистрированных Биохроникой, показывают начавшийся в Стране Советов переход с фронта всенного на фронт трудовой. Читатель, знакомясь с этими фактами, возможно, задумается и спросит себя: не они ли, осмысленные и обобщенные гениальным умом

Ленина, послужили толчком к зарождению и оформлению идеи новой экономической политики (нэпа)?

В предпоследний день 1920 года, 30 декабря, Ленин на объединенном заседании коммунистов — делегатов VIII съезда Советов, членов ВЦСПС и МГСПС сказал, что от перехода к трудовому фронту, «от одного этого, только от этого уже изменятся отношение класса пролетариата к классу крестьянства. Как изменяется? К этому надо внимательно присмотреться... Пока мы не присмотрелись, до тех пор надо уметь выжидать».

И так в вопросах не только политики и экономики, но и культуры, науки. Науки, имеющей выход в практику (пример: план ГОЭЛРО), и науки общественной. Скажем, в ноябре 1920 года Владимир Ильич участвовал в совещании, где рассматривались реорганизация преподавания общественных наук в высших учебных заведениях РСФСР и вопросы подготовки преподавателей для них.

Факты, факты, факты... Их красноречие неоспоримо и явственно. Совокупность их ярко показывает, как повседневность борьбы за новое общество, за новый мир, новые человеческие отношения пронизывались мощными лучами ленинской мысли.

**Н. МОР.**



## КОРОТКО О КНИГАХ



**А. БОРЩАГОВСКИЙ.** Не чужие. Рассказы. М. «Советская Россия». 1978. 383 стр.

Встретались двое: деревенская женщина в цветастом платке, едущая на городской рынок, чтобы «взять лучшую цену» за ветчину — что может быть прозаичнее? — и «утрюмый сутулый верзила» — таксист. Шуршат по мокрому асфальту шины, течет вроде бы незначительный разговор — и как в детской переводной картинке, когда постепенно сходит тусклый внешний слой и проступают яркие, живые краски, мы видим совсем другими героев рассказа. «Нюра сбросила платок на спину, открыла голову, и от нее в машине разлился золотистый матовый свет и полынный горьковатый запах трав». Исчезает печать настроенности, недоверия к людям и «верного расчета, которому научил ее Гриша». В облике проступает то лучшее, что бессилем был вытравить «рукастый» муж.

Я начала с этого примера не случайно: велик был соблазн подкрепить свою мысль зримыми образами, созданными артистами Ефремовым и Дорониной в кинофильме «Три тополя на Плющихе», поставленном по мотивам рассказа «Три тополя на Шаболовке».

В сборнике двенадцать повестей и рассказов, рисующих картины быта сегодняшней российской глубинки. И как изображенный писателем окский луг оживает в лучах закатного солнца, так и все, о чем он рассказывает, пронизано, одухотворено его настроением, мыслью. Мы ощущаем неяркую прелесть среднерусской природы, милой сердцу автора Рязанщины с ее тихой Окой, деревнями, приютившимися «у кромки уходящих в глубь России лесов»...

В послевоенной деревне «с повыбитым мужиком» человеческие судьбы, особенно женские, часто сложны, неустроены. Автору видится человек «не обласканный, а испытанный жизнью», и он показывает внутреннее достоинство, нравственную силу этого человека. Такова Евдокия, молодая доярка из рассказа «Суховей». Несмотря на протест взрослых детей, она решается выйти замуж за «пришлого» инвалида.

Сущность жизни большинства героев рассказов Борщаговского составляет труд. Евдокия — «до того преданная общему хозяйству, что запри ее в избе — помрет, вззоет, высохнет, как без воды или без хлеба». Не знает своей личной корысти и Люба, колхозница из вымирающего села Бабино, откуда она «уйдет последняя».

Герои Борщаговского связаны поручкой сердечного взаимопонимания и душевной близости. Следуя авторским смысловым

акцентам, мы обращаем внимание на то, как паромщик Ефим «обласкал домашним добрым взглядом» жену свою Маню, шлепающую по лугу в дочерних калошах, как почувствовал свое братство с пастухом Федей. Общность с людьми, потребность в чутком взаимопонимании ощущает и долговязый темнолицый мужик Петр Егорович, который «пас этим летом стадо колхозных телят на лесном кордоне». Ему «впору было взгромоздиться на связку жердей и вести разговор сразу со всеми». Заведующая почтой Любаша, пережившая страшную трагедию — сын-подросток случайно застрелил на охоте ее мужа, — не замыкается в своем горе, и тянутся к ней шофер Яша, старик пастух и другие, чувствуя ее сердечную щедрость, доброту; в свою очередь и Любаша оттаивает душой в атмосфере понимания и участия.

О сложных людских судьбах поведал нам прозаик. Знакомство с ними рождает у нас светлое чувство. Оттого, вероятно, что со страниц книги встает «радостный, струящийся и плывущий под голубым небом мир» и люди здесь обычные, простые, те, что окружают нас повседневно. Эти люди, на которых автор смотрит добрым, участливым взглядом, не чужие ни друг другу, ни нам.

Ксения Бродер.



**БОЛОТ БООТУР.** Пробуждение. Роман. Авторизованный перевод с якутского Виктора Кочеткова. М. «Современник». 1978. 352 стр.

В своем новом романе «Пробуждение» якутский писатель Болот Боотур рассказывает о жизни простых людей в дореволюционной Якутии, когда в России уже начали разворачиваться революционные события, так или иначе влияющие на их судьбы.

В центре повествования жители отдаленного якутского наслега — староста Терентий Сабардахов, владелец многочисленных стад и домов, его батраки, а также русские политические ссыльные. Повседневность одного наслега говорит читателю Б. Боотура о жизни всей дореволюционной Якутии. Действие развивается таким образом, что под давлением все усиливающегося гнета местной якутской и царской администрации зреет недовольство, а потом и активный протест бедняков, вступающих в борьбу со своими хозяевами. Поддержку, совет и помощь якутские бедняки находят у русских ссыльных, которым они в свою

очередь помогают наладить быт в Якутии. И когда социальная обстановка накаляется, разорение батраков достигает предела, то русские сослыльные строят в Якутске баррикады, возмущенные бесчинствами пере-сылной и местной администрации...

Несколькими годами раньше в Москве вышел роман Болота Боотура «Весенние заморозки», посвященный событиям первых лет советской власти в Эвенкии; в нем писатель показал себя мастером напряженного сюжета, драматически насыщенного действия. Та борьба за социальную справедливость, которая в романе «Пробуждение» только начинается, в «Весенних заморозках» развернута во всей остроте. Роман этот значителен тем, что в нем убедительно показана реальная сложность вставания эвены в новую, советскую действительность, развернута ясная перспектива социального культурного развития малого северного народа, органически вошедшего в единую семью народов нашей страны. Последний роман Б. Боотура «Пробуждение» открывает нам предьсторию тех социальных процессов и перемен, которыми обозначен принципиально новый и светлый этап в развитии эвены.

Татьяна Комиссарова.



**АЛЕКСАНДР КУШНЕР. Голос. Стихотворения. Л. «Советский писатель». 1978. 127 стр.**

Связь времен... Причудлива она в искусстве. И бывает так, что кружево семнадцатого века вдруг вызывает в памяти строку твоего современника. Именно так случилось со мной, когда в Дни венецианской культуры на Волхонке я воочию смогла увидеть это «подобье то ли пены, то ли снега», и когда все, побывавшие на выставке в эти дни, могли бы повторить вслед за Александром Кушнером: «И к воздуху семнадцатого века припали мы на согнутых руках».

Самым примечательным в этом стихотворении Александра Кушнера, которое так и называется «Кружево», представляется мне концовка:

Опомнися. Ты, кажется, устала?  
Сукожное накиннем покрывало  
На кружево — и кружево точь-в-точь  
Песнь обрвет, как песенку синица,  
Когда на клетку брошена тряпица:  
День за окном, а для певуньи — ночь.

С детских лет прочитав андерсеновского «Соловья», привыкли мы противопоставлять искусственного соловья живому. Но чтобы кружево — то есть своего рода «искусственный соловей» — вдруг представало живой певуньей синицей?

Искусство и жизнь... Привыно разделять их. Но поэт — одолоб. Он не может любить жизнь — отдельно, искусство — отдельно... И вот — усилиями целой жизни! — соединительный союз «и» (искусство и жизнь) превращается в дефис: искусство-жизнь.

Александр Кушнер в этом превращении необычайно последователен.

Ветвь на фоне дворца с неопавшей  
листой золоченой,  
Средь спящих снегов жестко к стволу  
Рукотворною нажета, пригвожденной.  
Чем она отличается от многолетних  
цветов  
На фасаде, его фантастически пышной  
лепнины?  
От гирлянд и стеблей  
На перилах, от рам, отбивающих свет  
у картины,  
От узорных дверей?

В самом деле, чем?.. Однажды, в свободную минуту написав эту — цветок шиповника в стакане, — я прислонила его к этому же стакану и отошла немного, чтобы взглянуть... В это время в окно влетела бабочка, в нерешительности покружилась немного между живым цветком и написанным на этюде, и конечно же села на цветок жи во й. Но мое художническое самолюбие не было ущемлено, напротив, я была счастлива: ведь все-таки бабочка помедлила немного!

А большего, может быть, и нельзя достигнуть?

Художник — не тот, кто обманывает бабочек, людей и самого себя.

А поэт?.. Поэт прежде всего видит не так, как другие, и ничего с этим поделаться не может. Все глядят на выставке картин, естественно, на картины, а поэт разглядывает цикамен:

Он в живопись влюблен, он стелется  
при ней,  
Склоняясь ниже всех. Он тянется,  
смотрите,  
К полотнам — всем пучком извилинах  
корней  
С цветками на весу. Он самый нежный  
зритель...

Все любят ются бабочкой, когда ее крылья раскрыты, — поэт, напротив, берется за кисть как раз тогда, когда они сложены:

Ах, ах, ах, зорче смотрите,  
Озираясь вокруг и опять погружаясь  
в себя.  
Может быть, и любовь где-то здесь,  
только в сложенном виде,  
Примостилась, крыло на крыле,  
молчаливо любя?

Не пропустить невидимого, но бесконечно вального... Живет это высокое спокойствие в стихах Александра Кушнера. Он настойчиво пытается разглядеть все с другой, обратной стороны: «О, боль сердечная, на миг яви изнанку, как тополь с вывернутой на ветру листвою...» Он подмечает причудливое сходство: «Паутина под ветром похожа на барочный комод» — и выдвигает каждый «тесный ящичек», словно ища: «Не оставлена ль кем-то записка, не написано ль в ней: «Я люблю тебя! Время — помеха...» Ничего за что на свете, однако, не согласился бы поэт избавиться от этой «помехи»:

Влецет средь паутины роскошной  
Паучок золотой.  
«Все я знаю про век позапрошлый,  
Но не знаю, чем кончится мой.  
А без этого точного знания,  
Без оплаты несметных долгов  
Нет рассеянья мне, любованья  
И забвенья во веки веков!»

И это представляется мне главным у Александра Кушнера.

Светлана Соложенкина.



**СЕРГЕЙ МНАЦАКАНЯН.** Снежная книга. Стихи. М. «Современник». 1978. 142 стр.

По прочтении «Снежной книги» остается ощущение зимней свежести, чистоты и простора. Многообразные оттенки «снежности» открываются читателю на страницах новой книги С. Мнацаканяна, разумно и продуманно построенной. От сдержанно трагических нот («и — навсегда на этом свете глухая зимняя тоска» до прозрачных строк «первый снег пронзительно подобен белым перьям» развертывается перед нами мироощущение нашего современника, сверстника многих активных читателей поэзии, которые, как и поэт, могут сказать о себе: «...еще мне можно: я — молодой, жить воздухом и надеждой...»

Лирический герой «Снежной книги» — человек городской, его не миновали проблемы эпохи НТР. Больше того, эти проблемы — его болевая точка. Он обостренно воспринимает окружающий его городской, заводской, «железный» быт. «Среди цехов, среди берез, в просторах Века и Отчизны», на городских улицах, где «вьются сумерки, пахнет бензин», где настойчиво и неизбежно врывается в лирический душевный настрой «рев поземки и металла», трудно остаться наедине с собой, не просто также остаться самим собой. Однако «в суете мирских сует и автобусных окраин» лирический характер героя книги сохраняет свою цельность и внутреннюю статность.

Навеки эта нежность, эта грусть — их заморозки сроду не охватят...

Городской индустриальный пейзаж, привычный глазу современного человека, в стихах С. Мнацаканяна приобретает свои индивидуальные черты. Поэт стремится одушевить, очеловечить окружающий современный столичный жителя неорганический, далекий от природы мир.

...сквозь сновиденья и привкус сирени грянуло эхо фабричной сирены...

И в других строках и строфах тоже — «режут фабричные гудки — одушевленное железо», а подъемный кран, как усталый после рабочего дня человек, «поднимет жилистую руку», «и некая машина вдруг изогнет коленчатый сустав, когда насквозь пронзит ее кручина, в железном организме засвистав...».

Но поэт далек от безоглядного преклонения перед индустриальной мощью века. Подобно и физикам и лирикам 70-х годов, он способен иронически отстраниться от потока научно-технически открытий, достижений, новшеств.

Когда сойдешь с тропы лесной,  
тебе навстречу, громко дая,  
летит мгновенно пес цепной,  
как бы реакция цепная...

И не промолвишь ничего,  
уматывая — без оглядки,  
а вслед молекулы его  
хрипят в косматом беспорядке!

Мнацаканян настойчив в своей жажде гармонии: ледяная резкость выюг, чистота первой пороши на мокрых осенних листьях, морозная ясность будничного дня необходимы поэту, чтобы полнее ощутить принадлежность своего городского бытия к природе и людям. Стихи о природе, о Подмосковье и «земле отцов» — Армении полны весомых поэтических реалий, расширяющих эмоциональную палитру, сферу мыслей и чувств лирического героя книги.

А солнца ответ восковой  
горел под сенью виноградной,  
как будто в смуте вековой  
печатать на грамоте охранной.

Сегодняшний день современника немилым без прошедшего, и не случайно в лирическом герое С. Мнацаканяна столь обострена историческая память. «...небо аукнется, пульс оборвется — сколько осталось минут до войны?..» («Памяти 1941 года»). Об этом же свидетельствуют и многие другие стихи: «Я услышал как-то ночью голос вкрадчивый и древний...», «Премьеры 1829 года», «Он небрит, безумный Комитас...»

«Снежная книга» — зримая веха на пути молодого московского поэта. Сборник свидетельствует о немалых творческих возможностях автора и содержит обещание новых интересных книг.

Лидия Григорьева.



**М. О. ЧУДАКОВА.** Поэтика Михаила Зощенко. М. «Наука». 1979. 198 стр.

Главный герой книги — авторское слово Зощенки. Показать его авторскую речь в движении и обнаружить то, что остается в ней неизменным, — такова задача. М. Чудакова предлагает свою, на мой взгляд, весьма точную модель становления и развития того, что сделало писателя легко узнаваемым, ни на кого не похожим.

Как считает М. Чудакова, «Двенадцать» Блока высветили для Зощенко возможности сказа. Зощенко пришел к выводу, что писать по-старому, писать так, будто в стране ничего не случилось, нельзя. Возник новый читатель. Как писать для него? «Нормативная (точнее литературная; нелитературная речь тоже имеет свои нормы. — Э. Х.) письменная и устная речь утратила свою недавнюю авторитетность и универсальность, во-первых, потому, что оказалась недоступной слоям, получившим активную роль в общественной жизни... во-вторых — с утратой социального престижа ее носителями», — говорит М. Чудакова.

Сказ в 20-х годах моден. Это не случайность. Зощенко начал со сказа с безликим повествователем, которого не видно, но слышно. Диалоги в этом сказе — островки и зародыши другого сказового типа — личного. Диалог разрастается. Все труднее различать голоса персонажей и рассказчика. Наконец, личным сказом сменяется безлич-



ный. Затем в сказ вводится еще и автор, что противоречит природе сказа как речи особой, по преимуществу устной и чужой для автора.

Следует согласиться с М. Чудаковой, что Зоценко создал образ «автора» — «своего брата» для читателя, с такой же, как и у читателя, «наивной философией», «автора» без культуры, спародированного присутствием истинного автора, не появляющегося в тексте, но творящего его. «В противоположность обыкновенной задаче литературной пародии в рассказах Зоценко пародируемый объект не лежит вне пародии — он конструируется здесь же, на глазах читателя, и в самый момент рождения подвергается пародизации».

В повестях Зоценко с их подчеркнутой установкой на разговорную речь сильнее осознается столкновение книжно-литературной речи с просторечием и вульгаризмами. Главный речевой признак повестей Зоценко — «регулярный и демонстративный перебой письменных конструкций разговорными, «правильной» речи — всевозможными неправильностями, ничем не мотивированными». М. Чудакова видит трагический эффект этой речевой структуры в том, что авторский голос — в скорлупе чужих или полужужих слов. Автора не слышно. Подойдя кружным путем вплотную к прямому слову автора, Зоценко не произносит его, утверждая, что нет еще возможности отождествить себя полностью с ним, так как нет целостной речевой культуры у тех слоев, для которых автор пишет, а речевая культура других слоев не в счет, ибо отжила и непригодна для современной литературы.

Зоценко хотел быть понятным уже сегодня. И писал «не своим» языком. Зоценко считал себя временно замещающим народного писателя. Подлинного же народного писателя, по его мнению, еще нет, он будет выдвинут народом из собственной среды. М. Чудакова, не высказывая своего отношения к этой позиции Зоценко, подводит читателя к проблеме, которая обсуждалась в отечественной литературе еще во времена Белинского: «Что же такое народный писатель?» «Народ» как социально-экономическое понятие по-разному соотносится с понятием «население страны» в разных общественно-экономических формациях. В антагонистических — это отношение части и целого, в неантагонистической формации — отношение тождества. Где более народен Толстой — в «Войне и мире», «Крейцеровой сонате» или в рассказах, написанных для тогдашнего, на две трети неграмотного, народа? Будет ли сегодня народным писатель, пишущий читателю «навырост»? Считался бы такой писатель народным в 20—30-е годы? Что называть народной литературой в разные эпохи? Есть ли смысл в противопоставлении литературного языка и народного в наше время? Не стал ли литературный язык одной из форм народного? Книга М. Чудаковой дает нам живую пищу для размышлений над этими вопросами.

М. Чудакова, попутно изложив языковую концепцию А. Ремизова, к сожалению, никак не оценивает ее. А ведь ремизовская концепция, основанная на имеющей более чем вековой возраст идее «история языка — история его порчи» и звавшая назад, к языку допетровской эпохи и далее «к истокам», была неисторичной. Реки вспять не текут. Языки тоже. Да и сам Ремизов писал отнюдь не на старорусском или древнерусском языке. Книга не свободна и от некоторых мелких неточностей, но, насыщенная фактами, выдержками из неопубликованных документов, интересная замыслом и остротой его осуществления, она займет приметное место в литературе о Зоценко.

Эр. Хаипира.



**ГРИГОРИЙ АНИСИМОВ. Живые краски Апшерона. Баку. «Гявджлик». 1978. 166 стр.**

В архиве писателя Юрия Домбровского (1909—1979) сохранился отзыв на рукопись «Живые краски Апшерона» Григория Анисимова. Рукопись теперь стала книгой. Ниже мы предлагаем вниманию читателей этот отзыв (публикация К. Домбровской).

Небольшая книга Григория Анисимова «Живые краски Апшерона» написана в расчете на широкие круги читателей, но адресована она прежде всего тем, кто любит искусство. И сам автор беззаветно и горячо любит то, о чем пишет.

Григорий Анисимов не ставит перед собой задачу — создать историю изобразительного искусства Азербайджана. По его собственному признанию, его книга — заметки и впечатления от увиденного собственными глазами. И в этом я вижу одно из принципиальных достоинств книги. Вместе с тем автор рассматривает творчество современных азербайджанских художников во всей сложности их проблематики, в динамике формирования и развития. На конкретных примерах Гр. Анисимов дает художественный анализ современного азербайджанского искусства, говорит о его ведущих чертах и особенностях. Сохранив способность удивляться и восхищаться, автор выше всего ценит ее и в тех художниках, о которых рассказывает на страницах своей книги.

Начиная рассказ о том или ином художнике, Гр. Анисимов постепенно углубляется в его внутренний мир, стремится показать и творческую и национальную неповторимость мастера. Для каждого автор находит нужную тональность, я бы сказал, точный цвет и лаконичную психологическую характеристику. Мне нравится живой, пульсирующий ритм разборов. Поэтическое сознание художника всегда вызывает в Гр. Анисимове ответный отклик, поэтому он легко находит ему необходимую литературную форму. А это, в свою очередь, поможет найти соответствующий отклик в эстетическом чувстве читателя.

Во многих очерках Гр. Анисимов так ярко и образно рассказывает о картинах, что их тотчас же хочется увидеть самому. У Гр. Анисимова свой, особый взгляд, собственный угол зрения на искусство, творчество, труд художника. Автор рассматривает искусство как органическую часть духовной культуры, как способ художественного познания мира. Гр. Анисимову творчество дорого тем, что для истинного художника творить — это и значит жить, приближаться к миру, человеку, ко всему окружающему.

В книге «Живые краски Апшерона» ощущается глубокое знание автором материала, здесь продемонстрировано и писательское мастерство, и несомненные художественные достоинства в описании поездок, встреч, наблюдений. Автор весьма скупыми средствами показывает общность проблем искусства, науки, нравственности. Достаточно сослаться хотя бы на его рассказы о творчестве народного художника Азербайджана С. Бахлуладе или Т. Джавадова, с большим интересом читаются и маленькие очерки об ученых И. Джафарзаде и Д. Ахундове.

Говорят, что каждый писатель или критик должен быть субъективен, но в его сочинениях должна содержаться и объективная истина. Этому правилу, на мой взгляд, Гр. Анисимов следует в своей книге. Это, так сказать, общая, обязательная часть всякой рецензии о книге, посвященной художникам. Собственно, не о самих художниках, а об их отношении к миру. Ведь в том-то и значении каждой творческой индивидуальности, что она наряду с тем миром, в котором художник живет и для которого работает, создает еще свою собственную, неповторимо индивидуальную модель мира. И она существует уже по собственным законам и нормам.

В мире Ф. Халилова, например, существуют только вот такие гранаты — огромные, мускулистые, бутристые, толстокожие плоды. И никакими иными они быть не могут. В мире Т. Нариманбекова существует вот именно такой эталон женской красоты, и именно она, красота эта, и освещает своим светом все, что пребывает с ней рядом на этом холсте. Все подчиняется этому свету красоты. Выяснению этих *малых миров* художников и посвящена основная часть книги Гр. Анисимова. Но для меня важнее другое. Дело в том, что я недавно сам выпустил книгу о художниках Казахстана. В этой книге есть одна глава о том, как мне заказали написать очерк об одном старейшем художнике республики и как мне это долго не давалось. Я написал груды бумаги, и все-таки у меня ничего не получилось. Сухие слова не могли передать краски и образы! Прошли года, и я вдруг понял причину своей неудачи. Ведь я начинал рассказ с искусствоведческих выкладок, с анализа, со сходства и различий. А надо было начинать со слов «я люблю». Это очень точные слова, и они сразу ставят все на свое место. Вот меня и подкупает в труде Гр. Анисимова его любовь

к тем людям и тем картинам, о которых он пишет. Ведь здесь для него нет незнакомцев. Он всех их знал или знает, со всеми разговаривал, путешествовал, обсуждал их картины. Они делились с ним своими замыслами и порой горькими неудачами. То есть они были для него не только авторами картин, которые ему нравились, но и живыми людьми, соседями за столом или в мастерской. И вот это чувство локтя, трепещущая жилка существования пульсирует в каждом очерке Гр. Анисимова и создает тот неповторимый эффект присутствия, который не заменишь и сотнями страниц пересказов, анализов и рассуждений.

И еще одно. Совесть — орудие производства художника. Не существует безнравственных творцов. Безнравственны только фальсификаторы, подражатели и мастера дешевых эффектов. Вот к какому основному выводу приводит читателя талантливая и интересная книга Гр. Анисимова.

Юрий Домбровский.



К. М. СЕРГЕЕВ. Сборник. М. «Искусство». 1978. 206 стр.

Каждому, кто причастен к нашему трудному и прекрасному искусству, имя Константина Михайловича Сергеева говорит очень и очень много. Прославленный исполнитель романтических балетов, тонкий режиссер классики, ревнивый и внимательный хранитель неповторимых традиций ленинградской балетной школы — таков «единственный во многих лицах» танцовщик и хореограф, народный артист СССР, лауреат четырех Государственных премий СССР К. Сергеев.

Его творчеству, его деятельности посвящен сборник, тщательно подготовленный и выпущенный издательством «Искусство». Этот сборник явился приятным подтверждением все возрастающей активности «Искусства» в сфере хореографического театра.

Однако мы бы ошиблись, предположив, что авторами в данном сборнике выступают только мастера балета. С его страниц звучат голоса таких замечательных актеров и режиссеров, как Ольга Андровская, Юрий Завадский, Михаил Царев, Леонид Макарьев, даровитого скульптора запечатлевшего в бронзе, мраморе, фарфоре целую череду балетных звезд, — Елены Ясено-Манизер, великолепных композиторов Арама Хачатуряна и Кара Караева. Каждый передает свои впечатления о Сергееве, а вместе создается образ замечательного артиста — любимца публики 1930—1950-х годов, человека, глубоко преданного избранной профессии.

В свое время и мне довелось приобщиться к балетмейстерскому творчеству Сергеева — в московской постановке балета «Тропой грома» я исполнял партию Левни. Может быть, поэтому у я с особым интересом читал статьи Л. Энтелеса и Н. Дудинской, содержащие как бы два ракурса

восприятия спектакля — умудренного опытом критика и прекрасной балерины.

Вообще танцовщик раскрывается как-то по-новому, когда о нем рассказывает его партнерша.

По-новому представляет нам К. Сергеева Ф. Балабина, живо и восторженно рассказывая о своем партнере в дуэтных танцах, — артистичном, чутком и умном; колоритно воскрешает романтические роли Сергеева В. Красовская, отводя большое место уникальному дуэту Сергеев — Уланова.

Мне повеселилось видеть эту балерину века на подмостках и потому могу себе представить, сколь гармоничен и лучезарен был дуэт Улановой и Сергеева — первых исполнителей «Бахчисарайского фонтана» Р. Захарова, «Ромео и Джульетты» Л. Лавровского, Принца и Королевы лебедей, Жизели и Альберта. Со страниц книги словно воочию возникает эта пара — светлая, одухотворенная, гармоничная.

О том, насколько пронизательно и тонко чувствовал Сергеев индивидуальность каждой своей партнерши и как умел, работая над балетом, раскрыть в их талантах некие новые, ни зрителю, ни им самим ранее не известные грани, мы узнаем из статей, ставящих серьезные и важные проблемы хореографии, посвященные спектаклям «Золушка», «Тропую грома», «Гамлет», «Левша», «Времена года».

Цельный раздел книги составляют статьи, размышления, высказывания самого К. Сергеева.

Должен сказать, что, хотя книга и сосредоточена на Сергееве — исполнителе и хореографе, круг вопросов, затронутых в ней, несомненно имеет большое значение для настоящего и даже будущего балетного театра, ибо вне преемственности поколений, вне повседневной, методичной передачи традиций от старших к младшим балет обречен на угасание. Этим вопросам посвящена статья старейшего артиста ленинградского балета А. Михайлова, который без всяких деклараций и излишней патетики объясняет читателю, что же такое этот не всем понятный процесс передачи и сохранения традиций.

О проблемах малой хореографической формы пишет в своей статье В. Прохорова. Это, по сути дела, попытка восстановить и спасти от забвения богатейший концертный репертуар, каким располагали Сергеев, Балабина, Дудинская.

Путь Мастера в искусстве длится в новых исполнительских поколениях, в новых балетах. К. М. Сергеев — художественный руководитель Академического хореографического училища имени А. Вагановой полон планов, мечтаний, энергичен и жизнедеятелен, то есть очень похож на свой «портрет», созданный коллективом авторов книги.

**Марис Алена,**  
народный артист СССР,  
лауреат Ленинской премии.



**ЮРИЙ ЮРОВ.** Кто раз увидел. Маршрутами зарубежных друзей по Стране Советов. М. Полятиздат. 1978. 318 стр. ■

«...везде и повсюду, гораздо более, чем мы знаем, в любом конце земли, везде наблюдается громадный рост интереса к Советской власти...» Эти слова сказаны Лениным почти шестьдесят лет назад. В какой же поистине геометрической прогрессии возрос интерес к Стране Советов за минувшие шесть десятилетий!

Глядя на свою родину глазами зарубежных друзей, мы еще выше оцениваем ее достижения, еще глубже осознаем, какое величайшее революционизирующее влияние наша страна оказывает на мир самим фактом своего существования.

Зарубежные друзья о Советском Союзе. Сама по себе эта тема не нова, и впечатления многих наших гостей опубликованы. Свообразие рецензируемой книги состоит в том, что здесь впервые под одной обложкой представлена широкая галерея замечательных людей (политических деятелей, писателей, ученых, инженеров, рабочих...) и об их путешествиях по нашей стране сообщается немало нового. Широко известно, например, о пребывании Джона Рида в Петрограде, но далеко не все знают подробности его поездки в Серпухов и Баку. А о посещении Альбертом Рисом Вильямсом голевской Диканьки и Палеха? Или о втором приезде в Советский Союз Герберта Уэллса? Много интересного обо всем этом мы узнаем из книги Ю. Юрова.

Кто-то из мудрых людей верно сказал, что дар воскрешать прошлое столь же изумителен и драгоценен, как дар провидеть будущее. Автор несомненно обладает даром воскрешать прошлое, что мог заметить всякий, кто читал его книги «Путешествие по ленинской адресной книжке» и «Подписано Лениным». И вот мы снова убеждаемся в этом, читая документально-художественные очерки о тех, «кто раз увидел» (в особенности же о тех, кто не раз побывал в нашей стране и может сравнивать виденное).

Автор выискивает в старых газетных подшивках такие штрихи событий, которых многие другие не замечают, сопоставляет различные источники, анализирует их, и кропотливый поисковый труд этот вознаграждает его находками. Вот лишь один эпизод.

Юрий Олеша в своем репортаже в «Вечерней Москве» сообщает о том, что видит присутствующий на физкультурном параде в Москве в 1934 году Герберт Уэллс. «Что он при этом думает?» — хочет знать Олеша. Юрова также заинтересовал этот вопрос, и в другой газете он находит ответ на него из первоисточника: во время того же физкультурного парада, беседа со своим соседом по трибуне Михаилом Кольцовым, Герберт Уэллс говорит ему, что понимает гордость советских людей, которые производят авиационные моторы, рентгеновские аппараты и многое другое, не готовлявшееся в дореволюционной России,

и продолжает: «Но из всей вашей продукции меня, простите, потрясает только одно. Вы делаете людей. Именно это приехал я посмотреть». Вот о чем думал в те минуты великий фантаст!

Подобных находок в книге немало. Когда автору не хватает сведений, содержащихся в старых изданиях, он отправляется на поиски людей, встречавшихся в минувшие годы с героями его очерков, и обогащает повествование многочисленными живыми деталями.

Со страниц книги с нами разговаривают Джон Рид и Альберт Рис Вильямс, Жак Садуль и Фредерик Жолио-Кюри, Фритьоф Нансен и Хью Купер, Бернард Шоу и Рабиндранат Тагор... Добрая половина героев книги — писатели, что, конечно же, не случайно: именно мастера слова с наибольшей проникновенностью и эмоциональной силой доносят до читателя свои впечатления о пребывании в Советском Союзе.

Из издательской аннотации мы узнаем, что автор продолжает поиск и будет признателен читателям, если они подскажут ему новые имена. И коль скоро зашла речь о писателях, то мы несомненно с интересом прочитали бы очерки о пребывании в нашей стране Юлиуса Фучика, Анри Барбюса, Мартина Андерсена-Нексе и, конечно же, Линкольна Стеффенса, с которым беседовал Ленин. Можно добавить к этому списку и Теодора Драйзера, и Поля Вайяна-Кутюрье, и некоторых других. Путешествие маршрутами зарубежных друзей по Стране Советов, так удачно начатое Ю. Юровым, ждет своего продолжения.

**Б. Исаев.**



**А. Г. КОВАЛЕВ. Коллектив и социально-психологические проблемы руководства. М. Политиздат. 1978. 279 стр.**

«Буквально на всех участках люди работали самоотверженно, талантливо, смело. Случалось, не уходили домой, пока не выполняли задания, по несколько дней оставались на стройке — поспят где-нибудь в тени три-четыре часа и опять за работу. Возникла атмосфера, которой с самого начала добивался обком, атмосфера всеобщего подъема, огромной целеустремленности, неиссякаемой веры в свои силы. Я почувствовал: на стройке наступил решительный перелом, теперь мы будем идти вперед и вперед».

Этот яркий эпизод из истории восстановления «Запорожстали», описанный в книге Л. И. Брежнева «Возрождение», невольно вспоминается при ознакомлении с недавно вышедшей монографией известного ленинградского психолога А. Ковалева «Коллектив и социально-психологические проблемы руководства». Социально-психологический климат в коллективе, атмосфера, которую с высоким партийным искусством создавал на стройке Запорожский обком партии, — это и есть одна из главных проблем, рассматриваемых ученым в его монографии.

Работа **А. Ковалева** — явление знаменательное.

Научные исследования, покидая стены академических институтов, сегодня все чаще вторгаются в гущу жизни, знаменая процесс укрепления научной основы управления и его отрасли — руководством коллективом.

Проблема коллектива, отмечает автор, — центральная проблема руководства. Не опасаясь преувеличения, можно сказать, что далеко не все наши руководители, малые и большие, понимают свою главную задачу как управление коллективом, его атмосферой, психологическим настроением его членов, и в этом состоит одна из важных причин просчетов и неудач, которые еще имеют место на предприятиях и в учреждениях.

Центральный вопрос монографии — теория коллектива. Вопреки обыденным представлениям далеко не всякая человеческая общность может быть названа коллективом, она еще должна «дозреть» до этого уровня. Первейшая обязанность руководителя как раз и состоит в том, чтобы поднять возглавляемую им группу до уровня коллектива. Коллектив в своем развитии проходит определенные стадии. По мнению А. Ковалева, их три. Лишь на завершающей стадии, когда «образуется действительная общность установок и интересов, единство воли», можно говорить о зрелом полноценном коллективе.

В нашем обществе все большее значение приобретают такие аспекты внутриколлективной жизни, как человеческие отношения, культура общения. Автор правомерно посвящает этим вопросам особую главу. Думаю, следовало бы поддержать выдвинутое в этой связи предложение ученого о разработке «профессиональной этики руководителя социалистического коллектива, которая бы восполнила соответствующий пробел в комплексной науке управления и служила бы пособием для подготовки и воспитания руководителей и их повседневной практики отношения к людям как центральному звену в системе управления».

Монография А. Ковалева — работа теоретическая. Однако автор отнюдь не чуждается конкретных и живых материалов. Так, организаторские способности руководителя он анализирует на примерах деятельности академика И. П. Павлова, режиссера К. С. Станиславского, директора автозавода И. А. Лихачева, А. С. Макаренко. Многочисленны ссылки на опыт руководителей ленинградских предприятий, где автор и его сотрудники проводили исследования.

Книга содержит богатейший материал для размышлений над проблемами коллектива и руководства. По манере изложения она доступна всем. И это дает основания для вывода, что обращение ученого-психолога к практическим вопросам коллектива и руководства, рассмотрение этих вопросов с позиций социально-психологической теории оказалось весьма плодотворным.

**Вадим Монахов.**

# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



## ПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** Доклад о революции 1905 г. 23 стр. Цена 3 к.

**Л. И. Брежнев.** Актуальные вопросы идеологической работы КПСС. В 2-х тт. Т. 1. 591 стр. Цена 1 р.

**Ю. Дубинин, В. Келин.** СССР—Франция. Опыт сотрудничества. Шестидесятые—семидесятые годы. 303 стр. Цена 50 к.

**Развитие социализма и творчество масс.** 240 стр. Цена 95 к.

**В. Хазаров.** Трудные истины бытия. 176 стр. Цена 30 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**И. Вергасов.** Останется с тобою навсегда... Роман. 304 стр. Цена 1 р. 30 к.

**М. Галлай.** Третье измерение. Повесть и очерки. 351 стр. Цена 1 р. 30 к.

**Л. Гинзбург.** О литературном герое. 222 стр. Цена 80 к.

**Ш. Горшман.** Жизнь и свет. Рассказы и повесть. Перевод с еврейского. 351 стр. Цена 1 р. 40 к.

**И. Крамов.** В зеркале рассказа. Наблюдения, разборы, портреты. 294 стр. Цена 95 к.

**Д. Хренков.** От сердца к сердцу. О жизни и творчестве О. Берггольц. 254 стр. Цена 90 к.

### «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**А. Блок.** Стихотворения. Сувенирное издание. 199 стр. Цена 2 р. 90 к.

**А. Константинов.** Избранное. Перевод с болгарского. 333 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Сайгё.** Горная хижина. (Сборник пятистиший японского поэта XII века). Перевод со старояпонского. 127 стр. Цена 50 к.

**Н. Хосров.** Лирика. Перевод с французского. 174 стр. Цена 55 к.

### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**В. Афонин.** Клюква—ягода. Повести, рассказы. 336 стр. Цена 1 р. 30 к.

**П. Дуднин.** Женщина возраста полудня. Стихи. Перевод с молдавского. 111 стр. Цена 35 к.

**Т. Кузовлева.** Тень яблони. Стихотворения и поэма. 223 стр. Цена 1 р.

**В. Орлов.** Происшествие в Никольском. Роман. 303 стр. Цена 1 р. 40 к.

**В. Петросян.** Алтека «Ани». Повести и рассказы. Перевод с армянского. 366 стр. Цена 1 р. 50 к.

### «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

**В. Данов.** ...Я б в рабочие пошел. Рассказы о мастерах. 93 стр. Цена 45 к.

**Р. Канделаки.** Бродил художник по городу. Повести. 255 стр. Цена 65 к.

**Л. Карелин.** Девочка с красками. Повесть. 142 стр. Цена 40 к.

**Ю. Коринец.** Привет от Вернера. Роман.— Володины братья. Повесть. 526 стр. Цена 1 р.

**Л. Куклин.** Когда мы станем взрослыми... Стихи. 63 стр. Цена 15 к.

### ВОЕНИЗДАТ

**В. Афиногенов.** Залив Семи Бурь. Повести и рассказы. 183 стр. Цена 75 к.

**М. Прудников.** Совецание собирается экстренно... Повести. 320 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Ю. Семенов.** Комиссар госбезопасности. Документальная повесть о А. Н. Михееве. 350 стр. Цена 70 к.

**Данг Тхань.** Икс-30 рвет паутину. Роман. Перевод с вьетнамского. 352 стр. Цена 2 р. 10 к.

### «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**Е. Васин.** С вами, русичи! Повести и рассказы. Перевод с марийского В. Муравьева. 303 стр. Цена 1 р. 40 к.

**И. Козлов.** Стихотворение. Составление и вступительная статья В. Сахарова. 175 стр. Цена 65 к.

**И. Пушин.** Записки о Пушкине.— Письма. Составление и вступительная статья С. Селивановой. 141 стр. Цена 60 к.

**С. Цвигун.** Мы вернемся. Документальный роман. 368 стр. Цена 1 р. 80 к.

### «ПРОГРЕСС»

**Б. Берта.** Кенгуру. Повесть и рассказы. Перевод с венгерского. 363 стр. Цена 1 р. 60 к.

**Из современной польской поэзии.** Переводы. 270 стр. Цена 1 р. 20 к.

**В. Карлссон.** Квадрат. («Зарубежный роман о рабочем классе») Перевод с датского. 406 стр. Цена 2 р. 60 к.

**Д. Шайнер.** Горизонты. Избранная лирика. Перевод с чешского. 223 стр. Цена 1 р. 20 к.

### МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

**Е. Воробьев.** По Старой Смоленской дороге. Повести и рассказы. «Московский рабочий». 320 стр. Цена 1 р. 40 к.

**А. Галышин.** Гарин-Михайловский в Самарской губернии. Куйбышев. Книжное издательство. 120 стр. Цена 10 к.

**Э. Капиев.** О поэзии. Новеллы. Составитель Н. В. Капиева. Махачкала. Дагкиноиздат. 148 стр. Цена 1 р. 75 к.

**Э. Русаков.** Конец сезона. Рассказы. Предисловие Н. Евдокимова. Красноярск. Книжное издательство. 152 стр. Цена 65 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

**Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку** (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. В. Карпов** (первый зам. главного редактора), **В. А. Кесэлапов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **А. И. Овчаренко, Г. И. Резниченко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахния, Д. В. Тевекелая**

Адрес редакции: 103006, Москва, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.  
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»  
Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 27/VIII 1979 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 18/X 1979 г.  
Формат бумаги 70×108<sup>3/16</sup> мм. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 печ. л.)  
А 14253. Тираж 271.000 экз.

Набрано и сматрировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл. 5.  
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Ридинська Україна», Киев-47, Врест Литовский проспект, 94. Зак. 34925.



Цена 70 коп.)

70636